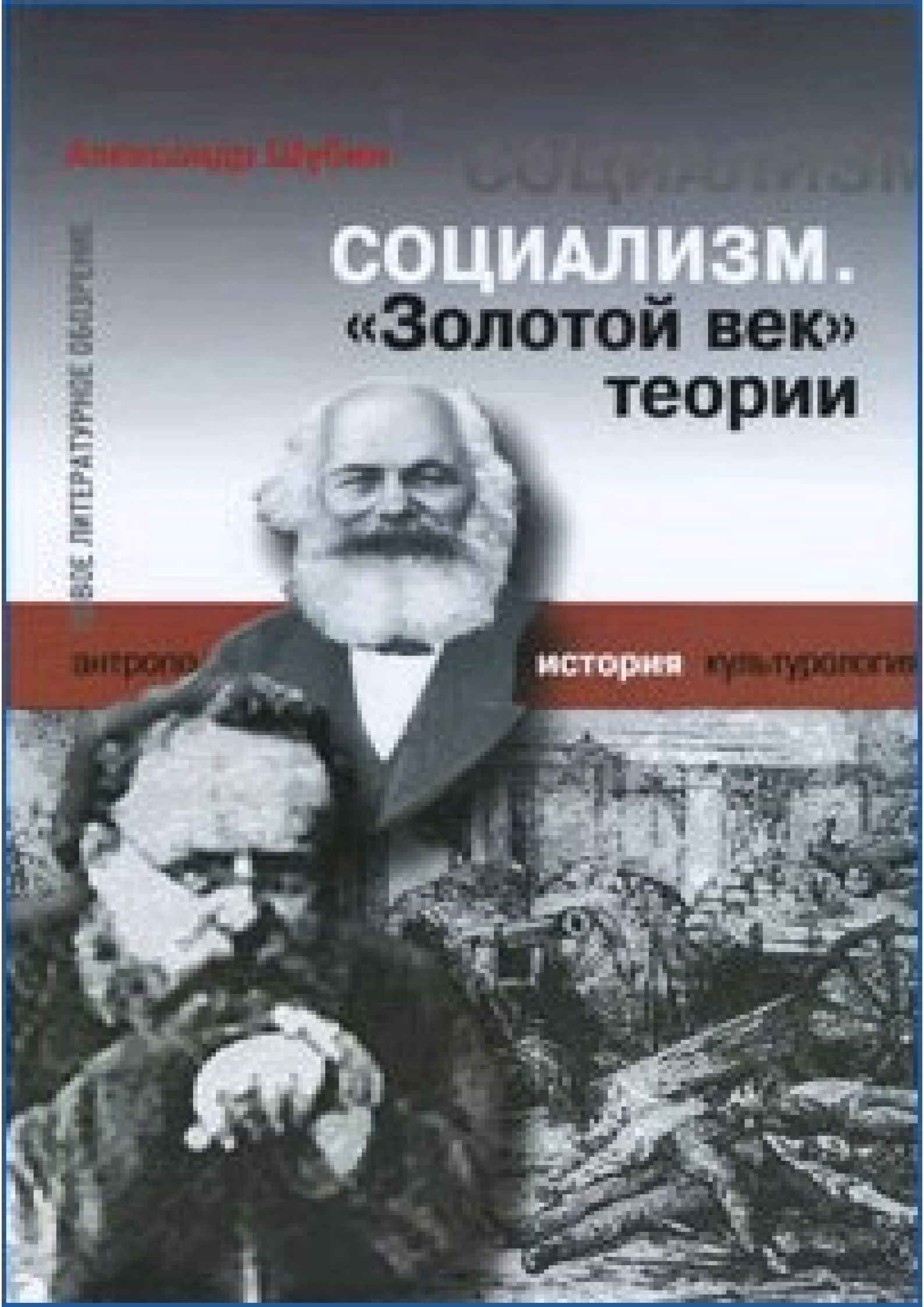
Александр Шубин

СОЦИАЛИЗМ. «Золотой век» теории

ВСЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВНЕДРЕНИЯ

интрига история культурологии



Annotation

Книга известного историка А.В. Шубина – результат многолетнего исследования путей развития социалистической мысли от Мора до Ленина – своего рода энциклопедия социалистических идей, но написанная как документальный роман. Приверженцы марксистских, анархистских и либеральных идей сводят интеллектуальные счеты друг с другом. А автор книги возвращает эти споры в рамки научной объективности. Читателю откроется непривычная картина борьбы в Интернационале, общинных экспериментов, Парижской Коммуны, российских революций. Книга предназначена для историков, политологов, философов, социологов, участников общественного движения.

А. Шубин

Социализм.

«Золотой век» теории

Введение

Закончился век борьбы «капитализма» и «социализма». Но мир по-прежнему чреват серьезными социальными сдвигами, качественными переменами. Какими они будут? Что из копилки общественной мысли сохраняет актуальность? Каким идеям выписывать «путевку в будущее», а какие отправлять в «музей истории»? Эти вопросы особенно актуальны, когда речь заходит о социализме. Ведь в XX столетии слово «социализм» было на устах у всех, а теперь «социалистическое содружество» ушло в лету.

Произошло ли в конце XX века поражение социализма, или распад СССР знаменовал нечто другое? Каково соотношение социализма и модернизации? Чему отдать предпочтение в XXI в. — либерализму или социализму, или чему-то третьему? Что из мирового опыта социальных преобразований понадобится нам здесь, в России?

Чтобы ответить на эти вопросы, недостаточно знания только опыта XX века. Точно также, как в обстановке XX в. нельзя было ориентироваться, оперируя только опытом предыдущего столетия. Это заметили мыслители XIX в., и прежде всего «футурологи» того времени — социалисты. Именно они сформулировали основные проблемы, сохраняющие актуальность до сих пор, и предложили спектр ответов, часть которых была подвергнута проверке суровым опытом XX века. Но очень многое, что было сказано (и забыто) до коммунистического эксперимента, позволяет нам лучше понять ситуацию после него.

Человечество встречает XXI век в условиях торжества либеральной идеологии которая подменяет собой многообразие идей, бурно развивавшееся в XX столетии. Сегодня рамки политкорректности напоминают прокрустово ложе. Максимально приемлемая левизна – социал-либеральные взгляды, максимально приемлемая правизна – неоконсерватизм, признающий весь набор либеральных ценностей, включая частную собственность и многопартийную политическую систему. Либеральная утопия осуществилась настолько, насколько это было возможно, но так и не достигла основных провозглашенных ею целей – свободы, равноправия и демократии. Но эти же цели, а в дополнение к ним еще и солидарность («братство») между людьми провозглашает социализм – еще не осуществленный проект человечества. Он в принципе не осуществим, или еще не осуществлен? И что это такое – социализм, общество, которое претендовало на роль наследника капитализма?

Эта **книга – о моделях пост-капиталистического общества**, которые разрабатывались до начала первого глобального кризиса капитализма, разразившегося во время Первой мировой войны. Этот кризис был не последним, есть основания ждать новых потрясений глобальной капиталистической системы, а, следовательно – обдумывать альтернативы ей. И размышления социалистов о пост-капиталистическом обществе по-прежнему могут помочь нам в этом.

* * *

Откроем типичную для нашего времени брошюру с подзаголовком «Опыт непредвзятой дискуссии». «Поражение социализма, как и торжество капитализма, — факт»[1], — подписывает Ю.М. Осипов капитуляцию от имени целого общественного течения. Одно утешает – никто не уполномочивал бывших коммунистов подписывать такие капитуляции. Основанием «поражения» объявляется нежелание человека жить в условиях «квазисоциализма»[2], что уже само по себе спорно – за всю историю СССР нежелание жить «при социализме» никогда не было всеобщим. Но и без этого «исторические капитулянты» от социализма опровергают сами себя – ведь поражение «квазисоциализма» (то есть несоциализма) никак не доказывает поражения самого социализма, скорее — наоборот. Тем более, что поддержка «квазисоциализма», то есть некапитализма, миллиардами людей говорит также и об их нежелании жить при капитализме. За редкими исключениями, другие авторы сборника (да и других подобных изданий, подводящих итоги веку и социализму) обнаруживают знакомство разве что с марксистской традицией этого учения, и потому сводят социализм то к индустриальному некапитализму («реальный социализм»), то к приоритету общего над личным (тогда это и национализм), то к нетоварному обществу (чтобы неповадно было рассуждать о рыночном социализме). Исследование марксизма тоже актуально в наше переломное время, но не будем отождествлять социализм только с марксизмом и тем более — с практикой нескольких марксистских течений.

В XIX веке социализм расцвел множеством разнообразных побегов, среди которых учение Маркса было уважаемым, но даже не первым среди равных. Это был **золотой век теории**, стремившейся к конструированию новых, гуманных и справедливых отношений между людьми. Это было столетие пророков и мечтателей, провидевших грядущее благодаря научному исследованию и творческой интуиции. Они настолько далеко сумели заглянуть в будущее и настолько много сумели сказать о методах своего провидения, что и ныне этот инструментарий вполне годен к употреблению. Нужно только стереть пыль, кое-где подточить или заменить тронутые ржавчиной детали, смазать современными маслами – и в путь. Старый добрый социализм даст фору современным постиндустриальным теориям. И, глядишь, оставит их позади.

Люди, посвятившие жизнь марксизму, отступают под напором либерального «мэйнстрима» и ищут место «левой идее» в его лоне, соглашаются растворить социалистические взгляды в политкорректном социал-либеральном потоке: «При всем этом левые остаются левыми, пока сохраняют главную характеристику, отличающую их от иных идейно-политических группировок и направлений: стремление к созданию таких общественно-политических форм существования человеческого сообщества, которые способны обеспечить наиболее благоприятные условия для его всестороннего развития в интересах как отдельной личности, так и социума в целом»[3], — утверждает А.А. Галкин, имея в виду под левыми спектр идей слева от либералов, то есть социалистов (включая коммунистов и анархистов). Получается, что под социалистами («левыми») следует понимать тех, кто борется «за наиболее благоприятные условия» в интересах и личности, и общества — за «все хорошее». Но почему тогда в этой замечательной компании не умещаются либералы, включая самых радикальных неолиберальных «ястребов»? Ведь, если их послушать, они тоже выступают за развитие «в интересах как отдельной личности, так и социума в целом». Даже Гитлер утверждал, что стремится к триумфу арийского социума в целом и отдельной личности сверхчеловека. «Главная характеристика», сформулированная с социал-либеральных позиций, не позволяет отделить левых от иных направлений. Зато она отделяет левых от самих себя. Ведь сторонники классовой борьбы, которые вообще не признавали наличие интересов общества в целом — левые. И радикальные коммунисты, растворяющие личность в тоталитарном «социуме» — тоже левые.

Никак не получается определить «главную характеристику» социалистов (левых) через лирические рассуждения о благих стремлениях. Благими устремлениями устланы все пути — и в ад, и в рай. Но левые,

социалистические пути должны все же чем-то отличаться от других. Не поняв «главную характеристику», не о чем и говорить.

Даже беглое сравнение социалистических (и включенных в социалистическое множество коммунистических) учений показывает их невообразимую разнородность. Среди сторонников тех или иных социалистических концепций можно найти Маркса и Бакунина, Герцена и Ленина, Сталина и Прудона. В рамках социалистических течений кипят споры, которые малопонятны респектабельным либералам и консерваторам. Конечно, они (нередко и с оружием в руках) оспаривали друг у друга право править «непросвещенными» массами. Но социалисты – другое. Их ставка – не власть, и даже не темпы продвижения человечества в будущее (как у консерваторов и либералов). Сторонники социализма оспаривают друг у друга само направление этого движения, его формы и принципы. Они живут в будущем. Социализм пронизан утопией насквозь, он не может жить без нее. В этом его слабость и уязвимость для критики. Но в этом – его сила и бессмертие. Если либеральная утопия, осуществляясь, опровергает сама себя, то даже крушение того или иного социалистического эксперимента дает новую силу другим потокам социалистической идеи. Без социализма человечество потеряло бы перспективу, было бы обречено на конец истории, вечный тупик, приводящий к гниению и распаду. Везде, где люди думают о будущем, о необходимости совершенствовать общество (социум), в котором они живут – везде неизбежен социализм как движение мысли и общественной практики.

Глава I

Социализм в системе исторических координат

Само слово «социализм», появившееся во Франции в первой половине 30-х гг. XIX в.[4], противопоставляет эту идею и общественный идеал только двум направлениям – либерализму с его апологией частной собственности и индивидуализма, и традиционализму с его верой в благотворность неизменности и покоя. Социалисты заняты проблемой совершенствования социума. Общество, современное социалистам, основано на угнетении большинства людей узкой элитой. Эта проблема угнетения, господства меньшинства и страдания большинства, стоит в центре внимания социалистов. Они по-разному объясняют сложившийся порядок. Но обязательно предлагают заменить данное общество иным, социалистическим – социализмом. **Критерий любого социалистического общества (социализма)**[5]**— отсутствие эксплуатации, угнетения одними социальными слоями (господствующей элитой, кастой, эксплуататорскими классами) других (трудящихся, эксплуатируемых) классов. Преодоление классового разделения, социально закрепленного неравенства – ключевое требование к обществу, которое претендует на название социализма.** Основные социалистические течения увязывали преодоление классового деления также с преодолением государства как организованного насилия. Связь преодоления социально-закрепленной иерархии и механизма этого закрепления логична. Так, К. Маркс и Ф. Энгельс писали: “Отмена государства имеет у коммунистов только тот смысл, что она является необходимым результатом отмены классов, вместе с которыми отпадает сама собой потребность в организованной силе одного класса для удержания и подчинения других классов”[6]. Очевидно, что невыполнение этих условий не позволяет говорить о возникновении социализма и тем более коммунизма (эти термины употреблялись либо как синонимы, либо как две стадии одного общественного строя).

Все социалистические течения провозглашают стремление **преодолеть социальное неравноправие, разделение общества на классы, восстановить единство общества (социума), ныне раздираемого устойчивыми конфликтами интересов**.

Предлагаются самые разные модели социализма, но все они имеют общую черту – социалисты стремятся к усилению роли общества в обществе. От корня слов «социум», «социальный» (то есть общество, общественный) и происходит «социализм». В этом корне кроется суть учения, общая для всех его направлений[7].

Это значит, что важнейшие процессы в социуме должны находиться под общественным контролем, а не под контролем социальной элиты (капитала при “капитализме”, феодалов при “феодализме”, бюрократии, технократии и др.). Общество должно контролировать собственное развитие, не отдавая свою жизнь на откуп олигархии.

Если капитализм – это общество, в котором господствует капитал, феодализм – феодалы, то **социализм – это общество под контролем общества. Или обществ, сообществ.** Эта поправка разделяет социалистов на два главных направления. Социализм в этом отношении шире всего остающегося несоциалистического спектра общественных идей. И это естественно. Несоциалистические «измы» работают с общественными формами настоящего, а социализм устремлен в будущее. Он футурологичен, но только в той части, которая не осуществилась как реальная общественная система. «Социализм» состоявшийся в реальной истории XX века показал, что он – не социализм. Он не реализовал основных требований социализма к будущему – в СССР и Китае, на Кубе и в Корее общество по-прежнему было расколото на классы с враждебными интересами, всеми признаками угнетения и подавления. Такому

«социализму» труднее пройти в будущее, чем верблюду в игольные уши. Он сделал все, что мог – приблизил свои страны к стандартам социального государства.

Изначально социализм бросал вызов современному ему общественному устройству, прежде всего капиталистическому. Еще в начале XX века социализм был синонимом крайнего неприятия сложившихся общественных отношений. Позднее, занявшись конструктивным изменением социума, социалисты «выросли» в реальность и шаг за шагом стали изменять ее в соответствии со своими идеалами или вопреки им. Но, все же уводя мир от того состояния, в котором застали его.

* * *

В каком направлении и какими темпами следует совершенствовать общество с точки зрения теоретиков социализма? Идет ли речь о «смазке деталей», или о кардинальном изменении устаревшей социальной конструкции?

Изначально социализм бросал вызов современному ему общественному устройству, прежде всего капиталистическому. Еще в начале XX века социализм был синонимом крайнего неприятия сложившихся общественных отношений. Позднее, занявшись конструктивным изменением социума, социалисты «выросли» в реальность и шаг за шагом стали изменять ее в соответствии со своими идеалами или вопреки им. Но, все же уводя мир от того состояния, в котором застали его.

Принципы социализма складывались в этой борьбе. С одной стороны, они вытекали из отрицания капитализма, его эксплуатации с сопутствующей нищетой и роскошью, элитарностью, монополизмом и хаосом. Другой стороной социализма была попытка последовательно провести принципы более ранней либеральной утопии, бросить вызов капиталистическому обществу с помощью его же собственных идей, уже распространившихся в массовом сознании. Равноправие и демократия должны быть распространены на все сферы жизни, а не только на ее политико-правовую сторону.

Суммируя социалистические экономические идеи, М. Туган-Барановский утверждал: “Сущность социализма заключается в требовании экономического равноправия всех членов общества”[8].

Социализм как идеология не призывал ни к тоталитаризму, ни к отказу от либеральных ценностей **свободы, равноправия и демократии**. Он просто показывал, что либерализм непоследователен, так как подчиняет эти принципы господству частной собственности, которая пожирает их. Либерализм не способен обеспечить выполнение принципов, которые провозгласил. В этом отношении можно согласиться с Г. Мангеймом в том, что «перед социализмом стоит задача еще больше радикализовать либеральную утопию» [9].

Радикализм представляется чем-то опасным, не прагматичным, оторванным от реальности. Но ситуация переворачивается, если система, казавшаяся устойчивой и практичной, заходит в тупик. Если ее принципы не работают, их следует либо радикализовать, либо отказаться от них вовсе. Именно это и предлагает социализм. Он является лекарством от болезней капиталистического общества, и становится актуальным именно в период болезни.

Утопия и Христианство

Социалистическая идея ведет свою историю с XVI в., когда была написана первая социалистическая утопия **Томаса Мора** (1478-1535). Можно, подобно И. Шафаревичу, пытаться выводить социализм из практики древневосточных государств, так как в них была существенно ограничена частная собственность[10]. Но этот путь оценки социализма слишком очевидно окрашен красками идеологической войны.

Социализм – это не просто общество без частной собственности. Это не просто «некапитализм», но **«послекапитализм»**. Он противостоит не только капитализму, но также и традиционному обществу (феодализму и более ранним формам традиционализма). Социализм как идейное течение и социальное движение возникает в период перехода от традиционного общества к индустриальному. Он динамичен, он приветствует разрыв с прошлым, но недоволен результатами настоящего. Он настроен на будущее. В них есть вера в то, что после начала восстания все устроится само собой благодаря Божественному вмешательству. Возрождение, культура рациональной мысли требует социального конструирования.

* * *

Отношения социализма и традиционного общества корнями уходят в его отношения с традиционными религиями, прежде всего с христианством, раз уж социализм родился в Европе.

У христианства и социализма – трудная история отношений. Большинство сторонников социализма были атеистами, а то и гонителями на Церковь. Церковь с осторожностью относилась ко всяким новациям, будь то демократия или социализм. Так что возникает соблазн поставить христианство и социализм по разные стороны баррикад, объявить социалистическую идею бесовской. В то же время в христианстве так много общих идей с социализмом, социалистические идеи настолько много взяли у христианства, что нередко возникали общественные течения христианского социализма. И до возникновения современных социалистических учений вожди радикальных народных движений поднимались на борьбу с эксплуатацией с именем Христа. Так что отношения христианства и социализма сложней, чем противостояние.

Развитие капиталистических отношений, ломка традиционного общества – это не только прогресс, но и массовые бедствия. Бунты были неизбежны, и неизбежно было размышление интеллектуалов – как избежать социальных бедствий, несправедливости, нищеты на пути развития общества. Для хилиастов бедствия были предзнаменованием Второго пришествия. А раз оно близится, тут бы и помочь Господу, как бы спровоцировать его на приход. Мы приготовили тебе путь и место, устроили общество по твоим заветам. Приди. Ведь смысл жизни христианина заключается и в том, чтобы «приуготовить путь Господу». Настоящий христианин – немного хилиаст, ведь Царство Божие вызревает на земле, в толще социальных отношений.

Хилиастические попытки создать царство Божие на земле предшествуют социалистической утопии. Сталкиваясь с несправедливостью, они стремились переделать привести общество с нормами социальных отношений, о которых говорится в Библии. Это была непростая задача, если вспомнить о различиях требований Христа к человеческой жизни и Ветхозветного общественного уклада. Социализм предлагает разделить задачи. Есть Вера, есть общие требования Христа к обществу, и есть реальность, которая подлежит рациональному рассмотрению и переделке на основе этих общих требований.

Любопытно, что коммунист-хилиаст Мюнцер и основатель утопического социализма Мор оказались по разные стороны баррикад в религиозной революции XVI в., причем социалист сложил голову как верный католик, не признав реформацию, а хилиаст довел борьбу реформаторов до накала борьбы с эксплутататорами.

Утопия в религиозном плане умереннее хилиазма, она не требует от Бога явиться и возглавить перемены. Утопия предлагает людям устроить мир по-божески, насколько это возможно.

Как верующий католик, Мор готов голову положить на плаху ради неизменности религиозных норм, а как социальный мыслитель мечтает о гуманистическом общественном устройстве, при котором по стране не ходят толпы нищих. Утопия для Мора – не идеал, а возможность жить иначе – все же лучше, чем в современной ему Британии.

До Маркса социализм не был накрепко связан с атеизмом. Появление термина «социализм» в 30-е гг. XIX в. во Франции произошло еще в эпоху, когда социалистическое учение проповедовали христиане. Религиозные истоки присутствуют и в русском социализме. Социализм – «общество без правительства, свершение христианства и осуществление революций»[11], – утверждает Герцен. Ему вторит В.А. Энгельсон: «Если читаешь их (Сен-Симона, Кабе, Фурье, Прудона – А.Ш.) писания, не держась мертвой буквы, а вникая в дух, нельзя не увидеть, что действительно мы теперь разрабатываем то самое учение, которое древние начинали усматривать по указанию Христа»[12].

Основные идеи социализма вытекают из христианской культуры. Христос недвусмысленно высказался по поводу многих социальных явлений. «Не собирайте себе сокровищ на земле…» При этом он – не категорический противник предпринимательства, в его притчах мы встречаем положительные отзывы о прибыльной деятельности (так что из других направлений социализма христианский взгляд ближе рыночному социализму Прудона – также христианина, хотя и критика католицизма). Просто не следует ставить погоню за прибылью в основу жизни человека, его преуспевания. Ибо «не можете служить Богу и маммоне».

Христос призывает людей жить в соответствии с золотым правилом нравственности: «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки». Из этого вытекают и социалистические идеалы равноправия и солидарности. Капиталист не может поступать с рабочими и конкурентами также, как он хотел бы, чтобы они поступали с ним. Он немедленно разорился бы, раздав свою прибыль на зарплату и сообщив конкурентам все секреты фирмы. Золотое правило нравственности может реализоваться только в обществе, где нет разделения на собственников и их работников, где преуспевание не покупается разорением других людей. Если такое общество возможно, то оно называется социализмом. Христос призывает нас к высшему альтруизму: «возлюби ближнего своего как самого себя». В эпоху резкого социального расслоения выполнение этого идеала со стороны собственника возможно только одним образом – раздать все бедноте. К этому и призвал богача Иисус. При соблюдении христианских заповедей капитализм просто не может работать. Приближение к христианскому идеалу социального поведения означает удаление от либеральных ценностей частной собственности к социалистическим ценностям социально-экономического равноправия и альтруизма.

Царство Божие, как семя, вызревает на земле. Христианство – не только духовное, но и социальное явление. В этом пространстве социализм и христианство пересекаются. Но они не совпадают, как не совпадают пересекающиеся оси координат. Христианство отмеряет высоту духа, тянется ввысь. Социализм – гармонию общественных отношений, ее ширь. Приверженцу либеральных ценностей индивидуального преуспевания тяжелее пройти в царствие небесное, чем верблюду в игольные уши. Сторонник социального раскрепощения, если его сознание не отравлено догмой атеизма, создает условия, в которых и духовное раскрепощение становится более доступным. Ведь духовное раскрепощение – это не повторение фраз из

Писания, но и жизнь по Писанию – без лжи, зависти, насилия – в Любви и Правде. Многим ли позволяет это современное общество? Какая сила духа нужна, чтобы действительно (а не на словах) жить так сегодня. Если обществу предстоит меняться, то лучше, чтобы оно стало в большей степени похоже на Царство Божие.

Мюнцер живет в средневековье, он одержим радикальной религиозной реформацией, которая открывает дорогу для царства Божия на земле[13]. Хилиазм надеется создать из существующего аграрного общества новый мир путем духовно-религиозного порыва.

«Утопия» — «место, которого нет». Еще нет. Социализм конструирует новое общество как научное нововведение в тесной связи с техническим прогрессом. Если можно сконструировать более удобный предмет, то можно придумать и более удобное общество. По этому же пути идут и либералы, но «отцы конституций» конструировали политические машины, в то время как первые социалисты шли дальше и пытались нарисовать целостные общественные системы, в которых никто не останется «за бортом».

Мор, предвосхищая многие социалистические учения, видит выход в ликвидации прикрепления людей не только к собственности, но и к определенному производству и месту жительства. Люди в его «Утопии» перетасовываются по жребию, как карты, меняя профессии и жилища (впрочем, почти одинаковые). Это создает возможность избавиться от денег и устроить жизнь с наибольшей рациональностью[14]. Мор мыслит, как и подобает людям Возрождения и (впоследствии) Просвещения – **рационально** организованная жизнь ведет к счастью. Необходимо преодолеть наследие непросвещенного времени, которое мешает рациональности. Важнейшее препятствие – частная собственность.

Хронологически вслед за «Утопией» Т. Мора следует Мюнстерская коммуна, в которой именем Бога было обобществлено имущество. Но это – явления разного порядка. Т. Мор пытался описать рациональные отношения, Мюнстерская коммуна держалась на религиозном энтузиазме. Совпав по времени, они символизировали разные эпохи – зарю идеологии и закат хилиазма. Впоследствии социалистические учения унаследовали эсхатологический энтузиазм хилиазма, но их суть была в ином – в попытке предсказать оптимальный путь в будущее. Социализм был основан не на религиозной традиции, а на **научном методе – исследовании возможного и оптимального пути человечества**.

* * *

Первоначально социалистические идеи опирались на морально-этические и религиозные основания. Но в рациональном XIX веке социализм унаследовал от Просвещения рационально-научную аргументацию, превратившись в социальную науку, своего рода социальную инженерию. Разумеется, социалисты после этого могли продолжать верить в Бога, хотя большинство склонялось к атеизму. Сциентизм социалистических учений приобрел собственную инерцию, превратив некоторые социалистические доктрины в своего рода светские религии, нетерпимые в отношении конкурирующих вероисповеданий. Антиклерикализм придал социалистическому движению черты реформационного движения. В то же время распространение приобрели христианское и буддистское течения социализма, сохранившие связь с религиозными корнями. Но даже наиболее радикальные антиклерикалы в социалистическом движении, включая К. Маркса, как мы увидим, не могли избавиться от библейских стереотипов своего культурного базиса.

За последние два века социализм и христианство накопили друг к другу множество претензий. Атеистические клеветы на Церковь, костры Инквизиции, коммунистические гонения, к которым большинство остальных социалистов отнеслись равнодушно (как, прочем, и большинство либералов того

времени), защита угнетательских порядков Церковью и даже прямое подчинение деспотической власти, и т.д., и т.п. Если попытаться систематизировать все это, то получатся сходные вещи. Оба учения обвиняют друг друга в применении насилия, службе деспотизму, предательстве собственных принципов. Очевидно ведь, что Торквемада столь же далек от Христа, как Берия – от Маркса. И социалистические теоретики XIX века подумать не могли о предстоящем полицейском контроле за верующими в СССР, также как первые христиане содрогнулись бы, узнай они об обязанности священника царской России доносить светским властям об услышанном на исповеди. В этих чертах перерождения – не свойство религии или социализма, а свойство идей как таковых, которые при проникновении в практику «обмирщаются» и проникаются духом мира сего.

Любой культурный пласт – и христианский, и социалистический – это синтез высокой идеи, модели бытия, и самого этого бытия – реальных людей с их страстями, культурной недостаточностью и недоразвитостью, рефлекторной склонностью к насилию. В реальных людях – раз они люди – всегда присутствует искра Божия и искра разума, но часто – лишь искра. А еще в них много полуграмотного, полуживотного, нечистого (и от Нечистого). Думая, что защищает Христианство от его врагов, человек может впасть в изуверство и садизм, то есть стать слугой Врага. Полагая, что строит социализм, человек может творить прямо противоположное – возводить тоталитарную Вавилонскую башню без свободы и справедливости. Это соединение идеи и быта, Откровения и человека, Идеи и практики порождает широкую палитру выводов и действий от величайших звездных моментов истории до величайших же преступлений и ошибок. А в промежутке – все наши ошибки, подлости, текучка, прозрения и мужественные поступки, из которых соткана жизнь. Христианство и социализм прорастают в реальной жизни трудно и с издержками, но без них эта жизнь осталась бы скотным двором.

Христиане знают, что мир несовершенен из-за несовершенства человека. Социалисты добавляют – но не только. Условия жизни воздействуют на человеческие характеры, на действия людей. Меняя условия, можно способствовать изменениям людей. Но и обратная точка зрения – характеры людей не зависят от общества – столь же однобока. Человеческие отношения воздействуют на нас ежеминутно, и только человек с невероятно сильной волей и духом может противостоять им. От эпохи к эпохе условия жизни меняются, они могут больше или меньше способствовать духовному росту людей. Очевидно, что общество, основанное на погоне за прибылью, на измерении любых ценностей деньгами, на тотальном манипулировании массовой информации и «промывании мозгов» – одно из главных препятствий для среднего человека в его духовном развитии. Конечно, и в этих условиях можно и нужно оставаться Человеком. Но с этой точки зрения нет ничего дурного в стремлении к социальным переменам.

Социализм исходит из общего с христианством посыла – человек должен совершенствоваться, быть гуманней и альтруистичней. Социализм ищет путей к этому – иногда в масштабах небольших поселений, иногда – целых стран. Не случайно, что эксперименты Оуэна и других провозвестников социализма так напоминают монастыри. Не был ли Сергий Радонежский социалистом?

Социалисты пытаются создать условия, в которых человек может становиться Человеком.

*** * ***

Первые века своей истории социалистическая мысль была далека от практики. Путь перемен был запрограммирован переходом от традиционного аграрного общества к индустриальному в его капиталистической форме. В центре внимания мыслителей были гарантии для преобразующей мир элиты, выраженные в конституционных нормах. Социальные гарантии для всех были еще не актуальны.

Утопии XVI-XVIII вв. хорошо исследованы. Здесь нам не стоит останавливаться на них подробно. Дело даже не в том, что социализм того времени еще слишком наивен и механистичен, чтобы перейти к практике. Как только социализм стал становиться на практическую почву, он быстро очистил свое наследие от излишних деталей, актуальных только для времени написания того или иного трактата. Но все, что годилось для более позднего времени, было унаследовано учениями XIX века, которые превратили социализм в важный фактор общественной жизни. В дальнейшем утопии прежних столетий воспринимались лишь как подтверждение "древности рода" течения, не более. Их основные идеи унаследованы более поздними теориями, а детали устарели вместе со средневековым бытом.

Иное дело – палитра социалистических взглядов, родившаяся в XIX веке. Она созвучна проблемам индустриального общества, в котором мы продолжаем жить по сию пору. И при этом начиная с XIX в. социалисты заглядывали в пост-индустриальное будущее.

Социализм второй половины XIX – XX вв.– **живой участник** событий, и оценка его течений обусловлена политическими позициями авторов. Только сейчас, когда позади осталась наиболее жаркая схватка между последователями различных социалистических направлений, мы можем спокойно проанализировать – что оставили они нашему общему будущему.

У истоков двух социализмов

Очевидная причина появления социалистической идеологии – кризисный характер перехода от традиционного общества к индустриальному. Капитализм осуществлял этот переход хаотически, процесс сопровождался разорением миллионов людей, всплеском массовой нищеты, разрывом между роскошью элиты и страшными страданиями большинства трудящихся. Разоблачение язв капитализма занимает в трудах социалистов больше места, чем обоснование и описание их конструктивного идеала. Это и понятно. Мир капитализма казался настолько абсурдным и антигуманным, что его уничтожение само собой должно было привести к новому счастливому общественному устройству. В начале XXI в. очевидна наивность этой логики «от противного». Встает вопрос, насколько социалистическая идея остается актуальна сегодня, когда многие язвы капитализма потеряли былую остроту. Но они не исчезли, что особенно хорошо заметно, если не ограничивать анализ рамками Северной Америки и Западной Европы. Не будем также забывать, что современный капитализм уже во многом пропитан социализмом. И попытка неолибералов преодолеть социалистическое наследие современного общества может вскрыть застарелые язвы.

Еще в 40-е гг. XIX века социалисты разных направлений быстро находили общий язык на почве критики капитализма.

Маркс учился у Прудона (хотя потом отрицал это), а Бакунин — у Маркса. Но уже в 70-е гг. стало ясно, что социалисты зовут общество в разных направлениях. Суммируя эти разногласия, Бенджамин Таккер писал в конце XIX века: «Говоря в настоящей статье о двух путях обновления общественной жизни, нужно указать, что, хотя оба они сходятся в своем общем требовании свободного труда, – в то же время они резко расходятся в основных принципах будущей социальной жизни и в способах достижения намеченных целей; они расходятся друг с другом точно также, как и со своим общим врагом, — ныне существующим обществом. Их исходные точки зрения совершенно различны… Авторитет и свобода – это два принципа, противоположные по существу; имена же соответствующих им социальных течений: государственный социализм и анархизм. Тот, кто близко не знаком с целями и задачами обоих направлений, не сможет и понять основные идеалы современного социализма… Существуют два социализма… Один хочет добиться счастья для всех, другой хочет каждому доставить возможность быть по-своему счастливым»[15]. Так резко и афористично Таккер развел два основных направления социализма – **авторитарное** (государственное, централистическое, бюрократическое) **и антиавторитарное** (демократическое, освободительное, самоуправленческое, общинное, либертарное, федеративное). Обилие обозначений второго направления не случайно – оно более разнообразно. В приведенном списке терминов есть и некоторые несовпадения акцентов, впрочем, взаимосвязанных. Демократия предполагает народовластие, которое в реальности может существовать, только опираясь на развитую систему самоуправления. Но позитивное содержание этого течения социализма лежит глубже – в приоритете свободы над управлением. Поэтому корень «свобода» («воля», «либерта») в понимании этого течения социализма наиболее важен, и мы будем именовать его также **освободительным социализмом**.

Таккер настаивает на противостоянии двух направлений, отождествляя второе только с анархизмом – наиболее последовательной составляющей освободительного социализма. Но граница между двумя течениями не столь резка, и, как мы увидим в реальности потоки перемешивались.

* * *

Идеологи социализма видели два пути преодоления разделения общества на трудящихся и

эксплуататоров. Можно сделать всех пролетариев наемными рабочими на службе у "всех", а точнее – «законного» представителя "всех" – государства или иного организационного центра. В этом случае необходима централизация управления, передача всех сфер жизни под контроль мудрого и справедливого руководства. А можно наоборот – стремиться к тому, чтобы сделать всех хозяевами, соединить в одном лице работника и предпринимателя, сделать пролетария распорядителем его средств производства, и тогда путь лежит через децентрализацию общественной жизни, вытеснение управления (в том числе государственного) самоуправлением.

Признаки этого противоречия в социализме видны уже **в ранних учениях** XVI-XVII вв. – в частности, в трудах **Томазо Кампанеллы** (1568-1639) **и Джерарда Уинстенли** (1609 – после 1652), а также его современника Уильема Уолвина. Первый предложил концепцию тоталитарного (управляемого тотально, полностью, во всех общественных проявлениях жизни) общества. Английские социалисты, напротив, считали, что путь к всеобщему братству людей лежит через самоорганизацию малых общностей – общин, и предлагали отдать власть самоуправляющимся городам и приходам, отказавшись от централизованного государства.

*** * ***

Кампанелла приобрел большую известность сначала как католический полемист, затем как заговорщик и мученик, и, наконец, на закате дней, как астролог. Но именно его коммунистический проект не дал Кампанелле затеряться среди тысяч общественных деятелей Европы эпохи Контрреформации.

Кампанелла, как и Мор, стремится к рациональной организации. Во главе его «Города Солнца» стоит Метафизик. «Ничто не совершается без его (Метафизика) ведома… Распределение всего находится в руках должностных лиц,… должностные лица тщательно следят за тем, чтобы никто не получал больше, чем ему следует, никому, однако, не отказывая в необходимом…»[16] Формально действует демократия, но высшие начальники кооптируются — «Городе Солнца» действует теократия. Даже на низовом уровне о демократии тоже не приходится говорить, так как «все по отдельности подсудны старшему начальнику своего мастерства»[17].

Типичная тоталитарно-бюрократическая организация. Сейчас, когда подобные модели уже были опробованы на практике, можно предъявить Кампанелле целый фолиант возражений. Бюрократическая каста не будет служить народу, она будет подавлять и сам народ, и составляющих его индивидуумов. Рабство станет невыносимым. Кампанелла словно специально дает материал для страшных антиутопий: «начальники определяют, кто способен и кто вял к совокуплению, и какие мужчины и женщины более подходят друг другу; а затем, лишь после тщательного омовения, они допускаются к половым отношениям каждую третью ночь»[18]. Подобные предложения были реализованы только в коммунистической Кампучии. Естественно, начальники и там пользовались привилегиями.

Остается только понять, почему утопия Кампанеллы пользовалась определенной популярностью в век Просвещения, оказала влияние на более поздние течения мысли. «Жизнь сытая, гигиеническая, наполненная трудом, перемежающаяся физическим и умственным наслаждением, без забот о завтрашнем дне и без всяких тревог, – такая жизнь делает жителей Государства Солнца сильными и здоровыми»[19]. Если Ваша участь – жить в нищете, то, может статься, Вы поневоле станете мечтать о теплой правильно организованной казарме, где вас обеспечат «всем необходимым», то есть трехразовым питанием и прочной теплой одеждой. Даже особью противоположного пола «после тщательного омовения». В эпоху перехода от традиционного общества к индустриальному нищета и социальная неразбериха достигает таких масштабов, что последователи Кампанеллы (конечно, более практические и гибкие) приобретают

большое влияние. Но, как показывает опыт XX века, человек развитого индустриального общества уже не может долго жить в казарме.

Утопии Мора и Кампанеллы – вневременной идеал. **Джерард Уинстенли** был практическим политиком, пытавшимся воплотить в жизнь свою программу, основные положения которой были изложены в работе «Закон свободы». Он выступает за создание в общинах (а не в одной общегосударственной общине) совместных складов, куда направляется все произведенное, и откуда каждый получает все необходимое. Но жители этих общин должны жить не одним хозяйством, как у коммунистов Мора и Кампанеллы, а самостоятельными семьями. Твердой автократической системы не существует. В приходах проходят выборы руководителей – судей. Судебная функция – основная задача власти. Важно, чтобы все действовали по закону. Законы принимает парламент[20].

Радикальный современник Д. Уинстенли У. Уолвин идет еще дальше. Он выступает за обобществление имуществ (как Мор и Кампанелла) и полную ликвидацию правительств (это – впервые): «Если возникнет какое-нибудь несогласие, возьмите сапожника или любого другого ремесленника с репутацией честного и справедливого человека, предоставьте ему выслушать и решить спор, а затем дайте ему вернуться к его работе»[21]. По сути Уинстенли выступает за то же самое, но в более умеренном, приближенном к условиям Англии варианте. Он требует ежегодного переизбрания всех чиновников, разделения властей между различными должностями. Наряду с прямыми выборами парламента в модели Уинстенли действует система делегирования, когда сенат графства формируется из нижестоящих выборных миротворцев. Чиновник, прежде чем принять решение о принуждении, должен провести процедуру увещевания нарушителей закона.

Если Мор и Кампанелла выступают за чистый коммунизм, когда все имущество принадлежит обществу (то есть, либо никому, либо начальникам), то Уинстенли — социалист, не коммунист. Он полагает, что общество ответственно за благосостояние личности и семьи, но не должно их поглощать.

Уинстенли спорит со сторонниками полного коммунизма: «Некоторые люди, слыша о всеобщей свободе, полагают, что должна быть общность всех плодов земли, независимо от того, будут ли они работать или нет, и поэтому они рассчитывают жить в праздности за счет труда других людей»[22].

Уинстенли считает, что все должны трудиться, и за этим будут следить надзиратели. В этом отношении более демократичный Уинстенли все же недалеко ушел от Кампанеллы. Но принуждение к труду хоть и снимает проблему полного паразитизма, но не проблему качества труда. Можно паразитировать, имитируя работу из-под палки. Современных исследователей возмущает также контроль общинников друг за другом, надзиратели, предусмотренные в программе Уинстенли. Но слово «надзиратель», от которого веет тюремной камерой, можно заменить и другим, что-то вроде «шериф». В общинах Уинстенли есть люди, которые следят за порядком и соблюдением норм морали. Нельзя забывать, что это время, когда пуританская мораль была преобладающей в «демократическом лагере».

Общинники должны работать вместе (таким образом приглядывая, чтобы никто не отлынивал), все отдавать на склад и получать со склада. Внутренняя торговля, которая ведет к закабалению одних людей другими, запрещена. Никто не останется голодным, если община поработала хорошо. Именно в этом Уинстенли видит залог свободы: «Истинная свобода царит там, где каждый человек получает питание и обеспечение, которые заключаются в пользовании землей»[23].

Это высказывание показывает, что свобода является приоритетом для социалиста Уинстенли. Но ведь он выступает за очевидные ограничения свободы личности. Прежде всего это – принуждение к труду. Но в аграрном обществе (а Уинстенли, как и Кампанелла, мог рассуждать только о нем) праздность одних могла обеспечиваться только дополнительным трудом других. Значит, свобода последних подавлялась бы отлынивающими. Чем более равномерно был распределен труд, тем более равномерно распространенной

(истинной) будет и свобода.

На другое важное ограничение свободы обращает внимание Т.А. Павлова – проповедник не имеет права толковать закон. «Никакого свободомыслия Уинстенли не допускает…», – считает исследователь[24]. Но тут же выясняется, что Уинстенли выступает за диспуты общинников на научные темы. Следовательно, запрет толкования закона направлен не против дискуссий вообще, а против произвола проповедников, их вмешательства в дела судей. Закон должен быть как можно более очевидным, а если его толкование необходимо, то это – прерогатива судей.

«В его утопии царит диктатура закона; тоталитарен сам порядок, раз навсегда установленный и незыблемый», – считает Т.А. Павлова[25]. Этот вывод представляется не вполне справедливым. Диктатура закона – это уже не тоталитаризм, даже если закон суров и деспотичен. В таком обществе нет места произволу и всевластной правящей олигархии, которые присущи тоталитарным системам. Порядок, предлагаемый Уинстенли, авторитарен. Но авторитарно любое аграрное общество, в том числе и формально либеральное. В случае победы сторонников Уинстенли установилось бы общество, которое оказалось бы менее «незыблемым», чем даже республика «лорда-протектора» Оливера Кромвеля. Ведь власть предлагалось передать общинам, в которых живут разные люди с разными представлениями и интересами. **Общинный плюрализм – не менее действенный фактор перемен, чем государственная воля.**

Свою позицию Уинстенли аргументирует постоянными ссылками на Священное писание. Он проводит прямые параллели между своей программой и Древнеизраильской республикой. Социализм зарождался как учение религиозных людей. Но в то же время с самого начала он формировался как наука об оптимальном устройстве будущего общества, а не как вероучение. Поэтому его построения основаны на более или менее последовательных логических заключениях, а не на вере.

* * *

Социально-политические идеи Уинстенли век спустя были развиты его соотечественником **Уильямом Годвином** (1756-1836). Годвин соперничает в веках с Прудоном как претендент на титул «отца анархизма». Английский мыслитель преуспел в критике государственности и выдвинул принципиальные требования к альтернативному государственности социально-политическому устройству. Но сам термин «анархия» Годвин употреблял в отрицательном смысле – как «хаос». Прудон решился публично объявить себя сторонником анархии. Но, как мы увидим, место Прудона в истории социалистических идей значительно крупнее – он вышел за рамки чистой утопии, моделирования будущего, не привязанного к современной социальной почве, и утвердил идеалы самоуправления людей и сообществ на фундаменте анализа развивающегося индустриального общества. Годвин стал современником бурного индустриального развития в Англии, но так и остался еще сыном Просвещения, когда рациональные выводы производятся из абстрактных вечных истин, освещающих пути, коим подлежит следовать просвещенным гражданам.

Просвещение заложило в идеологию социализма понимание связи социальных преобразований с уровнем культуры и знаний. Годвин писал: «Безусловное царство разума – вот начало, призванное заменить право»[26]. Образованные и воспитанные люди не нуждаются в писанном праве, так как и без этого зла ведут себя достойно в отношении друг друга. Симпатии Годвина – на стороне просвещенного меньшинства, но именно в силу своей разумности оно не может навязывать свои взгляды силой.

Годвин критикует и абсолютизм, и парламентаризм, при котором меньшинство вынуждено подчиняться большинству, содействовать проведению в жизнь решений, которые считает неверными,

вместо того, чтобы «действовать, подчиняясь исключительно требованиям собственного разума»[27]. Обожествление Разума предполагает свободу разумного человека от принуждения, а это, в свою очередь, подразумевает неразумность власти, навязывающей свои решения не убеждением, а принуждением, даже если это принуждение исходит от большинства. Власть для Годвина – неизбежное зло, которое необходимо свести к минимуму по мере роста культурного уровня людей. В этом отношении социалистический проект опирается на процесс просвещения.

* * *

Годвин четко разводит интересы общества и государства: «Надо хорошенько отличать государство от общества»[28]. И в его время, и в наше проводники авторитаризма часто подменяют одно другим, чтобы убедить общество доверить свои интересы государственной бюрократии.

Годвин понимает, что в крупных государствах народу труднее контролировать бюрократическую верхушку: «Все бедствия, присущие государству, становятся более тяжелыми, если оно обширно, и более сносными по мере того, как его территория суживается»[29]. Это мнение пережило века и стало, например, одним из мифов национальных движений в период распада СССР. Получившиеся на развалинах СССР государства в большинстве своем далеки от идеалов демократии. Однако со времен Спарты было известно, что и в микроскопическом государстве может существовать не меньшая деспотия, чем в империи. Все зависит от устройства общества. В дальнейшем социалисты, в том числе анархисты, выступали за создание обширных федераций вплоть до мирового союза, что не исключало широкую автономию общин.

Между двумя крайностями – деспотизмом и безвластием, Годвин выбирает второе: «Анархизм (здесь следует читать «анархия» – А.Ш.) – ужасное зло, деспотизм же – еще худшее»[30]. Но это – выбор между двумя крайностями, а не одобрение анархизма.

Отмежевавшись от анархизма таким двусмысленным образом, Годвин породил среди исследователей социальной мысли дискуссию о том, является ли он анархистом. Разумеется, самоидетификация Годвина в этом споре не так важна – принципиально не то, кто придумал слово, а кто выдвинул конструктивную программу анархизма. Труды Годвина не относятся к источникам идей Прудона, но был ли Годвин предшественником «отца анархизма»?

Эльбахер относит учение Годвина к анархизму[31]. А. Чудинов оспаривает это мнение, ссылаясь на определения анархизма Г. Адлера («общественный строй с мыслимо широкой автономией индивидуумов и возможно полным отсутствием всякого правительственного принуждения»), П. Эльцбахера («философско-правовое отрицание государства») и Э. Ценкера («абсолютное неограниченное самоуправление индивида и соответственно отсутствие какой-либо внешней власти»)[32]. Все три определения неудачны, так как либо слишком размыты, либо, как в случае с Ценкером, прямо противоречат конструктивным предложениям таких классиков анархизма, как Прудон, Бакунин и Кропоткин. Ссылки Г. Адлера на «мыслимо широкую» автономию и «возможно полное» отсутствие ближе к анархистским текстам, но под это определение попадает и часть либеральных и коммунистических идей. А под определение П. Эльцбахера попадает также и марксизм, который стремится к отмиранию государственности, то есть также в принципе его «отрицает».

Чтобы дать определение анархизма, необходимо рассмотреть тексты признанных основоположников учения. Однако даже беглое сравнение учений Прудона и Бакунина позволяет выделить несколько основных социальных идей, характеризующих учение анархизма.

Анархизм – сложное социальное учение, которое отличает не требование немедленной ликвидации всякой власти (если это было бы так, то анархистами не были бы ни Прудон, ни Бакунин, ни Кропоткин), а стремление к максимально возможной свободе людей за счет сведения центральной власти к минимуму. Государство действительно воспринимается анархистами как зло, но это не значит, что в анархисты предлагают немедленно обходиться без власти. Ведь необходима координация как на уровне производства, так и для решения общих задач народов. Анархисты предлагают принципиальные решения этих проблем – самоуправление (как правило – общинное и коллективное) и федерализм – выстраивание власти не сверху, а снизу, по принципу союза общин и их объединений. Права общенациональных и наднациональных структур сводятся к необходимому минимуму (подробнее об этом мы будем говорить в следующих главах). И только позднее власть, по мнению «отцов анархизма», будет полностью вытеснена.

Идеал Годвина откровенно анархичен: «с какой радостью должен каждый просвещенный друг человечества ожидать наступления того прекрасного времени, когда исчезнет политическая власть, эта жестокая машина, являющаяся неиссякаемым источником людских пороков…»[33].

Но Годвин считал, что в современных условиях конфедеративное государство необходимо для выполнения ряда минимальных функций – возмещение ущерба по суду, поиск преступников, разрешение споров между общинами, оборона. Обобщая, Годвин писал: «Власть имеет лишь два законных предназначения: пресекать несправедливость по отношению к отдельным личностям внутри общины и обеспечивать совместную защиту против внешнего вторжения»[34]. Таким образом, Годвин ставит проблему защиты личности не только от государственного деспотизма, но и от общины.

При этом Годвин считает, что «определенная степень власти и принуждения»[35] будет необходима лишь первоначально после победы его учения. Однако в связи с упоминанием Годвином такой временной власти А.В. Чудинов выносит свое заключение: «Одним словом, государство в переходный период сохранялось, а следовательно, никакого анархического идеала там не было»[36]. Этот вывод не может быть принят по ряду причин. Во-первых, речь у Годвина идет о власти в местном самоуправлении и конфедерации, а не о централизованном государстве, которое категорически отрицают анархисты. Во-вторых, Годвин говорит здесь о переходном обществе, а не о своем идеале (который оценивает А.В. Чудинов). Идеал – одно, переходное общество, путь к идеалу – другое.

Идея переходного общества, в котором сохраняется власть (хотя и ослабленная и продолжающая ослабевать) будет присутствовать во многих анархистских программах наряду с анархистским идеалом. От государственного социализма, который в перспективе также видит отмирание государства, идеи анархистов отличаются четким отрицанием даже временного усиления государства как орудия построения нового общества. Анархисты выступают за федеративные и конфедеративные системы, в которых власть и собственность (владение) концентрируется в автономных общинах, а не в революционном правительстве.

В этом отношении Годвин вполне укладывается в рамки анархистского учения. Но главное – он и в других отношениях близок к анархистской социальной модели. Как и Уинстенли, Годвин считает, что люди должны жить общинами. Общинников объединяет общее имущество, что исключает бедность одних и роскошество других. Общинники должны поровну распределять между собой работы и доходы.

Но этого недостаточно, чтобы считать Годвина «отцом анархизма». Как мы видели, и до него высказывались идеи, близкие анархистским. «Отцом» современного анархизма является Прудон. Он описал целостную систему самоуправления и федерализма, которая по мере своего развития должна привести к анархии. И, что в смысле «отцовства» даже важнее – Прудон положил начало непрерывной традиции анархического учения. Если трактовать анархизм как политическую позицию, то Годвин занимал эту нишу в Великобритании XVIII века, как Уинстенли – XVII века. Годвин предвосхитил многие предложения современного анархизма. Но анархисты XIX-XXI вв. являются последователями или

последователями последователей Прудона, а не Годвина. Как и большинство социалистов, утопии которых были порождены Просвещением, Годвин разработал систему, но не смог породить долгоживущей традиции.

* * *

Промежуточным звеном между Мором и Уинстенли с одной стороны, и Годвином и Оуэном – с другой, оказались еще два англичанина. Роберт Уоллес в сочинении «Размышления о человеческой природе и провидении» (1761) рисовал картину строя коммунистических общин. Уоллесу уже не присуще характерное для старых утопистов представление о новом обществе как вневременном идеале. Он ищет практических путей перехода от нынешнего общества к коммунистическому как через создание поселений в малонаселенных странах (по этому пути позднее пойдут Оуэн, последователи Фурье и религиозных сект), либо путем революции. В то же время Уоллес с грустью видит угрозу гибели коммунизма из-за перенаселения.

Джон Беллерс (1654-1725), английский меценат и квакер, опубликовал в 1695 г. «Проект устройства промышленных колоний для всех полезных ремесел и сельского хозяйства, каковые колонии доставили бы богатым хорошую прибыль, бедным достаточное содержание, а молодежи хорошее воспитание, что путем увеличения народонаселения и его благосостояния принесет пользу правительству». Названия книг XVII века нередко напоминают оглавление.

Беллерс предвосхитил идеи как Оуэна, предлагая организацию общин-колледжей на коммунистических основах, так и Фурье, пытаясь привлечь инвесторов долей от прибыли. Но в целом проект Беллерса – типичное явление старого утопизма – с подробной детализацией и рационалистическим деспотизмом распорядка.

Французские утописты XVIII в., соединившие утопию с логикой Просвещения, мало что добавили к конструктивной программе социализма. Желчный диссидент Жан Мелье выдвинул лозунг «Люди всех стран – соединяйтесь», ставший калькой для известного лозунга о пролетариях. Моралист Морелли также в самой общей форме предвосхитил идеи Л. Блана, Ш. Фурье и Р. Оуэна (впрочем, во многом повторив Д. Уинстенли). Преуспевающий поклонник Ликурга Габриэло-Бонно де Мабли выдвинул ряд предложений по переходным мерам от реальности к утопии (запрет спекуляции, ограничение права наследования), отчасти предвосхитив практику якобинцев и теорию Сен-Симона. Но в остальном утописты вплоть до Великой французской революции недалеко ушли от Мора, Кампанеллы и Уинстенли как в методологии, так и в конкретных идеях.

Утопия на пороге практики

Великая французская революция, обнажив социальные конфликты, поставила социализм в повестку дня. Но она «надорвалась», так и не перейдя к этой повестке. Эта революция мыслила в либеральной парадигме Просвещения. Ее лидеры говорили о равенстве, понимая под ним гражданское равенство, политическое равноправие. Но развитие событий толкало революционеров к пониманию связи политико-правовых и социальных проблем.

Ситуация беспрецедентного социального кризиса, энергия которого продвигала общество все дальше от традиционных устоев, превращала последний бунт XVIII века в первую революцию эпохи модернизации XIX-XX веков. Интеллектуальная логика Просвещения делала этот процесс перехода необратимым. Столкнувшись с бедствиями, социальные низы (и нищие рабочие, и безработные нищие, и бедствующие ремесленники, и мелкие предприниматели – воспринимавшие себя не как разные классы, а как единое сообщество санкюлотов) стали требовать нового типа преобразований. Предвестием этого стало требование твердых цен, выдвинутое еще бунтарями 1775 г. Как это устроить? Вернуться к абсолютизму (впрочем, как раз и виновному в нежелании бороться с экономическим кризисом)? В 1792 г. такой путь казался уже невозможным, Просвещение приучило даже широкие и малообразованные массы конструировать только новое, правильное общество, как совершенную машину. Не только политика, но и экономика должна как-то правильно управляться. Старое абсолютное государство уходило в прошлое, но голодные массы требовали государственной защиты, усиления государства в новой форме и на новом поприще. Уже при рождении либеральной «свободы» становилась очевидна ее неустойчивость, провиделось будущее бюрократическое регулирование экономики во имя устойчивости рынка и социальной защиты. «За идеями регулируемой экономики скрывалось отчаяние изголодавшегося люда городов Франции»[37], – пишет историк Е.М. Кожокин. Отсюда следует и обратная логическая цепь – когда будет достигнута сытость мещанских слоев, они станут равнодушны к регулированию экономики, и социальное государство ослабнет. Новое индустриальное общество так и будет колебаться в XX веке между двумя неустойчивыми моделями: «свободным» (только не от корпораций) рынком и социальным государством.

В огне Великой революции, несмотря на все ее разрушения и поражения, наступала принципиально новая эпоха. Отныне голод будет вести не к бунту, а к революции с требованием нового социального устройства – не до-либерального, а пост-либерального. Сама либеральная мысль влекла умы к этому выводу. То, что раньше было умственной конструкцией утопистов, отныне стало естественным выводом «просвещенных» масс из освоенных ими либеральных постулатов: «Не говорится ли в четвертом параграфе «Декларации прав человека»: «Свобода допускает совершение любых деяний, кроме тех, что наносят ущерб другому человеку»… А теперь мы вас спрашиваем, законодатели, наши представители, разве не причиняется зло теми, кто скупает продукты для того, чтобы потом перепродать их как можно дороже?»[38] – вопрошали лидеры секции Гренобль, просто применяя принцип свободы к своему бедственному существованию. Свобода и равноправие должны предназначаться не только для элиты.

Задача была сформулирована французскими революционерами. Но убедительный ответ пришлось искать еще долго, пока не зажили раны от первого разрушительного опыта. Левые якобинцы направляли ненависть санкюлотов на богатство, но не предлагали, чем заменить отношения, воспроизводящие нищету.

Из депутатов Конвента наиболее радикальное нападение на капиталистические порядки позволил себе Жан Никола Бийо-Варенн. Он требовал права на труд и на достойное обеспечение для всех людей. Однако средства достижения этой задачи остаются у него архаичными, известными со времен Древнего

Рима: радикальная аграрная реформа, ограничивающая размеры наделов, а также реформа наследования, ограничивающая размеры наследуемого имущества. Каждый человек «будет призван к участию в разделе имуществ, на которые он, в качестве члена общественного коллектива, также имеет неоспоримое право владения»[39]. За счет общего государственного фонда, составленного из излишков наследств, человек получает ссуду, необходимую, чтобы завести собственное дело. Никакого социализма здесь еще нет – лишь поддержка мелкой собственности, ремесленников и крестьян, консервация их в том состоянии, где их застало капиталистическое разорение. Идея постоянного раздела и передела крупных состояний вступала в очевидное противоречие с наступавшей индустриальной эпохой. Но она сохранится как знамя сопротивления обездоленных масс, стремящихся вернуться в первоначальное состояние. Мы еще встретим ее и в виде вспомогательных рекомендаций по решению «рабочего вопроса», и в качестве примитивной карикатуры на более сложные идеи прудонистов, народников и даже марксистов (вспомним булгаковское «взять все, да и поделить»). Идея **раздела и передела собственности** остается водоразделом до-социалистических и социалистических идей. Для того, чтобы создать новое, пост-капиталистическое общество, нужно нечто большее, чем просто отнять имущество у крупного собственника и отдать ее мелкому.

Якобинцы остались примером решительной практики, лишенной убедительной теории. Они не имели ни времени, ни идейной подготовки для того, чтобы выдвинуть конструктивную программу достижения социального «равенства» (равноправия). Не имея понятия о причинах неравенства, якобинцы, подчиняясь требованиям возбужденных масс, пошли по пути купирования следствий – ввели ценовой максимум и принялись бороться со спекуляцией. Результатом стало лишь обострение дефицита – торговцы не желали рисковать головой и торговать с «обезумевшим» Парижем. Но «безумие» было естественным следствием логики вещей.

Переход к новому обществу, основанному на принципах политического равенства, порождает не только блага, но и бедствия – социальное неравенство и нищету, маргинальные массы неустроенных полупролетариев и безработных. Зато роскошь становится еще более кричащей и от того еще более провоцирующей низы на разрушительный бунт. Социальные потрясения затрудняют снабжение, и рынок реагирует повышением цен. Ограничьте цены – и вы получите дефицит, который вызовет взвинчивание теневых цен.

К этому историческому уроку социалисты будут возвращаться каждый раз, как только революция предоставит им шанс на победу. Рефлекторная политика якобинцев затем будет повторяться в двух ипостасях: запретительные меры радикалов (вплоть до коммунистов XX века) и аккуратные, часто паллиативные перераспределительные меры социал-либералов. В Робеспьере позднее будут видеть первого «большевика» (как мы увидим, не вполне справедливо). Не будем забывать, что он был и одним из первых социал-либералов. Робеспьер был поставлен историей лицом к лицу с социальной проблемой, но не решился ради ее решения жертвовать священным правом частной собственности.

Важнейшие социальные находки Великой французской революции принадлежат не ее либеральным вождям, а бедствующим, отчаявшимся и потому отчаянным массам. Еще одно, практически инстинктивное решение социальных проблем – дать работу разорившимся ремесленникам и безработным рабочим. 23 ноября 1793 г. Коммуна решила: «Все нетрудоспособные граждане, старики, сироты, неимущие должны быть размещены, накормлены и одеты за счет богатых по месту их жительства…Трудоспособным гражданам должна быть предоставлена работа и предметы, необходимые для ремесла или промысла» за счет налога на богатых[40]. Это был абрис будущей политики социального государства XX века (его тень мы увидим и в отдельных шагах правящих элит Великобритании, Франции и Германии XIX века, и в огне новых революций 1848 г. и 1871 г.). Но пока это – лишь чрезвычайные меры. Не случайно общественная работа, предоставленная секциями, была связана с войной – пошив униформы. Своего рода революционный ВПК

как решение социальной проблемы. Однако отдельные низовые активисты уже видели в этих мерах долгосрочные преимущества: «горстка богатых подрядчиков не будет более присваивать все доходы от огромных поставок: эти доходы будут распределяться между всеми нашими торговцами, нашими рабочими, между всеми нами»[41], – утверждала секция Тюильри. Государство должно защитить тружеников и мелких торговцев от спекулянтов. Спекулянт – классовый враг французских революционеров. Осталось сделать еще один логический шаг, перейдя от спекулянтов к буржуазии, от посредничества к собственности.

Двигателем социальной волны революции, генератором ее аморфных социальных идей и, возможно, важнейшей практической находкой, были квартальные секции Парижа и политические клубы, **низовая самоорганизация масс**, прототипы советов XX века. Это были еще первые, плохо организованные попытки делегированной (федеративной) демократии, больше напоминавшие охлократию, чем демократию вообще. Но лиха беда начало. Власть «неизвестных», то есть не профессиональных политиков, а простых людей, выдвинувшихся в собственном квартале или на предприятии, будет возвращаться позднее и в Парижской коммуне, и в советах 1905 г. и 1917 г.

Революция соединила еще не забытую до конца низовую организацию традиционного общества и радикальное стремление к преобразованиям, характерное для модерна. Самоорганизация радикальных масс отрицала их недавнюю маргинальность, восстанавливала социализацию, разрушенную капитализмом. Но клубы не могли пока существовать долго – на смену традиционному обществу шло индустриальное общество, которому не нужна была творческая самоорганизация, да еще и вдохновленная радикальными идеями.

* * *

В итоге Великой французской революции победили нувориши. Воздвигнутый ими режим Директории противостоял и монархистам, и якобинцам. Здесь, на излете Великой французской революции, ее мысль наконец дошла до социалистического вывода о необходимости ликвидации частной собственности. Прежде сторонники коммунистических утопий участвовали в событиях революции как одиночки, на вторых ролях. Теперь настало время для их объединения в первую организацию, имевшую некоторое политическое влияние.

В 1795 г. из лево-якобинских кругов выделилась группа сторонников равенства, лидером которой был **Гракх (Франсуа) Бабеф** (1760-1797). Взгляды Бабефа развивались под влиянием Руссо, Мабли и Морелли. Бабеф соединил авторитарный радикализм якобинцев с идеями утопического социализма о ликвидации частной собственности и передаче всего имущества государству. После роспуска Директорией оппозиционного клуба Пантеон, где группировались левые якобинцы, сторонники Бабефа решили перейти к подпольной работе по подготовке нового переворота и сформировали тайную Директорию общественного спасения.

В самых истоках политического движения коммунистов, которое по сути основали бабувисты, его ждало размежевание на два течения. Либертарный проект выдвинул член тайной Директории Сильвен Марешаль. Подготовленный им манифест общества гласил: «Пусть исчезнут, наконец, возмутительные различия между богатыми и бедными, большими и малыми, господами и слугами, правящими и управляемыми…»[42] Для большинства членов организации это было слишком, и такой анархистский манифест не был утвержден. Несмотря на ослабление влияния Марешаля в Директории, влияние его идей сохранялось. Программа тайного общества, изложенная Буонарроти, предполагает развитую систему демократии, включая широкие полномочия местных собраний во взаимоотношениях с центром. Эта

система предвосхищает политический федерализм марксизма и отчасти ослабляет влияние бюрократической касты, которая полностью господствует в проекте Кампанеллы.

«Равные» осознавали опасность возникновения такой касты: «Если в государстве создастся класс, который один только будет сведущ в принципах социального искусства, в законах и управлении, то этот класс скоро найдет в своем умственном превосходстве и особенно в неосведомленности своих соотечественников секрет того, как создать для себя отличия и привилегии»[43]. Однако компетентное участие народа в управлении возможно лишь по мере его просвещения. Эта связь просветительского и коммунистического проектов перейдет от бабувизма к Бланки. Параллельно эта же идея будет самостоятельно выдвинута прудонизмом, марксизмом и народничеством.

Бабувисты не были намерены ждать, пока просвещение народа продвинется достаточно далеко для полноценной демократии, они считали, что их режим способен дать трудящимся возможности для полноценного интеллектуального развития. Поэтому революционный переворот стоял у Бабефа впереди предпосылок нового общества. Спад революционной волны был еще не очевиден, и новый, еще более радикальный переворот казался вполне возможным. Тайная директория заручилась поддержкой и в Парижских кварталах, и среди военных. Но в 1796 г. заговор был раскрыт и разгромлен. Бабеф был казнен, большинство выживших участников **«заговора равных»** отошли от политики.

Тем не менее, «заговор равных» не остался просто одним из эпизодов Великой французской революции. Благодаря пропаганде **Филиппо Микеле Буонарроти** (1761-1837), участника «заговора равных», его пример и опыт был воспринят тайными республиканскими обществами Франции 20-х гг. Буонаротти стремился показать свою организацию как логический венец Великой революции. В ее основе он видел логику равенства: «То, что произошло во Франции вслед за созданием республики, является, на мой взгляд, бурным проявлением постоянно существующего раздора между сторонниками богатства и различий с одной стороны, и друзьями равенства или многочисленным классом равенства – с другой»[44]. **Равенство**, переходящее из правовой плоскости в социальную, станет теперь ключевой ценностью социалистов. В середине XIX века социалисты стали проводить различие между равенством и уравниловкой, понимая под равенством социальное равноправие.

Якобинцы как «друзья равенства», также стоят на стороне трудящихся в модели Буонарроти. Но они непоследовательны. Последовательный революционер и выразитель интересов трудящихся классов должен выступать за ликвидацию частной собственности и равный доступ к материальным и духовным благам.

Таким образом, Буонаротти соединил утопию с преемственностью революционной традиции, исходящей от Великой Французской революции. Социалисты оказались благодаря этому авангардом революционного движения в целом, наиболее последовательными выразителями революционного принципа равенства (равноправия).

* * *

Республиканское движение, развивавшееся в период реакции 20-х гг., стало благодатной почвой для распространения такой идеи. Его радикальное крыло породило движение заговорщиков, планировавших коммунистический переворот. Лидерами этого течения в 30-е гг. стали Арман Барбес (1809-1870) и Огюст Бланки.

Абстрактно-коммунистические взгляды Барбеса были выражены им на суде 1848 г.: «Абсолютное право капитала над человеком – ваш закон, столь же абсолютное право каждого человека на имущество

всего общества – таков закон, исповедуемый мною»[45]. Здесь еще столь же мало понимания конструктивной модели социализма, как и у левых якобинцев.

Тайные республиканские общества, в которых социализм и коммунизм вызревали в качестве неясного идеала и критического отношения к буржуазным отношениям, дали кадры для сен-симонизма, но сохранили течение, поставившее практику выше конструктивной программы, и известного, как бланкизм.

Если утописты знали, что они хотят достигнуть, но не знали – как, то у Огюста Бланки была прямо обратная проблема.

Огюст Бланки (1805-1881) почти ничего не добавил к конструктивной теории социализма, не вникал в ее нюансы, но зато принялся реализовывать ее на практике. Следуя духу якобинцев, Бланки надеялся привести все население к новому обществу силой. Для этого нужен был инструмент – партия профессиональный революционеров. Это был естественный вывод из якобинской практики. Якобинцы проиграли, потому что опирались на слишком рыхлую организацию, в которой боролись разнородные силы. Организация революционеров должна быть сплоченной и монолитной.

Бланки полагает, что организация революционеров будет служить рабочим. Он не догадывался, что сообщество профессиональных революционеров может стать ядром новой правящей элиты со своими собственными интересами.

В тени идеи партии прячется вопрос: ради чего эта партия должна прийти к власти? Эта проблема как никогда остро проявится в истории большевизма и компартий.

Бланки мог появиться только на определенном этапе развития западноевропейской цивилизации. Великая французская революция соединила идеи рациональной организации общества (пока – политических структур) с государственным насилием. Бланки продолжал дело Бабефа, сохраняя дух французской революции сразу в двух отношениях.

Во-первых, Бланки считает, что новое общество может быть создано революционным авторитарным государством – диктатурой Парижа как наиболее развитой части страны: «Никакой свободы для врагов… В тот день, когда будет вынут кляп изо рта рабочих, его вставят в рот капиталистов. Один год парижской диктатуры в 1848 г. избавил бы от гнета на четверть века Францию и историю. Если потребовалось бы даже 10 лет – не надо колебаться»[46].

Во-вторых, Бланки был поборником Просвещения. Он верил в то, что эксплуатация является продуктом низкого уровня образования. Бланки считал, что «если бы все французы имели образование академиков, никто не позволил бы себя эксплуатировать»[47]. Эта мысль имеет и обратную сторону, которая прочно вошла в арсенал социалистической идеологии: для создания социализма необходимы культурные предпосылки, относительно высокий уровень культуры трудящихся (мы увидим, что и Прудон согласен с этой идеей). В XX в. эту мысль проигнорировали большевики, но и Ленин после неудачного опыта «военного коммунизма» вернулся к мысли Бланки – сначала необходимо убрать препятствия социально-культурного развития трудящихся масс, а затем, когда уровень культуры благодаря революционному государству повысится, можно будет построить новое общество.

Идеи Бланки во многом предвосхищают взгляды Ленина периода НЭПа: «Коммунизм, олицетворяющий революцию, … не должен навязывать себя сразу… Нападение на принцип собственности было бы бесполезно, сколь и опасно. Коммунизм нельзя ввести через декреты, он может прийти только на основе добровольно принятых решений самой страны; а эти решения могут создаться только на основе широкого распространения просвещения»[48]. Просто «Последние письма и статьи» В.И. Ленина. Бланки считает, что предстоит объединение крестьян в ассоциации, но только на добровольной основе. В главном

Бланки еще умереннее идеологов НЭПа. После революции не следует сразу национализировать предприятия, а лишь собрать совещания работников и предпринимателей по вопросу о создании ассоциаций, о судьбе крупных предприятий и инфраструктуры.

Крайняя умеренность программы реформ сочетается у Бланки с готовностью немедленно заняться ниспровержением власти – не дожидаясь вызревания предпосылок нового строя. Нельзя узнать, готово ли общество к перевороты. Надо пытаться поднимать на восстание «отверженных», и в случае успеха создать диктатуру коммунистов, опирающихся на столичных бедняков и несущей просвещение и справедливость стране и миру. Если правительство окажется в руках коммунистов, поддержанных массами работников столицы (неважно, каково соотношение сил в стране) – значит почва для преобразований созрела. Этим путем вслед за Бланки пойдут и Ленин, и его последователи вплоть до Мао Цзэдуна и Че Гевары (правда, уже без оглядки на настроения в столице). История жизни Бланки – это повесть о заговорах, мятежах и тюрьмах. Попытка – провал – новая попытка. Бланки не хватало понимания связи своих идеалов и возможностей времени. Он был последним утопистом эпохи Просвещения и основателем революционного течения, которое соединило якобинизм и идею коммунизма (социализма).

* * *

Последними и, возможно, наиболее сильными авторами утопизма, оторванного от социальной практики, были Сен-Симон и Фурье. Они конструировали новый мир, опираясь лишь на недостатки существующего и на свои представления о гуманности.

Оторванность старых утопистов от практики вовсе не означает, что они были во всем наивны. **Анри де Сен-Симон** (1760-1825) является непризнанным пророком, во многом предвосхитившим марксизм. Он продолжил традицию Кампанеллы, пришел во многом к близким выводам, но впервые увязал идеи, близкие социализму, с господствующей тенденцией времени – индустриализмом. Увидев, что экономический порядок, основанный на частной собственности, препятствует эффективному хозяйствованию, вызывает хаос и нищету. Сен-Симон считает, что эксплуатация человека человеком должна быть заменена совместной эксплуатацией людьми природы. Он ищет пути государственного регулирования, предвосхищая контуры того общества, которое в XX веке будет именоваться «государственно-монополистическим капитализмом» и социальным государством. Сен-Симон считает, что будущее – за классом производителей («индустриалов»), в который он объединяет всех, кто что-то производит или управляет производством. Таким образом в одну общность объединяются и рабочие, и крестьяне, и менеджеры (технократия и часть бюрократии). Управленцев Сен-Симон не считает эксплуататорами, так как их функции в обществе полезны.

«Основателем технократического социализма является Сен-Симон; марксизм всецело воспринимает его технократическую тенденцию. Она обоснована Сен-Симоном в его «Catechisme des Industriels»… В 1817 г. он провозглашает лозунг: «Все через индустрию, все для нее!»… Социализм возможен только через индустриализацию, через умение управлять орудиями производства. Руководить и управлять обществом могут и должны только те, которые владеют техникой в широком смысле, т. е. организацией всеобъемлющего индустриально-бюрократического аппарата, – разъяснял Б. Вышеславцев суть концепции Сен-Симона, предсказавшей век технократии. – Эту основную идею технократии Маркс всецело воспринимает у Сен-Симона. Он также все надежды возлагает на научно-технический прогресс и из него объясняет все будущие судьбы человечества. Сказать, что все зависит от «орудий производства» и от того, кто ими управляет – значит признать технократическую идеологию»[49]. Но этого недостаточно, чтобы объявить Маркса чистым сен-симонистом. Вера в технократический прогресс характерна для большинства

мыслителей XX в. самых разных направлений, в том числе и либеральных. И при «социализме», и при «капитализме» в XX в. был выполнен завет Сен-Симона о том, что «власть должна принадлежать руководителям индустрии»[50], что политическая власть должна быть подчинена экономической. Маркс, а за ним и Ленин восприняли важнейшее ядро концепции Сен-Симона, но это была далеко не единственная составляющая их учения. Причем другие составляющие, как мы увидим, скроют от теоретиков марксизма факт, очевидный уже для Сен-Симона: в индустриальном обществе к власти приходят технократы, а не формальные собственники, будь ими буржуа или пролетарии. И только потом, говоря словами Сен-Симона, «управление вещами в будущем заменит управление людьми». «Эти самые слова, это обещание социализма за ним постоянно повторял марксизм»[51], – комментирует Б. Вышеславцев. Обещание так и не было выполнено.

Сен-Симон при всей своей непрактичности был чрезвычайно созвучен времени, наступившему через полвека после его смерти. Он одним из первых высказал мысль, позже чрезвычайно популярную в среде социалистов: задача преобразований – оптимизация экономических решений[52]. Она может покончить с хаотической растратой людской энергии и, следовательно, нищетой. Не верилось, что само хаотическое движение капиталов определяет наиболее оптимальное из возможных решений. Напротив, оно очевидно демонстрирует «растрату социальной энергии», как выразится позднее А. Богданов[53]. Гармонизация этой энергии, создание условий для неконфликтной жизни людей стала важнейшей задачей социалистической мысли.

Но как гармонизовать разнообразные социальные интересы индустриального общества? Сен-Симон и предшествовавшие ему утописты были детьми мировоззренческого настроя Возрождения и Просвещения. Все подвластно Разуму.

* * *

Сен-Симон предвосхитил Маркса в еще одном важном отношении – он создал социологическую **школу**, которая попыталась построить целостную идеологию, призванную дать ответы на новые явления современности. Сен-симонизм начал переход от старого утопизма эпохи просвещения к политическому движению.

Изложение идеологии сен-симонизма предпринял Сент-Аман Базар (1791-1832). Перед изданием текстов его лекций 1828 г. они были обсуждены другими участниками школы Сен-Симона. Школа, предпринимавшая также попытки политической агитации (то есть партийной деятельности) стала новым словом в истории социализма, которое открывало путь к превращению его в постоянный фактор общественной жизни с преемственностью идей и методологии. Школа заметно продвинула идеи Сен-Симона к социализму, разработала ряд идей, которые затем вошли в арсенал марксизма.

Сен-симонизм уже воспринимал свои взгляды не как вневременные ценности, а как венец исторического процесса (здесь заметно влияние гегельянства). Идея смены стадий общественного развития поставлена у сен-симонистов более рационально, чем у Фурье, который видел в ней аналогию развития от юности к дряхлости (этот взгляд получил второе рождения у сторонников цивилизационных теорий XX в.). У сен-симонистов движущая сила истории – смена систем мировоззрения. Маркс предложит другую силу, но идея смены стадий общественного развития надежно войдет в арсенал социализма. Ведь социалистическое общество – это следующая стадия развития после существующего общества. «Философия истории сен-симонистов – первая заслуживающая серьезного внимания попытка исторического обоснования неизбежности социализма»[54], – констатировал В.П. Волгин.

И это – не единственное открытие сен-симонистов, которое затем звучало в иных устах без ссылки на источник. «Господа, рабы; патриции, плебеи; сеньоры, крепостные; земельные собственники, арендаторы; празднолюбцы, труженики – такова прогрессивная история человечества до наших дней»[55]. Маркс и Энгельс заменили финальную пару на «буржуа и пролетарии», и включили эту концепцию в «Манифест коммунистической партии». А сен-симонистский принцип «каждому по его способности, каждой способности – по ее делам»[56] будет написан на знаменах «реального социализма» СССР.

История у сен-симонистов – противоборство принципов ассоциации и антагонизма (и здесь мы можем обнаружить мост от гегельянства к марксизму). Органическая эпоха, основанная на силах ассоциации, сменяется критической, и наоборот. Поэтому часть черт будущего общества уместно искать в прошлой органической эпохе, завершившейся по мнению Базара в XV в. Ныне антагонизм находится в зените, впереди – продвижение к ассоциации и иерархии.

Частная собственность очевидно противоречит экономической эффективности. Почему управлять усложняющимся хозяйством должны не наиболее компетентные люди, а сынки предыдущего хозяина? Вывод, на который решается Базар – отмена права наследования. Не семья, а «государство, превращенное в ассоциацию трудящихся»[57], должно наследовать богатства. Это позволит оставить в обществе только полезный класс «индустриалов». Вся промышленность должна быть организована строго централизованно и планомерно – по образцу военной. Противоядие от паразитизма частных собственников Сен-Симон и его последователи ищут также в прошлом – в цехах и теократической иерархии (также воспроизводя в новых условиях идеи Кампанеллы). Но модель сен-симонистов – это не просто возрождение феодализма, а синтез наследия прошлой органической системы с передовыми тенденциями.

Центральным регулирующим органом будет государственный банк, который через сеть отделений распределит средства производства между регионами, точнее – начальниками разных уровней, каждому даст нормы производства, которые нужно неуклонно соблюдать – в том числе, что логично, нельзя и перевыполнять, ибо это приводит к «нагромождению» продукции в одном месте и «нехватке» ресурсов в другом[58]. Вспомним стремление к «перевыполнению планов» в СССР – что же за план, если его нарушение приветствуется?

В рамках плана начальники производства распоряжаются им на правах аренды (по образцу ленного права). Все люди получают своему месту в иерархии зарплату и пенсию, и не имеют других доходов. При этом доход работников должен зависеть от прибыльности предприятия. Но в остальном сен-симонизм – это соединение казарменного социализма с индустриализмом, развитие идей Кампанеллы к предвидению тоталитарных режимов XX века. Сен-симонисты стремятся организовать «армию мирных тружеников»[59] и воспевают эту грядущую реальность в духе истинного начальстволюбия: «В промышленном обществе такого типа мы видим везде начальника и подчиненных, патронов и клиентов, мастеров и учеников; везде – законную власть, ибо начальник – лицо самое способное; везде – добровольное повиновение, ибо начальник пользуется любовью; повсюду порядок: ни один рабочий не оставлен без руководства и без поддержки в этой обширной мастерской, у всех инструменты, с которыми они умеют обращаться, у всех работа, которую они любят…»[60]

Такой дух мог быть популярен в среде критиков хаоса французского общества, но тот же дух можно было встретить в бюрократических коридоров царской России – безо всякого социализма. Не случайно, русские социалисты первоначально пойдут совсем иным путем, нежели продолжатели Кампанеллы и Сен-Симона. Но цель – дать людям работу, которую они любят, достаток и избавление от борьбы всех против всех – остается в любой социалистической концепции. Потому что организованное общество может быть построено не только на принципах казармы.

По мнению Сен-Симона и его последователей, среди которых в данном случае и Маркс, государство

(управленческий центр) во главе с разумными людьми, научно обосновывающими свои решения, справится с задачей рационализации жизни общества лучше, чем рынок. Но для этого нужно, чтобы все общественные слои находились под полным контролем управляющего центра[61]. Так на пути от Кампанеллы до Сен-Симона сформировался один полюс социалистической мысли – идея захвата всей собственности государством ради создания хозяйства, оптимально действующего под руководством научно-управленческой элиты. Этот полюс можно назвать **государственным социализмом**.

* * *

Иной подход к проблеме предложил **Шарль Фурье** (1772-1837). Не подчинять человека рациональному плану научных мужей, а подчинять жизнь желаниям и стремлениям людей. Просвещение освобождало материальные потребности человека от религиозных ограничений, но «пряников всегда не хватает на всех». По мнению Фурье, все люди должны жить на уровне среднего буржуазного достатка[62].

Как этого достичь? Фурье не был бы человеком начала XIX в., если бы не видел выход в рационализации жизни. Но каждый видит путь к эффективности по-разному. В условиях капитализма в глаза бросается засилье посредников. Сам Фурье был поражен этим эффектом в ресторане, где вынужден был купить яблоко за 10 су, в то время как несколькими днями прежде покупал яблоки в Нормандии по су за шесть яблок. Свое яблоко Фурье сравнивал с яблоком Ньютона, ибо тоже сделал открытие мирового значения — посредники должны быть устранены. Не полностью, конечно, потому что кто-то должен доставлять яблоки из Нормандии к нашему столу. Но самопроизвольное «размножение» посредников и их господство над потоками продукта должно быть преодолено: «Излишек посредников повсюду невероятный, и число их во всех отраслях торговли обычно вчетверо превышает необходимое количество»[63]. Комментируя эту мысль, фурьерист Ш. Жид отметил уже в конце века, что количество торговцев и иных посредников (ими ведь могут быть и чиновники) выросло многократно.

Как же справиться с посредниками? Регулировать их число государственными решениями? Но тогда вырастет число чиновников, цена продукта будет так же велика, да только продукт будет доставляться к месту потребления хуже, худшего качества и по дороге сгниет — ведь чиновник не отвечает за результат.

Путь только один — отказаться от услуг посредника, организовать жизнь так, что потребитель сам сможет контролировать движение продукта от производителя до места потребления. Это — основная идея потребительской кооперации. Ассоциация (объединение) будет заботиться о том, чтобы ее члены получали все, что им надобно. Сама ассоциация будет решать, кто из ее членов и как будет заготавливать все необходимое. Но не станут ли организаторы ассоциации новыми посредниками, не «размножатся» ли?

Как приблизить потребителя к производителю, снизив издержки доставки продукта от одного к другому. Самый простой путь — натуральное хозяйство. Производить как можно больше продуктов в своем хозяйстве и докупать только самое необходимое со стороны. По этому пути пошли Фурье и Оуэн. В эпоху, когда стояла задача преодолеть голод и нищету, такой путь был вполне оправдан. У Фурье он дополнялся утопическими надеждами на торжество науки и выращивание экзотических фруктов в северном климате. И в этом чувствовалась слабость натурального хозяйства. Средневековье минуло, человечество уже отведало соблазнительные плоды марокканских апельсинов и бразильского кофе. Средние слои (а социалисты хотят обеспечить средний достаток всем) уже не могут отказаться от этих благ. А в наше время, когда мировой рынок вынес на прилавки мирриады различных товаров, без которых трудно представить себе жизнь (или мечты о лучшей жизни), отказ от заморской продукции и вовсе непредставим. А нам, советским или бывшим советским людям, памятно время, когда заморский плод был сладок, ибо запретен. Он и сейчас для многих не по карману, но лежит перед глазами. Нет, нет, да и

купишь что-нибудь эдакое. Тяжело современному человеку свыкнуться с натуральным хозяйством.

Но тревожит неустойчивость глобального рынка. Сбой в его работе где-то на Тихом океане может в одно мгновение нарушить соотношение цен и доходов в нашей стране, и надежда на покупку не то что зарубежного телевизора, но и утюга станет вдруг несбыточной. Нет ничего болезненнее обманутых ожиданий. Анонимный рынок прячет за яркими упаковками некачественный товар. Это беспокоит не только потребителей, но и производителей, если они готовы отвечать за качество. Они пытаются приблизиться к потребителю собственными сетями сбыта, гарантийными мастерскими. Но потребитель распылен, неорганизован. А ведь в нынешнюю эпоху глобальных информационных технологий у него появились новые возможности сократить расстояние до производителя продукции — провести собственное исследование предложения. Для этого нужно минимальное количество специалистов, оплата труда которых вполне по плечу ассоциации потребителей. Но господство индивидуализма в современной экономике распыляет потребителя, превращает его в изолированный атом, один на один вступающий в контакт с могущественными структурами бизнеса и власти. В этом отношении наше время открывает новые возможности перед потребительской кооперацией, которая берет начало от яблока Фурье и экспериментов его английских современников.

И сегодня мир не решил проблему Фурье — глобальный рынок приводит к огромному удорожанию товаров, проходящих через руки десятков посредников. Нельзя ли создать хозяйство, где хотя бы часть необходимого производилась бы «для себя», чтобы сэкономить средства на «экзотический» товар и защититься от резких колебаний конъюнктуры и финансовых кризисов? С каким удовольствием современный житель России выкладывает на стол огурчики с собственного огорода. Но один человек не может произвести для себя и морковку, и медок, и одежду, и заняться обучением детей, хотя за всем этим не нужно ехать за три моря. Чтобы все это делалось «для себя», желающим иметь как можно больше благ «со своего огорода», нужно объединиться в производственно-территориальную ассоциацию.

Фурье считал, что силы людей гораздо удобнее гармонизировать не в масштабах целого мира или страны, а скромнее – в небольшой общине-фалангстере. С дотошностью механика Фурье рассчитывает, как должен быть устроен фалангстер – от его размеров до соотношения разных социальных сил: труда, творчества и капитала[64]. Все три эти составляющие экономического процесса должны иметь свою долю в доходе фалангстера. Капитал не должен иметь преимуществ над другими, как в современном обществе, но и отказаться от его привлечения вовсе Фурье считает неразумным. Важное место мыслитель отводит творчеству — созданию нового, инновации, изобретательству. Он отличает эту деятельность от воспроизводящего труда и предлагает вознаграждать ее особо.

Рационализаторские мечты Фурье распространяются очень далеко — он рисует картины автоматизации домашнего хозяйства и распада в связи с этим семьи (исчезнет домашняя каторга хозяйки, и пары будет связывать только свободная любовь). Здесь и провидение жизни в киббуцах, и кризиса семьи в индустриальном обществе, и недооценка тепла семейного очага, который предназначен не только для того, чтобы варить на нем бульон.

Но главное, чем руководствуется Фурье — создание удобной, комфортной для всех жизни, гармонизация интересов различных социальных слоев: «Секрет примирения интересов лежит в создании товарищества. Три класса, сблизившись на почве общих интересов, забудут питавшую их взаимную ненависть, тем более, что в силу привлекательности труда исчезнет навсегда утомление народа, и богатые перестанут презирать низшие классы, вместе с которыми они станут выполнять обязанности, ставшие приятными»[65]. В этой картине — много несбыточного. Всегда найдутся неприятные обязанности и почва для конфликтов — не социальная, так психологическая. Но не будем смешивать утопию с ошибкой. Технический прогресс действительно смягчил антагонизм социальных классов. Да и ассоциации, в которых

люди пытаются строить островки нового общества в океане старого — тоже примета XX в. Идеи Фурье отчасти реализовались в этой практике.

Таким образом, на пути от Уинстенли до Фурье сформировался полюс социалистической мысли, который можно назвать **коммунитарным социализмом**.

Фурье не успел перейти к практическому воплощению своих замыслов. Потратив жизнь на дотошное описание оптимальной общины, он «морально устарел». Жизнь опередила его, проигнорировав многие предупреждения. В некоторых случаях это дорого стоило социализму. Так, Фурье предупредил будущих практиков о необходимости примирения различных социальных интересов, а не сокрушения одних социальных слоев другими. Но был и другой путь – преодоления социальных противоречий вообще. По этому пути пошел Оуэн.

Система координат социалистических идей

Наследие первых социалистов позволяет нам начертить систему координат, которая поможет упорядочить пространство идей социализма.

Одни социалисты выступают за полную централизацию и подчинение всех сторон жизни руководящему центру, другие – за передачу власти и собственности самоуправляющимся общинам, составляющим общество. Одни полагают необходимым обобществить все имущество, другие считают полный коммунизм излишним. Умеренный марксист М. Туган-Барановский, в отличие от Б. Тэккера, именно это последнее различие положил в основу своей классификации социализма: “Основным делением социализма является деление его на социализм в узком смысле слова и коммунизм. При социализме в узком смысле каждому члену общества обеспечивается определенный доход при полной свободе расходования этого дохода. Предметы потребления покупаются отдельными лицами также, как и при существующей системе хозяйства, за счет дохода данного лица, но предметы потребления продаются не в частных лавках и магазинах (каковых не существует), а в общественных складах, ибо средства производства при системе социализма принадлежат не отдельным частным лицам, а всей общественной группе, которая при помощи коллективного труда и производит соответствующие продукты.

Таким образом, при этой системе средства производства не находятся в частной собственности отдельных лиц, но принадлежат всей общественной группе, которая и распоряжается ими по своему усмотрению”[66]. Если под общественной группой понимать местную общину, то эта картина близка программе Уинстенли. Если речь идет об общегосударственном масштабе, то это картина не просто социализма, а централизованного, государственного социализма, близкого Туган-Барановскому. При таком общественном устройстве, которое по сути является смягченным вариантом модели «Города Солнца», существует “свобода выбора предметов потребления” людьми, но цены назначаются обществом (государством)[67]. Именно такая система была реализована в СССР, исчерпала свой ресурс и ушла в лету. Изучение этой формы общества – дело историков XX века[68]. Этот строй в будущем может возродиться лишь в некоторых станах, осуществляющих догоняющее развитие. Но, учитывая громкое крушение государственного социализма, скорее всего сторонники ускоренной модернизации предпочтут другое знамя.

Тем не менее, следующее замечание классификатора социалистических теорий Туган-Барановского относится не только к государственному социализму: “Социализм в узком смысле слова является, таким образом, системой денежного хозяйства (хотя в ином смысле, чем современное товарное хозяйство). Напротив, коммунизм есть система натурального хозяйства”[69]. Главное различие между социализмом и коммунизмом классификатор видит в применении денег. Этот вопрос красной нитью проходит через историю социалистической идеи, и даже такие лидеры государственного социализма, как Ленин, Мао Цзэдун и Че Гевара, на практике применявшие денежные механизмы, считали отмену денег условием возникновения социализма и тем более коммунизма в их понимании. Они считали, что социализм возможен лишь тогда, когда рыночные отношения вытеснены братскими отношениями между людьми, деньги побеждены моралью.

Туган-Барановский, допустивший существование денег при социализме, лишь предвосхитил эволюцию социалистической мысли, которую осуществят Н. Бухарин и И. Сталин, провозгласившие социализмом систему государственного хозяйства, где сохранены **товарно-денежные отношения**. Но при этом они не перестали считать себя марксистами-ленинцами. И правильно, хотя по Туган-Барановскому получается, что различие между «денежным» социализмом и коммунизмом – основное. Все же вопрос о деньгах, о различии между коммунизмом и социализмом – не самое важное в марксизме, как и в любой

социалистической теории. Дело в том, что Маркс и его последователи видели в социализме лишь первую стадию коммунизма. Они были сторонниками и государственного социализма, и коммунизма одновременно. Государственный социализм ушел в прошлое, но сбрасывать со счетов футурологическую концепцию марксистского коммунизма пока рано. Ее сторонники считают, что потерпели лишь временное поражение[70]. К тому же, как мы увидим, коммунистическая концепция коммунизма во многом близка идеям анархо-коммунизма, который вообще не несет ответственности за то, что коммунисты-государственники потерпели поражение на своей дороге к коммунизму. Таким образом, коммунизм как концепция морального безденежного общества останется в поле нашего зрения. Также как и то обстоятельство, что существуют концепции социализма (в том числе рыночного), которые не предусматривают обязательный переход к коммунизму.

Социалисты, включая коммунистов, расходятся прежде всего в том, кто должен руководить экономикой, распоряжаться средствами производства. Это разногласие гораздо более существенное, чем противоречие между коммунистами и социалистами-некоммунистами. Здесь речь идет не о скорости движения к идеалу социального равноправия и братских отношений между людьми. Здесь ставится вопрос о том, кто придет на смену нынешним (для начала XX века и его конца) хозяевам жизни – государственная машина (или иной квазигосударственный центр) либо сообщество общин, самоуправляющихся объединений людей, осуществляющих производство и управление одновременно. Это – **основная ось социалистической теории**. «Перпендикулярная» ей ось определяет степень радикализма учения, скорости, с которой идеологи считают необходимым двигаться к идеалу.

Государственный социализм предстает как фаза централизованного коммунизма. И социал-демократический социализм начала века, и коммунизм Коминтерна будут противостоять общинному социализму (более или менее радикальному), потому что последний защищает самоуправляющиеся ячейки общества (общины) от господства общества «в целом» — то есть фактически – от его руководящего центра, правящей элиты, которая объявляется представителем общества как в государственно-коммунистической, так и в либеральной теории.

В актуальной политике, в острой тактической борьбе фундаментальные противоречия авторитарного и общинного социализмов часто оттесняются на второй план конфликтами между более и менее умеренными представителями обоих течений.

Например, Георгий Плеханов, как и другие умеренные марксисты, резко критиковал Владимира Ленина. Он считал, что движение от существующего общества к социализму должно быть постепенным, а Ленин поражал современников призывом к немедленной социалистической революции. В 1917 г. Ленина поддержали радикальные анархо-коммунисты и народники (левые эсеры), а союзниками меньшевиков стали умеренные народники (эсеры), чей общественный идеал основывался на общинном социализме. Меньшевики обвиняли Ленина в том, что он занял «трон Бакунина»[71], в то время как он последовательно реализовывал предложения антипода Бакунина Маркса. При этом у большевиков и меньшевиков, как у марксистов, был практически неразличимый общественный идеал, одна модель социализма и коммунизма. Они находятся на одной линии оси «моделей социализма». Но они же антиподы на оси **«умеренность – радикализм»**. Их разделила практика социалистического движения.

Глава II

Роберт Оуэн и социальное творчество

Впервые социализм был привит на социальную почву **Робертом Оуэном** (1771-1858). Если не считать кратковременных аграрных попыток последователей Уинстенли, практический социализм начался в XIX веке. То, что прежде было лишь интеллектуальным построением, благодаря усилиям Оуэна приобрело практические подтверждения или опровержения, а само социалистическое движение стало постоянным и уже не исчезающим с общественной арены фактором.

Обычно Оуэна включают в триаду социалистов-утопистов вместе с Анри де Сен-Симоном и Шарлем Фурье. Это похоже на объединение Мора и Мюнцера. **Современники Фурье, Сен-Симон и Оуэн представляли закат и восход, чистую утопию и практику социализма**. Оуэн многое унаследовал от утопического этапа общественной мысли. Подобно всем авторам эпохи Просвещения, он конструирует свои социальные проекты как машину, постоянно сбиваясь с принципов на детали. Оуэн верит в то, что человек устроен просто, и это позволяет легко спрогнозировать работу всей социальной машины. Оуэн — в ряду предшественников футурологического социализма. И все же он — первый практик.

Исток практического социализма

Роль Оуэна в развитии современной цивилизации трудно переоценить, но последователи не признавали "отцовства". Оуэн инициировал шаги к социальному государству на британской почве. Если Французская революция стала двигаться к этой системе под давлением возбужденных революционных масс, то Оуэн настаивал на необходимости решать социальную проблему до того, как она выльется в революцию. В этом смысле Оуэн является родоначальником современного социального государства, ибо именно его пропаганда фабричного законодательства впервые позволила пролоббировать в британском парламенте принятие закона, ограничивающего рабочий день – пока лишь для детей.

Социальное государство – система государственных мер и структур, которые защищают социальные права работников и уязвимых слоев населения, а также снижают уровень социального расслоения общества с помощью правовых гарантий и путем перераспределения средств через государственные и общественные структуры. Это – способ осуществления части социалистической программы, который по своему механизму является не социалистическим, а бюрократическим. В социалистическом обществе по определению не может быть высокого социального расслоения, и все люди должны быть защищены от нищеты независимо от своего положения в обществе. То, что по мнению теоретиков социализма, новое общество обеспечивает автоматически, можно искусственно делать и при капитализме. Само по себе социальное государство еще не создает социалистических отношений, формируя лишь предпосылку для них, приближая капиталистическое общество к социалистическому по ряду параметров (отсюда – распространенный, но некорректный термин «шведский социализм»). Промежуточное положение социального государства между капитализмом и социализмом предопределяет такие его черты, как неустойчивость (в капиталистическом обществе время от времени побеждают опирающиеся на крупный капитал либеральные силы, которые демонтируют институты социального государства) и бюрократические издержки (значительная часть отчуждаемых у общества ресурсов уходит на поддержание функционирования бюрократического аппарата). Но в любом случае недостатки социального государства, которые отчетливо проявились в XX в., не должны заслонять от нас его важнейшую заслугу – оно на практике открыло эпоху борьбы с нищетой трудящихся классов. Как бы ни было несовершенно социальное государство, как бы ни было непоследовательно смягчение им недостатков капитализма, без него – страдания миллионов людей были бы сильнее, а предпосылки посткапиталистического (социалистического) общества – слабее.

Локальная модель социального государства была организована на фабрике Оуэна в Нью-Ленарке. Он был первым предпринимателем, который открыл удивительный для современников эффект: если вкладывать в обустройство быта рабочего и его образование больше средств, то значительно увеличивается прибыль[72]. Гуманист Оуэн, стремившийся к преодолению капиталистического рабства, доказал оппонентам свою правоту с помощью рационального эксперимента. Гуманизировав экономику, он заработал больше денег. Если бы удачливый предприниматель остановился на этом, то нынешние охранители социального капиталистического государства вспоминали бы о нем с величайшим почтением.

* * *

Но Оуэн видел, что его эксперимент в Нью-Ленарке не способен решить проблему негуманности человеческих отношений, их животного (а не истинно человеческого) состояния («Человек человеку волк»). Оуэн провозглашает: “Частная собственность отчуждает человеческие умы друг от друга”[73]. Так в новую

эпоху был повторен вывод Мора о том, что корень зол лежит в частной собственности.

Отказ от собственности узкой элиты на основные богатства страны поможет преодолеть конфликты, вызванные индивидуализмом.

Первоначально Оуэн был привержен идее о том, что изменение социальных отношений быстро изменит и человека. М. Туган-Барановский выводит это мнение Оуэна из его профессионального опыта: “Как руководитель огромного фабричного предприятия, в котором от него зависели многие сотни людей, Оуэн пришел к убеждению в пластичности человеческой природы, в ее изменчивости под влиянием условий среды”[74]. Но той же точки зрения придерживались и другие основоположники социалистической мысли, принадлежавшие к иным профессиям. Между тем сама эта мысль была скрытым вызовом Просвещению: недостаточно объяснить человеку «правду». Давление социальных условий окажется сильнее “правильных” идей. Человек должен иметь возможность действовать в соответствии с нормами гуманной морали, этому должна содействовать социальная среда. Важно только не забывать, что и обратное верно – какими бы ни были социальные формы, привычки и моральные нормы, «предрассудки» и представления людей будут тянуть в свою сторону. **Инерция** общественного процесса таится и в социальных отношениях, и во внутреннем мире людей.

* * *

Вслед за Д. Беллерсом, которого Оуэн считал своим единственным предшественником, он доказывал необходимость создания **поселков** на пустующих землях, которые можно заселять неимущими. Но если для Беллерса это была прикладная возможность решить проблему безработицы, то для Оуэна — путь к преобразованию всего мира.

Размышляя над опытом Нью-Ленарка, Оуэн, пришел к выводу, что полная гуманизация человеческих отношений, полное преодоление уродующих личность эксплуатации и разделения труда дадут еще больший экономический результат. Он смотрел на человеческие отношения с умилением химика – если капля дала такой эффект, то почему бы не залить целую цистерну и не начать производство добра в промышленных масштабах? Необходима организация отношений на коммунистических основах.

Оуэн считал, что “эгоистические и индивидуалистические стремления нашего животного существа должны быть так направлены, чтобы человек извлекал свое основное вознаграждение из самого содействия равенству и счастью других”[75]. Условием этого Оуэн видел равенство, понимаемое как равенство возможностей.

В отличие от коммунистов-государственников, которые, приходя к аналогичному выводу, начинали готовить "заговор равных", Оуэн был принципиальным **противником насилия**. Он считал, что новые отношения нельзя навязывать силой, ибо в этом случае они будут ничуть не лучше старых. Нужно показать пример более справедливой и рационально организованной жизни, при которой нет общественных язв, господствующих и угнетенных людей, при которой человек уверен в завтрашнем дне и не боится впасть в нищету.

Как и Фурье, Оуэн не намерен сокрушать существующий социальный порядок. Он будет проводить свои преобразования в экспериментальной колбе и исключительно на добровольцах.

Оуэн предложил желающим создать общину, в которой все будут добровольно трудиться и делиться всем по-братски. Когда выяснится преимущества жизни в таких общинах, они покроют землю и образуют федерацию общин, которая заменит государство.

Казалось бы, этот эксперимент был обречен. И он был обречен... Но не все так просто.

«Новая Гармония»

В 1824 г. Оуэн приобрел у религиозной организации благоустроенное поместье в американском штате Индиана и назвал его **"Новая гармония"**. Впоследствии большой ошибкой реформатора считалось приглашение будущих колонистов "на готовенькое". Условия формируют характеры. Оуэну казалось, что уже сама благоустроенность будет формировать положительные характеры. Но участники эксперимента не приложили усилий к созданию «Новой гармонии». Ее стены ничего не значили для этих людей, не оставили следа в их характерах.

Оказавшись в стартовой точке социалистического движения, Оуэн неизбежно столкнулся с одной из основных проблем, которая затем будет терзать все направления социализма – с проблемой **переходного периода**.

Можно ли осуществить переход к социальному идеалу одним рывком, или для этого необходима промежуточная стадия.

При всей уверенности в благотворности общественных условий, Оуэн понимал, что люди, воспитанные в капиталистическом обществе, не смогут сразу начать жить по законам альтруизма. Если ты все время боялся впасть в нищету, копил на черный день, то очень трудно немедленно начать работать на коллектив "просто так". Поэтому первоначально, по принятой в марте 1825 г. конституции “предварительной общины”, колонисты должны были получать **"по труду"**. Но как измерять этот труд, в каких единицах? Этот вопрос вставал перед всеми последователями автора трудовой теории стоимости экономиста Д. Рикардо, включая младших современников Оуэна Прудона и Маркса. Если рабочий получает за труд продукты, то необходим эквивалент, позволяющий приравнять затраты труда к объемам продуктов. Поскольку при рыночных отношениях таким эквивалентом являются деньги, то соблазнительно считать деньги эквивалентом труда, а размер продукта в деньгах (стоимость, ценность) — размером затраченного труда (с учетом производственных издержек).

Но в капиталистическом обществе деньги получают не только трудящиеся (то есть работники, непосредственно производящие осязаемый продукт). Люди, отдающие приказания или их наследники, получают гораздо больше. Причины этого оценивались социалистами по-разному. Прудон считал, что таким образом нарушаются законы свободного рынка, что приводит к монополизму, дисбалансам, кризисам и нищете. Маркс полагал, что эксплуататоры отчуждают труд рабочих, недоплачивают прибавочную стоимость. Оуэн считал, что можно исчислить объективную стоимость продукта в рабочем времени и сделать ее постоянной, освободив таким образом от случайных рыночных колебаний[76]. Оплата должна была производиться трудовыми бонами, которые характеризуют рабочее время, а не качество труда.

Если стоимость товаров соответствует рабочему времени, то и распределение должно осуществляться "по труду", по затратам рабочего времени. Но уже эксперимент Оуэна подтвердил подозрения скептиков о том, что время времени и труд труду рознь. Люди работают с разным "огоньком", квалификацией и эффективностью. Попытки Маркса позднее обосновать разделение на простой и сложный труд только подтвердило отсутствие методики вычисления "общественно необходимого рабочего времени". Пока качество труда обусловлено индустриальным механизмом стандартизации, а интенсивность – темпом конвейера, такие оценки возможны хотя бы приблизительно. Но как только значение приобретают качественные характеристики, вся схема рушится.

* * *

На приглашение Оуэна съехалось более 800 человек. Принимали всех. Ведь социальные условия должны были благотворно преобразовать характер любого человека.

Организовать такое сообщество было нелегко. Но Оуэн поставил более величественную задачу – сообщество должно было самоорганизоваться. Оуэн стал основоположником **альтернативных общин** (коммун). От традиционных крестьянских общин они отличались тем, что создаваемый выходцами из социальных слоев, давно уже покинувших аграрное общество. Важно понять суть этого явления, ибо к концу XX оно доказало свою жизнеспособность. **Альтернативные общины** возникают по всему свету, и некоторые существуют в течение нескольких десятилетий. Что это – бегство из цивилизации в "идиотизм деревенской жизни", как назвал догородскую среду доктор Маркс?

Нельзя не заметить ключевых различий между идеей Оуэна и традиционной деревней. Наиболее важным отличием общин Оуэна от традиционной аграрной общины и даже общин диггеров (сторонников Д. Уинстенли) является стремление к сочетанию коллективизма и интеллектуализма, сельской, промышленной и научно-творческой деятельности, производственного и территориального гражданского самоуправления.

Оуэн считает, что фабричная система открыла возможность движения в направлении гармоничного социалистического общества[77]. Из коллективного производства, возникшего в современную эпоху, логически вытекает и коллективное владение. Если все на современном предприятии и так вместе работают, то почему задачи управления этой работой нужно доверять узкой элите. Пока работники недостаточно образованы, это имеет объяснение – инженер лучше разбирается в производстве. Но если работник будет образован не хуже инженера, то уж дело-то свое он точно знает не хуже.

Большинство участников эксперимента были лучше подготовлены к интеллектуальному труду, но должны были заниматься и физической работой.

Ферма принадлежала самим работникам. Оуэн — сторонник полной демократии и ненасилия. Единственное возможное наказание, крайняя мера — удаление из общины. И только в том случае, если не удалось прийти к согласию конфликтующих сторон.

Оуэн считал, что замещение должностей будет происходить автоматически — по мере достижения того или иного возраста общинниками. Но в силу небольшого размера общины Оуэн не видит необходимости в специалистах-управленцах (некомпетентное управление станет затем одной из причин разорения общин).

В общине не должно быть никакой правящей касты, подробной регламентации – только основные гуманистические принципы, добровольно выполняющиеся всеми участниками. Община Оуэна – не государство. Таких общин в стране должно быть множество. Жители общин не должны иметь привилегий по отношению к другим гражданам.

* * *

Капиталистический индивидуализм превращает человека труда в нищего, в то время как узкая "паразитическая" каста живет в роскоши. Это лейтмотив социалистической критики XIX в. Для этого столетия и для нынешних стран Третьего мира она выглядит вполне оправданной. Капитализм жесток и несправедлив. Кризисы перепроизводства, нищета, расточительное расходование ресурсов доказывали (да и доказывают), что капитализм неэффективен. Но есть и более серьезная проблема. Узкая индустриальная специализация превращает человека в инструмент, однобокую функцию. Оуэн считал, что

разделение труда представляет собой лишь иное проявление бедности и умственного бессилия[78]. Индивидуумы, конкурируя друг с другом, разрушают друг друга, и в этой системе существуют лишь как пассивные инструменты.

В Нью-Ленарке Оуэн попытался решить эту проблему, занявшись культурным развитием работников в нерабочее время. Он повел себя как альтруист и получил экономический эффект. Теперь, в Новой Гармонии, Оуэн стремился построить общество на основе альтруистической помощи людей друг другу, **преодоления узкой специализации** путем многостороннего развития личности. Общинник должен выполнять черную и творческую работу, вместе со всеми участвовать в материальном производстве, духовных поисках и развитии культуры.

Специализация, уродующая личность, в то же время обуславливает необходимость элиты, управляющей трудящимися: работников, узко специализирующихся на какой-то одной операции, нужно координировать, соединять их раздробленный труд в единое целое. Такое «отчуждение» работников друг от друга из-за их однобокой специализации прямо противоречит принципу гуманизма, который отстаивает Оуэн. Человек должен быть многосторонним, гармонично развитым творцом, а не однобоким инструментом элиты, предназначенным для какой-то узкой функции. Следовательно, работник должен быть специалистом в разных областях. Начиная с Оуэна эту проблему пытались решать путем смены занятий. Как позднее напишет В. Маяковский: «попашет, попишет стихи». Но уже в Новой Гармонии необходимость заниматься не только интеллектуальным творчеством, но и уборкой навоза вызывала неприятие. И дело не только в том, что чистка сортиров вызывает меньше удовольствия, чем, скажем, музицирование. Творчество увлекательно, оно затягивает, и необходимость отвлекаться от него на нетворческий труд раздражает и разрушает творческий процесс. Оуэн не услышал предупреждения Фурье о различии функций труда и творчества. Но и предложение Фурье просто разделить тружеников и творцов противоречит гуманизму Оуэна. Выход в другом – в вытеснении нетворческого труда творчеством, в механизации работ и быта. Первые шаги в этом направлении делались уже в Новой Гармонии и особенно в других поселениях оуэнистов. Труд в Новой Гармонии был «добровольным» (хотя широко использовалось моральное принуждение). Считалось, что община будет заботиться о его привлекательности (здесь Оуэн идет за идеей Фурье). Но технические возможности для этого были невелики, особенно когда речь шла об обслуживании не себя самого, а сотен людей – большой общины, огромной семьи.

Оуэн поставил великую задачу преодоления специализации в условиях, когда на специализации держалась вся экономико-техническая система индустриализма, позволившая человечеству добиться роста благосостояния части населения, падения смертности, снижения угрозы голода. В те времена тенденция к росту специализации набирала силу. Технические условия для отказа от специализации отсутствовали, и за гуманистический порыв «против ветра» приходилось платить падением эффективности производства и казарменным принуждением интеллектуалов к тяжелому физическому труду. Это была благородная, но низкоквалифицированная помощь чернорабочим. Но, забегая вперед, вспомним, много ли пользы принес нашей экономике труд профессоров на овощебазах.

Попытка решить проблему специализации путем «смены труда» доказала к концу XX века свою бесперспективность. Как разовая помощь, добровольный порыв, проявление альтруизма это всегда вызывает уважение и эмоциональный подъем. Но экономический механизм на этой основе не может сохраняться. И все же проблема специализации остается, как и задача ее преодоления. Может быть, возможны иные пути? К концу XX века появляется возможность дать положительный ответ на этот вопрос.

* * *

Коллективизм, тем не менее, первоначально дал значительный **экономический эффект**. Впоследствии это явление повторялось снова и снова в XX веке – во время революций в России, Испании, Венгрии и других странах. Работники, становясь хозяевами предприятия, начинали трудиться за двоих. Коммунистический альтруизм здесь не при чем. Работники работали на себя, ради того, чтобы предприятие дало доход новому хозяину – самому работнику. Капитализм, часто-собственническая организация, главным основанием которого считается рыночное стимулирование производства, материальная заинтересованность – не дает этой заинтересованности работнику. Только преодоление капитализма при сохранении товарообмена могло и может дать ему такой стимул.

Уже в Новой Гармонии стало ясно, что материальные стимулы неразрывно связаны с духовными. Ощущение, что тебя никто не угнетает, не эксплуатирует, вызывает всплеск энтузиазма. Но закрепить его обычно не удается. На место праздника труда приходят будни.

Отсутствие у работников управленческого и тем более самоуправленческого опыта приводит к сбоям. Для одних это стимул учиться, отлаживать механизм самоуправления, накапливать опыт. Для других – стартовая точка разочарования либо **радикализации** (как можно скорее пробежать трудный участок и перейти к следующему). Отход от чистоты принципов часто рассматривается как начало разрушения, превращение нового общества в один из вариантов старого. Возникает соблазн осуществить все сразу и по максимуму. Если у реформаторов, почувствовавших соблазн радикализма, под рукой окажется сила принуждения, начинается кровавая конфронтация «нового» и «старого», которая все равно как правило заканчивается каким-то синтезом или компромиссом между ними.

Оуэн, конечно, не мог прибегнуть к силе. Но он тоже был подвержен соблазну радикализации. При чем в этом случае даже не в связи с разочарованием, а от «головокружения от успехов», как выразится через сто лет теоретик и практик совсем другого социализма.

Оуэн лишь время от времени жил в общине, создававшейся на его средства. Нужно было вести агитацию, привлекать новых людей и деньги. Увидев первые успехи, он решил, что пора переходить к коммунизму. Такова общепринятая версия[79]. Но почему Оуэн немного не подождал, не проверил? Обычно это объясняют его наивностью – как никак утопист. Оуэна можно упрекнуть в самоуверенности, в догматизме и недальновидности, но никак не в деловой наивности. Не будем забывать, что перед нами – опытный организатор, расчетливый предприниматель, заработавший немалые капиталы на производстве, а не каких-то махинациях. Видимо, Оуэн не только радовался успехам, но видел и опасности переходного периода, который имеет собственную логику, инерцию, противоречия. Многое было непродуманно в системе стимулирования и управления. И лидер, опираясь на энтузиазм общинников, предпочел поскорее сделать следующий шаг.

* * *

В феврале 1826 г. по предложению Оуэна была принята конституция “Общины совершенного равенства”. Она провозгласила **коммунистические принципы**. “Будет общность собственности относительно... предметов, известных под именем капитала в самом обширном значении слова, т. е. всего того, что не предназначается для непосредственного потребления”, — говорилось в конституции общины[80].

Теперь колонисты должны были получать поровну и трудиться, всеми силами приумножая коллективную собственность общины, “работать и получать по совести”. Разделение труда отменялось. Каждый должен был выполнять работу каждого. Решение, продиктованное успехами первого этапа

эксперимента и стремлением не замечать его первые трудности, было встречено общинниками с энтузиазмом. Ради этого они и ехали в Индиану.

Вскоре, однако, выяснилось, что совесть общинников еще долго останется прежней. Коллектив медленно преобразовывал характеры людей, и притом не обязательно в том направлении, которое ожидал Оуэн. «Переходный период» не успел выполнить своих задач.

Общинники предпочитали интеллектуальные занятия. Демократическое устройство общины и преобладание в ней интеллектуалов способствовали этому. Выпускавшаяся в общине газета (“Нью гармони газетт”) писала об этом: “Мы все наше время проводим в спорах об отвлеченных предметах; вся наша энергия уходила на пустые усилия, каждый старается убедить других в том, что только он способен указать путь к совершенному блаженству”[81].

Но так ли пусты были эти усилия. В чем предназначение человека, если не в размышлении о своем месте в мире и обществе, не в общении на эти темы. Смысл социалистической идеи заключался в спасении человека от нищеты и отупляющего труда. Что же удивляться тому, что общинники предпочитали интересные им беседы уборке скотного двора. Но плохая уборка скотного двора в условиях самообеспечивающейся общины вела к ее экономической гибели.

Вечная проблема коммунистической идеи и социалистической практики — что делать с **лентяями**. Если человек делает вид, что работает, а на самом деле “валяет дурака”, то его соседу становится обидно. И принудить коллегу к работе с огоньком никак не получается. Уборка свинарника его не привлекает, а получает вознаграждение независимо от того, как трудится. Такое отношение к труду заразительно. Если он не работает — почему должен работать я? Работая на сообщество, человек вправе рассчитывать на эквивалентную отдачу. Но эквивалента нет, и замечая, что его запросы не удовлетворяются, что товарищи работают не так интенсивно, как хотелось бы (это может быть иллюзией), человек теряет стимул для собственного самоотверженного труда.

Интересно, что такая же психология господствует и среди большинства рабочих мира, не участвующих ни в каких экспериментах. Но у них за спиной стоит целая система надсмотрщиков и стимулов. Радикальная коммунистическая идеология рассчитывает на моральные стимулы и проигрывает, потому что не может создать альтруистическую мораль прежде, чем возникнут коммунистические отношения. А отношения эти не могут работать, пока не создана соответствующая мораль. Только религиозные общины способны приближаться к коммунистическому идеалу, потому что в них объединяются люди, поглощенные сверхидеей. Но быт часто разрушает даже такие сообщества. И монастыри поглощаются бытом. Светские коммунистические общины в большинстве своем были обречены на распад еще раньше, так как объединяли людей разных взглядов.

Но была ли обречена на распад переходная модель общины, которая была “преодолена” с провозглашением коммунистических принципов в 1826 г.? Этот эксперимент тогда не был поставлен.

В связи с этим интересно обратиться к критике Оуэна его великим современником Фурье: “Секта, руководимая господином Оуэном, утверждает, что она основывает социетарный (здесь — социалистический — А. Ш.) строй; делает же она совсем противоположное: ... она трудами своими подрывает доверие к ассоциации”. Фурье называл оуэновскую общину “монастырским режимом общности благ”. Он считал, что нужно развивать качества людей “в каждом отдельном человеке без того, чтобы задевать массу”[82].

Фурье так и не смог воплотить в жизнь свою теорию, и в этом смысле в его критике чувствуется нотка зависти. Резкость критики всегда камуфлирует наиболее важные разногласия. Каково соотношение практики Оуэна и теории Фурье?

Между двумя теоретиками есть важное противоречие, на которое обратил внимание М. Туган-Барановский: “для Оуэна человеческая природа есть нечто в высшей степени пластичное и изменчивое; цель общественного преобразования заключается в изменении человеческой природы, в создании нового человека, более соответствующего нашему нравственному идеалу.

Цели общественной реформы для Фурье прямо противоположны. Фурье... был убежден в неизменности основных свойств человеческой природы, а с другой стороны был решительным аморалистом. Не человеческий характер должен приспосабливаться к общественному строю, а общественный строй должен быть приспособлен к неизменным свойствам человеческого характера”[83].

Гуманизм и «аморализм» двух мыслителей противостоят относительно. Оуэн – радикальный гуманист. Он готов принести на алтарь братских отношений между людьми и традиционную мораль, включая семейные узы. Он выступает за единую семью в общине[84]. Но и Фурье, при его показном аморализме, вполне гуманен, он выступает за то, чтобы люди жили счастливо и дружно, хотя и не сливаясь в единое общинное братство. Собственно, это принципиально соответствует первому, «переходному» этапу эксперимента Оуэна. Сначала следует гармонизировать отношения существующих людей, а уж потом станет меняться их натура.

Социализм Фурье соотносится с коммунизмом Оуэна также, **как социализм и коммунизм** в марксизме. Но между общинным социализмом и марксизмом пролегает глубокая расселина. Общинники готовы экспериментировать на себе, в то время как коммунисты-централисты могут добиться успеха, только заставив идти с ними в ногу все общество. Близкие по взглядам идеологи часто резко критикуют именно соседей по идейному спектру, предлагающих решать проблему «не совсем так». Но общины по Оуэну и по Фурье могут сосуществовать, в то время как малейшие разногласия между марксистами приводят к смертельной схватке. Расколы общинников носят более мирный характер. Это — своего рода разводы.

* * *

В 1827 г. Новая Гармония раскололась. Наиболее интеллигентные и состоятельные в материальном отношении (у них оставались прежние накопления) участники эксперимента выделились в отдельную общину “Меклюрию”. Эта община положила начало движению, которое затем развивалось в Америке несколько десятилетий. Временами граждане небольших общин, состоящих преимущественно из высокообразованных людей, обеспечивали высокий уровень быта при неизменно утонченной культурной жизни[85].

Оставшиеся так и не смогли наладить дела. В 1828 г. Оуэн уехал в Англию, сохранив только пятую часть своего состояния. Новая Гармония прекратила существование.

Исследователь жизни Оуэна В. Подмарков так подвел итог этой попытке построить коммунизм в отдельно взятой ферме: “Новую Гармонию погубили не орды завоевателей и не специфические конкурентные законы капиталистического строя (видимо, они попросту не успели сработать), а эгоизм, зависть, алчность и озлобление ее членов, большинство которых стремилось именно к тому, чтобы преодолеть эти явления”[86]. Оказалось, что **община** не исправляет в автоматическом порядке, а **усиливает** черты характера людей. Им приходится жить бок о бок, в тесном контакте, отвечать друг за друга. Коммунизм стирает перегородки между людьми, открывает двери и обнажает отношения. При всем благородстве замысла, любое неблагородство участника такого общества больно ранит окружающих. Ведь люди в коммунистическом обществе не могут защищаться друг от друга, и по замыслу Оуэна — не должны

этого делать.

Оуэн считал, что причиной неудачи эксперимента стала **моральная неподготовленность** участников. “Практика показала невозможность поспешного образования коммун из крайне несовершенного человеческого материала”, — писал Оуэн в самом конце эпопеи Новой Гармонии[87]. К. Андерсон комментирует это признание: “Ни Оуэн, ни его ученики, похоже, не заметили, что их заключение противоречит одной из важнейших посылок их теории. Согласно представлениям Оуэна, человека можно изменить, только изменив окружающую его среду”[88]. Что же, Оуэн тоже учился. Воздействие общества на человека и человека на общество – две стороны реформы.

Оуэн понял, что нужно тщательно подбирать людей, которые будут жить в его новой общине. Она действительно была создана в 1837 г. и просуществовала до 1845 г. Затем община Гармони-холл разорилась. Вступили в действие “специфические законы капиталистического общества”. Этот эксперимент показал, что новые отношения не могут существовать в изоляции. В этом случае ячейка альтернативного общества разрушается и поглощается окружающей средой. Общины могут существовать как система.

* * *

Распад Новой Гармонии не означал конца движения за создание общин (коммун). В США оуэновский эксперимент развивался на фоне более широкого движения, имевшего религиозные корни.

В Великобритании агитация оуэнистов привела к тому, что с 1820 г. образовались группы рабочих, желавших создать свои общины, но не имевших на это средств. Заработать эти средства они надеялись с помощью общины, живущей пока без отрыва от существующей общественной среды – кооператива. Уже в середине 1820-х гг. кооператоры-оуэнисты превращаются в фактор общественной жизни, и к концу 20-х гг. им удается развернуть успешный бизнес, в котором рабочие являются одновременно и хозяевами дела, и собственным рынком сбыта. Накопив капитал, рабочие создавали ремесленные мастерские[89], преодолевая, таким образом, последствия индустриализации, отчуждавшей работника от средств производства.

В 1844 г. по инициативе Ч. Говартса возникнет «Общество справедливых рочдэльских пионеров», которое оставит в стороне идею производственной кооперации и сосредоточится на потребительской. Идея пионеров заключалась в том, что пайщики получают доход не на вложенный капитал и не поровну, а в зависимости от количества купленных в кооперативной лавке товаров. Так кооперация создала себе преимущественный рынок сбыта, что позволило пионерам и подобным им обществам добиться быстрого роста.

В 1831-1834 гг. прошли семь кооперативных конгрессов, на которых при участии Оуэна обсуждался опыт кооперативного движения и перспективы преобразований. Лишних средств на создание общины у кооперативов не было — деньги должны были идти на обеспечение выплат членам кооператива и новые закупки. Оуэн в этот период уповал на правительство, надеясь, что пришедшие к власти либералы обратятся к социальным реформам и поддержат создание общин. Этим он предвосхитил теории Луи Блана и Фердинанда Лассаля. Поэтому тогда Оуэн считал ненужным создание небольших общин, за которые выступал его последователь У. Томпсон. Малые общины по мнению Оуэна будут слишком зависимы от условий рынка. Настоящая община должна быть устойчива и сама производить основные необходимые ей продукты.

Томсон, а вслед за ним и большинство делегатов кооперативных съездов, не верили правительству. Позднее Оуэн молчаливо признает их правоту и перейдет на анархические позиции. Его следующая

община будет невелика. Но предсказание Оуэна сбудется, и она погибнет в конкуренции с окрестными фермерами.

Однако и этот пример не может служить приговором общинным экспериментам. Разорение одной и даже нескольких фабрик не может доказать бесперспективность фабричного производства. То же можно сказать и о самоуправляющихся общинах. В 1831-1833 гг. успешно работала община Рэлехейн в Ирландии. Она располагалась на землях лендлорда Вэнделера, который, собственно, и пригласил оуэниста Э. Крейга для создания общины из местных крестьян. Эксперимент оказался успешным, общинное самоуправление позволило заметно улучшить жизнь крестьян, их культурный уровень, ослабило социальные и национальные противоречия в округе. Все необходимое общинники получали на общественном складе за трудовые деньги, полученные пропорционально рабочему времени. Общинники решили и проблему лентяев — их ставили работать рядом с наиболее трудолюбивыми членами общины — “сачковать”, глядя в глаза напарнику, оказалось невозможно. “Теперь, когда наши интересы и наши обязанности стали совпадать, нам не нужны никакие надсмотрщики”, — объяснял основы организации производства один из участников общины[90]. Британским наблюдателям казалось невероятным, что общинники работают сверх положенного времени в пору страды[91]. Вероятно, они не видели, как работает, например, русская община.

Но затем лорд проигрался в карты, имение было продано, а новый хозяин запретил непонятный ему общинный порядок[92].

Альтернативные общины

Несмотря на неудачу экспериментов Оуэна, движение общин ширилось, особенно в США. Дело в том, что и до Оуэна оно уже имело здесь свою историю, связанную с деятельностью религиозных проповедников. Оуэн отличался от них чисто социальным, светским характером своего эксперимента и принципиальным демократизмом, который редко был свойственен пророкам, организующим общины для своих сект. Религиозно-мессианский «допинг» был важным подспорьем социального эксперимента, но ограничивал возможности его распространения.

В Америке в XIX в. Эту деятельность развернули религиозные проповедники-немцы. В 1807 г. Г. Ранн создал общину «гармонистов», в 1817 И. Беймеллер – «сепаратистов». Община Амана, основанная в США немецкой сектой «инспирационистов», в 1842 г провозгласила себя коммунистической. В Америке существовали десятки общин разных направлений, преимущественно религиозных. Вера придавала эксперименту дополнительные духовные стимулы и позволяли религиозным общинам добиваться большего долголетия по сравнению со светскими экспериментами.

Оуэн был первым, кто пытался построить крупную общину на светских началах, без объединяющей религиозной идеи. В 1825-1826 гг. потерпела неудачу еще одна – Елоспрингская община оуэнистов.

Оуэнисты были более удачливы в Британии. В США последовала очередь последователей Фурье А. Брисбана, Г. Грилея и Ш. Дана, которым удалось создать несколько «фаланг». Всего фурьеристы создали около 30 фаланг, проживших от нескольких месяцев до 18 лет. В 1846 г. фурьерист Годен основал в Гизе на свои средства металлургический завод, который организовал по принципу участия работников в капитале. Также он организовал при заводе больничные кассы, сеть кооперативных магазинов, общественное жилье. Это социальное государство в миниатюре, отчасти повторившее в больших масштабах эксперимент Оуэна в Нью-Ленарке, успешно развивалось. К началу XX в. работники стали его совладельцами. Предприятие в Гизе стало одним из примеров успешного применения альтернативных капитализму идей в промышленности.

Организаторы альтернативных общин шли дальше, стремясь создать локальный социализм, основанный на социалистических или даже коммунистических началах.

Одним из наиболее успешных оказалось поселение перфекционистов («совершенствующихся»), во главе которых стоял Джон Нойес (1811-1886). Руководствуясь его религиозным учением и социальными идеями Фурье, перфекционисты в 40-е гг. осели в Онеиде, штат Нью-Йорк. Они быстро ушли от конкретных предписаний Фурье к общекоммунистическим и общинно-демократическим принципам, близким оуэнизму. По идее Нойеса «наши общины – это семьи, связанные также тесно, как обыкновенные семьи»[93]. Столкнувшись с типичными для коммунистических экспериментов проблемами недостатка альтруизма, качества труда, готовности выполнять тяжелую и грязную работу и т.д., «перфекционисты» нашли выход в укреплении тесной личностной связи между членами общины (вплоть до полигамии) и в создании Комитета критиков. Комитет следил, насколько члены выполняют взятые на себя обязательства, и, находя изъяны, сначала кулуарно, а в случае надобности публично критиковал виновников. Давление общественного мнения как правило позволяло исправить проблему, что позволило идеологам общины утверждать: «Для коммунистического общества свободная критика имеет то же значение, как голос закона для государства»[94]. Руководство работами общины осуществляли выборные распорядители. Важнейшие вопросы решали общие собрания, стремясь к консенсусу между членами. У общинников был общий стол, что исключало имущественное расслоение. Перфекционисты стремились к созданию многоотраслевой экономической структуры, успешной на внешнем рынке. Они продавали машинную пряжу, засахаренные

фрукты и меха. Община не только сама отличалась долголетием, но заботилась о долголетии своих членов, подтвердив, что социалистическое и коммунистическое общество не может считаться таковым без сильных социальных институтов. В Онеиде была хорошая больница, из 299 членов общины в конце 70-х гг. 26 человек были старше 70 лет. Община создала филиалы в Коннектикуте и близ Ниагарского водопада. В конце 70-х – начале 80-х гг. перфекционисты подверглись преследованиям властей за пропаганду коммунизма и за «свободный брак», после чего формально отказались от последнего и были вынуждены официально принять форму акционерного общества.

* * *

Из нерелигиозных общин наиболее длительное существование удалось обеспечить течению икарийцев. Начало эксперимента было положено **Этьеном Кабе** (1788-1856), бывшим французским либеральным депутатом, который в период эмиграции увлекся коммунистическими идеями. Свои взгляды Кабе сформулировал в романе-утопии «Путешествие в Икарию» (1840). «Икария» – страна государственного коммунизма, а вовсе не община. Но популярность идей Кабе позволила ему начать эксперимент в локальном масштабе в США, в Техасе. Кабе отличался авторитарным характером, что стало одной из причин расколов в коммунистическом сообществе. Исключенные из общины апеллировали к прессе и властям, и Кабе с его последователями пришлось мигрировать по США и противостоять обвинениям в суде. В 1849 г. 2800 икарийцев осели в Нову. Некоторое время община развивалась успешно (в том числе и во время отсутствия Кабе во Франции, где он также защищал свое честное имя). Но затем она раскололась, Кабе с 200 сторонниками покинул Нову и вскоре скончался. Последовавшие за ним адепты прожили общиной до 1863 г., конфликтуя с Нову. В 1857 г. икарийцы были вытеснены из-за преследований кабетистов из Нову в Йова. В 60-е гг. положение общины икарийцев укрепилось, они приобрели паровую лесопилку и вписались в экономическую жизнь региона. В 70-е гг. конфликт поколений вызвал новый раскол. Традиционалисты выделились в «Новую икарийскую общину», а победившая молодежь принялась распространять общинный опыт по Америке, создав новые поселения в Калифорнии и Флориде.

К концу XIX в. в США существовало более 200 общин[95]. Но затем этот процесс пошел на спад по мере монополизации капитализма. Общины не могли выдержать конкуренцию с монополистическими корпорациями, поддержанными государством. Центр тяжести движения альтернативных поселений переместился в Россию, а с начала XX века – в Палестину (киббуцы).

* * *

В России коммунитарное движение набрало силу в условиях поражения революционного движения в 80-е гг. Штурм твердынь самодержавия, предпринятый народниками, не удался. Если нельзя изменить общество целиком, то можно попытаться изменить социальные условия для тех, кто желает экспериментировать на себе. Этическое требование добывать хлеб насущный собственными руками как нельзя лучше гармонировало с условиями эксперимента – коммуны должны кормить себя сами и показать другим пример сочетания интеллектуальной жизни и физического труда. Если пример окажется удачным, мир изменится без всякого насилия.

Коммуны в России возникали с разными целями. Идеи создания производственных ассоциаций и «образцовых ферм» была известна и по роману Чернышевского «Что делать?», и по инициативам ишутинцев, прерванным властями в связи с покушением Каракозова на Александра II в 1866 г. В конце 60-х

гг. предпринимаются попытки создать «фалангстерии» на Северном Кавказе и Украине. Для участников «хождений в народ» середины 70-х гг. это были очаги революционной пропаганды. Разгромив их, правительство затем с недоверием относилось и к новой волне коммун, создававшихся с целью организации альтернативного образа жизни.

Исследовательница истории коммунитарного движения И.А. Гордеева пытается оградить его от подозрений в связях с революционным движением (будто времена возвратились на круги своя, и важно дать историческому явлению аттестацию благонадежности): «Колонии с коммунитарными целями следует отличать от внешне очень похожих на них поселений, основной целью создания которых могло быть сельскохозяйственное производство или, чаще, революционная пропаганда. Участники общин разных типов не только ставили перед собой неодинаковые цели, но и идеологически были чужды друг другу, редко пересекались в своей деятельности, и даже можно говорить о том, что разные типы колоний привлекали людей разного психологического склада»[96]. Факты (в том числе и приведенные самой И.А. Гордеевой) говорят о другом. У этих движений были близкие цели, разные методы их достижения, и участники революционного народнического и коммунитарного движений представляли собой не совпадающее, но пересекающееся множество. На разный этапах своей биографии человек мог быть и революционным пропагандистом, и строителем мирной коммуны. Тем более, что оба движения объединяла идея «общинного социализма» – независимо от того, стремились коммунары создавать общину в России или в более свободной Америке. Важно иметь в виду, что российское движение было органической частью мирового коммунитарного движения, которое бурно разрослось со времен Оуэна, прежде всего в США. Часть Киевского коммунитарного кружка «американцев» (планировавших создать общину в Америке) увлеклась бакунизмом, а один из лидеров Большого общества пропаганды Н. Чайковский (по имени которого общество называлось «чайковцами»), напротив, стал американским коммунитарием. Ссыльный революционер А. Энгельгард создал у себя в поместье «интеллигентную деревню» и положил начало целой генерации коммунитариев, разделявших его принцип «каждый прежде должен очиститься сам». Так переплетались судьбы людей, которые не могли и не хотели вписаться в социальную структуру Российской империи.

С начала 70-х гг. в Российской империи возникают десятки коммун, созданных для развития альтернативного образа жизни, самосовершенствования и гармоничной жизни в кругу друзей. Новый импульс этому движению уже в 80-е гг. придало учение Л. Толстого, сочетавшего ненасильственный анархизм и раннехристианские идеалы. Коммуны испытывали влияние и других религиозных идей, в том числе тех, которые вырабатывали сами в бесконечных спорах на культурные и религиозные темы. Общинная жизнь предполагала крайне плотное и интенсивное общение энергичных, не настроенных на компромисс и подчинение людей. Споры перерастали в конфликты, а распределение работ между людьми, многие из которых не имели соответствующей квалификации, придавали этим конфликтам «материальный базис». Не удивительно, что большинство общин не доживали до трех лет. Тем не менее, люди не бросали идею, переходя от одной инициативной группы к другой, из общины в общину, складываясь в новые конфигурации, приобретая опыт общения и физического труда и постепенно создавая более устойчивые поселения. В 1885 г. по инициативе опытного коммунитария В. Еропкина под Геленджиком была создана община Криница. На территории в 350 десятин жило 15-50 общинников и множество гостей (общину посетило более 800 человек). Криница дотировалась Еропкиным (он стал директором писчебумажной фабрики), но основную нагрузку по снабжению несла сама. В начале XX века жители Криницы так формулировали свое кредо: «Для осуществления наших стремлений к истинной жизни мы остановились на земельной общине, но мы не стоим за общину как внешнюю форму жизни, а стоим за общинность как духовное начало, как душевную предрасположенность, как сердечное стремление человека слить свое «я» с другими для выполнения смысла нашей жизни, как этот смысл

освещается моральными и научными системами, объясняющими связь человека с беспредельным миром и истиной»[97]. В 1912 г. Криница потеряла возможности внешнего дотирования и преобразовалась в самоокупаемую артель. Пример Криницы был не единственным опытом долгосрочного существования альтернативных поселений в России[98].

Большинство российских коммун объединяли такие принципы, как общность имущества, демократия – решение основных вопросов собранием и назначение распорядителей, легко сменяемых по завершении соответствующих работ. Эти принципы, как мы видели, роднят российские коммуны с некоторыми американскими.

* * *

История общин даже в большей степени, чем история государств зависит от конкретных людей – их характеров, организационных способностей, терпимости, знания психологии и теории самоуправления. От участников процесса зависит не меньше, чем от системы, индивидуальные порывы не могут быть сглажены инерцией социальных масс, а быстро вызывают реакцию окружающих, придавая развитию общины драматизм, динамизм и неустойчивость. История общин знает и деспотов, и революционеров. Однако общины действовали как открытые сообщества, из которых можно было в любой момент «эмигрировать». Некоторые общины создавали рядом сателлитные поселения, где можно было отдохнуть от надоевшего сообщества, а затем, уже скучая по друзьям и общинной суете, вернуться назад. Текучка кадров играла благотворную психологическую роль, разряжая обстановку, но дурно сказывалась на хозяйстве. В дела общин вмешивалась и полиция, не верившая в благонадежность этих «притонов» народников и толстовцев. Под давлением властей (иногда сопровождавшихся арестами) погибло несколько коммун.

После революции 1917 г. последовал короткий расцвет движения коммун. Эта идея стала официальной, коммуны воспринимались коммунистами как первые шаги к неведомому новому обществу. Теперь коммуны создавали не только мирные толстовцы, но и анархо-коммунисты, левые эсеры и большевики, близкие по взглядам к анархистам. Толстовцы также сблизились с радикалами, ориентировавшимися на преобразование внешнего мира. Толстовские общины приняли в свой состав анархистов. Судьба коммун времен революции различна. Одни были уничтожены белыми, другие превратились в огосударствленные хозяйства и затем использовались как витрина колхозного движения. Коммуны, созданные анархистами, вычищались от политически активных элементов (хотя некоторые анархисты, формально отказавшись от своей политической идеологии, продолжали руководить коммунами и колхозами)[99].

Толстовские общины также получили в 20-е гг. новые возможности для развития, так как были избавлены от преследований по религиозному принципу. Их отличали широкие дискуссии на духовные темы, терпимость к образу жизни. В остальном это были типичные коммунистические общины, которые решали вставшие еще перед оуэнистами проблемы за счет духовных стимулов и небольших размеров коммуны (30-40 человек), позволявших обеспечить моральное давление на нарушителей дисциплины труда и альтруистической морали. Коммунары трудились денно и нощно, что обеспечивало экономическое преуспевание. Иногда «каторжный» труд вызывал протесты: «Мы собрались здесь не ради работы, а ради братской жизни»[100]. Под давлением властей, стремившихся превратить коммуны в колхозы, коммунары перемещались с места на места, причем бывало, что объединялись анархистские и толстовские коммуны. В 30-е гг. и анархо-коммунистические, и толстовские коммуны были поглощены колхозной системой. Движение альтернативных общин возобновилось в России только в 90-е гг. («Китеж» и др.).

Кооперативы, синдикализм и лейборизм

Роль Оуэна в становлении социалистической практики не ограничивается общинными экспериментами.

По возвращении в Англию после гибели Новой Гармонии, Оуэн на время откладывает создание новой общины. Он ищет опоры в массовых движениях. Его сторонники разворачивают кооперативное движение. Кооперативы на деле облегчают участь рабочих. Съезды кооператоров, на которых выступает Оуэн, представляют тысячи людей. Сам Оуэн считает кооперативное движение только частичным выполнением своего замысла, но он готов двигаться вперед постепенно, в жарких спорах доказывая свою правоту недостаточно решительным последователям. Однако созданные по инициативе Оуэна рабочие базары, которые должны были обеспечить справедливый обмен продуктами и вытеснить торговлю, потерпели фиаско. Прямой товарообмен между рабочими кооперативами оказался неэффективным, потому что Оуэн исходил не из потребительской стоимости, а из искусственно вычисленного рабочего времени. Оцененные таким образом товары либо немедленно раскупались, если их потребительская стоимость превосходила назначенную цену, либо залеживались на базаре. Попытка определять стоимость товара “демократически” — с помощью специально избранной комиссии, ситуацию не изменила.

Но побочный результат оуэновской агитации – кооперативное движение – ширилось, и с тех пор кооперация стала важным фактором мировой торговли и производства, **“школой самоуправления”** для миллионов тружеников.

* * *

В 30-е гг. оуэнизм проникал в рабочее движение все глубже. В 1833 г. Оуэн предложил лидерам разрозненных тред-юнионов объединиться в общенациональный союз. Эта идея была принята “на ура”. В 1834 г. возник Общий союз производящих классов, объединивший сотни тысяч рабочих.

“Предполагается, что будут приняты меры в общенациональном масштабе для охвата новой великой организацией всех трудящихся, и что каждая часть ее будет осведомлена о происходящем в других частях; всякое индивидуальное соперничество прекратится, все виды производства будут осуществляться национальными объединениями”[101]. Создание союза положило начало единым профцентрам, мощному профсоюзному движению современного типа. Оуэн считал, что сильные профсоюзы, охватившие все производство, в перспективе смогут управлять им. И тогда каждая профсоюзная ячейка станет общиной, а сам профцентр – объединяющей эти общины федерацией.

Так Оуэн стал создателем еще и **синдикализма** — теории и практики профсоюзного движения, при котором мощные общенациональные союзы, стремятся устранить противоречия между трудящимися, полностью или частично взять на себя управление экономикой. Оуэн считал необходимым накапливать силы, но рабочие быстро перешли к столкновению с работодателями. Союз организовал несколько стачек, на которые власти ответили репрессиями и добились развала союза. После этого рабочее движение обратилось к политической борьбе, что претило Оуэну. Он считал, что бороться за власть бессмысленно, ведь общины изменят всю политическую структуру, которая превратится в союз союзов общин [102]. “Опыт многих лет убедил меня, что было бы бесполезно ждать чего-нибудь от правительств: они представляют власть, ничего не производящую, и считают, что им выгодно держать рабочие классы в рабстве”, – писал Оуэн, предвосхищая выводы теоретиков анархизма[103]. Оуэн критиковал и выборную демократию. “Оуэн был таким же решительным противником государства и насилия, как и Фурье, и для Оуэна государство

подлежит уничтожению", — комментирует М. Туган-Барановский[104].

Но политическое движение британских рабочих — чартизм — был пронизан социальными идеями Оуэна. Однако чартисты надеялись добиться их осуществления с помощью победы на выборах. Эту традицию затем продолжили британские лейбористы.

* * *

Чартисты стали первой массовой партией рабочего класса, открыв историю классовой организации пролетариата. Несмотря на то, что после 1824 г. в Великобритании были разрешены локальные профсоюзы, классовое самосознание рабочих не было развито, и каждый работник воспринимал себя частью не класса, а профессиональной группы или ремесленной группы, цеха. Тред-юнионы и были сначала своего рода ремесленными цехами с крайне ограниченными задачами (как из-за самосознания, так и из-за драконовского законодательства английской «демократии»). Более широкой социальной солидарности еще не возникло, что предопределяло слабость рабочих перед лицом имущественной элиты. Для того, чтобы рабочий класс стал силой, он должен был осознать себя как общность с едиными интересами.

Ситуация стала меняться после попытки Оуэна и его товарищей создать общебританский профсоюз и после начавшейся в 1836-1837 гг. агитации чартистских организаций – Ассоциации лондонских рабочих, Демократической ассоциации и др. Их лидеры У. Ловетт, Д. Гарни, Ф. О'Коннор и Д. О'Брайен верили во всеобщее избирательное право, в то, что право рабочих масс избирать депутатов позволит им привести к власти своих представителей. А те уже решат все социальные проблемы.

Победа принципа всеобщего избирательного права будет достигнута в ряде европейских стран только в конце XIX в. К этому времени социалистическая мысль уже осознает, что господство бюрократии и капитала сохранится, даже если массам будет дозволено выбирать себе надсмотрщика. Но также стало ясно и другое – участие социалистов в чуждой им политической системе меняет ее, заставляет и другие партии, опасаясь конкуренции и стремясь привлечь новые голоса, проводить социально ориентированную политику. Борьба, развернутая чартистами, изменила облик капитализма, в конечном счете придав ему черты **социального государства**.

Именно эта система социальной защиты (а не бесклассовое общество) стала программой рабочего движения, выраставшего из его собственных чаяний. Ленин видел в этих «тред-юнионистских» требованиях проявление рабочей стихии, далекой от политической консолидации. Но собственные рабочие требования могут быть воплощены и в политической программе – лейборизме. Лейборизм под влиянием социалистической интеллигенции может брать на вооружение социалистическую программу, но в силу естественных стремлений рабочего класса тяготеет к социальному государству. Ведь в социальной государстве рабочий класс сохраняется в своем прежнем качестве, только интегрируясь в Систему, а в случае социалистического перехода происходит качественное изменение классов. Рабочий из исполнителя становится организатором деятельности, а все ли готовы к этой нагрузке и ответственности?

* * *

Не все лидеры чартизма были социалистами, но для некоторых искомая демократия открывала поле для дальнейшей борьбы за социализм (эта логика затем будет иметь аналоги во многих странах, в том числе в России, где народовольцы боролись за демократию, потому что самодержавие не давало им

агитировать за социализм). О'Брайен был сторонником идей Оуэна, но считал, что они должны осуществляться при поддержке государства (подобные идеи затем развивали французы Бюше и Блан, а позднее – немец Лассаль).

Чартисты стремились придерживаться рамок закона (хотя иногда массовые выступления рабочих и перерастали в столкновения с войсками из-за сопротивления властей). Но авторитарные законы Великобритании не давали возможность легально добиться демократизации, если этого не желают правящие группы. Встал вопрос о революционном взломе британской политической системы. Но лидеры чартистов не решились на это, что привело к поражениям движения в 1842 и 1848 гг.

По мере того, как атаки на авторитарную политическую систему Британии не удавались, чартисты стали разрабатывать свою социальную программу, которую можно было бы продвигать одновременно с борьбой за демократию. Они поддерживали кооперативные идеи. О'Коннор предлагал переселять рабочих на землю, и тем лечить индустриальный флюс британского общества, снижать давление на рынок труда. В условиях малоземелья Англии и высоких цен на землю мирное проведение такого плана было невозможно, но если бы чартистское движение переросло в революцию, конфискация земель лордов позволила бы разгрузить британские города от переполнивших их маргинальных полу-пролетарских элементов, снизить безработицу и создать предпосылки для социалистических мер организации труда.

На закате своей истории, в начале 50-х гг. чартисты обратились к распространившимся в это время идеям государственной поддержки производственной кооперации. Программа Национальной чартистской ассоциации 1851 г. считает развитие производственных кооперативов шагом «к освобождению труда из его угнетенного положения и в качестве средства для уничтожения рабства заработной платы»[105]. Производственная кооперация действительно получила развитие в Великобритании, но благодаря помощи не государства, а филантропов.

Неудачи подорвали силы чартизма, но его опыт не пропал даром. Наследниками чартистов на политической сцене Великобритании с начала XX в. являются лейбористы. Лейборизм стремится решать социальные задачи настолько, насколько это не угрожает существующей системе. Избирательное право соединилось с логикой тред-юнионизма – отказом от стратегии в пользу тактики, частных улучшений. Чтобы добиться самой возможности такого социального реформизма потребовалась ожесточенная борьба чартистов, поставившая Великобританию на грань революции. Только спустя десятилетия их требование было удовлетворено. Великобритания перешла к «демократии» (то есть всеобщему избирательному праву) в 1867-1885 гг. В Германии канцлер Бисмарк оказался более уступчив к требованиям лидера рабочего движения Лассаля, и ввел всеобщее избирательное право уже в 1867 г. Это только укрепило монархию, и она обратилась к мерам социального государства. Тогда же сдвиги в этом направлении стали проводить и британские консерваторы во главе с Дизраэли.

Выяснилось, что решение задач социального государства может проводиться помимо социалистов. Социал-консерваторы Бисмарк и Дизраэли, проводившие первые меры подобного рода в своих странах, были социалистами не более, чем социалистами остаются нынешние британские лейбористы. **Социальное государство –** обеспечение работнику гуманных условий труда, досуга и поддержки в старости, помощь социально-слабым слоям – это требования социалистического движения, которые под давлением слева стала осуществлять буржуазно-бюрократическая правящая элита. Причем в той степени, в которой это не угрожало существованию основ капитализма. Социальное государство предполагает социальную защиту, но вовсе не обязательно – социальную и экономическую демократию.

* * *

Значение Оуэна для XX века трудно переоценить. Нет такой социалистической идеологии, у истоков которой он не стоял прямо или косвенно. Социальное государство и синдикализм, коммунитарное и кооперативное движения, марксизм и анархизм – все эти потоки мысли и практики обязаны Оуэну многими своими постулатами. Оуэн сделал главное – он поставил основные проблемы социальной практики, создал течение последователей, которые продолжали дело основателя даже тогда, когда расходились с ним во взглядах, провел серию практических экспериментов, которые показали, каковы могут быть последствия тех или иных решений. При этом не погиб ни один человек, что является исключением для большинства преобразователей, известных истории. Оуэн начал решать задачи, большинство из которых не разрешено и поныне. И в этой нерешенности – источник жизни созданного им социалистического движения со всеми его противоречиями, ренегатством части последователей и лидеров, с постоянным вызовом современности.

Оуэн, во многом бессознательно, заложил основы современного **социального творчества** – ненасильственного создания людьми новых форм организации собственной жизни в соответствии со своими собственными предпочтениями. Социальное творчество отличается от индивидуального тем, что направлено на общественные отношения и не может осуществляться без согласования интересов всех вовлеченных в этот процесс людей. В этом отношении социальное творчество является противоположным полюсом господства и угнетения, а также способом их преодоления.

И прежде развитие общества не стояло на месте, возникали новые формы человеческой организации. Но, как правило, эти изменения планировались узкой элитой для всего общества и внедрялись насильственным путем, разрушая существующее прежде структуры вопреки воле большинства. Этот процесс разрушения и принуждения (того же опредмечивания и угнетения) нужно отличать от социального творчества.

Иногда история была свидетельницей подъема ненасильственных движений, которые завоевывали целые империи. Христианство и буддизм начинали свой путь в общинах, распространявшихся ненасильственным путем. Но для них социальное творчество, организация жизни были производными от религиозной системы, настроенной на традицию. Традиция подозрительно относится к переменам и тем более к социальному творчеству. Переход от традиции к традиции происходил скачкообразно, революционным путем. Будущая традиция ломала существующую. Жертвы были велики, процесс наталкивался на культурные пороги и инерцию.

Но если порог существующего уровня культуры не позволяет быстро изменить общество в целом, а структура общества сковывает развитие культуры, получается замкнутый круг. Возможно, в небольшом социуме, общине, где подобрались более предрасположенные к такому изменению люди, процесс формирования новой культуры пойдет легче? Да, но только если благоприятна социальная почва и политические условия.

Предложенный Оуэном путь социального творчества – самоорганизация добровольцев в общинах, по возможности сочетающих интеллектуализм и самообеспечение – открывал новые возможности для смены исторических эпох. Хотя время для такой смены тогда еще не пришло.

Социализм Оуэна унаследовал от предыдущего этапа развития утопизма одну важную черту — стремление привить на современную почву благородные вневременные принципы. Не случайно, что Оуэн смог приступить к своим экспериментам в индустриальную эпоху. Раньше он бы не имел такого организационного опыта и не нашел такого количества свободно мыслящих интеллектуалов для своей общины. Но сам Оуэн рассчитывает не на силы, вызревшие в современном обществе, а на «вечные» свойства человеческой натуры. Это подвело Оуэна в его времени, но обеспечило долгожительство идее.

Последователи и потомки часто смеялись над негативными результатами его экспериментов. Но у тех, кто глумился над утопизмом Оуэна, обычно получалось не лучше. Но что-то получалось и у них.

Глава III

Прудон и Маркс. Футурологический социализм

После Великой французской революции социализм уже не мог не стать влиятельным общественным течением. Но от понимания необходимости преодоления капитализма – до конкретного проекта альтернативы ему – большой путь. Не случайно само слово «социализм» принадлежит философу Пьеру Леру, который более убедительно критиковал капитализм, чем объяснял, как от него избавиться. Ненависть к богатым и требование имущественного уравнительства, заметные уже в ходе Великой французской революции – это еще не программа социалистического общества.

Июльская революция 1830 г. на время предоставила социалистам свободу политической агитации, и на подготовленной почве расцвело множество цветов. Первоначально лидировала школа сен-симонистов, во многом продолжавшая линию Кампанеллы. С ней соперничали фурьеристы, продолжавшие линию диггеров и Оуэна. Сен-симонисты даже проникли на предприятия, где «их появление вскоре ознаменовалось стачками или иными какими-либо беспорядками»[106], – сообщалось в донесении лионской полиции. Сен-симонисты убеждали работников в недостаточности заработной платы и необходимости создания «коалиций» для ее повышения. Эта агитация имела косвенное отношение к восстаниям в Лионе в 1831 и 1834 гг. Интересно, что Сен-Симон и Базар не предлагали рабочим бунтовать против системы – движение было радикальным развитием выводов, следовавших из антикапиталистической пропаганды. Сен-симонистская агитация оказала влияние на «общественные воззрения многих из тех работников, которые в конце 30-х и в 40-е годы составили кадры увриеристских (рабочих – А.Ш.) газет…, тайных республиканских организаций, икарийского движения»[107].

Сама школа сен-симонистов во главе с Анфантеном вела вербовку членов в иерархию церковного типа. Из-за излишнего увлечения части сен-симонистов сексуальными проблемами их школа уже в 1831 г. распалась, дав больше плодов на ниве философии и социологии, чем политики.

После того, как сен-симонисты сошли с общественной сцены, фурьеристы благодаря агитации В. Консидерана приобрели значительное влияние на умы, соперничая с более учением государственного социализма Э. Кабе, изложенным в утопии «Путешествие в Икарию». Оно в основных чертах возрождало идеи Бабефа, но без политического радикализма. Получил развитие и христианский социализм (Ф. Бюше, Ф. Ламенне и др.). В подполье действовали бабувисты, и их попытки совершить переворот, навлекли на социалистов гнев правительства, не прекративший, впрочем агитации. Одновременно и рабочий класс показал, что ему все труднее мириться с условиями жизни – в 1831 и 1834 гг. произошли восстания в Лионе. Рабочие несли лозунг «Жить работая, или умереть сражаясь». Рабочее движение Великобритании и Франции соединило социалистический идеал с рабочим вопросом, который не мог решить капитализм. Германская философия предоставила социальным мыслителям логический инструментарий, необходимый для анализа общества. Социальные и теоретические предпосылки были готовы.

Но конкретную программу преобразования общества социализм обрел после выхода работы Л. Блана «Организация труда» и П-Ж. Прудона «Что такое собственность».

Луи Блан (1811-1882) стал первым социалистом, попытавшимся провести социальные реформы в государстве, когда стал министром революционного правительства Франции в 1848 г. Идеи Л. Блана соединяют два потока социалистических идей — государственное регулирование и производственное самоуправление[108]. Блан стал отцом популярной в XX в. идеи и практики многосекторной экономики и

регулируемого государством производственного самоуправления, будь то югославский эксперимент, чехословацкий «социализм с человеческим лицом» или производственное самоуправление времен Перестройки в СССР.

В 1839 г. в работе «Организация труда» Блан изложил план социальных реформ. Он уже понимал, что человеческая натура недостаточно совершенна, чтобы большинство людей начали жить по принципам добровольной взаимопомощи. Отвечая критикам социализма, он писал: “Но я не отрицаю, что надлежащее воспитание до сего дня было чистой привилегией, что способности каждого человека не поддаются точному измерению; что извращенная цивилизация, угнетая нас, превращает нас в себе подобных, что она, следовательно, исковеркала законы природы, что она привила нам искусственные потребности, дурные вкусы и тщеславные желания, что если бы мы попытались прежде временно ввести систему истинной пропорциональности, то, учитывая влияние этой цивилизации, в результате оказалось бы, что слишком многие стали бы работать все меньше, а требовать все больше”[109].

Принципом Блана было не принуждение или надежда на быстрое моральное перерождение людей, а превращение рабочих в хозяев собственного труда. Он считал, что в этом случае “личный интерес ничем не ущемляется, поскольку каждый работник участвует в прибылях. Единственное ограничение заключается в том, что доля отдельного работника не может увеличиться без соответствующего увеличения доли всех остальных”[110]. В логике рыночного общества доля в прибыли означает долю во власти, равноправие, участие в принятии решений (хотя бы по поводу того, как делить прибыли или, если их нет, как исправить положение). Личность реализуется вместе с другими, а не за счет других. Свобода соединяется с солидарностью путем распространения демократии на все уровни жизни, включая производство.

Луи Блан предложил создать социальный механизм, при котором работники становятся собственниками не всего хозяйства, а только своих предприятий – небольших производственных ассоциаций, конкурирующих с частным сектором при поддержке государства. «Государство должно взять на себя инициативу промышленных реформ, способствующих проведению такой организации труда, которая вывела бы рабочих из положения наемников и привела бы к положению членов ассоциации. Кредит частных лиц должен быть заменен государственным кредитом. До освобождения пролетариата государство должно служить банкиром для бедных»[111]. Так Блан надеялся преодолеть главную проблему, которая мешала рабочим создать собственные предприятия — отсутствие у них средств.

За свой кредит государство получало широкие права по преодолению «анархии производства». Государство должно было бы регулировать «ассоциированный» сектор, предоставляя кредиты, определяя заказы в соответствии с потребностями населения, перераспределяя прибыли между предприятиями, чтобы не дать разориться одним, а другим — слишком разбогатеть, подмять под себя остальных: «Если те или другие рабочие образуют ассоциацию в каком-либо месте, с единственной целью улучшить свои частные делишки, и потом, когда разбогатеют, в свою очередь, взять на службу к себе рабочих и сделаться буржуа, то какой же в этом толк?… Главный вопрос состоит в том, чтобы заставить каждую ассоциацию смотреть на себя как на часть целого, и чтобы она, под влиянием эгоистических соображений, не отделяла своих интересов от интересов всех рабочих».

Блан находит блестящий рецепт против эгоистического замыкания богатеющих предприятий на своих интересах: «Следует поставить условием помощи, которую им окажут, обязательство с их стороны открыть для всех двери своей ассоциации, раз она составлена, чтобы она постепенно увеличивалась и увеличивалась»[112].

Чтобы работники не «проели» фонды своих предприятий, Блан устанавливал твердое разделение доходов по четвертям – одна на амортизацию, одна – на страхование, одна – на резерв, одна – на доход рабочих. К сожалению, проблема «проедания фондов» часто предавалась забвению в дальнейшей

истории производственного самоуправления.

Право работника вступать в ассоциацию на равных правах исключает его найм в качестве неравноправного пролетария. Государственная «уравниловка» при этом теряет смысл — преуспевающие ассоциации будут расти, включать в себя все новых работников, но не нанимая их. При необходимости слишком разросшиеся ассоциации могут почковаться. Соревнование между ними не исчезнет, но не будет приводить к бедствиям для проигравших. Таким образом, регулирование становится самопроизвольным, и предусмотренная Бланом государственная надстройка в случае успеха эксперимента становится излишней.

Да и сможет ли государство достаточно эффективно регулировать отношения между предприятиями, и будут ли рабочие чувствовать себя хозяевами, если самые важные вопросы за них будут решать чиновники?

Блан первым на практике предпринял социалистические реформы во Франции во время революции 1848 г. Луи Блану не удалось получить достаточную поддержку для того, чтобы разместить массы безработных на современных предприятиях и запустить производство на них. Все что ему позволили – стимулировать кооперативы и организовать работы в примитивных национальных мастерских (позднее метод борьбы с безработицей с помощью таких общественных работ возьмет на вооружение Ф. Рузвельт, но с большим успехом). Через несколько месяцев национальные мастерские были закрыты, что вызвало взрыв недовольства и неудачное июньское восстание в Париже. В 1848 г. социалисты были побеждены, но **идея смешанной экономики и самоуправляющихся предприятий**, которые принадлежат работникам, продолжала жить.

* * *

Эксперименты Оуэна и Блана показали, что социализм не мог развиваться дальше на практической почве, пока не вывел свои начала из существующей индустриальной реальности. Социализм должен был осознать себя как неизбежная следующая стадия развития цивилизации, как прогноз оптимального и реального развития человечества. Из гуманистической идеологии социализм должен был превратиться в **футурологическую** теорию. А для этого нужно было более тщательно проанализировать современность и найти в ней почву для социалистического будущего, которое должно было быть представлено не только как модель, но и как тенденция. Эту задачу выполнили Пьер Жозеф Прудон (1809-1865) и Карл Маркс (1818-1883).

Владение против собственности

Прудон стал знаменит в одночасье, выпустив в 1840 г. работу «Что такое собственность». В ней он безжалостно расправлялся со всеми оправдательными объяснениями собственности и выносил приговор: **«Собственность – это кража»**. Звучит как боевой клич, из которого может логически вытекать лозунг «Грабь награбленное» (в более интеллигентной интерпретации Маркса – экспроприация экспроприаторов), а может следовать и поиск путей более осторожного исправления цивилизации, в основе которой лежит кража. Прудон пошел по второму пути, разочаровав своих радикальных последователей, включая доктора философии Маркса. Как писал о Прудоне М. Туган-Барановский, «его всемирно известная фраза не только не дает нам ключа к пониманию мировоззрения автора, но способна внушить совершенно превратное впечатление о мировоззрении этого замечательного человека»[113].

* * *

Опровергнув различные теории, оправдывающие собственность, Прудон приходит к выводу: «Собственность есть присвоенное собственником и не на чем не основанное право на вещь, отмеченную им его печатью»[114]. Большинство собственников не создавало свою собственность, а либо унаследовала ее, либо присвоила в результате феодальных грабежей и основанных на обмане перераспределений. Человек присваивает то, что не создал, и что ему не отдано добровольно. Это — кража.

Прудон подвергает критике собственность как суверенное право распоряжаться частью хозяйства и господствовать над связанными с ней людьми. Такая собственность – это ничем не оправданная монополия и привилегия.

Прудон, несмотря на относительную умеренность его программы, возбуждал ненависть либеральных кругов, не говоря уж о консервативных, так как вскрывал глубокое противоречие, лежащее в основе либеральной идеологии (как в ее консервативной, так и в более прогрессистской модификациях).

Собственность, являющаяся основой современного порядка, прямо противоречит правовым общедемократическим принципам, которым либералы также формально привержены. Но правящая элита современного общества отказывается распространить демократию и разделение властей на важнейшую сферу общества – экономику. Здесь принцип собственности устанавливает абсолютизм и даже, говоря современным языком, тоталитаризм — стремление элиты к полному контролю над деятельностью подчиненных. Прудон пишет, что собственник имеет «притязание быть одновременно и законодательной, и исполнительной властью… Если каждый собственник является сувереном в сфере своей собственности, непоколебимым властителем в сфере своего имущества, то может ли правительство собственников не представлять собой полнейшего хаоса».[115] Этот хаос наглядно проявляет себя и в политической нестабильности, и в экономических кризисах, и в социальной неэффективности экономики. Прудон считает, что общество должно быть упорядочено правом, противостоящим грабежу и насилию. Но права нынешних собственников основаны на грабежах и насилиях как прошлого, так и настоящего. Эту мысль затем развивал Маркс в «Капитале», и в результате она стала известна каждому образованному советскому человеку, да сейчас как-то подзабылась.

* * *

Прудон бросил вызов собственности. И в то же время его требование – «равенство собственности»[116]. Что это такое? И если предполагается «равенство собственности», то, как можно говорить о ее ликвидации? Чтобы понять это, нам тоже нужно определиться в том, **что такое собственность**. Собственность – это суверенитет субъекта над предметом. (Разумеется, возможны и иные определения, но мне важно, чтобы читатель понял, о чем здесь идет речь). Собственность дает право управлять людьми, которые используют данную вещь, получать часть их ресурса в свою пользу. В основе собственности лежит власть над людьми, а не над вещами. «Равенство собственности» может рассматриваться двояко. Либо как равный доступ к собственности, то есть равноправие в распоряжении вещами и отсутствие разделения в связи с этим на управляющих и управляемых. Либо – раздел вещей между всеми на равные части. Прудону приписывали второе, вырывая слова из контекста. А к чему он стремился в действительности?

Прудон считает целью истории равномерное распределение ресурсов между людьми[117], и потому выступает в защиту владения против собственности: «Общественный порядок и безопасность граждан требовали только гарантии владения – зачем же закон создал собственность?»[118]

«Индивидуальное владение является необходимым условием социальной жизни, собственность убивает жизнь…»[119]. Владение закрепляет право человека на распоряжение вещами, но не вручает в его руки монополию на все, что с этими вещами связано. В отличие от собственности, владение не признает жестких границ между собственником и не-собственником. **Владение** предполагает гибкость его размеров, чтобы удовлетворять запросы других людей, участвующих в приумножении объекта владения, в том числе и новых поколений: «размеры владения изменяются сообразно числу владельцев»[120]. Речь идет не об изолированных друг от друга садовых участках (хотя и о них тоже), а о современном производственном процессе. Прудон не зовет человечество назад, он воспевает «коллективную силу» производства (хотя и не разделяет распространенную вплоть до середины XX века индустриальную гигантоманию)[121].

Прудон считает, что объединение в коллектив должно быть сугубо добровольным, и индивид всегда должен сохранять право «изолировать себя»[122].

Историк анархизма Д. Герен ищет в этом подтверждение постулата о противоречивости взглядов Прудона: «взгляды Прудона на самоуправление несомненно не формировались как целостное, однородное учение, выверенное до конца, лишенное колебаний и двусмысленностей. Отнюдь. Противоречий в нем очень много.

Есть Прудон, выступающий за общество взаимопомощи, которая защищает и примиряет неумолимое колесо прогресса к мелким независимым производителям, и есть Прудон — решительный коллективист, который не колеблется идти в ногу со временем, с техническим прогрессом, с механизацией, с крупной индустрией»[123]. Но как раз здесь противоречия не видно. Прудон признает достижения прогресса, но не является их фанатиком, считая необходимым защищать человеческую личность от потогонной логики индустриализма. Прудон готов к постепенному продвижению от взаимопомощи индивидуальных производителей к коллективизму, но только на добровольной основе. Прудон даже готов к сохранению некоторого количества индивидуальных производителей, хотя его симпатии — на стороне коллективного производства.

Именно взаимосвязь людей в процессе производства лишает смысла жесткое разделение собственников и не собственников – ведь продукт создают все. «В силу того, что человеческий труд неизбежно является результатом коллективной силы, всякая собственность, и по той же причине, должна быть коллективной и нераздельной; иными словами, труд уничтожает собственность».[124] Капитал по своему происхождению – коллективная собственность, и его частное присвоение – кража. Но каждый участник производственного процесса должен иметь оговоренное владение, свой интерес в деле. Все

участники производства – его совладельцы. Поэтому Прудон выступает за производственную демократию, выборность управленцев работниками[125]. Такой подход позволяет постепенно вытеснять власть собственников даже при формальном сохранении собственности. Ограничивая власть собственника на предприятии, расширяя права работников в ущерб правам администрации, можно перейти к коллективному владению без больших потрясений. Но для реформ, направленных на вытеснение собственности самоуправлением, необходимо давление социально-политического движения на собственников.

В спорах с оппонентами в социалистическом движении Прудон готов идти на терминологические компромиссы с оппонентами. Так, Бланки и Консидеран выступили против критики собственности как таковой, предлагая реформу собственности. Прудон стал разъяснять, что их «реформа собственности», если ее проводить последовательно – это фактическая ликвидация собственности: «Г-н Бланки признает, что у собственности есть масса злодеяний, я же со своей стороны называю сумму (или принцип) этих злодеяний собственностью. Для нас обоих собственность – многоугольник, и надлежит обрезать его углы. Но г-н Бланки утверждает, что в результате получим многоугольник, а я убежден, что получившаяся фигура – круг»[126]. Политика социалистов должна вести к новому качеству общества, а не к сохранению старого в новой форме[127]. Прудон призывает социалистов быть последовательными в их собственных выводах. В этом – его отличие от более позднего реформизма социал-демократии.

Нищета и философия

За Прудоном, объявившим войну собственности, были готовы идти сторонники обеих тенденций социализма. Положительно оценивал работу Прудона и Маркс. В «Святом семействе», несмотря на некоторые придирки к Прудону, Маркс признал, что Прудон «подробно показал, как движение капитала производит нищету»[128]. Восприняв у Прудона критику частной собственности и ряд иных социалистических и экономических идей, Маркс в то же время выступал против автономного от общества владения. Похоже, начинающий экономист Маркс просто не понял Прудона, и это непонимание сохранил на десятилетия. «То, о чем в сущности шла речь у Прудона, была существующая современная буржуазная собственность», – писал Маркс после смерти своего старшего современника[129]. Маркс имеет в виду, что Прудон непоследователен, его устраивает какая-то другая собственность. Но Прудон выступал не только против буржуазной, а против любой (феодальной, государственной) собственности. Маркс же выступает только против частной собственности (но не всегда – против государственной), а также против частного владения, которое марксисты часто смешивают с собственностью. Философа гегелевской школы Маркса не устраивает все «частное», нарушающее тотальную целостность общества. Прудона не устраивает **суверенная власть над вещами и людьми, которая в экономике представлена собственностью, а в политике – государством**.

Познакомившись в 1844 г., **Прудон и Маркс** подробно обсуждали философские и экономические проблемы. Оба стремились использовать диалектику для анализа экономических процессов. Их дружеские отношения продолжались до 1846 г. Столь долгий срок знаменателен — Маркса нельзя назвать человеком, терпимым в отношении оппонентов. Характерно такое воспоминание К. Шуца, встречавшегося с Марксом как раз в этот период: «Все, что говорил Маркс, было безусловно основательно, логично и ясно, но я никогда не видел человека, столь высокомерно ранящего окружающих, который был бы столь невыносим. Как только какое-либо мнение расходилось с его мнением, он… не удостаивал чести даже рассмотреть его… Я хорошо помню тот тон рвотного отвращения, с которым он изрыгал слово «буржуа», и именно «буржуа» он называл каждого, кто позволял себе ему противостоять»[130]. История конфликтов Маркса с Прудоном, Герценом, Бакуниным и даже собственным многолетним другом Эккариусом подтверждает это мнение. Дело, конечно, не только в неуживчивом личном характере Маркса, но и в неуживчивости его взглядов. Маркс отстаивал тотальную целостность общества и радикальные пути к ней. Отклонение от чистых принципов могло вести к сохранению сферы частного, «буржуазного» в будущем обществе. В целостном обществе могла быть только одна истинная, «научная» точка зрения, все остальное было творением столь отвратительных «буржуа» и служило их самосохранению.

Но объявить Прудона «буржуа» было нелегко. Он был известен как критик собственности и, к тому же, был рабочим — в отличие от Маркса. В то время как Прудон уже давно разрабатывал экономические проблемы, Маркс был профессиональным философом и еще только осваивал начала политической экономии.

В 1846 г., когда Маркс пытался привлечь известного социалиста к своему корреспондентскому комитету, Прудон разъяснил свой взгляд на путь преодоления собственности. В письме к Марксу Прудон подверг критике планы насильственной революции, выдвигавшиеся коммунистами: «не будем впадать в противоречие Вашего соотечественника Мартина Лютера, который ниспровергнув католическую теологию, тут же, при помощи отлучений и анафем принялся создавать протестантскую теологию… Может быть, Вы все еще придерживаетесь мнения, что никакая реформа не даст результата без того, что мы в прошлом называли революцией, которая может быть толчком. Это мнение я понимаю и извиняю, о нем я охотно побеседовал бы, поскольку я его долго сам разделял, но, признаюсь Вам, я полностью отошел от него в

ходе моих последних исследований. Я считаю, что для успеха этого не нужно, и, следовательно, мы не должны рассматривать революционное действие как средство социальной реформы, так как это — мнимое средство, которое было бы призывом к применению силы, к произволу… **Я предпочитаю сжечь институт собственности на медленном огне, чем придать ему новую силу, устроив варфоломеевскую ночь для собственников**»[131]. Прудон призывал Маркса не считать ни один вопрос окончательно решенным и исчерпанным, свободно обсуждать любые точки зрения. «Вот, мой дорогой философ, то, что я сейчас думаю, если я только не ошибаюсь; и если это понадобится, я готов получить по рукам в ожидании моего реванша»[132].

Реформизм Прудона четко отделяет его учение не только от коммунистического радикализма, но и от более ранних социалистических утопий (кроме, пожалуй, Оуэна). Прудон не собирается заменять существующую систему общественных отношений искусственно сконструированной моделью, продуманной до мелочей (по этой причине Прудон критикует Фурье).

И несколько высокомерный тон письма Прудона (на тот момент — более известного теоретика), и обидное для Маркса наименование «философ» (то есть не специалист в экономике) еще не были основанием для разрыва. Но Маркс не собирался принимать предложенные Прудоном правила дискуссии. Высказав скепсис в отношении революционного переворота, Прудон поставил себя по другую сторону баррикад.

Маркс стал готовить удар по былому союзнику. Но, как это часто бывает в таких случаях, сокрушительный удар получил сам Маркс. Он еще не успел обработать свои экономические рукописи в книгу, а Прудон выпустил исследование **“Система экономических противоречий или философия нищеты”**. Опередив Маркса в изложении ряда идей, роднивших двух теоретиков, Прудон глубоко уязвил самолюбие оппонента. Не подозревая об этом, Прудон направил Марксу свою книгу с дружеским письмом. Ответом стала полная оскорблений работа “Нищета философии”.

На протяжении десятилетий Маркс настойчиво доказывал свое интеллектуальное превосходство над Прудоном. Это самоутверждение выглядит несколько странно, если вспомнить, что работы Маркса высоко оценивались современниками. Марксу было важно доказать, что он был отчасти даже учителем Прудона, хотя ученик этот оказался непутевым: «Я заразил его… гегельянством…»[133] Это – преувеличение. С основами гегелевской философии Прудон ознакомился раньше, слушая лекции де Аренса в Коллеж де Франс. Затем работы Гегеля Прудону читал Грюн (Прудон не владел немецким). Постижению диалектики Прудоном способствовал и блестящий знаток Гегеля Бакунин, ставший, в свою очередь, учеником Прудона на ниве анархизма. В лице Маркса Прудон получил лишь собеседника-гегельянца, причем весьма неортодоксального. Но и Прудон был неортодоксальным гегельянцем. Маркс, забывая о своих отклонениях от гегелевской ортодоксии, резко критикует Прудона за неортодоксальную трактовку диалектики.

Сам Прудон считал источниками своего учения Библию, политэкономию А. Смита и философию Гегеля. Прослеживается некоторое влияние на него идей Фурье[134].

Так что влияние Маркса на Прудона стремилось к нулю. А вот формирование Маркса-экономиста происходило под влиянием книги «Что такое собственность», хотя это и не был единственный источник экономического учения марксизма. Симптоматично, что Прудон обычно не упоминается в ряду «предтеч». Во многом два теоретика шли параллельными путями, но Прудон естественным образом опережал Маркса, так как начал заниматься политической экономией раньше.

Для Маркса было принципиально важно не прослыть учеником Прудона, хотя во многом он им являлся. По оценке Б. Тэккера, «несомненно, Варенн (американский анархо-индивидуалист, идейный предшественник самого Тэккера – А.Ш.) и Прудон пришли к своим окончательным выводам

самостоятельно, но относительно Маркса этот вопрос остается открытым, так как возможно, что он заимствовал часть своих экономических идей от Прудона. Как бы то ни было, эти идеи были так своеобразно им разработаны, что он имеет полное право на оригинальность творческой мысли. Тот факт, что работы этих трех ученых совпадают почти во времени, несомненно, свидетельствует о том, что идеи социализма уже носились в воздухе, и что назрело благоприятное время для развития этого учения»[135].

И Прудон, и Маркс стремились вывести свои социальные взгляды из нужд и противоречий современного им общества. Прудон успел сделать это раньше. В работе «Система экономических противоречий или философия нищеты» Прудон применил метод диалектики и трудовую теорию стоимости к анализу экономических противоречий капитализма и предложил свой путь их преодоления. По мнению марксиста М. Туган-Барановского, «“Экономические противоречия” содержат в себе такую глубокую критику капиталистического строя, что большинству последующих критиков капитализма оставалось только развивать или видоизменять мысли Прудона. Не подлежит сомнению, что, несмотря на крайне пристрастную критику Прудона Марксом, «Капитал» Маркса создался под непосредственным влиянием «Экономических противоречий». И это не удивительно, так как Прудон был первым замечательным экономистом, применившим гегелевский диалектический метод к исследованию системы экономических категорий во всей их совокупности. Тому же методу следовал и Маркс»[136].

Маркс вынужден в своих философско-экономических штудиях следовать за Прудоном или параллельно ему, что вызывает с его стороны вполне понятную эмоциональную реакцию.

* * *

В своей книге Прудон не критикует Маркса, чьи экономические представления еще не были сформулированы. Объект нападения отца анархизма — Луи Блан. Прудон критикует его не идеи ассоциаций, а как раз за то, что получит наиболее полное выражение в марксизме — за **этатизм**: «Лекарство от конкуренции, или средство ее преодолеть по Блану — во вмешательстве авторитета, в замене государством индивидуальной свободы — это противоположность системы экономистов»[137] (то есть либералов). Блан надеется захватить власть, обложить налогом богатых, создать гигантскую государственную монополию и «командовать пролетариатом»[138]. Прудон и не подозревал, что Блан окажется слабой тенью Маркса.

Острие критики Прудона было направлено против этатизма Блана и против этатизма, централизованного управления вообще. И критик собственности получил ассиметричный ответ.

В работе «**Нищета философии**» Маркс подверг Прудона придирчивой тенденциозной критике. Прочитав книгу Маркса, Прудон охарактеризовал ее несколькими крепкими словами: «Это сплетение грубости, клеветы, фальсификации, плагиата»[139]. Читая Маркса, Прудон и его друзья делали пометки на полях. Они показывают, где по мнению Прудона и его друзей Маркс приписывает оппоненту то, что тот не утверждает, где нарушает логические правила. Прудон писал для себя, поэтому нередко он ограничивается краткими надписями: «Пустой треп», «Клевета», «Плагиат» (это — когда Маркс пересказывает Прудона, не указывая, что здесь он с ним согласен). Но ряд замечаний носит содержательный характер. Возможно, Прудон подумывал об ответе, но события революции 1848 г. отвлекли его, а после революции Маркс представлял собой политическую величину гораздо меньшую, чем Прудон, и, видимо, француз не счел необходимым тратить на Маркса свое время. В 1851 г., комментируя придирки своих противников к мелочам, Прудон отметил: «мое невежество в 1840 и 1848 гг. не привело к противоречию в 1850 г.». Он считал, что его можно упрекнуть прежде всего в «грамматических» ошибках[140].

Оба теоретика используют, хотя и по-разному видоизменяя, инструментарий Гегеля, применяя его к экономике. Оба исходят из того, что стоимость определяется через труд. Оба, в духе XIX в., придают исключительное значение терминологическим нюансам, что делает спор во многом схоластическим. Маркс не указывает на явное сходство в их взглядах, он прячет общее и, не всегда понимая, о чем пишет Прудон, раздувает разногласия, высмеивает мысли и логические приемы, к которым сам будет прибегать в "Капитале". В этом отношении книга "Нищета философии" — первая опубликованная монография марксизма, представляет не столько экономический, сколько психологический интерес. Маркс ищет, к чему придраться, упрекает Прудона в отсутствии описания исторической эволюции капитализма (Прудон рассуждает не исторически, а логически, называя «эпохами» явления, вытекающие по его мнению одно из другого), в незнании нюансов трудов предшественников. Прудон ссылается на десятки имен, но предшественникам Маркса повезло меньше, он нередко подвергал их оскорбительной критике. Прудон в стиле времени тоже часто бывает груб, но он критикует своих противников за позиции, с которыми не согласен. Из произведений Прудона легко понять, что думает его оппонент. Из критики Маркса — значительно сложнее. В этой связи странно звучат обиженные комментарии марксистов. П. Луи пишет о Прудоне: «Этот сын народа (скромное его происхождение достаточно известно) обладал чисто аристократическим, неукротимым характером; можно было бы подумать, что он держал пари поочередно перессориться со всеми школами». Однако количество социалистических школ, обиженных Прудоном, не так велико — это или течения, которые не пережили Прудона (по отношению к ним он применяет обвинения в глупости и невежестве, которые марксизм адресует как самому Прудону, так и прочим своим оппонентам), или коммунисты, которых Прудон к ужасу П. Луи клеймит за «уничтожение мысли, смерть собственного «я»… религию нищеты»[141] и др. Мы увидим, что традицию Прудона в той или иной степени продолжали многие влиятельные социалистические идеологи второй половины столетия, в том числе и российские. Грубость, которой бравировали полемисты XIX столетия, не следует смешивать с подтасовкой, в которой Прудон обвиняет своего критика Маркса.

Маркс то и дело домысливает за Прудона, конструирует его мысль, доводит до абсурда и затем обрушивается с критикой на эту конструкцию. Иногда Маркс так увлекается, что совершенно забывает о тексте Прудона. Так, приведя цитату о свободе воли как причине противоположности между меновой и потребительской стоимостями, забрасывает ее и опровергает сконструированную им же "антитезу Прудона" о том, что предложение представляет собой исключительно полезность, а спрос — исключительно мнение[142]. Но такой цитаты Прудона Маркс не находит, это его домысел, основанный на изъятых из контекста высказываниях. Маркс то обвиняет Прудона в игнорировании фактора спроса, то спорит с прудоновским пониманием этого фактора (так значит, игнорирования нет). Маркс не смог опровергнуть наблюдение Прудона о том, что спрос во многом определяется мнением, массовой психологией.

В своем «втором замечании» Маркс обвиняет Прудона в идеализме: «Он воображает, что строит мир посредством движения мысли; между тем как он систематически перестраивает и располагает, согласно своему абстрактному методу, те мысли, которые имеются в голове у всех людей»[143]. Прудон не видит ничего дурного в классификации мыслей других авторов. Ему остается лишь пожать плечами: «Я не претендую на то, что делаю что-то иное, и считаю, что это — уже нечто. Ваши замечания ничего не замечают»[144]. На утверждение Маркса, что «он не понял того, что эти определенные общественные отношения также произведены людьми, как холст, лен и т.д.»[145], Прудон возмущенно «восклицает»: «Это ложь! Это как раз то, что я говорю. Общество производит законы и материалы из своего опыта»[146]. На другое аналогичное обвинение Прудон отвечает: «К сожалению, и здесь я думаю также, как и Вы. Претендовал ли я когда-либо на то, что принципы являются чем-либо иным, кроме как интеллектуальным представлением — не причиной, рождающей факты?»[147] Попытка приписать Прудону идеализм была

расценена им как клевета. Прудон понимает, что упорядочение представлений меняет мир, но не претендует на то, что только деятельность мыслителей ведет к этим изменениям. Маркс, оспаривающий эту роль мыслителей (как и политиков, о чем ниже), тем не менее, активно сражается на идеологическом фронте. Решение этого противоречия — в уверенности Маркса, что именно он защищает единственно верную объективную научную истину. Характерно, что развитие темы Марксом в сторону экономического детерминизма уже не встречает согласия Прудона. Маркс указывает Прудону, что социальные законы не вечны и относятся к определенной эпохе. Прудон парирует, что некоторые законы «вечны, как человечество — не больше, не меньше»[148]. Можно спорить, какие социальные законы временны, а какие — присущи человечеству как таковому. Но вряд ли можно отрицать само существование последних.

Эти философские разногласия любопытны, но не могут служить доказательствами в споре на социально-экономические темы. В целом ряде случаев вообще нельзя говорить о разногласиях, иллюзия которых возникает из-за предвзятого толкования Марксом вырванных из контекста фраз Прудона.

Многочисленные передержки и подтасовки Маркса заставляют Прудона подозревать критика в том, что тот просто ревнует: «Настоящий смысл труда Маркса заключается в том, что повсеместно я думаю также, как и он, но я это сказал прежде, чем он. Читателю остается подумать, что сам Маркс после того, как меня прочел, стал сожалеть, что думал, как и я. Какой человек!»[149]

* * *

Разумеется, Маркс вступил в борьбу с Прудоном не только из ревности. Реальные противоречия закамуфлированы в книге Маркса многочисленными придирками. И тем не менее они несомненны. **Социальные взгляды Маркса и Прудона полярны, но в рамках социалистического поля**. На «оси координат» конструктивной модели общества Маркс оказывается с краю абсолютного централизма, а Прудон — на стороне самоуправления. На «оси координат» радикализма методов Маркс колеблется в спектре большего или меньшего революционного радикализма, он сторонник насильственного ниспровержения всей системы общества, основанной на частной собственности. Прудон — реформист, он считает, что революционный взрыв не гарантирует возникновение более сложных и гуманных отношений, чем нынешние. В то же время его критика революций не должна вводить нас в заблуждение – Прудон относится к революции положительно. Но не к любой. «Я желаю мирной революции, я желаю, чтобы в осуществлении моих желаний приняли участие те самые учреждения, которые подлежат отмене, и те правовые начала, которые предстоит дополнить»[150]. Одним из открытий Прудона, таким образом, является революционная реформа и ненасильственная революция, использующая существующие институты для их преодоления (в конце жизни Маркс и Энгельс также стали склоняться к прудоновскому пониманию революции).

Революцию он принимает лишь как процесс качественных перемен, стремясь к их ненасильственному характеру. Тем не менее, Прудон принял активное участие в событиях революции 1848 г. Тем, кто упрекает его в оппортунизме, полезно помнить, что Прудон сидел в тюрьме за свои убеждения.

* * *

Марксу нельзя отказать в последовательности — его модель общества будущего чрезвычайно проста и однородна. Такое упрощение может произойти и в результате насильственного социального взрыва.

Простота модели Маркса — результат радикального философствования, а не изучения социальной

реальности. Но Прудон в своей работе также идет философским путем, и профессиональные возражения философа Маркса имеют для Прудона значение. Если бы не грубость и тенденциозность Маркса, Прудон мог бы обсудить эти замечания спокойно и пояснить свою логику. Он стремится к преодолению разрушительных сторон противоречия, а затем и самого противоречия путем синтеза существующих явлений, в то время как Маркс считает, что противоречие может разрешиться путем разрушения составляющих. При этом Маркс считает необходимым поддерживать именно разрушительную сторону противоречия (к ней он относит пролетариат[151]), то есть начинать с разрушения одной стороны (консервативной) и усиления другой (революционной). Лишь после победы в революции пролетариат преодолеет и сам себя, изменив условия жизни.

Поэтому с точки зрения Маркса Прудон «запутывается в противоречиях». В действительности два теоретика по-разному трактуют **принципы диалектики**. По мнению Г. Гурвича «Прудон, далекий от того, чтобы разрушать диалектику, напротив, умножает ее методы». Методы Прудона в большей степени соответствуют тем, которые «победили сегодня и… связывают диалектику с непрестанно обновляющимся эмпиризмом»[152]. При всей спорности такого вывода, он иллюстрирует по крайней мере равноправие марксистского и прудоновского подходов к диалектике.

Прудон считает, что «социальная истина не может находиться ни в утопии, ни в повседневности». Социальная наука должна без устали искать гарантирующие равноправие законы обмена и системы гарантий для всех[153]. Теоретик не ставит целью создание какой-то окончательной социальной модели. Его идеал — постоянное социальное совершенствование, приближение ко все большему равноправию, «общество, одним словом, которое, будучи одновременно организацией и переходом, ускользает от временного, гарантирует все и ни к чему не принуждает»[154].

Марксизм и прудонизм обозначили **два полюса социалистической мысли**. «Нужно помнить, что Прудон был и остается антиподом Маркса»,[155] — справедливо утверждает Б. Вышеславцев.

Либерал Б. Вышеставцев, пришедший к прудонизму в 30-е гг. XX в., полагает, что Прудона нельзя считать социалистом, так как он критиковал коммунизм и социализм[156]. Но и Маркс критиковал коммунизм, которому потом был привержен. Теоретики социализма часто непримиримы к иным социалистическим учениям. Тем не менее, прудонисты – важная часть социалистического движения, в том числе I Интернационала и Парижской коммуны. Это естественно, так как Прудон – последовательный противник капиталистической собственности и, следовательно, социалист. Прудон писал: «И подобно тому, как право силы и право хитрости уступают место все более и более распространяющемуся понятию справедливости и осуждены раствориться в равенстве, так и суверенность воли уступает суверенности разума и в конце концов растворится в научном социализме»[157]. Марксисты, которые лучше осведомлены о социалистической самоидентификации Прудона, также иногда пытаются отказать ему в принадлежности к социалистическому течению на том основании, что он не был коммунистом: «Он выдавал себя за социалиста, неоднократно применяя к себе этот эпитет в своих сочинениях, а между тем никто с большею резкостью и преувеличениями не нападал на коммунизм и этатизм»[158]. Таким образом, Прудон не является социалистом для тех, кто зауживает многообразие социалистических идей до этатистско-коммунистической ветви. Но с точки зрения антиавторитарного социализма, развиваемого Прудоном, государственники и коммунисты также называют себя социалистами без должных оснований: «Господин Блан постоянно призывает к авторитету, а социализм во весь голос провозглашает себя анархическим, господин Блан устанавливает власть выше общества, а социализм ведет к тому, что власть окажется под обществом, Блан диктует жизнь сверху, а социализм — рождает и развивает ее снизу; господин Блан бегает за политикой, а социализм ищет науку»[159].

Так кто же прав в своих притязаниях на право считаться социалистами: анархисты или этатисты

(социал-демократы)? Левый берег или правый? Оба. Ибо река омывает оба берега.

* * *

Маркс стремится к максимальной последовательности, радикальности выводов. К этому его толкает гегельянский принцип диалектики, требующей преодоления противоречий. Диалектика находит противоречия в любых формах современности, обрекая философа на оппозиционность и критику. Может ли он быть конструктивен? Диалектик отступает от собственных принципов, если искусственно ограничивает движение мысли каким-либо политическим идеалом (конституционная монархия для Гегеля) либо чисто идеальной сферой (позиция тех младогегельянцев, которые считали неуместным вторжение диалектики в социальную практику). Маркс презирал оба ограничения. Он стремился не только познать, но и изменить мир в соответствии со своими философскими выводами.

Марксистские исследователи утверждают, что уже в 1843 г. “завершается его (Маркса — А.Ш.) освобождение от гегелевской спекулятивной философии”[160]. Этот вывод выглядит преждевременным. “Освобождение” в это время только начиналось, и не закончилось оно до конца жизни философа. Маркс унаследовал от Гегеля и терминологический ряд, определяющий сам способ мышления, и методологию, и способ поиска идеала. Этот идеал заключался в разумности (рациональности) и целостности, в преодоленных противоречиях настоящего. Если рациональность является общим веянием времени, то преодоление (снятие) противоречий — ценность гегелевской школы. Снятие противоречий восстанавливает целостность. Эта задача способствует эволюции взглядов Маркса к централизованной модели коммунизма.

Маркс стремился **соединить диалектику с реальностью**, и поэтому каждое противоречие в материальной среде воспринимал как приговор тому явлению, которое рассматривал. Таков был его всеразрушающий критический метод. Следуя гегелевскому идеализму, Маркс видит в таком анализе существующей реальности путь к будущей реальности. “Критик может, следовательно, взять за исходную точку всякую форму теоретического и практического осознания, – пишет Маркс, – и из собственных форм существующей действительности развить истинную действительность как ее долженствование и конечную цель”[161]. Эта цель становится материальной силой, центром притяжения практической деятельности, основанной на предпосылках существующей реальности. Следовательно, «мы не стремимся догматически предвосхитить будущее, а желаем только посредством критики старого мира найти новый мир»[162]. Этот подход близок прудоновскому, но у Прудона вслед за критикой следует синтез, а у Маркса — ниспровержение.

Маркс надеется на «гибель всего отношения»[163] труда и капитала в случае доведения его до крайности. Но эти надежды, навеянные философией Гегеля, никак не доказываются Марксом. Прудон предпочитает противоположный путь – синтез сторон отношения с освобождением их от части черт, присущих крайностям.

* * *

Идеал Маркса мог называться не только коммунизмом, но и демократией (властью демоса), гуманизмом, социализмом или даже гражданским обществом. В письме к А. Руге (1843) Маркс трактует коммунизм еще как «одностороннее осуществление социалистического принципа», «особое выражение гуманистического принципа»[164]. Социализм представляется Марксу движением за уничтожение частной

собственности, в котором коммунизм – более узкая тенденция, а гуманизм – более широкое понимание проблемы, чем социализм.

Но постепенно путь тотальной критики привел Маркса именно к коммунизму, крайней степени общности, полному отрицанию частности. **Коммунизм – доведение критики частного до крайних выводов**, которые далеко уходят от стремлений современных Марксу людей. Коммунизм должен ликвидировать все противоречия общества, смести и переварить все перегородки, разделяющие (отчуждающие) людей.

Первоначально коммунизм был неприемлем для Маркса из-за «догматической абстрактности» построений коммунистов, из-за вневременной утопии. Маркс был настроен футурологически, ему было интересно то, что вытекает не из моральных формул, а из тенденций развития общества. А это общество, по мнению Маркса, могло развиваться, только преодолевая найденные философом противоречия.

* * *

Гегелевская диалектика позволяет развивать до логического предела любой принцип, например – принцип свободы. Человек, имея право на полную свободу от коллектива, может и не пойти на компромисс с сообществом, с другими людьми. Он может бросить вызов среде, посвятить жизнь бунту и неподчинению окружающим, объединившись с такими же бунтарями в партизанское движение свободы. Это сообщество не борцов за свободу, а людей, стремящихся быть свободными здесь и сейчас.

Такие выводы сделал **Макс Штирнер** (И. Шмидт) (1806-1856). Он решил дойти до края. П. Рябов пишет об этом: «Главное достоинство книги Штирнера в том, что немецкий анархист восстал против теоретического и практического игнорирования личности, ее нивелировки, принесения в жертву чего бы то ни было внешнему, по отношению к ней самой, против рассмотрения ее как сугубо «механического», пассивно страдательного начала. Штирнер показал, что личность является первичной реальностью, творческим и действующим началом, центром, а не периферией, целью, а не средством»[165]. Штирнер не одинок – в этом направлении пытались идти и либералы, но каждый раз перед призраком хаоса отступали под сень порядка, собственности и плюралистичного государства. Штирнер не боится хаоса.

Его общественный идеал – не какое-то устройство общества, а Союз эгоистов, движение свободных бунтарей, не принимающих правил общества.

Это стык максимального либерализма и «немедленного» анархизма – анархо-индивидуализм. Анархия для него – это и цель, и образ жизни, субкультура. Именно так большинство и представляет себе анархистов. Начинающие анархисты, далекие от понимания его теории в ее многообразии, также представляют себе истинный анархизм как агрессивную «антиобщественную тусовку». Это круто. Но это – уже не противостояние Системе, уже не анархизм. Отказ от конструктивной программы – путь отступления для анархистов в маргинальную подсистему общества. Общество выделило им этот безопасный закуток и отгородилось от него полицией. Атаки варваров на цивилизацию из этого маргинального закутка – удобный предлог для наращивания репрессивности государства без угрозы реального революционного движения, способного что-то изменить. Ведь анархо-индивидуалисты добиваются свободы для сильных: «с горсточкой силы можно сделать больше, чем с мешком прав»[166], – писал Штирнер. А это – уже принцип элитарных, не анархических и не социалистических теорий. Социалисты тоже искали пути к свободе. Но они понимали, что право сильного – это путь к порабощению слабого, а не к свободе. Маркс, который тоже не боится крайностей, отрицает индивидуализм ради личности, право сильного ради права каждого.

* * *

Зарисовки о коммунизме «ранних» Маркса и Энгельса сознательно абсурдны. Философская подготовка приучила их не останавливаться перед препятствиями реальности. Философ имеет право формулировать заведомо нереализуемые в современном мире цели, исходя только из чистых принципов. Как математик может приходить к формулам, действие которых невозможно в реальном мире. Маркса это не смущает, так как революция все равно сметет современный мир, переустроив его на совершенно иных началах. Отрицая принципы современного мира, Маркс полагает, что уже этим определяет принципы будущего. Критика сущего, отрицание его принципов — ключ к прогнозу будущего. Но разрушение, попытка создать новое самим актом разрушения основ существующего общественного здания, вовсе не обязательно ведет к возникновению принципиально новых общественных отношений, к творческому прорыву в будущее. Груда кирпичей качественно отличается от рухнувшего здания, но она ближе по сути к той груде кирпичей, из которого здание строилось, чем к качественно новому зданию. Также и социализм в СССР вобрал в себя больше от докапиталистической традиции, чем от принципов, разработанных социальными мыслителями XIX в.

Нельзя создать нечто новое, не разрушив чего-либо в старом. Но разрушения недостаточно для творчества. И детская игра, результатом которой является груда сломанных игрушек – это имитация творчества, но еще не само творчество. Также как и ленинский военный коммунизм – это имитация нового общества, в действительности являющаяся грудой развалин прежних общественных укладов. Где **грань допустимого разрушения и критерий готовности общества к переменам**? На этот вопрос было рано отвечать XIX веку, воспитанному на романтике баррикад.

* * *

Маркс изначально был склонен трактовать собственность расширительно. Став коммунистом, он даже о коммунизме, то есть обществе, упразднившем частную собственность, пишет: «на первых порах он выступает как всеобщая частная собственность», а «категория рабочего не отменяется, а распространяется на всех людей»[167]. Это умственное упражнение молодого Маркса явит коммунистическую практику страшнее любой либеральной критики. Получается, что коммунизм «на первых порах» организует **общество сверхсобственника**, доведя до максимума черты собственности (в том числе и негативные ее черты). Так и получилось. Реальные коммунистические режимы не уничтожили собственность в понимании Прудона, а лишь придали ей чудовищные монополистические формы.

Маркс утверждает, что предложение Прудона уравнять заработные платы не решает проблемы – общество выступает в роли «абстрактного капиталиста»[168]. Очень тонкое наблюдение, но не над теорией Прудона. Ведь он не сводил все решение вопроса к уравнению заработной платы. Но если ассоциация становится единственным контрагентом работника (как предлагает Маркс), то она остается абстрактным капиталистом.

Преодоление этого грубого коммунизма описывается Марксом скорее как проблема, чем как программа. «Коммунизм как положительное упразднение частной собственности» – это гуманизм, развитость культуры, осознание человеком своей сущности, возвращение человека из частных форм жизни к своему общественному бытию, всестороннему развитию. Получается не столько социальное явление, требующее преобразования общества, сколько культурный процесс. В это время молодой Маркс еще не

был революционером, и вся логика его рассуждений отталкивала от революционных действий, которые позволяли привести только к грубому коммунизму. Но дальнейшие размышления приводят Маркса к необходимости «коммунистического действия»[169], поскольку интеллектуального отрицания идеи частной собственности недостаточно. Получается, что путь к истинному коммунизму (гуманизму) ведет через коммунистическое действие, а значит в существующих условиях – через грубый коммунизм, столь убедительно раскритикованный выше.

В «Экономико-философских рукописях» Маркс отталкивается от посылки, что «основу монополии» составляет «частная собственность»[170]. Это мнение принимается без доказательств, но ниже фактически опровергается. Монополия оказывается более глубоким явлением, чем частная собственность. Более того, если монополия всегда основана на частной собственности, то получается, что монополия ассоциации трудящихся – это тоже частная собственность. Следовательно, это – не общественная собственность, не собственность всех трудящихся, а монополия организации, построенной также, как частно-собственническая корпорация. Следовательно, государственная собственность и даже собственность «всех трудящихся» – это не общественная собственность.

Не удивительно, что ранний Маркс некоторое время колебался, что считать основной причиной существования классового общества и эксплуатации: частную собственность или нечто иное. Частная собственность бросалась в глаза и возмущала своими проявлениями. Но в юности Маркс хорошо видел, что **упразднение частной собственности** не решает проблему. Прежде всего, оно не меняет характер труда.

Труд и творчество

Как сделать труд настолько привлекательным, чтобы он стал добровольным? Это – задача, над которой бились представители самых разных оттенков мысли с глубокой древности. Вслед за Оуэном Маркс видит решение этой, равно как и ряда других проблем, в преодолении специализации. В «Немецкой идеологии» вместе с Энгельсом он решает эту проблему в духе русской дворянки, решившей бежать с любимым и добывать средства тем, что «трудиться» в перерывах между прочими делами вроде примеривания шляпок и чтения романов. Предложение Маркса и Энгельса, выдвинутое для решения проблемы специализации, характерно только для очень наивных представителей интеллигенции, никогда не занимавшихся физическим трудом, который требует навыков и квалификации: «в коммунистическом обществе, где никто не ограничен каким-нибудь исключительным кругом деятельности, а каждый может совершенствоваться в любой отрасли, общество регулирует все производство и именно поэтому создает для меня возможность делать сегодня одно, завтра – другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике, — как моей душе угодно, – не делая меня, в силу этого, охотником, рыболовом, пастухом или критиком».[171] Общество обеспечит…

Но не будем смеяться над этой идеей, такой абсурдной для XIX в. На то и футурология, чтобы предвидеть времена, когда невозможные требования могут стать вполне реальными.

Интересно, что в этой наивной картинке коммунистического общества разделение труда сохраняется, но оно не закреплено социально. Один и тот же человек, словно по-детски играя, занимается то аристократичной охотой (вряд ли при развитом животноводстве она преследует цель добычи продовольствия), то прозаическим скотоводством и рыболовством, то демократичной критикой. Но в этом детском саду присутствует мудрый воспитатель – общество, которое «регулирует», решает, чего не хватает – скотоводства или критики.

Машинный идеал превращает это регулирование в «простую статистику», подсчет дефицита и ресурсов. Компьютерные мощности конца XX в. (не говоря уже о статистиках предыдущего столетия) не в состоянии подсчитать всю совокупность возможностей и потребностей человека даже в грубых чертах, не говоря о таких деталях, как форма и цвет модной одежды или вкусовые оттенки кетчупа. Тем более, что и сам человек заранее не сможет сказать, сколько чего ему потребуется через год, когда продукт должен прийти к потребителю. С уверенностью можно сказать только, что “статистики” всегда будут считать избыточным количество язвительных критиков их регулирования. Дело, таким образом, даже не в недостаточности статистических возможностей, а в **непостоянстве человеческих потребностей**. Их можно только предугадать, подстроиться под них или подстроить их под регулирующий шаблон. Последний путь в наибольшей степени враждебен потребителю.

То же – и в отношении занятий. Даже в мягкой советской форме распределения студентов после вуза, регулирование профессиональной принадлежности создавало множество проблем для трудящихся, калеча их судьбы и вызывая отвращение к труду, мечту о пенсии. Каждодневное регулирование, дергание от одного вида работы, от творчества к скотному двору (даже чистенькому и автоматизированному) – это ли не пытка. Но Маркс и Энгельс вовсе не похожи на садистов. Просто они не знают, как **соединить две гуманистические идеи – избавление от однобокого специализированного труда и рациональную организацию общества, при которой все получают то, что желают**.

* * *

Философский радикализм Маркса и Энгельса позволил им сформулировать социальные **условия человеческого счастья** – заниматься разнообразной деятельностью в свободном сотрудничестве с другими людьми, меняя одни полезные занятия на другие. По сути речь идет о **преодолении специализации**. Такая жизнь может существовать в условиях, когда общество обеспечивает каждому человеку тот «фронт работ», который ему по душе, моментально согласуя многочисленные человеческие потребности как в производстве, так и в потреблении. Это, в свою очередь, возможно только при условии, что коммуникации, культура и политический механизм позволяют немедленно согласовывать интересы, что уже нет технологически обусловленной специализации людей (а именно на ней основано индустриальное общество, современное «классикам»). Общество должно быть социально однородным, люди – альтруистичными, самоотверженными, готовыми свободно принять именно то, что «нужно обществу», а общество – нуждаться именно в том деле, которым “взбрело в голову” заняться индивидууму. Потребности общества будет определять регулирующий центр, выполняющий свою работу также самоотверженно (не в собственных социальных интересах, а в «научно» вычисляемых интересах всех людей). Первоначально функции этого центра возьмет на себя «пролетарское государство», то есть революционеры, опирающиеся на пролетариат – наименее привязанный к капиталистическому строю, к старой культуре класс. При этом насилие может осуществляться только в отношении меньшинства — бывших эксплуататоров.

Нарушение одного из этих условий приводит к крушению или перерождению всей системы. Если руководящий центр не сумеет найти решение, устраивающее всех рабочих, ему придется прибегнуть к насилию против части трудящихся. Если в однородном обществе выделяются особые социальные группы (и особенно – вокруг регулирующего центра), то «интересы общества», распадутся на интересы господствующего и иных классов. Если люди не будут альтруистами, то их интересы не удастся согласовать, и придется принудительно отчуждать их труд в пользу регулирующего центра. Но уже по мере продвижения к идеалу коммунистический уклад будет разлагаться под влиянием противостоящих социальных интересов, еще не растворившихся в социальной однородности. Целостность общества будет нарушаться, эгоисты станут паразитировать на труде альтруистов. Неудача Оуэна повторится в масштабах всего мира. Отсюда надежда Маркса на очищающий социальный взрыв, после которого все организуется сразу по единому социальному плану.

* * *

Если забыть об авторитарном регулировании человеческой деятельности, то ее идеал по «Немецкой идеологии» – это игра (позднее ставший более солидным Маркс предпочтет идеал научного творчества). Немножко того – надоело – немножко другого – наскучило – возьмемся за третье. Игра и труд – это не одно и то же. Маркс это понимает, и произносит фразу, шокирующую читателей: «коммунистическая революция выступает против прежнего характера деятельности, **устраняет труд**…»[172]

Эта фраза часто вызывает недоумение как у сторонников, так и у противников Маркса. Так, В. Гринив считает, что призыв к уничтожению труда является призывом к уничтожению человека, так как труд – первопричина человеческого существования[173]. Так, продолжая мыслить в позднемарксистской системе координат, комментаторы просто не понимают, что сказал Маркс.

Сказав «А», Маркс и Энгельс не сказали «Б», вызвав недоумение у недалеких критиков. В рукописи Маркс попытался дать определение труда и таким образом устранить возможное недоразумение. Но, написав: «современную форму деятельности, при которой господство…», зачеркнул, и пошел дальше.

Маркс бросил вызов труду как таковому. Труду, который считается одной из важнейших добродетелей в мировых религиозных традициях. Чтобы понять Маркса, нужно «расшифровать» его

понимание труда. «Как только не пытались ученые комментаторы придать этой фразе какой-либо «здравый», «нормальный» смысл!»,[174] — пишет В. Вильчек. Но смысл найти нужно, причем исходя из взглядов самого Маркса. В. Вильчек пытается сделать это, оставаясь под обаянием марксизма: «Действительно, однозначно истолковать эти тексты непросто. Но внезапно от краткой фразы, промелькнувшей впервые здесь же, в «Немецкой идеологии», в темном, непостижимом пророчестве вспыхивает молниеносный смысл. Маркс и Энгельс пишут о крупной машинной промышленности:

«Ее (отличительным признаком) является автоматическая система».

В скобки взяты слова, восстановленные публикаторами: рукопись дошла до нас в поврежденном виде. Но публикаторы, несомненно, исказили смысл фразы: автоматическая система и сегодня еще не стала «отличительным признаком», качественной особенностью индустрии. Более вероятно – и в этом убеждают сходные по смыслу высказывания в других работах, – что фраза читалась так: «Ее (идеалом, пределом, конечной ступенью развития) является автоматическая система». В этом случае все становится на свои места…

Таким образом, именно Маркс провидчески разгадал возможность «постиндустриального» производства… Маркс и Энгельс поняли, что история человека – это, в определенном аспекте, история орудий его труда и что завершением этой линии исторического развития может стать превращение орудий в автоматическую систему, т. е. действительно во «вторую природу»[175].

Идею автоматизации Маркс более подробно развивал в рукописях 50-х гг., и они позволяют существенно уточнить позицию Маркса по этому поводу: «Система машин, являющаяся автоматической, есть лишь наиболее завершенная, наиболее адекватная форма системы машин, и только она превращает машины в систему…»[176] Итак, Маркс действительно видит в автоматизации завершенную форму машинизации. Если, подобно В. Вильчеку, видеть в этом цель проекта Маркса, то перед нами – инженерная, а не социальная задача, и Маркса пришлось бы записать по разряду технической фантастики. Но у него есть некоторое «алиби» – он считает систему машин «адекватной формой капитала вообще»[177]. Капитал – это совокупность опредмеченного, «мертвого» труда. Ему противостоит «живой труд» – человеческая деятельность[178]. Но противостоит ли? Ведь если человек используется в качестве инструмента, то функция его труда качественно не отличается от работы машины.

Поскольку работник интегрирован в индустриальную систему машинизированного хозяйства, если пустить дело на технологический самотек, то возникнет автоматическая система, которая унаследует в предельной форме все свойства капитала, включая и господство над работником.

Но Маркс надеется, что, достигнув технологического предела, отношения господства над человеком достигнут и социального предела, станут бессмысленными. Он считает, что по мере роста производительности труда «прибавочный труд перестал быть условием для развития всеобщего богатства, точно также, как не-труд немногих перестал быть условием для развития всеобщих сил человеческой головы. Тем самым рушится производство, основанное на меновой стоимости, и с самого процесса материального производства совлекается форма скудости и антагонистичности»[179]. Ценой развития машинной системы, закабаляющей человека в рамках социальной организации капитала, становится возможность освободить его от всей этой системы, которой прибавочный труд уже и не нужен вовсе.

Нам, людям XX в. хорошо знакомы мечты о времени, когда роботы возьмут на себя тяжелый и монотонный труд, оставив нам общее руководство на досуге. Идеал древних греков – рабы трудятся, а свободные граждане руководят и отдыхают. Если заменить рабов машинами, то эта же утопия роднит либерализм и коммунизм. Также как вера в победу над природой.

Но автоматическими “рабами” нужно управлять, и это тоже труд — не всегда легкий. Или роботов

нужно научить управлять самими собой? На горизонте начинают маячить антиутопии о роботах, которые выходят из-под контроля человека.

Увы, на основании предвидения всеобщей машинизации, перерастающей в автоматизацию, Маркс не становится предтечей постиндустриального общества, скорее – наоборот. Постиндустриальное общество – это не предельное развитие индустриализма, доведение его черт до максимума, а разворот к новым принципам. Идеал Маркса, Вильчека и некоторых фантастов – автоматическая «вторая природа» как результат развития промышленности – это не постиндустриализм, а сверхиндустриализм. Согласимся со сторонником сверхиндустриальных идей С. Кургиняном в том, что **постиндустриализм и сверхиндустриализм** – это совершенно разные направления развития[180]. Автоматическая природа противостоит гармонии настоящей природы, которая воспринимается как стихийность. Стихийность природы должна быть подавлена и укрощена второй природой. Так что нас не должно удивлять восклицание С. Кургиняна: «Самое ненавистное для меня – это экология!»[181] Но как и «первая», «вторая природа» может по-разному соотноситься с человеком. Автоматической природе вовсе не нужен человек-хозяин. Создание целостной саморегулирующейся автоматической природы – это путь к антиутопии цивилизации роботов или «матрицы», овладевающей человечеством. Это не смущает В. Вильчека, он допускает господство супермозга, которому человек подчиняется, как средневековый житель – канону[182].

Человек может предотвратить такое крайнее тоталитарно-механическое развитие, только сохраняя свою вовлеченность в производственный процесс, причем в качестве ключевого элемента. Но если производство – целостная автоматическая система, то человек тоже должен быть автоматом, работающим синхронно с другими автоматами – иначе систему постигнет паралич.

Маркса привлекает цельность индустриального организма, но человек в этой цельности – только инструмент социума, и полное соединение с такой цельностью будет означать растворение человека в ней. Уподобляя общество фабрике, Маркс так применяет индустриальные принципы к общественному идеалу: «Если мы возьмем за образец разделение труда на современной фабрике, чтобы применить его затем к целому обществу, то мы найдем, что общество, наилучшим образом организованное для производства богатств, бесспорно должно было бы иметь лишь одного главного предпринимателя, распределяющего между различными членами общественного коллектива их работу по заранее установленным правилам»[183].

Из этой утопии уже можно вывести основные черты тоталитарных режимов XX в., причем не только марксистских. Ведь марксизм — дитя индустриальных отношений. В этой фразе четко сформулирован и сверхиндустриальный идеал, где все общество реорганизовано по образцу фабрики.

Куда ни кинь, везде клин. Утопия автоматической «второй природы» с неизбежностью влечет человека в тоталитарно-механический кошмар. Успокаивает одно – сверхуиндустриализм вряд ли достижим. Мощная стихия природы и человеческого духа уже подрывает поступательное развитие индустриализма. И если техническому гению суждено облегчить жизнь человека автоматическими помощниками, то растворить человека, слиться с ним в единой саморегулирующейся помимо человека автоматической системе – все же вряд ли удастся. Конечно, если первоначально люди сами не сольются тоталитарную систему – «человеческую машину». Таково **противоречие будущей моделирующей эпохи**: либо сверхиндустриальное общество, информационно-манипулятивный тоталитаризм, централизованная глобальная цивилизация, в которой функции моделирования сосредоточены в руках элиты, человек является элементом «второй природы», а первая природа подавлена; либо постиндустриальное общество, в котором люди – творцы, согласующие направления своего творчества, но не настолько, чтобы подчинять его единому обязательному плану, навязанной извне воле, скрывающейся под псевдонимом

«общественных интересов». Креативный пост-индустриальный сценарий исключает создание единой автоматической «второй природы», но предполагает широкое применение локальной автоматики, управляемой конкретным человеком, а не человечеством.

* * *

Позднее Маркс отказался от критики труда. В своей главной книге «Капитал» он воспел гимн труду, отождествив с ним всякую целесообразную деятельность человека.

Положительное отношение к труду пронизывает культурную традицию. Отрицательное отношение к труду может быть воспринято как отрицательное отношение к трудящимся. Маркс предпочел опереться на эти стереотипы, противопоставив труд и капитал и взяв назад свой вызов труду. Этим он закамуфлировал принципиальное различие между разными видами деятельности.

Труд – благословляемая и одновременно проклинаемая основа нашей жизни. Со времен Ветхого завета это странное противоречие пронизывает человеческое мировоззрение. Труд – проклятие, жизнь «в поте лица». Труд – счастье, осознание своей нужности, источник жизненных благ и уважения. А в чем, собственно, эти блага, если речь не идет об удовлетворении животных нужд человеческой натуры? Что делает человек в свободное от труда время, когда он наелся, напился, выспался, предался утехам любви? Что дальше? Дальше – хобби, размышления на досуге, игры, поиск впечатлений. Тяжкий пресс обязательного, навязанного извне труда в нашем сознании отождествляется с несвободой (печальна участь тех, кто уже привык к этой «осознанной необходимости»). Противоположность такого труда – свобода. Причем, не бессодержательная «свобода от…», а именно содержание свободы, которую человек принимает с удовольствием, даже если не имеет достаточных культурных навыков для принятия ее во всей полноте. Даже неграмотный холоп любил помечтать, поиграть в незамысловатую игру, повидать новые земли и новых людей. Что уж говорить о немецком интеллигенте, которому охота – игра, рыбная ловля для пропитания – в диковинку, а работа – вольная критическая критика, которую, утомившись, можно и не дописать.

* * *

Что общего в этих свободных видах деятельности? Они не всегда бесполезны, иногда целенаправленны (а это — признаки деятельности, которую поздний Маркс тоже называл трудом). Они всегда – вызов монотонности (иначе – надоедают). Они всегда преследуют цель создать, смоделировать новое, то, чего еще не было. Способность к абстрактному мышлению, моделированию реальности, а на его основе – и к созданию новой реальности, не знакомой по предыдущему опыту – это и есть **способность к творчеству**, которая отличает человеческую цивилизацию от животного мира. Творческая составляющая в нас и является собственно человеческой сущностью или даже Божией (постольку, поскольку мы созданы по его образу и подобию).

В своей реплике против труда Маркс противопоставляет труду другой вид деятельности. Речь может идти о творчестве, но Маркс не нашел для этой мысли достаточно ясных слов, характеризующих суть явления. Труд здесь предстает в качестве деятельности, при которой человек подчинен чуждым ему силам, воспроизводству установленных правил (**воспроизводящий труд**). Поэтому человека утомляет не только физически тяжелый труд, но и любая деятельность, в которой он – лишь инструмент, а не творец. Напротив, физически тяжелая спортивная игра, если она еще не превратилась в спортивный бизнес,

многим приносит удовольствие. То же можно сказать о работе скульптора, например. Важна увлеченность новым. **Творчество приносит человеку наслаждение**. Его результат – уже не всегда. Если что-то не получается, как задумано в модели, если «грубая» жизнь не дает воплотить в твердые формы мимолетное видение ума, если приходится переделывать одно и то же снова и снова – разочарования неизбежны. Иногда с ними приходит стремление к бесплодному разрушению, своеобразной мести в адрес реальности. Нетворческий элемент в творчестве иногда более болезнен, чем в рутине, а разрушение, необходимое для внедрения нового, может приобретать самодовлеющее значение.

* * *

Проблема критики труда, поставленная, но не решенная Марксом, вызывала интерес как у его критиков, так и у продолжателей марксистской традиции. Б. Вышеславцев, критикуя трудовую теорию стоимости Маркса, настаивает на резком противопоставлении труда и творчества: «Труд копается в земле; творчество похищает огонь с неба… Труд есть трудность, он совершается «в поте лица», ... «работа» от слова «раб». Рабство перед природной необходимостью; напротив творчество есть свобода, победа над природной необходимостью, «прыжок из царства необходимости в царство свободы», разрешение задачи и преодоление трудности.

Творчество есть… индивидуальная, свободная инициатива, она непосредственно связана с данной личностью… Она начинает новый ряд причин и свободно созидает новую, ранее не бывшую комбинацию природных сил. Иное дело – труд: он безличен, неиндивидуален, всецело заменим, и поэтому может стать рыночным товаром…, он есть безличное действие, предписанное извне, по чужой инициативе. Личность как бы тяготится безличностью своего труда, тоскует по творчеству.

Необходимо, однако, понимать, что творчество не может быть массовым явлением, и мы видим «трудящиеся массы».

Творчество есть по существу «редкость», исключение, функция меньшинства…; труд есть подражание, следование, исполнение и повторение заданного и предписанного повиновения».[184]

Яростное нападение Б. Вышеславцева на труд не учитывает двух обстоятельств. Во-первых, творческий процесс сплошь и рядом основан на стандартах, предписаниях и труде (отсюда: «гений – это труд», труд художника, многотомный научный труд). Но и в простом труде можно встретить элемент творчества («хороший сапожник – поэт»). В большинстве случаев в деятельности можно найти и воспроизводящую, и творческую составляющую. Важно, что преобладает, какая сторона деятельности взращивается обществом, а какая – подавляется.

Во-вторых, (и это вытекает из первого), разделение на творческое меньшинство и «трудящиеся массы» обусловлено общественным устройством, ограниченность которого во времени показана в этом же труде (в смысле – книге) Б. Вышеславцева. Сегодня деятельность по созданию нового – удел меньшинства, потому что средства индивидуального воплощения в реальность созданной творцом модели недостаточны, для этого нужно мобилизовать массы исполнителей. Но цивилизация не стоит на месте. Процент творцов (не обязательно гениев, открывающих принципиально новые пути) в обществе может увеличиваться.

В-третьих, (и это дает надежду на преодоление монополии меньшинства на творчество), творческий процесс может быть коллективным, а не только индивидуальным. Начиная с известных примеров сотворчества писателей и кончая практикой мозговых штурмов, возникновение моделей нового происходит в содружестве нескольких интенсивно общающихся личностей. При этом одновременный

процесс коллективного творчества в сообществах, включающих десятки людей, может, благодаря взаимодействию их информационных пространств, сливаться в совместное творчество тысяч. Как трудно в таких случаях историкам судить об «источниках творчества» и истоках мысли. Это называется «идея носится в воздухе».

* * *

Творческий процесс тесно связан с понятием информации. Особую роль информации подчеркивает В. Вильчек: «информация и есть тот уникальный, теоретически верно вычисленный Марксом, но ошибочно отождествленный с рабочей силой товар, который «способен увеличивать стоимость в процессе его потребления»: овеществления, воплощения»[185]. **Информация и творчество** – две стороны одного и того же — присущего человеку моделирования реальности, в том числе и потенциальной, еще не реализованной.

Дополнительную потребительскую ценность информация создает и моделируя более эффективную деятельность, и благодаря своему свойству к размножению моделей без значительных затрат энергии. Ссылаясь на мысль А. Моля, высказанную в «Социодинамика культуры», В. Вильчек пишет: «продав свое сочинение, автор отнюдь его не лишается, да еще повышает свой социальный статус»[186].

Вслед за Вышеславцевым Вильчек тоже подчеркивает качественное различие труда и творчества: «В качестве же творческой деятельности труд автора – вообще не труд, т.е. не деятельность по чужому образу и подобию, а удовлетворение первой человеческой потребности: потребности преодолеть отчуждение, восстановить поврежденную коммуникацию с миром»[187].

Но в индустриальном обществе творчество подчинено управлению и стандартизированному, воспроизводящему образцы труду, его роль утилитарна: моделирование оптимальных структур производства ради увеличения объемов собственности в ходе внедрения и последующего тиражирования модели.

Маркс отказывается от противопоставления труда и творчества и считает, что человеку необходимо “самоосуществление, предметное воплощение субъекта... как действительная свобода, деятельным проявлением которой как раз и является труд”[188]. Этот труд — не игра, как у Фурье, а серьезное дело. Зрелый Маркс выдвигает идею научного характера труда. Это можно понимать и как подчинение всех научным выводам и планам, и как вовлечение всех в научную деятельность (воплощение продуктов информационной деятельности в жизнь остается на долю машин). При этом Маркс напоминает, что наука — это не только свободное творчество, но и школа дисциплины[189]. Современная наука противостоит работнику как чуждая сила, элемент машинной системы. Из этого следует, что простое приобщение человека к науке еще не решает проблему. Напротив, наука может делать человека инструментом чуждой ему машинной системы. Сама научная деятельность должна быть деспециализированной, разнообразной[190]. Но достаточно ли этого? В современном мире действует немало «экспертов» по всем вопросам сразу, но их мнение считается «компетентным» постольку, поскольку совпадает с заказом руководящих элит. Дело не только в специализации работы с информацией, но и в самой организации информационного пространства, зависящей от социальной организации в целом.

Маркс считает, что в будущем обществе, освободившемся от господства капитала (а значит – и системы машин), “мерой богатства будет отнюдь уже не рабочее время, а **свободное время**”[191]. Чем занято свободное от труда время? Научным творчеством? Но это, по Марксу, тоже труд. Освободившись от труда. Человек должен занять себя другим трудом? Тогда почему это время – «свободное»?

Изъяны терминологии Маркса начинают перерастать в неопределенность его социальных целей. Технологическое развитие влечет человека к свободе. К чему тогда революционный социальный проект – все совершится и так. Человек получит **свободу от...** (от обязательной работы, от требовательности начальника, от узаконенной кражи его зарплаты предпринимателем). Но **негативная свобода («свобода от…») бессмысленна без позитивной свободы («свободы для…»)**. Зачем человеку свобода, и в чем ее позитивное содержание?

*** * ***

Маркс отказывается от идеи упразднения труда как такового. Гораздо подробнее в своих ранних рукописях Маркс разрабатывает идею преодоления **отчуждения труда**: «отчужденный труд есть непосредственная причина частной собственности. Поэтому с устранением одной стороны должна пасть и другая»[192]. Из этого следует, что без устранения отчуждения не может пасть и частная собственность, «чуждость». Поразительным образом Маркс в дальнейшем исходит из обратного, борясь со следствием, и забывая о причине[193].

Если видеть корень явления в «чуждости», в разделении на свое и чужое, то все снова сводится к частной собственности, что значительно снижает уровень обсуждения, ибо и господство, и специализация – явления более фундаментальные, чем частная собственность – юридическое оформление социальных отношений.

Понятие «отчуждение» вошло в социальную мысль благодаря наследию гегелевской философии. Точнее, речь идет о трех терминах, имеющих юридическое происхождение, которые можно трактовать как «утрата предмета» и «прекращение отношений». У Гегеля термины «Veräusserung», «Entäusserung», «Entfremdung», обычно переводимые на русский как «отчуждение», различаются, представляя различные фазы процесса «овнешнения», «опредмечивания». Проанализировав употребление Гегелем и Марксом этих терминов, Э.В. Ильенков приходит к выводу, что именно «Entfremdung» является термином, который у Маркса означает особое социальное отношение, по выражению Ильенкова «превращение продукта труда в растущее тело капитала», в которое перерастает простая потеря чего-либо (тоже «отчуждение», но в обыденном смысле слова)[194].

Маркс использовал эти термины, употребляемые иногда через запятую, для исследования социально-экономических отношений.

В капиталистическом обществе «это осуществление труда, это его претворение в действительность выступает как выключение рабочего из действительности, опредмечивание выступает как утрата предмета и закабаление предметом, освоение предмета – как отчуждение»[195]. В действительности человека закабаляет не предмет (иначе Маркс был бы фетишистом), а отчуждающие предмет социальные отношения. Результат деятельности работника становится ему чужд, утрачивается им, если он производит нечто не для себя. Всегда ли так? Тогда отчуждение было бы неизбежно. Важно, что процесс труда осуществляется так, что условия чужды работнику, что он функционирует, как **предмет, инструмент**. Он отчужден от процесса деятельности. Таким образом, получается, что эта чуждость – результат навязывания условий труда работнику.

Маркс не делает следующего шага, который логически следует из нефетишистского понимания отчуждения: если условия производства – результат «выключения», то «выключение» **осуществляет структура, навязывающая работнику такие условия. «Отчуждение» вызвано властью, принуждением к труду.** Анализируя первоосновы угнетения, необходимо разобрать его микросреду, полис,

непосредственно окружающий человека. Но **Маркс ищет причины не в полисе, а в поле, не в микро-, а в макросреде**. И ситуация становится менее конкретной: «труд является для работника чем-то внешним, не принадлежащим его сущности», он «в этом труде не утверждает себя, а отрицает, чувствует себя не счастливым, а несчастным», что является признаками «самоотчуждения», то есть отчуждения самого себя[196]. В итоге получается, что, подчиняя свою деятельность внешней среде, человек испытывает страдания, отчуждается от самого себя, от собственной сущности как человек, а значит – и от других людей. Получается общество человеческих атомов, соединенных в целое через чуждую им организацию труда. Эта организация здесь выступает уже не как угнетающая воля, а как некий абстрактный принцип. В чем он состоит и из чего вытекает? Касается ли это любой среды, или только существующего капиталистического общества? Что нужно изменить в среде человека, чтобы он «соединился» и со своей человеческой сущностью, и с процессом деятельности?

Маркс считает, что человек отчуждается от своей «родовой сущности», то есть от самого человеческого качества. Но в чем заключается отличительное свойство человеческого существа, его «родовая сущность», от которой происходит отчуждение?

* * *

Отчуждение труда возможно постольку, поскольку его может кто-то или что-то присваивать. При упрощенном понимании процесса это – класс эксплуататоров, который изымает продукт у работника. Об этом давно говорили «утописты». Эксплуататоры потому могут осуществлять присвоение, что они обладают властью либо способностью обманывать. «Утописты», а за ними и Маркс потратили много сил на разоблачение этого обмана – неоправданной сверхоплаты хозяев и недоплаты тружеников. Собственно, различные экономико-философские модели и образы подтверждали то, что и так невооруженным глазом было видно – кто трудится в поте лица, тот бедствует, а кто ведет праздную жизнь – пребывает в роскоши. В чем причина того, что это возможно? Сначала, может быть, и обман, но когда жертвы обмана потребуют свое назад – эксплуатация все равно сохраняется.

История многочисленных восстаний против угнетателей давала один и тот же результат – победа господствующей элиты, касты, либо разрушение данного общества и создание нового – обязательно с новой кастой[197]. Дело не только в том, что у элиты есть силы поддерживать свою власть. Для нее есть социальная ниша. Существует объективная необходимость в касте, отчуждающей продукт в свою пользу. Она выполняет некоторые полезные функции, которые нужно поддерживать – с угнетателями или без них. Но если без них, то следует объяснить, как поддерживать эти функции или как без них обойтись – преодолеть само существование этой ниши.

Специализация, которая до известного времени является неизбежным спутником культурно-технологического развития, предполагает выделение организующей социальной группы. Ее существование обусловлено социальной необходимостью согласования специализированных функций в обществе. Без этой ниши специализированная структура не сможет работать. Число возможных вариантов ограничено: либо сохранение касты, либо какой-то иной путь согласования, либо – **преодоление специализации**.

Максимальный пределов ниша касты достигает в индустриальном обществе, успехи которого напрямую связаны со специализацией. Без специализации был невозможен рост количества и среднего качества массовой продукции – продукции для всех. Соответственно, и ликвидация «отчуждения» как специализации возможно лишь при условии, что качественное выполнение работы может быть связано с де-специализацией. А это требует культурных и технологических предпосылок, без которых не-специализированная деятельность будет подобна графомании – личность, реализуясь в творчестве,

доставляет тем удовольствие только себе.

В условиях разделения труда результат труда потребляет как правило не тот, кто его производит. Но потребитель тоже включен в процесс труда, он тоже работник, а не эксплуататор. Таким образом, из постановки проблемы отчуждения вытекает две темы: отношения производителя и потребителя, и отношения эксплуататора и эксплуатируемого (угнетающего и угнетателя).

Пытаясь охватить все поле межличностных отношений, Маркс ищет «отчуждение» в посреднике между производителем и потребителем. Чтобы обнаружить исток «отчуждения», он обращается к временам, когда посредника между ними не было. И это приводит Маркса к логической ошибке. Смысл термина «отчуждение» произвольно меняется по сравнению с тем, о чем речь шла выше. По мнению Маркса во времена варварского натурального хозяйства, когда «капитал и труд еще объединены»[198], «отчуждения» нет. Значит ли это, что человек полностью реализует себя в процессе труда? Наслаждается трудом, таская бревна для хижины или часами преследуя животное на охоте? Сомнительно. Еще нет отчуждения труда, а «отчуждение» как нечто внешнее, в чем работник не утверждает себя, где он закабален трудом как необходимостью – уже есть. Кто является «отчуждающей стороной», когда социального слоя эксплуататоров нет? Труд определяется не творческими намерениями человека, а диктатом необходимости, циклом природы, условиями выживания и произрастающей на этой почве традицией. Разделения труда и капитала еще нет, а «отчуждение», навязанный характер труда – есть.

«Отчуждение», в котором Маркс видит причину мучений работника, в действительности существует вне связи с разделением труда и капитала. «Отчуждение», при котором труд является для человека «чем-то внешним» (со всеми вытекающими последствиями, упомянутыми Марксом) – это вынужденная сторона деятельности. «Отчуждение», о котором пишет Маркс, прослеживая основные этапы экономической истории – это разделение функций работника и управленца, труда и капитала, производителя, торговца и потребителя. Поскольку корень отчуждения был заявлен во внешнем факторе, связывающем отчужденных людей, то, наблюдая современное Марксу общество, его легче всего найти в рынке и деньгах, как «чуждом посреднике». «Таким образом, его рабство достигает апогея», и возникают возможности снятия отчуждения, причем тем же путем, каким шло самоотчуждение[199]. То есть, вероятно, путем ликвидации «чуждого посредника», преодоления специализации и разделения труда и капитала. Но это – разные задачи. Одно дело – устранить «посредников» – частных собственников, торговцев, деньги в конце концов (то есть – следствия), другое – осуществить такую перестройку социально-технологической структуры, при которой исчезает **«отчужденный» (а точнее – воспроизводящий) труд**.

Описывая «отчуждение», Маркс затрагивает различные, хотя и взаимосвязанные явления: **господство** (навязывание поведения) и **специализация** (сужение функций деятельности с целью повышения ее качества и эффективности). Специализация ведет к разрыву человека со своей целостностью, к подавлению в человеке части его потенций. Каково соотношение господства, специализации и «отчуждения»? Господство определяет возникновение внешних, «чуждых» человеку условий. Поскольку речь идет о чем-то большем, чем эксплуатация («отчуждение» продукта), то использование термина «отчуждение» применительно к господству является неудачным, затемняющим суть явления. Господство не разъединяет и «овнешняет», а создает связь между социальными слоями (господствующим и угнетаемым, эксплуататором и эксплуатируемым). Можно говорить о том, что господство «омертвляет» человека, превращая его в инструмент чуждой воли и тем действительно вытесняя в нем собственно человеческие функции. Но при этом следует учитывать, что инструментализация может происходить не только за счет собственно человеческого, но и животного начала.

Господство может существовать даже до появления социальной иерархии (когда по Марксу «отчуждение еще не существует») и вызывать те явления, которые Маркс считает результатом

«отчуждения». При господстве первобытной традиции человек, еще мало отличающийся от животного, в своей собственно человеческой ипостаси тоже несчастлив, вероятно даже более несчастлив, чем при капитализме.

С появлением социальной иерархии (вследствие специализации, разделения управленческого и физического труда) господство становится основой эксплуатации – перераспределения ресурсов в пользу господствующей касты. Корень эксплуатации не в том, что каста берет себе «больше, чем положено» (как полагали противники капитализма, надеявшиеся решить проблему с помощью возвращения работнику «прибавочной стоимости» и других добавочных выплат), а в самой возможности определять сверху пропорции распределения (поэтому эксплуатация сохранялась и в СССР). Каста не «присваивает» продукт, а господствует, по своей воле (а не по воле работника) направляя его потоки, в результате чего сам продукт попадает вообще третьим лицам (потребителям), которые и осуществляют его итоговое присвоение.

Туманность и двусмысленность марксова термина «отчуждение» вызвана тем, что он пытается с помощью гегелевского инструментария найти универсальное объяснение разнородных явлений, вызванных господством и специализацией. Может быть, эти два явления в свою очередь вызваны «отчуждением» как общей причиной?

Мы видели, что господство (и, соответственно, часть явлений, которые Маркс приписывает действию «отчуждения») существует до «разделения труда и капитала», поскольку вообще поведение человека и направление его деятельности определяется внешними (в частности – природными) силами. Социальное господство и разделение появляются с возникновением социальной иерархии, власти.

Причину появления господства и социальной специализации нельзя найти, изучая капитализм – общество, в котором эти явления давно развиваются. Исток явления – в древности, все в том же появлении в животной среде качественно нового, человеческого начала. Такие различия неизбежно вели и к специализации, и к господству одних функциональных групп над другими. Соответственно, и **преодоление господства возможно только при восстановлении социальной однородности. Но не на стартовом животном, а на высшем, креативном (творческом) уровне**.

Маркс считает вторичные (и исторически, и логически) отношения обмена, рыночного посредничества высшей степенью «отчуждения»: «Так как деньги есть образ всех других товаров, отделившийся от них, или продукт их всеобщего отчуждения, то они представляют собой абсолютно отчуждаемый товар»[200]. Но деньги, как и собственность – лишь следствие отчуждения продукта от производителя. Устранение товарно-денежных отношений не устраняет «отчуждения» и тем более – господства и специализации. История XX века покажет, что сужение сферы действия товарно-денежных отношений может даже увеличить степень «отчуждения».

Если угодно называть обобщающим термином воздействие господства – специализации на работника, то термин «отчуждение» и здесь односторонен, ибо здесь проявляется как разделение («чуждость»), так и соединение в социальную структуру.

Причина «чуждости» заключается в специализации и господстве, и «отчуждение» оказывается не причиной, а одним из их следствий. Поэтому если необходимо показать взаимосвязь специализации и господства, уместнее говорить не об отчуждении, а об **угнетении** (как социальных слоев, так и свойств человека) в результате возникновения иерархической социальной структуры.

Термин «отчуждение» более правомерен в определении отношения человека и человеческих свойств. Но в последнем случае речь идет скорее об угнетении этих свойств, так как без человека они не существуют и, следовательно, происходит не прекращения связи, а ослабление самих свойств. В русском языке слово «угнетение» в большей степени пригодно для описания отношений между социальными

группами, а также между институтами и человеком, человеком и его свойствами. Частный случай угнетения, связанный с подавлением и принуждением, можно называть «господством». Слово «отчуждение» адекватно определяет состояние изоляции человека или группы, а также прекращение их связей.

Угнетение является частным случаем более широкого и оценочно нейтрального явления – **давления среды**: природной и социальной. Возникновение этого давления неизбежно, поскольку человек сам воздействует на среду и на себе подобных, дабы удовлетворить свои изменчивые потребности. Источником давления является деятельность человека или группы, в которую он включен. Это давление нарастает в результате стремления человека и социальной группы изменить что-то в структуре среды или своей социальной ниши (либо сохранить их в условиях детерминированных извне перемен).

Человек может выбирать, как реагировать на давление. Адаптироваться, подобно животному, или бросить вызов давлению, пытаясь воздействовать на давящую структуру, меняя ее. Адаптация в меняющемся человеческом обществе – это лишь стратегия постоянного отступления. Она предполагает капитуляцию перед давлением, определяющим направление деятельности человека извне.

Давление в иерархическом обществе распределяется неравномерно. Отсюда стремление к равноправию, к более равномерному распределению давления, к социальной свободе и социальной защите, возможности менять социальные ниши – более давящие и деятельностные и более стабильные, защищенные от давления. Важно, способен ли человек самостоятельно регулировать давление и направление своей деятельности. Если нет – он угнетен.

* * *

Из-за терминологического смешения у Маркса переплетаются два разных вопроса: возможно ли преодолеть противоречие между производителем и потребителем, и возможно ли преодолеть разделение труда и капитала, антагонизм управляющих и управляемых?

А. Исаев вводит понятие «технологического порога отчуждения», который изменяется по мере развития человеческой культуры. Этот «порог отчуждения» следует отличать от социального[201]. Каста стремится к гораздо большему господству, чем это необходимо с точки зрения экономической эффективности и обеспечения благосостояния большинства населения. Снижение уровня социального отчуждения до уровня технологически-необходимого – предмет противоборства между господствующей элитой и остальным обществом.

Чем более консолидирована, авторитарна и монополистична каста, чем более раздроблено и угнетено общество, чем выше уровень эксплуатации труда в нем – тем выше социальный порог отчуждения, тем дальше отходит он от технологического порога, точнее – **культурного порога** «отчуждения» (точнее, господства, угнетения).

Борьба между социальным и технологическими порогами составляет содержание социальной борьбы, причем попытка перейти технологический порог приводит к деградации производства (как, например, во время «военного коммунизма» в России).

Является ли культурный порог угнетения некоторой независимой от социальных преобразований данностью?(как. составляет содержание социальной борьбы, причем попытка перейти технологический порог приводит к деградации производств

Либерально-марксистское течение склонно преувеличивать технологический детерминизм в

современном обществе. Не социальные перемены (иногда — революционные), а распространение информационных технологий по мнению этих авторов само по себе означает качественную перемену в развитии общества: “Не революция и экспроприация, а развитие производства до уровня “научного” делает общественную собственность не только культурной, но и социальной реальностью”[202] — считает В.М. Межуев. Почему? “Производство, в котором наука играет решающую роль, Маркс называл “научным производством”, отличая от фабрично-заводского, а мы сегодня именуем постиндустриальным”[203]. Правда, автор не приводит ссылку на столь провидческое, “постиндустриальное” высказывание Маркса, лишая читателя возможности оценить его контекст. Ему приходится обосновывать свою мысль за Маркса: “Ведь соединение человека с знанием в процессе труда (в отличие от его соединения с вещественными орудиями труда) не может осуществляться по принципу частной собственности, поскольку наука не является объектом частного присвоения”[204]. Это смелое утверждение, если вспомнить, что бизнес давно выработал эффективные средства защиты интеллектуальной собственности, и частные кампании не спешат бесплатно делиться своими научными разработками. Так что наука может быть объектом частного присвоения. Важно иное — она может им не быть в силу делимости информации без значительных энергетических затрат. Наука не меняет характера труда сама по себе, так как вполне совместима и с индустриальным технократизмом. Она является не достаточным условием социального сдвига, а только его предпосылкой. Эволюция технологии – необходимое, но недостаточное условие для перехода к принципиально новому (например, пост-индустриальному) обществу.

От науки либерально-марксистский автор переходит к культуре: “Но что это за богатство, которое принадлежит каждому без ущерба для других, не убывает от того, что им распоряжается каждый, а значит, не требует в свое пользовании никакого дележа? Здесь мы подходим к главному. Таким богатством, видимо, могут быть только те средства и условия труда, которые, по своей природе являются "всеобщими"... под общественной собственностью следует понимать собственность на культуру в целом, на все то, что служит условием производства самого человека как “основного капитала”. Наряду с наукой к ним относятся искусство, образование, источники и средства информации, формы общения, различные виды общественной и интеллектуальной деятельности. Собственность на них делает человека не имущественно, а духовно богатым существом, чье богатство заключено в его индивидуальном развитии. Общественная собственность тем самым — не экономическая, а культурная категория, обозначающая обобществление “духа”, всей человеческой культуры. В появлении такой собственности дает о себе знать историческая тенденция перехода не к свободной экономике (рыночной или какой-то другой), а *к свободе от экономики,* от необходимости быть тем, кем индивид является в обществе по своей социальной функции или роли”[205]. Свобода от экономики отдельных людей и тем более общественная собственность (при чем не только на культурные богатства) существовали всегда. Так что об их появлении говорить поздно. Вопрос в том, что преобладает в обществе. В то же время частное присвоение культурного наследия, произведений искусства, результатов интеллектуальной деятельности и средств информации — органическая часть экономики, поэтому отождествление этой сферы с общественной собственностью, которая сама по себе “освобождает” человека от экономики — явный отрыв от реальности. И он не случаен. Идеологическая доктрина правящей в странах запада элиты утверждает, что произошел качественный сдвиг **от индустриального к постиндустриальному обществу**. Не происходит, а произошел. Подмена возможности совершившимся фактом нужна именно для того, чтобы обосновать ненужность социальных перемен, достаточность только технологических и культурных сдвигов. Либеральные марксисты вносят свой посильный вклад в доказательство этого тезиса. Но сами доказательства противоречат очевидным фактам: информационные технологии и культурное творчество пока развивается под контролем касты — государственных и предпринимательских структур. Информационно-культурная элита может развиваться свободно от управленческого диктата, но это — только потенция. Для этого необходимы качественные социальные изменения. Но либерально-

марксистский синтез не предлагает перспективы таких сдвигов, а удовлетворенно рапортует: искомое Марксом глобальное общество уже достигнуто «в основном». Экономическое развитие планируется фактически из единого центра взаимосвязанными траснациональными корпорациями, которые руководствуются не отношениями собственности, а технократическим рациональным расчетом. К тому же обобществление экономики (и даже ее преодоление) идет семимильными шагами и позволяет обеспечить высокое благосостояние рабочего класса стран «золотого миллиарда».

Те, чьи материальные запросы «в основном» удовлетворены, не должны смущаться тем, что система, их удовлетворяющая, построена на угнетении и господстве. Обеспечивая рост материальных благ, она не гарантирует того же самого в области духовной, творческой культуры. Платой за сытость является контроль над сознанием. Впрочем, там, где исчезает активное участие человека в организации его жизни, качество этой жизни тоже ухудшается. Как говорили анархисты времен Перестройки, «там, где исчезает свобода, рано или поздно исчезает и колбаса».

«Свобода от экономики» невозможна уже потому, что человек нуждается в материальных ресурсах. Поэтому он всегда будет привязан к той или иной экономики. Возможна **свобода не от сферы** («от экономики», «от политики», «от культуры»), **а от организации** – от деспотической организации и политики, и экономики, и культуры. Нынешняя глобальная организация культурного пространства деспотична, она основана на господстве узкой касты над ресурсными и информационными потоками. Именно поэтому соединение со знанием само по себе не освобождает человека. Утопичность проекта Просвещения, возлагавшего надежды на приобщение масс к достижениям культуры, вполне проявилась в XX веке. Просветительский проект не учитывал, что само знание вполне может быть проводником деспотичного мировоззрения, инструментом господства.

Человек не может существовать как Человек вне пространства Культуры, но он должен освободиться от господства, то есть от данной организации Культуры. Это значит, что он должен **освободить от господства само поле глобальной культуры**, к которому подключен. Эта грандиозная задача не может быть выполнена немедленно, но она жизненно необходима Человечеству. Без этого происходит затухание творческого духа в среде животных инстинктов, и Человек перестает быть таковым.

*** * ***

Традиционное общество работает по законам животного мира, в его основе лежит воспроизводство. Индустриальное общество основано на машинном производстве, оно превращает и социум в машину, а человека – в деталь, инструмент, предмет. Опредмечивание человека вело к угнетению его свойств до уровня одномерной функции, к отчуждению его от самостоятельной воли, от «лишних» с точки зрения индустриальной организации жизненных проявлений. Узкая специализация «инструментов» отчуждала людей друг от друга. Усиливалось господство касты над остальным обществом в качестве универсального согласующего звена. Самые разные виды угнетения, господства и отчуждения, о которых с горечью и гневом писали социальные философы XIX-XX вв., было результатом индустриального опредмечивания человека, его узкой специализации и стандартизации. Животное начало в человеке, господствовавшее в традиционном обществе, вытеснялось неживым, предметным. А где же собственно человеческое, то, что отличает человека и от животного, и от инструмента? Об этом, как мы видели, немало думал и Оуэн. Отказываясь от капиталистической современности, он не собирался возвращаться в животное прошлое. Его община задумывалась как интеллектуальная, ее жители сами должны были моделировать, а затем творить условия собственной жизни, не навязывая их силой.

Развитая способность моделировать и творить новое, создавать новые формы природы и

собственной организации отличает человека от других существ. Развитая способность к творчеству является следствием такого свойства Человека, как способность фиксировать абстрактную информацию на материальном носителе. Эта способность позволяет осуществлять не индивидуальное, а коллективное, опосредованное культурой моделирование и реализацию нового. Другие существа, насколько известно, не обладают такой возможностью. Если не считать зачаточных форм творчества, другие живые существа способны либо к индивидуальному моделированию реальности в сознании (иногда даже созданию абстрактных моделей), либо к коллективному воспроизводству врожденных образцов.

Из этого следует, что **содержание позитивной свободы – собственно человеческая деятельность – это социальное, интеллектуальное, художественное и духовное творчество, осуществляемое в поле культуры**. Из этого же следует, что человеческая личность может быть превращена в инструмент культуры. Это значит, что человеческое начало, его субъектность, снова подавлено, человеческое начало погашено. Поле культуры – условие развития человеческого начала, но оно же – и угроза ему.

* * *

Роль, которую технология играет в современном мире, дает множество аргументов в пользу технологического детерминизма. Но развитие технологии в свою очередь обусловлено более широким полем культуры. Авторы изобретений – дети своего времени. От самого изобретения до внедрения – долгий путь, который должна обеспечить социальная структура. Древние римляне изобрели паровой двигатель, но чтобы он из игрушки превратился в двигатель прогресса, нужна была другая социальная структура, нужно было пройти через корпоративную структуру средневековья, готовившую производственную специализацию – предпосылку для разделения труда между механизмами и машинами.

Взаимозависимость социальной, культурной и технологических сторон развития общества помогла Марксу поставить вопрос о взаимоотношениях производительных сил и производственных отношений. Если очистить эту дилемму от экономического детерминизма, свойственного эпохе Маркса, то возникнет вопрос о взаимозависимости технологии и социо-психологии, искусственного мира и внутреннего мира человека, его культурного уровня. То один, то другой вырываются вперед. И культурный уровень сдерживает развитие технологии (люди не готовы принять изобретения или даже освоить импортную технику), и технология – развитие культурного уровня (техника требует определенных свойств производителя, что приводит к однобокому развитию человека, атрофии его духовных и телесных качеств, угнетающей усталости; технические средства избавляют человека от необходимости выполнять самому не только рутинные, но и творческие задачи). Ускоренное распространение потребительских технологий в начале XXI века вовсе не вызывает взлет творческого развития масс, порождая толпы виртуально-зависимых мещан, обменивающихся примитивными эсемесками с впечатлениями о «телках» и «клевых сериалах».

Преодоление угнетения (с оговорками – «отчуждения»), порожденного специализацией, обусловлено и технологически, и социально-культурно. Чтобы труд человека стал более разносторонним и творческим, нужно выполнить как минимум два условия – человек должен быть культурно подготовлен к выполнению творческой деятельности, и должна существовать социальная ниша, востребующая его творчество. А это зависит от социальной организации и наличия соответствующих технологий, востребованных обществом.

«Отчуждение» работника от средств производства осуществляется любой индустриальной организацией, которая жестко делит участников деятельности на творцов-управленцев и работников-исполнителей. Это не зависит от формы собственности – частной или государственной. Сам принцип

монополии (собственности и автократии) вытекает из разделения людей на касту (собственников или правителей) и исполнителей их решений — из социального отчуждения, разделения. Достижение свободы не только для касты, а для большинства людей – это преодоление социально-закрепленной специализации. Технологическое развитие не обеспечивает свободы от угнетения свойств человека, потому что это свойства человека, а не машины. Решение проблемы находится в другой плоскости, в плоскости человеческой организации, социальных отношений.

* * *

В индустриальной системе одни люди создают модель продукта, а другие должны точно выполнять инструкции по его производству. Иначе машинное производство просто не сможет действовать, так как оно основано на стандартизации. Значит, для преодоления угнетения должна быть изменена эта организация общества. С одной стороны, уровень господства должен снижаться за счет укрепления механизмов демократии – обратной связи между элитой и остальным обществом, открытости каналов вертикальной мобильности, передачи как можно больших полномочий на низовые уровни или самоуправлению. Для демократии существует «культурный порог господства» – неспособность простых людей вникать в принятие некоторых решений из-за отсутствия знаний и достаточной политической культуры. Однако демократия – «упругая среда»: чем больше демократии, тем больше демократического опыта у населения. Плавное приближение власти к низовому уровню расширяет количество людей, которые готовы к участию в эффективном принятии решений. В этом отношении можно говорить о **«законе» демократического давления на политическую культуру**: по мере повышения уровня демократии и снижения уровня господства повышается уровень массовой компетентности в общественных делах, способности «низов» формировать горизонтальные структуры, способные обходиться без верхов, без иерархических вертикальных структур.

Социализм выступает за непрекращающееся «демократическое давление», которое в итоге позволит добиться снижения господства до минимума, когда любой желающий может принимать компетентное участие в решении вопросов, его касающихся.

Но это давление встречается с сопротивлением касты и тех слоев, которые наиболее тесно связаны с ней. Для того, чтобы оказывать сопротивление давлению горизонтальных структур, вертикальные структуры имеют важное преимущество – они опираются на фундаментальное разделение труда: между творчеством, созданием моделей жизни (будь то технические средства, социальные идеи или верования) и их воплощением, реализацией.

«Демократическое давление» упирается в «порог разделения труда», при котором кто-то должен согласовывать работу специалистов, «подобных флюсу», кто-то должен творить модели, а кто-то – прилагать усилия к воплощению придуманного другими. «Отчуждение», о котором пишет Маркс, основано на том обстоятельстве, что одни люди лучше подготовлены к творчеству, а другие – хуже, и поэтому вольно или невольно принимают идеи других. И это – изначальная почва как для господства, так и для специализации. Может ли быть преодолено это разделение функций между людьми-творцами и людьми-исполнителями?

Постмарксистский философ Т.И. Ойзерман, распрощавшись с коммунистическими убеждениями, задался вопросом: «Не является ли сама идея поголовного участия всех трудящихся (в управлении государством – А.Ш.) утопической или, выражаясь современным языком, популистской идеей? Мне думается, что положительный ответ на этот вопрос не требует теоретического обоснования. Тем не менее, я все же сошлюсь на специальное исследование современного российского юриста-государствоведа,

который со всей определенностью отмечает: «Любая форма управления делами государства не способна полностью обойтись без отчуждения большей или меньшей части населения от власти, в частности, от управления имуществом, от правотворчества и применения законов. Это просто невозможно. Одна из наиболее привлекательных идей коммунизма (и анархизма) – каждый может непосредственно управлять государственными делами – в начале XXI в. кажется еще более утопичной, чем в начале XX в. Сохраняющаяся необходимость такого отчуждения сама по себе будет воспроизводить основания зависимости гражданина от чиновника на протяжении всей обозримой перспективы»»[206].

Ученнейший государствовед не знаком как с учениями коммунизма и анархизма, которое взялся критиковать (с точки зрения анархистов управление государственными делами может осуществлять только господствующая элита, а никакой не «каждый» – анархисты выступают за преодоление государства в еще большей степени, чем коммунисты), так и с информационными возможностями, которые вполне проявились к началу XXI века. Впрочем, ссылка на «обозримую перспективу» все проясняет – у государствоведа и ссылающегося на него философа просто очень короткая дальность обозрения. По существу они объявляют то ли утопической, то ли популистской (это не одно и то же) идею демократии в корне. Демократия предполагает, что каждый гражданин имеет возможность в той или иной степени участвовать в управлении государством хотя бы в таких формах, как выборы (принятие решений о комплектовании государственных должностей) и референдумы (принятие решений по некоторым вопросам). А ведь это – как раз правотворчество. Что уж говорить о таких формах участия в государственных делах, как местное самоуправление. «Явная утопия и популизм».

Отгородившись от социалистического наследия, выступавшего за распространение демократии за пределы парламентской сферы, либеральная мысль деградирует к авторитаризму, абсолютизму, отрицанию демократии в принципе. И это логично – или простой человек может участвовать в принятии решений, и тогда – нет оснований загонять демократию в парламентское гетто, нужно распространить демократию на разные сферы жизни, включая производство. Либо он – не может. И тогда нечего играть в выборы, а нужно, чтобы чиновники назначали друг друга, вовсе не считаясь с настроениями «невежественного» народа. То, что в либерализме скрыто как неразрешимое противоречие, в социализме обсуждалось прямо.

Социальное господство – это первая форма специализации, закрепленной принудительно, властно. Это явление лежит в основе развития социальной иерархии, порождающей многообразные формы угнетения («отчуждения»).

Разделение на управляющих и управляемых, творцов и исполнителей – необходимое условие развития человеческой культуры эпохи традиционного и индустриального общества. Несмотря на то, что преодоление господства также требует культурных и, в частности, технологических предпосылок, организационная **возможность значительного снижения господства одних слоев над другими, существует уже в индустриальном обществе**. Эта возможность называется «самоуправление», «демократия», «защита прав». Индустриализм в силу своих фундаментальных особенностей препятствует полноте демократии как на уровне политического поля, так и в производственном микромире, но создает предпосылки для самого процесса их развития, в дальнейшем подрывающего основы индустриализма. Человек становится более грамотным, он привлекается к обсуждению общественно-значимых проблем, информация становится более доступной. Вовлечение масс в политическую жизнь, включение их в «демократические» ритуалы выборов, вступает в противоречие с производственной ролью работника как инструмента. «Демократия» инструментов – парадокс индустриального общества. Этот парадокс разрешается либо путем тоталитарной консолидации масс, либо путем манипуляции их сознанием, либо – по мере преодоления самого индустриального общества с его базовой специализацией классовых функций.

* * *

Самоуправление — преодоление разрыва между управляемым и управляющим, остается единственным не опровергнутым пока на практике путем к преодолению господства, организованного насилия человека над человеком, отчуждения личности от ее человеческой сущности. Противоречивый опыт самоуправления в XX в. показывает, что индустриальные принципы организации жизни и, в частности, производства не способствовали автономии личности и коллектива, связанной с самоуправлением. Несмотря на эту тоталитарную тенденцию, самоуправление было естественным требованием социальных и гражданских движений, так как позволяло снизить уровень господства властной и технократической элиты над производителями материальных и духовных ценностей. Многим участникам и лидерам социальных движений представлялось, что самоуправление может заменить авторитарные структуры общества и в этом случае вовсе преодолеть современное общество, основанное на господстве и эксплуатации. Однако культурный разрыв между элитой и остальным населением, организационно-техническая структура индустриального общества, консолидация правящих элит против самоуправленческих движений — все это позволяло подавлять или интегрировать локальные достижения сторонников самоуправления. Последний путь заставлял касту вводить элементы производственной и локальной демократии в структуру современного общества. В то же время некоторые локальные самоуправленческие инициативы нашли возможность так урегулировать свои отношения с окружающим миром, чтобы сохранить свою альтернативность ему без видимой конфронтации.

Сегодня, в условиях кризиса индустриальной цивилизации, самоуправление по-прежнему остается еще неиспользованным ресурсом человечества. Основой для качественного изменения общества могут стать и альтернативные проекты настоящего, и будущие массовые социальные движения под флагом самоуправления. Станет ли самоуправление магистральным путем в будущее или элементом грядущих преобразований, насколько человечество будет в состоянии реализовать цели, выдвинутые антиавторитарным социализмом?

Непосредственное участие большинства людей в принятии решений, то есть демократия объективно легче развивается в микросреде, небольшом пространстве («полисе»), нежели в масштабах целой страны и тем более – нескольких стран. Количество информации, которую человек может освоить, ограничено, а условием демократии является осведомленность гражданина о решениях, которые он обсуждает. Угнетение первоначально может быть преодолено только в микросреде. **Полис становится моделью и в то же время основой, исходным пунктом новых отношений**.

«Полис» (община, самоуправляющийся коллектив, сообщество) – это плацдарм для наступления личности в социально-культурном поле. «Полис» защищает, но он же и ограничивает. Если в «полисе» возможна демократия как самоуправление, то встает вопрос о защите его от внешнего поля, которое нельзя контролировать также, как полис.

Чтобы рядовой человек мог быть компетентным участником жизни поля, оно должно быть реорганизовано на понятных ему принципах: либо упрощено так, чтобы каждая часть поля была подобна другой, либо усложнено настолько, что каждая часть поля была своеобразна, но в силу этого – автономна, и большинство решений, ее касающихся, принималось только ее гражданами. Первый вариант отдает поле во власть «всех вместе», а не кого-то в отдельности. Но это значит, что никто не сможет воздействовать на него в соответствии со своей волей, и общество будет развиваться под действием законов собственного устройства. Во втором случае воздействия будут многообразны, но локальны, и полисы будут преобладать над полем и защищены от него.

Прудон не боится многообразия, предлагая лишь обеспечить каждому его фрагменту (предприятию, территории, субкультуре) одинаковую устойчивость к ударам внешнего мира (нации, государства, рынка).

Маркс опасается распадения целого общественного поля на полисы, но стремится сделать само поле безопасным для человека, уничтожив в обществе саму почву для «отчуждения» и обмана. Но только где эта почва? В деньгах, рынке, частной собственности? Собственности вообще, нерациональности стихии? Маркс видел перед собой непосредственные причины данной конкретной капиталистической эксплуатации – частную собственность, капитал, товарно-денежные отношения. Его социально-политический проект был априорно направлен именно против них. Философский поиск, связанный с «отчуждением», не был доведен до логического завершения, и Маркс сосредоточился на более актуальной для него задаче критики капитализма и на поиске пути его преодоления.

Революция и классы

Не признавая родства с Прудоном (и справедливо, ибо Маркс шел за Прудоном как экономист, но не как идеолог), марксизм признает свое ученичество у утопистов. Действительно, они предшествуют Марксу во многих положениях критики капитализма и частной собственности. Но марксизм игнорирует многие важные достижения социалистической мысли первой половины века: ненасилие и антиэтатизм Оуэна, различие воспроизводящего труда и творчества, о котором писал Фурье. Для Маркса и Энгельса быстро определились главные социалистические идеи, наиболее полно гармонировавшие с гегелевской философией: цельное, однородное непротиворечивое, рациональное общество может быть установлено путем революционного отрицания частной собственности. И сделать это может тот слой общества (класс), который уже собственности лишен – **пролетариат**.

Как и все социалисты того времени, Маркс критикует обнищание масс, которое вытекает из капиталистической организации труда. Из этой же организации вытекает множество других последствий. В современной Марксу индустриальной организации было немало того, что могло стать (и стало) прологом будущего (например, рост влияния организаторов производства, не имеющих капитала). Но именно в обнищавших массах как противоположности капиталистического процветания Маркс видит источник победы над капитализмом и создания нового общества. Только за лишенными собственности пролетариями Маркс признает право представлять труд, хотя трудятся, разумеется, не только они.

«Эта противоположность труда и капитала, будучи доведена до крайности, неизбежно становится высшим пунктом, высшей ступенью и гибелью всего отношения»[207]. Такова философская логика гегельянства – найти наиболее острое противоречие и искать пути его «снятия» в нем самом (революция пролетариев против капиталистов), «очищая» проблему от сопутствующих «деталей» (социальная политика «буржуазного» государства, численное преобладание непролетарских классов и т.д.).

Но революционное действие нищей и хорошо организованной массы пролетариата – это не только философская формула, но и талантливое политическое «ноу хау» (сразу появляется «рычаг» для свержения существующей системы), и основа конструктивного идеала, сценария будущего. Общество будет состоять из людей, лишенных «своего».

В «Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс утверждают, что условием для ликвидации отчуждения является обнищание, лишение собственности пролетариата и в то же время богатство общества, развитие его производительных сил. Без этого богатства вслед за революцией распространится бедность, и снова начнется борьба хоть за какую-нибудь собственность, что приведет к воскрешению «старой мерзости». Пролетариат, таким образом, ценен для Маркса и Энгельса тем, что он привык обходиться без собственности. Но будет ли пролетаризация усиливаться по мере роста богатства общества в целом? Только философские парадоксы могли гарантировать это.

Во всем Маркс ищет антагонизм, иногда позволял себе страшные «оговороки», в которых можно разглядеть деяния его последователей: «…производство начинает базироваться… на антагонизме труда накопленного и труда непосредственного»[208]. Труд непосредственный — это пролетариат. А труд накопленный? Капитал? Не только. Труд накапливается в культуре. Пролетариат, уничтожающий культуру предыдущей эксплуататорской цивилизации — визитная карточка XX в. Имущественная каста, подлежащая уничтожению (и не только социальному, но отчасти и физическому), неотделима от элиты культурной, старые социальные формы тесно связаны с культурной традицией. В этих условиях революционный взрыв, сознательное **стремление к физическому столкновению** людей, были чреваты культурной деградацией.

* * *

Проблема революционного насилия — одна из ключевых в социалистической мысли. Она развела не только Маркса и Прудона, и не только различные течения социалистов. Тысячелетиями проблема насилия разводит проповедников высоких идей, мыслителей и реформаторов. Социализм — принципиально новое общественное устройство, и может ли оно утвердиться, если не сломить физическое сопротивление тех, кому выгодны эксплуатация и деспотизм?

Удивительно, каким образом светлые идеи, основанные на приоритете ненасилия и личной свободы выливаются в кровавую резню. Нередко христиане бросают камень в социализм, указывая на кровавые последствия развития этой идеи. Но Христос не велел бросать этого камня. Ведь и он не велел убивать, а с именем его убивали не меньше, чем под красными знаменами.

Здесь кроется важная человеческая проблема, и, возможно, сравнение двух учений позволит нам приблизиться к решению загадки.

Проповедь Христа, содержавшая в себе социальные принципы, часть которых будет потом воспринята социализмом (отношение к богатству, братская взаимопомощь, защита труда и др.), требовала от человека духовного порыва, большой самоотверженности и альтруизма. Христианское братство могло состоять из интеллектуалов и простых людей, но все они должны были быть готовы разделить хлеб с пришельцем и простить ему обиды. Ненасилие лежало в основе этого сообщества. Меч, который принес Христос в мир, является символом разделения на принявших и не принявших его учение, а не оружием в буквальном смысле слова. Оружием Христа и его истинных учеников является слово, а не насилие.

Но слово это падает на разную почву. Люди нетворческие, духовно и (или) интеллектуально неподготовленные воспринимали притчи буквально, да и прямые указания трактовали по-своему. Переход христиан к насилию над иноверцами был связан с союзом Церкви и Власти. Но власти не приказывали толпам народа громить язычников. Проповедник, мыслитель воздействует словом на сознание человека. Работник, имеющий дело с физическим преобразованием природы, может воспринять постулаты проповедника, но проводить их по-своему — с помощью физического воздействия на среду, в том числе на оппонента. Петра с мечом еще мог остановить Христос. Первые христиане в условиях гонений не могли не быть самоотверженными людьми. Но когда учение становится официальным, и оно овладевает массами не по сознательному выбору, а по принадлежности к стране и ее традиционной культуре, тогда физическая защита идеи становится неотъемлемой частью защиты отечества и культуры от внешних и внутренних врагов. Содержание идеи при этом отступает на второй план.

Что уж требовать от социалистической идеи. В XIX столетии политические течения еще не имели прочной прививки от насилия. Либералы и консерваторы выясняли свои отношения на баррикадах, миру был еще неизвестен окопный ужас и лагеря смерти. Проблема насилия была скорее вопросом тактики, чем принципа. Стремление рационально преобразовать страну или мир требовало военной победы, а готовность экспериментировать на себе давала возможность не прибегать к насилию (если не вставал вопрос о самозащите эксперимента). Физическое воздействие на противника гармонировало с принятыми тогда методами действия элиты (от иезуитов до либеральных революционеров), и с настроениями отчаявшихся и необразованных масс. Будущее виделось как романтическая борьба на баррикадах, движение революционных колон, дым сражений, а затем результат — свободное общество свободных людей. И лишь часть социалистических мыслителей, прежде всего французских, переживших или воспринявших от родителей ужас Великой французской революции, стали понимать, что в дыму сражений

выковывается не свобода, а диктатура.

* * *

Собственно, Маркс Энгельс и не скрывали, что стремятся к установлению именно диктатуры. Но не любой, а именно диктатуры пролетариата. К началу революции 1848 г. эта диктатура виделась им как **«завоевание демократии»**[209], то есть переход власти к большинству или представителям большинства населения. Однако как будет выглядеть эта «демократия», как обеспечить принятие решений большинством хотя бы рабочих? В соответствии с «Манифестом коммунистической партии» «пролетариат использует свое политическое господство, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия труда в руках государства, т.е. пролетариата, организованного как господствующий класс, и возможно более быстро увеличить сумму производительных сил.

Это может, конечно, произойти сначала лишь при помощи деспотического вмешательства в право собственности и в буржуазные производственные отношения», среди которых – экспроприация земельной собственности, высокий прогрессивный налог, отмена права наследования (позднее Маркс и Энгельс будут обличать Бакунина за приверженность этой идее), конфискация имущества эмигрантов и мятежников, банковская монополия государства, расширение государственного сектора и создание промышленных армий[210].

Маркс и Энгельс не разъяснили, как будет выглядеть государство, эквивалентное организованному пролетариату. Конкретизация последует только после Парижской коммуны, программа которой, как мы увидим, будет следовать за идеями Прудона. В 1872 г. Маркс и Энгельс заявят о пересмотре своей программы под влиянием Парижской коммуны[211]. А пока, до 1872 г., до бакунинской критики и опыта Коммуны, речь шла о централизованном государстве, которое действует от имени рабочего класса и начинает управлять практически всей экономикой, начиная от банков и железных дорог и кончая имуществом умерших людей, которым теперь в соответствии с планом Сен-Симона наследует государство. Такое государство сохранится, пока общество не преобразуется в ассоциацию равноправных индивидуумов. Ведет ли предложенный путь к искомой цели, или план мероприятий «Манифеста» создает новый деспотизм, на деле исключающий демократию? Современники Маркса, особенно ярко – Бакунин, предупреждали об угрозе второго исхода.

Политическая концепция «Манифеста» не оригинальна. Отстаивая идею коммунистической партии, Маркс и Энгельс следуют за О. Бланки. Звездный час Бланки – весна 1848 г., когда он стал лидером радикальных масс Парижа. Но власти отреагировали оперативно, и Бланки оказался в тюрьме, так и не начав коммунистический переворот.

* * *

Несмотря на то, что Прудон и Блан были противниками насилия, они приняли участие в **революции 1848 г.**, и даже преуспели на политическом поприще более, чем революционер Маркс, который выдвинулся только в локальные демократические лидеры, в то время как Блан стал министром, а Прудон был избран в революционный парламент и развернул там борьбу за право на труд с помощью создания ассоциаций и общественного банка. Впрочем, Прудон не питал иллюзий по поводу прямых выборов депутатов и тем более президента: «Всеобщее избирательное право есть контрреволюция»[212].

Прудон недолго противопоставлял свой реформизм революции. С началом революции 1848 г. он стал

активно участвовать в событиях, оказавшись на крайне левом фланге демократов. По мнению либерального историка Э.Д. Грима именно взгляды Прудона «вполне соответствовали существу среднего революционного настроения минуты»[213]. Оказалось, что революция – это как раз то, что ведет к осуществлению анархического идеала. В полемике с Марксом Прудон критиковал революционный заговор, а не массовое народное движение, которое анархисты (в отличие от революционного переворота и диктатуры) теперь станут называть социальной революцией. Логика революции окончательно заставила Прудона признать себя революционером и социалистом.

В «Исповеди революционера» Прудон обличал «буржуазную идею» не просто за стремление к прибыли, а за стремление привить «мораль интереса» всем классам, распространить религиозный, нравственный и духовный индефферентизм. «Людовик XIV царствовал благодаря идолопоклонству к его особе, Цезарь и Бонапарт – благодаря внушаемому ими чувству удивления, Сулла и Робеспьер – благодаря тирании, Бурбоны – благодаря реакции Европы против завоеваний империи. Людовик-Филипп первый, он единственный царствовал благодаря презрению». Его слуги «были слишком похожи на своего хозяина. Чтобы иметь высокое мнение о нем»[214].

На митингах и в своей газете Прудон требовал вывода из Парижа регулярных войск, обеспечения полной свободы собраний, упразднения законов, «которые могли подать повод к разным толкованиям», допуска народных клубов к парламентской жизни. «Организация народных обществ была якорем спасения демократии, краеугольным камнем республиканского порядка»[215].

Во время революции 1848 г. Блан и Прудон снова оказались по разные стороны баррикад. Благодаря сотрудничеству в либеральной прессе Блан на момент начала революции был наиболее известным социалистом и был включен во временное правительство. Он оказался на левом фланге новой власти, и его социальные идеи приобрели огромную популярность.

Декларация Временного правительства 25 февраля, проект которой был написан Бланом, гарантировала всем французам право на труд. Правительство признавало, что «рабочие должны ассоциироваться между собой, чтобы пользоваться законным продуктом своего труда»[216].

16 апреля впервые после начала революции рабочая манифестация привела к вооруженному противостоянию в центре Парижа, которое на этот раз закончилось миром. «Социализм существовал с 1830 г. С 1830 г. сен-симонисты, фурьеристы, коммунисты, гуманитарцы и другие занимали публику своими невинными мечтаниями, и ни Тьер, ни Гизо не снизошли до того, чтобы заняться ими. Они тогда не опасались социализма, и они имели основания не опасаться его, покуда не возникало вопроса о том, чтобы осуществить его на государственные средства и силою государственной власти. После 16 апреля социалисты возбудили против себя страшный гнев: будучи ничтожным меньшинством. Они протянули руку за властью»[217], – писал Прудон о значении событий тех дней.

Давление рабочих и безработных, чреватое новым социальным взрывом, нарастало из-за неспособности революционного правительства проводить социальные реформы. Поскольку Блан был единственным специалистом по «рабочему вопросу» в правительстве, это давало ему массовую поддержку в Париже, которой не могли похвастаться другие члены кабинета. Они были готовы идти навстречу идеям Блана, которые считали ошибочными, лишь бы он укротил толпу. И Блан воспринял эту роль политического буфера, уговаривая массы быть сдержанными. Такое поведение Прудон назвал «контрреволюцией Луи Блана». Он считал, что необходимы решительные массовые действия до тех пор, пока правительство сопротивляется социалистической реформе. Реформист Прудон показал, что он вовсе не против революционных действий, когда они расчищают дорогу преобразованиям. Его тоже беспокоило, что революция может сорваться в разрушительный бунт, но «контрреволюция Луи Блана» заключалась в том, что социалист в правительстве, обладающий поддержкой улицы, не использовал ее для продвижения

своей программы. Уговаривание масс отсрочило взрыв, но не сняло его угрозу, так как реформы так и не были начаты.

Для подготовки социальных реформ 29 февраля была создана Люксембургская комиссия (названа по месту заседаний), которой предстояло согласовать взгляды разнообразных социалистических и экономических учений и представить Национальному собранию план реорганизации общества. Одновременно комиссия, работавшая под председательством Л. Блана, выполняла роль временного министерства труда и комиссии по трудовым спорам. По ее настоянию рабочий день был сокращен до 10 часов в Париже и 11 часов в стране. Одновременно рабочие создали несколько производственных ассоциаций, которые существовали до разгрома рабочего движения в июне, а некоторые – до подавления прудоновского эксперимента в 1849-1850 гг.

26 апреля 1848 г., к началу работы Национального собрания, комиссия выпустила проект устройства национальных мастерских на основе идей Блана и Фурье (его теорию в комиссии поддерживал Консидеран). Мастерские должны были стать самоуправляющимися предприятиями с собственной системой взаимного обмена. Эта идея близка взглядам Прудона, популярность которого в 1848 г. росла, и он вскоре был доизбран в парламент. Мастерские должны были создаваться путем обращения в государственную собственность средств сообщения и рудников, а также создания земледельческих поселений. Одновременно рекомендовалось развивать кооперацию, национализировать банковское дело и обеспечить низкопроцентный кредит. Это был проект реформ, которые могли привести к созданию социального государства с сильным самоуправлением: к подобным идеям неоднократно возвращались социальные реформаторы XX века.

Пока комиссия работала, она могла выполнять вспомогательные задачи социального государства, и тем сдерживать накал страстей. Потеря времени на работу Люксембургской комиссии была бы оправдана, если бы ее проект был затем принят Национальным собранием. Но Национальное собрание, состоявшее из либералов и консерваторов, чуждых пониманию социальной проблематики, отклонило большинство предложений комиссии, что накалило обстановку до предела. Отказавшись принять предложения Блана и его коллег, новая власть обесценила революцию в глазах пролетариата.

Пародией на предложения Люксембургской комиссии стали национальные мастерские, которые основывались на казарменной дисциплине и по сути рабском ручном труде на государственные нужды. Эти «нужды» выдумывались специально, чтобы оправдать существование мастерских. Никаких современных форм производства мастерским не доверили, ни о какой окупаемости и речи идти не могло. 22 июня и эти паллиативные мастерские были закрыты, что стало последней каплей, переполнившей чашу терпения парижских рабочих, и привело к восстанию в пролетарских кварталах столицы. Социальная революция была подавлена, первое хождение социалистов во власть не удалось.

Бесславный финал истории с Люксембургской комиссией и связанная с ним кровавая развязка скомпрометировали Блана и позволили Прудону выдвинуться на первые роли в социалистическом движении Франции. Ревностные социалисты первой волны революции выступили против Прудона единым фронтом с либералами.

* * *

31 июля 1848 г. депутат Учредительного собрания Франции Прудон, атакованный лидером либералов А. Тьером, выступил с подробным изложением своих взглядов на собственность и необходимые реформы. По итогам прений он удостоился следующей резолюции: «Национальное собрание, признавая, что

предложение г-на Прудона представляет собой отвратительное нападение на принципы общественной морали; что оно оскверняет собственность; что оно ободряет обвинения, что оно апеллирует к наиболее злобным страстям; принимая во внимание также, что оратор клеветнически утверждает, что Февральская Революция 1848 г. ответственна за теории, которые он развивает; переходит к повестке дня»[218]. Депутаты были так оскорблены нападениями на священное право собственности, что расценили его как аморальное само по себе. И это несмотря на то, что Прудон был защитником традиционной морали и даже патриархальной семьи. Характерно, что за это постановление проголосовали и именитые социалисты Л. Блан и П. Леру. Только двое депутатов проголосовали против постановления, осуждавшего обличителя собственности. Прудон во мгновение ока превратился в антигероя либеральной прессы. Но на одного человека **дуэль Прудона и Тьера** произвела глубокое впечатление: «они не могли понять, как можно быть свободным без государства, без демократического правления, они с удивлением слушали безнравственную речь, что республика для людей, а не лица для республики»[219], – писал о противниках Прудона А. Герцен. Он отдал пальму первенства Прудону, и это имело далеко идущие последствия — Прудон заочно приобрел ученика, который станет родоначальником целого общественного течения. Иногда внимание талантливого последователя бывает важнее, чем восторги и осуждение толпы, даже депутатской.

Столкновение с Тьером будет не последним. Уже после смерти Прудона их идеи столкнутся под гром пушек. В 1871 г. Парижская Комунна примет конструктивную программу прудонистов, а Тьер возглавит подавление первой социалистической революции.

* * *

Не встретив понимания в парламенте, Прудон выступил с идеей создания параллельной экономической системы, которая должна была стартовать с создания ее центра – народного банка.

31 января 1849 г. Прудон объявил о создании народного банка, в котором будет существовать беспроцентный кредит и обмен продуктами без денег, а с помощью банковских обязательств. Вкладчики выстроились в очередь – идея Прудона была популярна. К 11 февраля, когда банк начал работу, 12000 вкладчиков принесли 36000 франков.

Но 28 марта 1849 г. за нападки на президента Бонапарта Прудон был присужден к тюремному заключению на три года. Поскольку подписка шла под его имя, и только он мог начать банковский проект, дело лопнуло. Позднее марксисты утверждали, что проект Прудона был изначально утопичен, что и доказывает крах банка. Но, согласимся, неудача эксперимента носила «внеэкономический характер». Проект Прудона был более продуман, чем аналогичная инициатива Оуэна.

После ареста Прудона его последователи пытались продолжить эксперимент. Полина Ролан и ее товарищи Дельбрук и Делуэн инициировали «Союз братских ассоциаций Парижа», который возглавила Центральная комиссия из представителей коллективов работников. Союз пытался объединить существующие тогда в Париже производственные ассоциации (более 100 с численностью около 50 000 человек) и основывать новые. Во многом это удалось, что обеспокоило президента Бонапарта. В мае 1850 г. союз был объявлен тайным обществом, и центральная комиссия арестована в полном составе.

* * *

Полемика между Бланом и Прудоном продолжилась и после революции. В статье «О государстве» Л.

Блан ответил на критику, высказанную Прудоном и в ответ раскритиковал основы его теории, развиваемые в работе «Исповедь революционера».

Основное противоречие двух теоретиков – в отношении к государству. Для Блана демократическое государство – «это власть народа, которому служат избранники, это – царство свободы»[220]. Причем свобода – это не что-нибудь, а «полное развитие способностей каждого». Разумеется, такой наивный взгляд на власть избранников народа мог вызвать у Прудона только грустную улыбку. Дело в том, что Блан воспринимает государство как «осуществленное коллективное целое»[221], не замечая его различия с обществом. Такой тоталитарный взгляд, в котором государство подменяет и подминает общество, распространен и поныне. Прудон видит в «отчуждении коллективной силы»[222] властьимущими основную причину социальных конфликтов столетия, взрывающих один за другим существующие во Франции режимы.

Но и заявления Прудона позволяют Блану посмеяться над перехлестами своего оппонента. Прудон восклицает, что «каждый, стремящийся управлять мною – тиран»[223], преобразование власти в духе свободы «равняется полному исключению власти»[224]. Блану достаточно лишь перечислить те органы власти, которые в своей модели предлагает Прудон (разумеется, не упоминая о порядке их формирования снизу вверх, а не путем прямых выборов), чтобы показать – Прудон также замешан в «тиранстве», ибо не стремится к полной ликвидации управления.

Но власть власти рознь. В модели Прудона люди и добровольно созданные ими сообщества сами передают наверх часть полномочий, и только тогда речь не идет о тиранстве. Блан защищает твердую власть, в том числе берет под защиту от нападок Прудона и якобинцев: «Прудон говорит, что власть погубила якобинцев; но он забывает, что на власть якобинцев напустились контрреволюционеры»[225]. Блан, в свою очередь, забывает, что от контрреволюционеров якобинцы отбились еще тогда, когда действовали вместе с жирондистами (для умеренного социалиста Блана и жирондисты – достаточно революционны), а затем принялись крушить союзников, не вполне согласных с якобинской точкой зрения. В итоге Робеспьера свергли недавние союзники по революционному Конвенту. Якобинцев погубило и собственное злоупотребление властью, и созданный ими же механизм террора. Это и мел в виду Прудон.

Блан критикует конкуренцию, в которой Прудон видит не только отрицательные, но и положительные черты, выступая за более решительное управление социальными отношениями.

Несмотря на важность этих разногласий, полемика Блана и Прудона показывает, что они стоят гораздо ближе друг к другу, чем им самим хотелось бы. Косвенно это признает и Блан, когда доказывает свой приоритет в ряде позиций, которые защищает Прудон: «даровой кредит не может быть создан без того, чтобы ассоциация стала всеобщей, ассоциация не может стать всеобщей и продержаться в качестве таковой без государства». Создавая союз ассоциаций социалисты будут «приготовлять пришествие государства-служителя»[226]. Этот путь в действительности очень близок тому, что Прудон изложил в работе «Что такое собственность». Блан выдвинул идею ассоциаций чуть раньше, но взаимосвязь ассоциаций и государства не была первоначально выражена у него как демократический союз ассоциаций. И критика Прудона в этом отношении вполне справедлива, а его модель социалистических преобразований отличалась от идей Блана последовательным проведением самоуправления и демократического федерализма. Опыт революции 1848 г. подвинул Блана в сторону Прудона, а не Прудона в сторону Блана.

То, что также сближает двух идеологов – революционный реформизм, то есть стремление к осторожности в ходе революции (хотя в конкретной борьбе 1848 г. Прудон критиковал Блана слева, но и сам призывал массы к осторожности), к постепенности преобразований. «Наш идеал, – пишет Блан, – это такое общественное устройство, при котором каждый, имея возможность упражнять самым полным

образом все свои способности и удовлетворять вполне все свои потребности, пользовался бы наибольшей суммой свобод, какую только можно себе представить». Но такого общества нельзя достичь сразу, и потому мы предлагаем для его достижения ряд «переходных мер», которые нужно внедрять постепенно и не навязывая людям[227]. Так заключает Блан свою критику Прудона. Но Прудон (в отличие, скажем, от Маркса) вполне согласен с этим.

* * *

Соратники Маркса Энгельс и Виллих во время революции приняли участие в вооруженной борьбе, но она не имела никакого отношения к социалистическим идеям. В боях 1848-1849 гг. выдвинулся и еще один социалистический мыслитель первой величины — М. Бакунин. Но и он командовал отнюдь не социалистами. Социализм, революция и вооруженное насилие шествовали своими путями, иногда пересекаясь, а иногда нет.

Но 1848 год поставил социализм в повестку дня куда конкретнее, чем Великая французская революция. Налицо было движение рабочего класса против буржуазии. Капитализм перестал быть светлой перспективой, он превратился в мрачное настоящее, освободив место прогрессивного проекта. Это место занял социализм.

Социализм предполагает качественное изменение общества. Уже это делает его революционным течением.

Реформист Прудон положительно относится к революции, но понимает под ней не совсем то же самое, что Маркс. Для обоих революция — качественное изменение. Прудон считал, что революция правомерна, если она идет снизу, а не от государства или групп заговорщиков-революционеров[228]. Прудон трактует революцию не как насилие, а как движение за качественные перемены в жизни общества. Маркс не возражает. Для него эпоха социальной революции — это переход от одной общественной формации к другой, столкновение социальных сил, обусловленное конфликтом старых производственных отношений и обновленных производительных сил[229]. Однако целый ряд революций находятся не на границах формаций, а внутри них. Перманентный процесс «притирания» производственных отношений к уровню развития производительных сил то сопровождается революциями, то нет. Если выйти за рамки марксистского экономического детерминизма, то же самое можно сказать о взаимодействии социальных отношений и уровня культуры данного общества (в том числе материальной). У Прудона революция — постоянный процесс накопления принципиально важных перемен, что растворяет социальные революции в исторической эволюции. Он выдвигает термин «перманентная революция»[230], имея в виду постоянную борьбу за справедливость и автономию, постоянное ненасильственное продвижение к этим идеалам. Маркс, не ссылаясь на источник, заимствует термин, но придает ему совершенно иное звучание — длительный переход от капитализма к коммунизму, многолетняя мировая гражданская война.

Но в работе «Общая идея революции XIX века», которая вышла через три года, Прудон трактует революцию более привычно — как аналог Великой французской революции, как социальный переворот, к которому влечет рост бедности[231].

Что же такое революция? Несомненно, что отождествление революции и эволюции у Прудона не облегчает понимание проблемы. Революции — конкретное историческое явление, воспринимавшееся как антипод эволюционного развития задолго до того, как социальные мыслители нарекли имена. Под революцией понимались и прорывы эволюционного развития, и качественные скачки в развитии, и переходы от одной социально-экономической формации к другой, и социальные перевороты, связанные с

вторжениями в отношения собственности, и разрушительные социальные взрывы, и политические перевороты, своего рода “обвалы власти”.

Чтобы не вступать в противоречие с большинством этих концепций, автор в дальнейшем будет понимать под революцией социально-политическую революцию. Характеризуя это явление, мы можем исходить из “классических” примеров революций: Британского “Великого мятежа” середины XVII в., Великой Французской революции конца XVIII в., серии французских революций 1830 г., 1848-1852 гг., 1870-1871 гг.; Российских революций 1905-1907 гг. и 1917-1922 гг. Очевидно, что революция, как правило, длительный процесс, состоящий подчас из нескольких «революций-актов» (так во время Российской революции произошли Февральская и Октябрьская революции – перевороты).

Сущность этих явлений не может быть определена через изменения отношений собственности (в Английской революции этот фактор играет незначительную роль, и в центре внимания стоят религиозно-политические мотивы, разделяющие представителей одной группы собственников) или смену касты (этого не случилось также в революции 1905-1907 гг.). Речь не может идти о смене общественной формации в ходе одной революции.

В то же время можно выделить ряд черт, которые объединяют все “классические” революции, и не только их:

1. Революция – это социально-политический конфликт, то есть такой конфликт, в который вовлечены широкие социальные слои, массовые движения, а также политическая элита (это сопровождается либо расколом существующей властной элиты (касты), либо ее сменой, либо существенным дополнением представителями иных социальных слоев). Важный признак революции (в отличие от локального бунта) – раскол в масштабе всего социума (общенациональный характер там, где сложилась нация).

2. Революция предполагает стремление одной или нескольких сторон конфликта к изменению принципов общественного устройства, системообразующих институтов. Далеко не всегда это – отношения собственности, как правило – принципы формирования элиты.

3. Революция – это социальное творчество, она преодолевает ограничения, связанные с существующими институтами разрешения противоречий и принятия решений. Революция стремится к созданию новых “правил игры”. Она отрицает существующую легитимность (иногда опираясь на прежнюю традицию легитимности, как Английская революция). Поэтому революционные действия преимущественно незаконны и неинституционализированы. Революция не ограничена существующими институтами и законом, что иногда приводит к насильственной конфронтации.

Таким образом, **революцию можно определить** как общенациональную социально-политическую конфронтацию по поводу системообразующих принципов общества (как правило – принципов формирования правящей и имущественной элиты), преодолевающую существующую легитимность.

Обычно насилие встречается в революции эпизодически, как встречается оно во всяком историческом процессе. Частью революции могут быть и реформы, и войны, и выборные кампании, и полемика в печати. Все это может существовать и без революции, хотя, спору нет, революция делает исторический процесс более интенсивным и вариативным. Революция — это шанс для всех. В том числе и для социалистов.

*** * ***

Возможность для смены социальных систем имеется далеко не всегда. Маркс фокусирует свое внимание на экономике как важнейшем показателе готовности к социальному перевороту. Остальное –

«надстройка». Предположим. Но уровень экономики XIX в. оставлял капитализму еще немалые резервы роста, а в 1848-1850 гг. основоположники марксизма ждут со дня на день революцию, которая в результате непрерывного развития перерастет в мировую социалистическую: «наши интересы и наши задачи заключаются в том, чтобы сделать революцию непрерывной (перманентной) до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от господства, пока пролетариат не завоюет государственной власти, пока ассоциация пролетариев не только в одной стране, но и во всех господствующих странах мира не разовьется настолько, что конкуренция между пролетариями в этих странах прекратиться и что, по крайней мере, решающие производительные силы будут сконцентрированы в руках пролетариев»[232].

Так что не будем винить в отходе от марксизма как идеолога **«перманентной революции»** Л. Троцкого, так и В. Ленина, которого Г. Плеханов обвинил в «бредовом» непонимании законов места и времени за призыв к социалистической революции в 1917 г. — Плеханов отошел от идей Маркса дальше, чем Ленин.

Не в экономике зарыта собака марксистской революции, а в продукте капиталистической экономики – в пролетариате. Это — армия революции и строительный материал нового общества. Готовность этой армии — это и есть предпосылка революции по Марксу.

Пролетариат возникает из разложения всех сословий, главным образом среднего класса[233]. Перспективы среднего класса по Прудону оказываются более оптимистичными. И он окажется прав.

Марксу и Энгельсу казалось, что пролетарии ничем не связаны с психологическими и социальными традициями старого общества. Раз так, то общественные отношения, созданные пролетариями, должны быть качественно иными, чем капитализм. Марксу казалось, что это будет более высокая ступень в развитии общества. Но, учитывая культурную нищету пролетариата, это могла быть и предыдущая ступень.

Энгельс считает отрыв пролетариата от “старой” культуры положительным качеством: “чем ниже стоит класс в обществе, чем он “необразованнее” в обычном смысле слова, тем он прогрессивнее, тем большую будущность он имеет”[234]. Беда трудящихся масс XIX столетия — необразованность, становится своеобразным критерием прогресса (какой контраст с просветительским пафосом Бланки). Вождям коммунистических радикалов нужна армия необразованных варваров для того, чтобы стереть с лица земли существующую цивилизацию и создать на ее месте новую.

Маркс и Энгельс полагают, что пролетарии должны «низвергнуть государство, чтобы утвердить себя как личности»[235]. Маркс говорит от имени пролетариата: «я ничто, но я должен быть всем»[236]. «Кто был ничем, тот станет всем». Подобная формула, безусловно, способствует самоутверждению прежде забитого и понукаемого человека. Но из чего следует, что в самоутверждающейся личности такого рода проснется стремление к конструктивному творчеству, а не к примитивной мести? Но и эту мысль можно понять «не в лоб» (хотя авторы имели в виду именно то, что сказали). Утверждение себя как личности связано с низвержением государства в себе, государственного контроля над собой.

* * *

Маркс надеется, что пролетарии используют свою энергию отрицания капитализма для разрушения этого строя, что автоматически приведет к возникновения нового строя – коммунизма. Но значит ли это, что рабочие сами по себе испытывают стремление именно к коммунизму. Как мы увидим, позднее Ленин отметит, что стихийное рабочее движение не вырабатывает социалистической стратегии, идеология социализма привносится в рабочий класс извне, со стороны интеллигенции. Из этого следует, что

соответствие социалистической стратегии интересам пролетариата – это теоретическая модель, а не результат эмпирических исследований. К чему же в действительности стремится пролетариат?

Прежде всего – это защита своих социальных прав, роста уровня зарплаты, но не ответственности. Это как раз то, что человеку дает социальное государство. Оно заботится о человеке труда, сохраняя его роль специализированного инструмента индустриальной машины. Сохраняя свой образ жизни, **рабочий стремится не к социализму, а к социальному государству**. К социализму он может стремиться только как человек, который хочет перестать быть элементом производственной цепочки.

Социальное государство не устранило эксплуатацию, но несколько смягчило ее последствия. Значительная часть рабочих получила некоторую уверенность в завтрашнем дне, среднее образование, необходимое индустриальному обществу для того, чтобы иметь квалифицированную рабочую силу. У работников появился достаток и свободное время, достаточное для продолжения образования. Казалось бы, работники вполне могли бы овладеть знаниями, достаточными для противостояния манипуляции сознанием, для понимания своих глубинных интересов и путей изменения общества. Через столетие Г. Маркузе с разочарованием констатирует социально-психологическую интеграцию рабочего класса в капиталистическое общество.

Почему пролетариат, выйдя из-под гнета нищеты и бескультурия, не разрушает систему эксплуатации? Почему не тянется к знаниям? Уже в конце XX века марксисты, критикуя империализм, нашли ответ: буржуазия подкупает свой пролетариат за счет эксплуатации колоний. Не самое убедительное объяснение. Во-первых, прибыльность колоний обеспечивалась далеко не всегда. Во-вторых, если пролетариат сам становится эксплуататором, то это уже не вполне пролетариат. Получается, что за счет «доплаты» буржуазия расплачивается с рабочим за его труд полностью – эксплуатация исчезает. Тем не менее, рабочий не становится свободным. Остается изнуряющий труд, конвейер, бесправие. Почему рабочие все меньше выступают против существующей социальной системы, почему рабочие организации выступают с социал-консервативных позиций, защищая достигнутый уровень зарплаты и социальных выплат? Рабочий не стремится взять в свои руки власть на производстве и в обществе. Он цепляется за свою пролетарскую самость, за роль инструмента индустриальной машины. К 60-м гг. XX в. стало очевидно, что цель рабочего – не преодоление отчуждения от средство производства и собственной личности, а блага социального государства. Интересы рабочего как личности вступили в конфликт с его интересами как пролетария. Пролетарий продает свою рабочую силу, желательно подороже. Перестав продавать ее, он перестает быть пролетарием. Отказ от места пролетария является тяжелым выбором для человека. Кроме исполнения указаний других он теперь должен взять на себя ответственность за свою судьбу, за судьбу своего дела.

Пока пролетарий был нищим, он был готов бороться за свержение невыносимой системы. Пока он не имел возможности получить сносного образования, пока ему был недоступен минимальный культурный досуг, он тянулся к культуре, ходил на кружки самообразования, где самоотверженные интеллигенты рассказывали ему о прекрасном будущем, где он будет жить в удобных домах из стекла и бетона, свободно трудиться на благо всех и в свободное время ходить в кино и читать интересные книги. Когда рабочий получил отдельную квартиру, сытость, добротную одежду, основные знания о мире и поток информации через телевизионный экран, его стало трудно чем-нибудь удивить и увлечь. Его протестная энергия угасла. Он готов терпеть произвол начальника и ритм цеха, если у него не отнимают уже полученных благ и досуга. Он не желает преодолевать стену между трудом и досугом. Досуг пролетария заполняется развлечением, а не учебой, так напоминающей труд.

Как справедливо заметила современный философ Н. Герулайтис, в наше время рабочий не стремится к приобретению знаний свыше нормы, данной ему современным обществом, потому что в противном

случае он перестал бы быть рабочим. В развитом индустриальном обществе (в отличие от чистого капитализма) путь к высшему образованию открыт для представителей семей рабочего класса, и тот, кто хочет покинуть пролетарскую среду, затратить усилия на образование и превратиться в часть интеллектуального слоя, может это сделать. Кто остался рабочим, за редкими исключениями сделал свой выбор – тот не хочет затрачивать усилия на дальнейшее образование. Соответственно, он не имеет интеллектуального ресурса для противостояния Системе. Ведь для противостояния манипуляции сознанием и понимания социальных причин своих житейских проблем тоже нужна определенна квалификация и интеллектуальное напряжение.

Из этого следует, что преодолеть разделение общества на рабочие классы и руководящую элиту может только интеллектуальный класс, который в себе сочетает черты и работника, и интеллигенции, и управления (самоуправления). Но это – уже не пролетариат. Свой революционный потенциал пролетариат исчерпал с созданием социального государства в XX веке, и только разрушение социального государства в эпоху глобализации на грани XX и XXI в. может этот потенциал на какое-то время восстановить. И тогда перед рабочими снова встанет выбор, который уже стоял перед ними в первой половине XX века – либо **переход в новое качество** путем превращения в хозяев своих предприятий через коллективное владение и самоуправление, либо сохранение за собой роли пролетария, исполнителя чужих решений, наемника с большей или меньшей зарплатой. Во первой половине XX века тенденции развития индустриального общества не способствовали первому пути. Предоставит ли кризис индустриального общества новый шанс рабочим стать хозяевами своего дела и своей деятельности, вырваться из пролетарской ниши?

* * *

Если верить марксистским оценкам, Прудон — выразитель интересов не рабочего, а ремесленного сословия. Но можно ли считать интересы рабочих и ремесленников противоположными? И для Маркса, и для Прудона очевидно, что пребывание в рядах пролетариата — не в интересах пролетариев.

Во второй половине XIX века рабочий класс еще не потерял навыков самоорганизации, которые социальное государство сделало практически излишними. Прудон предлагает следовать **стремлению рабочих** вернуться в прежнее положение работника, обладающего своими средствами труда. Рабочий, которого нужда оторвала от хозяйства, может вернуться к нему на новом витке истории, став хозяином фабрики. Прудонизм является выражением протеста и ремесленников, и пролетариев, то есть бывших ремесленников и крестьян, против их отчуждения от имущества, от самостоятельного хозяйствования. Идеал прудонизма — возвращение работнику хозяйственной самостоятельности, имущественной защищенности как от частных собственников, так и от государства. К. Винсент комментирует: «Ни Прудон, ни мютюэлисты не верили, что все рабочие станут безыскусными рабочими, трудящимися за зарплату, как позднее предсказывал Маркс… Их видение рабочей солидарности было шире, чем более позднее видение Маркса, который настаивал на том, что только индустриальный пролетариат является действительно революционным классом»[237].

Зарождавшееся рабочее движение Франции предпочитало путь, предложенный Прудоном — восстановление на новом технологическом уровне связи работника с хозяйством, утерянной при разорении крестьян и ремесленников. В 1864 г. французские рабочие – делегаты Всемирной выставки, принявшие участие в организации Интернационала, выпустили манифест, пронизанный прудонистскими идеями. Прудон откликнулся своей последней прижизненной работой «О политической способности рабочих классов». Ее ключевые идеи — взаимопомощь (взаимность) и солидарность: «В этом содержится наша *Солидарность,* эту солидарность утверждают, с правами на труд, со свободой труда, с взаимным

кредитом, и. т. д. авторы Манифеста».[238] Прудон видит, что рабочие поняли азы его рыночного социализма. Это означает, что он превращается в класс «сам для себя, число и сила – класс начинает сознавать свою социальную важность»[239].

Прудон называет взаимность программой рабочих классов (во множественном числе), считает необходимым равноправие общин (как рабочих, так и крестьянских)[240] и подчеркивает, что рабочие и крестьяне должны осознать общность своих целей и вместе выступать против давления собственников. По мнению Прудона «капиталистический и торговый феодализм» мешает не только эмансипации рабочих, но и развитию средних классов[241]. Развитию, а не разложению, как у Маркса. Прудон выступает за создание аграрно-промышленной федерации[242], не случайно поставив аграрный сектор общества на первое место — ведь в XIX веке он преобладал численно, а значит демократия требует преобладания крестьянства.

Прудон, уже в 1848 г. выступивший за создание единого фронта **рабочих и крестьян**, оказался прозорливее теоретиков диктатуры пролетариата. Отрыв борьбы рабочих от нужд крестьянства стало одной из причин поражения революции 1848-1849 гг. В XX веке идея рабоче-крестьянского союза была взята на вооружение марксизмом-ленинизмом. Крестьянство оставалось в этой связке страдательным членом (как, впрочем, и рабочие массы). Маркс и Энгельс также пришли к выводу, что пролетарская революция в Западной Европе не увенчается успехом без «второго издания» крестьянской войны на Востоке Европы. Но и в этом случае не могло идти речи о равноправии крестьянского и рабочего движений. Пролетарские революционеры должны были просто воспользоваться крестьянским бунтом.

Прудон, а вслед за ним и народники, предлагают принципиально другой подход — признание равноправия интересов всех трудящихся.

* * *

Маркс надеется, что в ходе революции качественно изменятся не только общественные отношения, но и сами люди. «В революционной деятельности **изменение самого себя** совпадает с преобразованием обстоятельств».[243] Это – попытка решить проблему культурной традиции, тяготеющей над прогрессом. Люди привержены своему жизненному укладу и готовы защищать его. Отказ от привычного болезнен, даже болезненнее самой мучительной и несовершенной реальности. Преодолеть множество предрассудков, стереотипов поведения и т.п. не так просто. Как люди вчерашнего дня научатся жить в совершенно новых условиях? Не принесут ли ни в завтрашний день саму суть вчерашнего? Маркс нашел тот социальный слой, который не заинтересован в сохранении своего положения, который ненавидит этот общественный строй. Но откуда следует, что революция сотрет социальную психологию людей, которая формировалась в условиях нищеты и борьбы за выживание? Опыт XX в. показал, что этого переворота в сознании не происходит. Люди меняются медленнее, чем социальные условия.

Маркс и Энгельс считали, что технический прогресс не только освободит человека от отчужденного труда, но и приведет к «упразднению города и деревни»[244]. Процесс сближения города и деревни по условиям жизни действительно можно наблюдать в некоторых индустриальных странах. Он не зависит от формы собственности и владения, он может происходить при капитализме не хуже, чем под руководством “пролетарского” государства. Здесь ключевым является не противоречие капитализма и социализма, а индустриализма и других фаз развития цивилизации. Пока господствует **индустриальная организация**, город поглощает деревню, превращает ее в пригород, индустриализирует, закатывает траву асфальтом, засыпает поля химикалиями. Никита Хрущев, поставивший коммунизм в практическую повестку дня, пытался на совершенно невызревшей почве стереть различие города и деревни. В результате погибли тысячи деревень, и получился уродливый синтез недо-города и полудеревни – поселки городского типа.

Между тем с середины 60-х гг. в развитых индустриальных странах Запада идет процесс деурбанизации. Люди среднего достатка предпочитают жить не в мегаполисах, а в оснащенных современными “удобствами” коттеджах. И здесь приближение к выдвинутым Марксом целям идет безо всякой диктатуры пролетариата.

Эволюционное вызревание социальных явлений, которые Маркс связывал с коммунизмом, “опоздало” на век. В середине XIX в. индустриальное общество еще не исчерпало свой потенциал, находилось в состоянии становления.

* * *

Прудон видел не только в тиранах, но и в черни два полюса социальной деградации[245]. Ссылаясь на Христа, он выступал за умеренность материального потребления, простоту нравов, бедность, понимаемую как скромность и противопоставленную нищете[246].

Предвосхищая принципы **социальной экологии**, Прудон утверждает, что количество вещей, которые могут быть произведены, ограничено[247]. Нужно стремиться к среднему, а не максимальному уровню потребления материальных благ. Прудон обосновывает свою мысль возможностями самой Природы: «Природа во всем своем творении приняла за правило: ничего лишнего… И если мы противимся ее закону, если соблазн идеала влечет нас к роскоши и наслаждениям…, природа, быстрая в наказании нас, обрекает нас на нищенство».[248] Прудон критикует пагубное воздействие машин на организм человека.[249] Индустриальный прогресс воспринимается Прудоном скорее положительно, но без восторга: «это голос прогресса кричит: «Шагай, шагай! Работай, работай! Предназначение человека толкает его к счастью и поэтому оно запрещает ему отдых»[250].

Но Прудон — не противник машинного производства в принципе. Он считает, что развитие машин — это «протест промышленного гения против раздробленного и человекоубийственного труда… Посредством машины будет происходить восстановление труда»[251]. Эта идея, малопонятная в середине XIX в., приобретает новое звучание в конце XX – начале XXI вв., когда гибкие и многоцелевые технологии, прежде всего компьютеризированные, позволяют человеку преодолевать узкую специализацию, все меньше заниматься «человекоубийственным» нетворческим трудом. Маркс возражает Прудону, что концентрация орудий труда ведет к росту разделения труда. И это верно для их времени, но не обязательно для нашего. **Маркс близорук, а Прудон страдает дальнозоркостью.** У обоих плохое зрение, но у кого оно было лучше в то время? Ведь либералы и консерваторы по уровню социальной близорукости были близки к полной слепоте. В спорах социалистов обсуждались темы, которые станут понятны либеральному сознанию только в XX в.

* * *

Радикальный консерватор К.Н. Леонтьев увидел во взглядах Прудона страшное будущее: “Слова Прудона, сказанные им в 51-м году, оказываются теперь пророческими словами. “...все хотят быть тружениками, “рабочими”. С одной стороны — потребности удобств и некоторого изящества отвращают в наше время уличную толпу от прежнего грубого “санкюлотизма”; с другой — аристократия, ужасаясь своей малочисленности, спешит укрыться в рядах буржуазии... И революция торжествует, воплощенная в среднем сословии”. Я совершенно согласен с Прудоном... Если же мы скажем вместе с Прудоном, что революция нашего времени есть стремление ко всеобщему смешению и ко всеобщей ассимиляции в тип

среднего труженика, то все станет для нас понятно и ясно. Прудон может желать такого результата, другие могут глубоко ненавидеть этот идеал...”[252] Леонтьев, не заметив в идеях Прудона защиты «единства в разнообразии»[253] (что естественно, если учесть поверхностное знакомство Леонтьева с работами Прудона), увидел в его построениях перспективу **преобладания среднего класса будущего** — социального слоя работников-совладельцев коллективного производства. Эта перспектива ужаснула элитариста и врага демократии.

Леонтьев поторопился провозгласить победу прудонизма в Европе. Но во второй половине XX в. преобладание среднего класса в социальной структуре стало общей мыслью. Ужас Леонтьева воплотился в жизнь. Мечта Прудона – пока нет, хотя для этого и возникли предпосылки. Информационная революция привела к изменению структуры общества передовых стран мира. Стала уменьшаться роль промышленных классов, прежде всего собственников капитала и пролетариев. Но на их место приходят очень разные слои, которые объединяет разве что уровень доходов: консервативное мещанство и новое поколение динамичных людей, основным средством существования которых становились не рабочие руки и не капитал, а знания. Более важным стало производство информации и высокотехнологичной продукции. Потребовалась более образованная и многофункциональная рабочая сила. Интеллектуализированные средние слои начинают отличаться от вписанных в индустриальное разделение труда интеллигенции и высокооплачиваемых рабочих. Дело вообще не в окладах, а в функциях. На место узкоспециализированного рабочего, выполняющего приказы менеджера и производящего стандартизированную продукцию, стал приходить специалист по широкому кругу проблем, хорошо образованный, постоянно совершенствующий производство. Важно, кто принимает решения, носит ли деятельность работника воспроизводящий или творческий характер, какова структура отношений между работниками и коллективами.

Рыночный социализм

Философские разногласия между марксовой «борьбой» и прудоновским «синтезом» в социально-экономической области выливается в **противоречие между централизованной нетоварной и демократической рыночной моделями социализма**.

Диалектика Прудона не делит мир на реакционные и прогрессивные явления, он видит положительную и отрицательную сторону в каждом явлении, что позволяет найти пути трансформации каждого из них, избегая деструктивных крайностей. Прудон ищет формулу организации труда, которая гармонизирует «конкуренцию и солидарность, труд и монополию, одним словом — все экономические противоречия»[254]. Он считает необходимым существование и конкуренции, без которой невозможно определить реальную ценность продукции, и монополии, гарантирующей защиту прав творческого меньшинства. Но каждая из этих сторон экономического процесса несет немалые бедствия. «Конкуренция с ее инстинктом человекоубийства вырывает хлеб изо рта класса работников, и видит в этом только улучшение и экономию…»[255] Коммунисты делали из этого вывод о необходимости ликвидации конкуренции. Прудон не рекомендует торопиться с выводами. Проблема сложнее.

Прудон предупреждает, что полная ликвидация **конкуренции** приведет лишь к торжеству правительственной монополии, от чего пострадают трудящиеся, именем которых будет твориться экономический произвол: «гарантированная зарплата невозможна без точного знания стоимости, которая может быть выявлена только с помощью конкуренции, а не коммунистических институтов и народных декретов…» Сильнее них «неспособность человека выполнять свои обязанности, как только с него снимается ответственность в отношении себя самого»[256]. Психологические познания рабочего Прудона позволили ему понять уязвимые стороны коммунистической модели и прийти к выводу, что новая общественная система должна оставаться рыночной, что неприемлемо для Маркса.

Маркс возражает, указывая, что конкуренция носит исторически преходящий характер, человечество обходилось и без нее. Но он не приводит доказательств, что конкуренция уже изжила себя. Аргумент о временах, когда общество обходилось без конкуренции, указывает на сходство марксистского социализма и феодализма. Здесь Прудон как бы возвращает Марксу упрек в реакционности, комментируя развитие современной социальной идеи: «дойдя до угла монополии, она бросает меланхолический взгляд назад и, после глубокого размышления, облагает налогами все предметы производства и создает целую административную организацию для того, чтобы все должности были отданы пролетариату и оплачивались монополистами»[257]. Очень похожим образом будут вести себя пришедшие к власти «рабочие» партии, или перераспределяя средства капиталистических монополий с помощью налогов, или опираясь на государственную монополию и подавляя налогами предпринимателей. Для Маркса это рассуждение оказалось непонятным, и он недоумевает: «И что сказать об этой прогулке, не имеющей другой цели, как раздавить буржуа налогами, тогда как налоги служат именно средством сохранения за буржуазией положения господствующего класса?»[258] XX век покажет, что марксисты именно с помощью налогов будут давить частное производство, и буржуазное, и «мелкобуржуазное».

Прудон считает, что конкуренция — это естественный результат коллективной деятельности, «выражение социальной спонтанности, эмблема демократии и равенства, наиболее энергичный элемент в составе стоимости и опора ассоциации»[259]. Конкуренция вполне совместима с ассоциированием труда, она размывает монополию. Последовательной конкуренцией является лишь такая, которая позволяет каждому участвовать в ней. Следовательно, конкуренция, которая лишает работника средств труда — это ущербная конкуренция, это вытеснение конкуренции нарастающей монополией. Конкуренция частных собственников ведет к произволу монополий или государственной монополии. Прудон выступает за

рыночную систему, в которой проигравшие затем возвращаются в игру или не проигрывают до конца — за рынок, в котором ассоциация владельцев противостоит монополизации. Прудон выступает за рынок, основанный не на прибыли, а на гарантиях[260]. Он должен регулироваться договорным правом и статистикой, которая, по мысли прудонистов, должна помочь избежать перепроизводства и дефицита. Такой рынок должен обеспечить, плавное изменение конъюнктуры, равновесие интересов и возможностей работников.

Равенство свободных работников по мысли Прудона не ликвидирует противоречий между ними, но они теряют свою разрушительность: «При социальном равенстве соревнование должно считаться с равенством условий, награда его в нем самом, и никто не страдает от победы другого»[261], — пишет Прудон. Награда — в равенстве условий, в возможности реализовать себя не за счет другого.

* * *

По Прудону монополия — противоположность свободного соревнования, которая роднит феодализм и государственный социализм.

Свободное соревнование (без монополии, закрепленной собственности и бюрократического лоббирования) необходимо по Прудону еще и потому, что он выступает против специальной элиты, которая будет решать, в какой пропорции будут распределяться вознаграждения различных видов труда. Все богатство должно распределяться между всеми занятыми в той степени, в какой они затратили на его создание свое время. Эта попытка уравнять полотера и руководителя планового органа не могла встретить одобрения Маркса. Но встать на защиту господства элиты он прямо не может, и поэтому вспоминает о различии в качестве труда. Это возражение, как мы видели на примере эксперимента Оуэна (да и советской действительности), угрожает любой коммунистической модели. При капитализме различие “простого” и “сложного” труда определяется конкуренцией (добавим — противоборством социальных слоев), при социализме по Марксу — планом.

Но Маркс утверждает, что промышленное машинное производство стирает различия в качестве труда (речь идет прежде всего о стандартизации). Машина заставляет работать не лучше, и не хуже, а стандартно. Но тогда тем более заработная плата должна составлять полную цену всех вещей, как предлагает Прудон[262]. Здесь Маркс не нашел, что ответить по существу. Он сделает это уже во время своей войны против лассальянства, в “Критике Готской программы”, указав на многочисленные издержки производства, которые должны быть компенсированы, прежде чем будет производиться оплата труда работника. Общество должно содержать социальные фонды. Но возникает вопрос: сначала общество в лице касты или своего большинства решает, какую долю направить государственному центру (даже если он не называется государством) на решение “общественных” проблем, а потом платит работникам, создавшим продукт, или, напротив, сначала работники получают весь доход, и потом решают, какую его часть направить на решение общих проблем? Марксистский подход предполагает первое, прудонистский (а затем народнический) — второе.

* * *

Отсутствие жестких границ, проложенных собственностью – это не только преодоление социального отчуждения между людьми, но и возможность произвола со стороны большинства. В условиях, когда частной собственностью располагает лишь небольшая каста, эта проблема не кажется первостепенной. В

марксистской модели, где все принадлежит центру, она и вовсе незаметна – отсутствие собственности есть условие существования однородного централизованного общества. Но уже эксперимент Оуэна показал, что стимулы к деятельности в этом случае резко ослабнут. Прудон считает, что права индивидуумов, их независимость должны быть защищены друг от друга правом. Право нового общества должно строиться на библейском принципе: «правом своим можно пользоваться постольку, поскольку это не причиняет вред другому»[263].

Прудон требует введения равенства труда, «урока», по выполнении которого не следует отнимать работу и вознаграждение за него у другого[264]. Но кто определит урок? «Общество оценивает»[265], — отвечает Прудон.

Таким образом, как и у любого социалиста, в основе предложений Прудона лежит общество: «Человек получает свое право пользования из рук общества, которое одно только может владеть постоянно: личность умирает, общество же не умирает никогда»[266]. Здесь появляется опасная тема общества. Уж не следует ли Прудон за Кампанеллой, желая отдать верховные права собственности начальникам общества? Это зависит от того, каким образом общество будет реализовывать свои права, как люди должны получать у общества право владения и как оно будет гарантировано от произвола и уравниловки. Отстраняясь от уравнительных утопий прошлого, Прудон выступает за: «равенство, заключающееся только в равенстве условий»[267].

При равновесном рынке, который моделирует Прудон, различие в доходах на разных предприятиях также должно быть невелико – иначе работники просто уйдут с неуспешных предприятий. Поэтому на преуспевающих предприятиях прибавки к средневзвешенной зарплате по Прудону не должны значительно превышать доходы менее удачливых коллег и могут играть полезную роль стимула к более успешной работе. Но для предприятий, продукция которых пользуется успехом у потребителей, базовые показатели доходов работников всех профессий должны быть одинаковы.

Прудон отстаивает равенство вознаграждения за труд представителей разных профессий. Это может показаться абсурдом: неужели уникальный хирург должен получать столько же, что и санитарка? Ведь тогда не будет стимула для роста квалификации.

Но к этому Прудон и не призывает. Он считает, что доход работника в рамках предприятия должен зависеть от его квалификации, затраченного рабочего времени, интенсивности труда и риска. Но не от того, какова профессия работника – все виды производительного труда необходимы обществу. Этот принцип справедливого вознаграждения актуален и поныне: начинающий менеджер, учитель, слесарь должны получать одинаковый доход. А уникальный хирург, «топ-менеджер» и выдающийся ученый – лучшие в своей профессии – также должны получать близкие доходы. Брокер средней руки должен получать столько же, сколько и уборщица средней квалификации. Ведь уборщицы не менее необходимы, чем организаторы продуктообмена. Сравните доходы чиновников «Газпрома», Лукойла и правительственного аппарата с доходами учителей, рабочих-буровиков и трактористов. Я уже не говорю о шахтерах, которые по предложению Прудона получали бы еще и солидную прибавку за риск. **Насколько в обществе разнятся доходы людей разных профессий, но одинаковой квалификации в своей профессии, настолько социальная система экономически несправедлива.**

Но справедливость – материя очень спорная, этическая, уходящая корнями в религиозную основу человеческого мировоззрения. Там Прудон и находит нравственную точку опоры. Аксиома, от которой отталкивается Прудон – золотое правило нравственности, из которого вытекает понимание справедливости как уважения к человеческому достоинству каждой личности, равноправие и взаимоучет потребностей каждого. Теперь у Прудона есть критерий, с которым можно подойти к изучению объективной реальности. Строго объективистские критерии для обсуждения этой темы не столь надежны, так как не оставляют места

для справедливости, однобоко замещая ее интересами.

Прудон понимает, что соревнование равноправных работников, когда одни не подминают других, возможно лишь при равновесном рынке, где исключено накопление финансового капитала в одних руках. Чтобы исключить рыночно-финансовые спекуляции, Прудон считает необходимым введение общепринятого метода исчисления стоимости продукции, которая зависит от трудовых издержек, а не от превратностей рыночной стихии.

Прудону важно найти формулу, по которой свободные производители смогут договариваться о ценах так, чтобы снова не воспроизводилась нищета. Он видит выход в установлении **конституированной стоимости**, основанной на трудовых издержках, некой норме права (как видно из других положений Прудона — не государственного, а договорного, со временем даже обычного права). Именно в нахождении верной конституированной собственности Прудон видит цель политической экономии[268], которая прежде лишь оправдывала либеральные экономические порядки. Политэкономия должна лечить общество, а не оправдывать болезнь.

* * *

Маркс обвиняет Прудона в непонимании природы **стоимости труда и рабочей силы**, в стремлении своим конституированием увековечить нынешнюю нищету работника, потому что “естественная цена труда есть ни что иное, как минимум заработной платы”[269]. Позднее Энгельсу пришлось признать ошибку Маркса в этом вопросе. Дело в том, что в ходе соперничества с Лассалем за влияние на немецкое рабочее движение Маркс и Энгельс нашли у своего былого союзника важную ошибку — “железный закон заработной платы”, по которому стоимость рабочей силы при капитализме определяется минимумом издержек на ее производство. Это исключает необходимость борьбы рабочего класса за свои социальные права в рамках капиталистических отношений. История XX века замечательно опровергла идею, разделявшуюся Лассалем и ранним Марксом. Лассаль некритически заимствовал эту идею у Маркса и Энгельса. Маркс исправил ошибку в “Капитале”, но не признал, из этого вытекает и правота Прудона в старом споре: нормальная оплата труда рабочего (стоимость рабочей силы) выше, чем реальная. Прудон стремится не увековечить капиталистические отношения, а существенно изменить их. Характерно, что, признавая ошибку, Энгельс не упоминает при этом о правоте Прудона[270].

Впрочем, Прудон отчасти был согласен с ошибочным мнением Лассаля: он тоже считал, что стачечная борьба за рост зарплаты приведет к росту цен — предприниматели просто переложат издержки на покупателя. Прудон считает, что решить проблему можно путем реформы всего общества (конституирования стоимостей, в том числе оплаты труда) либо путем создания в рамках капиталистического общества альтернативных экономических структур — беспроцентных банков, организаций взаимопомощи.

Анархисты XX века, оторвавшиеся от классических корней своего учения, также пытаются критиковать Прудона за попытки определить, какое вознаграждение за труд является справедливым и потому приемлемым для социалиста. Д. Герен протестует: «Мы должны положить конец примату бухгалтерских книг, философии «дебета и кредита». Этот метод вознаграждения за труд, происходящий от видоизмененного индивидуализма, вступает в противоречие с коллективным владением средствами производства, и не может привести к глубоким революционным переменам в человеке. Он несовместим с анархизмом; новая форма собственности требует новой формы вознаграждения»[271]. Все же Прудон как основатель анархизма имеет больше оснований, чем Герен, определять, что совместимо с этим учением, а что нет. Но и чисто логически Прудон убедительнее Герена. Коллективное владение требует равноправия

членов коллектива – совладельцев. Если одному дозволено работать час, а другой должен пахать десять часов, то при прочих равных условиях они и должны получать один к десяти. Равноправие предполагает «дебет и кредит», учитывающий и интенсивность труда, и квалификацию, и риск. Равноправие, в отличие от уравниловки, предполагает ответственность за то, что ты делаешь. Ответственность связывает функции работника и совладельца, что и требуется при социализме. Уравниловка и капитализм предполагают безответственность работника – вынь да положь зарплату.

Герен предпочел бы альтруистичный труд, который не считается с мерой вознаграждения. Но, как мы видели уже на примере эксперимента Оуэна, ничто так не убивает альтруизм, как ощущение, что ты работаешь на бездельника, который отдыхает за твой счет.

Осторожный Герен все же признает почасовую оплату как временную меру. Большинство анархо-коммунистов оказались менее благоразумны, признавая право бездельника эксплуатировать работягу. Прудоновский социализм делает работников сотрудниками, которые имеют равные права работать и соответственно получать больше или меньше по своему усмотрению, а не за счет друг друга.

* * *

Одним из основных положений прудонизма является **мютюэлизм — взаимопомощь**. Прудон так определял этот принцип: «Услуга за услугу, продукт за продукт, ссуда за ссуду, страхование за страхование, кредит за кредит, обеспечение за обеспечение, гарантия за гарантию и т.д. – таков закон»[272].

Прудон познакомился с обществами взаимопомощи — мютюэлистскими ассоциациями — еще в молодости. Эти рабочие организации существовали во Франции с начала века и приняли участие в восстаниях в Лионе в 30-е гг. В этом отношении прудонизм вырастал из практики рабочего движения. «Во всех этих институтах взаимодействия: взаимная уверенность, взаимный кредит, взаимная помощь, взаимное обучение, гарантии, обоюдные рынки сбыта, обмена, работы, хорошего качества и справедливой цены торговцев и т.д.»[273].

Объединения рабочих по Прудону должны стать основой новых отношений (в этом смысле он является основоположником французского синдикализма). Идея множественных ассоциаций (о не одной ассоциации) роднит Прудона с Оуэном. Но Прудон выступает не только за создание параллельного общества, но и за преобразование существующих социальных структур, без чего альтернативный сектор будет просто смят государством и капиталом.

Реформы по Прудону должны проводиться без прямой конфронтации между трудом и капиталом. Он предпочитает постепенно преобразовать обе противоположности в средний класс.

Люди, вовлеченные в сообщества, должны сочетать функции как хозяина, так и работника, избирая совет ассоциации, который будет руководить их работой. Прудон стремится к тому, чтобы рабочие организовали себя без участия капиталиста[274]. В своих тетрадях 1845 г. Прудон выступает за создание сети ассоциаций взаимопомощи, которые занимаются производством и обменом. Это — предприятия, которые находятся в коллективном владении и управляются самими рабочими. По словам Д. Герена, «входя в детали рабочего самоуправления, Прудон перечисляет, с замечательной точностью, основные условия:

Все ассоциированные индивидуумы имеют право участвовать сообща в активе общества.

Каждый рабочий должен нести свою часть наряда на отвратительную и тяжелую работу».[275] Мютюэлистские ассоциации характеризуются Прудоном как демократия рабочих[276]. Это – начало

многочисленных теорий рабочей демократии, распространенных также и в марксизме.

Чтобы рабочие могли правильно организовать производство и обмен, необходимо наладить соответствующее «просвещение участников ассоциации»[277].

Маркс смотрит на задачи рабочих организаций совершенно иначе, категорически выступая за стачечную борьбу. Не все его аргументы убедительны: он утверждает, что не может быть всеобщего повышения цен, забывая об инфляции. Но в главном правота Маркса здесь очевидна — давление рабочих на предпринимателей способно менять соотношение заработной платы и прибыли. Последователи Прудона пересмотрят критическое отношение своего учителя к стачкам, и почти сразу после его кончины включатся в стачечную борьбу. Но это не уменьшит противоречия между двумя направлениями социализма. Для прудонистов объединение рабочих — организация взаимопомощи, солидарности, самоуправляющиеся элементы нового общества. Для Маркса — это организация рабочего класса в его подготовке к физическому столкновению людей. Не случайно свою работу против Прудона Маркс заканчивает цитатой из Жорж Санд: «**Битва или смерть**; кровавая борьба или небытие. Такова неумолимая постановка вопроса»[278].

* * *

Прудон, напротив, признает, что даже капиталист выполняет некоторые **полезные функции**: координация, выбор направления развития производства и др.[279] Эти функции могут сохраняться и в обществе, где преодолена собственность (как мы увидим, к этой мысли придет и Маркс). Но «капитал давит труд и превращает промышленность в обширную коалицию монополий»[280]. Он сам решает, как их оплачивать, опираясь на свою монополию, а не на свободную договоренность между всеми участниками производственного процесса. Критикуя эксплуатацию, Прудон обращает внимание на механизм вложения капитала, когда собственник получает прибыль уже совсем независимо от полезных управленческих и координирующих функций[281]. Собственность превращается в бумажные знаки, которые нарастают в спекулятивный ком, в грандиозный финансовый пузырь, способный лопнуть и тем самым парализовать обмен между производителями — ведь другой механизм не предусмотрен.

Прудон считает, что производственное самоуправлению необходимо обеспечить реформой денежного обращения — иначе монополизированная и неравновесная рыночная среда погубит свободных тружеников.

Смысл «конституирования» заключается в регулировании цен в соответствии с трудовыми издержками на производство продукции. Раз реальная, «общественно-необходимая» стоимость продукции, используя более поздний термин Маркса, прямо пропорциональна затраченному на нее рабочему времени (то же среднему, общественно-необходимому), то именно таковы и должны быть реальные цены, чтобы предотвратить хаос и неэквивалентный обмен, паразитизм на рынке. Если будет найден способ вычислять истинную цену, гарантирующую равноправие работников, то обмен станет основой солидарности, а не разделения[282].

Производители по мысли Прудона будут получать «талоны работы» и покупать продукты в прилавках обмена или магазинах социальной торговли, где цена оценивается рабочим часом. Крупные акты обмена будут совершаться с помощью Народного Банка, который принимает как плату «талоны работы». Этот же Банк по плану Прудона должен ссужать беспроцентными ссудами ассоциации рабочих производителей[283].

Банк Прудона должен стать центром системы регулирования рынка. Но государство, которое возьмет

на себя эту функцию в XX веке – худший из регуляторов в силу своей бюрократичности. Идея антиавторитарного социализма, включая анархизм – добровольное (индикативное, выражаясь современным языком) планирование. Его правила – статистический учет заказов и производственных возможностей, ссуды под залог и поручительство, но без процентов, страхование, кооперативный рынок.

Маркс справедливо указал Прудону, что он идет за английскими социалистами школы Оуэна, а их эксперимент с регулированием цен не был удачен[284].

Однако Прудон прекрасно понимает, что необходимо «заняться законом истинной организации труда, а не вовсе не организацией распределения»[285]. Но и без правильного организованного обмена нормальное производство невозможно.

* * *

Корни оуэновского и прудоновского утопизма Маркс видит в наследии доиндустриального прошлого. «Что удерживало производство в правильных, или почти правильных, пропорциях? Спрос, который управлял предложением, предшествовал ему; производство следовало шаг за шагом за потреблением. Крупная индустрия, будучи уже самым характером употребляемых ею орудий вынуждена производить постоянно все в больших и больших размерах, не может ждать спроса. Производство идет впереди спроса, предложение силой берет спрос.

В современном обществе, в промышленности, основанной на индивидуальном обмене, анархия производства, будучи источником стольких бедствий, есть в то же время причина прогресса.

Поэтому одно из двух:

либо ждать правильных пропорций прошлых веков при средствах производства нашего времени, — и это значит быть реакционером и утопистом вместе в одно и то же время;

либо желать прогресса без анархии, — и тогда необходимо отказаться от индивидуального обмена для того, чтобы сохранить производительные силы»[286].

Но как будет определяться соотношение затрат труда и доходов без индивидуального обмена? Маркс считает, что в будущем обществе ценообразования не будет вовсе, и «количество времени, которое будут посвящать производству того или другого предмета, будет определяться степенью общественной полезности этого предмета»[287]. Но если для производства крайне необходимого продукта можно будет затратить меньше времени, чем для менее необходимого? Заставлять работников трудиться медленнее? Или так организовать производственный процесс, чтобы технологии развивались в соответствии с указаниями Маркса о времени? Такие парадоксы получаются от уверенности марксистов, что в будущем обществе все будет организовано совершенно планомерно и рационально, а рациональность определяется представлениями Маркса об «общественно необходимом рабочем времени». Это предельно близко пониманию проблемы Прудоном, но он предлагает всего лишь регулирование цен, в то время как Маркс предлагает с помощью того же принципа (весьма абстрактного и догматического у обоих теоретиков) управлять работой каждого труженика.

При том, что «перегибы» Маркса с определением времени труда не прижились в марксисткой теории, сам подход закрепился. Марксист Туган-Барановский комментирует предложения Оуэна и Прудона: «Не организация сбыта, а организация общественного производства, замена анархичного единоличного хозяйства общественным планомерным хозяйством – вот, что требуется для того, чтобы продукты всегда находили сбыт»[288]. Производство господствует над потребителем. Это – общая черта

индустриализма как в капиталистической, так и в марксистской модели. Уже в начале XX века либеральный марксизм наметил эту линию интеграции марксистского социализма в капиталистическую систему.

По мнению марксистов, социальный вопрос решается в сфере производства, а не обращения. Опыт государственного регулирования рыночной экономики XX в. показал, что это не вполне так. Макроэкономическое регулирование охватывает предприятия с разной организацией производства и разными формами собственности. Регулирование осуществляется и через спрос (в этом отношении Оуэн и Прудон предвосхитили кейнсианство). Не объявить ли Прудона предвозвестником социал-либерализма («неолиберализма», как назвал учение Прудона критик марксизма Б. Вышеславцев). Нет, Прудон выступает против государственного вмешательства в экономику. Он – антиэтатист и анархист[289]. Общественное регулирование — это не право бюрократов принимать решения о движении ресурсов и производственных процессах, а ясные правовые нормы, обязательные для всех и равные для всех.

* * *

Оппоненты Маркса, пытавшиеся найти качественную альтернативу капиталистической цивилизации, считали, что сверхцентрализованное общество не снимает, а усугубляет недостатки капитализма. Капиталистическое общество основано на двойном стандарте – свобода для элиты и рабство для работника. Из этого вытекала нищета большинства населения. Но даже если преодолеть ее, то и в этом случае деспотизм на производстве и бесправие в повседневной жизни будут вызывать страдание человека, который в силу развития своей культуры, духа уже не может довольствоваться положением человеко-инструмента и человеко-животного. **Сущность человеческой личности** предполагает участие в творчестве, в размышлении, в принятии решений. И в этом — приговор как капитализму, так и глобальному централизму. Да и нынешнему синтезу этих двух тенденций — тоже. Человек тянется к автономии, к самоуправлению, но не может при этом жить один, как Робинзон. И в этом – вечный шанс самоуправленческого, антиавторитарного социализма, основанного на сочетании свободы и солидарности. Достичь этого синтеза можно не в едином и однородном обществе, а **в многообразном социуме самостоятельных самоуправляемых социальных организмов, состоящих из работников-владельцев**. Современные культурно-технологические сдвиги создают возможность для этого.

Прудон считает, что дело революционеров – создавать условия для **народного творчества**, которое приведет в выращиванию новых отношений в самом обществе. «Возбудите общественное творчество, без которого народ будет вечно в бедственном состоянии, и усилия его бесплодны; научите народ создавать для себя, без помощи властей, благосостояние и порядок»[290].

Бакунин и Маркс думают, что народ (либо пролетариат) уже готовы творить новую социальную реальность, а Прудон убеждает – надо еще научить, для нового общества необходима низовая практика самоуправления и рост уровня культуры (эта идея продолжает линию Годвина).

Прудон считает, что коммунизм — противоположная капитализму крайность, которая не может решить его проблем. Стать коммунистом — это тоже самое, что «из страха Лойолы обнять Калиостро»[291]. Альтернатива обеим крайностям — общество без собственности, без жестких границ между “своим” и “чужим”, где каждый распоряжается тем, с помощью чего работает и что сам создает вместе с другими.

* * *

Отношения **производителя и потребителя** конфликтны, но это – не классовый конфликт.

Производитель стремится реализовать продукт, который отражает его понимание массовых потребностей. Потребитель предпочитает получить то, что больше соответствует его представлениям и вкусам – его личности. Полное удовлетворение требований молодого Маркса к процессу производства, совершеннейшее утверждение работника в труде и его продукте, может стать трагедией для потребителя, который не найдет того продукта, который удовлетворяет его. «Графоман» не найдет читателя, но и читатель не найдет хороших стихов, о которых тоскует его душа.

В условиях разделения труда продукт – это компромисс между производителем и потребителем. Оба должны чем-то поступиться. Вопрос в том, как организуется этот компромисс – ко благу обоих, или в интересах кого-то третьего?

Ликвидация рынка и денег, которые Маркс принял за квинтэссенцию отчуждения, делу не поможет. Рынок ориентирован на массовое потребление, и значит неизбежна стандартизация. Волю производителю диктуют не столько обладатели денежных мешков, сколько массовые вкусы. Средний потребитель, мещанские вкусы и большинства производителей (кто бы не принимал решение), и большинства потребителей подминают под себя вкусы меньшинств. Пока существует серийное производство, выгоднее производить продукцию для середнячка – и на рынок, и по плану. Рынок и план – это порождение той стадии общественного развития, когда уже есть массовое производство, но еще нет непосредственного общения производителей и потребителей через развитую систему коммуникаций.

Преодоление отчуждения человека от продукта (при чем не только производителя, но и потребителя, личность которого то и дело вступает в конфликт с тем, что предлагает «общество») возможно только по мере развития малосерийности, эксклюзивности, индивидуализации производства, которое в индустриальном обществе доступно лишь элите. Но технологическая основа для возрождения общения производителя и потребителя формируется на наших глазах. Технологический барьер специализации уменьшается, но новое положения требует адекватной социальной организации.

Возвращение качественного производства к ремеслу, к малым формам – технологически обусловленный процесс, в общей форме соответствующий мысли Маркса о возвращении от отчуждения «тем же путем». Но для обеспечения «того же пути» необходимо обеспечение социальных предпосылок, связанных с преодолением господства – вытеснение крупных машинных производств более гибкими и компактными, падение роли буржуазии и пролетариата в пользу средних слоев «информационных ремесленников», «умственного пролетариата» – **нового класса, сочетающего в себе функции творчества, труда и руководства, который условно можно именовать «информалиат»**. Только преодоление индустриализма подводит нас к решению проблемы конфликта производителя и потребителя. Как показал опыт XX века, попытка заменить рынок плановым распределением подменяет диктат массовых вкусов диктатом чиновников. Ключ к решению проблемы «отчуждения от продукта» – не в товарно-денежных отношениях, а в социальном господстве.

Анархия и власть

В XX веке левые марксисты, ссылаясь на упоминание самоуправления в работах Маркса, на его политический федерализм (заимствованный у последователей Прудона) станут утверждать, что Маркс стремился подчинить производство свободным самоуправляющимся работникам. Но тексты Маркса не оставляют сомнений: он последовательный централист, сторонник подчинения производства (а значит и работников) центру, который управляет всем обществом по рациональному (то есть разработанному группой рационально мыслящих управленцев) плану: «Национальная централизация средств производства станет национальной основой общества, состоящего из объединения свободных и равных производителей, занимающихся общественным трудом по общему и рациональному плану»[292]. Здесь предельно обострено противоречие между свободой работника и его готовностью всегда подчиняться единому рациональному плану. Эта система может существовать только при одном условии – что работник всегда будет добровольно и свободно выбирать именно то поведение, которое запланировано центром. Если нет – в жертву должен быть принесен **или обязательный план, или свобода**.

Общественный идеал Марка и Энгельса, как и большинства современных им социалистов, формально является безгосударственным. Вслед за А. де Сен-Симоном и немецким социалистом В. Вейтлингом Энгельс выступает за «упразднение всякой формы правления, основанной на насилии и большинстве, и замене его простым управлением, организующим различные отрасли труда и распределяющим его продукты»[293]. Но Энгельс никак не разъясняет, каким образом возможно такое управление, и почему все должны добровольно подчиниться решениям управленцев. Это еще благое пожелание, типичное для либеральных и социалистических программ того времени.

Управление — это власть. Но не для Энгельса и не для Маркса, который в этом отношении пошел за своим другом и соратником. Социалистическое управление в марксистской традиции — принятие рациональных решений, которое сознательно выполняется без всякого насилия. Просто потому, что эти решения заведомо разумны.

Рациональность становится одной из главных добродетелей, которые помогают марксистам обосновывать необходимость общности имуществ. Подводя итог описанию оуэновской общины в Великобритании, Энгельс писал: «Итак, мы видим, что общность имущества не представляет ничего невозможного и что, наоборот, все эти попытки вполне удались. Мы видим также, что люди, живущие общиной, живут лучше, затрачивая меньше труда, имеют больше свободного времени для своего духовного развития, и что они лучше и нравственнее, чем их соседи, сохранившие частную собственность».[294]

Эрбельфельдские речи Энгельса проникнуты духом рационализации, учета всех потребностей и рабочих сил, подчинения всех сторон жизни общества единому управлению. Энгельс утверждал, что в коммунистическом обществе «управлению придется ведать не только отдельными сторонами общественной жизни, но всей этой жизнью во всех ее отдельных проявлениях, во всех направлениях… Мы и требуем пока того, чтобы государство объявило себя всеобщим собственником и как таковое управляло бы общественной собственностью на благо всего общества…»[295] Это достаточно ясная формулировка идеала тоталитарного общества, в котором государство вмешивается во все сферы жизни человека, располагает всем имуществом и согласует потребности людей с возможностями общества. И в то же время Энгельс восхищается экспериментами Оуэна, чуждыми какому-либо принуждению и основанными на самоуправлении. Это ли не парадокс. Так же хорошо Энгельс относится и к Фурье с его идеей добровольного труда, который возникает потому, что коммунизм позволяет каждому найти именно ту работу, которая ему по сердцу. Выше мы приводили слова Энгельса, из которых следует, что он вовсе не

собирался принуждать миллионные массы трудящихся к работе на деспотическое государство. Напротив, он противник государственного насилия. Государство должно заменить власть управлением, основанным на добровольном подчинении. Как же это может быть?

Как и Оуэн, Энгельс – профессиональный предприниматель, управленец. Он верит в рациональное управление сильнее самих отцов просвещения, поставивших рацио над верой и духом. Энгельс страдает от хаотичности и нерациональности современного ему капиталистического хозяйства, которое обрекает рабочих на голод и унижения. Как гуманист, Энгельс протестует против этого и верит, что если организовать все силы общества рационально, то труд станет радостным, а нищета исчезнет. Ради осуществления этого великого идеала годится болезненное, но быстро лечащее средство – революция.

Революция кардинальным образом изменит всю систему отношений человека и производства: «…масса орудий производства должна быть подчинена каждому индивиду, а собственность – всем индивидам. Современное универсальное общение не может быть подчинено индивидам никаким иным путем, как только тем, что оно будет подчинено всем им вместе»[296]. Другими словами – все принадлежит всем не только на словах, а на деле. Возникает единый хозяйственно-информационный организм («универсальное общение»), который как единое целое подчинен каждому, потому что этот каждый может моментально согласовывать свои интересы с интересами другого каждого. Основоположники марксизма смотрят на выполнение этого идеала как на социально-управленческую задачу, не задумываясь об отсутствии организационно-технических предпосылок и достаточного культурного уровня каждого для того, чтобы он пользовался всем хозяйством не в ущерб остальным. Да и хозяйство здесь видится каким-то единым автоматизированным блоком, который обслуживает нужды каждого. В XIX-XX вв. эта философская абстракция могла воплотиться только в индустриально-бюрократическую диктатуру, действующую от имени всех. В середине XX в., по мере успехов НТР, предпосылки осуществления мечты об «универсальном общении» стали более заметны. Современные информационные технологии теоретически позволяют подчинить **«универсальное общение»** каждому. И управление хозяйством через универсальное информационное поле – тоже вполне представимая перспектива. Но не реальность. Потому что информационные потоки принадлежат не каждому, а контролирующей информационное пространство монополистической элите. Проблема снова переходит из технической сферы в социальную.

* * *

Мысли Прудона о власти выглядят парадоксально: «хотя я большой приверженец порядка, тем не менее я в полном смысле слова анархист»[297]. Отсюда знаменитая формула: **«Анархия – мать порядка»**.

Прудон показывает, что ныне принятые взгляды прежде тоже звучали странно: «подобно тому как человек ищет справедливости в равенстве, так общество ищет порядка в анархии. Анархия, отсутствие господина, суверена – такова форма правительства (имеется в виду политическое устройство – А.Ш), к которой мы с каждым днем все более приближаемся, и на которую мы, вследствие укоренившейся в нас привычки считать человека правилом, а волю его – законом, смотрим как на верх беспорядка и яркое выражение хаоса. Рассказывают, что некий парижанин 17-го столетия, услышав, что в Венеции совсем нет короля, не мог опомниться от изумления и умирал со смеху, когда ему рассказывали об этом смешном обстоятельстве. Такова сила предрассудка: все мы без исключения хотим иметь вождей или вождя… Скоро кто-нибудь… скажет: все короли. Но когда он это скажет, я возражу: никто не король; все мы волей-неволей члены общества»[298].

Анархия Прудона не противостоит общественному порядку, но этот порядок должен обеспечивать

свободу и народовластие. Он бросил еще одну «парадоксальную» фразу: «Республика есть положительная анархия»[299], иными словами – конструктивная анархия, а не хаос и разрушение, как иногда понимается это слово. История знает множество республик, которые не имеют ничего общего с идеалами Прудона. Но являются ли «президентская республика» или «парламентская республика» республиками в полном смысле слова, то есть, с латыни, rex publika, народовластием? Или все-таки властью президента, парламента, элит?

Слово «анархия» способно шокировать даже искушенных исследователей. Биограф Прудона К. Винсент пишет: «Он принимает лейбл «анархизм»; но он настаивает на том, что общество должно быть пропитано социальной моралью, которая вела бы людей к признанию личного достоинства их соседей и которые осуществляли бы преобладание общих интересов общества над эгоистическими интересами отдельных личностей»[300]. Здесь характерно слово «но», которое создает впечатление непоследовательности Прудона, проводящего под лейблом «анархизм» чуждые анархизму взгляды. В действительности Прудон формулирует идеологию классического анархизма по праву основателя учения. И не стоит удивляться, что эти взгляды противоречат мифу об анархизме.

Анархия – отсутствие власти. Не хаос ли это, противоположность порядка? Но в социальном хаосе власти ничуть не меньше, чем в тоталитарном государстве. Какая разница, кто решает расстрелять человека – главарь банды или глава тройки. Анархия – вытеснение власти свободой, самоуправлением, моралью, сложной системой человеческих отношений, исключающих организованное насилие человека над человеком.

«Довольно партий; довольно власти; безусловная свобода личности и гражданина! В трех словах я изложил мои общественно-политические идеалы»[301]. Но к идеалам следует идти постепенно. Готовность общества к анархии зависит от уровня культуры: «во всяком данном обществе власть человека над человеком обратно пропорциональна интеллектуальному развитию, достигнутому обществом…»[302] Это верно и в том смысле, что интеллектуальное освобождение невозможно без социального.

* * *

Противоречие подходов Прудона и Маркса выясняются и во время обсуждения **исторических вопросов**. Прудон пишет: «Отличительная черта золота и серебра заключается, повторяю, в том, что благодаря своим металлическим свойствам, трудности добывания, а главное — вмешательству государственной власти они в качестве товаров рано приобрели устойчивость и аутентичность»[303]. Этот взгляд вполне соответствует историческим знаниям того времени, да и сегодня со сказанным трудно спорить. Но эти простые истины не укладываются в марксову философию истории. Для начала он сообщает «г-ну Прудону, что прежде всего стало известно время, необходимое для производства предметов первой необходимости, каковыми являются железо и т.д.»[304] Ну хорошо, Маркс мог еще не знать о существовании медного и бронзового века. В отношении роли государства его аргумент ничего не меняет. Марксу важно показать, что государство не формирует экономическую структуру: «Итак, произвол государей является, по мнению г-на Прудона, верховной причиной в политической экономии!

Поистине нужно не иметь никаких исторических познаний, чтобы не знать того факта, что во все времена государи вынуждены были подчиняться экономическим условиям и никогда не могли предписывать им законы. Как политическое, так и гражданское законодательство всего только выражает, протоколирует требования экономических отношений»[305]. «Факт» Маркса изобличает как раз недостаток его исторических познаний. От решений государей, от государственного законодательства и во времена ветхозаветных царей, и Германии XIX века и, забегая вперед скажем, при марксистских

правителях «социалистических стран» зависели и формы собственности, и состояние платежных средств, и состояние рынка. Государственная собственность исторически предшествует частной и часто порождает ее. Решение государя может играть определяющую роль при выборе материального носителя денег — золотого эквивалента, серебра, изрядно разбавленного медью, или денежной банкноты. На этой почве происходили бунты и финансовые катастрофы, политические решения вызывали экономический упадок или подъем.

Упрощенный взгляд Макса на государство был обусловлен его грубым экономическим детерминизмом: «Ручная мельница дает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница — общество с промышленным капиталистом»[306].

Разумеется, было бы неверно считать, что государственные лидеры действуют произвольно в безвоздушном пространстве. Они оказывают значительное влияние на экономические процессы, но и процессы влияют на них. Это двустороннее явление, и Прудон выражается достаточно осторожно, указывая на «вмешательство государственной власти» (а не выдуманный Марксом «произвол государей»).

Прудон считает, что «всякая администрация, налоги, полиция — вечная сделка, всегда нарушаемая и возобновляемая, между патрициатом и пролетариатом»[307]. Таким образом, Прудон осознает исторически обусловленный характер государства, исчезновение которого произойдет не сразу.

Раскрывая роль государства как фактора экономического развития, Прудон оказывается более глубоким знатоком экономической истории, чем Маркс. И это не случайно. Прудон более внимательно, чем Маркс, присматривается к государству. Маркс считает государство вечно вторичным, вспомогательным фактором, который может служить и капиталистам, и пролетариату — в зависимости от задач, которые будут поставлены этому пассивному «орудию» господствующим классом. Прудон видит, что государство может направить социально-экономический поток по руслу, выгодному самой бюрократии. В этом различии понимания истории также видно противостояние бюрократического и антиавторитарного социализмов.

* * *

Прудон стремится заменить власть чиновников властью понятных, научно обоснованных и всеми признанных **законов**. «Свобода есть анархия, безвластие, потому что она не признает власти воли, а только власть закона, то есть необходимости»[308]. У. Таккер, развивая идеи Прудона, пришел к парадоксальному, но логичному выводу: «Государство есть олицетворение идеи правонарушения»[309]. Оно постоянно нарушает права простых людей в пользу касты. Ниже мы увидим, что Прудон затем стал именовать договорное право не законами, а договорами и обещаниями. Договорное право – важнейший элемент как его экономической, так и политической системы. Противопоставляя Прудона Марксу, Б. Вышеставцев пишет: «Прудон прежде всего был по характеру своего мышления выдающимся юристом»[310].

Если правила игры понятны, научны и однозначно трактуемы, они исключают произвол. Прудон хочет передать власть науке. Как дитя просвещения, он преувеличивает объективность науки: «Политика есть наука о свободе: власть человека над человеком, какую бы форму она не принимала, есть угнетение. Высшая степень совершенства общества заключается в соединении порядка с анархией, то есть в безвластии»[311]. «Наука о правительстве или о власти должна быть представлена одной из секций Академии наук, и постоянный ее секретарь неизбежно должен быть первым министром»[312]. Но это – не платоновская диктатура ученых. Здесь диктатуры нет вовсе. Во главе властных органов должны стоять

ученые (читай – научно мыслящие компетентные люди), но самих органов множество, и власть распылена по уровням и направлениям: «Так как исполнительная власть, по существу, принадлежит воле, то чем больше будет у нее носителей, тем лучше: в этом именно заключается истинная суверенность народа. Если подобным идеям суждено когда-нибудь проникнуть в человеческие умы, то дни представительного образа правления и тирании ораторов будут сочтены»[313]. Как видим, и парламент для Прудона – лишь временное зло.

Но с самого своего возникновения анархизм и антиавторитарный социализм не выступали против политической борьбы как таковой. Просто участие в политической борьбе должно быть основано на ясных принципах. Прудон формулирует политические задачи социального движения: «В политике идея взаимности, то есть экономическая программа рабочих классов, нуждается в таком политическом порядке, при котором все вещи, все идеи, все интересы сводились бы к равенству, общественному праву, справедливости, равновесию, свободной игре способностей, свободе активности индивидуумов и групп, одним словом — к автономии»[314].

* * *

Прудон – реформист, повторим здесь цитированное выше высказывание в ответе Марксу: «Я предпочитаю сжечь институт собственности на медленном огне, чем придать ему новую силу, устроив варфоломеевскую ночь для собственников»[315]. То же он мог бы сказать и о власти. Прудон понимал: «Анархия же, в чистом ее виде, – это идеал, который никогда не будет осуществлен во всей полноте»[316].

Так зачем выдвигать столь удаленные цели? Маркс тоже предлагает максималистские решения, но рассчитывает, что они будут реализованы уже на современной ему технологической и культурной базе. Однако он тоже не исключает, что коммунистический идеал будет достигнут после прохождения переходной стадии социализма. Но она по Марксу – уже начало коммунизма, который после достижения социализма становится необратимым. Прудон выдвигает **идеал как направление движения, не смешивая его с началом пути**. Это — принципиально разные подходы. Если разрыв с капитализмом уже объявляется несовершенной формой социального идеала, теория теряет свой творческий потенциал. На место стремления к преобразованию общества в качественно новое состояние приходит защита достигнутого «несовершенного коммунизма» — в сущности иной формы старого общества.

Прудон выдвигает критерий действительно социальной революции: «Главная, решающая, идея этой Революции, чтобы в результате не стало БОЛЬШЕ ВЛАСТИ ни в церкви, ни в государстве, ни в земле, ни в деньгах. Таким образом мы хотим сказать тем, кто ничего не видит, тем кто ничего не понимает, о согласии интересов каждого с интересами всех, тождестве суверенитета коллективного и суверенитета индивидуального»[317]. Опыт перерождения революционных процессов подтвердил принципиальность критерия Прудона: если революция укрепляет авторитарную систему, она приобретает черты реакции.

* * *

Идеал коммунизма также предусматривает исчезновение государства и власти. Это создает трудности различения двух учений. Так, исследователь В.В. Кривенький определяет анархистов как «сторонников общественно-политического течения, провозглашающего своей целью уничтожение государства, всякой политической власти, рассматриваемых исключительно как органы насилия»[318]. Но под такое определение попадают и марксисты. Ведь в коммунистическом обществе политическая власть должна

исчезнуть. К тому же многие анархисты от Прудона до сторонников «переходного периода» к анархии, формулировавших свои взгляды в XX веке, считали возможным использование политических структур не только в качестве «органов насилия», но и для организации новых социальных отношений. Суть различия не в безгосударственном идеале анархизма.

При всем своем «антиэтатизме», не-анархические коммунистические учения, прежде всего марксизм, не отказывается от идеи руководящего центра. Иначе их негативное отношение к модели Прудона было бы трудно объяснить. Прудон выступает против экономической и политической централизации, Маркс – за. Прудон считает, что нельзя устранить деспотизм, усиливая полномочия центральной власти. Задача – вытеснение власти свободой и самоуправлением и с государственного, и с производственного уровня, замена централизма федерализмом. Прудон провозглашает: «В политической сфере… мютюэлизм… берет себе имя федерализм»[319].

Сравнивая федерализм и анархические лозунги Прудона, исследователи, не искушенные в теме анархизма, начинают путаться: кто же такой Прудон – анархист или федералист? На эту ошибку указывает Эльбахер: «Диль и Ценкер думают, что до 1852 года учение Прудона было Анархией, потом стало федерализмом; это ошибка: прудоновская анархия была с самого начала федерализмом; только позже она была окрещена им этим именем»[320].

Дело не только в даровании имен. Не мудрено противопоставлять эти два понятия, если воспринимаешь анархию как хаос. Модель федерализма вполне организованна. Анархия Прудона – это общество, которое в политической сфере устроено на началах федерализма. Анархия относится к федерализму как общее к частному, и то же самое мы встретим у классического анархиста Бакунина. Федерализм Прудона никак не противоречит его анархизму. Федерализм также – это путь к анархии.

* * *

Исследователь В.П. Сапон пытается провести разделительную линию между анархизмом и другими направлениями либертарного социализма так: сторонники последнего (non-anarchists libertarians), «имея в виду анархию как отдаленный идеал – признают необходимость сохранения на переходный период политико-организационных структур, не стесняющих общественную свободу: «минимального государства» (либералы) или федерации самоуправляющихся территориальных и производственных объединений (сторонники либертарно-социалистических учений)»[321]. Либералы здесь упомянуты не к месту, так как не стремятся к анархии – с ней несовместима частная собственность. Что касается анархистов, то, начиная с Прудона, как мы видим, они в значительной своей части тоже «признают необходимость сохранения на переходный период» этих структур. В.П. Сапон конкретизирует: анархизм выступает против власти, а либертарный социализм – только против государства[322]. Такое различение еще более запутывает ситуацию. Мы увидим, что даже Бакунин (не говоря о Прудоне) признает возможность сохранения на первое время негосударственных властных институтов. Исследователь С.Ф. Ударцев констатирует: «все теории анархизма признают общественные формы власти и многие формы права при условии отсутствия их связи с государством»[323].

Так что получается, что эти «non-anarchists» libertarians – вполне anarchists.

Чтобы как-то решить эту проблему, В.П. Сапон находит другое различие: анархизм шире либертарного социализма, так как радикальней, а либертарный социализм шире, так как в нем участвуют не только анархисты[324]. А кто еще? Насколько надо быть «радикальным», чтобы получить право гордо именоваться анархистом? В.П. Сапон не разъясняет этого достаточно, чтобы читатель понял, чем анархист

Прудон отличается от этих non-anarchists libertarians или, по В.П. Сапону, «либертаристов».

* * *

Прудоновский федерализм вызывает особое неприятие у нынешних марксистов, которые пытаются найти истоки распада своих государств где угодно, только не в теории и практике государственного социализма. Так, С. Брайович ищет истоки трагедии Югославии в прудонизме: “Идеи Прудона нашли свое отражение и в югославском проекте самоуправления. Так, федерализация собственности, из которой следует плюрализм самоуправленческих интересов, привела к разрушению единого югославского рынка и формированию республиканских экономик”[325].

Марксисту неизвестно, что Прудон никогда не выступал за «федерализацию собственности», он был противником собственности, противопоставляя ей владение, причем не «федерализированное», а непосредственное — самих трудящихся. Регионализация югославского рынка была вызвана тем, что реальная экономическая власть находилась не у трудовых коллективов, а у региональных бюрократических кланов. Модель, очень далекая от взглядов Прудона. Любопытно, что в СССР существовала другая экономическая авторитарно-социалистическая модель, нежели в Югославии, но это государство тоже распалось. И здесь Прудон виноват?

Апелляция к Прудону не случайна. Потерпев крах, практический марксизм пытается «тянуть за собой» и атиавторитарный социализм, возложив на него хотя бы часть ответственности за свои провалы и одновременно скомпрометировав именно те положения оппонентов, которые действительно отличают их от марксизма: “Подмена марксизма прудонизмом видна и в устранении демократического централизма, и в универсализации консенсуса, — продолжает С. Брайович. — Консенсус считается великим достижением демократии. Универсализация консенсуса означает легализацию права меньшинства, его привилегированное право за счет большинства. В многонациональном государстве это приводит к усилению национализма и сепаратизма, что наглядно показал пример распада Югославии”[326]. Однако национализм возникает и в централизованных государствах. А вот кровавый характер кризиса на Балканах связан как раз с отсутствием консенсуса и отрицанием федерализма в государствах, возникших на месте Югославии. Боснийское и хорватское правительства не признавали прав сербов, сербское правительство ограничивало права албанцев, албанский национализм в Косово игнорирует права сербов. Это — прямая противоположность принципам общественного устройства, которые предлагал Прудон и его последователи.

* * *

В работе «Принцип федерализма» Прудон выдвинул его в качестве переходной модели, ведущей общество в сторону анархии.

«До сегодняшнего дня Федерализм вызывает в сознании только идеи распада: он не понят нашей эпохой как политическая система.

А) Группы, которые составляют конфедерацию, то, что называют в другом случае государством, суть сами по себе государства, самоуправляющиеся, самосудные, и самоадминистрирующиеся, во всех суверенитетах в соответствие со своими собственными законами.

Б) Для объединения в конфедерацию предполагается договор с взаимными гарантиями.

В) В каждом государстве, вступающем в конфедерацию, правительство организовано по принципу разделения властей: равенство перед законом и всеобщее голосование лежат в его основе.

Вот вся система. В конфедерации политическое тело формируют не индивиды, граждане или предметы; это группы, данные априори природой, и следовательно величина большинства не превышает население, проживающее на территории в несколько квадратных лье. Эти группы сами по себе — маленькие государства, демократично организованные под защитой федерации, единицы которых — главы семей или граждане»[327]. Очевидно, что слово «государство» употребляется здесь в переносном смысле, речь идет о небольших общинах, полисах. Закон – это договорное право, которое граждане и их объединения устанавливают между собой. «Единство отмечается не законами, а лишь обещаниями, которые взаимно дают различные автономные группы»[328].

В основе этой системы лежит личность. Она является первичным субъектом нового, договорного права. «Выполняя взятое на себя обязательство, я сам себе правительство… Порядок договорный, сменив собой порядок законодательный, создаст истинное управление человека и гражданина, истинное народовластие, республику»[329]. Это – сетевая республика горизонтальных связей, которые сменяют собой вертикальные управленческие отношения. Но сразу перейти на полностью равноправные связи вряд ли получится. Должны существовать группы людей, которые по поручению граждан будут решать общие вопросы. Как сделать такую систему максимально демократичной, не дать новой элите замкнуться в правящую касту?

Демократическое общественное устройство основано на широкой автономии нижестоящих общественных структур от вышестоящих, на сети договорного права, избрании чиновников гражданами и **союзе союзов**. Дело в том, что небольшие общины не могут сразу объединиться в федерацию страны — в стране слишком много таких общин. Поэтому Прудон выступает за «федерацию федераций»[330]. Низовые объединения граждан объединяются в региональные союзы, которые в свою очередь объединяются в более широкие федерации регионов. Союз регионов, составляющих страну, уполномочен заниматься только теми вопросами, которые ему поручили нижестоящие субъекты. Руководящий совет каждого уровня состоит из делегатов нижестоящих уровней. Делегаты реально зависят от тех, кого представляют (что нельзя сказать о депутатах, избираемых массой неорганизованных граждан). Избиратели не могут отозвать депутата, а община или региональный совет — может. **Делегирование**, таким образом, представляет собой реальную демократию, которая передает в центр волю самоуправляющихся общин, а не наоборот.

Система власти выстраивается снизу, а не путем назначения сверху. Система делегирования имеет важные преимущества перед парламентаризмом: избирающие хорошо знают избираемых, могут легко отозвать их в случае необходимости, сформулировать императивный мандат и проконтролировать его исполнение. В результате “низы” получают реальные рычаги определения политики “верхов”, что и составляет сущность демократии[331].

Марксисты признали благотворность делегирования сначала после Парижской коммуны, а затем в ходе Российский революций, когда идея делегирования воплотилась в Советах. Но для марксистов делегированная демократия позволительна только, если за политическим фасадом сохраняется хозяйственный управленческий центр.

Прудон предлагает разные принципы построения федераций — и территориальный (от самоуправления соседей, общины до федерации регионов), и производственный (от самоуправляющегося предприятия до палаты организованных по отраслям трудящихся, которая координирует производство и социальное обеспечение). В своих программных выступлениях периода революции 1848-1849 гг. Прудон выступает скорее как синдикалист, поддерживая отраслевую организацию трудящихся и переход к их

объединениям функций, которые ранее принадлежали бюрократии. Прудон опасается, что групповые интересы могут прийти в конфликт между собой, «поэтому независимый арбитр необходим»[332] Парламент существует как арбитр и законодатель, но не может формировать исполнительную власть[333]. Власть, назначаемая сверху (пусть и избранным президентом либо императором) должна смениться союзом союзов, федерацией самоуправляющихся тружеников, вырастающей снизу. В 50-60-е гг. Прудон дополняет свою синдикалистскую отраслевую модель идеей территориальной федерации. В результате возникает идея более устойчивой структуры, где возможные конфликты между отраслями будут сглаживаться территориальной координацией, и наоборот.

В основе этой системы, в «узлах» ее основания лежат естественно сформировавшиеся группы: семья, местная община, коллектив работников — «естественные группы», как называл их Прудон. Их связи переплетаются не по какому-то плану, а спонтанно, как корни травы. Это **корневое пространство** объединяет на основе единых принципов и политическую, и экономическую стороны общества.

* * *

Прудон останавливается перед соблазном свободы без солидарности, свободы для тех, кто готов освободить себя. Свобода возможна только тогда, когда все имеют одинаковые права на свободу. Анархо-индивидуализм легко находит форму осуществления свободы в виде свободной стаи (только насколько она свободна на практике?) или клуба вольномыслящих (которые в мирской жизни встроены в Систему и собираются вместе только пофилософствовать). Прудона интересует, можно ли жить иначе, и при том жить без постоянной конфронтации между людьми.

Федерализм и договорное право должны привести отдельные интересы в гармонию. Правда в прудоновской схеме есть один заведомо утопичный для того времени пункт – свобода договора предусматривает право его не заключать или из него выйти. Право не только юридическое, но и фактическое. Население поселка вряд ли может покинуть территорию окружающего его региона. Но уже в конце XX в., в эпоху Интернета и глобальных экономических процессов, территориальная привязка человека и человеческих общностей играет все меньшую роль.

Итак, «**свободная ассоциация**, свобода, довольствующаяся охраной равенства средств производства и равноценности обмениваемых продуктов, есть единственная справедливая, истинная и возможная форма общества»[334]. Каждый работник — он же и со-хозяин, участник производственной демократии. Это исключает восстановление эксплуатации внутри ассоциации — новые работники, даже пришедшие с непроцветающих предприятий, все равно обладают равными правами. Производственные ассоциации обмениваются продуктами своего труда на основе взаимности. По сути это рынок, но регулируемый не правом собственности, а типовым договорным правом, которое фиксирует стоимость, основанную на производственных издержках. Накопление капитала не происходит, потому что другие ассоциации не платят больше принятого. Национальный банк дает ссуды ассоциациям на беспроцентной основе. Ассоциации и территориальные общины объединяются в отраслевые союзы и федерации, органы которых формируются по принципу союза союзов, делегирования. В качестве арбитра возможен парламент. Мир покрывают корневые связи, которые постепенно вытесняют товарно-денежные отношения (даже конституированные) альтруистической взаимопомощью. Но такая перспектива возможна только тогда, когда к этому придут сами работники — безо всякого насилия и принуждения.

Итак, **анархизм** – это социальное учение и идейное течение, которое выступает за создание общества, основанного на началах свободы личности и самоуправления сообществ, без государственности, понимаемой как центральная, отчужденная от населения власть. Анархизм отличается от других

направлений освободительного (либертарного) социализма и от не-анархистских коммунистических учений не безгосударственным идеалом (даже марксисты считают, что при коммунизме не будет государства), а отрицанием экономического властного централизма и возможности использовать авторитарные государственные институты для создания нового общества. Большинство анархистских учений не считают, что может быть немедленно достигнуто полное безвластие, они выступают за минимизацию власти и других форм угнетения (в чем отличаются от либерализма, выступающего против государства в пользу власти частного собственника). В соответствии с идеями анархизма сообщества работников (общины, коллективы) должны были быть самостоятельными в своих внутренних делах, а для решения общих вопросов создавать союзы, которые в свою очередь объединяются в федерации. Решения, таким образом, вырабатываются снизу и согласовываются в масштабе региона, страны или международного союза.

* * *

Для всякого сторонника преобразований очень важно предъявить людям хотя бы несовершенную, но работающую модель будущего. «Интересно, что под конец жизни он нашел, наконец, свой идеал не в чем ином, как в русской общине, – писал о Прудоне М. Туган-Барановский. – В своем посмертном сочинении «Теория собственности» Прудон говорит, что истинное решение проблемы собственности дано славянской расой, создавшей **общинную собственность**, при которой земля принадлежит всей общине, а право пользования отдельными земельными участками – каждому члену общины»[335]. Здесь вызывает удивление слово «наконец», ибо общественный идеал Прудона, как мы видели, и ранее был достаточно ясен. Для марксиста Туган-Барановского, привыкшего бороться с теорией общинного социализма в лице народничества, непонятно, что финальный вывод Прудона вытекает из всех его базовых принципов и основных построений. Прудон предвосхитил русское народничество, предельно близкое к конструктивному анархизму Запада. И не удивительно, что по мере развертывания народнической агитации Прудон увидел в ней близкие идеи.

В конфликте Прудона и Маркса симпатии основателя народничества А.И. Герцена были на стороне Прудона. Энгельс писал Вейдемейеру о намерении Герцена создать “демократически-социально-коммунистически-прудонистскую русскую республику”[336]. В этой смеси ключевым является слово «прудонистская», которая и определяет отношение Маркса и Энгельса к зарождающемуся народничеству.

Предложенный Прудоном путь перехода к общественной собственности и безвластию через вытеснение власти самоуправлением и через размывание собственности владением, стал основой взглядов его многочисленных сторонников, среди которых наиболее важную роль сыграли прудонистские фракции Интернационала и Парижской Коммуны, лидер Испанской республики Пи-и-Маргаль, русские народники.

Глава IV

Возникновение общинного социализма

У истока идеи.

Герцен.

Основоположником народнической идеологии является русский демократ **Александр Иванович Герцен (1812-1870)**. Приехав в Западную Европу "западником", сторонником либерального общественного устройства, Герцен своими глазами увидел, что западная "демократия" и экономическая свобода оборачиваются закабалением большинства населения и диктатурой узкой группы собственников. Он констатировал: «государственные формы Франции и других европейских держав не совместимы по внутреннему своему понятию ни со свободой, ни с равенство, ни с братством»[337].

По "правилам" идеологической игры того времени Герцен должен был бы вернуться в лоно "патриотизма", воспеть преимущества российского общественного порядка, который может изменяться постепенно в рамках отечественных традиций (такую позицию в большей или меньшей степени отстаивали противники "западников" "славянофилы"). Но Герцен был неутомимым критиком российского деспотизма и отсталости, он знал о пороках российского общественного устройства не хуже, чем о язвах западных стран. И либералом Герцен быть не мог. “Думали ли вы когда-нибудь, что значат слова “человек родился свободным”? Я Вам их переведу, это значит: человек родится зверем — не больше”[338]. Герцен слишком любит человека, чтобы спокойно смотреть на его мучения в фабричной системе, на бесправие миллионов людей, которые не попали в элиту.

В этих условиях Герцен сумел синтезировать достижения "западничества" и "славянофильства", создав новую социальную идею, сочетавшую ценности свободы, гуманизма и солидарности – общинный социализм или народничество[339].

Синтез этот по своим принципам оказался близок прудонизму и во многом предвосхитил его. В то же время было и обратное влияние: Герцен считал «Систему экономических противоречий» Прудона самым серьезным экономическим произведением последнего времени, называл Прудона учителем[340]. Но Герцен, являясь последователем Прудона, не стал прудонистом. В 50-е гг. он пишет об «отце анархии» с разочарованием: в работах Прудона конца 50-х гг. «видится уже не анархия, не уничтожение власти, государства, а строгий чин, с централизацией, с вмешательством в семейные дела, с наследством и с лишением его за наказание»[341]. Прудон пытается выстроить конструктивную модель общества будущего, в котором будут реализованы все полезные функции, которые худо ли бедно обеспечивает государство. Новое общество должно поддерживать единство территории и экономики (Герцен увидел в этом опасную централизацию власти, которой в прудоновском проекте нет) и даже решать вопросы наследования (удачно или нет предлагает сделать это Прудон – другой вопрос).

Герцен, увидев конструктивное начало будущего в общине, выросшей из народной самоорганизации, готов признавать только то, что вырастает органически, а не по проекту. Герцен разделяет принципы Прудона, но настроен скептически к его «конституционным» проектам. Однако практика показала, что практичнее – Прудон. В начале 60-х гг. Герцен, как мы видим, сам будет вынужден искать «строгий чин»,

конституционные формы применения прудоновского федерализма в условиях начавшихся в России реформ.

Подобно Прудону, Герцен не отрицает собственность и не считает ее абсолютным правом. В прудоновской терминологии следует искать и ключ к пониманию проблемы Герценом — отрицание собственности и поддержка владения, неабсолютной, относительной собственности по Герцену. Он мог представить живой пример системы, основанной на владении — общину.

Комментируя взгляды Прудона, Герцен писал: "С чисто экономической точки зрения Прудон не видел ничего лучшего, кроме нашей общины, но она не могла быть принята Западом как идеал развития... Прежде всего, сохранение в России общины и утрата ее Западом рассматривалось им как результат стихийного развития. Вернуть Запад к общинному началу иначе, как путем социальных потрясений, нельзя, а этого Прудон, сторонник мирных преобразований, допустить не мог"[342]. На Западе модель самоорганизации, подобная усовершенствованной общине, должна была выращиваться из уже существующих социальных форм, например профсоюзов, производственных ассоциаций, кооперативов.

Община для Герцена – лишь одна из моделей самоуправления. Другой является артель работников, которая "устроена для себя, а не против кого-либо"[343].

Народникам немало доставалось от критиков за идеализацию общины. Мы увидим, что это – несправедливый упрек. Но важно понять, что община для них – вообще не идеал демократии, а лишь удобная стартовая точка, **опора для развития общества к социализму**. "Мы русским социализмом называем тот социализм, – писал Герцен, – который идет от земли и крестьянского быта..., от общинного владения и общинного управления... навстречу той экономической справедливости, к которой стремится социализм вообще, и который подтверждает наука"[344].

* * *

Община – это самоуправление крестьян, имеющее в своем владении землю. Для Герцена особенно важно народное отношение к земле, которое «состоит в том, что будто бы всякий работающий на этой земле имеет на нее право, как на орудие работы»[345].

Что нам, современникам индустриальной эпохи, до этой крестьянской мечты о земле? (Пока поля снова не поделены частными собственниками, не огорожены колючей проволокой или не погибли под воздействием пагубных экологических изменений). Но Герцен извлекает из крестьянской среды общий принцип, который приложим к любому работнику, не только сельскому. Работник имеет право на средства своей деятельности, и если он работает коллективно, то и право это коллективное. Таково решение проблемы, поставленной Прудоном – никто не имеет собственности, понимаемой как суверенитет над вещами, с помощью которых работают другие люди. При таком подходе никто не может разориться окончательно, если он продолжает трудиться. Потерпев неудачу в одном деле и занявшись другим, включившись в другое сообщество, работник все равно сохраняет владение, право на распоряжение как средствами производства, так и продуктом своего труда, на участие в управлении производственным процессом. **Работник остается равноправным участником общего дела.** В этом – суть антиавторитарного социализма – прудонизма, народничества и близких им течений.

Община – это живая организация помощи слабым, ограничивающая своеволие сильных. Герцен пишет: "Ее экономический принцип — полная противоположность знаменитому положению Мальтуса: она предоставляет каждому место за своим столом"[346]. Община позволяет людям самостоятельно перераспределять ресурсы в зависимости от изменения ситуации, учитывать интересы новых поколений

независимо от материального положения родителей. В середине XX в. мальтузианская проблема (нехватка ресурсов из-за роста населения) потеряла остроту. Люди не привязаны к земле, дефицит ресурсов ушел в прошлое. Но не надолго. В начале XXI века Мальтус снова актуален. Исчерпание ресурсов снова в повестке дня. А значит, актуален и социалистический принцип, по которому каждый человек имеет право на место за столом.

* * *

Герцен цитирует вышедшую в 1847 г. книгу А. Гакстгаузена о русской общине и солидаризируется с ней: "Каждая сельская община представляет собой в России маленькую республику, которая самостоятельно управляет своими внутренними делами, не знает ни личной земельной собственности, ни пролетариата и уже давно довела до степени совершившегося факта часть социалистических утопий; иначе жить здесь не умеют; иначе никогда даже здесь и не жили"[347]. Однако немецкий наблюдатель с точки зрения Герцена даже идеализирует общину. Сам Герцен более осторожен, он напоминает о поглощении личности общиной и о том, что именно община является базисом самодержавия.

В то же время Герцен защищает общину от неверной с его точки зрения критики Гакстгаузена. Так, немец считает старосту местным деспотом. Герцен возражает: "Староста и его помощники избираются миром". Он "обладает большой властью в отношении каждого члена в отдельности, но не над всей общиной; если община хоть сколько-нибудь единодушна, она может очень легко уравновесить власть старосты, принудить его даже отказаться от своей должности, если он не хочет подчиняться ее воле". Многие вопросы решаются по обычаю, советом стариков или мирским сходом[348]. По истечении срока службы староста вставал перед миром на колени, и каялся, если причинил какое-либо зло[349].

Но это — только основы демократии, архаичные и консервативные. В этом состоянии **община еще далека от социалистического идеала**, ей предстоит развитие.

Народники сходились на том, что общину нужно освободить от невежества, пресса налогов, от деспотизма самодержавия и помещиков. Поэтому общинный социализм – свободное самоуправление организованных в общины тружеников – невозможен без демократии, без освобождения крестьян от крепостничества и без передачи им всей земли.

Народники выделяют то в общине, что особенно близко их программе: «Вот каково подлинное управление общиной:

Управляющий (староста, исполнительная власть), избирается миром, т.е. общим голосованием общины один раз в год или в три года. Если община не довольна им, то она сменяет и даже судит его в случае злоупотреблений. Отчеты старосты община выслушивает ежегодно и чаще, если она это считает необходимым… Все дела решаются публично, так как весь народ принимает в этом участие»[350], – утверждает Н. Огарев. Он рассказывает также о третейском суде и единогласном голосовании по спорным вопросам.

Это правда, но не вся правда. Демократические традиции, описанные Огаревым и другими народниками, бытовали, но не везде и не всегда. Опираясь на поддержку помещика и урядника староста мог оказаться сильнее общины. Так что картина Огарева – это скорее прогноз того, какой может стать община в условиях демократии. Здесь же Огарев рисует картину союзного волостного управления – федерации, которой в реальной России не было.

Герцен и Огарев осознавали, что реальная община медленно развивается в сторону социализма. «Еще в 1849 г., — пишет историк В.Ф. Антонов о Герцене, — …он объяснял "слишком малое движение" в

общине отсутствием воздействия на нее толчков извне, которые "побуждали бы ее к развитию". Он не находил в общине "конкуренции, ... внутренней борьбы, создающей разнообразие и движение"(VI.204). Надо полагать, после реформы, когда в общине сложились узаконенные две формы собственности, общая на землю и личная на все другое имущество, уже были устранены основные препятствия движению ее внутренних сил, и весь вопрос для Герцена стал сводиться к тому, чтобы создать препятствие для злоупотреблений частной собственностью. Однако он не говорил, какие контрольные механизмы должны быть для этого созданы.

Общинное владение землей гарантировало пожизненное обеспечение каждого крестьянина земельным наделом и таким образом решалась принципиально важная для Герцена задача — исключение пролетаризации деревни. Именно в этом и заключалась исторически-спасительная миссия общины. Но в ней же он теперь видел и рычаги прогресса. Крестьянин, получив на весь свой век земельный надел, начинал вести свое, по сути дела, частное хозяйство. Все его благополучие оказывается в зависимости от его личного усердия и умения, его личной воли как рациональнее использовать землю по своему усмотрению и для личных целей. Главным стимулом к труду является сознание того, что только он, работник, будет владельцем и распорядителем произведенного им продукта. "Человек, – писал Герцен, – серьезно делает что-нибудь только тогда, когда делает для себя"(VI.60). Психология частника, стремление жить лучше вызовет соперничество производителей, их конкуренцию, что было невозможно в крепостной общине. На помощь придет наука технологии производства, опыт и сельско-хозяйственная техника Запада. Все это вместе обеспечит тот прогресс, то "развитие и движение", которого не было в прошлом, и которые Герцен теперь связывал исключительно с общинным производством»[351]. Как видим, В.Ф. Антонов обращает внимание на неожиданную составляющую герценовского социализма — психологию частника. Частное (точнее личное, индивидуальное, чтобы не путать с частной собственностью и частно-капиталистическим предприятием, основанном на наемном труде, о которых здесь речь не идет) хозяйствование не исключает конкуренции, соревновательности и рынка. Оно лишь не позволяет им принять разрушительное направление и привести массы разорившихся крестьян в новое рабство — на этот раз наемное. В.Ф. Антонов реконструирует взгляды Герцена и его товарища Огарева на перспективы развития общинного производства: «Производство это, как можно судить по переписке 1861 г. с английским историком Ч.Г. Пирсоном (XXX. Кн.2. 588-589), пройдет два этапа развития. Первый, о чем уже сказано, будет основан на общем владении землей и частном характере производства, во втором же осуществится принцип коллективного владения и коллективного производства. По этому поводу Огарев писал: "Я считаю – не как социалист, а просто как русский, – систему разделения полей между членами коммуны переходным шагом к общественной обработке земли и разделению доходов; эта система используется нашим народом во всех прочих отраслях промышленности (плотники, каменщики и т.д.), где рабочие трудятся в объединениях, называемых артелью, и разделяют заработок между членами артели почти поровну. Я думаю, что будущее нашего сельского хозяйства в обработке земли артелями: дух сельской жизни тяготеет к этому решению вопроса" (XXX.Кн.2.589). Герцен полностью разделял приведенное суждение Огарева. Окончив 31 октября 1861 г. письмо Пирсону, Герцен передал "перо Огареву, который, – говорил он, – тоже хочет сообщить вам несколько замечаний". Они и состояли в приведенном выше тексте Огарева”[352].

Итог социалистического преобразования общины — **коллективное производство, владение и распределение**. Огарев считал, что переход к коллективному производству произойдет по мере использования машин[353]. В чем же различие народнических идей об общине и планами колхозного строительства в СССР? В демократии, добровольности и, главное — в самоуправлении. Ничего не идет сверху, от государственного центра. Социалистический коллектив волен сам решать, как ему жить, а колхоз подчиняется вышестоящему руководству. Коллектив самостоятелен и принимает решения сам. Колхоз —

основа тоталитарного подчинения сельского пролетариата бюрократическому классу.

Но зачем вообще нужна эта общественная обработка земли, о которой мечтали народники и к которой, хотя и варварскими средствами, пришли коммунисты? Почему было не поддерживать фермерский путь развития сельского хозяйства. Ответ — в аграрном перенаселении России, в нехватке земли. Фермерский путь оптимален, если существует избыток плодородной земли. Тогда фермер прокормит себя, получит дополнительные средства, необходимые для закупки техники. Но в России для прокормления всей массы крестьян (не говоря уже о дополнительных ресурсах, которые должен получить город) необходима была быстрая интенсификация аграрного производства — внедрение техники, которая могла бы развернуться только на объединенных крестьянских наделах. Технические тенденции второй половины XIX – начала XX вв. отдавали преимущество крупному аграрному хозяйству. Но если с точки зрения либеральной политэкономии это хозяйство должно обеспечивать интересы прежде всего собственника земли, то по Герцену — каждой работающей в коллективе личности, а по Сталину — государства.

Важная проблема, вокруг которой кипели страсти в российской общественной мысли с конца XIX в. (продолжаются они и по сию пору) — экономическая неэффективность общины, которая препятствует деловой активности крестьян. В защиту экономической эффективности общины выступил **Николай Гаврилович Чернышевский** (1828-1889), ведущий из проживавших в России идеологов народничества 50-60-х гг. В.Ф. Антонов пишет о его экономических исследованиях: “Делая при этом даже некоторые уступки в пользу фермерского хозяйства, показывал, что труд общинников по сравнению с трудом вольнонаемных рабочих фермера оказывался неизменно и существенно более выгодным: общинники трудятся на себя и весь произведенный ими продукт принадлежит им, тогда как значительная часть продукта труда рабочих фермера в качестве ренты отчуждается в его пользу. Это обстоятельство позволит общине устоять в соревновании с фермой в переходный период, а в дальнейшем, с переходом к общественной обработке земли уже в период строительства собственно социализма, постепенно и окончательно вытеснить ферму с лика российской земли”[354].

Несмотря на некоторую умозрительность вычислений Чернышевского, развитие пореформенной экономики подтвердило — общинное крестьянство действовало на рынке в целом успешнее помещиков. Зажиточные крестьяне иногда проявляли недовольство общинными порядками, иногда — опирались на них. Даже столыпинская реформа, снявшая остатки государственной поддержки общины и искусственно разрушавшая ее, не достигла цели.

От существующей общины до социализма – большой путь. Община должна избавиться от своих многочисленных недостатков, крестьяне – преодолеть культурную отсталость, бесправие, покорность чиновничеству.

Герцен признавал, что принцип самоуправления в общине находится «в зачаточном состоянии», но он быстро развивается в условиях реформ[355]. И революционеры должны помочь этому процессу: «Вся задача наша теперь состоит в том, чтобы развить полную свободу лица, не утрачивая общинного владения и самой общины"[356].

Член общины должен иметь «все права, принадлежащие ему как особе, не утрачивая при этом прав, которые он имеет как член общины»[357]. Формулой народничества становится **синтез свободы и солидарности**.

Важная проблема народничества — провести различие между существующей общиной и демократической сущностью общины, которая может стать основой будущего. Нет ли в этом аналога марксисткой идеализации пролетариата? Народнический идеолог Николай Михайловский обрушивается на идеализацию общины: «Идеализация мужика есть не только ложь, но ложь особенно вредная.

Изображение приятных во всех отношениях мужиков и баб, когда-то бывшее у нас в моде, возможно только там, где изображаемый мужик и изображающий писатель находятся за тридевять нравственных земель друг от друга»[358]. Эта критика должна опустить идеалистов-народников на почву реальности, но не означает отказа от поиска именно в народной среде принципов будущего общественного устройства, которое должно соответствовать народной психологии: «Что мужик сплошь и рядом живет по-свински — в этом не может быть никакого сомнения, да и странно бы было, если бы этого не было. Но каждый порядочный мужик имеет в своем распоряжении полную систему Правды, хотя и в смутном, зародышевом состоянии, или ищет ее — это тоже несомненно»[359].

К тому же либеральная альтернатива общинному коллективизму еще дальше от всеобъемлющей свободы: «Скажет: община стесняет свободу личности. Это старая сказка. Что такое свобода, независимость, длинная инициатива? Для практиков это устланный розами путь в бездонную пропасть… Свободен ли безземельный наемник, брошенный на произвол стихийного, т.е. бессмысленного и безнравственного закона спроса и предложения труда?… Личная инициатива возможна в экономическом порядке вещей только для собственника. Бойтесь же прежде всего и больше всего такого общественного строя, который отделит собственность от труда. Он именно лишит народ возможности личной инициативы, независимости, свободы»[360]. Личная свобода без социально-экономической — просто фикция по мнению Михайловского и других народников. Но и хозяйствование без личной свободы — та же животная беспросветность. «В ней нет свободы, а без свободы всякое общественное движение немыслимо»,[361] — писал Михаил Бакунин об общине. Но это не мешало ему считать общинную организацию моделью социалистического устройства, а русский народ – стихийным социалистом. Общину необходимо было во что бы то ни стало соединить с сознательной свободой культурно развитой личности.

* * *

Герцен вослед Прудону выступил за анархическую республику: “В республике так, как в природе, все дух и все тело, все независимо и все в отношении, все само по себе и все соединено, анархия не значит беспорядок, а «*безвластие*», self-government, — дерзкая повелевающая рука правительства заменяется ясным сознанием необходимых уступок, законы вытекают из живых условий современности, народности, обстоятельств, они не токмо не вечны, но беспрерывно изменяемы, отвергаемы»[362]. Соответственно, сама идея правительственной власти – это утверждение умственной неполноценности человека: «Убедить людей, что они в такой степени слабоумны, что не могут заниматься своими собственными делами – в этом суть всякого гувернментализма»[363].

В.Ф. Антонов показывает, что власть как организованное насилие по Герцену должна уступить место «власти» как принятию решений на основе свободной воли самоуправляющихся общин и согласования их интересов. “Герцен не противоречил себе, когда говорил, что анархия — это безвластие и, с другой стороны, вел речь о социальной республике, в которой "народ управляет своими делами", — считает В.Ф. Антонов. — Следовательно, в его представлении "анархия" не означает абсолютного безвластия. "Власть" остается, но кардинально, как показано, меняется ее сущность, ее предназначение. Она структурна, но снизу вверх. Принцип новой "власти" — свобода. Начиная с человека, общины, самодержавной в своих внутренних делах, каждая последующая ступень управления сохраняет ту же самостоятельность в пределах волости, округа, области и центра. Общины, волости, округа и области, формируя свои федерации, таким образом, снизу вверх создают ступенчатую федеральную систему социальной республики. Самостоятельность нижестоящих ступеней управления разгружала от лишних для них дел вышестоящие. "Чем свободнее лицо, община, город, провинция, тем, писал Герцен, меньше дела

государству; три четверти труда, обременяющие ныне правительства, будут делаться сами собой, без всякого участия и ведения центрального управления" (V. 181). По мнению Герцена, основные дела народного самоуправления будут сконцентрированы в волости. "Управление в республике, писал он, это волостное правление, народная контора, канцелярия общественных дел, регистратура народной воли, полицейский распорядок, исполнение..." (V. 182).

…Освободив таким образом все последующие ступени управления страной от канцелярских дел, Герцен в то же время указал, что их депутаты съезжаются "с такой или другой целью, но совокупность их не может представлять верховной власти, народ выбирает не господ, а поверенных, они не выше народа, над головой свободных людей ничего нет, ни даже неизменного уложения и окаменелого кодекса, республика смотрит на правительство вниз, оно не цель, а необходимость, не святыня права, охраняемая левитами, а контора и канцелярия народных дел" (V. 182, 364).

В принципе, очевидно, — комментирует В.Ф. Антонов, — можно распространить это объяснение Герценом деятельности съезда делегатов на все ступени федерации. Но при этом одно ясно, что съезды не представляют собой директивные органы управления, они скорее всего созываются для консультаций, согласования необходимых мер общего характера, затрагивающих интересы волости, округа, области и всей республики. В принятии решений они руководствуются только обстоятельствами возникшего дела, а не заранее сформулированным кодексом законов. На съездах, таким образом, царит дух свободного правотворчества, имеющего, так сказать, разовое применение. Или, как говорил Герцен, эти законы "не токмо не вечны, но беспрерывно изменяемы, отвергаемы" сообразно с "живыми условиями современности" (V. 364). Несколько позже, о чем будет сказано ниже, Герцен изменит свой взгляд на законотворческую деятельность Земского собора”[364]. Речь идет о предложениях Герцена и Огарева в период реформ Александра II, когда они соглашались на придание собору парламентских функций, причем даже в условиях конституционной монархии: “Царь должен стать земским. "Народ под земским царем представляет себе какую-то социальную республику, накрытою Мономаховой шапкой..." И Герцен, и Бакунин в 1862 г. допускали, что, стань такой царь во главе народного дела, никакая иная сила не могла бы противодействовать ему… Будет ли эта народная республика прикрыта шапкой Мономаха или нет — не имело принципиального значения. Земский царь — старшина, исполняющий волю Земского собора, не отпугивал редакторов "Колокола"[365], — комментирует В.Ф. Антонов.

Применительно к Бакунину это не так однозначно. Прибыв в эмиграцию из ссылки, Бакунин в работе «Народное дело. Романов, Пугачев или Пестель», изложил три сценария освобождения России от самодержавия, которые охарактеризовал этими тремя именами.

Реформатор Александр Романов в 1862 г. еще не исчерпал своего потенциала преобразователя. Бакунин исходит из того, что вероятность проведения демократических преобразований Романовым (и нынешним Александром, и даже «новым Петром») невелика. Выполнение этих задач означает революцию. «Итак, не в том вопрос, будет ли или не будет революция, а в том: будет ли исход ее мирный или кровавый?»[366] Бакунин рассматривает возможность лидерства Романова в такой революции чисто гипотетически, чтобы привести аргументы, которые практически исключают такую возможность. Если Романов начнет революцию сверху, он вступит в конфликт с дворянством, своей главной опорой. Поэтому мирное развитие революции сверху было бы желательно, но рассчитывать на него особенно не приходится. На троне восседает не сказочный добрый «земский царь», а «петербургский император в прусском мундире, тесносердечный немец, окруженный синклитом таких же немцев». Отделенный от русского народа не только социальными, но и культурными барьерами, император не способен исходить из интересов населения. Революционные задачи можно решить, только опираясь на силу. Либо силу народа, либо силу армии. Военный переворот – удачное повторение попытки декабристов – вариант «Пестель». Но тогда все будет зависеть от доброй воли военного диктатора. Совпадут ли намерения

диктатуры с интересами широких масс? Политический переворот может привести к новой тирании (это – проблема проекта Бланки и коммунистических партий XX века).

И сохранение самодержавия, и установление революционной диктатуры, которая станет подавлять народ во имя реформ, неизбежно вызовет социальный взрыв. На сцену выйдет Пугачев. Перебрав варианты, Бакунин станет проповедником массового народного бунта. Однако он понимает всю опасность этого лекарства, всю его горечь. Лидеры социальной революции должны быть мудры, иначе на месте самодержавной России останется груда развалин, а не более совершенное общество. «Если Пугачев, то дай бог, чтобы в нем нашелся политический гений Пестеля, потому что без него он утопит Россию и, пожалуй, всю будущность России в крови»[367]. Пестель здесь – не реальный декабрист, а символ революционера-интеллигента, человека высокой культуры. Но только как он сможет управлять разбушевавшейся народной стихией? Это – серьезная проблема. Революция – неуправляемый смерч, она будет разрушать все – и вредное, и ценное. Нельзя доверяться в решении такой сложной проблемы одной личности. Бакунин будет искать решение проблемы в создании революционной организации.

В любом случае из этой статьи видно, что апелляция к Александру II была для Бакунина чисто тактическим ходом. Выход из кризиса России Бакунин тогда видел на пути социальной революции, которую направляют революционеры-интеллектуалы. Отсутствие этой интеллектуальной «начинки» превратит движение в погром, а надежды только на нового Пестеля – в бланкистский заговор.

Выдвигая требование к царю созвать земский собор, демократы решали несколько задач. В случае если либерализм Александра распространяется достаточно далеко, решение о созыве земского собора открывает дорогу к расширению революционной борьбы ненасильственными средствами (что, разумеется, предпочтительнее). Если, что более вероятно, царь сохранит приверженность авторитарному принципу самодержавия, отказ созвать Собор будет способствовать разоблачению либеральных и монархических иллюзий. Тем более, что пока в народе существуют монархические иллюзии, народники должны учитывать их в своей пропаганде.

Уже в 1863 г. наступит пауза в реформах Александра II, и демократы оставят свои тактические игры. Бакунин сосредоточится на создании революционной организации и будет с сожалением вспоминать об этом «времени компромиссов». Но пройдет несколько лет, забрезжит возможность достичь компромисс с либералами в «Лиге мира и свободы», и Бакунин ринется туда. Его темперамент протестовал против компромиссов, но разум толкал к ним. Чтобы радикальные идеи глубже проникали в общество, необходимо вступать в компромиссы с его предрассудками и их носителями.

Позднее, когда борьба за республику оказалась в центре политических программ, предложения Герцена казались чуть ли не предательскими. Но по прошествии XX в. становится ясно, что монархический принцип почти безразличен как демократии, так и уровню социального благосостояния. Монархическое государство может обеспечивать и больше, и меньше свобод человеку, нежели республиканское. Герцен стремился к федерализму и социализму, и ему было безразлично, кто станет формальным главой новой России. Лишь бы она была новой, и лишь бы власть главы государства была формальной.

Предложения Герцена начала 60-х гг., таким образом, это не изменение взгляда на государственность и законотворчество, а тактический поиск пути преодоления самодержавия.

* * *

По представлению Герцена должна возникнуть тесная связь самоуправления общин и самоуправления регионов, когда вышестоящий уровень политической организации получает столько

полномочий, сколько ему дает соглашение нижестоящих организаций, а сами вышестоящие органы формируются из делегатов нижестоящих. В результате не может возникнуть социальный слой бюрократии, связанный собственными интересами — решения диктуются снизу. В этом заключаются сформулированные еще Прудоном принципы **социалистического федерализма (делегирования)**. Политическая демократия проводятся не сверху вниз, а снизу вверх, распространяясь на все уровни общества вплоть до предприятия и местной общины. В этом Герцен видит последовательный демократизм (республиканизм), который связывает с социализмом: «мы республиканцы, и республиканцы последовательные, то есть социалисты»[368].

Все это дает В.Ф. Антонову основание утверждать, что “Герцен выступил в роли архитектора-анархиста, антигосударственника. Следовательно, создаваемое им народническое направление общественно-политической мысли и освободительного движения России появлялось на свет в пеленках анархизма. Да и сам Герцен едва ли не с пеленок был верен этому идеалу. "С 13 до 38 лет я, — писал он в сентябре 1850 г. Д. Маццини, — служил одной идее, был под одним знаменем: война против всякой власти, против всякой неволи, во имя безусловной независимости лица. Я буду продолжать эту маленькую партизанскую войну как настоящий казак..."[369]. Но это – длительный партизанский поход.

По мнению Герцена “государство, как рабство, "идет к самоуничтожению", хотя его и "нельзя сбросить с себя, как грязное рубище, до известного возраста"[370]. Свободный выбор конструктивных, продуманных решений – результат знаний. Эта связь так формулируется Герценом: «Логика – это анархия мысли, – нет необходимости применять власть, чтобы убедить меня, что 2+2=4»[371] (добавим, что иногда приходится применять принуждение к подростку, чтобы он научился арифметике и тем более логике). Из этих высказываний Герцена видно, что он непосредственно увязывает продвижение к безгосударственному обществу и способность личности воспользоваться свободой. Это может быть обеспечено культурным уровнем человека и коллективом как его экономической опорой в эпоху разделения труда.

Анархо-федерализм гарантирует подлинное самоуправление, а подлинное самоуправление — **свободу культурной личности в общине** — основу социальной философии народничества.

* * *

Герцен, а затем и Чернышевский (после 1853 г.) избрали **прудоновскую стратегию** движения к будущему обществу. Анархизм сочетается у Герцена с реформизмом, критическим отношением к насилию и защитой постепенности, эволюционности продвижения к анархическому обществу. Такими же были и взгляды «отца анархизма» Прудона. "Я и теперь еще убежден, — писал Герцен в 1865 г., — что мы можем идти далее по пути социального развития без общих потрясений, без экспроприации, без колонизации, без всех тех страшных вещей, которыми в Европе останавливают, как медузиной головой, естественный ход дел"[372]. Движение к свободе невозможно путем революционных скачков в обратную сторону — к диктатуре. Революция закрепляет тот общественный строй, который побеждает в результате ее. Но немедленный переход от авторитарного строя к абсолютной свободе невозможен. Поэтому стратегия освободительного движения также может иметь два основных варианта: либо революционная диктатура, которая меняет социально-экономический строй, но отдаляет свободу (и тем качественно искажает сам характер нового строя, удаляя его от социалистических идеалов), либо постепенное эволюционное движение, когда каждая новая социально-политическая система предоставляет человеку больше личной и социальной свободы, чем предыдущая. Эту стратегию избрали прудонисты и основатели народничества.

Герцену враждебен любой централизм власти, даже если он осуществляется под социалистическим

знаменем. В.Ф. Антонов так реконструирует ход рассуждений Герцена: “Социализм без "политической свободы, без равенства в правах быстро выродится в авторитарный коммунизм" (XX. Кн.1. 88-89). А это несовместимо с идеалами свободы. Надо ликвидировать централизацию, которая убивает все индивидуальное, характерное, местное; она "всегда будет качаться между Николаем и Бонапартом»». Революционное правительство *«чрезвычайно* управляет... во все вмешивается, все регламентирует, обо всем беспокоится» (XIV. 22; XII. 53). «Но Герцен не допускал и абсолютной децентрализации, как в Германии, которая, писал он, «лежит в своем расчленении» (XIV. 22). Есть среднее между этими крайностями – *федерация* по американскому и швейцарскому образцу. Он утверждал, что централизация «противна славянскому духу; федерализация гораздо свойственнее его характеру» и может осуществиться при социализме (VII. 315, 316)»[373]. Не удивительно, пишет В.Ф. Антонов, что «в советской литературе анархизм справедливо представлялся врагом марксизма, в данном случае централизации управления при диктатуре "пролетариата". Но она видела в нем и отрицание всякого порядка, дисциплины во имя абсолютного своеволия. Однако герценовское понимание анархизма совсем иное. Поясняя его, он писал: "...если "анархия" значит беспорядок, произвол, разрыв круговой поруки, несоответствие разуму, то социализм борется с ней еще более упорно, чем монархия" (XXV. 257). Это новый, непохожий ни на одну из его западных ветвей, народнический анархизм...”[374]. Все же «непохожесть» народничества не стоит преувеличивать. Между взглядами Герцена и Прудона нет принципиальных различий. Герцен и Чернышевский признавали Прудона своим учителем и с большим пиететом относились к Оуэну, Блану и др. западным социалистам. Но Герцен не был эпигоном прудонизма, он был вполне оригинален в своих ключевых идеях, и в конце жизни уже учитель шел во след ученику. Прудонизм и народничество — два варианта по сути одного течения социализма — федеративного, антиавторитарного, реформистского и анархического по своим стратегическим целям.

Проанализировав взгляды Герцена и Чернышевского, В.Ф. Антонов заключает: «народничество возникло как мирное, реформистское анархо-социалистическое движение”[375]. Этот вывод по крайней мере применительно к Герцену подтверждается и другим авторитетным исследователем народничества Н.М. Пирумовой: «Федерализм Герцен имел в виду не государственный»[376]. Под социализмом Герцен понимал «общество без правительства»[377].

Анархизм Чернышевского, выраженный не настолько недвусмысленно, как у Герцена, Лаврова и тем более Бакунина, может вызвать сомнение. Чернышевский является анархистом только с точки зрения его общественного идеала. Он положительно отзывается о государстве, понимая под ним легальный порядок, дает описание предпочтительного государственного порядка — демократического: «Демократическое государство есть, – писал он, – союз республик или, лучше сказать, образуется из нескольких постепенных наслоений республиканских союзов, так что каждый довольно значительный союз состоит, в свою очередь, из союза нескольких округов, – таково устройство Соединенных штатов»[378]. Ссылаясь на несколько идеализируемый опыт США, Чернышевский пишет: «В них каждая деревенька есть особенная республика; из соединенных нескольких деревень образуется приход, который опять-таки составляет самостоятельную республику; из соединения нескольких приходов образуется новая республика – графство; из нескольких графств – республиканский штат; из союза штатов – государство»[379].

В.Ф. Антонов комментирует представления Чернышевского о демократии: “Эта система тем именно и привлекала Чернышевского, что, во-первых, она складывалась по воле народа снизу и, во-вторых, в ней, по его мнению, нисколько не было бюрократии. Идеальной в этом отношении представлялась ему и швейцарская федеративная демократия. Там «каждый кантон может иметь у себя даже особенное войско». Этот порядок самостоятельности частей в целом, едином, он и выразил формулой: «Демократия требует самоуправления и доводит его до федерации».

«Демократия, – высказывал Чернышевский свой взгляд на взаимодействие народа и власти в системе

самоуправления, – требует полного подчинения администратора жителям того округа, делами которого он занимается. Она хочет, чтобы администратор был только поверенным той части общества, которая поручает ему известные дела и ежеминутно может требовать у него отчета о ведении каждого дела»[380].

Чернышевский не просто демократ, но в политическом отношении единомышленник Прудона и Герцена. В.Ф. Антонов пишет о понимании политических условий новой экономики Чернышевским: “Ему, как и Герцену, они представлялись в образе анархо-федералистского самоуправления”[381].

Означает ли близость экономической модели Чернышевского к построениям анархистов, что он был также привержен политическому анархизму? Ссылка на США и Швейцарию не исключает анархистской перспективы — Чернышевский, как потом и Бакунин, ссылается не на реальные США, а на идеализированный образ, необходимый для подтверждения возможности существования федерализма. Анархизм является осознанной перспективой федералистской модели Прудона и Герцена, за которыми идет Чернышевский. Но Чернышевский полагает, что и при федерализме будет существовать правительство, собирающее налоги: «...деньги для правительственного вмешательства доставляются налогом; из этого, конечно, следует, что необходима бережливость... Правительство не должно тратить денег на такие дела экономического вмешательства, которые не стоят требуемого ими расхода... и вообще на всякие другие дела правительство не должно тратить денег, если цели не стоят расходов”[382]. Что это за вмешательство? Напомним, что Чернышевский — последователь не только Прудона и Герцена, но и Луи Блана. Он считает, что правительство будет регулировать хозяйственную жизнь, создавать автономные, но зависимые от него предприятия. Эта модель не является полностью анархической.

Таким образом, Чернышевский — демократ и федералист. Его политический проект не является анархистским, хотя не исключает анархистской перспективы (в отличие от Герцена, который прямо предполагает движение именно к анархистскому идеалу).

*** * ***

Суммируя свою программу, Герцен пишет: "Итак, элементы, вносимые русским крестьянским миром, элементы стародавние, но теперь приходящие к сознанию и встречающиеся с западным стремлением экономического переворота, состоят из трех начал, из:

1) права каждого на землю,

2) общинного владения ею,

3) мирского управления.

На этих началах, и только на них, может развиться будущая Русь"[383]. Это — программа для аграрного общества. Переформулируем эти принципы более универсально:

1) право каждой личности на доступ к ресурсам и средствам труда;

2) коллективное владение ими;

3) самоуправление в рамках коллектива и общины, их федеративное объединение снизу вверх.

Добавим и четвертое ключевое положение взглядов Герцена: **свобода личности, понимаемая как ненасильственное самовыражение культурного человека.**

Реформистская стратегия антиавторитарного (либертарного) социализма роднит идеи Оуэна, Прудона, Герцена и Чернышевского — социалисты стремятся создать элементы будущего общества в настоящем. “Чернышевский неизменно стремится утвердить идею возможности мирного и легального

общественного преобразования с помощью развития производственных товариществ”[384], — пишет В.Ф. Антонов о «мещанском социализме» Чернышевского. Н. Чернышевский в «Письмах без адреса» 1862 года резко критикует перспективу крестьянской революции, видит в ней угрозу «всей нашей цивилизации»[385]. Е. Плимак считает, что «здесь мы видим, как Чернышевский перестает быть крестьянским социалистом». А в романе «Что делать?» Чернышевский «выступал уже с позиции революционности пролетарской»[386]. Но ничего такого мы здесь не видим. Чернышевский критикует революцию, а не социализм. Соответственно, он остается социалистом, но не является революционером. В «Что делать?» нет никаких указаний на желательность именно пролетарской революции. Собственно, в этом романе нет ясных указаний даже на революционность Чернышевского – это вопрос более поздних толкований. Очевидно его внимание к заводскому «народу», но также и к другим городским слоям. Чернышевский стремится к распространению социализма из города, но нет указаний, что он боится его распространения в деревне.

В отличие от чисто коммунитарного, аполитичного движения народники всегда думали о политических условиях, обеспечивающих социальные преобразования. Без них производственные и территориальные общины, качественно отличающиеся от среды, будут раздавлены системой. В этом — угроза, связанная с реформизмом. Неторопливые темпы движения могут привести к его растворению в среде, поглощению окружающим обществом. Такая угроза, если она начинает преобладать, оправдывает радикализм, форсирование перемен.

* * *

Сам Герцен не считает свой социализм венцом человеческой истории: “Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущею, неизвестною нам революцией”[387]. Позиция народничества в этом отношении диалектичнее марксистской, для которой после коммунизма никакого нового социального строя не будет.

Герцен в России – такая же **корневая фигура** социальной мысли и практики, как Оуэн в Западной Европе. Сочетая достижения европейской мысли и почву русской культуры, Герцен быстро встал вровень с сильнейшими мыслителями своего времени и открыл дорогу многочисленным последователям. Согласимся с Н.М. Пирумовой в том, что «плодотворность поиска Герценом решения социальных проблем аграрной страны доказана полувековым господством народнической идеологии в России и близкими социальными моделями, возникшими в ряде развивающихся стан»[388]. Но значение идей Герцена далеко выходит за рамки аграрных стран и вполне созвучны нашему времени. Так что слова «развивающиеся страны» следует трактовать расширительно. Герцен актуален для тех стран, которые действительно развиваются.

Россия, сохранившая общину, оказалась своего рода экологическим резервом Европы, где выжили ростки отношений, необходимых по мнению народников для спасения цивилизации. “Германская община пала, встретившись с двумя социальными идеями, совершенно противоположными общинной жизни: феодализмом и римским правом. Мы же, к счастью, являемся со своей общиной в эпоху, когда противообщинная цивилизация гибнет вследствие полной невозможности отделаться, в силу своих основных начал, от противоречия между правом личным и правом общественным”[389] — пишет Герцен. «Противообщинная цивилизация» тогда не погибла, хотя и пережила тяжелейший кризис. Сегодня, в XXI веке, когда цивилизация вновь стоит перед лицом тяжелейших кризисов, идея возрождения низового

производственного и территориального самоуправления опять оказывается актуальной. Община не сумела пережить сталинских «великих потрясений». Но общинная психология, вероятно, оказалась более живучей. Герцен надеется, что «в шатких и неустоявшихся экономических и юридических понятиях, в смутном праве собственности, в отсутствии мещанства (имеется в виду класс мелких и средних собственников) и в необычайной усвояемости чужого мы имеем шаг перед народами, вполне сложившимися и усталыми»[390].

Прошел индустриальный XX век, требовавший от обществ стандартизации, строгости понятий, твердого выбора между своим и государственным, и Россия снова вернулась в переходное, неустоявшееся и **восприимчивое состояние**, о котором писал Герцен. И если мир строгих правил и норм не устоит, то Россия снова получит преимущество «перед народами, вполне сложившимися и усталыми». Но сумеем ли мы воспользоваться этим?

Бакунин. Радикализм мысли и действия

Наиболее яркой фигурой народничества является, пожалуй, **Михаил Александрович Бакунин (1814-1876)**. Он стал одним из лидеров мирового социалистического движения XIX в. Бакунин известен не только как народник, но и как крупнейший теоретик анархизма. Его идеи представляют собой синтез народничества и прудонизма в их радикальном варианте. Радикализм Бакунина не исключает проработки конструктивной программы социализма. Конструктивная социальная модель Бакунина важна еще потому, что она стала принципиальной и последовательной альтернативой марксизму и так была воспринята последним.

Радикализм вообще бывает весьма различным. Радикализм мысли — доведение ее до последовательных далеко идущих выводов. Радикализм методов — стремление к немедленному воплощению идеи в жизнь независимо от состояния общества (такой радикализм как правило связан с насилием). Радикализму содержания часто противостоит радикализм формы — демонстративного отрицания устоев существующего общества и кричащих призывов, которые в силу своей простоты и непродуманности редко приближают движение к его идеалу.

Бакунин, «великий бунтарь», весьма радикален во всех отношениях. Для нас здесь важнее всего его конструктивная программа как развитие и дальнейший синтез учений Прудона и Герцена, а отчасти и Маркса. Бакунин признавал себя учеником Маркса и так формулировал, какие идеи он воспринял у учителя: «я понимаю теперь, до какой степени ты был прав, следуя и приглашая нас идти по проторенной дороге экономической революции и резко порицая тех из нас, которые сбивались на тернистый путь либо национальных, либо чисто политических действий»[391]. Впрочем, уже через год Бакунин станет критиковать Маркса за уклонение от экономической (социальной) революции к политической. Но это будет через год[392]. Так что ученичество оказалось относительным.

Был ли Бакунин учеником Прудона? Преемственность их идей очевидна, и приоритет Прудона при формулировании конструктивной программы анархизма не вызывает сомнений. Это позволяет говорить о Прудоне как об учителе Бакунина[393]. Н.А. Пирумова настаивает, что общение Прудона и Бакунина «не носило характера отношений учителя и ученика»[394], тем более, что Бакунин критиковал Прудона за отрицание экономического детерминизма и учил Прудона диалектике. Кто только не учил Прудона диалектике и на этом основании может претендовать на роль его Учителя. Но, как мы видели, у Прудона было несколько источников знакомства с учением Гегеля, и если уж понадобится указать Учителя философии, то у Маркса, Бакунина и Прудона он общий – Гегель. Все ученики по-своему оригинальны. Но они учились не только философии, и у них было по несколько учителей. Так что философские беседы Прудона и Бакунина никак не отменяют того факта, что в отношении социальной программы анархизма Прудон был учителем Бакунина. Разумеется, ученик не во всем следовал за учителем, но это – нормальное явление.

Н.М. Пирумова считает, что Бакунин не трансформировал взгляды Прудона, а создал принципиально новое направление анархизма – революционное. Но в чем здесь принципиальная новизна? Прудон также считал себя революционером и практически участвовал в событиях революции. Прудон и Бакунин несомненно различаются тактикой и темпераментом, но это – еще не основание говорить о принципиально новом направлении, созданном Бакуниным. Для принципиально нового направления нужна принципиально новая программа. А в этом отношении Бакунин следует за Прудоном, расходясь лишь в формах применения к ситуации общих идей анархии, федерализма, взаимопомощи и коллективной силы. Бакунин – крайне левый последователь Прудона, но все же он – последователь, а не наоборот. Важно, однако, оговориться, что Бакунин не сразу воспринял учение Прудона, сохранив его в копилке

своих знаний на полтора десятилетия. В период революции Бакунин испытывал гораздо большее воздействие воззрений времен Великой французской революции, а также русского декабризма. Под влиянием другого ученика Прудона – Герцена, Бакунин вернулся к идеям федерализма и общинной демократии, о которых в общей форме говорил уже в 1847 г.[395]

Затем, подчиняясь своему революционному темпераменту, Бакунин заострил эти идеи до уровня революционного анархизма, по своему радикализму превосходящие конструктивный анархизм Прудона, но заимствующие его программу преобразования общества и ряд ключевых идей (собственно, анархия, отрицание не только частной, но и государственной собственности, «социальная ликвидация» и др.). Теоретическая заслуга Бакунина заключается в том, что он, как никто последовательно, соединил конструктивную программу Прудона с идеей социальной революции.

В то же время, как и Прудон, Бакунин не был чужд эволюционизму. Он считал, что до утверждения новых принципов общества необходимо 50-100 лет, и нельзя принимать в революционную организацию людей, имеющих «безумную мысль» немедленно реализовать анархию[396].

* * *

В 1863 г. Бакунин писал о славянах, приписывая народу собственную программу: «Верные старинным традициям, они требуют сегодня, как и прежде, но с еще большей настойчивостью, чем когда-либо, свободы, полной свободы для народа и земли для него, т.е. эмансипации общин, владеющих землей и самоуправляющихся при помощи выборных лиц, полное уничтожение всякой бюрократии и всей этой немецкой организации империи, — административной автономии провинций и, вместо этого гнусного централистского государства, федерацию провинций. Таков идеал, такова народная воля»[397]. Как видим, уже в это время Бакунин выдвигает анархистскую программу (хотя, как мы увидим, готов отступать от нее ради переходных мер).

Как и у Герцена, ключевым в теории Бакунина является понятие **свободы**. По его мнению, "свобода человека состоит единственно в том, что он повинуется естественным законам, потому что он сам признает их таковыми, а не потому, что они были ему внешне навязаны какой-либо посторонней волей — божественной или человеческой, коллективной или индивидуальной"[398]. Личность, как и в либеральной доктрине, является точкой отсчета в концепции Бакунина.

Однако свобода не означает независимости человека от других людей. Свободным можно быть только среди свободных: " Истинно свободным я становлюсь только через свободу других, так что, чем многочисленнее свободные люди, тем более обширной, глубокой и широкой становится и моя свобода"[399]. Свобода и солидарность людей нераздельны.

В своих социальных построениях Бакунин следует за Прудоном и Герценым, но у него будущее не столько модель, сколько процесс воплощения. Бакунин редко описывает должное (это сделали предшественники). Он ищет пути в желанное будущее.

На место централизованной иерархической организации общества сверху должны прийти самоуправление и самоорганизация снизу. Бакунин пишет о «самостоятельной свободной организации всех единиц или частей, составляющих общины, и их вольной федерации между собою снизу вверх, не по приказанию какого бы то начальства, даже избранного, и не по указаниям какой-либо ученой теории, а вследствие совсем естественного развития всякого рода потребностей, проявляемых самою жизнью». Такое состояние Бакунин называл анархией[400].

Построение общества как свободной конфедерации самоуправляющихся объединений исключает

закрепление за кем-либо управленческих функций. Власть как социальное явление если и существует, то сводится к минимуму: "Всякий является авторитетным руководителем и всякий управляем в свою очередь. Следовательно, отнюдь не существует закрепленного и постоянного авторитета, но постоянный взаимный **обмен власти** и подчинения, временный и, что особенно важно, добровольный"[401]. Как видим, классик анархизма, вопреки распространенному мнению[402], не отрицает самой функции власти, но выступает против ее закрепления за какой-либо социальной группой.

Возражая Бакунину, Маркс писал: «Неужели, например, в профессиональном союзе весь союз образует свой исполнительный комитет?.. А при бакунинском построении «снизу вверх» разве все будут «вверху»? Тогда ведь не будет никакого «внизу». Неужели все члены общины будут в равной мере ведать интересами области?»[403]. Здесь видно органическое непонимание Бакунина Марксом. Маркс не может представить себе общества без жесткого иерархического разделения на «верх» и «низ». Позади юность с ее философскими парадоксами. Перед нами – зрелый политический муж, управленец. Он не понимает даже самой постановки вопроса о структуре общества, в которой «низам» обеспечено господство над «верхами», в котором нет жесткого закрепления статуса за управленцем. Бакунин выступает не против передачи полномочий отдельным лицам, а за возможность их оперативной смены, постоянного растворения их кастового интереса в текучести и сменяемости власти.

Такой подход подразумевает, что все население обладает достаточным культурным уровнем для осуществления функций власти. Он стремится к тому, чтобы в обществе «не оставалось и тени этого рокового разделения людей на два класса – на так называемый интеллигентный и рабочий, из которых первый служит представителем владычества и права повелевать, последний – представителем вечного подчинения. Нужно, чтобы все люди были в одно и то же время и интеллигентны, и трудолюбивы, чтобы никто не мог более жить за счет другого…»[404]

По мнению Бакунина, эта система человеческой организации вырастет из созданной революцией стихии.

Формула антиавторитарного социализма по Бакунину: «Земля принадлежит только тем, кто ее обрабатывает своими руками – земледельческим общинам. Капиталы и все орудия труда работникам – рабочим ассоциациям. Вся будущая политическая организация должна быть ничем другим, как свободною федерациею вольных рабочих, как земледельческих, так и фабрично-ремесленных артелей (ассоциаций)»[405].

Свободные коллективы, в которые объединяются работники в модели “Великого бунтаря”, должны координировать свою деятельность, объединять и согласовывать усилия: "Организация общества путем свободной федерации снизу вверх рабочих союзов, как индустриальных, так и земледельческих, как научных, так и союзов работников искусства и литературы, сначала в коммуну, потом федерация коммун — в области, областей — в нации и наций — в **международный братский союз**"[406]. Здесь предложена стройная система объединения, которая предполагает формирование политической системы на основе делегирования. А марксистские авторы до сих пор продолжают повторять, что образ нового общества у теоретиков анархизма был «довольно смутным»[407]. Конструктивные предложения Прудона и Бакунина во всяком случае определенней, чем у Маркса. Конкретный практический вариант делегирования Бакунин предложил во время восстания в Лионе в сентябре 1870 г.: “Все существующие муниципальные организации распускаются и заменяются во всех федерированных коммунах Комитетами спасения Франции, которые будут осуществлять все виды власти под непосредственным контролем народа…

Каждый комитет главного города департамента пошлет двух делегатов, которые все вместе составят революционный Конвент спасения Франции”[408].

Это — тоже политическая система, которая с точки зрения Бакунина не является государством.

Бакунин считает государством не любую систему принятия решений общенационального значения и не любую организацию общества, а только систему организованного насилия. В этом отношении он, как и Чернышевский, даже был склонен идеализировать некоторые государства[409]. Идеализация США и Швейцарии, извинительная, впрочем, в условиях пропагандирования людей с либеральными «предрассудками», в то же время указывает и направление движения общества к истинной демократии через ряд стадий. Для начала европейским странам от Британии до России будет полезен переход к федерализму хотя бы швейцарско-американского образца (В «Государственности и анархии» (1873 г.) Бакунин выступает уже против заимствования швейцарских политических форм, так как стало отчетливее видно их централизаторское ядро).

Выступая перед демократами, Бакунин призывает «заменить старую организацию, основанную сверху донизу на насилии и авторитарном принципе, новой организацией, не имеющей иного основания, кроме интересов, потребностей и естественных влечений населения, ни иного принципа, помимо свободной федерации индивидов в коммуны, коммун в провинции, провинций в нации, наконец, этих последних в Соединенные штаты сперва Европы, а затем и всего мира»[410].

Полемизируя с Мадзини, Бакунин выступает против сочетания централизованного бюрократического государства и автономии коммун: «Он ошибается: ни одна коммуна, взятая в отдельности, не сможет противостоять могуществу столь сильной централизации, она будет ею раздавлена… Нет середины между строго последовательным федерализмом и бюрократическим режимом»[411].

Это – и критика реальных США, которые только что пережили из-за указанного противоречия разрушительную гражданскую войну. Это – и предупреждение тем, кто в будущем будет искусственно стыковать федерализм и авторитаризм, создавая предпосылки для разломов народов по границам полу-автономных провинций, олигархии которых стремятся к независимости от общего пространства, игнорируя волю народов.

Еще одно предупреждение на ту же тему – признание права малых народов и отдельных коммун на полную автономию «при одном лишь условии, чтобы их внутреннее устройство не являлось угрозой и не представляло опасности для автономии и свободы соседних земель»[412]. Это ли не критерий для нашего времени (вспомним Чечню). Право на автономию и независимость должно быть обусловлено соблюдением определенных стандартов, которые гарантируют сохранение уже имеющихся прав и свобод. Бакунин пишет о том, что демократическое политическое устройство южных штатов перечеркивалось наличием рабства.

С этой оговоркой Бакунин отстаивает право на свободное отделение, «без которого конфедерация всегда будет лишь замаскированной централизацией»[413]. Так он переходит от федерализма США и Швейцарии к конфедерализму. Соединение территорий должно быть свободным.

* * *

Бакунин является наряду с Кропоткиным «классиком» анархизма, по нему принято судить об этом течении в большей степени, чем по взглядам таких идеологов анархизма, как Прудон и Герцен. При этом авторы иногда выпускают из виду собственную эволюцию Бакунина, который сам не сразу стал «классическим» анархистом. До 1866 г. у него можно встретить практические идеи, которые ставят Бакунина за грань собственно анархистской идеологии (как, например, Лаврова после 1875 г.).

Так, в рукописи 1864 г. «Международное тайное общество освобождения человечества» Бакунин выступает еще с полу-анархистских позиций, планируя создание революционной Директории, которая

обеспечит борьбу с контрреволюцией. В остальном структура власти, предлагаемая Бакуниным, уже полностью укладывается в анархистскую схему федерации союзов общин. Но «отступления» Бакунина от анархизма не остались не замеченными теми авторами, которые пытаются **«перекрестить» Бакунина из анархиста в этатисты**, государственники.

Исследователи, прежде далекие от анархистских идей, в наше время обратившиеся к их изучению, нередко с удивлением обнаруживают, что взгляды классиков анархизма не соответствуют бытовому представлению об анархии и анархизме. Вместо того, чтобы пересмотреть примитивное обывательское представление об анархизме, такие авторы нередко начинают защищать классиков анархизма от самого анархизма, доказывать, что идеологи гораздо реалистичнее, чем положено быть анархисту и потому – уже не вполне анархисты.

Это направление на новом историческом витке продолжает старую лево-марксистскую традицию. Уже в советское время историки-марксисты, хорошо относившиеся к Бакунину (поскольку стремились сдвинуть марксистский «мэйнстрим» влево, в сторону анархизма), подчеркивали «государственнические» черты в его творчестве, отождествляя их с реализмом и доказывая таким образом, что Бакунин был «не вполне анархист». Пытаясь таким образом найти выход из кризиса советского марксизма и реабилитировать лично Бакунина, эти авторы оказывали медвежью услугу его учению, «подтверждая» таким образом, что анархизм – это не учение классиков анархизма, а только утопическая часть их учения. Получалось, что «настоящий» анархизм должен быть заведомо абсурден. Если в нем встречается что-то разумное, то это – отступление от анархизма. Советских авторов Ю.М. Стеклова и Н.М. Пирумову можно понять – их объективность ограничивалась цензурными соображениями (а Стеклов к тому же был активным сторонником левого марксизма).

Удивительно, но эта же ошибка встречается и в современных научных работах. В.П. Сапон из «добрых» побуждений тоже пытается уличить Бакунина в отступлении от анархизма. Здесь настоящая находка – рукопись Бакунина 1864 г. Ведь в ней Бакунин, по оценке В.П. Сапона, пишет «об инструментах социальной организации, которые традиционно относятся к ведомству государства: необходимыми атрибутами будущего общества он считает институты президентства и представительной власти, суд и армию»[414]. Впрочем, даже в 1864 г. еще полу-анархист, народник-федералист Бакунин по этим вопросам уже занимает вполне анархистские позиции. «Президент» у него не имеет ничего общего с современным президентами России или США. Президент в романских языках – это председатель. Даже в самом анархистском сообществе для ведения обсуждения органу самоуправления нужен председатель, «президент». Представительная система присутствует во всех анархо-социалистических учениях, где предполагается решение межобщинных вопросов с помощью делегирования полномочий снизу. Этим представительная система анархистов отличается от парламентской системы, где власть на деле практически независима от народа. Суд также вполне совместим с анархистской социальной моделью, это предусматривает уже прудоновская приверженность праву. Неизбежно и наличие вооруженных сил, раз уж у нового общества есть враги в виде контрреволюции – важно, как такая армия организована.

Бакунин высказывает очевидную для большинства анархистов мысль – в обществе будущего функции, которые «традиционно» реализуются государством, будут осуществляться иначе. Не поняв этого, В.П. Сапон пишет: «Это наводит на мысль, что на определенном этапе разработки своей анархистской программы Бакунин не выступает против упорядоченной организации общества и даже не против государственных структур вообще, а против административно-бюрократической централизации, против подмены народного самоуправления чиновничьим произволом»[415]. В этом утверждении содержится целая россыпь недоразумений. Бакунин выступает за упорядоченную организацию общества не только «на определенном этапе разработки своей программы», а и позднее, поскольку (как утверждал еще Прудон) анархия – это тоже упорядоченная система. Бакунин не ставит знак равенства между государственностью и

упорядоченностью. Большинство институтов, которые В.П. Сапон в модели Бакунина принимает за государственные, с точки зрения анархистского понимания государственности не являются таковыми. Сказать, что Бакунин выступает против административно-бюрократической централизации и чиновничьего произвола – это и значит подтвердить очевидное – что он выступает против государственности, потому что Бакунин вообще не признает возможности создания не-бюрократической государственности. И в этом с ним трудно не согласиться.

Но В.П. Сапон, воспитанный на марксистско-ленинской социальной аксиоматике, настаивает, что Бакунин «предлагает систему коллективистской демократии, вполне соответствующую объективным критериям революционной государственности (независимо от того, осознается данный факт самим Бакуниным или нет)»[416]. Интересно, что это за «объективные критерии революционной государственности» и кто их установил? В.П. Сапон ссылается на мнение марксистских биографов Бакунина Ю.М. Стеклова и В.П. Полонского, которые, как уже говорилось, хорошо относясь к Бакунину, пытались показать его близость к марксизму. По их мнению, Бакунин призывает к созданию диктатуры пролетариата и крестьянства (просто ленинец какой-то), хотя Бакунин недвусмысленно объяснил Стеклову, Полонскому и Сапону, почему считает создание такой диктатуры невозможным. Разумеется, мнение советских историков 20-30-х гг. нельзя считать объективным доказательством при обсуждении этого вопроса в силу очевидной идеологической ангажированности сторонников учения главного оппонента Бакунина. Доказывая «противоречивость» взглядов Бакунина о государстве, Стеклов и Полонский таким образом пытаются подтвердить преимущества марксистского взгляда на этот предмет. Но, увы для В.П. Сапона, никаких «объективных критериев революционной государственности» не приводят и Стеклов с Полонским.

Бакунин делает «уступки «государственному элементу»[417], – настаивает В.П. Сапон. Какие? В.П. Сапон пишет о деструктивности бакунинской методологии, о его «беспардонности на словах». Не в этом ли уступки? Нет, оказывается, у Бакунина встречается «пласт плодотворных идей, несколько подрывающий его авторитет непримиримого государственоненавистника, но в то же время устраняющих почву для нескончаемых обвинений в утопизме и авантюризме»[418]. За иронией автор прячет идеологическую тенденциозность. Получается, что если Бакунин – «чистый» противник государства, он по определению не плодотворен, у него априори могут проявляться только авантюризм и утопизм. А если он все же имеет какие-то плодотворные идеи, то они, естественно, доказывают, что Бакунин – немножко государственник. Ведь антигосударственник, как следует из противопоставления, предложенного В.П. Сапоном, не может быть реалистичен и плодотворен.

Авторы, которые пытаются искать у Бакунина этатизм, забывают, что Бакунин вовсе не обязан считать государством то же самое, что они. В частности, с точки зрения Бакунина вовсе не любая система координации (даже иерархическая) является государством. Если это союз союзов, где полномочия и позиция передаются снизу, то с точки зрения классических анархистских теорий Прудона и Бакунина говорить о государстве не приходится.

* * *

Бакунин так часто употребляет слово «коммуна» (в смысле автономное территориальное самоуправление), что возникает вопрос – не коммунист ли он? После смерти Бакунина в анархистском движении на целый век возобладали коммунистические взгляды, анархо-коммунистам было лестно записать Бакунина в свои ряды. Увы для них – «Великий бунтарь» недвусмысленно отмежевался от коммунизма. «Вы спрашиваете, коммунист ли я. **Нет, я не коммунист, я – коллективист**. Я не коммунист, потому, что коммунизм предполагает собственность и верховную власть государства, а я во имя свободы

требую ликвидации государства, всех государств. Но я за коллективную собственность, так как убежден, что пока будет существовать частная унаследованная собственность, нельзя претворить в жизнь равенство возможностей, экономическое и социальное равенство»[419]. «Какую разницу, говорили мне, видите вы между коммунизмом и коллективностью? Признаюсь, я удивляюсь, как г-н Шодэ, исполнитель завещания Прудона, не понимает этой разницы. Я ненавижу коммунизм, потому что он есть отрицание свободы, и потому, что для меня непонятна человечность без свободы. Я не коммунист, потому что коммунизм сосредотачивает и поглощает все силы общества в руках государства, между тем как я хочу уничтожения государства… Я хочу организации общества и коллективной собственности или общественной собственности снизу вверх, путем свободной ассоциации, а не сверху вниз посредством какого бы то ни было авторитета»[420]. Ссылка на Прудона заставляет нас заменить слово «собственность» «владением».

В защиту коммунизма можно сказать, что управляющий центр в коммунистический учениях не всегда называется государством. Но в остальном мысль Бакунина очевидна, как бы потом эпигоны Бакунина не затушевывали противоречие требований бакунинского (и прудоновского) анархизма и коммунизма. Они сходятся лишь в очень далеком будущем, когда противоречия нынешних идеологических «измов» стираются.

Приведенные слова были сказаны Бакуниным в 1868 г., когда его взгляды вполне сформировались. Отмежевавшись от коммунизма, он позднее не заявлял, что поменял точку зрения и перешел на коммунистические позиции. Так что утверждения о приверженности Бакунина коммунистическим взглядам безосновательны.

Н.М. Пирумова вскользь упоминает об «анархо-коммунистической доктрине Бакунина»[421], не разъясняя и не обосновывая этот тезис. Его появление в работе крупнейшего советского бакуниноведа второй половины XX века может объясняться как цензурными соображениями (книга писалась до отмены цензуры, и Пирумова могла вставить такую фразу, чтобы сделать Бакунина ближе официальной идеологии) или «опиской», так как в этом месте Пирумова справедливо противопоставляет Бакунина и индивидуалиста Ницше. В другом месте, пытаясь противопоставить Бакунина Прудону (творчество которого не анализирует), Н.М. Пирумова снова упоминает об «аграрном коммунизме», в духе которого Бакунин воспринимает общинную организацию. Этот «дух» якобы противостоит «прудоновской взаимности»[422]. Поскольку никаких высказываний Бакунина здесь не приводится, остается неясным, что сама Пирумова понимает под коммунизмом (в частности – аграрным). Создается впечатление, что – коммунализм. Но тогда он никак не противостоит взглядам Прудона и не является коммунистическим в том смысле, в котором принято говорить о коммунизме применительно к марксистскому коммунизму и анархо-коммунизму. Так или иначе, но тезис о коммунистическом характере взглядов Бакунина 60-70-х гг. ошибочен[423], на что, как мы видели, прямо указал сам Бакунин.

* * *

В своей экономической модели Бакунин идет за рыночным социализмом Прудона, даже несколько расширяя экономические права свободных коллективов трудящихся (ограниченные у Прудона правом).

Помимо добровольной мотивации к труду Бакунин признает и "принуждение голодом" к тем, кто не желает работать, будучи здоровым взрослым членом общества: "Никто не сможет более эксплуатировать чужой труд: каждый должен будет работать, чтобы жить. И каждый, **кто не пожелает трудиться, волен будет умереть с голода**, если только он не отыщет какой-либо ассоциации или коммуны, которая согласилась бы из жалости кормить его. Но тогда, по всей вероятности, будет найдено справедливым не признавать за ним никаких политических прав, раз он, будучи трудоспособным, предпочитает находиться в

позорном положении и жить за счет чужого труда: ибо не будет иного обоснования для общественных и политических прав, кроме труда, несомого каждым"[424]. Признавая "стимулирование голодом", концепция Бакунина, таким образом, не отрицает рыночных механизмов регулирования хозяйственной деятельности, вообще не предвосхищая форм обмена между коллективами, и основана на идее коллективного распоряжения средствами производства[425]. Бакунин — коллективист, а не коммунист, в отличие от Петра Кропоткина 80-х годов.

Анархисты, испытавшие на себе влияние коммунизма, с опаской глядят на коллективизм Прудона и Бакунина, пытаясь по мере возможности противопоставить взгляды двух теоретиков по этому вопросу, превратив коллективиста Бакунина в коммуниста. Д. Герен предоставляет нам типичный пример такой критики: «Бакунин, в отличие от своего учителя Прудона, так не думал и сомневался на счет логичности коллективности самой по себе. Он ясно замечал опасность сосуществования двух секторов. Рабочие, даже их ассоциации, не могут сформировать капитал, способный воевать против больших капиталов буржуазии. И с другой стороны опасность содержится в самой рабочей ассоциации, где возникнет, в зараженной среде капитализма, «новый класс эксплуататоров труда пролетариата», что, кстати, Прудон сам и открыл.

Самоуправление содержит в себе все ростки экономического раскрепощения рабочей массы, но она не может развить по настоящему все ростки, по утверждению Бакунина, и когда «капитализм, индустриальные учреждения, сырье и инструмент для работы … станут коллективной собственностью ассоциаций рабочих производителей, индустриализируется сельское хозяйство, свободно организуются и федерализуются внутри нее», «социальная трансформация может совершаться радикальным и окончательным способом только посредством совместных действий всего общества», иначе говоря, посредством социальной революции, которая частную собственность превратит в коллективную. В данной организации общества, рабочие будут организовывать свой собственный капитализм и будут хозяевами сами себе. В частной собственности оставляется «только вещи, которые служат реально для личного пользования»».[426]

Цитаты, приведенные Гереном, доказывает прямо обратное тому, что было им заявлено вначале. Бакунин не сомневался насчет логичности коллективности, он был стопроцентным коллективистом. От Прудона его отличало стремление к организации радикальной социальной революции и отрицание реформизма. Все приведенные Гереном возражения Бакунина направлены против постепенного формирования коллективизма в недрах капитализма. Новый строй, по мнению Бакунина, не может возобладать без социального переворота. Как мы видели, Прудон отчасти согласен с ним, упирая в то же время на формирование предпосылок революции. В отношении конструктивной модели будущего общества два теоретика предельно близки, и слово «собственность» очевидно употреблено здесь у Бакунина в прудоновском смысле «владения». Ни Прудон, ни Бакунин не опасаются, что «богатые» коллективы подчинят себе «бедных». В социалистическом обществе любой новый работник предприятия получает все права самоуправления. Расширяя производство и привлекая новую рабочую силу с неудачливых предприятий, «богатый» коллектив не сможет обзавестись наемными работниками, а только – новыми товарищами. Ведь государство уже не гарантирует особых прав старых работников, их собственность на предприятие. Ликвидация государственной и капиталистической системы у Бакунина тесно взаимосвязаны: «если государство уничтожено, то с его стороны нет политического, правового закрепления, гарантии собственности»[427].

Коллективная солидарность свободных тружеников была противопоставлена Бакуниным как капиталистическому индивидуализму либералов, так и централизму государственных социалистов. Он утверждал, «что свобода без социализма – это привилегия, несправедливость, и что социализм без свободы – это рабство и скотство»[428].

* * *

Индивидуальная свобода, коллективизм и федерализм увязаны у Бакунина (как и у Прудона) в одно целое. Федерализм, политическая анархия – гарантия свободы, также как государственность – гарантия частной собственности и связанного с ней рабства. Суть государства Бакунин видит в организованном насилии – «многочисленных батальонах», говоря словами Фридриха II, и деспотическом и механическом административном управлении[429].

Бакунин не воспринимает государство как вечное и постоянное зло. Он не отходит от историзма – «государство есть временное историческое учреждение, переходная форма общежития»[430]. С точки зрения Бакунина уже созрели предпосылки для преодоления государства. Он даже не всегда употребляет термины «свержение», «разрушение». Процесс может быть постепенным и естественным: «**государство должно раствориться** в обществе, свободно организованном на началах справедливости»[431]. Как предполагал Прудон. Но скорее всего, сопротивление государства будет таково, что без силового решения обойтись не удастся. Поэтому Бакунин был сторонником более радикальных методов действия. Приняв конструктивную программу народничества, Бакунин склоняется к крайней революционной тактике. Он стремился взорвать старый строй. Но как бы темпераментен ни был Бакунин, мы видели, что этот вывод был сделан не сразу.

Государство, а значит и собственность, которую оно защищает, должны быть уничтожены **социальной революцией**: "Старой системе организации, основанной на насилии, социальная революция должна положить конец, предоставив полную свободу массам, коммунам, ассоциациям, а также и отдельным индивидуумам и уничтожив раз и навсегда историческую причину существования всякого насилия — само существование государства..."[432].

Бакунин считал необходимым приближать революцию, способствуя **народному бунту**: «У кого есть сердце для действий народных, тот должен думать теперь об одном: как бы соединить все эти местные бунты в один бунт всенародный, способный победить и свалить государство»[433].

Чтобы подчеркнуть реалистичность марксизма, советские исследователи неустанно подчеркивали утопизм Бакунина. Не избежала этого даже симпатизировавшая Бакунину Н.М. Пирумова: «Практика же показала беспочвенность расчетов на организацию революции путем объединения крестьянских миров»[434]. Но практика показала как раз реалистичность таких расчетов, если не сводить всю революцию к деревне (а Бакунин, как мы видели, уделял городским работникам ничуть не меньше внимания, чем деревенским). В 1905 г. в России разразилась революция, и крестьянский мир принял в ней живейшее участие. Объединение крестьянских миров через Крестьянский союз придало движению значительную силу. Революция 1917 г. привела к повторению этого успеха, и нанести поражение этому движению смогли только сами революционеры. Сначала заручившиеся поддержкой части крестьян, а большевики получили власть, а затем выступили против крестьянской революции под знаменем марксизма. Но такая угроза также была во многом предсказана Бакуниным. Так что в плане предвидения основных черт будущей революции Бакунин оказался достаточно реалистичен. Можно упрекнуть его в незнании сроков, когда революция станет возможной, но ведь этого не знали и другие футурологи того времени. Правда, в конце жизни Бакунин уже довольно точно назвал сроки будущего революционного кризиса.

В разрушении государства Бакунин видел отличие социальной революции от политической. Революция трактуется Бакуниным как массовое социальное творчество, освобождение творческих сил

народа от сковывающих его институтов: “Вообразите себя посреди торжества стихийной революции в России. Государство и вместе с тем все общественно-политические порядки сломаны. Народ весь встал, взял все, что ему понадобилось, и разогнал всех своих супостатов. Нет более ни законов, ни власти. Взбунтовавшийся океан изломал все плотины. Вся эта, далеко не однородная, а напротив, чрезвычайно разнородная масса, покрывающая необъятное пространство всероссийской империи всероссийским народом, начала жить и действовать из себя, из того, что она есть на самом деле, а не из того более, чем ей было приказано быть, везде по-своему, — повсеместная анархия”[435]. Под «анархией» здесь следует понимать разрушение прежней системы власти. Но станет ли эта «анархия» гарантией создания нового безвластного общества – анархии?

М. Бакунин еще в 1840 г. закончил свою статью «Реакция в Германии» эффектной фразой: «дух созидающий есть в то же время и дух разрушающий, страсть к разрушению есть в то же время и творческая страсть». С философской точки зрения эта мысль безупречна – новому, чтобы утвердиться, необходимо разрушить старое. Но не всякое разрушение созидает, а только творческое. Каковы предпосылки такого креативного революционного процесса?

Бакунин надеется, что даже если сразу после революции не возникнет совершенная социальная организация, новая система «не закостенеет благодаря юридической санкции государства, а будет свободно и безгранично прогрессировать…»[436] Или регрессировать, особенно в условиях разрушений, связанных с войной и авторитарным сознанием, которое не исчезает в ходе революции.

Бакунин настаивает на том, что народ уже готов к тому, чтобы освободиться от гнета и самостоятельно устроить новое общество. Освобождение может исходить только из недр самого народа, из его творчества: «народные массы носят в своих более или менее развитых историею инстинктах, в своих насущных потребностях и в своих стремлениях, сознательных и бессознательных, все элементы своей будущей нормальной организации, мы ищем этого идеала в самом народе; … народ может быть только тогда счастлив, свободен, когда, организуясь снизу вверх, путем самостоятельных и совершенно свободных соединений и помимо всякой официальной опеки, но не помимо различных и равносвободных влияний лиц и партий, он сам создаст свою жизнь.

Таковы убеждения социальных революционеров, и за это нас называют анархистами»[437]. Отсюда предостережения Бакунина против того, чтобы «учить народ» революции и навязывать революцию народу [438].

При всем своем радикализме, Бакунин не считал возможным немедленно реализовать свою программу и называл идеи немедленного скачка к анархии "безумной мыслью"[439]. Выступая за уничтожение государства в будущем, Бакунин все же не стоит на позиции «все или ничего», утверждая: «самая несовершенная республика в тысячу раз лучше, чем самая просвещенная монархия…», имея в виду под монархией диктатуру[440]. Между анархией и нынешним порядком пролегает период социальной революции и последующей самоорганизации народа.

При своей вере в творческие силы народа Бакунин приветствует отнюдь не любую самореализацию человека. Он считал ненормальным положение людей, «преследующих исключительно материальные цели и ничего не знающих о духовной стороне жизни и доставляемых ею высоких наслаждениях»[441].

Но для творческого развития народа необходимо освобождение его не только от социального гнета, но и от гнета безграмотности.

Считается, что народники во всем предпочитали крестьян рабочим. В действительности их теоретики осознавали недостатки и тех и других.

Бакунин сравнивает **земледельца и рабочего**: «его натура, не испорченная душной и зачастую

отравленной атмосферой заводов и фабрик, не изуродованная анормальным развитием одной какой-нибудь способности во вред другим, остается более сильной, более цельной, но зато его ум – почти всегда более отсталым, неповоротливым и гораздо менее развитым, чем у фабричных и городских рабочих»[442]. Спасение не в пролетариате или крестьянстве самом по себе, а в соединении лучших черт пролетариата и крестьянства, в новом классе, который не будет подчинен узкой специализации и будет приобщен к потоку современной творческой культуры.

Преодолеть отсталость страны, перейти к действительно свободной жизни может лишь образованный, культурный человек. Эта мысль, как мы помним, досталась социализму со времен Просвещения. Народники внесли в ее развитие свой вклад. Общинный крестьянин некультурен и забит. Только приобщая тружеников к демократической культуре, можно превратить общину в самоуправляющуюся демократическую республику.

«Образованная Россия должна теперь раствориться в народе»[443], – утверждает Бакунин. Эта мысль звучит как призыв к хождению в народ.

В условиях социального взрыва, который в начале 70-х гг. Бакунин ждал в ближайшее время, он предлагал **революционной организации** и ее членам, добившимся влияния, согласовывать свою работу, действовать авторитетом, а не принуждением: “Что же должны делать революционные власти… Они должны не навязывать им (массам) какую-нибудь организацию, а, вызвав их автономную организацию снизу вверх, под сурдинку действовать при помощи личного влияния на наиболее умных и влиятельных лиц каждой местности”[444].

Это теневое влияние просвещенный революционеров – временное явление, которое должно отмереть в силу отсутствия институализированной власти меньшинства по мере сокращения культурного разрыва между просвещенным авангардом и основной массой трудящихся. Революционный проект Бакунина сохраняет просветительский характер.

Бакунин вполне согласен и с Герценом, и с Прудоном, и с Бланки в том, что человек «подчиняет инстинкты и побуждения своего тела господству духа единственно лишь путем воспитания и образования» и тем освобождается[445]. Но для Бакунина – это не повод, чтобы ждать роста уровня культуры народа до революции. Революция, освободив творческую энергию народа, поможет ему «наверстать» необходимое. Революция одухотворяет. Но надолго ли, и делает ли она человека более культурным? Это зависит от того, какие социальные условия она создает.

Бакунин протестует **против монополизации науки и знания**: «Мы должны отвергнуть эту буржуазную науку и бороться против нее также, как мы должны бороться против буржуазного богатства… Мы должны их (знаний – А.Ш.) требовать, как общего достояния для всех»[446]. Бакунин не против науки как таковой и ее достижений в буржуазном обществе (как это понималось в СССР в XX в., когда шла борьба с «буржуазными лженауками»). Наука в руках узкой элиты – такое же орудие угнетения, как и капитал. Знание позволяет манипулировать, повелевать сознанием масс, и без равноправия в получении знания не может быть прочего равноправия.

Деление на классы закрывает рабочим классам путь к образованию (опыт XX века покажет, что это не вполне так). Бакунин призывает: «Возвысьте условия труда, отдайте труду все, что по справедливости ему принадлежит, и тем самым предоставьте народу спокойную уверенность, достаток, досуг, и тогда, поверьте, он займется своим образованием, и создаст цивилизацию более широкую, здоровую, более возвышенную, чем ваша»[447].

Мы видели, что революционный потенциал просвещения был поглощен социальным государством, но во времена Бакунина это было общее место социалистических теорий. Однако существовало и важное

разногласие, которое переживет и Бакунина, и Ленина. Революция откроет путь к просвещению трудящихся, росту их культурного уровня, или культурный уровень является необходимой предпосылкой для революции. **Предпосылки революции – это не одно и то же, что предпосылки нового общества.** Революция возникает до того, как сложились предпосылки для нового общества. Бакунин видит в революции самой по себе предпосылку для стремительного культурного развития народа. Он считает, что разрушение государственности и ликвидация правящей имущественной элиты (кстати, отметим, тесно связанной с элитой культурной) даст преимущество "**духовной стороне жизни**". Но эта мысль не доказана "Великим бунтарем".

Разрушительные последствия революции — лишь неизбежная плата, обратная сторона созидания. Бакунин без жалости относился к современному ему обществу, в котором видел прежде всего нищету, угнетение и индивидуализм. Он надеется на народ, на то, что «из себя» он родит нечто лучшее. Между тем логичнее предположить, что если разнородная народная масса начнет "жить и действовать из себя", то на первый план выйдут не духовные порывы, а доставшиеся в наследство от предыдущей эпохи культурная отсталость, авторитарность и жестокость. Радикальный скачек к анархии может привести к возвращению во времена варварства. На это Бакунину указывали коллеги по народническому движению Герцен и Лавров.

* * *

Первоначально Герцен полагал, что Бакунин сознательно преувеличивает свой радикализм, работая с молодежью[448]. "Великий бунтарь" то обещает быстрое пришествие анархии, то разрабатывает модели коллективистского социалистического общества. Убедившись, что лидер анархистов увлекся радикальными правилами игры, которые диктует открытое провозглашение столь высокой цели как анархия, Герцен вступил с ним в дружескую полемику, которая актуальна для любых сторонников преобразования общества.

Герцен выступал против бакунинского разжигания революции, за **путь к социализму «без кровавых потрясений»**[449]. При этом он прямо говорит, обращаясь к Бакунину: «Дело между нами вовсе не в разных началах и теориях, а в разных методах и практиках»[450]. Цели теоретиков народничества – Герцена, Бакунина, Лаврова – одинаково радикальны, все они в это время выступали за безгосударственный социализм и общинный коллективизм.

Герцен напоминает Бакунину, что «в истории можно забегать – но уж тогда отвыкни жалеть погибающих, жалеть личности. И действительно, ни Пугачев, ни Марат их не жалели»[451]. Если человеческая личность – высшая ценность, дозволительно ли ее «не жалеть»?

Спор Герцена и Бакунина по вопросам тактики предвосхищает споры меньшевиков и большевиков в марксизме. Некоторые меньшевики даже восприняли Ленина как историческую реинкарнацию Бакунина. Но это мнение несправедливо как в отношении Ленина, так и Бакунина. Ленинский радикализм вполне соответствует революционно-государственным идеям Маркса, в то время как бакунинский радикализм исключает организованное насилие, принуждение к свободе: "Социализм не жесток, он в тысячу раз человечней якобинства, я хочу сказать, политической революции. Он нисколько не помышляет против личностей, даже самых зверских, прекрасно зная, что все люди, дурные или хорошие – лишь неизбежный продукт того социального положения, какое создали им общество или история. Социалисты, правда, не могут, конечно, помешать, чтобы в первые дни революции в порыве гнева народ не истребил нескольких сотен лиц среди наиболее гнусных, наиболее яростных и наиболее опасных; но когда этот ураган пройдет, они со всей своей энергией будут противиться хладнокровно организованной политической и

юридической лицемерной резне"[452].

Да, сам Бакунин против систематического террора, но народная стихия может вынести на авансцену самых мрачных убийц. Герцен понимает, что избавиться от существующего античеловеческого строя нельзя без революции, но нужно понимать, что революция лишь разрушает, а не созидает: «акушер должен ускорять, облегчать, устранять препятствия»[453]. “**Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри**”[454], — возражает Герцен, оппонируя таким образом и Марксу, и Бакунину, и радикальным либералам.

Дело ведь не только в том, чтобы свергнуть режим силой. «Старый прядок вещей крепче признанием его, чем материальной силой, его поддерживающей»[455]. За этим словами Герцена стояли фундаментальные разногласия если не в целях, то в исходной точке – в понимании народа, которые Н.М. Пирумова характеризовала так: «Бакунин считал, что «народ – социалист по положению и инстинкту», а Герцен – что «народ – консерватор по инстинкту»[456]. Герцен даже предложил выявить волю народа с помощью Учредительного собрания. Эта идея позднее приобрела большую популярность, но ее воплощение так и не разрешило спора двух мыслителей.

Споры русских «шестидесятников» продолжатся в следующем десятилетии и в России, и в западной Европе. Они станут прологом к мощному народническому движению, которое развернется в 70-е гг., и к бурным спорам в европейском социалистическом и рабочем движении.

Объективная тенденция и субъективная воля

Лавров и Михайловский

Умеренное направление народничества связывают с позицией **Петра Лавровича Лаврова** (1823-1900), но и он, как Бакунин, был и революционером, и противником государственности. Прогресс по Лаврову – это «уменьшение государственного принципа в общественной жизни»[457], рост автономии объединений людей[458]. Такое понимание прогресса естественно вытекает из развития человеческой культуры, доминирующих в ней идей: по мере развития общества «идеал экономического союза обратился в представление о свободном, солидарном обществе, где не существует общественных паразитов, где конкуренция исчезла, заменившись всеобщей кооперацией, где все трудятся для всеобщего благосостояния и для всеобщего развития, причем труд, сделавшись разнообразным и соединяя элементы мышечной и мозговой работы, не только не является элементом тягостным и отупляющим, но сам заключает в себе элемент наслаждения и развития…»[459] Трудно назвать такую позицию «чуть ли не либеральной», как это делает В.П. Сапон[460], она откровенно противостоит капитализму. При этом по Лаврову, продолжателю традиции Герцена, «вследствие совершенствования самих личностей»[461] происходит уменьшение государственной функции.

Лавров считает социализм обществом не только без государства, но и без управления:

«Боевой клич рабочего социализма заключается, как известно, в двух формулах:

Прекращение эксплоатации человека человеком.

Прекращение управления человека человеком.

В последней формуле, конечно, слово «управление» должно быть понято не в смысле *добровольного* подчинения одной личности, в данном случае, руководству другой, но в смысле *принудительной власти* одной личности над другою.

Представляется вопрос: *возможно ли* достижение этой цели в обществе, устроенном по требованию рабочего социализма? или этот боевой крик представляет утопию, неосуществимую в действительности?…

Я позволю себе заключить, что *обе* формулы, заключающиеся в боевом крике рабочего социализма…, *одинаково достижимы;* что общежитие, устроенное по началам рабочего социализма *может* устранить *управление человека человеком*, что оно *может* обойтись без специальной полиции, специального суда, специальной администрации, охватывающей разнообразные отрасли общественной жизни и тем обусловливающей образование некоторой территориальной единицы, которая противополагалась бы другим подобным же единицам и, следовательно — в некоторой степени конкурировала бы с ними.

Государственный элемент в будущем обществе, когда это общество вполне проникается началами рабочего социализма, может не только дойти до известного минимума, но может и совершенно исчезнуть. Вовсе не будет существовать какой-либо — меньшей и большей, доли общества, которая была бы поставлена в возможность при каждом случае навязать свою волю остальной доле общества, следовательно — не будет класса управляющего и класса управляемого. Все существенные потребности личные и общественные, которым удовлетворяла в разные эпохи государственная власть, будут удовлетворены иным путем, а временная потребность в государственной власти, неоспоримая в давно минувшие периоды, окажется несуществующею для общества, устроенного по началам рабочего социализма»[462]. Государственность признавалась Лавровым только как временное, досоциалистическое явление. Сам социализм Лавров воспринимал анархически и другой трактовки не признавал. Важно и то,

что Лавров выступает не просто против государства, но и против управления, в то время как Маркс и Энгельс противопоставляют государственно-капиталистическое принуждение и управление в социалистическом обществе.

Анархия, безгосударственность не отождествляется Лавровым с полным отсутствием всякой власти. Но власть «не будет *иметь возможности принять* «бесчеловечной формы», так как не будет одного человека, который был бы *властью* во всех проявлениях своей жизни; самая крупная личность будет участвовать лишь в некоторых формах власти, и столь же значительная доля отраслей общественной жизни будет занимать подчиненные должности. Для *каждого* специального дела будет существовать своя выборная власть, руководящая делом довольно неограниченно, однако под строгим контролем общественного мнения; но при разнообразии общественной жизни таких разнообразных властей будет весьма много, и потому именно не одна из них не будет иметь возможности унаследовать функции теперешней государственной власти»[463]. Как видим, в этой модели власть, и притом довольно широкая, сохраняется, но раздробляется по направлениям. Эти идеи носят переходный характер от государственности к анархии и соответствуют стратегии анархизма, общей для Прудона и Бакунина.

Лавров учитывает необходимость защиты страны от внешних угроз, которая приводит к усилению и укрупнению государств. Пока существуют другие государства, внешние функции государства должны сохраняться, в то время, как во внутренних все меньше нужды. Для защиты народа необходимо создание крупной федерации.

Лавров четко поставил вопрос о необходимости переходных периодов к безгосударственному строю: «Между этим идеалом будущего свободного общежития, в котором исчезнет всякий след государственной принудительности, и теми централизованными государствами мира, которые давят на большинство населения… лежит целый ряд посредствующих политических форм, … и в борьбе этих форм с современною государственностью подготовляется торжество далекого будущего»[464]. Идея переходного периода к социалистическому и анархическому идеалу будет иметь большое будущее. Эта идея присутствует у Прудона и Бакунина в менее определенной форме.

В 1873 г. Лавров выступает за возникновение в ходе революции «самодержавия народных общин, народных собраний, народных кругов… Государственная власть, в чьих руках бы она ни была, враждебна социалистическому строю общества. Всякая власть меньшинства есть эксплуатация. Диктатура не может не быть ничем иным»[465]. Понятно, что здесь слово «самодержавие» употребляется в переносном смысле, и программа Лаврова сохраняет вполне анархистский характер.

В 1875 г. Лавров станет допускать временную диктатуру революционеров. Но эта диктатура не может быть инструментом создания социализма (об этом Лавров полемизировал с П. Ткачевым). Отличие анархистской позиции от откровенно этатистской и даже коммунистической – можно ли использовать государство в качестве инструмента создания нового общества. Лавров признает возможность вторжения революционных государственных органов в экономические отношения, чтобы удержать хозяйство от распада «в минуту победы революции»[466]. Это – почти марксистский проект «диктатуры пролетариата», но только с опорой на трудящихся в целом. Но есть у Лаврова и существенные различия даже с ленинской идеей диктатуры пролетариата и крестьянства. Лавров категорически утверждает, что народ нельзя облагодетельствовать декретами[467]. Временные органы власти должны передать полномочия общинному самоуправлению и федерации, «как только новый порядок упрочится»[468], то есть по сути – сразу после гражданской войны, а не по достижении социализма в неопределенном будущем.

В.П. Сапон упрекает Лаврова за то, что он «необоснованно укорачивал сроки переходного периода»[469]. Этим современный исследователь обнажает свою приверженность большевистскому пониманию «переходного периода», который сохраняет авторитарную диктатуру на весь период от

революции до социализма. Лавров с этим принципиально не согласен. Для него диктатура не является инструментом строительства нового общества, а только орудием самозащиты. Поэтому по окончании вооруженной борьбы она уже не нужна. Лавров считает необходимым «развить нашу общину в смысле общинной обработки земли и общинного пользования ее продуктами, сделать из мирской сходки основной политический элемент русского общественного строя, поглотить в общинной собственности частную, дать крестьянству то образование и то понимание его общественных потребностей, без которого оно никогда не сумеет воспользоваться своими легальными правами, как бы они широки ни были, и никак не выйдет из-под эксплуатации меньшинства…»[470] Как видим, решающими здесь оказываются просветительские задачи. Ведь без них демократия не заработает, социализм не осуществится.

И для всего этого авторитарная диктатура уже не нужна. «Переходный период» диктатуры заканчивается, начинается переходный период к полной анархии, во время которого государственный элемент носит уже всецело демократический, федералистский, отмирающий характер.

На поле идейных координат Лавров находится предельно близко к анархизму, отличаясь от этого течения лишь согласием на временную диктатуру непосредственно после революции, по сути – на время гражданской войны. Поэтому Лаврова корректнее называть не анархистом, а социалистом-федералистом.

* * *

Хотя конструктивная программа Лаврова не является особенно оригинальной и скорее является приложением идей Герцена и Прудона к ситуации 70-х гг., его воздействие на общественную мысль России трудно переоценить. Цели движения и методы их достижения сливаются у Лаврова в его знаменитой формуле прогресса, которая могла быть для движения «путеводной звездой»: «Развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношении; воплощение в общественных формах истины и справедливости»[471]. Развивая идею Чернышевского о разумном эгоизме, Лавров настаивает, что свободная личность должна направить свою деятельность на внесение истины и справедливости в общественные формы, в чем и заключается ее собственный интерес. Он осознал, что новый разночинный интеллектуальный слой, известный в России как интеллигенция, может стать движущей силой перемен. Именно интеллигенция была объявлена источником социалистической мысли, которая определяет направление решения проблем трудящихся масс (после работы В. Ленина «Что делать?» эта мысль утвердилась и в левом марксизме). Радикальное крыло интеллигенции – критически мыслящие личности, стремящиеся к преодолению наличной социальной реальности – это и есть сила, инициирующая борьбу более широких масс за революционные перемены. Эти массы и без интеллигенции не сидят сложа руки, но без стратегии качественных социальных перемен их борьба не носит революционного характера.

Социальный рычаг, который Маркс нашел в пролетариате, Лавров обнаружил **в слое критически мыслящих людей**. Но пролетариат более многочисленен и сплочен. Поэтому радикальной интеллигенции необходимо опереться на массы народа. Раз народ сегодня – это крестьянство, то – на него. В России второй половины XIX века народничество обречено было ориентироваться на крестьянство не только из-за того, что искало в общине модель будущего, а просто в силу демократизма. Раз народ – крестьянство, то на крестьянство и следует опираться прежде всего, а уже во вторую очередь – на рабочих. Те народники, которые сотрудничали с рабочими, больше любили рабочую среду. Но ведь и коммунисты в странах Азии были готовы отодвинуть в сторону «пролетарский характер» революции и формировать свои армии и партийные аппараты из крестьян. В конечном итоге технологически марксистский коммунизм и народничество пришли к общей схеме: лидерство интеллектуалов, разночинная организация, опора на активные массы трудящихся – рабочих и крестьян. Народники лучше относились к крестьянам, а марксисты

– к рабочим. Но за неимением гербовой пишут и на простой.

Лавров считает невозможным навязать народу революционные идеи, но именно интеллигенция может помочь народу осознать свое положение и возможности его улучшения[472]. Для народников очень важно доказать, что их политическая программа не исходит из ученого кабинета: «программа нового строя, который определит будущее России, должна выйти из самого народа, и под его диктовку будут писаться те положения, те установления, те декларации, которые дадут форму ожидаемому строю»[473]. Но писать их будет та самая интеллигенция, которая именно сейчас продумывает, как будут выглядеть эти декларации. Позднее та же проблема будет волновать и марксистов. Лавров считает, что для успеха революции ее программа должна опираться на достижения науки, а это невозможно без интеллигенции. Отсюда – требование к революционерам овладевать знанием. Но их роль – не командир и вождь народа, а его советник и эксперт, указывающий на ошибки и возможные варианты решений[474].

Соединить силу народа и способности интеллигенции необходимо, но в России крайне сложно. Между ними со времен Петра существует даже культурный барьер. Положение интеллектуального слоя привилегированно, а народ живет во тьме безграмотности и в бедности. В своих «Исторических письмах» (1865) Лавров провозгласил, что интеллектуалы в большом долгу перед народом, и нравственный человек должен этот долг отдать.

Эта апелляция к этической традиции старой России («долг платежом красен», честный дворянин должен отдавать долги) удачно наложилась на стремление к действию нового рационально мыслящего поколения. Аналогичные чувства мотивировали и молодого Маркса, стремящегося не только понять мир, но и переделать его в соответствии со своими философскими и этическими представлениями. Но Лавров, бессознательно опираясь еще и на православную традицию, звал к самопожертвованию и даже фанатичной преданности делу. Но такие жертвы были оправданы верой в результат, в социальное творчество, которое сделает счастливыми миллионы людей.

Этот взгляд вызывает недоумение и неприятие у человека с обывательской психологией. По словам Г.С. Кана об «Исторических письмах», «эта книга… способствовала и тому, что в сознании будущих революционеров утвердились мифические, совершенно несоответствующие реальности, представления о мире и способности «критически мыслящих людей» изменить его к лучшему»[475]. Если верить Г.С. Кану, то реальны только «представления о мире», который не может быть изменен к лучшему. Потому что если такое изменение вообще возможно, то без критически мыслящих личностей это дело не обходится (Лавров не утверждал, что мир можно изменить усилиями только и исключительно этих личностей). Но, увы для Г.С. Кана, некоторые изменения в России со времен Александра II все же произошли, причем деятельность разночинной оппозиции сыграла в этом значительную роль. Здесь реальность подтвердила правоту Лаврова: ушел в прошлое авторитарно-аристократический режим самодержавия, помещичье землевладение, привилегии дворянской касты. Идеалисты оказались реалистичнее скучных обывателей. Отсюда – генетический ужас перед взглядами, «совершенно несоответствующими реальности». Ибо взгляды, не соответствующие сегодняшней реальности, могут создать новую реальность.

* * *

Чем руководствовались народники, бросая вызов капиталистической тенденции, присутствие которой в России с началом промышленного переворота вполне очевидно?

Наиболее радикальный ответ на вызов индустриальной модернизации дал **Николай Константинович Михайловский** (1842-1904). Развивая идеи Лаврова[476], Михайловский дал определение прогресса,

прямо противостоящее наблюдаемым технико-экономическим процессам: «Возможно полное и многостороннее разделение труда между органами человека и возможно меньшее разделение труда между людьми, таков предлагаемый нами принцип, такова цель, которую мы указываем как наилучшую… Прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживает это движение. Нравственно, справедливо, полезно и разумно только то, **что уменьшает разнородность общества**, усиливая тем самым разнородность его отдельных членов»[477]. Впервые гуманизм прямо бросил вызов индустриализму. Впервые был выдвинут критерий прогресса, который не отдавал человека на съедение индустриальному Молоху с его специализацией. При этом, в отличие от преодоления отчуждения у марксистов, Михайловский говорил не об идеальном финале, за которым государство превращается в не-государство, труд исчезает и прежняя история прекращает течение свое. У Михайловского речь идет об отношении к реальному экономическому процессу. В том числе и процессу эпохи капитализма. Он вообще не желает говорить об идеале, он предлагает вектор развития.

Для либеральных и марксистских теоретиков мысль Михайловского была абсурдна и ретроградна, ведь он противопоставил прогрессу специализацию, считавшуюся технократами его главным признаком. Не случайно, марксисты ополчились против этого отношения к прогрессу – ведь за ним стояла и критика происходящего в России перехода к капитализму. Г. Плеханов упрекнул Михайловского в том, что он «изгоняет законосообразность во имя «желательного»»[478]. Вслед за немецкими учителями Плеханов был готов принести «желательное» (т.е. гуманистические ценности социалистического проекта) в жертву экономическому фатуму. На стороне Плеханова были наблюдаемые явления индустриального прогресса, и историческая близорукость не позволяла ему даже понять мысль Михайловского. Наблюдаемые экономические процессы не всегда прогрессивны, развитие общества сложнее, чем простое движение из пункта «А» в пункт «Б». Чтобы найти путь к желаемому будущему, иногда следует бросить вызов современной тенденции.

Н. Бердяев развивает мысль Плеханова: «Михайловский призывает личность бороться с историческим процессом во имя своего идеала, но он нигде не говорит о том, может ли личность рассчитывать на победу»[479]. Действительно, Михайловский мало писал о «конечной цели» (выражаясь словами Э. Бернштейна), он не внес вклад в разработку модели социализма, признавая достижения Прудона, Герцена и Лаврова в этой области. Но его вера в победу **«борьбы за индивидуальность»**, ничуть не меньше, чем вера марксистов в экономическое развитие[480].

Но борьба за индивидуальность на уровне каждой личности идет с переменным успехом, потому что общество строится на противоположных принципах. Михайловский, в отличие от Маркса, не дает гарантии победы. Бердяев бросает неосторожную фразу: социология Михайловского «практически бесплодна», так как не может дать «радостного прогноза». Это позволяет Михайловскому подвергнуть уничтожающей критике самодовольный оптимизм современных ему русских марксистов, причем не только ревизовавших марксизм Бердяеву и Струве, которым отвечал в данный момент. Марксистская философия истории основана на «радостном прогнозе», в соответствии с которым победа марксистского социального проекта обеспечена самим экономическим прогрессом. Но, по мнению Михайловского, прогноз должен быть не радостным, а объективным, «соответствовать реальности, радостной или печальной». Во всякой эпохе есть немало вариантов развития, которые могут вызывать совершенно разную оценку. Михайловский никак не может согласиться с однолинейной философией истории, в соответствии с которой, по выражению Энгельса, «без античного рабства не было бы современного социализма». Михайловский возражает: «при чем здесь объективность? На безмерно огромном поле истории совершенно произвольно намечены две точки: античное рабство и современный социализм – и соединены прямой линией». Но прогресс – это

улучшение, а не все, что было в истории. Если из античного рабства вышла вся европейская культура (что тоже не очевидно), то не только социализм, а еще и колониализм, разгром Парижской коммуны и исключительный закон против социалистов. Не считают же марксисты все эти явления прогрессивными[481].

В соответствии с марксистской философией истории вслед за феодализмом наступает капитализм, а за ним – социализм (коммунизм). Михайловский видит, что вслед за разными вариантами доиндустриального общества приходят **разные варианты современности**. Они могут породить социализм, а могут – нечто совершенно иное. XX век подтвердил оправданность этого более сложного взгляда на развитие общества, явив миру три классические дороги государственно-монополистического индустриального общества – советскую, фашистскую и западную.

Задача активной личности – не наблюдать автоматическое, неизбежное пришествие идеала, а бороться за тут путь в будущее, который ближе к идеалу. Иначе реализуется совсем иной вариант возможного будущего.

* * *

Социализм отличается не тем, что он индустриален (это могло быть и так, и не так), а соединением работника и условий его деятельности. Значит, социалист должен способствовать этому соединению и препятствовать отчуждению работника от орудий труда.

Как и Лавров, Михайловский отталкивается от ценности личности, но, как народник, не является индивидуалистом. Он также видит критерии прогресса общества в «экономической самостоятельности масс – растет она или нет»[482]. Как это сочетается с критерием прогресса, приведенным выше. Разъясняя эту связь, Михайловский подтверждает: «все здание Правды должно быть построено на личности». Но когда речь идет о социальных процессах, выделить совокупные интересы всех личностей крайне сложно, и приходится исходить из вторичного критерия, который объединяет проявления всех личностей. Это труд, понимаемый как деятельность. «Где человек – там и труд»[483]. Если труд – квинтэссенция Человека, то интересы человеческого общества концентрируются в трудовых классах – земледельцах, промышленных рабочих, трудовой интеллигенции. Поэтому «в конкретных политических вопросах вместо интересов личности можно и должно подставлять интересы **народа**»[484].

А если квинтэссенция человека – не труд? А если в среде народа возникнут острые конфликты? На чью сторону тогда становиться? Здесь социология Михайловского остается непроработанной. Критически мыслящая личность слишком близка к элитарным интересам. Элита породила ее, но личность перешла на сторону не-элиты. Гипотетически это – народ. Но народ – это не все население, а активное население, стремящееся к изменению своего угнетенного положения. **Если строить здание Правды и политическую стратегию на личности, то народу, приведенному в движение во имя Правды, будет противостоять не только каста угнетателей, но и пассивная мещанская масса, и разрушительная охлократия.**

* * *

Михайловского иногда называют лидером или представителем течения «либеральных народников», и уже само это наименование показывает, насколько непонятым остается этот мыслитель и общественный деятель.

Исследователь творчества Михайловского В. Блохин настаивает: «Не вызывает сомнения

антилиберальный характер доктрины Михайловского, стремление сконструировать концепцию общества на социалистических началах»[485]. И с этим нельзя не согласиться (как мы увидим – даже вопреки некоторым утверждениям В. Блохина).

Михайловский был принципиальным критиком либеральной идеологии. Он пишет о либеральных экономистах: «разбудив, таким образом, жажду личной свободы, они немедленно же вдвигали личность в систему наибольшего производства, где она и погибла»[486].

В то же время Михайловский, как и другие народники, в своей критике капиталистического развития не является ретроградом. «Идеалом для него было общество, где бы сочеталась бесклассовая структура с высоким уровнем индустрии»[487], – пишет В. Блохин. Слово индустрия тут явно неуместно, учитывая скептическое отношение Михайловского к специализации. Уместнее сказать – с высоким уровнем производства. Но технологии и социально-экономическая организация должны обеспечивать сохранение и развитие многообразия и целостности человеческой личности.

При всех успехах капитализма, его преимущества над разрушаемым традиционным обществом очень относительны: «Пока система наибольшего производства только освобождала личность, разбивая узы цехов и монополий, на нее возлагались всяческие надежды, а по мере того, как стал обнаруживаться ея двусмысленный характер, ея стремление заменить одни узы другими – надежды стали ослабевать. Старые узы оказались в некоторых отношениях сноснее новых потому, что они все-таки гарантировали личность от бурь и непогод. Явилась мысль применить их старые принципы к требованиям нового времени…»[488] Речь идет об общине и цеховой организации[489] (таким образом народничество предвосхищает родственное ему британское течение гильдейского социализма). На основе этого традиционного опыта можно выстроить новую систему общественной солидарности. Ни в коем случае нельзя пожертвовать ей в угоду индустриальному прогрессу.

* * *

Михайловский активно сотрудничал с «Народной волей», что позволило некоторым авторам даже включать его в круг идеологов этой организации[490]. Такое мнение вызвало бурную полемику в исторической литературе и мемуаристике. «Дискуссия привела к единодушному признанию идейного воздействия Михайловского на «Народную волю», общность позиций Михайловского и партии»[491]. Эта дискуссия продолжилась и позднее.

Был ли Михайловский революционером? Известно его письмо Лаврову 1873 г., где он писал: «я не революционер, каждому свое»[492]. Письмо, написанное в конкретной исторической обстановке, до начала сотрудничества Михайловского с «Народной волей», вряд ли может быть окончательным аргументом, определяющим степень его революционности. Тем более, что письмо передавалось нелегально и несло отпечаток иносказательности. Михайловский уверен, что старые боги и так падут (так он не против революции?), но новые боги опаснее старых.

На основании этого письма и деятельности Михайловского после 1881 г. исследователи часто делают вывод о том, что Михайловский – не революционер, а реформист. Некоторые авторы оспаривают это, считая Михайловского революционером[493]. Ведь Михайловский писал тому же Лаврову: «Готовить людей к революции в России трудно, готовить к тому, чтобы они встретили революцию как следует, можно и, следовательно, должно»[494]. Так что Б.С. Итенберг суммирует: «Историки дружно сошлись на том, что Михайловский выступал против политической революции западноевропейского типа, а не против революционного движения в принципе»[495].

Это мнение становится очевиднее, если не следовать искусственному противопоставлению революционности и реформизма. Мы уже видели, что вполне возможны революционные реформы. Оценка изменения ситуации в России в конце XIX – начале XX вв. позволяет оспорить антитезу «революционность-реформизм» с другой стороны. В разное время для достижения революционных целей подходит разная тактика. В период революции даже умеренного либерала можно встретить на оппозиционной демонстрации под красными знаменами. В период реакции сторонник «Народной воли» Михайловский пропагандировал социалистические и демократические идеи массовым тиражом, действуя более осторожно, чем его товарищи-подпольщики. И эта агитация стала одним из факторов, который позволил революционному народничеству возродиться в начале XX века. Не случайно В. Чернов считал Михайловского одним из своих учителей. Признавая роль революций в обществе, Михайловский просто относился к этому явлению без романтического восторга. Его революционность реалистична.

Принципиальные различия можно найти только между революционерами-экстремистами, которые принципиально считают любые реформистские методы вредными, и между реформистами и консерваторами, которые стремятся во что бы то ни стало предотвратить революцию. Остальные течения в той или иной степени сочетают **реформизм и революционность**. Михайловский – не исключение. Он был революционером в том же смысле, в котором революционером был Прудон. Когда революционное движение было на подъеме, он участвовал в подпольной работе как публицист и идеолог, а когда оно становилось неперспективным, Михайловский сосредотачивался на легальной агитации.

Его читала и оппозиционно-настроенная интеллигенция, и будущие создатели революционной партии эсеров. Общественное затишье конца XIX века стало благоприятным временем для спокойного осмысления первой атаки на твердыни угнетения, для уточнения ориентиров борьбы за новое общество. Тем более, что на этом пути пока было больше жертв, чем результатов, и опыт героев соседствует с опытом провокации.

* * *

Михайловский защищает идею **своеобразия путей развития** разных стран, и в этом отношении вступает в спор с марксистами, которые пытаются вместить Россию в прокрустово ложе марксистских схем.

Михайловский не считает, что традиции народной жизни уже сами собой обеспечивают успех социалистического проекта в России, но, как и другие народники, он ищет опору в народной психологии: «Всякий раз, как мне приходит в голову слово «правда», я не могу не восхититься его внутренней красотой… Кажутся, только по-русски истина и справедливость называются одним и тем же словом и как бы сливаются в одно великое целое»[496]. Народная этика близка этике социалистической интеллигенции. Но получат ли развитие эти нравственные черты или иные, противоположные, которых также множество и в народе, и в интеллигенции – это зависит от субъективного действия.

Исходя из необходимости учитывать особенности России, Михайловский при этом отрицает ее абсолютную самобытность. В 1873 г. он пишет, что Россия находится в зародышевом состоянии современных процессов, уже пройденных Западом. Цели движения разных обществ очень близки, но путь России можно сделать более благоприятным.

«Никакое общество не обязано проходить через все метаморфозы, которым подверглись его старшие в историческом порядке родичи – здесь имеет место закон не наследственности, а педагогической передачи особенностей… Опыт цивилизации передается не повторением фаз развития, не переживанием коллизий «органического пути», но педагогически, научением, не по «законам наследства»»[497].

Самостоятельное развитие России – не самоцель: «Мы верили, что Россия может проложить себе новый исторический путь, особливый от европейского, при чем для нас важно не то было, чтобы это был какой-то национальный путь, а чтобы он был путь хороший, а хорошим мы признавали путь сознательной подгонки национальной физиономии к интересам народа»[498].

Михайловский подчеркивает принципиальное различие социальной ситуации в России и на Западе: «Рабочий вопрос в Европе есть вопрос революционный, ибо там он требует передачи условий труда в руки работника, экспроприации теперешних собственников. Рабочий вопрос в России есть вопрос консервативный, ибо тут требуется только сохранение условий труда в руках работника, гарантия теперешним собственникам их собственности»[499].

Может ли **революционная стратегия быть в то же время консервативной**? Собственно, до XIX века революционность была преимущественно консервативной. Участники Английской революции сражались за старинные вольности. Экспансия капитализма в мире снова актуализировало консервативные задачи революции, которые переплелись в XX веке с антикапиталистическими. Народничество предвосхитило проблематику антиимпериалистической борьбы XX века.

* * *

Михайловский, много сделавший для развития социальной науки, для выяснения закономерностей общественного развития, был в то же время категорическим противником фатализма и детерминизма. Он выступал против характерного для нигилистов и некоторых марксистов отождествления нравственного и необходимого: «Нравственное – значит желательное; естественное – значит необходимое, – это две различные категории»[500]. Нравственно действие, гуманизирующее исторический поток. Содействие предопределенным целям, неизбежной тенденции – вненравственно и во многом бессмысленно. Зачем действовать, когда все само получится в соответствии с железными законами общественного развития?

Михайловский благосклонно отнесся к «Капиталу» Маркса, поддержав критику Марксом капиталистического разделения труда. Но из «Капитала» Михайловский делает совсем немарксистские выводы. Нужно сделать все «для предотвращения неправильности европейской цивилизации». Не нужно ждать «развития батрачества, чтобы сказать, что свобода умирать с голоду не есть свобода»[501].

Михайловский, позволивший себе усомниться в универсальности марксовой схемы, подвергся жесткой критике, а иногда и просто ругани со стороны Г. Плеханова, П. Струве и В. Ульянова. Позднее П. Струве вынужден будет перейти на позиции Михайловского по большинству позиций, где народник нашел уязвимые стороны марксовой теории. Но это можно объяснить «ревизионизмом», отходом Струве от марксистского учения. Но мы увидим, что и для Ленина Михайловский станет непризнанным учителем, фактически наметив программу эволюции левого крыла марксизма.

Михайловский подверг критике теорию главенства экономического фактора над «надстройками», доказывал, что диалектика – это логический прием, а не свойство реальности. Михайловский утверждает «недоказанность скачка из царства необходимости в царство свободы»[502].

По мнению Михайловского **национальный, психологический, семейный, властный факторы** играют не меньшую роль, чем экономические тенденции. Убедительно раскритиковав марксову иерархию факторов социального развития, Михайловский отдавал предпочтение психологическим явлениям, хотя и не выстроил собственную систему взаимосвязей факторов, аналогичную по целостности марксистской. Плюралистический, многофакторный подход к социальным процессам был удобной позицией. Но это на целый век оставило в руках марксизма монополию системного анализа общества. Откликаясь на критику –

в том числе и народническую – марксистские авторы первоначально отвечали жесткой, часто грубой и клеветнической критикой. Но затем, спустя годы и даже десятилетия, марксизм откликался на вызов все более внимательным отношением и к психологическим, и к этно-национальным, и к семейным, и к иным факторам социального развития.

Маркс оказался мудрее своих учеников, и согласился с Михайловском в том, что нельзя превращать предложенный в «Капитале» «исторический очерк возникновения капитализма в Западной Европе в историко-философскую теорию о всеобщем пути, по которому роковым образом обречены идти все народы, каковы бы ни были исторические условия, в которых они оказываются, – для того, чтобы прийти в конечном счете к той экономической формации, которая обеспечивает вместе с величайшим расцветом производительных сил общественного труда и наиболее полное развитие человека»[503].

При этом Маркс отрицал, что первоначально высказывал претензию на универсальность своей схемы. Но, как справедливо пишут В.А. Твардовская и Б.С. Итенберг, несмотря на все усилия, «Михайловский не нашел в марксовом изложении ни одного места, говорящего хоть о каких-либо исключениях из закона естественно-исторической смены формаций»[504]. Маркс не внес поправок в «Капитал», которые разъясняли этот вопрос, не упомянул о нем в предисловии к «Капиталу»[505]. Это так. Но, во-первых, фраза Маркса вовсе не обязательно свидетельствует об отказе от формационной теории как таковой – формации тоже могут быть разными. Во-вторых, в рукописях, не доступных читателям того времени, Маркс все-таки начал рассматривать возможности существования параллельных, а не последовательных способов производства, из чего вытекает теория об «азиатском способе производства», параллельных путях развития цивилизации.

Размышления на тему разных путей прогресса привели Маркса и Энгельса к более широкой **концепции взаимодействия революций** в развитых капиталистических странах и обществах, только вступивших на путь капиталистической модернизации. Этому способствовал и подъем революционного движения в России. Революция может начаться не на Западе, а, как и предсказывал Бакунин, именно «на Востоке, бывшем до сих пор нетронутой цитаделью и резервной армией революции»[506]. Здесь Маркс соглашается не только с народническим ожиданием революции в России, но и прогнозирует более широкое явление, которое позднее получит от Ленина наименование «Пробуждение Азии». «Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития»[507]. Эта формула стала полем компромисса, который устроил бы и Бакунина. Она соответствовала взглядам эсеров и после некоторых колебаний, была принята Лениным. Однако колебания российских последователей Маркса были не случайны. Общинный социализм расходился с марксизмом не столько в отношении к капиталистическому прогрессу (в конце концов оба течения относятся к нему в той или иной степени критически), сколько в конструктивной программе.

* * *

Россия не смогла уклониться от пути капитализма и от экспроприации крестьянства. Значит ли это, что в споре Михайловского и марксистской, к которому мы еще будем возвращаться, Михайловский был не прав? Во-первых, Михайловский ставил задачу, и народники начала XX века – эсеры, боролись за ее воплощение в жизнь. Они проиграли. Но ведь и экспроприация крестьянства была проведена не буржуазным режимом. Получается, что дело – не в капитализме, а в индустриализме. Спор велся о том, насколько можно сгладить издержки индустриальной модернизации. Народники выступали за то, чтобы индустриальный сектор не разрушил то в традиционном обществе, что продолжает служить людям, чтобы

преимущества от технологического прогресса получала не узкая каста собственников, а все население.

Во-вторых, путь страны в индустриальное будущее оказался совсем не таким, как на Западе. Марксисты были правы в том, что нельзя миновать фазу индустриального общества, которую они связывали с капитализмом. Народники оказались правы в том, что можно миновать общество, в котором преобладают капиталистические отношения. Развитое индустриальное общество в нашей стране сложилось в рамках совсем другой модели, синтезировавшей традиции авторитарной культуры и общинного коллективизма, марксистскую идеологию, вобравшую многие народнические идеи, и мессианский вызов, присущий России задолго до споров социалистов.

Каждое общество проходит универсальные фазы развития (впрочем, отличающиеся от указанных Марксом и Энгельсом), но оно движется своим путем, в соответствии со своим этно-национальным «кодом», своей традицией, которую народники учитывали гораздо внимательнее, чем марксисты.

И еще одно важное обстоятельство. Подошел к концу XX век. Пролетариат власти не взял. Индустриальное общество прошло пик своего развития. Человечество ищет новые формы своего существования. А вот предсказанный Михайловским и желательный процесс диверсификации, снижения специализации, происходит все заметнее. С развитием компьютеризации и гибких технологий он уже стал технологически возможным, хотя для окончательного успеха прогресса по Михайловскому необходимо изменение социальных структур, сформировавшихся в соответствии с требованием индустриального сверхспециализированного общества. Дав свое определение прогресса, Михайловский указал на те предпосылки, которые необходимы для возникновения мира, «желательного» человеку. **Он указал на фундаментальное экономическое основание пост-индустриального общества – преодоление узкой специализации.**

Глава V. Первый Интернационал и Парижская коммуна

Возникновение Интернационала.

Несмотря на то, что социалистическое движение существовало уже не один десяток лет, а рабочие выступления потрясали Великобританию, Францию, Германию и другие страны, где индустриальное общество входило в свои права, до 1864 г. практически не существовало организации, которая стала бы общим полем международного социалистического и рабочего движения. После окончания европейской реакции 50-х гг. вопрос о консолидации рабочего движения с участием социалистических течений встал в повестку дня. О создании международной рабочей организации договорились во время международной выставки 1863 г. представители британских профсоюзов и рабочие делегаты Франции. Они были избраны с согласия Наполеона III, искавшего (как и Бисмарк) в рабочем движении новый ресурс своей власти.

28 сентября 1864 г. в Лондоне открылось учредительное собрание **Международного товарищества рабочих** (МТР), или коротко – Интернационала. МТР учредили представители рабочих (прежде всего Британии и Франции), но присутствовали участники революционных, социалистических и коммунистических течений из разных европейских стран, в том числе – К. Маркс.

Интернационал стал идейной лабораторией, где должен был произойти синтез различных социалистических учений, и в то же время инкубатором классового сознания европейского рабочего класса. Женевский конгресс 1866 г. провозгласил одной из величайших целей Интернационала добиться того, чтобы «рабочие различных стран не только чувствуют, что все они – братья, но осознают себя объединенными частями одной освободительной армии»[508]. Вчерашние ремесленники из Франции, крестьяне из Силезии, рудокопы из Шотландии должны были осознать себя частью единого целого с общими интересами. И с этого момента пролетариат становился фактором мирового развития, сопоставимого по силе, а затем и превосходящего королевские дома, транснациональные корпорации и литературные течения.

С самого начала рабочие лидеры понимали, что успех Интернационала зависит от привлечения в его ряды социалистической интеллигенции, то есть мыслителей, выступающих за коренное изменение общественного строя, устранение эксплуатации и угнетения рабочих. Интернационал должен был быть достаточно широк в идейном отношении, в нем должны были «поместиться» все важнейшие социалистические течения Западной Европы того времени – прудонисты, марксисты, лассальянцы, бланкисты и др.

Интернационал был создан рабочими лидерами, и с самого начала ему не хватало квалифицированных интеллигентов, способных обеспечить квалифицированную организационную и идеологическую работу. Одним из них стал Маркс, приглашенный на учредительное собрание МТР своим другом И.Г. Эккариусом (через несколько лет он будет объявлен «оппортунистом» за несогласие с действиями по расколу Интернационала). Вопреки более поздней марксистской мифологии Маркс не был основателем Интернационала, но он быстро стал одним из его лидеров, заняв две важные функциональные ниши – написание проектов идеологических документов и переписка с кадрами в разных странах. Для этого Маркс обладал хорошей квалификацией как публицист и полиглот. К тому же как раз в середине 60-х гг. улучшилось материальное положение Маркса и Энгельса, что позволило им больше времени уделять общественной работе. До конца 60-х гг. Маркс и Энгельс были для Интернационала

незаменимы.

Позиции Маркса укрепились и благодаря тому, что он поддержал прудонистов в вопросе об уставе, отстояв федералистскую структуру организации против централизма мадзинистов. После этого мадзинисты прекратили свое участие в Интернационале, и Маркс занял освободившуюся нишу вождя централистской фракции.

Маркс отверг составленный прудонистами проект манифеста МТР и предложили свой – насыщенный статистикой и экономическими рассуждениями. Важная мысль манифеста – никакое совершенствование производительных сил не может обеспечить устранение нищеты, пока не будут изменены социальные условия. Эта мысль, выраженная Марксом, соответствует общему пафосу социалистического движения, и в то же время проводит черту между экономическим детерминизмом Маркса (экономические процессы определяют политические) от более примитивного технологического детерминизма, распространившегося в конце XX века, когда распространение компьютеров объявляется критерием «пост-индустриальной информационной революции».

Вопреки международному статусу товарищества проект манифеста, написанный Марксом, страдал пробританским «флюсом» и по материалу (речь в нем идет о британских проблемах), и по пафосу – Маркс приписал «героическому сопротивлению рабочего класса Англии» честь предотвращения европейской интервенции против США. Впрочем, главная угроза по его мнению исходила со стороны России (хотя она, как раз, поддерживала в это время США). Здесь чувствуется стремление Маркса к тому, чтобы новая организация стала играть роль дипломатического фактора в интересах одних держав против других. Проанглийское направление текста позволило Марксу заручиться поддержкой английских тред-юнионистов против французских прудонистов при проведении именно своего проекта.

Оказавшись в центре идеологического синтеза МТР, Маркс показал себя как гибкий политик. Маркс допускал в своем проекте манифеста сосуществование различных социалистических идей. С одной стороны здесь присутствует марксистская мечта об “общественном производстве, управляемом общественным предвидением”,[509] с другой – в манифест включен настоящий гимн кооперативному движению: «Мы говорим о кооперативном движении, в частности о кооперативных фабриках, основанных без всякой поддержки усилиями немногих смелых «рук». Значение этих великих социальных опытов не может быть переоценено. Не на словах, а на деле рабочие доказали, что производство в крупных размерах и ведущееся в соответствии с требованиями современной науки, осуществимо при отсутствии класса хозяев, пользующихся трудом класса наемных рабочих; они доказали, что для успешного производства орудия труда вовсе не должны быть монополизированы в качестве орудий господства над рабочим и для его ограбления и что, подобно рабскому и крепостному труду, наемный труд – лишь преходящая и низшая форма, которая должна уступить место ассоциированному труду, выполняемому добровольно с готовностью и воодушевлением»[510]. Но победить кооперация может лишь тогда, когда станет развиваться в общенациональном масштабе на общенациональные средства. Фрагмент манифеста о кооперации — заметная уступка прудонизму, британскому кооперативизму, идущему от оуэнизма, и немецкому лассальянству.

* * *

Интернационал был основан почти одновременно с гибелью на дуэли **Фердинанда Лассаля** (1825-1864), сторонники которого сумели в 1863 г. создать массовую рабочую организацию в Германии – Всеобщий германский рабочий союз (ВГРС). Мечта Маркса о возникновении сильного рабочего движения сбылась, но не под тем знаменем. Хотя Лассаль считал себя соратником Маркса, между ними имели место

некоторые личные и идеологические трения.

Маркс и Энгельс считали ошибкой Лассаля «железный закон заработной платы», о котором мы уже говорили в связи с Прудоном. Из «закона» следовала бессмысленность стачечной борьбы (что противопоставляет Лассаля Марксу и, скажем, Бакунину). Лассаль также считал неприемлемым подчинение рабочих либеральному движению, он резко раскритиковал идеи популярного в то время пропагандиста Шульце-Делича, надеявшегося улучшить положение рабочих за счет их сотрудничества с предпринимателями, постепенного накопления средств за счет собственной заработной платы в кредитных обществах и потребительской кооперации (своего рода крайне правый прудонизм). Как же быть, если рабочий класс не может достигнуть успеха с помощью оружия стачки, не накопит средств, выкраивая гроши из своей жалкой зарплаты? Так каков же путь к освобождению от эксплуатации?

Лассаль обращает свой взор к государству. Но, в отличие от Маркса, он не спешит призывать к его свержению. Современное германское государство еще не является вполне буржуазным, у него есть собственные бюрократические интересы, которые могут отчасти противостоять интересам буржуазии. А раз так, рабочие могут вступить в союз с монархией против буржуазии. Для Маркса и Энгельса, несмотря на некоторую симпатию к бисмарковской «революции сверху», такая тактика была неприемлема. Со времен революции 1848 г. они предпочитали тактику союза с буржуазией против «феодального» государства. Контакты с монархическим правительством, которые позволял себе Лассаль, Маркс считал нравственно неприемлемыми. Лассаль не видел ничего зазорного в том, чтобы попытаться убедить Бисмарка ввести всеобщее избирательное право и социальное законодательство. Во время их бесед в январе 1864 г. Бисмарк и Лассаль обсуждали даже детали будущего законодательства, и только напористость Лассаля и его претензии на власть в будущей германской империи заставили Бисмарка пока прекратить переговоры[511].

Но после смерти Лассаля оказалось, что он все-таки убедил Бисмарка ввести всеобщее избирательное право и приступить к введению мер социальной защиты (этому способствовал и успех аналогичной политики Наполеона III в 60-е гг.). И хотя в Германии в XIX в. не была достигнута ни демократия, ни полноценное социальное государство, агитация Лассаля способствовала развитию страны в этом направлении. Лассаль, таким образом, развивал реформистскую линию государственного социализма, которая будет иметь большое будущее в истории социал-демократии.

Но Лассаль не считал нужным ограничиваться подачками социального государства. В 1861 г. он взял на вооружение теорию Л. Блана о создании самоуправляющихся государственных предприятий (ассоциаций). Лассаль заявлял: «работник и мещанин… вправе требовать, чтобы государство помогло ему добиться большего и более обеспеченного дохода, а с ним и возможности умственного образования и, следовательно, истинно человеческого существования»[512]. Рабочая организация будет требовать, «чтобы государство помогло их ассоциации нужным капиталом, то есть нужным кредитом»[513].

Лассаль считает, что как только государство будет демократически преобразовано и станет проводить политику создания производственных ассоциаций, оно изменит свой социальный характер: «государство – это вы, великая ассоциация беднейших классов!». Лассаль называл такое государство народным, имея в виду, что оно опирается не только на рабочих, но и на другие беднейшие классы.

Таким образом, по Лассалю «свободная индивидуальная ассоциация работников, но осуществленная с помощью и покровительством государства, есть единственный выход из беднейшего положения рабочего сословия»[514].

Каждое рабочее предприятие – кооператив. Все вместе они – взаимосвязанная ассоциация. Маркс готов рассматривать кооперацию под тем же углом. Кооперация — одна из форм ассоциированного труда, но она с точки зрения Маркса не сможет облегчить жизнь работников, пока не будет осуществляться в

общенациональном масштабе на общенациональные средства, для чего необходима поддержка государства (только, в отличие от Лассаля – именно рабочего государства)[515].

Пока Лассаль был жив, разногласия не мешали Марксу сотрудничать с ним. После гибели Лассаля Маркс попытался наладить сотрудничество с новым лидером ВГРС Ж.-Б. Швейцером, убежденным последователем Лассаля, согласился участвовать в журнале Швейцера «Социал-демократ». В программе издания содержались откровенно лассальянские формулировки, включая «единое свободное народное государство», которое позднее вызывало гнев Маркса. В декабре 1864 г. – феврале 1865 г. Маркс и Энгельс были готовы сотрудничать в издании при условии, что оно будет придерживаться собственной программы (то есть тогда разногласия с лассальянством считались вполне допустимыми для сотрудничества). Однако позднее последовал разрыв, Маркс и его сторонники развернули кампанию против ВГРС и тени Лассаля. Поводом стали положительные отзывы «Социал-демократа» о политике Бисмарка. Швейцер считал, что причиной стало нежелание руководства ВГРС сделать Маркса преемником Лассаля в качестве идейного лидера рабочего движения[516]. Те программные положения, которые раньше Маркс считал хоть и неверными, но терпимыми, теперь провозглашались совершенно недопустимыми (этому способствовала и критика Бакуниным немецких государственников – и Маркса, и лассальянцев, причем Марксу, как увидим, доставалось и за лассальянство). Так или иначе, в 1865-1875 гг. рабочее и социалистическое движение Германии развивалось в условиях конфликтной конкуренции лассальянцев и сторонников Маркса (также, впрочем, испытывавших влияние лассальянства), которые в 1869 г. создали Социал-демократическую рабочую партию.

* * *

Могут ли самоуправляющиеся предприятия противостоять капиталу без поддержки государства? Ко времени возникновения Интернационала **развитие самоуправляющихся предприятий** уже имело свою историю. Последователи Оуэна не складывали оружия. В 1854 г. Рочдейльское кооперативное промышленное общество выкупило фабрику. Большинство акций стало принадлежать рабочим. Фабрика пережила промышленный кризис 1857-1858 гг. Была сокращена зарплата, но не было увольнений. Однако по мере успехов в период экономического подъема Рочдейльская фабрика превратилась в обычное капиталистическое предприятие. Для расширения производства фабрика привлекла новых акционеров. Был нарушен важнейший принцип коллективного предприятия — человек является хозяином в той степени, в какой является работником предприятия. Вскоре только часть работников стало владельцами акций, а большинство осталось обычными пролетариями.

Пример показательный. Причем сразу в трех отношениях. Во-первых, фабрика оказалась конкурентоспособной в условиях кризиса. Во-вторых, она все-таки была поглощена средой, что вроде бы доказывает невозможность такого выхода из капитализма. В-третьих, поглощение фабрики состоялось в результате отказа от ее кооперативных принципов. Рабочие предпочли стать капиталистами. Это был их выбор, но он не диктовался железной необходимостью. Подобные метаморфозы происходили с лидерами любых социалистических направлений (включая самые радикально-коммунистические), которые сначала противостояли капитализму как системе, а потом, в силу идейной эволюции или человеческих слабостей превращались в чиновников этой же системы.

Несмотря на то, что в 80-е гг. XIX века потребительская кооперация Великобритании отказалась от поддержки создания кооперативных предприятий (чтобы не отвлекать капиталы от торгового бизнеса — потребительская кооперация далеко ушла от социалистических принципов), производственная кооперация превратилась в постоянный, хотя и скромный фактор экономической жизни. В 1882 г. возникла

Кооперативная производственная федерация, отпочковавшаяся от потребкооперации.

В 1893-1905 гг. в Англии и Уэллсе существовало более 100 производственных кооперативов, но после войны их число упало почти в два раза и продолжало снижаться. Во Франции в 1885 г. работало 94 производственных ассоциаций, в 1887 г. их число временно упало до 25, но и при этом на предприятиях работало 4000 человек, а капитал составлял до 4 млн. франков[517].

После Первой мировой войны производственная кооперация пережила подъем во Франции (274 предприятий в 1919 г., 385 — в 1933 г.). Рост числа кооперативов продолжался и после Второй мировой войны (703 в 1947 г., затем снижение до 494 в 1966 г. и новый подъем до 537 в 1975 г.) . Эти колебания во многом связаны с перипетиями социальной борьбы в стране (волны революционных настроений после мировых войн и в конце 60-х гг. способствовали антикапиталистическим экспериментам). Аналогичные процессы можно видеть в Италии. Не угасла производственная кооперация и в Великобритании.

В России процветала артельная традиция. К 1914 г. существовало около 500 постоянных производственных артелей, в том числе такие крупные, как Павловская ножевая и Нижне-Исетская механическая. Во время войны 1914-1918 гг. и революции 1917-1922 г. количество производственных артелей выросло в 20 раз. Это был неплохой выход для работников в условиях социальной катастрофы и примитивных технологий. Затем большевистская власть вытеснила кооперацию в сферу потребления и сельского хозяйства.

Кооперация XIX – первой трети XX вв. — это попытка рабочего спастись от бедствий, будь то безработица, невыносимо низкая зарплата, тяжелые условия труда, либо социальная катастрофа, подобная гражданской войне в России. Рискованное решение вступить на путь коллективного предпринимательства рабочий мог принять под действием социалистических идей либо уже существующего на его глазах примера. А.И. Калганов считает, что «смягчение противоречий капитализма… в индустриально развитых странах ослабило и стимулы кооперативного движения»[518]. Но это не соответствует приведенной им же статистике (например, приведенным выше колебаниям числа кооперативных предприятий во Франции — ведь в 1919 г. условия жизни были гораздо тяжелее, чем в 1975 г.). Стимулы несомненно изменились, но говорить об их ослаблении не приходится.

В XIX в. создать и вести коллективное предприятие было неизмеримо труднее, чем во второй половине XX в. Ведь во времена Прудона и Маркса рабочий был крайне беден и гораздо хуже образован. Даже если рабочим удавалось скопить средства на фабрику или получить их от какого-нибудь филантропа, бедность становилась роком самоуправления — «нищенские доходы рабочих того времени нередко подталкивали их к обращению прибыли в предприятия на увеличение зарплаты, а страх перед безработицей, означавшей если не физическую, то социальную гибель, препятствовал техническому обновлению производства»[519] — комментирует ситуацию А.И. Калганов.

Не могло развиться и полное самоуправление, компетентное участие рабочих в принятии управленческих решений. В силу отсутствия соответствующих знаний и навыков рабочим приходилось нанимать специалиста-управленца, который правил ими по капиталистически. Модель государственного «социализма» в миниатюре. Но именно в силу миниатюрности самоуправляющиеся фабрики были все же ближе к социалистическому идеалу. Управленец должен был объяснять свои действия коллективу, утверждать свою стратегию на его собраниях, где каждый мог задать вопрос и высказать возражения, не опасаясь быть уволенным (скорее, уволить могли директора). Соответственно менялся и уровень демократической культуры на таких предприятиях, больше была «уверенность в завтрашнем дне». В то же время действовали и негативные факторы с точки зрения эффективности. Демократическое управление как правило менее оперативно, чем авторитарное. Например, предприниматель не мог свободно заменять нерадивых и неумелых работников. Но такие факторы не были фатальными, так как действовало

моральное давление коллектива на «отстающих» (ведь они отставали за счет коллег, влияя на доход каждого более непосредственно, чем при общегосударственном «социализме»).

Вероятно, именно самоуправляющиеся предприятия смогли ближе всего «подтянуть» **социальный порог господства к культурно-технологическому порогу**.

Тем не менее, существование этого порога не позволяло рабочим полностью совместить функции производителя и творца, работника и хозяина своего труда.

* * *

Для Маркса **кооперативные фабрики** не были воплощением социализма, но они – положительное явление, так как доказывают, что выполнение управленческих функций капиталистом излишни. Рабочие (или зависимые от них менеджеры) справляются с этой задачей не хуже. Это позволяет отделить "труд по управлению трудом" от капитализма[520]. Здесь Маркс идет за Оуэном и Прудоном. "Дирижер-капельмейстер отнюдь не обязательно должен быть собственником инструментов оркестра, и в его функции как дирижера не входит спекуляция на издержках по содержанию членов оркестра, вообще он не имеет никакого отношения к "заработной плате"[521]. Доходы должны распределяться в соответствии с решением коллектива.

Маркс придает особое значение отделению предпринимательского дохода от оплаты управленческого труда, которое производится в кооперативной фабрике. В результате "труд по надзору утрачивает свой антагонистический характер, так как управляющий оплачивается рабочими"[522]. Кто платит, тот и заказывает музыку? «Революция менеджеров» второй половины XX века показала, что это не вполне так. Менеджер, даже формально не являющийся собственником, все равно имеет преимущества в информации и правах, особенно в условиях несовершенства демократических механизмов. Власть важнее оплаты. Маркс не учитывает, что в отношении власти структура распределения доходов может быть вторична, а не первична.

Маркс считает самоуправляющиеся предприятия, которые принадлежат работникам, **переходной формой** «от капиталистического способа производства к ассоциированному»[523]. В них много общего с марксовым социализмом, они похожи на него как модель на гигантское воплощение. Но они расходятся в главном – в подчинении деятельности человека высшей экономической целесообразности. Для Маркса самоуправление, работающее на свой страх и риск – переход к социализму, школа рабочего управления в масштабах страны и даже мира.

В третьем томе капитала Маркс вернулся к вопросу о кооперации. С одной стороны, кооперативные фабрики являются «первой брешью» в капиталистической системе. В пределах фабрики «уничтожается противоположность между капиталом и трудом». Но в целом рабочие как ассоциация эксплуатируют сами себя.

Маркс считает, что акционирование и кооперация – две переходные формы к ассоциированному способу производства. Правда, к кооперации Маркс относится несколько лучше, поскольку в нем «противоречие снято» положительно. Однако полис не может существовать без поля, которое также должно быть устроено без противоречия. Маркс считает необходимым организовать общество в целом как единый кооператив. Кооператив – это модель будущего общества по Марксу, а не его элемент.

Анализ поля капиталистических отношений также вызывает у Маркса оптимизм. В развитии кредитной системы Маркс также видит «уничтожение капиталистической собственности главным образом в отношении промышленного капитала»[524]. Между тем пути через самоуправление и через

централизацию капитала вели к разным общественным моделям: к обществу самоуправляющихся ассоциаций работников, или к централизованной структуре, организованной как транснациональная корпорация. Второй путь вполне соответствовал тенденции развития капиталистического поля, разрушавшего тем самым социалистические полисы. Развитие кредитной системы приведет к вступлению развития капитализма в финансово-промышленную империалистическую фазу. Как мы увидим, это уже заметил Бакунин, видевший в этом препятствие для социализма. В начале XX в. это «переоткроют» ученики Маркса. Они увидят в этом новый шаг к социализму, понимаемому как экономический централизм.

* * *

Развитию кооперативного сектора препятствовала сама логика индустриального общества. Можно согласиться с А.И. Калгановым в том, что «на коллективном предприятии полного снятия отчуждения не происходит. Технологическая дисциплина фабрики остается, что не позволяет выйти за рамки противоречия между управляемым и управляющим, между работником и менеджером, поддерживающим единство и непрерывность технологического процесса. Отчасти коллективное предприятие создает условия если не для преодоления, то для значительного смягчения этого противоречия путем передачи ряда функций производственного управления в его технологическом аспекте в руки самих работников и их микроколлективов»[525]. Марксистский исследователь видит корень проблемы в конфликте «между возможностью совместного контроля работниками условий производства внутри предприятия и невозможностью осуществить такой контроль за его пределами»[526]. Намек на то, что если бы самоуправляющиеся предприятия были встроены в единую плановую систему, то работники контролировали бы внешнюю среду, определяющие их жизнь экономические обстоятельства. Но решение этой проблемы заключено не в поле, а в полисе. Из вышесказанного видно, что технический уровень индустриальной эпохи не позволяет работнику преодолеть отчуждение от принятия решений не только в обществе в целом, но даже на своем предприятии. Тем более никакие плановые институты не позволят ему контролировать бюрократов, распределяющих продукцию и ресурсы по плану, таким образом «ограждая» предприятие от «стихии рынка», то есть от потребителя.

В этом отношении противоречия нет — работник в условиях индустриальных отношений может осуществлять лишь частичный контроль над управлением (при чем имеет тем больше возможностей, чем меньше масштаб коллектива), а коллектив (включая менеджера, часто опосредующего права работников) имеет лишь частичные возможности для контроля за внешними обстоятельствами. Возможности эти заключаются не в создании планирующего центра (то есть экономической бюрократии, господствующей над предприятиями) по Марксу, а в установлении правил обмена, стабилизирующих и демонополизирующих рынок — по Прудону.

* * *

Различие во взглядах участников Интернационала не воспринималось как нечто вечное. МТР был идейной лабораторией, где должен был произойти синтез различных социалистических теорий. До 1871 г. лидеры Генерального совета считали, что «общность действий, установленная Международным Товариществом Рабочих, обмен идеями, облегчаемый органами печати различных национальных секций, и непосредственные дискуссии на общих конгрессах должны постепенно привести к созданию общей теоретической программы»[527].

На первых конгрессах МТР в центре идеологической полемики стояли взгляды прудонистов. На

Женевском конгрессе 1866 г. прудонисты и британские тред-юнионисты вступили в спор о целесообразности стачек. Британцы видели в МТР организацию международной солидарности, в том числе и в стачечной борьбе. Прудонисты доказывали, что стачки ничего не изменят, нужно всеобъемлющее преобразование общества, налаживание структур обмена, беспроцентного кредита, статистики – по существу параллельной экономики, способной подорвать сами основы капиталистического общества. Этот спор привел к обсуждению целей стачечного движения – прежде всего 8-часового рабочего дня. Прудонисты с оговорками (против государственного вмешательства в социальные отношения) поддержали эту идею, не считая такое требование окончательным, и предложили дополнить его требованием минимума заработной платы. Так формировалась будущая программа-минимум социал-демократии.

Конгресс обсудил и вопрос о кооперации, поддержав идейный синтез: с одной стороны, кооперативы были признаны одной из форм преобразования общества в «систему ассоциаций свободных и равных производителей»[528] (отметим, что слово ассоциации употреблено во множественном числе), а с другой – что такая система может быть создана путем перехода власти в руки рабочих (риторика, более характерная для государственного социализма). Важным принципом производственной кооперации, предотвращающим ее перерождение, делегаты провозгласили равноправие всех, кто занят на предприятии.

* * *

Снижение, а возможно — и преодоление технологического порога господства возможно только по мере преодоления индустриальных отношений. Однако уже споры социалистов XIX в. вскрыли **две противоположные стратегии** – полное обобществление, преодоление всякой частности, слияние всех работников в едином производственно-общественном целом; либо предоставление трудящимся возможностей элиты на их собственных производствах и территориях.

Самоуправление (общественное, производственное и территориальное) – один полюс социальной организации. Если этот полюс преобладает, человек хотя бы участвует в принятии решений, он может искать свою дорогу в обществе, перед ним открыт путь развития. Другой полюс — государственность. Решения принимает не сам человек, за него думает элита, которая вольна не разъяснять своих решений или делать это в самом общем виде, без «вопросов на понимание» и возражений снизу. В этом случае человек превращается в инструмент, в пассивный полуавтомат. Он лишается саморазвития и подчиняется искусственным, механическим законам управления. Между этими полюсами идет постоянное противоборство, которое и создает все известные формы общества. Расширение возможностей управления в индустриальную эпоху поставило мир перед перспективой полного поглощения общества государством, ликвидации самоуправления в принципе — то, что позднее назовут тоталитаризмом. Идея централизованного управления всеми экономическими процессами, отстаиваемая Марксом, вполне могла привести к такой перспективе. Но давление антиавторитарного социализма смягчало и максимы Маркса. Включившись в поле Интернационала с его широким спектром идей, Маркс стал вбирать их в свою концепцию – пусть как «переходные» и вспомогательные. Социализм стал превращаться в целостное течение, в котором марксистский централизм и прудоновский федерализм стали превращаться из полюсов противостояния в поле синтеза.

Бакунин против Маркса.

Самоуправление и государственность

Маркс и Энгельс выступают за **отмирание государства**, но у них этот процесс – результат ликвидации классового разделения. Государство («пролетарское») должно сначала взять в свои руки контроль за развитием всех жизненных процессов (ведь в марксисткой системе все в конечном итоге определяется экономикой), провести преобразования, полностью централизовать общество, после чего, как прогнозируется — государство исчезнет само собой. Предпринимать усилия для преодоления государства не приходится. Анархисты доказывают, что этот прогноз не оправдается, потому что классы не могут отмереть, пока есть государство. Потому что государство — это не просто “организованные силы общества”[529], а организация господствующего эксплуататорского класса. И если рабочий класс создаст новое государство, то это будет в действительности не государство трудящихся, а организация нового деспотического класса.

Государство – **суверенная организация властной элиты**. Государство – не организация всего общества: трудно доказать, что государственное предприятие в действительности принадлежит всем. Когда мы говорим, что государство плохо справляется со своими обязанностями, мы не имеем в виду нашего соседа, который живет на территории этого государства. Мы имеем в виду иерархию чиновников, бюрократию.

Бюрократическое управление, в силу специфики организации бюрократического социального слоя, страдает множеством недостатков[530]. Хотя наиболее яркие образцы катастрофичности бюрократического управления принадлежат XX веку, уже социалисты предыдущего столетия видели, что рост бюрократии будет разрушителен, что ее власть и размеры следует сокращать, особенно, если вы заинтересованы в преодолении таких явлений, как классовое разделение и социальный паразитизм.

К началу полемики с Бакуниным Маркс недооценивал бюрократию, полагая ее временным явлением полуфеодального свойства: «Бюрократия есть только низшая и грубая форма централизации, которая еще обременена своей противоположностью – феодализмом»[531]. Но бюрократия вырастает не из борьбы с феодализмом (она старше его), а из самой государственной централизации, милой сердцу Маркса. В новом издании своей работы он меняет вышеприведенную формулировку, особенно подчеркивая, что государственный централизм не ведет к бюрократизации: «**Государственная централизация**, в которой нуждается современное общество, может возникнуть лишь на развалинах военно-бюрократической правительственной машины, выкованной в борьбе с феодализмом»[532]. Таким образом, старую государственную машину Маркс считает необходимым сломать, чтобы тут же создать на ее развалинах новую государственную централизацию, пролетарскую. При этом Маркс полагал, что если государство «пролетарское», то никаких социальных интересов, кроме «пролетарских» в новом государстве не возникнет. Себя и своих последователей он считал выразителями интересов рабочего класса, а не бюрократической элиты.

* * *

Первоначально борьба в Интернационале по вопросам государственности развивалась подспудно, и сторонам удавалось сглаживать принципиальные разногласия между прудонизмом и государственным

социализмом с помощью терминологических компромиссов. В 1867 г. на Лозаннском конгрессе Сезар де Пап предложил выступить за национализацию промышленности. Шарль Лонгэ, защищая принципы прудонизма, не стал вступать в открытую полемику, а предложил дополнение: управление предприятиями будет осуществляться группами рабочих.

Лозаннский конгресс интернационала проходил в 1867 г., накануне Женевского конгресса демократического и пацифистского объединения «Лига мира и свободы». Некоторые социалисты участвовали в конгрессе Лиги, и у делегатов Интернационала возникло впечатление, что Лига позволит создать более широкий фронт, способный поддержать рабочее движение. Лозаннский конгресс поддержал Лигу, выставив, однако, свои условия поддержки мер по прекращению войн – освобождение рабочего класса и прекращение как классового угнетения, так и классовой борьбы.

Позицию социалистов на конгрессе Лиги выразили прудонисты и Бакунин, причем мнение Бакунина оказалось слишком радикальным для либерального большинства Лиги, и он вместе с другими демократическими социалистами демонстративно покинул Женевский конгресс. Зато в международном социалистическом и рабочем движении вырос авторитет Бакунина, удачно использовавшего трибуну Лиги.

В теоретическом отношении Лозаннский конгресс продолжал идейный синтез социалистических идей. Высказавшись за практические действия по организации производственных ассоциаций и «товарищеской» банковской системы (прудонистские идеи), конгресс в то же время поддержал национализацию средств сообщения и рудников. Сторонник этой идеи де Пап до конца 70-х гг. пытался поддерживать идейный **синтез конструктивного анархизма и демократического государственного социализма**. Идея государственного сектора, обеспечивающего равный доступ коллективов к производственной инфраструктуре, хоть и противоречила прудонизму, в то же время позволяла развести разные течения социализма «по секторам». Сторонники государственного регулирования могли надеяться на эксперимент в ключевых отраслях, а прудонисты – в остальной экономике. Эти идеи продолжали идейную традицию Блана и Люксембургской комиссии. В XX в. подобного рода эксперименты приводили к возникновению своеобразных вариантов социального государства, опирающегося на производственное самоуправление. Однако на Лозаннском конгрессе спорщики не пришли к единому мнению, и вопрос был отложен.

К нему вернулись на Брюссельском конгрессе 1868 г. Де Пап доработал свой проект в прудонистском духе. Он дал такие разъяснения, которые толковали идею национализации уже почти совершенно в прудонистском духе: «Коллективная собственность должна принадлежать всему обществу в целом, но она должна быть подчинена объединениям рабочих. Государство должно быть не более чем федерацией различных групп рабочих»[533]. Федерация получала строго определенные права контроля и инновационной деятельности, в то время как «рабочие компании» должны были вести эксплуатацию предприятия[534].

Поскольку де Пап замахнулся и на коллективизацию сельскохозяйственного труда, вопрос был перенесен на следующий конгресс.

По докладу того же де Папа Брюссельский конгресс также высказался за стачку как метод борьбы с войной – идею, на осуществление которой так и не решился Второй Интернационал, что в итоге привело к его гибели в 1914 г.

Брюссельский конгресс дал перевес антиавторитарному крылу социализма в вопросе о кредите. Несмотря на утверждения марксистов, будто идеи Прудона были опровергнуты Марксом, большинство делегатов поддержало прудонистский проект.

Базельский конгресс 1869 г., обсуждавший аграрную проблему, стал ареной полемики прудониста

Толена против де Папа. Толен выступил в защиту личности от государства и напомнил, что причиной бедности является не просто частная собственность, а сама собственность (хоть частная, хоть государственная) как власть человека над человеком. В итоге сошлись на компромиссной формулировке о необходимости общественной собственности на землю.

Но как эксплуатировать эту общественную землю – коллективно или индивидуально? Конгресс не пришел к единому мнению, и, как показал опыт XX века, правильно сделал – этот вопрос зависит от множества обстоятельств, и в XX в. себя хорошо показали обе формы, и плохо показало навязывание единого стандарта.

С этой темой был тесно связан вопрос о праве наследования.

По мнению Генерального совета, этот вопрос актуален только для переходного периода, так как при социализме он теряет всякий смысл, ибо право собственности исчезнет. В переходный период необходимо ограничить право наследования и обложить крупные наследства налогами. Бакунисты указали на непоследовательность конгресса, который уже выступил за обобществление земли, что делает сохранение ее наследования абсурдным.

Для Маркса этот вопрос был тактическим – в манифесте Коммунистической партии они с Энгельсом выступили за немедленную отмену права наследования, но затем отказались от этого положения, чтобы не оттолкнуть от революции крестьянство. Впрочем, после установления диктатуры пролетариата и перехода всей частной собственности (в том числе мелкой) в ее руки (национализация) крестьянам стало бы нечего наследовать, и вопрос бы отпал сам собой. Для Бакунина эта проблема более важна. В его модели сохраняются многочисленные самоуправляющиеся коллективы, которые могут добиваться в своей деятельности больших или меньших успехов. Бакунин считал, что успехи части работников не должны закрепляться по наследству – тогда снова возникнут классы эксплуататоров и эксплуатируемых – разбогатевшие коллективы наймут на работу наследников проигравших рабочих. Бакунин настаивал, что каждому человеку должно быть обеспечено равенство в стартовой точке. А там уж – кто чего добьется. Но дети не должны страдать от поражений родителей и паразитически пользоваться плодами их побед.

Логика Бакунина убедила большинство делегатов. Сегодня, глядя на итоги XX в., мы видим, что даже социальное государство стремится к достижению поставленной социалистами цели – равенство в стартовой точке. Отсюда – высокие налоги на крупные наследства. Успехи в обеспечении социального равноправия достигнуты преимущественно в среде средних слоев. Но ядро финансовой элиты остается наследственным, то есть по сути феодальным. Даже социал-демократы сейчас не покушаются на право собственности сына миллиардера (независимо от управленческой подготовки отпрыска наследовать отцовскую корпорацию). Они лишь пытаются перераспределить доходы в пользу детей бедняков. Успехи СССР в этой области также были ограниченными – высокопоставленные чиновники имели привилегии в устройстве своих чад в престижные учебные заведения и «блатные» должности. Крушение государственного социализма в СССР позволило бюрократии пойти дальше – новая буржуазия в значительной, если не преобладающей части укомплектована членами и отпрысками партийно-государственной, комсомольской и военной номенклатуры.

Так что провозглашение социального равноправия и продвижение в этом направлении еще не решает поставленных социалистами проблем. По-прежнему правящая элита воспроизводит себя генетически, по возможности ограничивая каналы вертикальной мобильности в пользу своих отпрысков. Это явление лишний раз доказывает, как еще далеко либеральной системе до демократии (если уж демократия представляется в качестве достижения либеральной системы), и насколько паллиативными оказываются решения бюрократии «социального государства». Возможность возникновения демократической общественной системы и социального равноправия по-прежнему остаются за

горизонтом современного общества.

* * *

В 60-е гг. Бакунин предпринимал усилия к созданию максимально широкого социалистического объединения. Отношения с Марксом, восстановившиеся в 1864 г., были вполне дружественными. После неудачи попытки направить на социалистический путь Лигу мира и свободы и объединить ее с Интернационалом, Бакунин создал Альянс социалистической демократии, куда вошли его товарищи по существовавшему с 1863 г. Интернациональному братству и новые сторонники периода борьбы в Лиге. С 1868 г. Бакунин сосредоточился на работе в Интернационале и 15 декабря предложил Генсовету включить Альянс в МТР на правах коллективного члена. Генеральный совет МТР отнесся к этой идее отрицательно. Маркс опасался создания в Интернационале нового динамичного центра во главе с ярким популярным политиком, который придерживался собственной «ошибочной» концепции. Вскоре выяснилась диаметральная противоположность взглядов Маркса и Бакунина на устройство будущего социалистического общества, а в отношении радикализма Бакунин «обогнал» марксистов.

Однако принципиальной полемике Маркс и Энгельс предпочли **«технологию власти»**. К этому времени они привыкли маневрировать между прудонистами, бланкистами, лассальянцами и тред-юнионистами. Казалось, что в этой схеме найдется и место для бакунистов, если растворить их в региональных секциях. Альянсу предложили распуститься, и его местным организациям войти в секции Интернационала.

Устав Интернационала допускал оба решения. С одной стороны, ст. 7 предполагала объединение всех рабочих союзов одной страны в национальный союз, с другой стороны, ст. 11 гласила: «Рабочие союзы, примкнувшие к ИРА (здесь – МТР), сохраняют, несмотря на вечный союз братской совместной деятельности, свою прежнюю организацию в неприкосновенности»[535]. Несмотря на это, Генсовет запретил членам Альянса «оставить свою прежнюю организацию в неприкосновенности».

Бакунин формально принял это условие, не прерывая, естественно, организационных связей с соратниками по официально распущенному в 1869 г. Альянсу. За это его упрекали во фракционности, хотя в реальности Интернационал состоял из нескольких фракций, где сильнейшей была марксистская.

Уже в 1869 г. стало ясно, что «растворить» бакунистов среди других фракций не удается. Идеологические противоречия нарастали, и в октябре Бакунин писал Герцену, что предвидит схватку с Марксом по поводу государственного коммунизма. Бакунисты назойливо напоминали Генеральному совету о том, что он в своих действиях должен руководствоваться решениями Конгрессов. Противоречия стали обостряться и из-за организационных конфликтов на местах. При вступлении организации Альянса в Романскую федерацию МТР (Швейцария) бакунисты получили большинство, и старый Романский федеральный совет создал отдельную антибакунинскую секцию, сохранив за ней старое название. Генеральный совет признал эту узурпацию, предложив федерации большинства называться Юрской. Впоследствии тактика «почкования» активно использовалась Марксом и Энгельсом. Там, где бакунисты были сильны, тут же создавались централистские секции, уступавшие им в численности. Зато эти секции марксистской фракции получали голоса на конгрессах, обеспечивавшие Марксу большинство.

Маркс в ответ на критику авторитарности Генерального совета усиливал организационный натиск и собирал «компромат», не имевший отношения к сути идейной полемики (вплоть до обвинения в связях с царским правительством). Бакунин обвинялся в сохранении тайного Альянса. Очевидно, речь может идти о сохранении своих фракций в Интернационале и марксистами (команда Маркса возникла еще во времена

Союза коммунистов), и прудонистами, и бланкистами, и бакунистами (бывший Альянс). Официально эти фракции не провозглашались, и в этом отношении были не тайными, а неформальными. За пределами Великобритании и Швейцарии секции Интернационала были полулегальными или нелегальными («тайными»), так как не могли действовать публично из-за репрессивной политики правительства. Так что обвинения Маркса были искусственно заострены.

* * *

Для компрометации Бакунина марксистами было также использовано **«дело Нечаева».** С. Нечаев, молодой социалист крайне радикальных взглядов, участник студенческих выступлений 1869 г., в том же году прибыл в Женеву и направился к Бакунину. Он представился делегатом существующей в России разветвленной революционной организации, которая хочет сделать Бакунина своим лидером. Поверив Нечаеву, Бакунин добился передачи в пользу новой организации части средств, которыми распоряжались А. Герцен и Н. Огарев. Герцен назвал Бакунина, Нечаева и Огарева «триумвирами» и не поддержал их деятельности. «Триумвиры» выпустили множество прокламаций, которые посылали в Россию знакомым и малознакомым людям.

Вернувшись в Россию, Нечаев создал из молодых людей организацию «Народная расправа», состоявшую из глубоко законспирированных «пятерок». Нечаев выступал за коммунизм, при котором люди должны «производить как можно более, а потреблять как можно меньше». Он написал «Катехизис революционера», в котором проповедовал уничтожение государства (но без какой-то конструктивной программы), абсолютную самоотверженность революционера и в то же время утверждал, что для организации революции хороши все средства. ««Катехизис» Нечаева – важнейший, откровенный документ нечаевщины и последовавших за ней этапов российского освободительного движения»[536], – утверждает современный исследователь Ф.М. Лурье. Он, правда, не потрудился объяснить, каким образом поколения революционеров, действовавшие после Нечаева (но не под влиянием выступления Нечаева, а вопреки эффекту, произведенному им), могли принять участие в составлении «Катехизиса» и нести за него ответственность. Позиция Ф.М. Лурье – яркий пример идеологизированного подхода к истории социалистического движения. Возражая Ф.М. Лурье, Н.А. Троицкий пишет: «общеизвестно, что «Катехизис» даже к т.н. «нечаевцам»… не имеет никакого отношения. Он характеризует только самого Нечаева, ибо Нечаев никому из нечаевцев его не читал»[537].

Нечаев был нетерпим к любой критике. Когда студент И. Иванов выступил против диктаторских методов руководства и заявил о прекращении участия в организации, Нечаев решил сплотить своих ближайших сторонников с помощью убийства. Он обвинил Иванова в предательстве и убил его на собрании группы. Убийство вызвало шок участников «Народной расправы», некоторые из них стали давать показания полиции. Было арестовано несколько сот человек, 87 преданы суду и дали показания, изобличающие революционеров. «Нечаевщина» скомпрометировала революционное движение, это дело в гротескной форме было описано в романе Ф. Достоевского «Бесы». Сам Нечаев сумел бежать в Швейцарию и как ни в чем не бывало явился к Бакунину. После отъезда Нечаева в Россию и провала там его организации, Бакунин все еще считал Нечаева честным революционерам, так как не доверял официальной информации, исходившей от российских властей.

Бакунин в это время был занят переводом на русский язык «Капитала» Маркса, за что уже получил от издателя аванс. У него не было времени на активное участие в революционной пропаганде. Нечаев «решил» эту проблему, направив издателю письмо с угрозами от имени «Народной расправы», если он не освободит Бакунина от обязательств. Испуганный издатель сообщил Бакунину, что тот может не делать

работу, но пожаловался Марксу, использовавшему эту историю для дальнейшей борьбы с Бакуниным. Ничего не подозревавший Бакунин принялся за работу по задуманному Нечаевым воссозданию «Колокола». Узнав подробности нечаевского дела в России от Г. Лопатина и ознакомившись с «Катехизисом революционера», Бакунин подверг Нечаева резкой критике, назвав его сочинение «катехизисом абреков». Несмотря на разрыв с Нечаевым[538], Бакунин оказался замешанным в скандале. Его противники в Интернационале, включая К. Маркса, приписали Бакунину даже авторство «Катехизиса революционера».

В частной переписке с Нечаевым Бакунин, пытаясь убедить своего партнера в правоте своей стратегии, допустил отход от характерного для анархистов неприятия диктатуры, употребив это слово в одобрительном контексте: «сильные своей мыслию, выражающей саму суть народных инстинктов, хотений и требований, своею ясно сознанною целию, … тесной солидарностью… – эти группы, не ища ничего для себя, ни льгот, ни чести, ни власти, будут в состоянии руководить народным движением наперекор всем честолюбивым лицам, разъединенным и борющимся между собою, и вести его к возможно полному осуществлению социально-экономического идеала и к организации полной народной свободы. Вот что я называю коллективною диктатурою тайной организации… Она не угрожает свободе народа, потому что, лишенная всякого официального характера, она не становится, как государственная власть, над народом, … она исключительно действует на народ только натуральным личным влиянием своих членов, не облеченных ни малейшей властью, разбросанных невидимою сетью…»[539] Из контекста видно, что слово «диктатура» употреблено здесь в переносном смысле. Революционная организация не может опираться на государственное насилие. Бакунин уверен, что для ее влияния достаточно одной самоотверженности и скоординированности действий. Если эта «сетевая структура» потеряет альтруистичность, ее влияние падет само собой, она не сможет создать властвующую касту.

* * *

Но и без дисциплинированной организации даже успешное поначалу восстание как правило кончается провалом. В этом Бакунин смог убедиться в Лионе, куда прибыл в сентябре 1870 г. Город находился в состоянии революционно-патриотического возбуждения, вызванного военной катастрофой империи при Седане. Монархию у государственного кормила заменили либералы, а на юге Франции демократы и анархисты стремились создать собственный центр власти и сопротивления наступающим прусакам. 17 сентября на массовом митинге был выбран Центральный комитет спасения Франции, большинство в котором принадлежало сторонникам Бакунина. Он как иностранец, в ЦК не входил и был, по выражению В. Демина, «неформальным лидером движения»[540]. Ситуацию накалило решение властей снизить зарплату в национальных мастерских.

26 сентября ЦК, предвосхитив идею Парижской коммуны, провозгласил Революционную федерацию коммун Французской республики и выпустил написанную Бакуниным программу, известную как «Красная афиша» (мы цитировали ее в предыдущей главе). Она объявляла о роспуске существующих муниципальных органов власти, отмене долговых обязательств и налогов с населения (их следовало взимать с богатых классов). На месте «упраздненного» государства должны были быть созданы городские Комитеты спасения Франции, которые берут власть под непосредственным контролем народа (получалось – митингующей его части), которые вступают в федеративную связь друг с другом. В соответствии с принципом делегирования новый Конвент должен был быть сформирован из делегатов губернских городов[541].

Эта программа увлекла тысячи лионцев. Если централизованная империя провалилась, может быть

Францию спасет самоорганизация патриотов?

28 сентября народ под красными знаменами ворвался в ратушу. Перед ней начался митинг. Бакунин убеждал товарищей: «Не теряйте времени в пустых спорах, действуйте, арестуйте всех реакционеров. Разите реакцию в голову»[542]. «Вместо этого они, как это обычно бывает в подобных случаях, занялись «дележом портфелей»»[543]. Мэр Генон и часть национальных гвардейцев попытались прекратить беспорядки и даже на время арестовали Бакунина. Но левые отбили ратушу. Командовать обороной должен был генерал Клюзере, но он так и не сумел организовать вооруженную силу – народ был увлечен митингом, часть гвардейцев, поддержавшая восстание, не желала братоубийства и стала расходиться. В итоге национальные гвардейцы перегруппировались, проникли в ратушу и вытеснили толпу с площади. Мэрия отменила решение о снижении зарплаты. Народ расходился, выкрикивая: «Да здравствует республика! Война прусакам!»[544] Восстание кончилось.

Бакунин покинул Францию. Между тем революционное движение нарастало. Снова произошли восстания в Лионе и Марселе, которые были быстро подавлены. Биограф Бакунина В. Демин считает: «Быть может, если бы Бакунин не покинул Францию, события развивались бы по совершенно другому сценарию. Его энергии хватило бы, чтобы воспламенить народ, а харизма прирожденного лидера и вождя способна была обеспечить должную организацию масс»[545]. Это вряд ли. Как раз лионские события показывают, что должную организацию воспламенившихся (и без Бакунина) масс он обеспечить не мог. Это была не его сильная сторона и вообще не его «ниша». Для организации нужны не пламенные речи и харизма, а предварительная работа по выстраиванию организационной структуры с «портфелями», распределенными заранее. Серьезное влияние на ход событий Бакунин мог бы оказать там, где революция одержала первые победы, и начинается обсуждение преобразований – прежде всего в Парижской коммуне. Но в революционный Париж он не отправился.

* * *

Разоблачение «нечаевщины» и поражение в Лионе во много разочаровали Бакунина в оргстроительстве. А в это время Маркс и Энгельс настойчиво формировали структуры своих сторонников. Они обвиняли Бакунина в также том, что он – агент царского правительства, что он ненавидит поляков (которым на деле активно помогал в борьбе за независимость). Бакунин в борьбе против Маркса «съезжал» на антисемитские нотки (впрочем, вполне укладывавшиеся в оценки еврейской среды самим Марксом либо не публиковавшиеся Бакуниным, дошедшие до нас в черновиках и письмах). Если отвлечься от «грязной стороны» этой полемики, то непримиримость двух теоретиков можно объяснить и различием темпераментов, на которую они указывают, рассуждая друг о друге (радикальная эмоциональность Бакунина и руководящий кабинетный стиль Маркса), и претензией на одну функциональную нишу в организации МТР (выработка идеологической стратегии), и влиянием фактора национального характера. История знает немало примеров, когда близкие по взглядам люди расходятся до ненависти из-за подобных причин. Но, как и в случае полемики Маркса и Прудона, столкновение Маркса и Бакунина было вызвано действительно принципиальными разногласиями, двумя противоположными конструктивными идеалами.

Бакунин, считавший себя учеником Маркса в социально-экономических вопросах, пользуясь его же методами социального анализа, пришел к выводу, что концепция создания государственной диктатуры ради строительства сверхцентрализованного «социалистического» общества ведет не к социализму, а к новому классовому обществу. Последующая «война компроматов» между марксистами и бакунистами закамуфлировала идейный стержень борьбы в Интернационале, но и Маркс, и Бакунин прекрасно

понимали, что дело не в мелочных придирках и клеветнических обвинениях, а в принципиальном **вопросе о государстве и самоуправлении**.

Читая Маркса, Бакунин с поразительной точностью **предсказал ряд важнейших, системообразующих черт** того строя, который будет создан коммунистическими партиями в XX веке. Сколько бы после этого не писали о том, что Ленин и Сталин нарушали указания Маркса, и потому учитель не несет ответственность за учеников, критика Бакунина показывает — строители тоталитарной системы взяли у Маркса именно то, о чем предупреждал «Великий бунтарь».

Главная иллюзия марксизма — временный характер диктатуры, которая взялась управлять всем хозяйством страны: "Марксисты... утешают мыслью, что эта диктатура будет временная, короткая. Они говорят, что единственной заботой и целью ее будет образовать и поднять народ как экономически, так и политически до такой ступени, что управление скоро сделается ненужным, и государство, утратив политический характер, обратится само собой в совершенно свободную организацию интересов и общин...»[546] Марксисты при этом забывают опыт истории, который показывает – любая правящая элита защищает свои привилегии.

Бакунин вскрывает коренное противоречие марксистского проекта – между целью и средствами: «Своею полемикою против них мы довели их до осознания, что свобода или анархия, то есть вольная организация рабочих масс снизу вверх, есть окончательная цель общественного развития… Они говорят, что такое государственное ярмо, диктатура есть необходимое переходное средство для достижения полнейшего народного освобождения… Итак, для освобождения народных масс надо их сперва поработить! … Они утверждают, что только диктатура, конечно, их, может создать народную волю, мы отвечаем, что никакая диктатура не может иметь другой цели, кроме увековечивания себя"[547]. Но, во-первых, "никакая диктатура не может иметь другой цели, кроме увековечивания себя" — любой функционирующий аппарат стремится к самосохранению, а не самоуничтожению; во-вторых, "диктатура способна породить в народе лишь рабство", привычку подчиняться приказам центральной власти, что тоже отнюдь не будет способствовать отмиранию государственности[548].

Маркс не понимал этих возражений Бакунина и отмахивался от них. Что такое «организация снизу вверх»? Она же «существует во всякой буржуазной республике»[549]. Этим, прямо скажем, непродуманным возражением Маркс принял за аксиому миф о том, что правящая элита в парламентской республике действительно подчинена воле избирателей, то есть воле, исходящей снизу. Но на деле в «буржуазной» республике власть подчинена не низам, а буржуазии. Такова логика самого марксистского учения, от которого в пылу полемики отступает Маркс. Своими невольным комплиментом буржуазной республике он показал, насколько неустойчивы были его шаги навстречу опыту Парижской коммуне с ее принципиальными отличиями от «буржуазной республики».

Позднее Маркс сформулирует свои претензии более четко: «Неужели, например, в профессиональном союзе весь союз образует свой исполнительный комитет? Неужели на фабрике исчезнет всякое разделение труда и различные функции, из него вытекающие? А при бакунинском построении «снизу вверх» разве все будут «вверху». Тогда ведь не будет никакого «внизу»»[550].

Для Маркса непонятно, что переход к социализму действительно связан с преодолением жесткого разделения труда. Впрочем, Бакунин тоже не уделяет внимания этой теме, и находит решение проблемы на пути жесткого подчинения «верха» «низу» с помощью императивного мандата (Маркс просто отмахивается от этого института на том основании, что он был известен в средние века[551]). Бакунин выступает за федерализм как антитезу диктатуре, а не любому различению «верха и низа». В концепции Бакунина «верх» подчинен «низу», и потому пирамида власти перевернута – с этой оговоркой можно даже согласиться с Марксом, что у Бакунина «все будут наверху», ибо делегаты от общин будут «внизу», под

общинами. Аналогичную мысль Маркс берет на вооружение, защищаясь от возражения Бакунина: «Немцев считают около сорока миллионов. Неужели все сорок миллионов будут членами правительства?». Маркс отвечает: «Certainly, ибо дело начинается с общинного самоуправления»[552]. Но Маркс – централист, поэтому воля общин – не источник принятия решений в «диктатуре пролетариата», и миллионы рабочих, certainly (разумеется), должны подчиняться другому правительству, гораздо более узкому, расположенному в центре этой системы и не подчиненному «императивному мандату» низов. Но Маркс уверен, что после того, как будут устранены экономические основы существующего общества, выборы утратят политический характер, а распределение функций центром не будут влечь за собой «никакого господства»[553]. Эта иллюзия будет рассеяна опытом XX века. Но, может быть, стоило внимательнее слушать Бакунина в XIX веке, а не называть его «ослом» в гневе и непонимании?

«Наиболее существенным аргументом против диктатуры пролетариата, – комментирует А. Исаев, – Бакунин считал ее... неосуществимость. Он писал, что весь рабочий класс одновременно диктатором быть не сможет. "Очевидно, невозможно, — читаем мы в одном из бакунинских писем 1872 г., — чтобы несколько сотен, или даже несколько десятков тысяч, или даже всего несколько тысяч людей могли действительно осуществлять эту власть. В силу необходимости они вынуждены будут осуществлять ее через своих уполномоченных, т.е. вынуждены будут доверить группе людей, ими же выбранных в качестве представителей и правителей"[554]. Следовательно, то, что называется "диктатурой пролетариата" на деле окажется властью "кучки привилегированных избранных, или даже неизбранных толпами народа, согнанными на выборы и никогда не знающими, зачем и кого они выбирают"[555]. В этом отношении трудно согласиться с В.А. Твардовской и Б.С. Итенбергом в том, что «мысль Маркса о превращении пролетариата в господствующий класс была чужда и непонятна Бакунину»[556]. Чужда – несомненно, но вполне понятна. Поняв эту идею, Бакунин подверг ее принципиальной критике.

Бакунин возмущен тем, что марксисты приберегают государство для себя: "По Марксу народ не только не должен его разрушить, напротив, должен укреплять и усилить, и в этом виде передать в полное распоряжение своих благодетелей и учителей — начальников коммунистической партии, словом, г. Марксу и его друзьям, которые начнут освобождать его по-своему. Они сосредоточат бразды правления в сильной руке, потому что невежественный народ требует весьма сильного попечения; создадут единый государственный банк, сосредоточивший все торгово-промышленное, земледельческое и даже научное производства, а массу народа разделят на две армии: промышленную и земледельческую, под непосредственное командою государственных инженеров, которые составят новое привилегированное научно-политическое сословье"[557].

Приводя критические фразы Бакунина в адрес революционного государства, «красной республики», В.П. Сапон заключает: «именно такого рода фразы давали возможность и правым, и левым оппонентам анархо-теоретика обвинять его в политическом максимализме и утопизме»[558]. Но на подобные фразы Бакунина могут обижаться оппоненты не любых направлений, а только марксисты и другие авторитарные коммунисты. Сторонники других идейных течений, даже весьма умеренных, в этом вопросе согласны с Бакуниным – «красная республика» по марксистскому рецепту несет не свободу, а «привилегии управляющего меньшинства». Собственно, история СССР вполне подтвердила этот вывод «анархо-теоретика». Никакого утопизма – трезвый прогноз.

* * *

Поскольку марксисты считали, что государственное руководство будет избираться демократически, Бакунин обращается **к критике общегосударственных выборов** как таковых, нанося урон не только

марксистским, но и либеральным иллюзиям.

Если доверять либеральной доктрине, народ сам выбирает своих руководителей. «Отвечая на распространенное в те годы (да, и ныне) мнение будто бы механизм выборов предполагает подконтрольность правительства народу, Бакунин отмечал, что народ из-за недостатка у него специальных знаний и необходимого досуга никогда не сможет ни контролировать выборное правительство, ни компетентно участвовать в выборах[559], — пишет А. Исаев. "Каким образом народ, – спрашивает М.А. Бакунин в брошюре "Бернские медведи и Петербургский медведь", — обремененный работой и не имея понятия о большей части поднимаемых вокруг него вопросов, будет контролировать политические акты своих выборных?"[560]. «Нам представляется, — комментирует А. Исаев, — что, если сделать поправку на некоторый элемент гротеска в описании массовой некомпетентности, то в целом бакунинская критика парламентаризма не лишена определенного смысла. Мировой опыт показывает, что парламентская республика предоставляет гражданам возможность лишь косвенно влиять на формирование общенациональной политики, выбирая "меньшее из зол" во время регулярных выборов. Бакунин подверг критике не только парламентаризм, но и так называемое "прямое народное законодательство" — систему референдумов. Он заявил, что подобная система, при которой формально чиновничество играет лишь роль исполнителей, а законодателем является сам народ, "есть лишь новая иллюзия, ложь. Чтобы вотировать с полным знанием дела законы, которые ему предлагают, – читаем мы у Бакунина, – нужно, чтобы народ обладал достаточным количеством времени и необходимым образованием, чтобы их изучить, обдумать, обсудить... Это редко возможно и только в тех случаях, когда предлагаемый закон вызывает всеобщее внимание, затрагивает интересы всех граждан. Эти случаи чрезвычайно редки. Большей частью предложенные законы имеют специальный характер, и нужно иметь привычку к политической и юридической отвлеченности, чтобы уловить их смысл. Они не взывают внимательного отношения к ним народа, который голосует наобум, доверяя своим любимым ораторам. Взятые каждый в отдельности, эти законы кажутся слишком незначительными, чтобы интересовать народ, но вместе они образуют сеть, которая его опутывает"[561]. Эти слова тем более справедливы для нашего времени, когда мнение избирателей все сильнее определяется сведениями, которые поступают к избирателю из средств массовой информации, контролируемых государственно-политическими и финансовыми элитами.

* * *

Анализируя современные ему общегосударственные избирательные механизмы и предложения Маркса, Бакунин показывал, что демократия при “государственном социализме” будет носить чисто **формальный характер**: "С какой точки зрения не смотри на этот вопрос, все приходишь к одному печальному результату – управление огромного большинства народных масс привилегированным меньшинством. Но это меньшинство, говорят марксисты, будет состоять из работников. Да, пожалуй, из бывших работников, но которые, лишь только сделаются представителями или правителями народа, перестанут быть работниками и станут смотреть на весь чернорабочий мир с высоты государственности, будут представлять уже не народ, а себя и свои притязания на управление народом"[562]. Но, комментируя это замечание Бакунина, Маркс в своем конспекте "Государственности и анархии" возражал, что рабочий, избранный в органы власти пролетариата, не больше перестает быть рабочим, чем буржуа, избранный в муниципалитет, перестает быть буржуа[563]. По справедливому замечанию А. Исаева, «с точки зрения марксистской методологии это возражение Маркса выглядит неубедительно. Ведь, если попавший в муниципалитет буржуа не меняет ни характера труда (управленческий), ни источника существования (он продолжает все так же оплачиваться за счет прибавочного продукта), то рабочий в органах управления меняет и характер труда, и источник оплаты. Видимо в этом вопросе Бакунин был

ближе к материалистической социологии, чем Маркс»[564].

«Спрашивается, если пролетариат будет господствующим сословием, то над кем он будет господствовать? – продолжает рассуждать Бакунин. – Значит, останется еще другой пролетариат, который будет подчинен этому новому господству, новому государству. Например, хотя бы крестьянская чернь, как известно, не пользующаяся благорасположением марксистов и которая, находясь на низшей степени культуры, будет, вероятно, управляться городским и фабричным пролетариатом, или, если взглянуть с национальной сточки зрения на этот вопрос, то, положим, для немцев славяне по той же причине станут победоносному немецкому пролетариату в такое же рабское подчинение, в каком последний находится по отношению к своей буржуазии»[565].

Бакунин вскрывает недемократичность любого государства, как марксистского, так и нет: "всякое государство... даже самое республиканское и демократическое, даже мнимо-народное государство, задуманное господином Марксом, в сущности своей не представляет ничего иного, кроме управления массами сверху вниз посредством интеллигентного и потому самого привилегированного меньшинства, будто бы лучше разумеющего настоящие интересы народа, чем сам народ"[566]. Очевидно, однако, что правящее меньшинство может быть и не интеллигентным. В любом случае — это насильственное господство элиты над обществом со стороны людей, считающих себя обладателями научной истины: «будет не что иное, как весьма деспотическое управление народных масс новою и весьма немногочисленною аристократиею действительных или мнимых ученых. Народ не учен, значит, он целиком будет освобожден от забот управления, целиком будет включен у управляемое стадо. Хорошо освобождение!»[567].

XX век добавит немало штрихов к этому портрету – как к коммунистической модели тоталитаризма, так и к национальной германской разновидности.

За предложенной Марксом моделью общества Бакунин видит сверхмонополистические капиталистические интересы будущей элиты: "Государство является, конечно, наиболее сильным из всех акционерных обществ... Труд, кредитованный государством, таков основной принцип авторитарного коммунизма, государственного социализма. Государство, ставшее единственным собственником... будет также единственным банкиром, капиталистом, организатором, управляющим национальным трудом и распределяющим его продукты. Таков идеал, основной принцип новейшего коммунизма"[568]. **Государственный «социализм» оборачивается сверхмонополистическим аналогом капитализма**.

На основе марксистского экономического централизма можно провести форсированную индустриализацию, построить социальное государство, мировую сверхдержаву, но не социализм. Оправдавшись несмотря на некоторые корректировки взглядов Маркса и его последователей, прогноз Бакунина стал приговором теории «государственного социализма».

В теории сверхцентрализованное “социалистическое” государство должно было подавить чуждые новому строю стремления и привести в соответствие друг другу интересы трудящихся, лишенных своей мелкой собственности и самоотверженно трудящихся на общее хозяйство во благо каждого. Если потребности каждого не могут быть реализованы полностью, то пределы «разумных потребностей» установит регулирующий общество центр. Регулирующий центр не может найти решение проблем всех людей, которые устраивали бы их всех. Поэтому он навязывает каждому то решение, которое считает необходимым. Эти решения проводятся насильственно с помощью бюрократической машины подавления. Правящая партия и бюрократия формируют господствующий класс общества, подавляющий свободы и распределяющий труд и его продукт в своих интересах. Нечего и говорить о переходе большинства людей к свободному творческому труду, о преодолении специализации, господства, разделения на классы. Цивилизация, пытавшаяся превзойти капитализм по уровню свободы и социальных благ, застревает на

уровне того же индустриального общества, отягощенного архаичными пережитками бюрократической монополии на власть и собственность. И нельзя сказать, что марксистов не предупреждали.

Национальный фактор

Интересная сторона спора марксистов и народников – вопрос о национальном своеобразии социальных и политических процессов. Насколько путь к социализму зависит от национальных традиций и этно-культурных особенностей народов?

Признавая возможность собственного пути России в будущее, народники поставили проблему многовариантности прогресса. С самого начала эта гипотеза рассматривалась ими не в волюнтаристском ключе (как хотим, так и едем), а в **связи социального и этно-культурного факторов**. Культура и традиция народа в большей или меньшей степени соответствуют тем или иным социальным формам. Даже проходя одинаковые стадии развития, народы делают это по-разному, тяготея к одним состояниям и отторгая или болезненно переживая другие.

Герцен выстраивал свой общественный идеал, учитывая национальные особенности славян. Это касается не только общинной традиции, но и федерализма: «Славянские народы не любят ни идею государства, ни идею централизации. Они любят жить в разъединенных общинах, которые им хотелось бы уберечь от всякого правительственного вмешательства… Федерация для славян была бы, быть может, наиболее национальной формой»[569]. Конечно, Герцен здесь несколько преувеличивает вольнолюбие славян, обращая внимание лишь на одну сторону народной психологии. Но сам подход показателен — разные народы могут идти разными путями в соответствии со своей традицией.

С одной стороны, Маркс и Энгельс разрабатывали универсальную схему прогресса, и в авангарде его могли идти только более развитые капиталистические страны. Лидером революции будет либо Британия, либо Германия. Но, с другой стороны, Маркс и Энгельс не были чистыми интернационалистами, а имели вполне определенные национальные предпочтения. Энгельс делил народы на революционные и контрреволюционные, причем последние должны были быть уничтожены. Особенно откровенно высказывался Энгельс: «Нет ни одной страны в Европе, где в каком-нибудь уголке нельзя было бы найти один или несколько обломков народов, остатков прежнего населения, оттесненных и покоренных нацией, которая позднее стала носительницей исторического развития. Эти остатки нации, безжалостно растоптанные, по выражению Гегеля, ходом истории, эти обломки народов становятся каждый раз фанатическими носителями контрреволюции и остаются таковыми до момента полного их уничтожения или полной утраты своих национальных особенностей, как и вообще самое их существование является протестом против великой исторической революции»[570]. Как видим, и в национальному вопросе марксизм следует за Гегелем, да еще как решительно. «В ближайшей мировой войне с лица земли исчезнут не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы. И это тоже будет прогрессом»[571]. В ближайшее время – то есть в ходе начавшихся революционных событий 1848 г. Речь идет именно о революционной, а не «империалистической войне». Энгельс пишет, что «контрреволюционные народы», в ближайшем будущем погибнут «в буре мировой революции», и будут поглощены «революционными народами», в частности – немцами, поляками и венграми[572].

Немцам и их союзникам противостоят славяне (даже в поляках Энгельс разочаруется). Они – или обломки, или оплот контрреволюции. Энгельс конкретизирует общие положения об уничтожении контрреволюционных народов. Он, вопреки «национальному честолюбию панславянских мечтателей», проповедует «поглощение более сильными народами», прежде всего немцами, славян, особенно чехов, балканских народов и других «хилых человеческих групп»[573]. Диалектика шагает по судьбам народов: «историческая роль южных славян была навсегда сыграна»[574], когда их покорили немцы и турки – истинные носители прогресса. Обратим внимание на слово «навсегда».

Центр контрреволюции Энгельс видит в России, причем это – не критика режима, а обличение именно народа: «ненависть к русским была и продолжает еще быть у немцев их первой революционной страстью»[575] Еще бы, ведь славяне во главе с русскими панславистами, стремятся «покорить Европу», стерев с лица земли Турцию (в смысле – Османскую империю, как это произойдет на практике), Венгрию (имеется в виду восточная часть Австрийской империи) и пол-Германии[576]. Возмущение подобными претензиями славян не мешает Энгельсу призывать к перекройке границ, поглощению «обломков народов» и атакам против соседей[577]. Эта программа станет как никогда актуальной в первой половине XX века. Попытка выполнить ее принесет немало бедствий народам Европы, в том числе и немецкому. Опубликовавший подборку этих высказываний А. Шершуков задается риторическим вопросом: «Как после этого не увидеть тут «связь времен», которая связывает крепче цепи учителей XIX и учеников XX века?! Как не заметить духовных предтеч национал-социализма?»[578]

Впрочем, у национал-социализма было немало предтеч, и все они несут за это детище только частичную ответственность. Гитлер не случайно считал марксизм одним из своих главных врагов. Интернационализм и шовинизм продолжали противоборствовать в марксизме, но официально после образования Интернационала господствовал все же интернационализм, а шовинизм проступал в пренебрежении к другим народам, которые не достигли необходимого для социализма уровня развития. Если марксизм и повлиял на генезис нацизма, то только опосредованно – через проповедь этатизма и твердого централизма, в которой немало преуспела германская социал-демократия. Исходя из приведенных выше идей «основоположников», не случайным является и шовинистическое «грехопадение» германской социал-демократии августа 1914 г.

В оправдание Энгельса (да и Маркса, который в этом вопросе, как и в остальных, не спорил со своим другом) можно сказать только то, что их публичные националистические высказывания против славян относятся ко времени действительно реакционного интервенционизма Российской империи. Впрочем, теория нежизнеспособных народов и поддержка германского экспансионизма вряд ли может быть оправдана угрозой со стороны Российской империи. Неприязнь к русской культуре, отношение к ней как к «татарской» дикости, Маркс пронес как минимум до 70-х гг. Он писал в конспекте «Государственности и анархии»: «г-н Бакунин всего-навсего перевел прудоновскую и штирнеровскую анархию на дикое татарское наречие»[579]. Только к концу жизни «классики» стали лучше относиться к русским в связи с действиями «Народной воли», обратили внимание на конструктивную роль русской общины, которая может способствовать продвижению к социализму «в виде исключения».

Антиславянская позиция Маркса и Энгельса вызвала ответную реакцию русских социалистов.

Игнорируя общий контекст этой полемики, поверхностные исследователи делают взгляды по национальному вопросу такого критика Маркса, как Бакунин, «центром нападения». Японский исследователь К. Ямамото попытался даже характеризовать учение Бакунина как «антигерманский анархизм»[580]. Если сравнить антигерманские высказывания Бакунина с антиславянскими тезисами Энгельса, такая характеристика бакунизма выглядит натянутой. Упреки Бакунина в глазах добропорядочного бюргера могут звучать даже как похвала: «Немцы, повторяем мы еще раз, народ в высшей степени государственный, эта государственность преобладает в них над всеми другим страстями и решительно подавляет в них инстинкт свободы»[581]. Что же плохого в государственничестве с точки зрения государственника.

Не поняв основ анархизма, К. Ямамото торопится упрекнуть М. Бакунина: «антигерманский дискурс не подходит анархисту»[582]. Зато для второй половины XIX в. – первой половины XX в. он вполне подходил реалисту. Критикуя «националистические взгляды Бакунина»[583], японский исследователь не замечает антироссийских высказываний вождя анархистов. От него достается деспотическим режимам и

авторитарной культуре как немцев, так и славян. Эта позиция был четко выражена в программе бакунинской славянской секции Интернационала в Цюрихе: «Она будет бороться с одинаковой энергией против стремлений и проявлений, как панславизма, т.е. освобождение славянских народов при помощи русской империи, так и пангерманизма, т.е. при помощи буржуазной цивилизации немцев, стремящихся теперь организоваться в огромное мнимо-народное государство»[584]. С одинаковой энергией.

Обличая недостатки своей страны, «националист» Бакунин не жалеет выражений: «наш татаро-немецкий, всероссийско-императорский кнут… Мы ненавидим эту поганую всероссийскую империю, как ни один немец ее ненавидеть не может» [585].

Критикуя русский деспотизм, Бакунин в то же время возражает против однобоких шовинистических позиций марксистов, в частности, мнения, что Россия является источником сохранения деспотизма в Европе. Бакунин выражает особое удивление письмом Маркса о том, что «если Германия еще не организована демократически, то в этом всецело вина России»[586]. «Россия также много бы выиграла, если бы вместо Германии имела бы своей соседкой на Западе Францию, а на востоке вместо Китая – Северную Америку»[587]. Но это не повод видеть в них источник нынешнего российского деспотизма. Пытаясь сделать позицию Маркса более интернационалистичной, Бакунин пишет: «Поистине, несравненного более соответствовало бы достоинству лучшего немецкого патриота и искреннего социалиста-демократа, каким несомненно является г-н Карл Маркс, и было бы гораздо полезнее для народа Германии, если бы вместо того, чтобы тешить национальное тщеславие, ложно приписывая ошибки, преступления и позор Германии чужеземному влиянию, он постарался бы воспользоваться своей громадной эрудицией для доказательства, в соответствии со справедливостью и исторической истиной, что Германия сама произвела, воспитала, и исторически развила в себе все элементы своего нынешнего рабства»[588].

В отличие от «основоположников», Бакунин никогда не становится на одну из сторон в предстоящей мировой войне: «Существование двух огромных империй друг подле друга влечет за собой войну, которая не может кончится иначе разрушением или одной, или другой»[589].

С этими принципиальными оговорками Бакунин указывает на те национальные черты немцев, которые могут оказать серьезное влияние на судьбы социалистического движения. Сожалея о том, что немецкий народ увлекаем своей элитой, Бакунин констатирует, что Германия «представляет и совмещает в себе всецело один из двух полюсов современного социально-политического движения, а именно полюс государственности, государства, реакции»[590]. Это – симметричный ответ на обвинения марксистами России. Впрочем, по итогам XX столетия каждый может сделать выводы о том, насколько оказались справедливыми наблюдения Бакунина: «в немецкой крови, в немецком инстинкте, в немецкой традиции есть страсть государственного порядка и государственной дисциплины, в славянах же не только нет этой страсти, но действуют и живут страсти совершенно противные; поэтому, чтобы дисциплинировать их, надо держать их под палкою, в то время как всякий немец с убеждением свободно съел палку. Его свобода состоит именно в том, что он вымуштрован и охотно преклоняется перед всяким начальством.

При том немцы народ серьезный и работящий, они учены, бережливы, нарядливы, отчетливы и расчетливы, что не мешает им, когда надо, а именно, когда того хочет начальство, отлично драться. Они доказали это в последних войнах. К тому же их военная и административная организация доведена до наивозможнейшей степени совершенства, степени, которой никакой другой народ никогда не достигнет. Так вообразимо ли, чтоб славяне могли состязаться с ними на поле государственности!

Немцы ищут жизни и свободы в государстве; для славян же государство есть гроб. Славяне должны искать своего освобождения вне государства, не только в борьбе против немецкого государства, но во всенародном бунте против всякого государства, в Социальной Революции»[591]. Одно несомненно, эти

характеристики не являются антигерманскими. То, что вызывает недовольство Бакунина, считается достоинством добропорядочного мещанина. Но Бакунин на этом не останавливается, а поет оду немцам, отмечая «чрезвычайное трудолюбие, способности к размышлению и к науке, эстетическое чувство, породившее великих артистов, художников и поэтов, и глубокомысленный трасцендентализм, породивший не менее великих художников…»[592] Найдем ли у Маркса и Энгельса подобные слова о русском народе?

В «Государственности и анархии» Бакунин бросает еще один теоретический вызов марксизму. Он утверждает, что социальная революция начнется в бедных среднеразвитых странах[593]. Как мы знаем, этот прогноз окажется верным.

Даже К. Маркс, первоначально придерживавшийся однолинейного понимания прогресса, затем изменил свою точку зрения под влиянием размышлений об Индии, азиатской древности и, как мы видели, не в последнюю очередь – в результате критики со стороны народников.

Позднее русские последователи Маркса окажутся «святее Папы», что не удивительно, если учесть их народническое прошлое и желание отмежеваться от него.

В полемике Маркса и Бакунина противоречие двух полюсов социалистической идеи было доведено до крайних пределов. Далее был возможен либо раскол, либо синтез. А произошло и то, и другое.

Убедительность критики Бакунина еще не доказывает жизнеспособности его собственной модели социализма. Главная проблема модели Прудона-Бакунина заключается в технологическом уровне индустриальной эпохи. Индустриальная организация производства, требующая узкой специализации, не дает рабочим достаточного времени на самообразование, чтобы приобрести уровень компетентности, достаточный для реального и эффективного самоуправления. Бакунин выступал за передачу средств производства коллективам работников. Система внутреннего управления предприятиями, которая могла бы отчасти смягчить эту проблему (четкое разделение компетенции управленцев, выборные механизмы) не была продумана Бакуниным. Ему вообще претили «механизмы», он надеялся на спонтанную инициативу масс. Но стихия — поле для манипуляций, она позволяет за фасадом размытых демократических форм выстроить авторитарную систему управления.

Бакунин — певец свободы личности. Он же – сторонник стихии, спонтанного самоопределения народа. Но ведь в системе Бакунина отсутствуют структуры, которые могли бы гарантировать права личности против права сильного и силы коллектива. Это противоречие станет серьезной проблемой для радикального анархизма, забывающего конструктивное наследие Прудона.

Коммуна

Казалось, спор марксистов и анархистов может решить первый опыт революционных социалистических преобразований — Парижская коммуна 1871 г. Практически все социалистическое движение выразило солидарность с Коммуной. Опытом Коммуны лидеры социализма стремились обосновать правильность именно своей программы. Истосковавшись по практическому примеру, который мог бы подтвердить реальность их теорий, лидеры Интернационала провозгласили Коммуну рабочим выступлением, хотя среди избирателей Коммуны и ее депутатов пролетарии не составляли большинства. Историческая Коммуна, а не светлый образ ее, была творением средних слоев и рабочего класса, где ведущей силой были средние слои, именовавшиеся марксистами не иначе, как «мелкая буржуазия». В этом смысле Парижская коммуна была «мелкобуржуазным» движением.

Прокламация ЦК национальной гвардии, выпущенная уже после начала гражданской войны с Версальским правительством, очертила представление лидеров ЦК о расстановке социальных сил: «Трудящиеся, не обманывайтесь: идет великая борьба – паразитизм и труд, эксплуатация и производство схватились между собой». В этом воззвании «денежная аристократия» противопоставлена «тем, кто трудится и тщетно ищет решения социальных проблем»[594] – прежде всего торговцам, промышленникам, лавочникам и мыслителям.

Некоторые идеологи Коммуны включали в круг трудящихся классов даже часть буржуазии. Газета секций Интернационала Ирви и Берси «Ла революсьон политик и сосиаль» утверждала: «Народ и трудовая буржуазия едино суть…»[595]. Что это за «трудовая буржуазия»? Депутат Коммуны Ж. Валлес – непартийный социалист, близкий и к бланкистам, и к прудонистам, противопоставлял паразитической буржуазии «рабочую буржуазию»: «честную и мужественную, которая ходит в кепке в мастерскую, ходит в сапогах по грязи в цехах, в холод и в жару остается у своей кассы и у конторки… Она глотает пыль и дым, ходит в синяках, обжигается перед станками или перед горном, опускает руки в тесто и присматривает за работой; она по своему мужеству и по своим заботам родная сестра пролетариата»[596]. «Рабочая буржуазия», о которой говорит Валлес – это менеджеры, управленческие слои предприятия, которые как раз в этот период начинают превращаться в отдельную от капиталиста социальную категорию, элемент средних слоев, вовсе не совпадающий с «мелкой буржуазией». Как раз в этот период капиталист перестает быть менеджером предприятия, превращаясь в «топ-менеджера» монополии и финансового олигарха. Характерно, что после «революции менеджеров» во второй половине XX в. ускорилось оздоровление условий труда – ведь цеха – это и рабочее место менеджера. Это отчасти подтверждает мысль Валлеса об общности интересов рабочих и менеджеров в некоторых вопросах. Но все же лишь в некоторых. «Рабочая буржуазия», как и мещанские слои Франции не поддержали Парижскую Коммуну, что говорит о глубоких противоречиях, которые лежат в самих средних слоях, часть которых доминирует в революционных движениях, а часть становится опорой консерватизма и даже реакции.

* * *

История Коммуны началась с восстания 18 марта 1871 г., когда национальные гвардейцы – одетые в военную форму массы парижан, прогнали из столицы правительство «национальной измены», капитулировавшее перед Пруссией. Причины восстания были далеки от социализма. Война донельзя обострила социальные бедствия, а переход к миру добавил проблем. Правительство отменило плату национальным гвардейцам и мораторий на выплату долгов. В условиях сохранявшегося экономического

застоя это поставило часть населения на грань голода. Поскольку население было вооружено во время войны, последовало восстание. Так создалась ситуация, которая, как станет ясно в XX веке, является типичной – социализм получает возможности для осуществления своей политики тогда, когда разрушение капиталистической системы радикализирует население и ослабляет буржуазию. Но разруха и внешнеполитические проблемы крайне затрудняют строительство новых, пост-капиталистических отношений.

ЦК национальной гвардии, оказавшийся на некоторое время у власти, был настроен демократически и провозгласил выборы в Парижскую Коммуну. Стремление освободиться от власти консервативного национального собрания и широкое распространение прудоновских идей региональной автономии придали выборам значение не муниципальных, а парламентских. Избирались депутаты новой власти.

Коммуна выдвинула вперед людей районного масштаба, тем значительно приблизив власть к народу. Подобный эффект происходил также в советах во время Российских революций. Провинция не знает этих людей, и ее предпочтения не совпадают с предпочтениями районов столицы. Уже 2 апреля это привело к началу гражданской войны между Парижем и Национальным собранием, правительство которого во главе с Тьером расположилось в Версале.

26 марта состоялись выборы. Было избрано 84 депутата, однако только 65 из них поддерживали революцию 18 марта и продолжили работать в Коммуне, бросившей вызов Национальному собранию Франции. Постепенно из Парижа ушла еще некоторая часть народных избранников. Когда 28 марта Коммуна провозгласила себя полномочным правительством, а не органом муниципального самоуправления, из Парижа уехало большинство мэров районов. 4 апреля, когда начавшаяся гражданская война привела к принятию декрета Коммуны о заложниках, Париж покинули либералы-гамбетисты.

Среди депутатов Коммуны было 28 рабочих и около 28 членов Интернационала. Из тех, кто входил в политические течения или примыкал к ним, 21 относились к бланкистам, 20 – к прудонистам, 14 – к якобинцам. Несколько человек были близки к Марксу и Бакунину, их иногда называют «марксистами» и «бакунистами», но за исключением марксиста Серайе идейное влияние нефранцузских лидеров Интернационала на депутатов Коммуны практически не сказалось на их политике.

Прудонисты были в меньшинстве. В мае они составят костяк «меньшинства» Коммуны. Это может породить впечатление, что бланкистско-якобинское «большинство» должно было проводить преобразования, отличные от прудонистских, а прудонисты – находиться в оппозиции. Возможно, так и было бы в парламенте. Но Коммуна была не парламентом, а избранным правительством. Депутаты разных идейных ориентаций работали вместе в комиссиях и на коллегиальных заседаниях Коммуны, и принимались решения, которые казались наилучшими. Как мы увидим, если речь шла о социально-экономической политике и конструктивной программе преобразований во всей Франции, принимались **именно прудонистские предложения**.

* * *

Русский революционер П. Лавров, наблюдавший Коммуну прямо из Парижа, так оценил ее замыслы: «социалисты Парижа хотели вместе с буржуазией совершить сперва социалистическую революцию, которая создала бы повсюду единственную вооруженную силу, находящуюся в их руках, и затем уже, с помощью этой вооруженной силы, они совершили бы революцию экономическую»[597]. Сначала захват власти социалистами во всей Франции, затем – социалистические преобразования. Такой план в свое время высказывал Бланки. Возможно, подобным образом считал необходимым действовать Лавров. Но

тогда Коммуна осталась бы просто самым крупным бланкистским мятежом. А она за 72 дня своего существования успела провести уникальные социальные преобразования, которые стали моделью для многочисленных социальных революций XX века. Возражая бланкистской установке, депутат-прудонист Э. Варлен заявлял: «Для нас политическая революция тесно сплетена с социальными реформами, и они не могут быть отделены друг от друга»[598]. И в этом вопросе бланкисты пошли за прудонистами.

Вероятно, Лаврова обманула осторожность реформаторов Коммуны. Отстаивая осторожный стиль реформ коммунаров, депутат Л. Франкель говорил: «Прежде чем издавать декрет, надо узнать, есть ли необходимость в спешном проведении какой-либо социальной реформы в таком-то ремесле; надо проникнуться интересами населения, а затем сказать ему, дать ему хорошенько понять преимущества той реформы, которую вы предпринимаете»[599].

Коммунары начали проводить преобразования практически сразу, действуя при этом осторожно. Но направление преобразований успело выявиться достаточно четко.

Дело **экономических реформ** в Коммуне оказалось в руках умеренных анархистов — последователей Прудона. Прудонисты взяли в свои руки комиссии финансов и труда и обмена. Направление социально-экономических реформ разрабатывали Б. Малон, Л. Франкель, А. Тейс, О. Авриаль, Э. Варлен, Э. Жерарден, Ф. Журд, Ш. Белэ и др. Коммуна практически полностью доверяла прудонистам как специалистам в области «социальной науки». Сами задачи, которые были поставлены Коммуной перед Комиссией труда и обмена, говорят о стремлении к социализму: «Комиссии поручается пропаганда социалистических учений. Она должна изыскивать пути к уравнению заработка и труда»[600]. И только после этих чисто социалистических задач значится «поощрение промышленности». Но социализм не мог вводиться «сверху». Направление социальных реформ должно определить специальное собрание делегатов рабочих ассоциаций, торговой палаты, синдикальных палат, директоров французского банка и руководителей транспортных предприятий[601]. 31 марта коммуна предложила рабочим организациям присылать свои предложения по вопросам платежей, организации труда и обмена.

Итогом этих консультаций и обсуждений членов комиссии стала **важнейшая социалистическая мера Коммуны** – 16 апреля 1871 г. предприятия покинувших Париж предпринимателей были переданы в руки трудовых коллективов при общей координации их работы профсоюзами. Таким образом, впервые был создан социалистический индустриальный сектор. Обоснование декрета выдержано в прагматических тонах – предприятия, брошенные хозяевами, должны работать: «Принимая во внимание, что многие мастерские брошены их руководителями, уклонившимися от исполнения своих государственных гражданских обязанностей и не пожелавшими считаться с интересами трудящихся;

что вследствие этого подлого дезертирства остановилась работа многих существенных для жизни города предприятий и причинен ущерб положению трудящихся.

постановляет:

Рабочие синдикальные палаты созываются для учреждения комиссии по обследованию, имеющей целью:

1. Составить статистику брошенных мастерских, а также точное описание состояния, в котором они находятся и инвентарь, имеющихся там инструментов труда.

2. Представить доклад с изложением практических мер по скорейшему пуску этих мастерских, но уже не силами дезертиров, которые их бросили, а кооперативной ассоциации рабочих, которые были заняты в них.

3. Разработать проект устава этих рабочих кооперативных обществ.

4. Учредить третейский суд, который при возвращении упомянутых хозяев должен будет определить условия окончательной передачи мастерских рабочим обществам и размер возмещения, которые эти общества обязаны будут уплатить хозяевам»[602].

В социалистической литературе начала века не было недостатка в скептических оценках этого декрета. Нет бы сразу все национализировать. А тут какая-то статистика. Ж. Вейль считает, что меры Коммуны были скорее «мерами вспоможения рабочему классу, чем социалистическими актами»[603]. Вспоможение в духе социального государства тоже хватало, и не только в отношении рабочего класса. Но конкретных аргументов, опровергающих социалистический характер акта 16 апреля Вейль не приводит. Между тем декрет прямо указывает на изменение отношений собственности, который предполагает послереволюционную компенсацию. Очевидно, что размер такой компенсации – тактическая величина, зависящая от исхода революционной борьбы. Маркс, Энгельс и Ленин тоже были готовы откупиться от буржуазии. На первых порах…

В. Чернов, основываясь на неточном изложении декрета, возражал своим радикальным оппонентам: «тут не было прямой «передачи» как революционной меры… Декрет в сущности предписывал не передачу а… исследование…»[604] Декрет, как видно из текста, предусматривал не только исследование (которое конструктивному социалисту Чернову вряд ли должно было показаться лишним в подготовке революционных мер), но и «пуск мастерских» «силами ассоциаций» и «окончательную передачу». Очевидно, что декрет означал начало, а не завершение процесса. Но это не отменяет ни его революционного характера (так как он явно противоречил гражданскому праву, действовавшему за пределами Коммуны), ни его социалистического характера, поскольку предприятия уже с 16 апреля перешли во владение коллективов, что прямо предусматривала теория Прудона.

Более того, несмотря на краткость существования Коммуны, декрет вызвал к жизни дальнейшие шаги. Профсоюзы, поддержав декрет, стали его конкретизировать. 23 апреля была принята резолюция союза механиков и ассоциации металлистов, которая ставила задачу создания производственных ассоциаций, «коллективно владеющих неотчуждаемым капиталом»[605]. 15 мая на собрании представителей рабочих союзов было создано исполнительное бюро комиссии по обследованию организации труда. В его руководство вошли члены Интернационала. 4 мая депутат Везинье предложил распространить декрет 16 апреля на крупные предприятия. Это предложение не было отвергнуто, но обсуждение его из-за обострившейся политической борьбы и угрожающей военной обстановки было отложено.

Однако казенные предприятия по инициативе рабочих и при поддержке прудонистов также переходили к самоуправлению.

3 мая при поддержке Авриаля Коммуна одобрила устав Луврских оружейных мастерских, составленный рабочими. В соответствие с ним собрание трудового коллектива выбирает всех руководителей, и все они подотчетны собранию. Предприятием руководит совет, в который входит делегат Коммуны (директор), начальники мастерских, мастера и выборные представители участков (половина из них должна сменяться раз в неделю). Совет планирует работу ежедневно, делегаты от рабочих составляют отчет обо всем важном раз в неделю. Увольнение работника производится советом. В случае необходимости провести сокращение первыми увольняются те, кто был принят последними. Это должно гарантировать устойчивость коллектива и защитить работников от произвола даже собственного совета. Подобные системы самоуправления затем будут воспроизводиться в бесчисленных экспериментах XX века.

К. Маркс утверждал, что Коммуна «хотела экспроприировать экспроприаторов»[606]. Согласиться с этим утверждением можно, если не воспринимать экспроприацию (отчуждение собственности) как акт. Прудонисты, как и завещал им учитель, «сжигали собственность на медленном огне», а не устраивали ей

«варфоломеевскую ночь». Потому что погром собственности может вылиться в погром экономики. Коммуна с чисто прудоновской осторожностью выделяла социалистический сектор. И сектор этот не принадлежал «пролетарскому государству» и государству вообще. В этом – коренное различие прудоновской и марксисткой стратегий социальной революции.

* * *

Устав Луврских мастерских предусматривал еще одну важную меру – введение 10 часового рабочего дня. Ограничение рабочего дня было только одним из мероприятий Коммуны, которые позволяют говорить о ней как о первом социальном государстве. Под «социальным государством» принято понимать систему государственных мер и институтов, которые защищают социальные права работников и потерявших возможность трудиться людей, а также снижают уровень социального расслоения общества. Выполнение этих задач – обязательное требование к социализму. В социалистическом обществе по определению не может быть высокого социального расслоения, и все люди должны быть защищены от нищеты независимо от своего положения в обществе. Этот социалистический принцип социального равенства (равноправия), горячо отстаивавшийся Прудоном, стал важнейшей критической силой, направленной против капитализма с его социальным расслоением и воспроизводством нищеты. Но опыт XX века показал, что и в рамках капиталистического общества, как правило под давлением социальных, и прежде всего социалистических движений, возможно движение в направлении усиления социального равенства. Это направление эволюционного развития общества было указано ранним Оуэном и Прудоном. Он считал, что основными структурами, которые будут обеспечивать усиление начал равенства, станут институты общества, основанные на взаимности (кооперативы, союзы работников, производственные ассоциации и т. п.). Коммуна показала, что эти меры может обеспечить также и государство. Она стала **первым социальным государством**, то есть государством, занявшимся целенаправленным обеспечением социальных прав беднейших слоев индустриального общества.

Лидеры Коммуны понимали ограниченность социальных институтов, доставшихся в наследство от старого общества, но видели также их необходимость до тех пор, пока социализм не сделает их излишними. Депутат Коммуны Г. Лефрансэ писал: «Если Коммуна восторжествует, а в этом нет сомнения, все, что называется общественной благотворительностью, – больницы, убежища, ломбарды, – наверняка исчезнет. Но это предполагает создание ряда новых экономических учреждений, которые вы не можете формулировать в одной из статей декрета. Вы посеяли бы теперь смятение в умах, если бы просто и коротко объявили об упразднении ломбардов и богаделен. Прежде чем их упразднить, надо сделать их излишними»[607]. Более того, социальные институты должны быть укреплены государством.

Депутат Б. Малон мотивировал социальные меры Коммуны: «государство достаточно выступало против рабочих, пусть же хоть теперь государство выступит в пользу рабочих»[608]. Отходит ли здесь прудонист Малон от учения своего учителя, критически относившегося к государству? Но мы должны помнить, что Прудон намеревался использовать институты старого общества для его демонтажа и обеспечения укрепления новых отношений. Вопрос в том, усиливает ли это давление государства на общество или нет. Пока общество еще не готово обеспечивать условия для социального равенства (равноправия), подтягивать беднейшие слои до среднего уровня может и государство, но не авторитарное, а максимально демократическое.

Коммуна проводила широкий круг мер, которые предвосхитили мероприятия социального государства. Уже 29 марта Коммуна отменила задолженности по квартплате. 1 апреля Комиссия труда и

обмена приняла решение о регистрации в мэриях спроса и предложения труда, чтобы можно было более эффективно бороться с безработицей. Были установлены пособия семьям пленных национальных гвардейцев. 8 мая были введены твердые цены на хлеб. Однако, в отличие от якобинского максимума они не означали запрета торговать дороже (что вело бы к дефициту и к тому же требовало применения репрессий против «спекулянтов»). Коммуна пошла другим путем: она стала торговать продовольствием в муниципальных лавках по ценам максимума, сбивая рыночную цену и делая спекуляции бессмысленными.

Были введены меры защиты прав трудящихся. 27 апреля Исполнительная комиссия запретила не установленные законом штрафы и вычеты из зарплаты. Комиссия труда и обмена запретила ночной труд в пекарнях. По этому поводу в Коммуне развернулась полемика. Депутаты Бийоре и Виар выступили против: «Вам незачем вмешиваться в отношения между рабочими и их служащими, и я предлагаю отменить декрет», – заявил Виар, придерживаясь либеральной логики. Прудонист Авриаль ответил ему: «Нельзя поддерживать такой порядок, чтобы рабочие – такие же люди, как и мы, работали только по ночам и никогда не видели бы дневного света»[609]. Запрет был утвержден.

12 мая, обратив внимание на низкие зарплаты работников, нанятых предпринимателями на выполнение военных заказов, Коммуна передала эти заказы корпорациям работников, которые были готовы организовать оплату по повышенным расценкам. Одновременно с расширением этого синдикального сектора Бержере создал коммунальные мастерские по пошиву военной формы, и частные предприниматели были вытеснены с этого рынка.

Политика зарплат в государственном аппарате также соответствовала прудоновскому представлению о равенстве, равно как и стратегии социального государства: «существенным элементом государственной работы Коммуны была и смелая политика в системе заработной платы, которая сильно поднимала оклады низшей категории служащих и рабочих за счет резкого сокращения высоких и привилегированных окладов. Это тоже был новый политический принцип – принцип социалистический»[610], – пишет П.М. Керженцев. Здесь марксистско-ленинский историк делает ошибку социал-демократов бернштейновского направления (о чем речь пойдет ниже) и тред-юнионистов, называя социальные перераспределительные меры социалистическими (удивительная идеологическая «диверсия», если вспомнить, что Керженцев писал свою книгу в 30-е гг.). В его время это было уже достаточно очевидно – социал-демократы проводили именно такую политику зарплат и доходов. Именно такая политика была важна для реализации прудоновского принципа равенства, превращения большинства работников в средний класс, что может создать предпосылки для преодоления капитализма, хотя еще не создает альтернативных капитализму общественных отношений.

Коммуна не только способствовала интеграции беднейших слоев в средний класс, но и активно защищала его. Считая Коммуну пролетарским государством, Маркс все же признал: «Главные меры, которые были предприняты Коммуной, были предприняты для спасения среднего класса – класса должника Парижа от класса кредитора!»[611] На следующий день после своего провозглашения, 29 марта Коммуна объявила о прекращении продажи вещей, заложенных в ломбард. 14 апреля депутаты подробно обсуждали проект восстановления системы кредита. Накопившиеся за войну и ныне замороженные долги не должны были разорить должников, но и без кредита нельзя было обойтись – ведь прудонисты считали необходимым сохранить рыночную экономику, которая, в соответствии с учением Прудона, не препятствует формированию социалистического общества. Проект Журда предусматривал постепенную выплату замороженных кредитных обязательств, посредством специально выпускаемых для этого купюр. Это означало постепенное размораживание старых долгов, что позволяет восстановить кредитование по новым сделкам. Оппоненты Журда предлагали заморозить военные долги на более долгий срок, скажем, на 3 года. Журд говорил, что, составляя проект, «больше всего заботился о восстановлении обращения и коммерческих сделок»[612]. Никто не оспаривает этой задачи. **Все социалисты Коммуны соглашались на**

сохранение рыночных отношений.

* * *

Прудонисты были не единственной фракцией коммуны и даже не составляли ее большинства. Тем не менее, социально-экономическая политика Коммуны и, как мы увидим, ее важнейшие программные документы были выдержаны в духе прудонизма.

Что касается Маркса, то он фактически отказался от шанса повлиять на характер социальных мероприятий Коммуны.

30 марта Л. Франкель направил Марксу письмо как к крупному теоретику Интернационала с просьбой дать предложения по проведению социальных преобразований. Маркс нашел возможность ответить 13 мая и переправил ответ Франкелю и Варлену. Но в ответе Маркса не было рекомендаций по поводу преобразований. Маркс писал о другом, что депутаты знали и без него: «Коммуна тратит слишком много времени на мелочи и личные счеты»[613]. Что считать мелочами? Франкель так и не дождался совета по поводу социальных реформ, которого просил. Маркс был слишком занят подготовкой сведения личных счетов с Бакуниным.

Маркс и его соратники сыграли значительную роль в обеспечении «посмертного» пиара Коммуны, прославив ее в манифесте Интернационала «Гражданская война во Франции». Заступаясь за Коммуну, осуждаемую со всех сторон либеральной прессой, марксисты делали благородное дело, по ходу которого приписывали ей черты, которые ожидали увидеть в пролетарской революции.

Для социалистов всего мира Коммуна стала своего рода путеводной звездой, и стремление Маркса и Энгельса представить ее подтверждением их теории в ущерб оппонентам только усиливалось. В статье «К жилищному вопросу» Энгельс так и заявил: «эти мероприятия – отмена ночного труда пекарей, запрещение денежных штрафов на фабриках, конфискация закрытых фабрик и мастерских и предоставление их рабочим ассоциациям – соответствуют вовсе не духу Прудона, а духу немецкого научного социализма»[614]. Почему? Отвечать на этот неразрешимый вопрос Энгельс оставил последующим поколениям марксистов. Его современникам было еще слишком очевидно, что передача фабрик рабочим ассоциациям, а не «пролетарскому государству» никак не соответствует духу марксизма и полностью укладываются в концепцию Прудона и отчасти Лассаля. Или Энгельс и его признал «научным социалистом»?

Конечно, приятно было бы чувствовать себя вдохновителем Парижской Коммуны, но **Прудон мог претендовать на лавры ее вдохновителя с куда большим основанием и как федералист, и как защитник среднего класса, и как сторонник перехода средств производства во владение ассоциаций работников. Конструктивные преобразования Коммуны ни на шаг не отошли от антиавторитарного социализма Прудона (мютюэлизма и федерализма) в сторону государственного централизма и коммунизма, связанного с национализацией.**

Отмежевать Коммуну от Прудона становится навязчивой идеей марксистской историографии. Марксистский историк французского социализма П. Луи писал: «Стоило лишь шевельнуться рабочим предместьям, чтобы рассеять в прах все дилетантские умствования Прудона, которыми он в течение 20 лет думал убаюкивать народ»[615]. Но дальше мы не найдем в книге Луи анализа социально-экономических мероприятий коммуны. В советское время, когда стали выходить более подробные марксистско-ленинские работы о Коммуне, их авторам приходилось писать о ее мероприятиях, умалчивая об их прудонистском характере, подчеркивая переходный характер декрета 16 апреля, подменяя понятие самоуправление

«рабочим контролем»[616] (получалось, что работники не получили предприятия в свое управление, не имели права выбирать руководителей, а могли только контролировать назначенную собственником администрации, как в первые месяцы советской власти).

Однако главным аргументом в пользу непрудонистского характера политики Коммуны был тот факт, что прудонисты не имели в ней большинства. Мол, прудонисты только влияли на Коммуну, но политический курс определяло большинство, прежде всего бланкисты, которые при расколе Интернационала в 1872 г. поддержат Маркса и, следовательно, могут считаться почти марксистами. Мы еще увидим, как и надолго ли бланкисты шли с Марксом в 1872 г. А сейчас важнее разобраться, в чем заключалось отличие их политического курса в Коммуне от прудонистского. И была ли в Париже социалистическая группа, которая отстаивала не прудонистские, а марксистские или похожие на них принципы централистичного коммунизма?

Возможно, если бы бланкистов возглавлял Бланки, он настаивал бы на каком-то другом курсе преобразований. Впрочем, как мы видели, Бланки, склонявшийся к авторитарной политике, призывал, скорее к осторожности в социальных преобразованиях, не имея определенного мнения об их направлении. Так что и в этом случае прудонисты оказались бы ведущими специалистами Коммуны по вопросу социально-экономической политики.

Арест Бланки за день до революции 18 марта превратил бланкистов в центристскую фракцию Коммуны, фактически лишенную собственной программы. В отсутствие Бланки бланкисты попали под идейное влияние прудонистов и отличались от них только авторитарной политической тактикой, но не стратегией. В отношении социальных преобразований бланкисты доверились прудонистам, не выдвигая альтернативной программы. Блакисты в области экономической могут рассматриваться как умеренные прудонисты (при всем их радикализме в политической тактике). В отношении политического режима они колебались между прудонизмом и якобинством, настаивая на концентрации власти ради более решительной борьбы с Версалем.

Позиция французского Федерального совета Интернационала, в который входили и прудонисты, и бланкисты, соответствовала идеологии прудонизма. Заявление федерального совета Интернационала и федеральной палаты рабочих обществ строилась на прудонистских идеях: «Рабочие! Чего мы требовали? Организовать кредит, обмен, ассоциации, обеспечить рабочих заработной платой, эквивалентной труду…»[617], а также свобод, бесплатного светского образования, муниципального здравоохранения и статистики.

Требование статистики нередко встречается в программах социалистических движений и организаций. За этим скромным положением кроется две важные идеи: в новом обществе экономическая и социальная информация должна быть открыта, не прикрываться коммерческой тайной. Это, в свою очередь даст возможность учитывать потребности в ресурсах, товарах, рабочих местах и согласовывать их с предложением путем индикативного (рекомендательного) планирования.

Более того, бланкисты поддерживали не только социальную, но и политическую программу прудонизма, считая возможным отступать от нее только временно, под влиянием критических обстоятельств. Поэтому, сравнивая две «пролетарские» революции 1871 и 1917 гг., типологически бланкистов можно уподобить не большевикам, а левым эсерам.

Бланкисты постоянно подчеркивают свою приверженность федерализму, а не централизму. Бланкистская газета «Пер Дюшен» призывала: «Будем пить за федерацию производства и обмена, обновленных и освобожденных». Разъясняя эту идею, газета предлагала чисто прудонистский план: «всякая группа граждан сама управляет своими внутренними и местными делами; различные группы во всяком департаменте договариваются для совместного руководства делами департамента. Группы всех

департаментов объединяются и посылают своих делегатов в Национальное собрание»[618].

* * *

Принципиальными оппонентами прудонистов могли стать только неоякобинцы, так как некоторые из них скептически относились к социализму, и якобинская диктатура 1793-1794 гг., в которой они черпали вдохновение, предполагала политический централизм, диктатуру Парижа, а не федерализм.

Прудонист Ш. Белэ высказал опасения, что традиция 1793 года может подмять под себя социализм, несовместимый с авторитаризмом: «Республика 93-го года была солдатом, который в борьбе внутренней и внешней нуждался в сосредоточении в своих руках всех сил страны; республика 1871 г. – это труженик, который больше всего нуждается в свободе, чтобы обеспечить мир»[619]. Вечная проблема антиавторитарного социализма – он стремится созидать новые демократические отношения, сложную систему самоуправления, а приходится защищаться, отдавая все больше власти солдатам.

Но этот вопрос разделял фракции тактически, а не стратегически. Прудонисты также признавали необходимость некоторых ограничений демократии в условиях гражданской войны. Так, Малон поддерживал отказ от выборов в округах и передачу управления ими депутатам Коммуны «сообразно с исключительными обстоятельствами»[620]. После победы, конечно, выборы на всех уровнях должны были стать обычным явлением.

В политической области тенденция к концентрации власти возобладает в Коммуне в мае 1871 г. Но она пока никак не скажется на направлении социальных преобразований, только замедляя их из-за фракционных конфликтов. Концентрация власти в Коммуне не привела к социально-экономической централизации (скажем, национализации, отмене самоуправления и т. п.) и корректировке федералистской программы, которую Коммуна предлагала Франции. Собственно, выработка программной декларации Коммуны показывает, что в отношении стратегии революции не только бланкисты, но и якобинцы шли за прудонистами.

Вскоре после 18 марта в воззваниях ЦК национальной гвардии упоминается «единая и неделимая» республика[621]. Но вскоре возобладал прудонизм, и эта якобинская формула если и встречалась, то, как мы увидим, с недвусмысленными разъяснениями в духе прудонистского федерализма.

1 апреля в «Журналь офисиель» вышла статья о целях Коммуны, в которой говорилось: «было бы странной иллюзией и прямо ребячеством думать, что единственной целью революции 18 марта было обеспечить Парижу выборное коммунальное представительство, подчиненное деспотичной опеке строго централизованной национальной власти. Законы во Франции никогда не удовлетворяли потребностей ни Парижа, ни провинциальных городов, ни деревень в независимости, в свободном управлении… С первого дня было ясно, что люди 18 марта боролись и победили для того, чтобы завоевать и обеспечить в будущем эту независимость как для всех коммун Франции, так и для более крупных единиц – кантонов, департаментов и провинций, объединенных между собой в истинно национальный союз…»[622] Это – прудоновский план политической реорганизации Франции, выраженный официальным органом Коммуны. Париж выступает инициатором такого преобразования, отказываясь от концентрации власти в своих руках. При этом, конечно, «автономный Париж должен остаться центром экономического и промышленного развития»[623]. Влияние городов должно закрепляться не властью, а их вкладом в экономику, единство поддерживаться не армией и полицией, а равноправными экономическими и культурными связями.

6 апреля 1871 г. вышло обращение Парижской Коммуны к населению департаментов, подписаное Ш. Делеклюзом, Ф. Курне, Ф. Пиа, Э. Тридоном, Э. Вайяном и О. Верморелем. Только последний из них был

близок к прудонизму, остальные были бланкистами и якобинцами. И что же? Перед нами документ политического централизма, если не марксистский, то по крайней мере не прудонистский? Отнюдь – чисто прудонистский подход, федерализм на грани анархии: «Париж стремится лишь основать Республику и завоевать себе коммунальные вольности, счастливый тем, что может показать пример другим коммунам Франции… Париж стремится лишь к тому, чтобы замкнуться в своей автономии, полный уважения к равным правам других коммун Франции… Да здравствует Республика, единая и нераздельная, демократическая и социальная!»[624] Как видим, «замыкание в автономии» в понимании коммунаров не противоречит единству и нераздельности Франции. Они выступают за свободный союз автономных городов и регионов.

Тем временем шла работа по выработке программной декларации Коммуны, по существу – основополагающего политического документа.

Декларация должна была стать результатом коллективного творчества представителей разных фракций. 9 апреля в комиссию по ее выработке были включены Ш. Делеклюз, Ж. Валлес, А. Тейс, Ф. Курне, Б. Малон, А. Бийоре – представители всех основных течений. Более того, Декларацию обсуждала Коммуна, где прудонисты были в меньшинстве. И что же, якобинцы ослабили социалистический пафос декларации или бланкисты предложили какое-то видение социализма и политического устройства, отличное от прудонистского? Нет. Декларация выдержана в прудонистских тонах. И это не удивительно – в отношении конструктивной программы бланкисты, не имея собственной, строго следовали за прудонистами, а неоякобинцы, как мы видели по предыдущим документам, тоже шли за социалистами, то есть прудонистами. Единственная содержательная поправка – из проекта программной комиссии убрали слова «цезаристский коммунизм», чтобы не создалось впечатление, будто социалисты сотрудничали с «цезарем» – императором Наполеоном III.

Декларация Коммуны к французскому народу 19 апреля гласила, что Париж добивается:

«Признания и упрочения Республики, единственной формы правления, совместимой с правами народа, с правильным и свободным развитием общества.

Полной автономии коммун на всем протяжении Франции, обеспечивающей каждой из них всю совокупность ее прав, а каждому французу – развитие всех его способностей и склонностей как человека, гражданина и труженика;

Автономия коммуны должна быть ограничена лишь равной автономией всех прочих коммун, примкнувших к ней путем договора; объединение их должно обеспечить единство Франции.

Неотъемлемыми правами Коммуны являются:

утверждение коммунального бюджета, доходов и расходов, установление и распределение налогов, управление местными службами, организация судопроизводства, внутренней полиции и просвещения, управление принадлежащим коммуне имуществом;

Назначение путем избрания по конкурсу ответственных, подлежащих постоянному контролю сменяемых должностных лиц и коммунальных чиновников всех категорий;

Полная гарантия личной свободы, свободы совести, свободы труда;

Постоянное участие граждан в делах Коммуны путем свободного выражения своих взглядов и свободной защиты своих интересов: гарантировать эти права должна Коммуна, так как на ней одной лежит обязанность наблюдать за правильным и свободным пользованием правом собраний и свободной печати, и обеспечивать их;

Организация городской обороны и национальной гвардии, которая избирает своих начальников и

одна охраняет порядок в городе.

Париж не требует себе больше никаких местных гарантий, разумеется при условии, что в центральной администрации страны – собрании делегатов всех объединенных коммун – он найдет осуществление на практике тех же принципов»[625]. Как видим, прудоновский федерализм и здесь выдержан во всей полноте.

Париж не намерен навязывать Франции единый проект социальных реформ, ограничиваясь лишь общесоциалистическим лозунгом: «сделать власть и собственность всеобщим достоянием». Париж требует права провести у себя реформы, показать пример. Возможно, в других регионах преобразования пойдут другими путями. Централизованной модели социализма не предполагается. Вопреки традиции якобинизма и более ранним планам Бланки, декларация опровергает как клевету утверждение, что Париж претендует на диктатуру во Франции. **Эта декларация – торжество идеологии федерализма в Парижской коммуне**.

* * *

Последний шанс для марксистов «отмежевать» Коммуну от прудонизма – это задним числом «вбить клин» между правыми и левыми прудонистами, объявив правых – собственно прудонистами, а левых – истинными революционерами, преодолевающими прудонизм на пути к марксизму. Ведь один из лидеров левых прудонистов Э. Варлен встречался с Марксом. Не мог же он после этого остаться на позициях прудонистской ортодоксии. Не мог, но остался. Не стал Варлен сторонником марксистского централизма. Он писал 28 марта 1871 г.: «мы стоим на страже муниципальных вольностей повсюду как в маленьких, так и в больших городах…»[626].

Сравнивая Варлена с его коллегами Журдом и Белэ, советский историк Н. Молчанов задается вопросом: «Как же могло случиться, что несомненный революционер Эжен Варлен проводил, по существу, ту же самую финансовую политику, что и люди совсем нереволюционного направления?»[627] Вот уж проблема так проблема: почему прудонист Э. Варлен проводит ту же политику, что и прудонисты Белэ и Журд. Такой вопрос мог прийти в голову только марксисту, для которого принципиально важно отмежевать «хороших» прудонистов от «плохих», представив первых чуть ли не марксистами, а вторых – чуть ли не контрреволюционерами. Но прудонисты от этих умственных упражнений не переставали быть прудонистами (хотя, конечно, как в любом течении, в прудонизме можно выделять правое и левое крылья), а социально-экономическая политика Коммуны – прудонистской. И Белэ, и Журд, и Варлен одобряли революцию 18 марта и в этом отношении были революционерами, также как Прудон одобрительно относился к свержению монархии в 1848 г. и употреблял слово «революция» в положительном контексте. Но как Прудон, так и его последователи понимали, что революция, разрушающая прежние порядки, сама по себе еще не создает более сложные новые отношения. Их нужно создавать осторожно и постепенно, по принципу «не навреди».

С этим важным принципом тесно связана проблема отношения Коммуны к Национальному банку Франции. Банк продолжал нормально функционировать на протяжении всех 72 дней существования Коммуны. Марксисты считают это непростительной ошибкой. Банк нужно было национализировать, конфисковать его ценности и направить их на дело революции. Тут бы буржуазия и дрогнула.

Подобные мнения были распространены и среди коммунаров, прежде всего – среди командиров военных формирований, далеких от экономических познаний.

Делегат ЦК Национальной гвардии Троель писал депутату Риго, что необходимо «покончить с

буржуазией одним ударом», захватив банк. 12 мая под предлогом наличия оружия в банке тыловые вооруженные группы («мстители Флуранса» и «гарибальдийцы») попытались его захватить. Впоследствии использование банка в качестве оплота вооруженной «пятой колонны» не подтвердилось, банк не сыграл никакой роли во время боев «кровавой недели».

Узнав о попытке захвата банка в здание прибыл делегат Коммуны по финансам прудонист Ш. Белэ, который категорически выступил против захвата банка и добился снятия его блокады. Марксистская историография в один голос оценивает это как ошибку. Тут бы и должна была выявиться вся пропасть между революционными левыми прудонистами и «правым» прудонистом Белэ. Но нет, Коммуна поддержала политику Белэ голосами не только прудонистов, но и бланкистов, не говоря уже о якобинцах. С чем же связано такое единодушие депутатов Коммуны в отстаивании «ошибки»?

Белэ так объяснял недопустимость захвата банка коммунарами: «Что выиграет от всего этого Коммуна? Получит на 50 млн. обесцененных бумажек, на которые нельзя будет купить и фунта хлеба»[628]. Ценности банка находились вне Парижа. Поэтому коммунары могли бы захватить только денежные купюры, которые в условиях конфискации банка стали бы стремительно обесцениваться. Этот сценарий Белэ в целом подтвердила история Российской революции, когда большевики окончательно обесценили рубль, взяв в свое управление банки. Так что, когда Ленин писал, что русские рабочие «не оставили бы банка в руках буржуазии»[629], он сознательно брал курс на разрушение рыночных отношений, которые были заменены распределительной системой «военного коммунизма». Большевики надеялись, что органы советской власти смогут организовать обмен продуктами лучше, чем рынок. Эти надежды не оправдались, авантюра привела к голоду. Такая «мелочь», как банк,; была одним из водоразделов прудонистской и марксисткой и стратегий революции, первая из которых предполагала сохранение товарно-денежных отношений в ближайшей перспективе, а вторая – их разрушение, причем в условиях, когда альтернативы рыночным отношениям еще нет.

Захват банка означал разрушение финансовой системы Франции. Поэтому Коммуна согласилась с аргументами Белэ.

Всего банк выдал коммуне 15 миллионов франков, а Версалю – более 257 млн. Так руководители банка понимали свой нейтралитет в начавшейся гражданской войне. Париж имел право тратить деньги со счета столицы, а остальная Франция – из общегосударственного счета. Банк не прекращал финансировать Коммуну до конца ее существования. 19 мая банк выдал коммуне 900 тыс. франков. Во время кровавой недели – еще 1200 тыс. Эти средства позволяли обеим сторонам вооружаться, но также позволили Парижу избежать голода, спокойно закупая продовольствие. «То обстоятельство, что Коммуне удалось в общем наладить снабжение Парижа продовольственными продуктами по дешевым ценам, было одним из крупных достижений ее социально-экономической политики»[630] – признают советские историки. Они только не проследили связь этого достижения с «ошибкой» отказа от национализации банка.

Ситуация с банком, как и остальные аспекты социально-экономической деятельности Коммуны, а также ее программные документы показывают: большинство депутатов Коммуны независимо от фракционной принадлежности выступали за прудоновскую модель социализма и федерализма, расходясь только в тактических вопросах организации власти в период гражданской войны.

С точки зрения программы и направления социальных преобразований Коммуна представляла собой **чисто прудонистский эксперимент**.

* * *

Тактические разногласия, постепенно нарастая, привели в мае к расколу депутатов Коммуны на «большинство» и «меньшинство». Эта борьба снижала эффективность работы Коммуны, ослабляла ее обороноспособность. Парадоксальным образом «усиление власти» вело к ослаблению ее эффективности.

Коммуна так и не обрела лидера с безусловным авторитетом, который сплотил бы депутатов как вождь Коммуны. Считается, что трагическую роль в этом сыграл арест О. Бланки за день до революции 18 марта. Однако Бланки был авторитарным лидером, и если бы он стал проводить именно такой курс, который известен под названием «бланкизма», то наверняка встретил бы сопротивление со стороны прудонистов. Раскол на «большинство» и «меньшинство» произошел бы раньше и вероятно резче.

Депутаты Коммуны, многие из которых имели за плечами опыт революционного движения и многолетнего обсуждения социально-экономических вопросов, оказались плохо подготовленными именно к захвату власти и выстраиванию ее организации. И Маркс, и Бакунин оценили Коммуну как слом старой государственной системы. Это верно в том смысле, что к власти пришли совершенно новые люди без груза государственно-бюрократической традиции, и они создали новые структуры управления.

Депутаты тратили очень много времени на обсуждение оптимальной организации власти. Этот вопрос был нов как для прудонистов, так и для бланкистов. Но в то же время именно слом государственного механизма не произошел и вряд ли мог произойти. Дело в том, что существующая структура общества предполагает существование общественных нужд и дел, которые должны осуществляться либо государством, либо органами самоуправления. Коммуна стремилась к тому, чтобы органы самоуправления в будущем взяли на себя как можно больше функций. Но в конкретной обстановке Парижа 1871 г. устойчивая система самоуправления, готовая взять на себя эту нагрузку еще не была сформирована. Более того, в условиях начавшейся гражданской войны Коммуна даже не рискнула провести выборы в муниципалитеты.

В обстановке революции пышным цветом расцвела сеть низовых организаций: клубы, комитеты бдительности, профсоюзы и др. Профсоюзы получили свое поле деятельности на ниве производственного самоуправления, что касается клубов с их случайным составом, то они представляли только своих членов, то есть могли претендовать на роль районных «партий», обеспечивать поддержку решений Коммуны, доносить до депутатов предложения «снизу» (многие из них были одобрены Коммуной). Но доверять таким собраниям организацию текущей рутины городской жизни – значило обречь ее на разруху.

В результате произошел не слом бюрократической машины, а заполнение ее новыми людьми и попытка запустить новое руководящее звено – совокупность работающих комиссий, а не парламент или правительство министров и премьера. В итоге произошла **бюрократическая перегрузка депутатов**. Это часто случается с лидерами революций, стремящимися непосредственно руководить самыми разными сторонами преобразований. Теперь жизнь не может течь сама собой как раньше, а массы еще не приучены к самостоятельной ежедневной работе в новых структурах. Отсюда переутомление, о котором поведал депутат Коммуны А. Арну: «Прежде всего мы были обременены работой, изнемогали от усталости, не имея ни минуты покоя… В качестве членов Коммуны мы обыкновенно заседали два раза в день. В два часа и вечером до глубокой ночи. Эти два заседания прерывались лишь настолько, чтобы слегка закусить.

Кроме того, всякий из нас принимал участие в одной из комиссий, исполняющих работу разных министерств… С другой стороны мы были мэрами…Многие из нас были командирами Национальной гвардии, и между нами не было, может быть, ни одного, кто не должен был в любую минуту бежать на аванпосты…»[631]

Не удивительно, что многие решения, на выработку которых было потрачено время, так и не стали воплощаться в жизнь. Не случайна реплика одного из наиболее «деловых» депутатов Э. Варлена: «Я считаю, что каждый раз, когда вы издаете декреты, было бы хорошо, чтобы вы поручали кому-либо

проводить их в жизнь»[632].

Вопрос об эффективности власти был связан с жизненной темой **обороны**. Коммунары воевали неудачно. Организация войск в национальную гвардию, которая по мысли коммунаров должна была покончить с милитаризмом, корнем ненавистного имперского авторитаризма. Недавняя история двух империй порождала глубокое недоверие к военному командованию и военной дисциплине. В то же время элемент военной демократии национальной гвардии порождал энтузиазм, воскрешавший героические воспоминания Великой французской революции. Первое время это вселяло надежды на скорейшую победу. Эти надежды не оправдались, что, казалось бы, доказывает бесперспективность внесения элементов самоуправления в армию. Однако история знает и обратные примеры – «военная демократия» способствовала успехам махновского движения на Украине и прочности фронта Испанской республики во время гражданской войны 1936-1939 гг.[633] Дело не только в том, имеют ли бойцы право на инициативу и самоорганизацию своего быта. Важно, насколько они доверяют своим командирам и насколько эти командиры талантливы. Армии со строгой дисциплиной нередко проигрывали повстанческим вождям, если помимо прочих обстоятельств эти вожди были более талантливыми полководцами. История обделила Коммуну талантливыми и самоотверженными военачальниками. К тому же шанс на победу у коммунаров существовал до того, как Версаль установил прочный контроль над ресурсами Франции, обеспечившими ему безусловный перевес сил. Победить можно было только в конце марта – начале апреля. Но в решающем сражении 3-4 апреля у коммунаров не было единого военного командования, что предопределило нескоординированность и крайнюю непродуманность их действий.

Накануне сражения разгорелся конфликт между Коммуной и ЦК национальной гвардии, который самостоятельно назначил военного делегата (командующего) Клюзере. 31 марта Клюзере выступил в Коммуне, представив отчет ЦК артиллерии. Отчет был одобрен исполнительной комиссией. Но Клюзере не было доверено командование. Он был назначен военным делегатом только после поражения 3 апреля, когда шансы на победу в маневренной войне уже были упущены.

Поскольку в дальнейшем Клюзере не преуспел, его принято считать негодным командиром (хотя за его спиной был опыт нескольких войн)[634]. Однако 3-4 апреля наличие опытного в военном отношении командующего могло бы избавить коммунаров от несогласованности атак и выбора крайне неудачных направлений наступления (достаточно вспомнить, что Флуранс вообще заблудился и ушел в сторону от сражения, а колонны Эда штурмовали холмы Медона, которые можно было обойти и тем спасти колонну Дюваля от разгрома, а может быть и достичь с нею Версаля). В дальнейшем Клюзере делал все, что мог при ухудшающемся соотношении сил, и, уже как грамотный в военном отношении человек не решился на внезапный удар по версальцам по принципу «пан или пропал». Он не был авантюристом, и потому мог победить 3-4 апреля и не мог победить позднее. В условиях гнетущего ухудшения обстановки, вызванного неуклонным изменением соотношения сил в пользу Версаля, Клюзере раздражал всех, и его по обыкновению стали подозревать в стремлении к военной диктатуре.

Ф. Пиа утверждал: «Генералы против своей воли тянутся к диктатуре, как черепахи тянутся к морю»[635]. «Даже победоносный генерал, имея под своим начальством одну лишь национальную гвардию, не может произвести государственного переворота»[636] – возражала газета «Ля Коммюн». Проблема военного руководства, немаловажная и для либеральных течений, для социалистов приобретает просто таки трагическое значение. Отступление от демократии для антиавторитарных социалистов означает не просто временное «замораживание» их программы (как нередко бывает у либералов), а движение в сторону якобинско-марксистского централизма.

19 апреля депутат Гамбон призвал приостановить заседания коммуны и направиться на фронт, на что Растуль ответил: “Если вы хотите предоставить генералу Клюзере диктатуру, скажите это прямо»[637]. Сам

Клюзере 20 апреля предложил в сложившейся критической обстановке распустить комиссии и заменить их делегатами, которые будут отчитываться перед Коммуной, создать своего рода министерства. Генерал негодовал: «Все отдают распоряжения справа и слева, и мне очень трудно добиваться исполнения моих приказов»[638]. ЦК национальной гвардии, еще недавно поддерживавший генерала, теперь активно выступал против него. 30 апреля депутаты не нашли ничего лучше, как арестовать Клюзере. Почти весь май его держали под арестом, и лишь перед самым падением Парижа решили выслушать, после чего торжественно оправдали. Если что-то случается как трагедия, а повторяется как фарс, то это можно отнести к репрессивной политике Коммуны, которая отчасти была навеяна якобинской традицией, но не сопоставима с ней по масштабам. Коммунары арестовали 3632 человек, две трети отпустили, и 96 все же расстреляли уже в ходе «кровавой недели». Но кто знает, какое развитие приобрела бы эта тенденция в случае, если бы Коммуна устояла, и гражданская война охватила всю Францию. Большевистский террор тоже начинался с единичных расстрелов.

Если в социально-экономической политике и в представлениях о будущем Франции Коммуна следовала заветам Прудона, то в области политической тактики, особенно перед лицом надвигающегося поражения, она стала подражать Робеспьеру. 1 мая был создан **Комитет общественного спасения** (КОС), образование которого раскололо Коммуну на два лагеря. За создание полномочного комитета проголосовало 45 депутатов, а против 23. Якобинское название комитета поддержало только 34. Прудонисты считали создание КОС «узурпацией народного суверенитета», возвратом к прошлому и отходом от социализма. Собственно, в создании правительства, выполняющего решения Коммуны, еще не было ничего особенно авторитарного. Но якобинское название комитета намечало мрачную тенденцию его развития. Радикализм якобинцев мог подмять под себя те успехи социальной демократии, которые уже достигла Коммуна. Тень якобинского террора к тому же явно грозила отпугнуть провинцию, на поддержку которой парижане надеялись до конца (периодические выступления революционеров других городов Франции в поддержку Коммуны делали эти надежды небезосновательными).

Поэтому позиция «меньшинства» была непримирима. По словам депутата Ланжевена КОС имеет «диктаторский характер, несовместимый с демократическими по своей сути идеалами коммуны»[639]. Малон подчеркнул принципиальность расхождения: «воспоминания о 93 годе никогда не должны были бы примешиваться к социальной и пролетарской революции, начало которой было положено 18 марта»[640]. До сих пор Коммуна отвергала якобинские принципы централизованной диктатуры. Формально она не изменила своей программы. Но те или иные структуры власти, которые приобретают собственную инерцию. Низовая инициатива масс создает структуры самоуправления, а радикальное меньшинство, защищающее позиции революции авторитарными средствами – структуры диктатуры, от которых потом нельзя избавиться простым декретом, и которые могут уничтожить и самих радикалов, и достижения революции, оставив только диктатуру. Ведь «орудия» революционеров – это тоже люди, организованные и вооруженные, имеющие свои интересы и получающие все большую власть. Эта тема была хорошо разработана в идеологии антиавториарного социализма и зримо подтверждалась якобинским опытом 1793-1794 гг. Отсюда – накал борьбы по поводу вопросов тактики, в которой прудонисты и их сторонники увидели реакцию, отход от принципов революции 1871 г. к принципам революции 1793 г., которые должны повлечь неминуемое перерождение.

КОС получил широкие полномочия, что вселяло в бланкистов и якобинцев надежды на энергичное руководство. Но в состав КОСа вошли компромиссные, не самые яркие фигуры, за исключением якобинца Ф. Пиа. У него появился шанс стать истинным вождем Коммуны и повести ее к победе. В обстановке начала мая это означало бы одно – успешное руководство военными действиями. А этот вопрос находился в компетенции нового военного делегата Л. Росселя. Пиа принялся руководить войсками, что само по себе и соответствовало духу решения о КОС. Но действия Пиа были неудачными, он стал неуклюже

отмежевываться от собственных решений, и был 5 мая уличен во лжи. В итоге в качестве лидера КОС Пиа продержался 5 дней и подал в отставку. После этого он опубликовал статью, в которой говорилось: «Париж хочет мира с Версалем, чтобы покончить с Пруссией»[641]. Предложение компромисса с Версалем надолго похоронило репутацию Пиа. Победителем оказался военный делегат Л. Россель, которого почему-то считали лучшим полководцем, чем Клюзере, хотя Россель был при прежнем военном делегате начальником штаба. Как и в случае с Клюзере, обострились отношения ЦК и военного делегата. 8 мая чуть не дошло до военного столкновения между членами ЦК и Росселем. Наконец, договорились попробовать позиции версальцев на прочность. ЦК обязался собрать на смотр более 12 тыс. бойцов, и Россель – повести их в атаку.

Тем временем отставка Пиа похоронила первый КОС, что только обострило фракционные споры о компетенции этого органа. Не добившись согласия, «большинство» стало игнорировать «меньшинство». 7 мая депутаты «меньшинства» пришли на заседание и обнаружили пустой зал. «Большинство» собралось в это время на фракционное заседание, где обсуждало, как создать дееспособный КОС. Прудонисты были возмущены. Раскол углублялся.

9 мая решилась судьба Росселя. На смотре собралось по данным ЦК 10 тыс., по оценке Росселя – 5-7 тыс. бойцов. Он решил, что с такими силами атаковать версальцев не имеет смысла и уехал со смотра. Россель обрушился на Коммуну и ситуацию, в которой «все рассуждают, но никто не хочет повиноваться»[642]. ЦК, выступавший за укрепление военной власти, внезапно встал на сторону нелюбимого прежде Росселя и предложил сделать его диктатором. В этой обстановке Коммуна решила арестовать и Росселя. Он не стал дожидаться суда и бежал 10 мая.

В обстановке острого кризиса обороны, слухов о военном перевороте и крахе первого КОСа 9 мая депутаты наконец собрались вместе. «Меньшинство» потребовало упразднить КОС. Это могло бы разрядить ситуацию, тем более, что прудонисты не возражали против некоторой концентрации власти и усиления ответственности за выполнение решений Коммуны. Но большинство настояло на выборах нового КОС. Страсти накалились настолько, что «большевики» обсуждали арест «меньшинства». Тем не менее, прудонисты согласилось участвовать в выборах. Во второй КОС вошли бланкисты и якобинцы А. Арно, Ш. Гамбон, Ш. Делеклюз, Э. Эд, Г. Ранвье. Делеклюз стал военным делегатом.

12 мая началось вытеснение КОСом прудонистов и др. «меньшевиков» с постов в политических комиссиях. При этом «большевики» снова перестали являться на заседание коммуны. Власть «уходила» из Коммуны, «меньшинство» было оттеснено от реальной политической власти. Тогда 15 мая оно опубликовало декларацию, в которой заявляло, что поскольку Коммуна потеряла власть, члены «меньшинства» отказываются участвовать в ее заседаниях и будут присутствовать на них только при обсуждении судебных дел членов Коммуны. Остальное время депутаты намеревались посвятить работе в мэриях. По мнению «меньшинства» Коммуна «отреклась от своей власти, передав ее диктатуре, которую она назвала Комитетом общественного спасения»[643]. Декларация подчеркивала, что расхождение по поводу КОС не касается задач революции: «Мы, как и большинство, желаем политического и социального обновления… несмотря на наши политические разногласия, все мы – большинство и меньшинство – преследуем одну и ту же цель – политическую свободу, освобождение трудящихся»[644]. Декларацию подписали 19 прудонистов, 1 бланкист и оба близких к Марксу депутата. Здесь, как и в других вопросах, они шли за прудонистами.

Бланкистская газета «Пер Дюшен» убеждала «меньшевиков» вернуться, ссылаясь на самого Прудона, который не вышел даже из враждебного ему Учредительного собрания. «Подумайте над этим, граждане, члены меньшинства! Вы по меньшей мере столь же способны, как и остальная часть Коммуны. Поэтому вы должны бороться до конца»[645].

Декларация «меньшинства» вызвала возмущение «большинства» и заставила его «вернуться в Коммуну». На заседании 17 мая разгорелись жаркие споры. Звучали угрозы арестов членов «меньшинства», но новый лидер КОС Делеклюз выступил против этого. Якобинцы обвняли прудонистов в том, что они стали новыми жирондистами, но прудонисты знали историю Великой французской революции не хуже и опровергали эти ярлыки: жирондисты защищали интересы буржуазии, а «меньшинство» состоит из социалистов. В обеих фракциях было множество сторонников восстановления единства. Умеренные «большевики» предлагали «взять назад» декларацию «меньшинства», «меньшевики» были готовы пойти на уступки, если прекратится снятие их сторонников с постов, и КОС будет ограничен в правах. В итоге голосами большинства Коммуна приняла постановление, по которому КОС «постоянно к услугам и в распоряжении Коммуны, верховная власть которой никогда не оспаривалась и не могла оспариваться»[646]. Таким образом на момент гибели Коммуны демократические нормы в ней были подтверждены. 21 мая депутаты собрались все вместе, чтобы заслушать дело Клюзере. Он был оправдан, но к командованию не возвращен.

19 мая КОС передал управление военным ведомством ЦК национальной гвардии. Сообщение об этом заканчивалось словами «Да здравствует Федерация коммун!». Вполне федералистский лозунг – большинство продолжало во всем отстаивать прудонистскую программу, хотя и авторитарными методами.

Фракционные разногласия утеряли актуальность 21 мая, когда версальцы начали штурм Парижа.

Когда 25 мая, когда версальцы уже захватили пол-Парижа, лидер «большинства» и военный делегат старик Шарль Делеклюз, торжественно надев перевязь депутата Коммуны, перешел баррикаду и двинулся под пули версальцев на верную смерть. Командование безнадежной обороной Коммуны возглавил один из лидеров «меньшинства» Э. Варлен.

Политическая история Коммуны в мае – это агония в условиях безысходности военной ситуации. Она не имеет прямого отношения к истории социалистических идей, так как их осуществление не обсуждалось в конфликте «большинства» и «меньшинства». Тем не менее, эта история показывает, что Коммуна была моделью не только социально-экономических преобразований демократических социалистов, но и политической борьбы в условиях кризиса революции, когда социалистическое правительство оказывается зажатым в «кольце фронтов». Каковы бы ни были нюансы идеологии лидеров Российской революции в 1917-1918 гг. или Испанской революции в 1936-1937 гг., в условиях гражданской войны им приходилось обсуждать те же тактические проблемы, что и депутатам Коммуны. И всегда призрак якобинизма и бонапартизма нависал над достижениями социальной революции, грозя раздавить их авторитарно-бюрократическим перерождением.

* * *

Несмотря на неизбежные в условиях гражданской войны ограничения демократии и тенденции к авторитаризму, Парижской коммуной была практически реализована модель демократического, освободительного социализма, которую можно кратко описать формулой: производственное и территориальное самоуправление в условиях широкой демократии и федерализма. Через 72 дня после начала парижской эпопеи расстрел последних защитников Коммуны поставил точку в прудонистском эксперименте.

Но история Коммуны на этом не закончилось. Она стала доказательством серьезности намерений социалистов, их способности проводить успешные преобразования – ведь Коммуна погибла не в результате социального кризиса, а под ударами превосходящих сил вооруженного противника.

Борьба в Интернационале разделила оставшихся в живых депутатов Коммуны-социалистов. О. Авриаль и другие левые прудонисты создали «французскую секцию 1871 г.», выступившую против Генсовета с позиций, близких бакунинским. Но левый прудонист А. Тейс перешел к марксизму, окончательно стал марксистом и Л. Франкель. Клюзере был стойким противником марксистов в Первом и Втором Интернационалах. Прудонисты продолжили участие в рабочем и социалистическом движении, в конце концов интегрировавшись в лоно социал-демократии, где сотрудничали с умеренными последователями Маркса и бланкистами.

Бланкисты активно боролись против бакунистов на Гаагском конгрессе, так как анархисты в пылу полемики с государственником Марксом стали выступать против политической борьбы (под которой понимали прежде всего борьбу парламентскую). В действительности и Бакунин, и его соратники занимались политической деятельностью, но критикуя парламентские иллюзии немецких социалистов, они обратились к другой крайности, считая, что работать можно только в организациях трудящихся. Этот однобокий синдикализм оттолкнул от Бакунина и некоторых сторонников его конструктивной программы, которая, впрочем, была мало известна, поскольку спор велся на другие темы.

Социалисты разных направлений стали претендовать на наследство Коммуны. Но все признавали – Коммуна стала примером сотрудничества социалистов разных направлений. Возможность и продуктивность такого сотрудничества – один из важнейших уроков Коммуны. Опыт XX века – от Российской революции до Народного фронта в Испании – показал, что неизбежная в таком союзе фракционная борьба может вырождаться в настоящую войну на уничтожение, если один из союзников изначально стремится к монополии на власть.

Признаки усиления борьбы за монополию на власть в социалистическом движении проявились как раз в год Коммуны в Интернационале. Дальнейшее развитие событий подтвердило тенденцию, которая в Коммуне лишь наметилась – установление диктатуры в освободительном социалистическом движении ведет не к консолидации сил, а к расколу.

Раскол Интернационала

Парижская Коммуна произвела противоречивое воздействие на Интернационал. С одной стороны, члены Интернационала активно участвовали в событиях и много успели добиться за отведенные им историей 72 дня. С другой – роль организации МТР за пределами Парижа сводилась к кампании солидарности с Коммуной. Маркс считал, что Интернационал должен стать дееспособной политической организацией социалистов, и события Коммуны, за которыми, как казалось, должны были последовать новые революционные потрясения, укрепили Маркса в мысли о необходимости усилить централизацию в Интернационале, что неминуемо вело к обострению фракционной борьбы.

Опыт Коммуны подталкивал Маркса к выводу: идейный синтез затянулся и не ведет к торжеству марксизма в рабочем движении. А «для обеспечения успеха революции требуется единство мысли и действия»[647]. Если революционный подъем продолжится (на что указывала ситуация в Испании), то МТР не сможет стать эффективным инструментом проведения марксистской стратегии революции. Как минимум будут проводится две мешающие друг другу стратегии – марксистская и бакунинская. Желания согласовывать их у Маркса не было. Он ограничился тем, что взял у федералистов «все полезное». Начав после Коммуны решительное нападение на Бакунина, Маркс во многом учел опыт Коммуны, сделав ряд важных уступок федерализму, то есть сблизил свой конструктивный идеал с прудоновско-бакунинским.

В 1871 г. под действием Коммуны и поддержанных ею прудоновских идей Маркс окончательно переходит на позиции политического федерализма. Прежде абстрактные положения о «сломе государственного аппарата» и создании на его месте «диктатуры пролетариата» обрели конкретное наполнение. Диктатура пролетариата – это Коммуна, слом старого государственного аппарата – это переход к федерализму (коммунализму). То есть – реализация политической программы анархизма – по-прежнему проклинаемого марксистами Прудона.

Ссылаясь на декларацию Коммуны, Маркс пишет, что Париж стремится заменить прежнее государство и господствующие классы «политическим объединением самого французского общества при помощи коммунальной организации»[648]. Федерация коммун – идеальное условие для начала социалистических преобразований, «социальная республика», которая «обеспечивает это социальное преобразование коммунальной организацией»[649].

«Если бы коммунальный строй установился в Париже и второстепенных центрах, старое централизованное правительство сменилось бы самоуправлением производителей и в провинции»[650]. Маркс конкретизирует эту программу: «Собрание делегатов, заседающих в главном городе округа, должно было заведовать общими делами всех сельских коммун каждого округа, а эти окружные собрания в свою очередь должны посылать депутатов в национальную делегацию, заседающую в Париже; делегаты должны были точно придерживаться mandat imperatif (точной инструкции) своих избирателей и могли быть сменяемы во всякое время»[651]. Это полное воспроизведение системы делегирования, которую проповедовал Прудон, а за ним и Бакунин. Маркс пишет, что в центре сохранятся только немногие, хотя и важные функции. Словно «заразившись» от своих противников, Маркс называет «государство» «паразитическим наростом»[652]. Но все же ставит государство в кавычки.

В работе «Гражданская война во Франции» Маркс нарисовал несколько идеализированный образ Коммуны, указывая, например, на сменяемость депутатов в любое время, которого на самом деле не было. Для Маркса Коммуна – модель, ожившая программа грядущих революций. «Приукрашивание» Коммуны, Марксом в ходе такого формулирования программы будущей «диктатуры пролетариата» идет в пользу федералистских положений.

Частичный переход Маркса на позиции прудоновского федерализма под влиянием Коммуны имел долгосрочные последствия. Теперь и многие последователи Маркса проникались федерализмом. Но даже В.И. Ленин, уже предложивший передать власть федерации советов (правда, при условии подчинения их централизованному управлению партии большевиков), писал в «Государстве и революции»: «Маркс сходится с Прудоном в том, что они оба стоят за «разбитие» современной государственной машины. Этого сходства марксизма с анархизмом (и с Прудоном, и с Бакуниным) ни оппортунисты, ни каутскианцы не хотят видеть, ибо они отошли от марксизма в этом пункте… Маркс расходится и с Прудоном, и с Бакуниным как раз по вопросу о федерализме (не говоря уже о диктатуре пролетариата). Из мелкобуржуазных воззрений анархизма федерализм вытекает принципиально. Маркс – централист»[653]. Это утверждение неточно. После Парижской коммуны Маркс был вынужден перейти на позиции политического федерализма. Он остался централистом только в социально-экономической части своей концепции. Планирующий центр должен был оказаться сильнее политической надстройки, которая, по Марксу, должна была приобрести коммунальную, федеративную форму.

Все-таки Маркс был революционером, и романтические отблески революционного пожара могли заставить его признать правильность даже прудоновско-бакунинской системы федерализма. Но только в качестве политической надстройки. Это порождает противоречие между федерализмом и централизмом в программе марксизма, которое в XX веке способствовало распадению этого течения на множество направлений от почти анархических до тоталитарных.

* * *

После Коммуны марксисты на время перестают любить государство.

В 1875 г., в борьбе с лассальянством, «классики» делают серьезный шаг в сторону позиции Прудона и Бакунина. Энгельс писал Бебелю: «Следовало бы бросить всю эту болтовню о государстве, особенно после Коммуны, которая не была уже государством в собственном смысле слова». Энгельс прямо ссылается на критику со стороны анархистов как мотив столь решительного поворота. Чтобы сохранить лицо, Энгельс вспоминает здесь также о полемике Маркса и Прудона, но вполне очевидно, что по сравнению с Прудоном Маркс был именно государственником, стремившимся разрушить данное государство ради рабочего государства. Пока происходит революция, марксисты готовы укреплять государство, диктатуру. Но после их победы государство «само собой распускается», и наступает свобода. «Мы предложили бы поэтому поставить везде вместо слова «государство» слово «община», прекрасное старое немецкое слово, соответствующее французскому слову «коммуна»». В этой фразе Энгельс фактически признает, что переход от государственничества к идее «общины» произошел именно под давлением бакунистов. Более того, Энгельс фактически переходит на позиции, к которым в то же время с противоположной позиции сдвигается анархист Лавров: государство необходимо не для строительства социализма, а лишь для защиты революции. Энгельс писал Бебелю, что государство нужно не в интересах свободы, а «в интересах подавления своих противников, а когда становится возможным говорить о свободе, государство перестает существовать»[654]. Когда противники пролетариата будут подавлены, государство становится не нужным.

Таким образом, и авторитет Коммуны, и сама тенденция идейной эволюции марксизма давали шанс ослабить фракционную борьбу в Интернационале, сблизив их «в районе» позиций Лаврова.

Но личные противоречия вождей, стремление Маркса усилить «управляемость» Интернационала и произошедшая в этот момент значительная радикализация тактических взглядов Бакунина (который не стал замечать и эволюции взглядов Маркса) все же привели к расколу Первого Интернационала.

Это не значит, что Энгельс отказывается от временного авторитаризма: «… пока пролетариат еще нуждается в государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников, а когда становится возможным говорить о свободе, тогда государство как таковое перестает существовать»[655].

Для либерала государство – гарант свободы, свобода нуждается в государстве. Для социалистов свобода – плод не защиты друг от друга, отчуждения друг от друга, а общения, сближения, сотрудничества. Поэтому государство не нужно для обеспечения свободы, которая будет вытекать из самой структуры общества. Но только часть социалистов заметила, что излишнее сближение между людьми тоже угрожает свободе.

Не случайно в написанной в то же время «Критике Готской программы» Маркс утверждал, что даже в коммунистическом обществе сохранятся некоторые функции, «аналогичные теперешним государственным функциям»[656]. Но не уточнял какие. Сталин уточнит эту мысль на практике.

* * *

17-23 сентября 1871 Генеральный совет МТР созвал закрытую Лондонскую конференцию, на которую пригласил прежде всего марксистов, тред-юнионистов и бланкистов. С кворумом было плохо – Энгельс представлял Италию, где был широко распространен бакунизм. Первый после Коммуны форум Интернационала был посвящен вопросу «о политическом действии рабочего класса». Коммунар-бланкист Вайян предложил «сплотить свои силы на политической почве»[657]. Бакунист А. Лоренцо, попавший на конференцию от Испании, где бакунизм тоже очевидно преобладал, предложил синдикалистское решение – создание федерации революционных профсоюзов. Коммунар П. Делаэ, развивая эту идею, предложил видеть в этом объединении синдикатов «Коммуну будущего». Так стремление бакунистов избежать политической централизации МТР вело к формированию синдикалистской доктрины: идеологически многообразные организации рабочего класса формируют федерацию в рамках капиталистического строя, которая затем, в ходе революции возьмет на себя управление новым обществом. Не партия с единой идеологией, а широкая организация рабочего класса. В это время антипартийность бакунистов еще не была принципиальной – об этом свидетельствовало само создание Бакуниным Альянса социалистической демократии.

Радикальная «антиполитичность» бакунистов, закрепленная затем в анархистском движении П. Кропоткиным, была отходом от первоначальных принципов анархизма. Ведь современный анархизм родился как реформистское течение, а реформизм, ненасильственное изменение общества, волей-неволей предполагает участие во власти. Чтобы напор социалистического движения на государственные структуры не вылился в гражданскую войну, политики-анархисты должны способствовать постепенной демократизации и демонтажу государственных структур изнутри. И это следует делать как раз в революционной обстановке. Прудон стал депутатом парламента во время революции 1848 г. Его ученик Ф. Пи-и-Маргаль стал главой правительства Испанской республики во время революции 1868-1874 гг., прудонисты составляли влиятельную фракцию в Парижской Коммуне.

Поскольку достичь идеологического единства в Интернационале путем дискуссии не удалось, проект федерации рабочих организаций, основы «Коммуны будущего» давал возможность избежать раскола. Но марксисты и бланкисты провели проект создания партии рабочего класса. Формулировка решения Лондонской конференции была программной (что означало узурпацию прав конгресса): «против объединенной власти имущих классов рабочий класс может действовать как класс, только организовавшись в особую политическую партию, противостоящую всем старым партиям, созданным

имущими классами; … организация рабочего класса в политическую партию необходима для того, чтобы обеспечить победу социальной революции и достижение ее конечной цели – уничтожение классов»[658]. Марксистская концепция партии 70-х гг. еще не расходится с бакунинской концепцией качественно. Бакунин выступает за организацию рабочего класса, которая возьмет на себя решение всей полноты революционных задач (без особой политической надстройки над рабочими). Маркс предлагает решать политические задачи силами организации, в которую объединен весь рабочий класс (то есть и здесь формально нет надстройки). Спор заостряется на уровне терминов «партия», «уничтожение классов» (формула, претившая оппонентам Маркса, так как провоцировала рабочие массы на физическое уничтожение социальной элиты). Сущностное разногласие крылось в структуре организации рабочего класса, которую предлагали централист Маркс и федералист Бакунин. В дальнейшем противники настаивали на своих идеологических позициях, превращая синдикализм и партийность в непримиримые позиции. Только в конце века они стали снова сближаться.

На Лондонской конференции противники Бакунина создали следственную комиссию по его «делу», запретили существование тайных секций (что было совсем неуместно в условиях разгрома Парижской коммуны и развития революции в Испании), и приступили к подготовке Гаагского конгресса. На Лондонской конференции «сделано больше, чем на всех предыдущих конгрессах вместе взятых…»[659], – скромно писал Маркс, впервые принявший участие в форуме МТР. Юрская федерация заявила, что «большинство конференции было заранее подтасовано», и что централисты стремятся «превратить Интернационал, свободную федерацию автономных секций, в иерархическую и авторитарную организацию дисциплинированных секций, всецело подчиненных Генеральному совету, который может по своему усмотрению отказать им в приеме или приостановить их деятельность!!»[660]. Это не нравилось не только бакунистам, но и многим ветеранам Коммуны из «французской секции 1871 г.». Они требовали прекратить кооптировать в Генсовет новых членов (понятно, что путем такой кооптации Маркс добивался численного преимущества) и формировать Генеральный совет путем делегирования из представителей секций. Это было принципиальное разногласие, предвосхищавшее споры о сталинских методах подбора кадров «сверху».

В ходе подготовки к Гаагскому конгрессу марксистами и их союзниками формировались «бумажные секции», заключались противоречивые блоки, которые не переживут и самого конгресса. И все ради того, чтобы скомпрометировать и исключить Бакунина из Интернационала. Бакунисты, «закусив удила», требовали роспуска скомпрометировавшего себя Генсовета и замены его информационно-статистическим бюро. Трагедия Интернационала заключалась в том, что в этот переломный момент после падения Парижской коммуны, когда от его лидеров требовалось осмысление нового этапа социалистического движения, они направили свою энергию на фракционную борьбу. В этих условиях часть симпатизировавших Бакунину секций вовсе не поехала на конгресс. Тем не менее, и на таком искусственном конгрессе Марксу удалось провести свои решения голосами Генерального совета, члены которого получили решающие мандаты наравне с представителями массовых организаций и почти приравненных к ним бумажных секций.

* * *

Маркс проявил себя как технолог власти, предвосхитив достижения многих своих последователей XX века. 2-7 сентября 1872 г. он провел конгресс Интернационала в Гааге (первый конгресс, который он почтил личным присутствием). Маркс в резкой форме защищал мандаты своих сторонников, которые, по мнению делегатов оппозиции, никого не представляли. Наступление было здесь лучшим способом защиты.

Бакунистов Маркс обвинил в подпольных конспирациях против Интернационала, а трэд-юнионистов в том, что они подкуплены буржуазией. Атмосфера скандала стала нормальным фоном Гаагского конгресса. Чистка стала направлением его работы. Генсовет получил право исключать целые федерации. МТР превращался в авторитарную партию.

Были предъявлены «компрометирующие» Бакунина бумаги, часть из которых была написана до вступления в Интернационал (когда Бакунин создавал подпольное «братство»), а часть вообще была написана Нечаевым и приписана Бакунину.

Сам Бакунин на Конгресс не поехал. Он был недоволен порядком подготовки конгресса и диктатурой Генерального совета МТР, которым в это время фактически руководил Маркс. Клеветнический характер большинства обвинений, выдвинутых против Бакунина, отбил у него желание участвовать в склоке, далекой от действительной сути разногласий с Марксом. Присутствующий в Гааге сторонник Бакунина Д. Гильом отверг предъявленные обвинения как совершенно необоснованные, но марксистские делегаты ему не поверили, и бакунисты были исключены из Интернационала.

Главным идейным вопросом на Гаагском конгрессе была политическая борьба. Бакунисты «перегибали палку» в одну сторону, отрицая ее в пылу полемики, и занимаясь ей на практике (например, в Испании). Для них политическая борьба была синонимом парламентской. Противники Бакунина «перегнули палку» в другую сторону, приняв на Конгрессе постановление: «Завоевание политической власти есть первый долг пролетариата», хотя до этого момента завоевание власти считалось в Интернационале лишь вспомогательным средством социальных преобразований. По сути в Гааге возобладал даже не марксизм, а лассальянство.

В дальнейшем сторонники и противники двух течений Интернационала породили обширную литературу о расколе[661]. Марксисты и бакунисты естественным образом пытаются обелить своих “отцов-основателей” и очернить их противников. Эта традиция резких моральных оценок повлияла и на современных исследователей, даже не склонных к апологии одной из сторон и претендующих на объективность своей позиции. Так, например, Бакунин объявляется “неискренним” на том основании, что его оценки Маркса и Герцена менялись со временем (и при том с сохранением признания положительных сторон в деятельности Маркса); роль Бакунина в деле Нечаева объявлена “некрасивой” на том основании, что Нечаев Бакунина обманул. Сохраняется и не подкрепленная аргументами оценка деятельности Бакунина как “подрывной” и направленной против Интернационала[662]. Постсоветские авторы еще не преодолели традиции отождествлять Интернационал с марксистской фракцией, а борьбу против нее — с подрывной работой. Собственно, к расколу МТР привели действия марксисткой фракции, исключившей лидера оппонентов из организации. Этот акт позволяет оценивать деятельность марксисткой фракции как направленную против Интернационала. Характерно, что, фактически победив в этой борьбе, “интриган” Бакунин не стал “захватывать власть” в Интернационале и вскоре вообще отошел от общественной деятельности (на теоретических причинах этого отхода мы остановимся ниже).

Казалось бы, «победив при Гааге», Маркс получил в свои руки мощную международную организацию. Тут бы и за дело взяться.

Но уже в 1873 г. он пишет Генеральному секретарю своего Интернационала Ф. Зорге: «я считаю безусловно полезным временно отодвинуть на задний план формальную организацию Интернационала…»[663]. Отчего такое охлаждение к организации, на завоевание которой было положено столько трудов? Дело в том, что победа марксистов оказалась пирровой.

Трещины в антибакунинской коалиции пошли уже на Гаагском конгрессе.

Доказывая отсутствие у себя претензий на власть в МТР, Маркс отказался от переизбрания в Генсовет.

Это способствовало поддержке его линии со стороны британских тред-юнионистов и французских эмигрантов-бланкистов. Уход Маркса означал переход контроля над усилившимся Генсоветом к ним – жителям Лондона. Но тут их ждал сюрприз – голосами своих сторонников Маркс добился переноса выборного Генсовета… в Нью-Йорк. После недавно проведенной чистки от «буржуазных радикалов», американской (фактически – германоязычной, состоявшей из эмигрантов) секцией руководил стойкий марксист, немец Ф. Зорге, который был назначен Генеральным секретарем МТР. Понятно, что англичане и французы не собирались ехать за Генсоветом за океан, и новый Генсовет будет фактически подконтролен американо-немецким марксистам, а через них – Марксу, который и станет безо всяких выборов руководить МТР в Европе. Для этого создавалась должность «уполномоченных» Генсовета, которых назначали из Нью-Йорка.

Эта комбинация возмутила недавних союзников Маркса не только потому, что им так грубо навязывалось руководство, но и в связи с абсурдностью решения о переносе Генсовета – он «бежал» от классовых битв, что исключало оперативную координацию работы МТР (почта через океан шла долго, иногда месяцами).

В результате начался стремительный распад антибакунинской части Интернационала, в то время, когда Бакунина поддержал ряд крупных федераций. В знак протеста бланкисты ушли с Гаагского конгресса и в октябре 1872 г. опубликовали направленную против политики Маркса декларацию «Интернационал и революция».

Одновременно нарастали противоречия с Британским федеральным советом, в котором преобладали тред-юнионисты. Но они еще не могли сомкнуться с бакунистами в силу своей умеренности и стремления к участию в парламентской борьбе. В сражении с тред-юнионистами Маркс в конце концов потерял своего старого друга И. Эккариуса, которого пришлось отлучить от «единственно верного учения» вместе с лидером Британского совета МТР Д. Хейзлом. А ведь именно Эккариус пригласил Маркса на первый конгресс МТР, организованный тред-юнионистами и прудонистами. В итоге из Интернацинала Маркса ушли и тред-юнионисты.

“Исключением Бакунина из Интернационала” марксистская фракция спровоцировала раскол МТР. Со всех сторон звучали требования пересмотра дела Бакунина и возмущение интригами Маркса.

15-16 сентября 1872 г. в Сент-Имье собрались представители федераций МТР Испании, Италии, большинство швейцарцев, часть французов, американец и заявили о непризнании неправомерно принятых решений Гаагского конгресса. Словно пародируя решение Гаагского конгресса, делегаты в Сент-Имье провозгласили, «1) что первой обязанностью пролетариата является разрушение всякой политической власти; 2) что всякая организация политической власти, якобы временной и революционной, имеющей целью осуществление этого разрушения, явилась бы лишь новым обманом и была бы так же опасна для пролетариата, как и все ныне существующие правительства»[664]. Марксисты справедливо оценили эту формулу как «осуждение Парижской Коммуны»[665]. Но осуждение было непреднамеренным – бакунисты относились к Парижской Коммуне с уважением, и просто в горячке борьбы забыли об этом примере. Через год федералисты скорректируют эту крайнюю, запальчивую формулу, принятую их радикальным крылом под впечатлением Гаагского переворота в Интернационале. С целью «спасения великого единства Интернационала» федерации вступали в прямые отношения друг с другом, помимо Генсовета.

Вскоре в Интернационале федералистов объединилось большинство федераций (испанская, итальянская, бельгийская, британская, голландская, которая была в Гааге «принимающей стороной»). Во всех этих странах у марксистов оставались немногочисленные секции меньшинства. Французы и швейцарцы разделились. Марксисты продолжали удерживать большинство в Австрии, Португалии и Дании. Нью-йоркский Генсовет погряз в междоусобной борьбе в своем городе, где авторитарными

действиями развалил федерацию. В Германии лассальянцы (также вскоре поддержавшие антиавторитарный интернационал) оставались более сильным течением, чем марксизм. Силы «победителей при Гааге» таяли на глазах. В отличие от Ленина и Сталина Маркс установил авторитарный режим не в стране, а в общественной организации, из которой можно было просто уйти. Но события 1872 г. стали моделью коммунистической политики в XX веке.

Еще в 1871 г. Юрская федерация поставила проблему: «Возможно ли, чтобы из авторитарной организации вышло общество, основанное на равенстве и свободе?»[666]**Анархисты предсказали, что авторитарная централистическая организация может породить только авторитарное общество, а действительный социализм может вырасти только из движения, которое организована на принципиально новых, свободных и равноправных началах федерализма.**

* * *

Участники Интернационала еще не считали его необратимо распавшимся. Марксистам казалось, что идет процесс оздоровительной чистки – мол, «пролетариат бодрствует, он обнаружил заговоры и… очистил ассоциацию от вредных элементов»[667], как говорилось в послании нового Генсовета из американского далека. Генсовет угрожал исключить из МТР всех, кто не признает гаагских решений. Но скоро выяснилось, что «вычистить» приходится большинство членов, и даже симпатизировавшие Марксу социалисты, такие как Лавров, заговорили о недопустимости «исключения огулом»[668]. Соответственно, для «исключенного» большинства Интернационал продолжал жить. Федералисты не признавали марксистских «исключений» целых федераций. Организации, входившие в оба Интернационала, сохраняли солидарность в конкретных действиях против капитала. Так, берлинские наборщики-централисты послали деньги на стачку итальянским наборщикам-федералистам.

В сентябре 1873 г. обе фракции распадающегося Интернационала провели смотр сил в Женеве. Интернационал федералистов вернулся к принципам, принятым до Гааги. Здесь собрались не только бакунисты, но также тред-юнионисты, а поддержку высказали лассальянцы (они примут участие в следующем конгрессе федералистов). Бакунисты не были намерены навязывать свои принципы другим течениям, по их мнению Ассоциация не должна «предписывать разным странам единообразную политику». Это значит, что не только социал-демократы, но и анархисты имеют свою политику. Анархисты отрицали «политику» только как «легальную политику», но признавали право англичан и американцев идти этим путем[669]. После прений было решено создать федеральное бюро МТР для лучшей организации информации и конгрессов (то есть де факто Генсовет с изначальными небольшими полномочиями).

На конгрессе был сделан подготовленный коллективно доклад о всеобщей стачке, в результате которой «настанет конец старого мира привилегий и злоупотреблений». Но большинство делегатов не разделило этой уверенности. Было решено, что «пока нельзя дать полного решения вопроса об общей стачке», и следует создать международную организацию ремесленных союзов и заняться пропагандой идей социализма[670].

Большое внимание уделялось организации дела статистики. Казалось, что полные статистические данные позволят организовать саморегулирование хозяйства, когда будет точно известно, сколько требуется продукции, у куда она должна направляться. Эта идея роднила государственников и анархистов, но XX век покажет ограниченность возможностей статистики – не все можно описать цифрами, и еще труднее обработать информацию и проверить ее достоверность.

Дискуссии велись по поводу возможности допускать в состав Интернационала людей из буржуазного класса и работников умственного труда. Тред-юнионист Хейзл считал их «причиной всех распрей». Но анархисты с ним не согласились, поскольку работники умственного труда также производят нечто полезное для общества. Конгресс решил, что в МТР могут состоять все, кто согласны с его принципами (аналогичная дискуссия с теми же результатами прошла на конгрессе сторонников Гаагских решений). Эта тема потом время от времени поднималась в рабочем движении и в конце XIX в. вылилась в теорию нового эксплуататорского класса «умственного рабочего» Я. Махайского.

Женевский конгресс централистов оказался менее успешным, чем у федералистов. На нем присутствовали делегаты от Швейцарии, Германии, Австро-Венгрии и Голландии (анархист Ван ден Абеле, который был и на конгрессе федералистов). Накануне «зараза» федерализма вскрылась даже в Романской федерации Швейцарии, которая была опорой марксистов в борьбе с бакунистской Юрой. Докладчик от Генсовета (и фактически – от Маркса) О. Серайе не прибыл в Женеву, чтобы «в случае чего» можно было бы дезавуировать решения такого «неправильного» конгресса.

В итоге прения и решения Женевского конгресса централистов напоминали бледную тень конгресса федералистов. Два конгресса отличались друг от друга только масштабами – у федералистов он был более внушительным. Казалось, открывалась возможность для восстановления единства. На этом этапе марксистский Генсовет сделал все, чтобы окончательно размежеваться, хотя получилось это неуклюже. В апреле 1874 г. Генеральный совет на конгрессе «своей» американской федерации заявил о непризнании Женевского конгресса.

К этому времени распад марксистского Интернационала стал фактом. Какое-то время казалось, что когда «все уляжется», можно будет вернуть марксистский Генсовет в Европу и снова поднять здесь знамя Интернационала уже как международной марксистской партии. Но из этих планов ничего не вышло, и без лишнего шума МТР марксистов был формально распущен в июле 1876 г.

Интернационал федералистов просуществовал дольше. Он провел еще три конгресса – в 1874 г. в Брюсселе, в 1876 г. в Берне и в 1877 г. в Вервье. Но в конце 70-х гг. государственники покинули Интернационал федералистов и пошли своей дорогой. Противоречия в МТР были проявлением более глубоких тенденций. Различия оказались важнее общего, убедительный синтез двух программ не был найден.

* * *

На излете революционной эпохи 60-х – начала 70-х гг. анархистское движение оказалось вовлечено в водоворот Испанской революции 1868-1874 гг. Это был важный опыт в условиях полной неготовности к событиям. Испанская революция подтверждала идею о том, что социальная революция имеет лучшие шансы на периферии Запада, а не в его центре. Уже в ходе революции бакунизм получил массовое распространение в Испании. Особое значение имело сближение в 1869 г. с Бакуниным Рафаэля Фарги Пелисьера – секретаря Федерального центра рабочих обществ Барселоны, за которым шло около 25 тысяч рабочих. К 1873 г., когда в Испании была провозглашена республика, анархизм распространился среди рабочих масс. При расколе Интернационала большинство испанских организаций поддержало Бакунина против Маркса. Когда марксисты исключили Бакунина из Интернационала, большинство испанцев во главе с Томасом Гонсалесом Мараго исключило из федерации марксистов и присоединилось к антиавторитарному Интернационалу. Поэтому в марксистской литературе с подачи Ф. Энгельса преобладает обвинительный тон в отношении рабочего движения Испании этого периода. Его лидеров обвиняют то в оппортунизме, то в безрассудном радикализме[671]. Хотя лучше выбрать какое-то одно

обвинение.

Рабочее движение в Испании росло. Только в 1871 г. прошло 50 стачек – в большинстве своем успешных. Прежде в Испании такого не бывало – с мнением рабочего класса стали считаться, хотя сам класс еще только возникал.

Испания бурлила. Наибольшую популярность приобрела идея федерализма, исходившая от последователя Прудона Франсиско Пи-и-Маргаля. Пи-и-Маргаль оказал большое влияние на анархистских интеллектуалов Испании XX в. Будущий министр-анархист Федерика Монтсени считала, что ее идеи ближе Пи-и-Маргалю, чем Бакунину[672].

7 июня 1873 г. Пи-и-Маргаль стал «президентом» правительства Испании. Он предложил план преобразования Испании в федерацию автономных регионов, подобную Швейцарии. 3 июля была опубликована конституция, утверждавшая федералистское устройство государства. По мнению современного автора А.А. Штырбула, «самым разумным для рабочей организации была бы поддержка правительства Пи-и-Маргаля»[673]. Но лидеры ряда регионов, интрансиженты (непримиримые) были еще более радикальны, они хотели даже большей свободы регионов, чем им предлагал идеолог федерализма. Это означало бы распад Испании, и Пи-и-Маргаль настаивал на сохранении единства страны. 5 июля несколько местных «кантонов» восстали. Для Пи-и-Маргаля это была трагедия – ведь восстали его единомышленники, только более радикальные. 18 июля (эта дата станет рубежной и в испанской истории XX века) Пи-и-Маргаль ушел в отставку, и все покатилось под откос. В этой братоубийственной войне анархисты тоже оказались в двойственном положении. Одни сочувствовали кантональным восстаниям, другие справедливо считали их авантюрой. Быстро выработать единую линию в этой неожиданной ситуации раскола федералистов было практически невозможно. Соответственно, и поведение анархистов в этой их первой Испанской революции было разным. Барселонская организация, которую возглавляли ученики Бакунина, воздержалась от участия в этом восстании, но объявила забастовку, чтобы затруднить карательные действия и по возможности – остановить братоубийство. Пока рабочий класс был еще малочислен, но сам метод политической стачки, впервые примененный испанскими анархистами, окажется весьма перспективным уже в XX веке.

В Алькое полиция открыла огонь по рабочим, и в ответ они взяли мэрию. Но захватывать власть надолго анархисты не стали, так как у них не было реальных шансов защитить город от приближающихся войск. В Андалузии и Валенсии анархисты поддержали повстанцев и вошли в революционные комитеты[674]. На практике оказалось, что логика событий вовлекает анархистов в политическую борьбу.

В Валенсии восстание поддержали и члены Интернационала, при его расколе выступившие против бакунистов. Но они действовали с тем же успехом, что и бакунисты. Армия давила один очаг сопротивления за другим, пока в начале 1874 г. не передавила все. Затем была установлена военная диктатура и восстановлена монархия. После поражения революции испанский анархизм ушел в подполье, но не исчез. Это станет первым, но не последним вмешательством испанского анархизма в большую политику.

* * *

Характерно, что сам Бакунин уже в 1873-1875 гг. стал скептически оценивать ближайшие перспективы социальной революции и Интернационала. Он называл своих сторонников «последними могиканами покойного Интернационала»[675]. Революционная волна спадала на глазах, и на то были объективные причины. Фактическая победа Бакунина в Интернационале не остановить упадка бакунизма, а поражение

Маркса не предотвратило последующих успехов марксистов. Дело было не только в тактических перипетиях, но прежде всего в наступавшей эпохе, которая позднее получит наименование империализма.

Когда переход от «свободного» капитализма к новой стадии уже стал очевиден, новое поколение марксистских теоретиков «открыли» ее черты: концентрация капитала и образование монополий, сращивание финансового капитала с промышленным при господстве первого, глобальная экспансия империй. Формулировки этих признаков были разными. Послушаем Бакунина, который обнаружил смену эпох в самом ее начале, в 1873 г.: «окончательное осуществление противународной идеи новейшего государства, имеющего единою целью устройство самой широкой эксплуатации народного труда в пользу капитала, сосредоточенного в весьма немногих руках…» Это значит торжество «банкократии под могущественным покровительством фискально-бюрократической и полицейской власти…». «Новейшее государство по своему существу и цели есть необходимо военное государство, а военное государство с тою же необходимостью становится государством завоевательным... И точно также, как капитальное (капиталистическое – А.Ш.) производство и банковская спекуляция, поглощающая в себе под конец даже это самое производство, точно также, как они под страхом банкротства должны беспрестанно расширять пределы свои в ущерб поедаемым ими небольшим спекуляциям и производствам, должны стремиться стать единственными, универсальными, всемирными; точно также новейшее государство, по необходимости военное, носит в себе неотвратимое стремление стать государством всемирным…»[676] Эта характеристика – приговор целой эпохе бурного становления капитализма, его неустойчивости, возможности революционных прорывов в будущее. Теперь перед революциями двери закрываются. Еще в 1873 г. он надеялся на последнюю попытку оказать сопротивление новой тенденции в путем сопротивления народов Европы германскому гегемонизму, подъема революционного движения в России. Он жаждал застать новую эпоху перемен, но через два года окончательно понял – не суждено. Бакунин утверждал, что впереди – длительный (10-50 лет) период господства диктатур, который завершится, вероятно, мировой войной, которая откроет новую эру революций[677]. Так и случится, даже сроки верны.

Но пока предстояло неизбежное затишье и в революционном движении. Бакунин, имевший репутацию «фанатичного бунтаря», рассуждает об этом трезво и спокойно. Он вычислил приближение стабильности. Бакунин писал в письме к Э. Реклю в 1875 г.: «Я согласен с тобою, что время революции прошло не по причине ужасных катастроф, свидетелями которых мы были, и страшных поражений, более или менее виновными жертвами которых мы оказались, но потому, что я, к моему великому отчаянию, констатировал и каждый день снова констатирую, что в массах нет революционной мысли, надежды и страсти; а когда их нет, то можно хлопотать сколько угодно, а толку не будет»[678]. Старый боец признавал тем самым поражение своей (и Маркса) радикальной тактики перед методом преобразований, который предлагал Прудон. Понятно, что их конструктивная программа анархизма от этого не страдала. Ее полное воплощение было делом не близкого будущего. Бакунин, как позднее Кропоткин, был намерен посвятить последние годы своей жизни проблемам этики анархизма, поняв, что для нового общества требуются этические предпосылки. Но судьба отмерила ему месяцы.

В обстановке революции аргументы Бакунина против участия в органах старой власти могли звучать убедительно. Народная стихия все равно их сметет, так зачем же укреплять своей энергией обреченные структуры. Но в период затишья, когда борьба между организациями рабочих и имущественно-политической элитой распадались на множество мелких конфликтов, поддержка государственных органов была бы не лишней. Легче было бы выиграть стачку, если бы существовал облегчающий ее проведение закон. Неплохо было бы добиться введения пособия по безработице или 8-часового рабочего дня. Да, революция разом освободит рабочих, но пока ее нет, надо улучшать жизнь людей насколько возможно. А для этого следует пользоваться и механизмами существующей власти. Возможно, сильные позиции в парламентах позволяют и шире развернуть социалистическую агитацию.

После смерти Бакунина у конструктивного анархизма и федерализма не оказалось сильных теоретиков, которые могли бы убедительно откликнуться на мировые перемены. В отличие от Бакунина сила Маркса была в научной школе. В истории идей очень многое зависит от людей.

Глава VI

Социал-демократия и идеологический синтез

Секрет успеха школы Маркса

На момент кончины Маркса он мог претендовать на лавры одного из теоретиков политэкономии, то есть своего рода философии экономики (на основании его главной книги – «Капитала» нельзя было осуществлять конкретного экономического прогнозирования и планирования экономических преобразований). Социально-политические взгляды Маркса были разбросаны по разным статьям, нескольким брошюрам, неизданным фрагментам и письмам.

Но уже к концу века стало очевидно преобладание марксизма в рабочем движении и его заметное влияние в мировой социальной науке. Одно связано с другим — сильная теория привлекала кадры социал-демократии.

В этом быстром возрождении организационной структуры марксизма после смерти его основателя есть некоторая загадочность, не осознававшаяся самими марксистами, для которых триумф "единственно верного учения" был предопределен.

Между тем еще в 70-е гг. шансы лассальянства и анархизма могли казаться предпочтительными. Готская программа германской социал-демократии содержала лассальянские положения. Интернационал федералистов, в отличие от распавшегося марксистского, еще продолжал существовать. Во Франции начался ренессанс прудонизма.

Не блестящи были и успехи марксизма на ниве науки. "Капитал" Маркса так и остался незаконченным — его автор не смог найти решения ряда противоречий своей теории[679]. Другие опубликованные работы Маркса носили публицистический или идеологический характер, и его репутация ученого висела на волоске. После смерти Маркса его учение могло повторить судьбу идей Фурье и Сен-Симона. Но этого не случилось, и значение такого поворота судьбы колоссально.

* * *

К концу жизни Маркса немногочисленные рабочие партии, тяготевшие к марксизму, существовали во Франции, Бельгии, Испании и Польше. Но они не имели преобладающего влияния среди рабочих своих стран. В Германии партия была более многочисленной, но полу-марксистской. Возникновение марксистских партий было делом скорее случайным — кто-то из рабочих лидеров или социалистов, сумевших организовать партию, увлекался марксизмом, а кто-то нет. Никакого специального тяготения пролетариата именно к марксизму не было. Возникновение рабочих партий, обращение рабочего движения к парламентской политике было проблемой для радикальных анархистов, но не гарантировало победу именно марксизму. Путь к сердцу рабочего лежал через интеллигенцию, через будущих агитаторов и организаторов. А как привлечь их?

Впервые со времен Лютера и Кальвина судьбы мира зависели не от королей, полководцев и изобретателей, а от идеологической **школы** численностью в несколько десятков человек.

Главой этой школы стал друг, спонсор и тень Маркса Фридрих Энгельс. Его научные и

публицистические способности вполне сопоставимы с марксовыми, но по части амбиций он был значительно скромнее, уступая Марксу первые роли. Уже в последние годы жизни Маркса Энгельс принялся за обработку идей своего друга, превращение их в стройное учение и создание школы марксизма – сообщества социальных исследователей и общественных деятелей, мыслящих в соответствии с общей методологией. Общность методологии, притягательная сила совместной общественной цели, взаимоподдержка в полемике с внешними силами, «раскрутка» друг друга позволила сделать учение Маркса постоянным и влиятельным участником идейной жизни всего мира. Именно школа превратила марксизм в исторический фактор, превосходящий по мощи целые государства.

В «Антидюринге», «Диалектике природы» и «Происхождении семьи, частной собственности и государства» Энгельс достраивал здание там, где Маркс не продвинулся дальше стройплощадки. Второпях Энгельс заполнял бреши учения фрагментами чужих исследований, что позволило «марксоедам» выдвигать обвинения в плагиате. Но и Энгельсу было не по силам завершить всю систему, аргументировано ответить на множество актуальных вопросов социальной мысли с позиций марксистского метода. Здесь в работу включились Карл Каутский, Франц Меринг, Эдуард Бернштейн, Антонио Лабриола, Жюль Гед и Георгий Плеханов. В каждом из них интерес к марксизму пробудился по-разному, но Энгельс сумел организовать эти интернациональные силы. Именно им и предстояло сформировать ортодоксию марксизма и как интеллектуальной школы, и как политической идеологии. Вторая задача вскоре вышла на первый план, и марксизм пошел по пути упрощения Маркса. «Основное направление их деятельности можно рассматривать фактически как продолжение деятельности самого Энгельса. Они стремились различными путями систематизировать исторический материализм как всеобъемлющее учение… способное… дать рабочему движению широкое и ясное представление о мире, которое сразу смогли бы усвоить наиболее активные его сторонники»[680].

Культ Маркса, укреплявшийся его последователями, позволял камуфлировать недостатки теории по крайней мере внутри марксистской субкультуры. Как писал В. Чернов, уважительно относившийся к марксистскому наследию, «его почитатели, с самим Энгельсом во главе, в особенности непосредственно после смерти своего вождя, учителя и друга, настолько были увлечены естественным пиететом к его имени, что, бесспорно превзошли меру в превознесении его исторических заслуг и тем самым умалили значение всех его предшественников»[681].

Но в этом культе, безусловно сковывавшем свободное научное творчество, была и конструктивная сторона – научная дисциплина, приверженность согласованной терминологии и методологии, слаженное распространение идей вовне. Где свободные ученые провели бы вечность в дискуссиях, марксистская школа действовала как мощная агитационная машина, предвосхищая достижения современного пиара, гипнотизируя неофитов авторитетами, научное сообщество – объемами коллективно переработанного эмпирического материала, стройностью методологии и политической актуальностью. Ни одна другая научная школа не имела такой связи с социальным движением, с общественной практикой. Ни одно социальное движение, социалистическое течение не имело в этот момент такой научной школы. Это стало главным козырем марксистов в борьбе за кадры. Марксизм впервые оправдал свое самоназвание «научный социализм», над которым издевался Бакунин. Марксизм стал социализмом, ядром которого была научная школа, и благодаря этому на некоторое время его теория действительно приблизилась к достижимому на тот момент уровню научной истины. Марксистская социал-демократия стала эмпиричной, сосредоточенной на актуальной реальности и потому более далекой от идеалов, от утопии посткапиталистического общества. Эта оборотная сторона научности не была осознана как опасность, но плоды ее буду зреть очень быстро.

* * *

Марксизм несмотря на все способности авторов его нового поколения так и остался бы сектой, если бы не два обстоятельства: учение сумело хорошо **адаптироваться к новым тенденциям времени**, в то время как конкуренты либо не выдвинули сильных теоретиков, либо «ушли в отрыв» от реальности конца XIX века. Марксизм занял нишу на правом фланге социалистического учения, постепенно поглощая и этатистские (прежде всего лассальянство и бланкизм), и умеренные (прежде всего социал-либерализм и прудонизм) течения. Субъективные успехи школы удачно «вписались» в тенденцию к складыванию государственно-монополистического индустриального (индустриально-этократического) общества, которая возобладает в XX веке.

Марксистская схема в большей степени, чем анархистская, соответствовала тенденциям той эпохи, доводя их почти до логического конца. Оставалось сделать только шаг, признать, что речь идет не о социализме, а о технократии, о максимальной концентрации ресурсов (включая человеческие) в руках управленческой элиты, планирующей развитие общества и управляющей выполнением этих планов. Но Маркс считал, что действует в интересах рабочего класса. И в этом субъективном стремлении действовать на благо пролетариата крылось уникальное значение марксизма. Смешав в единой системе социалистические ценности и индустриально-технократический проект, Маркс привил социальной политике режимов XX века ряд социалистических идей, которые должны были стать достоянием протестной, а не правящей среды. Если бы не прививка марксизма, ничто не мешало бы господству в умах технократической элиты XX в. нацистских и полу-нацистских идей, наиболее полно выражающих элитаризм индустриальной олигархии. Благодаря идейному синтезу, осуществленному марксизмом, индустриальные государства стали более устойчивыми, элитарная социальная наука и производные от нее официальная мысль и массовое сознание — в гораздо большей степени пропитанными социалистическими ценностями, чем в случае последовательной реализации технократического проекта олигархической элитой и одновременного столь же последовательного отстаивания принципов бесклассового общества социалистами (путь, по которому пошли анархисты).

* * *

Но в чем тогда заключается собственно пролетарская идеология, то есть стратегия перемен, которая соответствует стремлениям пролетариев. В XIX веке это были идеи анархизма в разных вариантах – от прудонизма до анархо-синдикализма. Рабочий еще не оторвался от крестьянских и ремесленных корней, и его идеологи стремились вернуть пролетариев к распоряжению средствами производства на новом техническом уровне. После того, как рабочие окончательно свыклись со своим положением инструмента высокоспециализированного производственного организма, изменилось и их сознание. В фордистскую эпоху узкого разделения труда и конвейера рабочий стал стремиться к простой защите своих социальных прав на производстве, повышению зарплаты, гарантии на случай травм, инвалидности, а также в старости. Эта программа, объективно вытекающая из стремлений реальных рабочих зрелого индустриального общества, получила позднее наименование «социальное государство», и стала реализовываться правой социал-демократией и социал-либералами в XX веке (хотя соответствующие идеи, как мы видели, были выдвинуты уже в XIX веке, после чего последовали первые попытки преобразований в этом направлении). Ленин называет это «тред-юнионистским сознанием». Марксистский коммунистический проект предлагает альтернативу этим частным улучшениям. Предлагая себя в качестве выразителя интересов пролетариата,

марксизм на деле собирается идти дальше, чем нужно самому пролетариату как классу, туда, о чем могут помыслить лишь отдельные пролетарии, к обществу, где нет никакого пролетариата. **Пролетариат оказывается попутчиком марксизма, его союзником до возникновения социального государства.**

Возрождение Интернационала

В период раскола Интернационала не ослабевали попытки восстановить единое поле социалистического движения. Полем синтеза идей первоначально оставался Интернационал федералистов. Его конгресс в Брюсселе в сентябре 1874 г. был прямым продолжением традиции догаагского МТР. На форум съехались анархисты, тред-юнионисты и лассальянцы из Испании, Италии, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии и Бельгии, а в центре дискуссий оказался проект Сезара де Папа, который вообще не был анархистским.

Де Пап попытался построить синтез конструктивных идей разных направлений Интернационала в работе «Об организации общественных служб в будущем обществе». Одновременно швейцарские горнорабочие-федералисты подготовили записку, где утверждали, что в будущем обществе необходимо поддерживать такие общественные службы, как статистика, охрана сырьевых ресурсов, образование, гигиена, коммуникации, защита личности, защита страны. Говоря современным языком, речь идет о **защите социальных, экологических, гражданских стандартов и внешнеполитической безопасности.**

Авторы швейцарской записки считали, что общественные службы можно передать коммунам и их объединениям. На эти нужды должны собираться отдельные сборы (чтобы не концентрировать финансы в отдельных руках). Де Пап считал, что опасно отдавать общественные службы «частным» организациям, так как это может породить монополию. Он предлагал отдать их государству, то есть провести национализацию естественных монополий и коммуникаций. Предвосхищая споры либералов и социал-демократов, Де Пап утверждал: «Если бы все железные дороги эксплуатировались непосредственно правительствами, подобно почтам, и подобно телеграфам в некоторых странах, это было бы лучше для всех»[682]. С таким категорическим утверждением анархисты никак не могли согласиться.

Встав практически на лассальянские позиции, Де Пап призывал не разрушать государство, а изменить в нем «кое-какие буржуазные приводы» и разделить полномочия государственных органов и кооперативных союзов, которые могут взять в свои руки остальную часть хозяйства[683]. Поскольку кооперативы и коллективы не смогут сами обеспечить общественные нужды, эту сферу все равно придется передать либо частным собственникам (что было неприемлемо для всех участников МТР), либо государству. Из этого Де Пап делает пророческий вывод: «Коллективисты хотят разрушить государство как учреждение вредное, но им придется восстановить его, каким бы именем его ни назвали»[684]. Опыт махновского движения и революции в Испании 1936-1939 гг. подтвердит правоту Папа в этом вопросе. Пока есть общественно-необходимая ниша для государства, в минимальном виде оно будет воспроизводиться даже анархистами. Путь к преодолению государства лежит через преодоление ниши.

Анархисты повторили Де Папу свой «символ веры»: «устроив такое государство, рабочие займут лишь место буржуазии», а задача революции – организовать общество по-новому, на основе равноправных договорных связей. Общественные службы должны осуществляться коммунами и их союзами[685].

В итоге дискуссии компромисс был найден не путем синтеза двух моделей, а с помощью идеи **«национальных путей к социализму»** (тогда эта формула XX века еще не употреблялась). Де Пап говорил, что в большинстве стран «рабочие найдут более простым и удобным захват существующих государств, чем общее разрушение и потом организацию всего заново. У других, например, в Испании, вследствие внутренних раздоров этой страны, положение дел становится более и более анархичным, и тогда весьма естественно, что этот народ организуется совершенно заново, начиная снизу»[686]. Часть этатистов не была склонна и к такому компромиссу, Эккариус настаивал, что анархия привела бы «лишь обратно к средним векам, когда корпорации дрались между собою»[687]. Анархисты в большинстве своем поддержали

прежний компромиссный подход федералистов – в каждой стране можно идти к социализму своим путем – в Германии – сверху, в Швейцарии, Испании и Италии – снизу. На том и согласились.

Характерно, что самоисключение марксистов из Интернационала не предотвратило возвращение к полемике этатистов и антиэтатистов. Но итоги конгресса 1874 г. позволяли надеяться, что эта полемика – не препятствие солидарности рабочего и социалистического движения, и постепенно диалог разных течений может привести к синтезу на основе федерализма, сочетания умеренной государственности и самоуправления. Активным пропагандистом такого синтеза был П.Л. Лавров. Он даже сформулировал теорию, в соответствии с которой фракции Интернационала обречены на сосуществование, как две стороны одного процесса: «Интернационал должен *одновременно* удовлетворить и требованию расширить сознание единства рабочего сословия в его борьбе с капиталом, и требованию ведения этой борьбы возможно согласно, цельно, т.е. требованию внесения единства в самую борьбу. Поэтому в нем *одновременно* должно преследовать обе цели, нисколько одна другую не исключающие. Централисты большею частью обращают слишком исключительное внимание на второй *необходимый* элемент организации, федералисты, в их более крайних формах – на первый, столь же *необходимый*»[688].

Наблюдение Лаврова верно в том смысле, что в обоих течениях должны проявляться демократические и авторитарные тенденции. Но само различие течений не сводится к этим двум тенденциям. Различие обусловлено двумя разными моделями будущего общества, социализма. Пока не достигнуто единое понимание принципов социализма, невозможно и прочное единство освободительного социализма и марксизма.

Конгресс 1874 г. не приблизил такого единства по сравнению с состоянием МТР 60-х гг. Синтез достижений освободительного социализма и марксизма буду вести народники, но Россия находилась на периферии европейского социалистического движения. В Западной Европе брюссельский компромисс 1874 г. не вылился в долгосрочную работу по синтезу идей.

Более того, пока Маркс эволюционировал в сторону политического анархизма, нишу государственных социалистов заняли лассальянцы и Де Пап. В дальнейшем, по мере консолидации социал-демократов марксисты будут сдвигаться в обратном направлении, навстречу другим государственным социалистам, прочь от революционных тенденций 70-х гг. А анархисты, напротив, будут тяготеть к радикальной позиции, занимая нишу наиболее протестной идеологии. В этих условиях марксизм объективно оказался в центре между радикальным федерализмом анархистов и социал-реформизмом лассальянцев. Лассальянцы и марксисты в Германии объединились. К компромиссу с марксистами стали тяготеть и реформисты, и революционеры-государственники. Они покидали Интернационал федералистов без шума, просто в силу совместных интересов с социал-демократами марксистами.

* * *

Несмотря на это, зондаж возможности восстановления широкого Интернационала не прекращался и после 1874 г. На Бернский конгресс антиавторитарного МТР, проходивший в октябре 1876 г., явились представители бельгийской секции только что распущенного марксистского МТР и предложили созвать объединенный конгресс социалистов.

В сентябре 1877 г. представители обеих фракций съехались в Женеве. Чтобы не сорвать наметившееся сближение, сначала обсудили общие тенденции развития капитализма, отметив тенденцию к его концентрации. Но как только речь зашла о способах преодоления капитализма, старые споры разразились с новой силой. Анархисты выступали за передачу средств производства в руки коллективов,

работа которых будет координироваться с помощью статистики, а не государственного руководства. Сторонники «авторитарных» партий провели свою резолюцию, где настаивали: «собственником земли и других орудий труда, должно быть государство, представляющее весь народ и организующее из недр своих свободные коммуны»[689]. Это – даже не марксистская, а лассальянская формула, и на ней двум течениям сойтись было никак нельзя. Стороны переругались и расстались ни с чем.

Но стремление найти общий язык было так велико, что представители двух течений не стали ждать год, и уже в ноябре 1877 г. сошлись в Генте, где со своей компромиссной концепцией выступил Де Пап. Чтобы не трогать анархистских святынь, он говорил о «государстве или коммуне» (позиция, которую теперь занимал и Маркс). Социал-демократы благосклонно отнеслись к проекту Де Папа, а анархисты – нет. Сближение не состоялось.

В 80-е гг. антиавторитарное крыло социализма, склонившееся под влиянием П. Кропоткина к радикальному коммунизму, стало уступать позиции. Анархисты, стремящиеся к идеологическому синтезу и конкретной конструктивной деятельности в защиту рабочих, стали **сближаться с марксистами**. Из-за распада Интернационала развеялась угроза диктатуры Маркса в рабочем движении, а радикальный антиполитизм анархо-коммунистов ограничивал свободу конструктивного творчества ничуть не меньшее, чем жесткие марксистские формулы. В итоге такие деятели антиавторитарного социализма, как Гед, Брусс, Малон, Кафиеро, Коста не пошли за Кропоткиным и радикальными анархистами, а приступили к созданию рабочих партий.

В 1880 г. бельгийцы возобновили попытки объединить социалистическое движение на новой организационной основе. Теперь предполагалось созвать конгресс не секций старого Интернационала (агония которого после 1877 г. прекратилась), а представителей социалистических и рабочих партий. Это отсекало бы радикальных анархистов, но открывало дорогу к примирению с немарксистскими течениями социализма, прежде всего французскими. Бельгийцы констатировали: «всюду наступает примирение старых споров…»[690], и призывали к возрождению МТР. На этот призыв откликнулись социалистические партии и организации от Аргентины до Польши, которые прислали делегатов или делегировали голоса на конференцию в Хуре, проходившую в октябре 1881 г. Делегаты так долго рассказывали о положении дел в своих странах, что до вопроса о создании нового Интернационала так и не дошли, или не решились к нему приступить. Но прогресс заключался уже в том, что сам этот вопрос перенесли на следующую конференцию, тем самым закрепив периодичность встреч. Но в 1883 г. из-за конфликтов между марксистами и поссибилистами (французскими социалистами-революционерами, продолжателями идейной линии Прудона) прошли две конференции. Социалистическое движение продолжало развиваться в расколотом состоянии, хотя раскол проходил по двойной линии (анархисты – марксисты – поссибилисты), причем поссибилисты происходили из того же идейного корня, что и анархисты. Но два антиавторитарных течения, как мы увидим, развивались в противоположных направлениях. Анархисты в 1881 г. даже провозгласили свой Интернационал, но эта инициатива пока оказалась неудачной.

Приобретением Парижской конференции 1883 г. стало более активное участие профсоюзного движения в процессе консолидации социалистов. В 1888 Лондонский конгресс тред-юнионов предложил поссибилистам созвать в Париже международный рабочий конгресс. Началась подготовительная работа. Но марксисты настаивали, что нужен конгресс партий, а прудонисты и британские тред-юнионисты активно работали в профсоюзах. Договориться не удалось.

В итоге 14-15 июля 1889 г. в Париже собрался не один, а два конгресса. Парадоксальным образом, чтобы обеспечить массовость, марксистский конгресс включал реформистов и анархистов. Партийный конгресс был посвящен преимущественно вопросам истории социализма – он подчеркивал свой юбилейный характер – на дворе было столетие Великой французской революции. Затем перешли к

обсуждению международного законодательства в защиту труда. Присутствующие поддержали уже сформировавшийся со времен Первого Интернационала набор мер социальной защиты, увенчанный 8-часовым рабочим днем (похожие меры обсуждал и конгресс поссибилистов). 20 июля, закрыв конгресс, делегаты пошли на банкет. Там, в приподнятом настроении от славно завершенного дела, Либкнехт и Вальян подняли тосты, в которых провозглашался «Новый Интернационал»[691]. Так на пиру и **родился Второй Интернационал**.

* * *

Интернационал стал **площадкой согласования** результатов синтеза социалистических идей, проходившего в национальных партиях. Анархисты также приняли участие в создании Второго интернационала, который до 1893 г. был общим домом социалистов всех направлений.

От синтеза различных социалистических течений в конце XIX в наибольшей степени выиграл марксизм. В его поступательной концепции движения в будущее все могло найти свое место как некоторая стадия на пути к цели. В различных социал-демократических партиях пришлись ко двору и идеи кооперативного социализма, и муниципальный социализм Малона, и элементы синдикализма.

Раскол с поссибилистами удалось преодолеть в 1891 г. на Брюссельском конгрессе, что сдвинуло Интернационал к большей умеренности. В объединенном Интернационале марксисты заняли позиции центра, опираясь на реформистов в борьбе с анархистами, а на анархистов и близких к ним левых социалистов – в борьбе с реформистами. Итогом стало вытеснение радикальных анархистов из Интернационала в 1893 г. и фактический переход большинства марксистов на позиции реформизма к началу Первой мировой войны.

Избавиться от анархистов удалось не сразу. Условием участия в конгрессах в 1891 г. было объявлено признание необходимости политической борьбы, что вполне устроило многих анархистов, так как политическая борьба не сводится к парламентской. Чтобы отделаться от анархистов, на Цюрихском конгрессе 1893 г. специально уточнили, что политическая деятельность должна пониматься в том смысле, что политические права и законодательные механизмы используются «в интересах дела пролетариата и для достижения политической власти»[692]. Анархисты во главе с Г. Ландауэром протестовали против этого сужения социалистической идеи, и их вывели из зала силой. Они удалились на собственную конференцию.

Давление анархистов на Интернационал продолжалось и в дальнейшем. Те анархисты, для которых вопрос о неучастии в партийно-политической борьбе был принципиальным, были исключены из Интернационала, но группа левых коммунистов во главе с Д. Ньювенгейсом осталась и проводила в кулуарах конгрессов анархистские конференции. Так, в 1896 г. в Лондоне и в 1904 г. в Амстердаме собирались конференции революционных коммунистов и коммунистических анархистов.

Интернационал по-прежнему был открыт для немарксистских партий (в него входили и эсеры), но марксизм (эволюционировавший под влиянием лассальянства и прудонизма) стал в нем господствующим течением. Слово «социал-демократ» стало отождествляться с понятием «марксист», что вряд ли оправдано – ни по праву первенства (вспомним бакунинский альянс социалистической демократии), ни по существу – за социализм и демократию, демократический социализм боролись и другие течения от прудонистов (затем – интегральных социалистов) Франции до народников России.

Однако, потеснив социалистов – оппонентов марксизма на поле социальной науки, основатели ортодоксии впоследствии столкнулись с «гражданской войной» в собственном лагере. Жизнь ставила

новые задачи, человечество вступало в XX век, которому предстояло проверить марксистскую теорию практикой, тем самым «праксисом», к которому с таким почтением относился и сам основоположник учения. А ответы на вызовы практики марксисты давали совершенно разные.

Пытаясь отгородиться от левых и правых ревизионистов, Второй интернационал принял в 1907 г. формулу допуска в организацию, в которой содержались «основные принципы социализма»: «обобществление средств производства и обмена; интернациональные союз и действия трудящихся; социалистическое завоевание власти пролетариатом, организованным в классовую партию»[693]. Но слово «обобществление» требовало конкретизации, партии не было чисто классовыми, так как включали широкий социальный спектр трудящихся, а интернационализм становился все более формальным.

Уже в Брюсселе в 1891 г. стало заметно, как задачи социальной текучки стали преобладать над социалистическими целями. Вопросы рабочего законодательства обсуждались так тщательно, что пришлось напоминать: социальное законодательство не может решить рабочего вопроса, это – задача социальной революции. Да, да, конечно, но…

Несмотря на признание интернационального братства рабочих, в социал-демократии, как мы увидим, постоянно шла борьба между интернационализмом и национальным эгоизмом. Но, несмотря на это, благодаря Интернационалу марксизм стал всеевропейским явлением. Европа была «столицей мира», и из этой позиции марксизм распространился по планете.

Германский социализм: Лассаль + Маркс и Энгельс

Именно с родной Германией уставшие от интернациональных дрязг Маркс и Энгельс связывали свои надежды. В январе 1874 г. в письме к В. Либкнехту Энгельс заявил, что теперь немецкий пролетариат стоит во главе европейского рабочего движения[694]. Это «новое назначение» немецкого пролетариата авангардом европейского означало и новую тактику марксистов — контролировать европейское рабочее движение через сильную германскую партию. В это время уже наметилось сближение двух фракций немецкого социализма. Но их объединение по мысли Маркса должно было пройти именно на его платформе, тем более, что после смерти Лассаля в Германии не осталось сильных социалистических теоретиков. По мере эволюции Маркса и Энгельса в сторону антиэтатизма в ходе полемики с Бакуниным разногласия марксизма и лассальянства стали еще очевидней. Именно критика лассальянства в 1875 г. позволила Марксу и Энгельсу более четко отмежеваться от государственного социализма.

Еще в 1873 г. лидеры СДРП Либкнехт и Бебель просили Маркса подвергнуть критическому разбору сочинения Лассаля, чтобы облегчить преодоление лассальянства в рабочем движении. Но в это время Маркс и Энгельс были столь увлечены борьбой бакунизмом, что разбор лассальянства отложили на потом. В итоге лассальянство продолжало преобладать в рабочем движении Германии, и не только в ВГРС. Как писал Бебель Энгельсу, «Вы не должны забывать, что сочинения Лассаля, благодаря своему общедоступному языку, фактически составляют основу социалистического мировоззрения масс (это – совершенно бесспорный факт). Они в десять, двадцать раз шире распространены в Германии, чем какое-либо другое социалистическое сочинение, и потому Лассаль пользуется значительной популярностью»[695]. Самостоятельно Бебель и Либкнехт не могли противостоять аргументам лассальянства, а Маркс и Энгельс вовремя им не помогли.

После тяжелых согласований программы, проведенных лидерами ВГРС и СДРП, в ней остались основные лассальянские положения.

Это вызвало гнев Маркса и Энгельса. Лидеров новой, объединенной Социалистической партии, не спасло от гнева Маркса то, что они пытались затушевать разногласия двух теоретиков. Например: «Освобождение труда требует превращения орудий труда в коллективное достояние всего общества и регулирования всего труда на началах ассоциации, так, чтобы продукт его получал общеполезное употребление и справедливо распределялся»[696]. Это – марксистская модель социализма с небольшими терминологическими уступками лассальянству. Но то – программа-максимум. А вот путь к социализму – по Лассалю. Социализм «как подготовительной меры… требует устройства социалистических производительных товариществ при содействии государства и под демократическим контролем трудящегося народа»[697].

Энгельс изложил претензии к проекту программы еще до объединительного съезда в письме к Бебелю: проект носит националистический характер, утверждает, что по отношению к рабочему классу остальные классы оставляют «сплошную реакционную массу», сохраняет ссылку на «железный закон заработной платы», включило государственную помощь рабочим ассоциациям в качестве единственного социального требования. За время, прошедшее после смерти Лассаля и Прудона, взгляды Маркса и Энгельса значительно развились, они развивались на глазах. Именно в письме к Бебелю Энгельс четко отделяет социализм от государства, предлагая употреблять слово «община».

Некоторые положения лассальянства, которые опровергал Энгельс, затем глубоко укоренятся в социал-демократической теории, которая будет считать себя марксистской (и уже в таком качестве мы снова столкнемся с ними на страницах этой книги).

На объединительном съезде в Готе 25 мая 1875 г. лассальянское большинство отклонило попытки марксистов внести новые поправки в согласованный проект. Так возникла Социалистическая рабочая партия, в дальнейшем – Социалистическая рабочая партия Германии (СДПГ). Уступки лассальянцам вызывали возмущение Маркса и Энгельса. Бебель сетовал по этому поводу: «далеко не легко было столковаться с обоими лондонскими стариками. Что у нас считалось благоразумным расчетом и искусной тактикой, в том они усматривали слабость и непростительную уступчивость; но в конце концов важнее был самый факт объединения»[698].

Вдогонку съезду Маркс написал развернутую **критику Готской программы**. Он повторил их с Энгельсом претензии, уже изложенные в письме к Бебелю.

Маркс особенно категорически протестует против надежд на буржуазное или бюрократическое государство. Между капитализмом и социализмом находится революционный переход, и государство может быть ни чем иным, как диктатурой пролетариата, которая, развиваясь, отмирает. Маркс протестует против «веры лассалевской секты в государство или, что ничуть не лучше, веры в демократические чудеса»[699] Это отделяет ортодоксальный марксизм от последующей практики социального государства в капиталистических странах.

* * *

В «Критике Готской программы» Маркс пишет, что при социализме еще «господствует тот же принцип, что и при обмене товарными эквивалентами: известное количество труда в одной форме обменивается на равное количество труда в другом»[700]. Зачем же тогда ликвидировать товарно-денежные отношения? Если рынок может обеспечить эквивалентный обмен, то критика в его адрес теряет смысл.

У академика Т.И. Ойземана это положение вызывает другое, можно сказать, социально обусловленное возражение: «Маркс, правда, ничего не говорит о *качественном* различии между сложным и простым трудом, различии, без которого невозможно социалистическое распределение в соответствии не только с количеством, но и качеством труда, его сложностью и ролью в иерархии трудовых отношений»[701]. Получается, что с точки зрения Маркса как раз социалистическое распределение по труду возможно без учета отличий «простого» и «сложного» труда и столь милой элитарному разуму «иерархии». Своим умолчанием Маркс, автор теории «сложного труда», добавившей розни в отношения пролетариата и интеллигенции, на старости лет сделал шаг в сторону Прудона. Ведь Прудон отрицал, что землекоп за час интенсивного качественного труда должен получить меньше, чем философ. Социалистическая идея в основе своей чужда иерархии, и бюрократии СССР пришлось с помощью теории «качественного труда» обосновывать, почему доходы ее чиновников настолько выше, чем зарплата «господствующего класса». Труд номенклатурных работников был очень «сложный» и место в иерархии «почетное».

А уж когда Энгельс прямо отрицает право высокообразованного работника при социализме получать больше, академик Ойзерман обвиняет его в том, что «основоположник» отменяет «социалистический принцип распределения»[702]. Кем сформулирован нарушенный Энгельсом «социалистический» принцип распределения по количеству, качеству и «роли в иерархии», академик не уточняет. С присущей ему скромностью.

А по существу – имеет ли человек с более высоким уровнем образования априорное право на более высокие доходы по сравнению с работником с более низким уровнем знаний? В данный момент времени

они затрачивают одинаковые усилия – один, скажем, убирая снег, а другой – составляя сложный текст. В «Капитале» Маркс отдал преимущество «сложному труду», поскольку на подготовку «сложного» специалиста «обществом» затрачено больше усилий. Но по этой логике можно оправдать и безделие лорда – в детстве на него затратили такие средства, что секунда его труда дороже часов труда его садовника. Подписал лорд какую-нибудь бумагу – имеет право отдыхать до вечера – такой «сложный» труд, общество «вложилось». Образованный человек затрачивал труд на образование. Но, во-первых, этот труд может оплачивать стипендия. А во-вторых, есть не только материальные стимулы приобретения знаний. Советское общество поступило более справедливо, фактически уравняв в правах интеллектуалов и работяг. И люди не перестали стремиться в институты, что понятно. Значительная часть населения все равно хочет заниматься творческим и интеллектуальным трудом, даже если за это не предусмотрена дополнительная плата. А уж в России грани XX-XXI веков эта закономерность получила, можно сказать, экспериментальное подтверждение. Когда научное сословие было превращено в касту нищих, когда резко снизилась востребованность результатов научного творчества, люди все равно идут в науку. Творческий характер деятельности – сильнейший стимул, который компенсирует и трудозатраты обучения, и «невыгодность» профессии в те периоды, когда правящая элита тормозит развитие общества, удушая науку голодом.

В современном обществе Запада происходит естественный процесс вытеснения низкоквалифицированного труда в связи с его непрестижностью (это – не вопрос оплаты – нужда в таком труде и нормы социального государства заставляют за него платить, но нормальный человек ищет более творческую работу), в связи с модернизацией технологии труда, прежде считавшегося ручным (например, внедрение малогабаритной уборочной техники). Конечное решение проблемы, которое подсказывает и эта тенденция, и принципы социализма – **не привилегии для образованных, а вовлечение большинства населения в творческую деятельность и вытеснение грубого монотонного труда автоматизацией.**

* * *

Критика чужой программы – это и повод еще раз изложить собственную.

В «Критике Готской программы» Маркс остается верен своим идеям 50-60-х гг., на которых мы уже останавливались подробно. Но есть и новые интересные детали, на которые необходимо здесь обратить внимание[703].

Маркс разделяет историю коммунистического общества, наступающего после «диктатуры пролетариата», на две фазы. В первой фазе коммунистическое общество только что вышло из капиталистического, сохраняет его «родимые пятна» (позднее на эти «пятна» в СССР «списывали» чуть ли не все социальные недостатки).

Вторая фаза наступает, когда исчезнет порабощающее человека разделение труда, и труд становится первой потребностью жизни всесторонне развитой личности, а источники общественного богатства «польются полным потоком», общество сможет написать на своих знаменах: «Каждый по способностям, каждому по потребностям!» Здесь больше лирики, чем программы, но два критерия зрелого коммунизма названы конкретно – преодоление разделения труда и распределение по потребностям. Это сближает Маркса с народничеством и анархизмом, но, в отличие от русских теоретиков, он выводит преодоление разделения труда не из конкретных социально-экономических тенденций и явлений, а из философской конструкции, в соответствии с которой необходимо развивать прямо противоположную тенденцию индустриальной специализации, которая, дойдя до предела, отрицает самое себя. В этом проявляется важное свойство **марксизма, который, провозглашая безгосударственный и неиерархический идеал,**

предлагает двигаться в противоположном направлении.

Поскольку идеал второй фазы коммунизма принципиально неконкретен, важно определить, какова программа «переходного общества». Именно первая фаза является спорным пунктом основных социалистических направлений 70-х гг. Позднее первую фазу коммунизма в марксистской литературе будет принято называть «социализмом», то есть словом, которое в других традициях употреблялось для обозначения пост-капиталистического общества, прежде всего отличного от коммунистической модели.

Первая фаза коммунизма возникает не сразу, а после «диктатуры пролетариата», которую Маркс противопоставляет государственности. Это – не государство как таковое, а организация класса. **Класс в целом организован в систему диктатуры. Это – обоюдоострая идея.** Если весь класс, в лице каждого своего члена (или хотя бы любого желающего) каким-то образом (не разъясненным Марксом) сможет вырабатывать решения диктатуры, то мы имеем дело с демократией, игнорирующей волю меньшинства, не входящего в организацию большинства («остатки эксплуататорских классов»). Если же решения вырабатываются в некотором центре (пусть и выбранном пролетариями), а сами рабочие являются проводниками этих решений (как в обычном государстве – чиновники), то перед нами – тоталитарная модель, где государством поглощено все общество.

Равные социальные права работников, сохраняющиеся на первой фазе, Маркс считает признаком сохранения буржуазного права, которое в идеале также требует равноправия. Уже на первой фазе коммунизма равноправие наконец достигнуто, но в силу неравенств человеческих свойств и ситуаций оно оборачивается неравенством реальных возможностей. Так что переход от «уравнительности» ко второй фазе коммунизма необходим. Но Маркс не доказывает, что нарисованная им модель ведет к преодолению разделения труда. Напротив, сохраняются все предпосылки для социального закрепления разделения труда между управляющими и управляемыми. Маркс принимает за аксиому, что новая система вызовет взрывной рост производства. Тогда нужно показать, как изменение общественной структуры приведет к этому. Но Маркс лишь констатирует, что условия распределения продуктов обусловлены распределением «условий производства», а последние – характером собственности (частной или общественной, или как пишет Маркс – коллективной собственности работников), то есть по существу – юридическим фасадом социальной структуры. Юридически будет существовать общественная собственность. А кто будет распоряжаться ей на деле?

Определяя принципы распределения общественного продукта в первой фазе, Маркс указывает на нужды поддержания и развития производства, социальные программы и «издержки управления», то есть рисует модель социального государства (как показал опыт XX века – совместимого с капиталистическими отношениями), хотя речь идет о коммунизме.

Принципиально важно, кто определяет нормы распределения продукта по различным статьям (что пойдет на развитие производства, что на школы, а что – на «издержки управления») – сами работники или некий центр, от имени которого действуют управленцы? Маркс представляет дело так, что это распределение происходит как бы автоматически – после всех «необходимых выплат» (а кто их определяет?) работник получает ровно столько, сколько вложил. А кто определяет этот вклад? Количество труда можно определить в часах. А качество?

Доход работника Маркс представляет себе в виде пая, то есть доли в общем продукте. Но от идеи Прудона проект Маркса отличается принципиально – это пай в мировом хозяйстве, и его размеры практически невозможно проконтролировать. Так что в итоге все сводится к тому, что работнику за труд выдают квитанцию, которую можно обменять на продукты. То есть – деньги.

При этом для Маркса принципиально, что в новом обществе «производители не обменивают своих продуктов» (в этом – принципиальное отличие от анархо-коллективистских моделей). Рабочую силу за

«квитанции» покупает «общество». Работники равноправны перед лицом общества. Но можно ли говорить о равноправии простого работника и управленца, который определяет условия определения дохода, распределения основных социально-экономических пропорций? В отношениях работника и «общества» оно представлено именно управленцем. Класс управленцев, действующих от имени общества, нанимает работников за «квитанции».

* * *

«Критика Готской программы» не привела к торжеству марксизма в немецкой социал-демократии. Более того, ее лидеры увлекались не только Лассалем. Большую популярность в социал-демократических кругах приобрел критик Маркса этический социалист и коллективист Евгений Дюринг, взгляды которого были близки отчасти к Прудону, отчасти к Лассалю.

Идеи Дюринга оказывали влияние на таких немецких лидеров, как Э. Бернштейн, И. Мост, В. Бракке и др. Опасность Дюринга заключалась в том, что он предлагал всеобъемлющую концепцию (хотя и компилятивную, мало что добавляющую к уже рассмотренным нами теориям) и в этом отношении составлял конкуренцию марксизму. Дюринг стремился соединить коммунистические, прудонистские и лассальянские идеи. Энгельс взялся за критику Дюринга. Его статьи, объединенные затем в единое издание «Антидюринг», были выдержаны в столь грубом тоне, настолько примитивизировали взгляды Дюринга, что в 1877 г. в партийных верхах разразился скандал, и лидеры чуть не раскололись из-за вопроса, можно ли продолжать печатать работу Энгельса в партийной прессе. Согласились, что можно, но только в теоретическом приложении. Маркс в связи с популярностью Дюринга писал, что среди вождей германской социал-демократии «пахнет гнилью»[704].

Но и это было не все, что пришлось претерпеть Марксу и Энгельсу, глядя из эмиграции на «свою» партию. В 1879 г. (а это было время «чрезвычайного закона», фактически загнавшего партию в подполье) вышла статья «Ретроспективный обзор социалистического движения в Германии», подписанная тремя звездочками (это были недавние дюрингианцы К. Хехберг, К. Шрамм и Э. Бернштейн). Эти «три звезды» планировалось включить в редакционный совет готовившейся к изданию в Швейцарии партийной газеты «Социал-демократ» (здесь был расчет на финансовую помощь Хехберга и острое перо Бернштейна). Статья призывала открыть путь в партию широким слоям интеллигенции (за «одностороннюю ориентацию на рабочий класс» авторы обвиняли лассальянцев, хотя эта же критика относилась и к марксизму), не ограничивая ее пролетарскими рамками (которыми ее руководство уже и так не было ограничено), и не возбуждать ненависть правительства излишним радикализмом.

Обвинения анархистов и близких им радикальных социал-демократов во главе с И. Мостом могли получить полное подтверждение — партия открывала ворота идеям, победа которых превращала ее в государственно-реформистскую. Приток интеллигенции в партию мог облегчить преодоление лассальянского догматизма части ее лидеров, но порождал новую проблему – многообразие идей, за рамками марксизма и лассальянства. Идейное творчество, к которому призывали «три звезды» могло означать отыскание путей не только к социализму, но и к отступлению в «буржуазный» лагерь. Энгельса возмущала также попытка «трех звезд» выступить против революционных методов борьбы, выразив сожаление по поводу насильственного характера революции 1848 г.

Маркс и Энгельс были вне себя. В сентябре 1879 г. они разослали своим сторонникам в партии «Циркулярное письмо», в котором категорически выступили против оппортунизма новых идеологов СДПГ, которые стремятся подчинить рабочий класс буржуазии[705]. Бебель, который прочил Бернштейна в редакторы партийного органа, успокаивал «стариков»: «во всей партии не найдется и дюжины людей,

которые хотя бы в основных чертах одобрили эту работу»[706]. Маркс и Энгельс оказались проницательнее своих последователей. Через двадцать лет письмо «трех звезд» превратится во влиятельное течение бернштейнианства. Лидеры партии не разделяли тезисов статьи, но они тоже были готовы к сближению с теми средними слоями, которые Лассаль когда-то считал реакционной массой. Бебель писал Энгельсу, что мелкие буржуа и крестьяне «за последние годы примкнули к нам в большом числе и… во многих округах спасли на выборах честь партии» в условиях чрезвычайного закона, когда часть рабочих голосовала против социал-демократов[707].

В 1880 г. Бебель и Бернштейн поехали в Лондон как в Каноссу. Формально Бернштейн признал правоту Маркса и Энгельса, и инцидент был исчерпан, и «покаявшийся грешник» стал редактировать партийное издание «Социал-демократ». Но фактически партия продолжала «вписываться в цивилизованные правила игры». Она так и не стала вполне марксистской, хотя «старики» сохраняли в ней значительное влияние.

* * *

После смерти Маркса его культ окончательно вытеснил культ Лассаля. В. Чернов писал об особенностях марксистской догматики в Германии: «Впоследствии к этому влечению, продиктованному преклонением перед памятью покойного учителя, прибавились другие психологические мотивы, в том числе – чувство национальной гордости»[708]. Чернов ссылается на выступление А. Бебеля, который утверждал: «не простая случайность, что динамические законы общественного развития и научный базис социализма были открыты и положены немцами, на первом месте Марксом и Энгельсом… Германия стала руководительницей человечества в гигантской борьбе грядущего. По самому географическому положению и по ее развитию ей предрешена эта роль»[709]. Так **германский национализм**, который несколько ослаб в учении Маркса и Энгельса после создания Интернационала (что позволило марксизму стать мировым явлением), получил новый импульс в германской социал-демократии.

У теории, в соответствии с которой одна страна является центром мирового революционного движения, будет большое будущее. Чернов заметил это еще до победы «теории построения социализма в одной стране» в СССР: «после крушения германской гегемонии в социализме в результате ее шовинистического грехопадения в эпоху мировой войны, русский большевизм, несмотря на свой утрированный интернационализм, незаметно для себя пропитывается такою же бессознательно-националистической верой в призвание русского пролетариата возродить весь мировой социализм, пересоздав его по своему образу и подобию, и после этого, соединив его с нарождающимся социализмом народов Востока, получивших социалистическое откровение от русских большевиков и в чисто-большевицкой форме»[710]. Советские преподаватели научного коммунизма будут показывать, как происходит **смещение центра революционного движения** от Англии к Франции, затем к Германии, и, наконец, к России, которая и стала истинным вождем человечества к коммунизму. Но почему же наконец? Раз начавшись, движение на восток уже не остановить, и в середине XX в. на гегемонию стал претендовать Мао Цзэдун.

Остались ли Маркс и Энгельс революционерами?

Уже после смерти Маркса в Германии продолжался дальнейший синтез лассальянства и марксизма путем «сглаживания углов». В 1890 г. была принята Эрфуртская программа СДПГ, в которой были обойдены спорные вопросы. В общих выражениях говорилось о необходимости передать средства производства в собственность общества, без объяснения, каким образом это будет сделано. Социал-демократы подчеркивали, что это обобществление, которое предстоит в ближайшем будущем, нельзя путать ни с огосударствливанием, ни с передачей фабрик коллективам работников. Тогда что бы это значило? Нечто абстрактное: «только преобразование товарного производства в социалистическое, совершающееся для общества и через него»[711].

Оставшись без программы альтернативного общества, социал-демократия пошла по пути врастания в этатизированную капиталистическую систему, который на сегодняшний день привел **к растворению социал-демократии в социал-либерализме**, либеральной идеологии, признающей необходимость существования наряду с капиталистическими отношениями также социального государства и связанной с ним системы социальных гарантий. Поклонники этой стратегии пытаются найти ее обоснование прямо у основоположников.

В наше время бывшие коммунисты, ставшие в связи переменой режима социал-либералами, иногда при этом не желают расставаться с марксизмом. Это желание понятно: всю жизнь служил марксизму, марксизм был твоей религией, твоим альфа и омега. Теперь марксизм перестал быть господствующей религией. И ты готов служить новым господствующим идеям. И даже Маркса мобилизовать на эту службу. Мол, именно он, твой Учитель, тоже пришел к этим идеям, чуждым революционности, диктатуре, да и коммунизму. Какой матерый человечище – все открыл. Какая могучая теория – просто безразмерная. Она включает в себя и коммунизм, и либерализм. Философ Т.И. Ойзерман, посвятивший жизнь обоснованию коммунистической ортодоксии, ныне обратился из Павла в Савла. Мы уделим здесь повышенное внимание взглядам академика Ойзермана. Он ценен истории тем, что подробно сформулировал **финал, к которому пришла правая тенденция марксистской традиции в результате деградации в либерализм**. Борьба социал-либералов за наследство Маркса продолжается с конца XIX века, и в наше время мы наблюдаем новый натиск, анализ которого позволяет многое понять и о социал-либеральном постмарксизме, и о самом марксизме. Итак, академик Т.И. Ойзерман поражает нас сенсацией: «Маркс… никогда не высказывался в том духе, что утвердившаяся после революции власть будет именно диктатурой»[712]. Воистину, это открытие мирового масштаба. Точнее – закрытие. Закрыто сразу несколько работ Маркса.

Все же в другом месте постмарксистский философ вынужден вернуться к этому вопросу менее категорично. Да, Маркс, как ни прискорбно, высказывался о диктатуре (естественно, пролетариата), но выражался фигурально, в переносном, так сказать, смысле: «В своей характеристике Парижской Коммуны как диктатуры пролетариата Маркс и Энгельс подчеркивают, что правительство парижских коммунаров было избрано на основе всеобщего, равного и тайного избирательного права. В таком понимании диктатуры пролетариата нет ничего утопического, так как речь идет о народовластии, которое практически означает политическое господство рабочего класса, если он составляет большинство самодеятельного населения. Утопический характер понятию диктатуры пролетариата придал Ленин, поскольку он истолковывал ее как неограниченное какими-либо законами господство пролетариата, т.е. господство всей массы пролетариев, что, конечно, несовместимо с понятием диктатуры вообще, которая всегда и везде (в том числе и в СССР) была диктатурой частью верховного владыки, частью приближенной к нему правящей клики»[713].

Забавно, что, пытаясь защитить Маркса от «исказившего» его Ленина, Ойзерман в упрощенном виде пересказывает критику теории диктатуры пролетариата, более основательно сформулированную Бакуниным, который о Ленине не знал, о будущем коммунистическом режиме только догадывался, а критиковал именно Маркса. Разумеется, на вершине диктатуры находится какой-то лидер («верховный владыка», если желательно ругаться) и его окружение («клика», стало быть), но ее социальное содержание этим не исчерпывается. «Утопизм» (в смысле – ошибка) Маркса заключается в том, что он думал, будто диктатуру будет осуществлять пролетариат, а не бюрократия и другие управленческие слои (технократия). В этом отношении критика Бакунина (и соответствующие доводы Ойзермана) вполне справедлива. Конечно, Парижская Коммуна, к которой, кстати, Ленин относился точно также как и Маркс, не была диктатурой именно пролетариата, хотя, в полном соответствии с определением Ленина, могла изменить любой закон и прибегала к расстрелам заложников. У власти в Коммуне встал блок радикальной интеллигенции и рабочих, которые, занявшись управленческим трудом, автоматически перестали быть пролетариями (хотя в значительной степени выражали их интересы).

Модель Маркса ничуть не демократичней модели Ленина, изложенной в «Государстве и революции», так как оба теоретика поддерживают идею выборов. Выборы любили проводить и самые одиозные диктаторы XX века. Это само по себе ничего не меняет. Выборы диктаторов известны со времени древнего Рима, так что Маркс и Ленин не противоречат ни друг другу, ни себе, когда называют выборную власть диктатурой. Скорее утопичны те, кто считают выборную власть «народной», как Ф. Лассаль и его эпигоны плоть до Т. Ойзермана.

В условиях успехов социал-демократов на выборах Энгельс стал отходить от федерализма Парижской коммуны, который принял Маркс, к парламентарному устройству «пролетарского государства». В 1894 г. он писал: «Республика… является готовой политической формой для будущего господства пролетариата»[714].

Впрочем, само по себе это высказывание еще не доказывает, что «основоположники марксизма ни в малейшей мере не отрицали органической связи демократии и разделения властей»[715], как считает Т.И. Ойзерман. Ведь Парижская коммуна – тоже республика, а в ней разделения властей не было. Впрочем, стремясь противопоставить Энгельса (вкупе с Марксом) Ленину (противнику разделения властей), уважаемый академик находит для своей мысли еще более парадоксальное «доказательство» – цитату Энгельса времен революции 1848 г. с критикой непоследовательного разделения властей в Прусской монархии. Одна беда – Ленин тоже критиковал Думскую монархию Российской империи за недостаточную демократичность и недостаточную власть Думы. Прямо как Энгельс. В такие логические ловушки попадают философы, когда игнорируют исторический подход, требующий учитывать контекст любого высказывания.

Либеральный «марксист» продолжает развивать мысль, основанную на ложных посылках: «таким образом, в марксистском понятии диктатуры пролетариата обнаруживается, как мне представляется, противоречие между тем, что именуется диктатурой, и тем, что характеризуется как «завоевание демократии» и ее всестороннее развитие»[716].

Противоречия нет, если понимать, о чем идет речь. Слово «демократия» употребляется во многих смыслах: определенная система многопартийных выборов и связанных с ними институтов, народовластие (власть демоса), выдвижение низов (демоса) в правящую элиту. Если кто-то говорит о демократической диктатуре, то, очевидно, он считает, что демос, находящийся у власти, имеет право применять диктаторские средства поддержания своего господства. На практике речь идет о диктаторских полномочиях лидеров демоса (например, якобинцев). Диктатура – власть, не ограниченная законами, в том числе собственными. При недиктаторском парламентском режиме, который именует себя «демократическим», народовластия не больше, ибо власть принадлежит хозяйственной и политической

элите. Но она ограничена принятыми ею же законами.

* * *

Маркс (как и Лассаль) питал некоторую слабость ко всеобщему избирательному праву. В условиях, когда буржуазные режимы не допускали всеобщего избирательного права, Маркс полагал, что «всеобщее избирательное право равносильно политическому господству рабочего класса Англии, где пролетариат составляет огромное большинство населения». Иронизируя в этой связи над проектами своих оппонентов, которые Маркс вовсе не считал приближающими социализм, он продолжает: «введение всеобщего избирательного права в Англии было бы в гораздо большей степени социалистическим мероприятием, нежели любое другое мероприятие, которому на континенте присваивается это почетное имя»[717]. Ошибка этой позиции Маркса стала очевидна после того, как его товарищ Лассаль (посмертно, впрочем, преданный анафеме) убедил Бисмарка даровать рабочим избирательное право. Реальная власть к рабочим после этого не перешла (также, как и после введения этого права в Англии), так как выборы – это еще не демократия, а лишь элемент демократии, опосредованный таким количеством финансовых, культурных и политических «сдержек», что создает скорее иллюзию народовластия (демократии), чем народовластие как таковое.

Маркс ставил задачу превратить всеобщее избирательное право «из орудия обмана, каким оно было до сих пор, в орудие освобождения»[718]. Выборы – лучший способ прихода социалистов к власти, чем другое недемократическое средство – восстание. Но это – способ начать преобразования, а не готовая форма социализма. Марксистам выборы приносили разочарование столь же часто, как и избирателям вообще. Марксисты поняли, что выборы – не есть социалистическая мера и не дают власть рабочему классу и его партии. Избиратели убедились, что выборы не часто выносят наверх тех, кто умеет выполнять обещания. Собственно, после этого было бы логично вернуться к оценке парламентаризма Прудоном и Бакуниным и выступать за федерализм. Но вовлеченность социал-демократии в актуальную парламентскую борьбу мешала это сделать.

Отталкиваясь от полемики с радикальным анархистом Бакуниным, Маркс был вынужден сделать уступку умеренному анархисту Прудону: в ряде стран «рабочие могут добиться своей цели мирными средствами»[719]. Указание на мирные средства не означает отказа от революции. **Просто революция может быть совершена «мирными средствами» (чисто прудоновская позиция).**

Маркс подтверждает: «социализм не может быть осуществлен без революции»[720]. Революция – не синоним насилия. Это – социально-политический переворот, ломающий старую политико-правовую оболочку, меняющий принципы социальной организации (подробнее об этом речь пойдет в последней главе этой книги). Революция может осуществляться разными методами. Отказался ли Маркс от революции, или просто согласился с Прудоном, что в некоторых случаях она может обойтись без кровопролития?

В 1880 г. Маркс в частном письме к Г. Гайдману высказал мысль, что его партия считает «английскую революцию не необходимой, но – согласно историческим прецедентам – возможной»[721]. Однако при оценке этого высказывания следует учитывать, что письмо было направлено известному реформисту, которого таким образом Маркс пытался убедить хотя бы в возможности революции (не то, что в необходимости). Для более широкой публикации письмо не предназначалось и увидело свет только в 1911 г. Цель Маркса – показать Гайдману, что его единомышленники не разжигают революцию искусственно, что она вырастает не из действий революционеров, а из социальных процессов. Избежать «революцию» можно, только наращивая давление на правящие классы. Как видим, речь идет о двух значениях слова

революция, которые мы видели уже у Прудона. Избежав насильственной революции можно, только совершив ненасильственную. Так, в частном порядке Маркс признал правоту прудонистской стратегии «сожжения власти и собственности на медленном огне». Но и это – не отказ от революции, а только отказ от обязательности массового насилия, которое тоже возможно «согласно историческим прецедентам».

В 80-е гг. Энгельс был настроен еще более решительно. В 1889 г. он писал: «У нас единое мнение в вопросе о том, что пролетариат не может завоевать политическое господство – единственную дверь в новое общество – без насильственной революции»[722]. Хотя Энгельс согласен, что приемлемы и мирные средства борьбы, если они ведут к цели.

В 1891 г. Энгельс скорректировал свою точку зрения: «Можно представить себе, что старое общество могло бы мирно врасти в новое в таких странах, где народное представительство сосредотачивает в своих руках всю власть, где конституционным путем можно сделать все, что угодно, если только имеешь за собой большинство народа: в демократических республиках, как Франция и Америка, в таких монархиях, как Англия…»[723]. При том, что Маркс не может нести ответственность за сказанное Энгельсом через несколько лет после смерти своего соавтора, в этой фразе Энгельса снова нет отрицания революции, а есть только надежда, что «все, что угодно» (то есть и революционный переворот в отношениях собственности, и соответствующую перекройку социально-политической структуры) можно сделать конституционным путем. Подобным путем шел, например, С. Альенде во время Чилийской революции 1970-1973 гг., правда, неудачно – прийти к власти конституционным путем можно, но следует быть готовым к тому, что противники революции могут перейти к «игре без правил» в любой момент.

Энгельс, выражая мысль Маркса в предисловии к новому изданию «Капитала», излагает ее выверено для печати: «Англия является единственной страной, где неизбежная социальная революция может быть осуществлена всецело мирными и легальными средствами»[724].

Таким образом, здесь ясно сказано – революция при переходе к социализму неизбежна, но может проходить без стрельбы.

Удивительным образом читает эти строки Т.И. Ойзерман: «Мы видим, таким образом, что Маркс неоднократно высказывал свое убеждение в возможности мирных социалистических преобразований в условиях капитализма при наличии развитых эффективно функционирующих демократических учреждений и организованного рабочего класса, составляющего основную массу трудящегося населения и осознающего свои коренные интересы. Стоит отметить и то, что в приведенном высказывании Энгельса, излагающего воззрения Маркса, речь идет о социальной революции, осуществляемой мирными, легальными средствами. Это значит, что Маркс и Энгельс допускают два типа мирных социалистических преобразований: реформистский и революционный. Однако, имея в виду большинство высказываний основоположников марксизма по этому вопросу, можно сказать, что в большинстве случаев основоположники марксизма, говоря о мирных социалистических преобразованиях, имели в виду социалистические реформы, а не революцию»[725]. Несмотря на то, что академик ссылается на некое «большинство» антиреволюционных высказываний революционера Маркса, он приводит только указанную выше фразу из письма к Гайдману, которая сама по себе тоже мало что доказывает. Все остальные – не о том. «Неоднократные» высказывания о возможности «социалистических» преобразований – ироническая фраза о введении избирательного права, которое Маркс, как видно из его же слов, само по себе социалистическим преобразованием не считал. Академик не нашел ни слова и о «реформистском пути социалистических преобразований в условиях капитализма», который отличается даже от мирных революционных преобразований. Так что следует признать несостоятельной попытку Т.И. Ойземана превратить Маркса в Бернштейна. **Маркс и Энгельс все же до конца жизни остались революционерами.**

* * *

Т.И. Ойзерман «открыл» момент перехода Маркса от раннего марксизма «Манифеста коммунистической партии» к благонамеренному зрелому марксизму. Это – знаменитая фраза в предисловии к «Критике политической экономии» о том, что ни одна формация не уходит в небытие, пока она представляет достаточно простора для развития производительных сил. Это, оказывается, Маркс «пересматривает то представление о перспективах пролетарской революции, которое пронизывает «Манифест»…»[726] Манифест, правда, исходит из той же самой схемы – капитализм стремительно развивает производительные силы, приближая свой крах. И после 1859 г. Маркс продолжает ждать революцию в ближайшее время (то в связи с экономическим кризисом, то в связи с франко-прусской войной), и не безнадежно – он дожил до Парижской коммуны, которую приветствовал. В 1859 г. в отношении Маркса к революции ничего не изменилось. В 1875 г. в «Критике Готской программы» словно специально для фальсификаторов его взглядов Маркс написал, что в демократической республике, «в этой последней государственной форме буржуазного общества классовая борьба должна быть решена оружием…»[727]

Приняв свою гипотезу за доказательство, академик продолжает: «Несомненной заслугой Маркса и Энгельса является их переход от теоретического обоснования неизбежности насильственной пролетарской революции к теоретическому обоснованию возможности мирных социалистических преобразований в условиях капитализма»[728]. Заслуга сомнительная, причем сразу в двух отношениях. Во-первых, до конца жизни считая насильственную революцию наиболее вероятным путем к своей цели, Маркс и Энгельс не занимались теоретическим обоснованием мирных социалистических преобразований и ничего не оставили Ойзерману и его единомышленникам, кроме обрывочных цитат, при чем сказанных совсем о другом. Во-вторых, академик не нашел высказываний Маркса и Энгельса о «социалистических преобразованиях в условиях капитализма». Эту формулу он может поставить в заслугу себе, а не «классикам». Возможность ненасильственного формирования социалистических отношений в недрах капиталистического общества (что нужно отличать от социального государства) уже была теоретически и довольно подробно обоснована Прудоном и Лассалем, о чем Марксу и Энгельсу было хорошо известно, и от чего они категорически отмежевались.

* * *

А если по существу – возможны ли **социалистические преобразования в рамках капиталистического строя**? С точки зрения освободительного социализма, который не увязывает преодоление капитализма с созданием централизованной системы управления и планирования, распространенной на все общество – такие преобразования вполне возможны. Но их содержание важно отличать от обычных мер по улучшению положения работников, которые (при всей необходимости), еще не содержат в себе социалистического характера, то есть преодоления классового разделения. Социалистическими являются преобразования, формирующие социалистический сектор, в котором не существует разделения на класс собственников и работников, где они соединяются в одном лице самоуправляющегося работника.

Тем не менее, уже в конце XIX века и социал-демократическое, и анархическое движение превратилось в **субкультуру**, объединенную не только идеями, но собственной инфраструктурой. Синдикалистские профсоюзы и социалистические партии обрастали кооперативами, профсоюзами, народными домами, обширной культурной средой, воздействующей на литературу и искусство. Вслед за

Прудоном лидер бельгийских социалистов Э. Вандервельде увидел эмбрион социализма в самой этой субкультуре. Маркс, как мы видели, с большими оговорками и под большим давлением политических обстоятельств тоже признавал в кооперативах модель социалистических отношений. Он иллюстрировал на примере кооперации вызревание «нового способа производства»[729], то есть элементов социализма. Теперь Т.И. Ойзерман может «поймать» Маркса на том, что он принимает за «новые отношения» чистый капитализм: «на деле эти предприятия, несмотря на то, что члены кооперативов не являются наемными рабочими, представляют собой, поскольку они существуют в системе рыночной экономики и подчиняются ее законам, капиталистические предприятия»[730]. Любопытно, что, пытаясь перетянуть Маркса на позиции социал-либерализма, Т.И. Ойзерман вынужден на минутку возвращаться на привычные ему марксистско-ленинские позиции. Ведь как раз коммунисты-ленинцы клеймили рыночные кооперативы как капиталистические предприятия, смешивая рынок и капитализм. Приходится напоминать, что капитализм и рынок – это разные явления. Рынок возник до капитализма, а вот капитализм не отделим от наемного труда, который отсутствует в чистых кооперативах. Таким образом, когда Маркс говорит о кооперативах, речь идет не о капиталистических предприятиях.

Социалистическое и кооперативное движение в некоторых странах на практике превращалось в ту самую систему общества, которая по замыслу Прудона была призвана вытеснить капиталистические отношения. Но была ли она принципиальной альтернативой капитализму, или он обладал возможностями интегрировать, поглотить социалистический «сектор»?

Развитие элементов социализма, предприятий с самоуправлением работников, отношений взаимности возможно вопреки политике государства, но до известного предела, пока протосоциалистический сектор не сопоставим по масштабам с капиталистическим. Исторический опыт свидетельствует, что более серьезные преобразования, связанные с вытеснением капиталистических отношений, возможны только во время революции. Властная и имущественная элиты готовы терпеть сектор, подчиняющийся другим законам, только пока он не претендует на лидерство в системе. Собственно, подобная ситуация складывалась и при развитии капитализма в недрах традиционного (феодального) общества. Аналогично растущий социалистический сектор рано или поздно будет нуждаться в смене правовой и политической системы, что ведет все же к революции.

* * *

Маркс доказывал, что переход от капитализма к социализму (коммунизму) обусловлен самими законами развития капитализма. «Такому экономическому воззрению, естественно, соответствует представление о возможности мирных социалистических преобразований, или эволюционного перехода от капитализма к социалистическому обществу»[731], – подводит Т.И. Ойзерман «базис» под искомую им (хотя и ненайденную) надстройку «нереволюционного» учения марксизма.

В итоге подобных операций с цитатами Маркса и Энгельса, которые, как мы видели, искажают их смысл, Т.И. Ойзерман приходит к выводу, что марксов «социализм выступает не столько как посткапиталистическое общество, сколько как трансформирующийся капитализм, сложившийся в результате реализации совокупности социальных программ, которые выдвинул и обосновал «научный социализм», утрачивающий при такой интерпретации его содержания присущие ему черты утопизма»[732]. При такой интерпретации идеология утрачивает и черты марксизма, и социализма вообще. Ибо социализм по определению – не капитализм (даже трансформирующийся), а какое-то принципиально иное общество. Если из программы Маркса убрать посткапиталистическое общество, останется общая для филантропов и социалистов «программа минимум», которую марксизм не выдвигал,

а с большими оговорками поддержал. В XIX в. эта программа, известная теперь как социальное государство, казалась утопией. Но под давлением социалистов и просто гуманистов ее стало принимать к исполнению далекое от социализма «буржуазное» государство. Первые успехи социальной политики социал-демократии уже после смерти Энгельса сподвигли одного из видных марксистов Бернштейна пересмотреть учение Маркса (в отличие от нынешних социал-либералов тогда было бессмысленно отрицать, что речь идет именно о пересмотре, ревизии).

Сегодня **бывшие марксисты** — будь то западноевропейские социал-демократы или отечественные постмарксистские профессора — пытаются ввести Маркса в общество теоретиков современного глобализма. У этой затеи есть свои шансы — марксизм повлиял на западную либеральную мысль. Либерализм и марксизм роднит и индустриальная концепция прогресса, и стремление к глобальной управляемости мира. Так что не будем удивляться таким словам: “Маркс утопичен в той мере, в какой претендует не только на объяснение действительности, но и на ее изменение и преобразование. Не критика капитализма сама по себе является утопией, а стремление придать этой критике характер революционного действия, ломающего старый порядок и навязывающего всем волю одного класса и одной партии. Одно дело критиковать капитализм, другое — призывать к его насильственному уничтожению. Критика вполне совместима с научностью, желание насильственно переломить ход истории всегда утопично”[733] — утверждает В.М. Межуев.

Вот так. Пиночет или Франко (не говорю о левых исторических персонажах), насильственно переломившие ход истории — утописты. А вот Оуэн, не имевший таких стремлений, под утописта не подходит. Воистину, в своей либеральной упаковке марксизм не потерял парадоксальности, но вряд ли стал более научен. Он просто интегрируется в господствующую мировую идеологию, растворяясь в ней. Очистив марксизм от революционных “частностей”, присущих его революционной “версии” (подразумевается, что существует нереволюционная “версия марксизма”), В.М. Межуев получает искомый им либерализм (причем тоже очищенный от анархических, то есть антибюрократических, черт): “И как либерализм означает не уничтожение государства, что является анархической утопией, а лишь его перевод в правовое пространство, так и марксизм (вопреки его первоначальной — радикальной и революционной — версии), будучи освобожден от всех еще содержавшихся в нем утопических элементов, требует не отмены денег и рыночного хозяйства, а всего лишь максимально возможного на данный момент расширения рамок индивидуальной свободы, находящейся “по ту сторону” экономической необходимости”[734]. “Максимально возможного на данный момент расширения рамок индивидуальной свободы” (понимаемого совершенно по-разному) требуют и социализм, и либерализм, и консерватизм, и анархизм. Нынешние “постмодернистские” авторы пытаются смешать все идейные традиции воедино, аннигилировав их в сером политкорректном ничто, характерном для современной официальной европейской социальной мысли. Мы уже видели, что «нереволюционная версия марксизма» прямо противостоит взглядам самого Маркса.

Хотя социал-либеральная эволюция постмарксистов (ревизионистов, «либеральных марксистов» или, как они назывались в России – «легальных марксистов») и означает их разрыв с учением Маркса, все же основоположник несет некоторую ответственность за социал-либеральное перерождение значительной части своей школы. Важно понять: **что в марксизме создавало предпосылки для эволюции ряда его ведущих теоретиков в сторону либерализма?**

Определенные предпосылки перерождения марксистов лежат в области экономического детерминизма. Действительно, если победа предопределена, и момент этой победы зависит от зрелости капиталистических отношений, то следует и поддерживать развитие именно их. Простая логическая цепочка, проведенная «легальными марксистами» России уже в конце XIX века. Но надо признать, что нынешние социал-либералы заметно расширили эту аргументацию, почему мы и уделяем такое место

полемике с Т.И. Ойзерманом.

Напомним мысль Маркса о формировании акционерных обществ с большим числом акционеров: «Это – результат высшего развития капиталистического производства, необходимый переходный пункт к обратному превращению капитала в собственность производителей, но уже не в частную собственность разъединенных производителей, а в собственность ассоциированных производителей, в непосредственную общественную собственность… Упразднение капиталистического способа производства в пределах самого капиталистического способа производства и потому само себя упраздняющее противоречие, которое prima facie представляется простым переходным пунктом к новой форме производства»[735].

Эта фраза Маркса никак не оправдывает концепцию Т.И. Ойзермана, так как речь опять идет о переходном пункте от капитализма к новому обществу, а не о «социализме в рамках капитализма». Но сказанное словно специально подтверждает подозрения Бакунина о банкократических стремлениях марксистов. Маркс проявляет здесь наивность, так как не видит, что толпы акционеров управляются небольшой группой держателей контрольного пакета, финансовой олигархии. Марксизм быстро преодолеет это слабое место марксова анализа новейших тенденций капитализма. Хотя учитель не справился с анализом нового этапа развития капитализма, позднее известного как империализм, марксисты помоложе разложат его по косточкам, доделав работу, успешно начатую еще Бакуниным.

Увлечение Маркса процессами акционирования – симптом более глубокого методологического изъяна. Маркс рассуждает об упразднении старого способа производства, а ключ к нему ищет в акциях – бумажках, фиксирующих причастность к собственности, к праву на распоряжение и получение прибыли. Но что это меняет в способе, которым осуществляется производство? Бросив удачный термин – способ производства – Маркс сосредоточился на окружающих это производство экономических факторах, прежде всего – собственности и стоимости. Но изменится ли способ, которым рабочий взаимодействует со станком, если изменится собственность на предприятие? Опыт XX в. убедительно показал – практически нет. Маркс за фасадом капитализма не увидел становой хребет индустриального общества.

Но как изменится общество, если начнет размываться индустриальные производственные отношения? Вот проблема для социалистической и социальной мысли, для которой расчищает место кризис марксизма. Впрочем, это проблема XXI века.

А на грани XIX и XX веков процессы финансово-промышленной концентрации, несмотря на упрочение капиталистического порядка, продолжали вселять большие надежды в марксистов. Энгельс писал: «В трестах свободная конкуренция превращается в монополию, а бесплановое производство капиталистического общества капитулирует перед плановым производством грядущего социалистического общества. Правда, сначала только к выгоде капиталистов»[736]. Социализм представляется как трест, в котором управляющая элита будет действовать «к выгоде» всех, а не только своей. Но получится не социализм, а государственный трест. При этом Энгельс не путает огосударствление с социализмом. Он пишет о государстве: «Чем больше производительных сил возьмет оно в свою собственность, тем полнее будет его превращение в совокупного капиталиста и тем большее число граждан будет оно эксплуатировать. Рабочие останутся наемными рабочими, пролетариями. Капиталистические отношения не уничтожаются, а, наоборот, доводятся до крайности, до высшей точки»[737]. Как перескочить от этого тоталитарного капитализма к социализму? Надежда – на философское переименование государства в не-государство. Энгельс прогнозирует: «Пролетариат берет государственную власть и превращает средства производства прежде всего в государственную собственность. Но тем самым он уничтожает самого себя как пролетариат, тем самым он уничтожает все классовые различия и классовые противоположности, а вместе с тем и государство как государство»[738]. Реальное огосударствливание, проведенное в СССР,

докажет тщетность этих надежд. Государство останется государством, даже если его наименовать пролетарским. Бакунинская критика подтвердит свою правоту.

Дело, как мы видели, даже не в слове «государство», а в принципе экономического централизма, проповедовавшегося Марксом и его последователями. Идею централизма хорошо усвоило и второе поколение марксистских теоретиков. К. Каутский писал: «В социалистическом обществе все средства производства сосредоточены в одних руках, в нем есть лишь один-единственный «работодатель», от которого невозможно уйти к другому»[739]. Никуда рабочему не улизнуть.

В марксистском социализме не может быть самостоятельной от планирующего центра социально-экономической сферы. Поэтому марксистский идеал может реализоваться либо путем революционного вторжения в отношения собственности (что предпочли бы Маркс и Энгельс), либо путем поглощения всех собственников в глобальном акционерном обществе. Расчет Маркса как раз делался на глобальную, связанную единым коммуникационным полем и регулируемую из единого центра цивилизацию. Не является ли последней надеждой марксизма нынешний глобализм? В отличие от своих социал-либеральных эпигонов, Маркс не считал капиталистическую глобализацию достаточным условием для эволюционного возникновения социалистического общества. Но все же эволюция капитализма вселяла в Маркса и Энгельса надежды на то, что дело социалистической революции упрощается. Остается только экспроприировать штабы транснациональных корпораций и заменить их единым плановым центром, действующим в интересах «всех и каждого». Только кто определит эти интересы? И станет ли большинство людей счастливее **под властью такого мирового планирования**?

Французский социализм: Прудон + Маркс

В 70-е гг. во Франции шло восстановление структур рабочего движения после разгрома 1871 г. Преобладающим течением был прудонизм, доминировавший в профсоюзном движении. Рабочий съезд в Париже 1876 г. прошел под флагом мютюэлизма, договорного права, кооперации. Но выстраивать структуры взаимопомощи в условиях полицейских репрессий и бесправия рабочих было очень трудным делом. В повестку дня встало политическое действие, способное облегчить условия для развития рабочего движения.

Мотором политизации стали бывшие бакунисты Ж. Гед и П. Брусс. Гед постепенно придал слову «коллективизм» новое значение, сделав его почти синонимом марксизма (или своего понимания марксизма). Получив такого союзника, как Гед, зять Маркса Лафарг стал «возвращать» марксизм во Францию. Гед создал парижский кружок изучения «Капитала», соединив политическое течение с научной школой. И в этом был залог великого будущего марксизма также и во Франции.

Переход гедистов от бакунизма к марксизму шел постепенно. Первоначально бывшие бакунисты пришли к выводу о необходимости использования парламентской борьбы. В 1877 г. во время предвыборной кампании Гед и его товарищи развернули агитацию за социалистические лозунги, испытывавшие еще большое влияние бакунизма и прудонизма. Социалисты выступали за передачу средств производства в распоряжение тех, кто на них работает, и полную автономию территориальных общин от государства. Часть участников создания рабочей партии, такие, как Брусс, так и не перешли к марксизму. На втором рабочем съезде в Лионе гедисты предлагали проголосовать за переход орудий труда в коллективную собственность (вполне бакунистская формулировка). Сторонников политизации поддержало меньшинство синдикатов, но и это было победой.

В 1879 г. на третьем рабочем съезде в Марселе сторонники Геда вступили в конфликт с умеренными лидерами синдикатов, выступавшими за развитие кооперации, а не политическую борьбу за коллективизм. Гедисты выступили за революционный переход орудий труда в коллективную (общественную) собственность, осудив идею самопомощи рабочих путем создания кооперативов как неэффективную. На этот раз рабочие делегаты поддержали социалистов и даже проголосовали за переход земли, недр, орудий труда и сырья в «нераздельную и неотчуждаемую общественную собственность»[740]. Эта простая, понятная рабочим формулировка заметно сдвинула французский социализм в сторону марксизма. Началось создание рабочей партии, к которому подключился прудонист и депутат Коммуны Малон, вернувшийся из эмиграции.

В 1879 г. марксисты и левые прудонисты создали Французскую рабочую партию (ФРП). Программа ФРП испытывала сильное влияние бакунизма и прудонизма. Партия выступала за «коллективное присвоение» и «возвращение обществу всех средств производства». Ее лидерами стали П. Брусс, Б. Малон, Ж. Гед и П. Лафарг.

П. Брусс, тоже участник Коммуны, сохранив приверженность прудонизму и бакунизму, сделал лишь одну тактическую поправку к анархизму – возможность участия в выборах. Таким образом, он вернулся от бакунизма к прудонизму, продолжая вызывать раздражение Маркса и Энгельса. Энгельс назвал его «отъявленным анархистом, признавшим лишь допустимость участия в выборах…»[741] Тем самым Маркс признал, что с анархистами их разделяет не вопрос участия в выборах, а программа преобразований.

Но и сблизившийся с Марксом, Ж. Гед продолжал испытывать влияние идей Бакунина. В 1880 г. Гед писал: «коллективисты не являются коммунистами в том смысле, в котором во Франции обычно употребляют это слово… то, чего они добиваются – это обобществление средств производства; целью,

которую они преследуют, является индивидуальная собственность, но распространенная на всех и основанная на личном труде ее владельцев»[742]. Только по мере обострения конфликта с товарищами-прудонистами Гед окончательно перешел на позиции марксизма.

В 1880 Лафарг и Гед с помощью самого Маркса подготовили более чистый марксистский вариант программы ФРП, но под влиянием Малона в ней осталось требование перехода орудий труда в собственность общин, а не всего общества. Выступая за расширение государственного сектора экономики, программа предусматривала распоряжение рабочих государственными предприятиями.

Несмотря на то, что Рабочая партия шла по пути синтеза различных теорий социализма, ей предстояла тяжелая работа по борьбе за влияние в рабочем движении. На севере Франции преобладали более умеренные сторонники развития кооперации, на юге – более радикальные анархисты. Созвать объединенный рабочий съезд уже не удалось, но и в самой Рабочей партии обострилась борьба между двумя тенденциями социализма.

* * *

В условиях преследований революционного социализма во Франции предложенная Прудоном стратегия постепенных действий, вытеснения власти и собственности гражданским обществом, оказалась ко времени. Именно на этом прудонизм сходился с тенденциями умеренности в марксисткой школе, которые усиливались и в Германии.

Но в другом отношении французский (и в целом европейский) социализм удалялся от прудонизма. Преобладающим стало непредрешенчество конкретных черт социализма, антиутопизм – поссибилизм (действие по возможности). Прудон победил в тактическом споре. Но ценой этого стало замалчивание принципиальных конструктивных разногласий, а по существу – забвение конструктивной программы социализма, разработанной Прудоном. Это забвение происходило по мере «вымирания» прудонистов времен Парижской коммуны.

Последним из могикан прудонизма был **Бенуа Малон** (1841-1893), участник бакунинского Альянса социалистической демократии, Интернационала и депутат Парижской коммуны. Он разработал идею «интегрального социализма», в котором сочетались идеи коммунального социализма прудоновского толка и социальная доктрина марксизма.

Штурм капитализма Коммуной не удался, и старый коммунар по возращении во Францию в конце 70-х гг. предлагал осаждать систему через местные коммуны, превращая их в территориальное самоуправление, в своего рода школу: «Завоевание муниципалитетов даст нам возможность приобретать опыт административного управления»[743]. Затем «красные муниципалитеты» могут превратиться в бастионы социализма.

В отличие от более поздних идей Бернштейна, Малон считал необходимым, действуя постепенно, держать в голове четкие параметры нового общества. Последним заветом прудонизма были слова Малона: «мы желаем не улучшить буржуазный строй, а подготовить социалистический»[744]. Почти цитируя Прудона, Малон заявлял: «придется долго ждать, но это лучше, чем одна Варфоломеевская ночь»[745]. По мнению Малона, как только муниципальный социализм укрепится, он совершит **«бескровную революцию»**. Таким образом, задача социалистических властей на местах – «создать базу для коммунальной собственности и подготовить образование большой социалистической федерации коммун»[746]. Провозглашенная Коммуной стратегия революции может проводиться без грохота орудий.

В ходе избирательной кампании 1881 г. Рабочая партия потерпела поражение, и это вызвало

обострение конфликтов в ней. Жесткое и неудачное руководство Геда подверглось нападкам, структура партии была демократизирована. Гед, заклейменный как авторитарист (его сближение с Марксом также способствовало этому обвинению), ушел из партии, но продолжал называть свою организацию Рабочей партией.

П. Луи в своей крайне пристрастной «Истории социализма во Франции» писал о ситуации в ФРП: «Против Геда выступил Брусс, подобно тому, как против Маркса Бакунин. Та же полемика, те же аргументы»[747]. Впрочем, при «клонировании» конфликта «Маркс-Бакунин» произошли некоторые изменения. Даже Маркс признавал, что его товарищи Лафарг и Гед первыми вывели противоречия в партии на уровень публичной полемики, и «будут опорочены как нарушители мира»[748]. Позиции сторон тоже изменились – теперь федералисты выступал с более умеренных позиций, а марксисты – с более радикальных. Последователи Прудона оказались теоретически сильнее, и даже Маркс с прискорбием писал о поражении своих адептов в полемике[749].

После раскола ФРП в 1882 г. Брусс и Малон возглавили Федерацию работников социалистов-революционеров, которая приняла принципы Интернационала образца 1866 г., то есть идеологические рамки, открывавшие возможность синтеза различных тенденций социализма.

После 1880 г. в страну вернулось большинство деятелей Коммуны. Бланкисты создали еще одну социалистическую организацию – Центральный революционный комитет (социал-революционная партия). Поскольку собственной конструктивной программы, принципиально отличной от марксизма и прудонизма, у бланкистов не было, им предстояло после некоторых колебаний сделать выбор между двумя тенденциями. Авторитарная политическая программа бланкистов способствовала сближению с марксистами. В то же время общая тенденция к большей умеренности мировой социал-демократии способствовала залечиванию раскола гедистов и поссибилистов. Из-за того, что постаревший Брусс в своем поссибилизме совсем сблизился с либералами, в немарксистском социализме произошло выделение более радикального крыла – в 1890 г. образовалась Французская партия социал-революционных рабочих во главе с Ж. Алеманом, выступавшая за сочетание синдикализма и революционной политической борьбы. Одновременно бурно развивалось синдикалистское движение, которое стало еще одним проявлением идей освободительного социализма.

Впрочем, несмотря на свой поссибилизм, Брусс, в отличие от немца Бернштейна, не подвергал сомнению важность целей движения, и категорически требовал не забывать и о них: «Новая политика – … это великая рабочая партия, неизменно верная коммунистической цельности своей программы, регулярно наносящая на скрижали своего знамени всю совокупность идеалов, кои позволяет предвидеть наука, но в повседневной борьбе становящаяся на почву возможного и осуществляющая таким образом свой идеал по частям»[750].

В 1885 г. социалисты всех направлений выдвинули общий избирательный список Федерации республиканских социалистов, в который вошли не только бланкисты Вальян и Гамбон, поссибилист Малон, марксист Гед, но и анархисты Э. Реклю и П. Кропоткин. Список потерпел поражение, Франция еще не ощутила остроту социальных проблем. Но уже в 1886 г. начались мощные стачки, которые в дальнейшем сопровождались правительственными репрессиями. Эти события способствовали росту влияния социалистов, и в 1886 г. они вошли в столичный муниципалитет, что подтвердило правильность линии Малона.

* * *

В 1893 г. произошло событие, которое заметно усилило влияние социалистов во Франции, одновременно сделав сам социализм более этатистским и умеренным. Несколько депутатов-радикалов (то есть либералов) во главе с Ж. Жоресом и А. Мильераном объявили себя социалистами и выступили за национализацию промышленности. Жорес начал свое восхождение к славе одного из лидеров Интернационала, будучи еще полу-либералом, но уже революционным демократом. Он был историком Великой французской революции и считал, что якобинцы «уже проявляли смелый социализм»[751]. Такое понимание социализма как демократического радикализма и этатизма сочеталось с тактическими взглядами Жореса, которые были весьма умеренными. Со времен Великой революции много воды утекло, и сегодня Жорес считал залогом успеха союз либералов и социалистов против реакции. В эпоху после поражения Коммуны это было вполне логично, но вызывало возмущение Геда, для которого условия своей страны были вторичны в отношении универсальных законов марксистской науки.

На выборах 1893 г. социалисты добились успеха. Социалистическая пропаганда полилась с парламентской трибуны. Но понимание социализма у депутатов было все таким же примитивным. Вчерашние либералы Жорес и Мильеран, ставшие социал-либералами, уже не видели очевидной для Маркса и Прудона разницы между государством и обществом. Ж. Жорес отождествляет государство и нацию. Стремясь «поставить государство на место крупных посредников, диктующих в соответствующее время рынку свои законы», он утверждает, что тогда «сама нация будет своим собственным посредником»[752]. Логическая уязвимость концепции неофитов социал-демократии открывала хорошие возможности для критики со стороны либералов, которые тут же сравнили Жореса с библейским Иосифом – чиновником фараона. Древнеегипетская бюрократическая машина спекулировала хлебом ничуть не меньше, чем частные торговцы. Уж не хочет ли Жорес вернуть Европу к принципам древнего деспотизма, когда чиновник заменял предпринимателя? Жорес отмахнулся от этого вопроса с помощью ссылок на национальный (сейчас было бы уместно сказать – антиглобалистский) и социалистический характер своей программы. Новые чиновники будут действовать в интересах нации против мировых спекулянтов. Но эта парламентская полемика 1894 г. показала, что социал-либеральная программа Жореса была не социалистической, а национал-бюрократической (что не мешало Жоресу бороться за солидарность партий Интернационала и бороться с шовинизмом, когда речь шла о военной угрозе). Программа Жореса противостояла не столько отношениям господства, сколько глобальному рынку конца XIX в. и консерватизму внутри страны.

В 30-х гг. XX в. глобальный рынок рухнул, и социал-либерализм стал велением времени – совершенно независимо от того, под каким знаменем действовали последователи Иосифа – под коммунистическим, нацистским, французским, шведским или американским. И выяснилось, что чиновник также корыстен, как и буржуа, но все же в условиях индустриализма способен смягчить последствия капиталистического экономического хаоса, порождающего массовую нищету, соседствующую с богатством. XX век так и не смог решить дилемму: бюрократические методы стабилизации экономики ведут к ее стагнации, а ограничение власти чиновников в отсутствие развитого самоуправления – к всевластию глобальной олигархии и возвращению социальных бедствий XIX в. на новом уровне. Историческая правота оказалась и за социал-демократами, и за их критиками либералами, что в итоге свело к минимуму разницу между ними, и загнало исторический процесс в тупик, при котором лекарства стали синонимом другой болезни.

Но на заре политики социального государства она казалась простым решением наиболее острых проблем. Можно было оставить в стороне споры о будущем обществе и путем умеренных законов несколько улучшить положение работников. В конце XIX века для такой политики были еще значительные резервы, особенно в условиях, когда Запад превращался в своего рода «столицу мира», пользующуюся ресурсами Азии, Африки и Латинской Америки.

К началу XX в. поссибилизм и этатизм возобладали в социалистическом движении как Франции, так и

Западной Европы в целом. Но **если в прудонизме** эволюционная стратегия, бескровная революция и децентрализованная модель общества будущего были **органически увязаны**, то в марксизме отступление от идеи мировой революции и радикального перехода к диктатуре пролетариата разрушало всю концепцию, выводило ее за рамки социализма и **превращало марксизм в социал-либерализм**.

Во Франции федерализм еще некоторое время не сдавал позиций. Разногласия между фракциями неоднократно обострялись из-за разного взгляда на политические кризисы республики и другие тактические проблемы. Но именно на тактическом уровне было легче всего договориться. В итоге и федералистская модель социализма, и принципиальные положения коммунистической доктрины марксизма была оставлена в стороне ради единства.

В 1905 г. поссибилисты, республиканцы-социалисты, марксисты, алеманисты и бланкисты объединились во Французскую социалистическую партию, известную также как Секция рабочего интернационала (СФИО). Итогом этого теоретического синтеза стала формула этатизм + парламентаризм + поссибилизм. Несмотря на то, что германская и британская социал-демократии развивались другими путями, их теоретики пришли к схожим выводам. Унаследовав тактические идеи Прудона и Лассаля, социалистические и экономические взгляды Маркса, социал-демократия в то же время откатилась к социальной программе якобинцев и государственных социалистов, к 1848 году.

Путь к свободе: индивидуализм и синдикализм

Заняв нишу умеренного социализма, этатизм вытеснил антиавторитарное направление в нишу антисистемного Сопротивления. Первоначально это вело к ослаблению освободительного социализма и анархизма, но затем дало ему новый импульс развития. Ведь даже марксисты, сохранившие антисистемные принципы Маркса, с отвращением отшатывались от оппортунизма социал-демократии и шли на сближение с анархизмом. **Анархизм и близкий ему революционный синдикализм** стали прибежищем тех масс, которые не могли или не желали интегрироваться в Систему**. Социал-демократия** выражала интересы тех, кто хотел быть частью рационально управляемой социальной системы, в которую шаг за шагом превращался и капитализм.

Усиление марксизма происходило на фоне падения влияния анархизма. Оно началось еще при жизни «великого бунтаря» и было осознано им как объективный процесс.

Бакунин дополнил конструктивную модель Прудона радикализмом и более последовательным коллективизмом, который соответствовал и позиции учеников Прудона, принявших участие в Парижской коммуне. Бакунина отличала вера в народные способности, в то, что народ свободолюбив и склонен к солидарности хотя бы настолько, чтобы самоорганизоваться при крушении государства. Прудон занимал более осторожную позицию и оказался прав, что вынужден был подтвердить в 1875 г. и сам Бакунин. Эта реальность предопределила дальнейшее развитие социалистической идеи к умеренности на протяжении последней четверти XIX в.

Но чтобы сохранить свою идентичность, анархистам приходилось оставаться наиболее радикальными в нерадикальную эпоху. Перед ними оставалось два пути. Первый: упрямо игнорировать нереволюционность большинства и превращаться либо в бунтарскую субкультуру штирнерианского толка. Второй – возглавить маргинальную часть формировавшегося рабочего класса, продолжая настаивать на отрицании партийной борьбы.

Как пишет современный анархист В. Дамье, «антиавторитарные социалисты (анархисты) оказались в большинстве стран оттеснены на обочину рабочего движения. С одной стороны, этому способствовала ошибочная тактика самих анархистов конца XIX века, полагавших, что они могут вызвать немедленную революцию с помощью символических актов насилия и не нуждаются в прочной и длительной организации сил трудящихся. С другой стороны, бурный экономический рост 1880-х гг. укрепил иллюзию о возможности мирного улучшения положения трудящихся в рамках индустриально-капиталистической системы»[753].

Но это была не просто иллюзия. Положение некоторой части работников действительно улучшилось. В связи с ростом производительности труда и расширением ресурсной базы капитализма в ходе колониальной экспансии «пирог» доходов населения стал больше. Соответственно, увеличилась и доля, доставававшаяся рабочим, особенно квалифицированным. Этому способствовали и успехи науки, и борьба социалистов за минималистские меры социальной защиты. При этом возможности для социального творчества простого человека в индустриальном обществе заметно снизились. Все это давало явные преимущества социал-демократии с ее дисциплиной, политическим реформизмом и марксистской научностью. Впрочем, марксистский «мэйнстрим» не мог полностью вытеснить либертарный элемент, унаследованный Марксом в 70-е гг.

Обаяние марксизма как комплексного социального учения захватила и последователей идей анархизма и народничества. Анархист А. Боровой писал: «в этом гениальном превращении обрывков мыслей в цельное научное миросозерцание лежит непреходящая заслуга Маркса»[754]. Гипноз цельности

учения делала анархистов податливыми к коммунистическим выводам Маркса, тем более, что их независимо подтверждал и Кропоткин. Впрочем, по мнению того же Борового, выводы анархо-коммунистов были не научными, а эмоциональными: «Конечно, пофос сердца, трепет страдания, которыми проникнуты многия вдохновенныя страницы Кропоткина или Реклю, невольно заражают читателя; но в этих книгах, печатанных кровью сердца, нет той неумолимой логики фактов, которая не только трогает, но и убеждает… С простодушием детей верят анархисты, что успех их идеи может наступить уже завтра»[755]. Достижения народнической социологии оказались заслоненными от Борового громадой марксистской литературы. Однако, самостоятельно развивая анархистскую идею, Боровой приходит к выводам, близким постиндустриальным идеям Михайловского. Сама логика антиавторитарного социализма ведет к отторжению индустриализма, поиску форм общества, которые возникнут по мере того, как индустриализм «отработает» свою историческую роль: «Процесс дифференциации функций, разделения труда сменится другим колоссальным процессом, процессом интеграции, процессом обратного собирания функций. Человек будет в состоянии один собственными силами произвести целиком тот продукт, в котором он нуждается. Ему не нужны будут помощники; не нужны будут специалисты в отдельных отраслях хозяйства. Он станет самодовлеющей хозяйственной единицей»[756]. Это провидение анархо-индивидуалиста Борового казалось абсурдным в начале XX века, но выглядит куда реалистичней в начале XXI столетия – как теоретический предел обнаружившейся в конце XX в. тенденции.

Сила и слабость анархизма – в высоте его идеала: "Из всех формул, в которые страдающее, мыслящее и мечтающее человечество облекло свои страстные искания общественного идеала, – анархизм, несомненно, является наиболее возвышенной и наиболее полно отвечающей на вопросы пытливой человеческой мысли. Наиболее возвышенной, говорю я, потому что центральной идеей анархизма является конечное освобождение личности"[757]. Боровой сознает, что в современном мире еще не созданы предпосылки для общества свободных личностей. Он выстраивает различные социальные идеалы в последовательность: первоначально победит социализм (который у Борового соответствует скорее социальному государству), затем коммунизм, а они, удовлетворив материальные потребности людей и создав технические возможности, обеспечат дальнейшее всестороннее освобождение человека, которое будет означать освобождение и от них, разрушение «отработанных» социальных систем. Сходные идеи высказывал Д. Новомирский, который считал анархо-коммунизм переходным периодом к абсолютной анархии, когда общество утратит экономические предпосылки своего существования и превратится в «совокупность самостоятельных свободных личностей»[758].

Таким образом, **наиболее радикальная постановка целей освобождения личности ведет к выстраиванию последовательности переходных моделей – социальное государство, социализм (коммунизм), анархия.** В этой цепи этатизм оказывается самой «низкой» ступенью, но потому и самой актуальной. Во время Великой Российской революции эта логика приведет к союзу анархистов и большевиков, а затем и к переходу части анархистов на службу советскому государству[759].

* * *

Анархия – результат длительного процесса социального развития. Но нетерпеливое радикальное сознание требует воплощения идеала здесь и сейчас. Этот путь тоже возможен, он приводит к возникновению бунтарской субкультуры, ведущей войну с обществом угнетения.

Бенджамин Таккер (1854-1939), вслед за своим учителем Джозией Уорреном (1799-1874) призывал жить по-анархически здесь и сейчас. Америка второй половины XIX века, с ее неустойчивостью социальных связей в потоке переселенцев из Европы, растянувшихся от атлантических портов до Дикого Запада, давала

шанс на создание штирнеровского «союза эгоистов» в модернизированном американцами варианте.

Таккер игнорирует социалистические и коммунистические направления анархизма, сводя все учение к анархо-индивидуализму: «Анархисты… – эгоисты в наиболее полном и крайнем значении этого слова»[760]. Эгоист может рассчитывать только на себя. А как же мораль, право? Таккер придерживается циничного взгляда на этот предмет: «анархисты вопрос права считают исключительно вопросом силы»[761]. Анархист не приветствует это обстоятельство, он просто считается с реальностью. Ведь именно так действуют в современном мире все «правовые» инстанции: «…группа людей, будут ли это китайские головорезы или конгресс Соединенных Штатов, имеют право, если в их руках сила, убивать или принуждать других людей, или подчинить весь мир своим целям. Право общества на порабощение индивида, и право индивида на порабощение общества, не равны между собою только потому, что их силы не одинаковы»[762]. Таккер также враждебен принуждению личности со стороны законнейшего конгресса, как и со стороны банды головорезов. И личность должна сопротивляться. «Единственное принуждение индивидов, которое анархизм признает, заключается в принуждении нападающих индивидов воздержаться от нарушения принципов равной свободы»[763]. Лучше сопротивляться вместе, чем в одиночку. Но объединение не должно угнетать его членов (здесь Таккер следует за Штирнером) – достаточную силу (для того, чтобы с его волей считались) может приобрести только такой союз, который будет минимально вмешиваться в дела своих членов[764].

Раз права людей основаны на силе, то принципы анархистского сообщества должны определять порядок ее применения: «Не применять силы иначе, как против нападающего; а в тех случаях, когда трудно решить, является ли данный обидчик нападающим или нет, все же не применять силы, если только необходимость немедленного решения не столь настоятельна, что сила нужна для спасения жизни»[765]. «Анархизм признает право индивида или любого числа индивидов определять, что никто не должен насиловать равной свободы своего сочлена. За этими пределами он не признает никакого права контроля над индивидуальным поведением»[766]. Но это – общие правила. Чтобы применять их на практике, Таккер вынужден признать и суд присяжных, и даже тюрьмы[767]. Совмещение идеального принципа индивидуализма с реальностью заставляет Таккера отступать к более умеренным проектам социальной организации, определяя свой анархизм как «последовательное фритредерство»[768].

Итак, перед нами модель общежития, напоминающая дикий Запад – свободные фермеры, которым мало дела друг до друга, и которые готовы стрелять в покушающегося на их свободу. Естественно, что это учение появилось в Америке XIX века, но распространение получило именно там, где для его осуществления были наихудшие условия – в городах. Фермерам и ковбоям Таккер был не нужен, они и так знали, когда можно доставать кольт, а когда нельзя. Жители дикого Запада мечтали о большем порядке, безопасности, гарантиях хлеба насущного. А в невыносимой скученности фабрик и рабочих кварталов Чикаго и Парижа мечта абсолютной свободы была естественной реакцией на фабричное угнетение. Чтобы избежать его, одни копили гроши, чтобы купить билет в Америку, а другие – объявляли обществу угнетения в войну на уничтожение.

Единица может вести смертельную борьбу против общества средствами терроризма. Цепочка событий, которая привела к анархистским террористическим актам во Франции в 1892-1894 гг., шла от произвола капиталистов и государства в отношении рабочих и левых активистов. 1 мая 1891 г. по всей Западной Европе, в том числе по Франции, прокатились социалистические манифестации солидарности с Чикагскими жертвами – анархистами, казненными в США за организацию рабочих выступлений. В Фурми в первомайский праздник началась стачка, на подавление которой была вызвана армия. Солдаты открыли огонь по толпе, 9 рабочих, их жен и детей погибли. Одновременно в Клиши под Парижем произошло столкновение полиции и левых активистов, за которое леваки получили максимальные сроки каторжных работ. В качестве мести за это анархист Равашоль в 1892 г. взорвал стену дома судьи (никто не пострадал).

Выяснилось, что Равашоль пришел в анархистское движение недавно и так понял свой долг борьбы с режимом. Поскольку он «в прежней жизни» был виновен в уголовных преступлениях, это был идеальный пример анархиста, которым можно было пугать общество. Но когда Равашоль был казнен, его примеру последовали террористы, к которым трудно было предъявить уголовные и даже нравственные претензии. Анархист Вайан в 1893 г. бросил бомбу в палате депутатов (опять никто не пострадал). Анархист Анри в 1894 г. бросил бомбу в дорогом кафе. При этом пострадали не только посетители-буржуа, но и работники кафе. Уже в 1893 г. по стране прокатилась волна арестов анархистов, было ужесточено законодательство. Характерно, что Анри указал на эту «коллективную ответственность», которую государство ввело для анархистов за действия двух из них, чтобы объяснить, почему он ввел коллективную ответственность для буржуа, взрывая одних за преступления других. А. Холичер называет Анри несостоявшимся Сен-Жюстом анархизма и продолжает: «лишь отсутствие всеобщего восстания привела этих людей к изолированным и очень ветреным, несистематичным действиям, ибо во время революции каждый из этих индивидуалистов нашел бы свое место в общем движении»[769]. Но может быть истории анархизма повезло, что таким «сен-жюстам» с их примитивными идеями коллективной ответственности и тотального разрушения не довелось развернуться как следует. Они стали проявлением своеобразного интеллигентско-маргинального луддизма, пытаясь сломать общество с помощью бомбы, как луддиты ломали машины (не случайно Анри призывал к разрушению фабрик). Но затем анархисты перешли к индивидуальному террору, жертвами которого стал президент Франции Карно и итальянский король Умберто.

Характерно, что терроризм применяли и различные течения государственников, в то время как часть анархистов выступила против этого метода. Терроризм анархистов конца XIX – начала XX вв. – явление того же порядка, что действия погромщиков реформации и «красный террор» коммунистов. Сознание, не обладающее достаточной культурной подготовкой, может увлечься высокой и гуманистической идеей, но при этом видит путь к высокому идеалу не в конструктивной работе, а прежде всего – в разрушении препятствий, в уничтожении носителей существующего общества. Увы, как правило это только **укрепляет авторитарные черты Системы, против которой сражаются наивные радикальные бунтари**. Однако действия террористов были ощутимым симптомом кризиса капитализма, враждебного социальным гарантиям.

Однако и в таких актах бывает своя положительная сторона. Система, столкнувшись с местью единиц за произвол в отношении рабочего движения, становится осторожней, сдвигаясь от дикого капитализма к социальному государству – парадоксальный эффект анархистского бунтарства. Италия к тому же после убийства короля перешла к более либеральному и социально-ориентированному курсу, известному как «эра Джолитти». Но сам анархизм был скомпрометирован как источник убийств людей, которые не являются источником социальных бедствий. Трагедия терроризма лишний раз подтвердила вывод Бакунина о необходимости бороться не против людей, а против социальных явлений.

* * *

Социальному явлению может противостоять не союз эгоистов, а другое социальное явление. Организационной силе государства, которое легко перемалывало группки вооруженных бунтарей, можно было противопоставить силу рабочей организации.

Теперь анархистам нужно было найти организационную форму, которая противостояла бы партийности. «Выразителям интересов рабочего класса» ответ не пришлось искать долго. Со времен Оуэна и Прудона было известно, что самоорганизация рабочих возможна через профсоюзы. Из антипартийности естественным образом вытекал синдикализм. Из радикализма, который стал «визитной карточкой»

антиэтатистов – **революционный синдикализм**.

Простота идеи прямой конфронтации с капиталом и властью создает иллюзию, что «революционный синдикализм начала XX века родился не в головах теоретиков. Это была практика рабочего движения, которая искала свою доктрину, – прежде всего практика прямого действия»[770]. Но стачка, подобная бунту – это еще не революционный синдикализм. Для того, чтобы превратиться в движение, имеющее стратегию (революционного синдикализма или какую-то другую), рабочие выступления должны соединиться с идеей. А идея не может прийти одновременно в миллион голов. Все равно кто-то должен был ответить на вопросы, которые ставило прямое и беспорядочное действие рабочих с середины XIX века (когда не было еще никакого революционного синдикализма): каким образом преодолеть сопротивление существующей системы и чем ее заменить? **Социальные процессы (в том числе рабочие выступления) ставят проблему, а теория, идеология более или менее успешно решает ее.** То же самое можно сказать не только о синдикализме, но о любой влиятельной идеологии. Синдикализм отталкивается от радикального тред-юнионизма и формирует на его основе альтернативную капитализму модель общества, используя теоретические достижения анархизма и марксизма.

Революционный синдикализм стал полем нового синтеза анархизма и левого крыла марксизма. Идея классового сплочения и действия рабочего класса объединяла марксизм и бакунизм. Та часть марксистов, которая скептически относилась к парламентским методам борьбы, продолжала сближение с анархизмом, начатое еще Марксом и Энгельсом после Парижской коммуны. Этому способствовала и практика рабочего движения, где росло недовольство профбюрократией, где стачка воспринималась как революционное действие. Попытка провести всеобщую стачку была предпринята бакунистами в Испании в 1873 г. Тогда осмеянное Энгельсом, это средство борьбы уже через десятилетие входит в арсенал профсоюзов как социал-демократического, так и анархистского направлений.

В соответствии с идеей Прудона синдикаты становятся не просто организаторами забастовок, но моделью общества будущего. С 1886 г. французские рабочие стали развивать новую форму самоорганизации – «биржи труда», фиксирующие спрос и предложение рабочей силы. Вскоре «биржи» превратились в просветительские центры, взяв на себя ту работу, которой в будущем займется социальное государство. Федерация «бирж труда», возникшая в 1892 г., обросла сетью библиотек, лекториев и музеев. Некоторые программы финансировались муниципалитетами, особенно левыми (как раз в русле идей Малона). **Рабочее и социалистическое движение превращалось в особую субкультуру со своей инфраструктурой.**

Торжество реформизма в социал-демократии имело оборотной стороной подъем радикализма в профсоюзном движении. Одни слои рабочих находили решение своих проблем на пути реформизма, но «пряников не хватало на всех» – другие слои неизбежно не могли вписаться в новую индустриальную систему, где существовали только зачаточные формы социального государства. Тем более, что переход к новому индустриальному миру в большинстве европейских стран оставался незавершенным и все еще был весьма болезненным. В результате за первой волной социальных протестов, связанных с «раскрестьяниванием» и «разремесливанием» трудящихся, их маргинализацией, теперь надвигалась вторая, вызванная преодолением маргинальности, втискиванием личности в потогонную систему, превращением человека в инструмент. Это было новое бедствие, требовавшее нового периода привыкания, который завершился только в эпоху социального государства. А пока неизбежна была новая фаза фабричной конфронтации.

Соответственно, менялись и идеалы рабочего класса. Дело в том, что «вплоть до 1890-1900-х годов его организация не доходила в целом до такого уровня специализации, который позволял осуществить разделение трудового процесса на дробные операции», – пишет В.В. Дамье. Пока этот процесс не зашел

достаточно далеко, работники обладали «комплексными производственными знаниями в своей специальности», что «способствовало формированию у них представлений о возможности рабочего контроля над производством в целом, производственного и общественного самоуправления»[771]. Таким образом, завершение перехода к индустриальному обществу создавало новые возможности для либертарного движения, но время работало против него. По мере дальнейшего развития индустриализма фабричная община разрушалась, и рабочий становился элементом глобализирующихся систем (экономических, социальных и политических), над которыми был уже не властен, но которые качественно расширяли его культурный горизонт.

Пока не возникла система тотальной специализации и социального государства, «рабочий вопрос» решали профсоюзы – социал-демократические и синдикалистские. Их оружием была стачка.

Стачка не была вписана в систему государственного права и воспринималась как вызов священному праву частной собственности. Власть реагировала на стачки как на восстания, и трудовые конфликты то и дело перерастали в столкновения и даже в уличные бои в Италии, Испании, США и других странах. Стачка напоминает преддверие революции. Кажется, что она вот-вот разрушит экономическую систему и позволит нанести решающий удар капитализму, не захватывая правительство. Оно само падет – по ходу дела. Но кто тогда унаследует экономическую мощь, которая будет вырвана из рук капитала? Ответ очевиден, и он вытекает из всего учения Бакунина – организация рабочего класса. Это не противоречит и идее Маркса о взятии власти организованным рабочим классом. Организация рабочего класса – это профсоюзы (синдикаты). Это не машина подавления, значит возражения Бакунина против бюрократии теряют силу. Правда, потом выяснится, что и профсоюз может быть поражен вирусом бюрократизма. Все зависит от его организации. Но в конце XIX века профсоюзная работа в большинстве стран была еще делом энтузиастов, а не функционеров. Почему бы этой организации самих масс не взять власть, не организовать производство на новый лад, преодолеть конкуренцию, организовать планирование? Здесь соединяются марксистские и анархо-коммунистические идеи.

Синдикат как альтернативное общество, вызревающее в недрах капитализма и затем взламывающее оболочку – новое издание замысла Прудона. Синдикализм стал точкой синтеза сразу нескольких традиций, и вполне естественно, что его теоретиками стали и марксисты, и анархисты – Жорж Сорель, Даниэль Де Леон, Артуро Лабриола, Сержио Леоне, Эмиль Пуже и Эмиль Пато.

Стратегия революционного синдикализма предусматривала «прямое действие» рабочих против капиталистов – стачки, саботаж, разрушительные бунты, которые будут нарастать по мере распространения идеалов нового общества без капиталистов и государства. Одновременно будет развиваться и разрастаться синдикалистская организация, которая в итоге охватит большинство рабочих. Их стачка станет всеобщей, старый мир будет парализован, и предприятия захватят сами рабочие, организованные в федерацию синдикатов. Эта федерация станет новой организацией общества.

Синдикализм давал значительный простор для политического творчества. Можно было «выращивать» федерацию союзов прудонистского типа или более централизованную коммунистическую структуру, действовать через профсоюзы или создавать партию, которая является политическим крылом профсоюзов. Один из лидеров американской социал-демократии и в то же время идеолог синдикалистской организации Индустриальные рабочие мира Д. Де Леон писал: «социалистическое общество знать ничего не знает о политическом государстве; в социалистическом государстве политическое государство является делом прошлого; оно либо атрофируется от неупотребления, либо его ампутируют – в зависимости от того, что диктуется обстоятельствами»[772]. По мнению Де Леона политическая партия может играть только разрушительную роль. Созидательные задачи могут играть только профсоюзы. После революции Генеральное исполнительное бюро Индустриальных рабочих мира

станет руководящим органом хозяйственной жизни. Где оно будет располагаться, там и будет столица.

Конкретная модель будущего общества, изложенная в книге революционных синдикалистов Э. Пато и Э. Пуже, не оригинальна – она предусматривала распределение предметов первой необходимости по потребностям, а остальных благ – «по труду» с помощью рабочих книжек.

Современный исследователь В.В. Дамье пишет: «революционный синдикализм заимствовал в марксизме представление о примате экономики и прогрессивности классовой борьбы в развитии общества»[773] – идеи, в меньшей степени характерные для народничества и, соответственно, Кропоткина. Можно согласиться с В.В. Дамье в том, что «революционный синдикализм представляет собой лишь частичный, непоследовательный и противоречивый разрыв с индустриально-капиталистической системой»[774]. Но можно ли при таких оговорках вообще говорить о разрыве?

* * *

Ортодоксы марксизма увидели в революционном синдикализме опасного конкурента, и подвергли его резкой критике по двум направлениям: во-первых, следовало доказать, что революционный синдикализм враждебен марксизму, а во-вторых – что он враждебен интересам рабочего класса.

Они быстро выяснили, что революционный синдикализм предельно близок анархизму. Г.В. Плеханов писал об А. Лабриоле: «Поскольку он гремит против государственного вмешательства в экономическую жизнь общества, постольку его устами говорит (либеральный экономист – А.Ш.) Панталеоне; а поскольку он отстаивает идею договора, постольку его вдохновляет Прудон, и постольку он сам оказывается анархистом»[775]. Здесь Плеханов вослед немецким социал-демократам отходит от Маркса 70-х гг. к Лассалю, апологету как раз государственного вмешательства. Но либеральный экономист тут оказался лишним звеном – ведь анархисты выступают против государственного вмешательства еще последовательнее либералов.

Обнаружив близость революционного синдикализма и анархизма, Плеханов считает, что справился с первой задачей «отмежевания» нового течения от марксизма: «Синдикалистская критика «традиционного социализма» опирается, таким образом, как раз на те же теоретические положения, которые служили некогда анархистам в их борьбе против политики и тактики Маркса в Интернационале»[776]. Но не все так просто: в борьбе с бакунизмом Маркс и Энгельс эволюционировали в сторону антиэтатизма.

Лабриола не скрывает анархистских корней синдикализма: «синдикализм нашего времени в значительной степени является возвращением к прудонизму»[777]. Это дает основание Плеханову бросить вызов Прудону с его идеей общества, связанного взаимными обязательствами. Плеханов и не замечает, что в споре Прудном начинает рассуждать как Таккер, предлагавший рассчитывать только на силу: «Чем обеспечивается выполнение этих обязательств?»[778] Вопрос запоздалый, анархистская мысль давно на него ответила: угрозой санкций, чреватых в конечном итоге бойкотом, исключением из системы.

Плеханов словно боится потеряться между двумя теоретиками анархизма, и в отчаянии отступает на либеральные позиции (куда уже давно сдвигается европейская социал-демократия): «Но что такое договор? Это – сделка, налагающая на лиц, в нее входящих, известные обязательства, исполнение которых обеспечивается законом»[779]. Это удивительное для марксиста изречение. Закон сам по себе ничего не обеспечивает, если сам не обеспечен материальной санкцией (также, как и договор обеспечивается этической или материальной санкцией). Закон отличается от прудоновского договорного права тем, что принимается властной элитой. Плеханов думает, что для анархистов «закон плох именно потому, что он – закон», а в действительности потому, что он – навязан государственной машиной.

Собственно, тот же вопрос Плеханов мог бы задать и Марксу: чем обеспечивается выполнение обязательств при коммунизме, когда уже нет государственного принуждения?

Чтобы стать настоящим марксистом, Плеханову следует очиститься от анархистского наследия «Земли и воли» и «Черного передела». Ан-архии Плеханов противопоставил «пан-архию, которая дала бы возможность непосредственного участия в обсуждении и решении общественных дел всем взрослым членам общества»[780]. Но Плеханов не мог не знать, что анархисты тоже не собираются ограничивать чьи-либо права в решении общественных дел. В чем же тогда различие? О нем Плеханов умалчивает, но оно существует. Анархисты отстаивают автономию, марксисты говорят о решении дел всего общества в целом, которое регулирует жизнь каждого человека по единому плану. Соответственно, все могут участвовать в обсуждении этого плана, но не все могут его принимать. Ан-архия будущего – это защита автономии меньшинства, пан-архия – это решение, всеми обсуждавшееся и потому обязательное для всех, даже если они не согласны с результатом. Плеханов выступает за такое «общество, которое распределяло бы продукты сообразно с потребностями трудящихся»[781]. Но у трудящихся разные представления о своих потребностях, и что делать, если кто-то из них не согласится в этом вопросе с «обществом»?

Революционные синдикалисты не видели этого различия и подчеркивали, что они ближе к Марксу, чем нынешние социал-демократы. Лабриола выступает за возвращение к Марксу «без всеобщего избирательного права и парламентской системы, к Марксу 1848 и 1871 гг.»[782]

Революционный синдикализм не враждебен марксизму как таковому, он противостоит этатизму современной социал-демократии, где марксистский централизм сливается с лассальянским государственничеством. В принципе синдикалистская модель вполне совместима даже с централизмом Маркса – все зависит от того, как будет организован всеобщий синдикат будущего. Революционный синдикализм не привнес в историю социалистической мысли какие-то принципиально новые идеи, но он **стал пространством сближения левого крыла марксистской традиции и синдикалистского крыла либертарного социализма**, в большей степени тяготея ко второму.

* * *

Революционный синдикализм не страдает демонстративным антиполитизмом. Леоне писал, что «всякая классовая борьба есть борьба политическая»[783]. Но синдикалисты не сводят политику к деятельности политических партий. Политика – это противоборство социальных стратегий, идеологий.

Социал-демократы поддерживали политизацию профсоюзного движения. Они не были согласны только с его самостоятельностью. Рабочий класс, объединенный в профсоюзы, должен подчиняться партии рабочего класса. И в этом было ключевое разногласие между синдикализмом и социал-демократией. Плеханов разъяснял логику марксистов: «Чтобы устранить противоположность между гражданским обществом и «политической организацией», необходимо, как я сказал, передать средства производства в общественную собственность. Но общественная собственность на средства производства вовсе не есть собственность, принадлежащая синдикатам. Синдикат, – то есть профессиональный союз, – представляет собою интересы рабочих профессий, т.е. не целого класса производителей, а только данной его части. Где же находят свое выражение интересы класса производителей, как целого? Они находят его в политической партии этого класса»[784]. Но, во-первых, синдикалисты считают представителем общества не отдельный синдикат, а федерацию всех синдикатов, то есть организацию работников всех отраслей, всех трудящихся. Так что это возражение бьет мимо цели. Во-вторых, логика Плеханова оборачивается против него самого. Если синдикализм плох потому, что предлагает передать хозяйство части рабочего класса (что, как видим, является лишь неверной интерпретацией Плеханова), то социал-демократия еще хуже, так как предлагает

считать выразителем интересов рабочего класса как целого его заведомую часть – партию.

Чтобы обосновать такой элитаризм, Плеханову предстоит поделить рабочих на «чистых» и «нечистых»: рабочие становятся сознательными не одновременно. Для рабочего движения «будет гораздо лучше, если передовые рабочие, продолжая свою деятельность внутри профессиональных союзов, в то же самое время сплотятся в особую организацию, которая явится как бы авангардом пролетариата. Отличительной чертой этого авангарда явится именно его сознательность, понимание им конечной цели движения»[785]. Но синдикалисты как раз не против того, чтобы объединить сознательных рабочих, но не в партию, а в революционные синдикаты. Но авангард не может представительствовать от имени всего рабочего класса. Его задача – втянуть весь рабочий класс в революционный процесс, превратиться из авангарда в большинство класса.

Плеханов не согласен такой стратегией, и считает, что в профсоюз должны вовлекаться и несознательные рабочие, руководствующиеся эгоистическими соображениями. А передовой отряд будет руководствоваться «классовым эгоизмом», то есть альтруизмом, так как классовые интересы пролетариата соответствуют интересам всех классов, кроме эксплуататоров[786]. Таким образом, партия становится прибежищем «сознательных», а профсоюз – всех. Партия руководит профсоюзами, «сознательные» рабочие – «не сознательными». Но критерий сознательности – не уровень общей культуры, а приверженность «правильной» «пролетарской» идеологии.

* * *

Революционный синдикализм быстро завоевал симпатии большинства участников рабочего движения Франции, Испании, Италии, Аргентины и ряда других стран. Радикальные синдикалистские профсоюзы с минимальным аппаратом и ставкой на низовую инициативу стали вызовом и обычным тред-юнионистским и некоторым социал-демократическим профсоюзам с развитой профбюрократией. В то же время синдикализм как нельзя лучше гармонировал с идеологическим плюрализмом рабочего движения, где сосуществовали и анархисты, и марксисты, и представители синтетических социалистических течений. Казалось, пока рабочие не приступили к строительству нового общества, их разногласия не важны. Пока у них нет сил для свержения капитализма, они шаг за шагом будем давить на капитал, делая его кризис все более острым, и в то же время усиливая позиции организации рабочего класса.

Таким образом, конструктивная модель общества будущего становилась не актуальной, важнее – задачи сегодняшней борьбы, организации стачек, формирование новых синдикатов. Пуже писал: «Я – анархист, но анархия меня не интересует»[787]. Нечто подобное ранее писал о социализме Бернштейн.

В 1902 г. во Франции «биржи труда» объединились с профсоюзами в единую Всеобщую конфедерацию труда (ВКТ). Либертарная традиция «бирж» соединилась со стачечным активизмом. ВКТ стала ведущей организацией революционного синдикализма в Европе. Ее лидеры рассчитывали на силу «прямого действия», которое «исключает любую заботу о законности»[788]. Такая линия облегчала задачу режима, так как позволяла изолировать радикальное рабочее движение от тех слоев трудящихся, которые признавали возможности улучшения своего положения в рамках легальности. Как только либеральное государство согласится обратиться к социальному законодательству, стратегия прямой конфронтации потеряет свою привлекательность.

1 мая 1906 года ВКТ провела первую в Западной Европе (и вторую в Европе после России) всеобщую стачку – за 8-часовой рабочий день. Несмотря на то, что стачка вызвала даже баррикадные бои, выяснилось, что она, строго говоря, не приобретает всеобщего характера – ведь часть рабочих все равно не

организована в синдикалистский профсоюз. Но будь она и повнушительнее, все равно всеобщая стачка сама по себе не вела к революции. Зато, несмотря на поражение стачки, предприниматели пошли на частичные уступки. И это было уроком для рабочих.

В октябре 1906 г. конгресс ВКТ принял Амьенскую хартию, которая стала классическим документом революционного синдикализма. Она провозглашала «борьбу за уничтожение системы наемного труда и предпринимательства»[789] путем экспроприации капитала. Хартия «предлагает как средство борьбы всеобщую стачку и считает, что профсоюз, являющийся в настоящее время объединением для сопротивления, сделается в будущем объединением для производства и распределения, основой реорганизации общества»[790].

Очень смело. Но на этом описание стратегических целей движения заканчивается и остается столь же неконкретным, как у марксистской социал-демократии. Хартия требует от своего члена «не вносить в профсоюз те мнения, которые исповедует вне профдвижения»[791]. Таким образом лидеры профсоюза надеялись объединить рабочих, принадлежащих к различным идейным направлениям, преодолеть раскол «политических школ».

Сравнив «Амьенскую хартию» с работами М.А. Бакунина «Организация Интернационала» и «Политика Интернационала», Д.И. Рублев делает вывод: «Таким образом, взгляды Бакунина на рабочее движение совпадали с позицией, занятой в этом отношении революционно-синдикалистскими организациями Европы конца XIX – начала XX вв.»[792] Но одно важное различие есть. Бакунин, призывая рабочих объединяться по отраслям, вести экономическую борьбу с капиталом, видит в этом отправной пункт дальнейшего развития рабочего класса, в ходе которого трудящийся «в силу естественного хода вещей и развития борьбы дойдет скоро до признания всех политических, философских и социалистических принципов Интернационала, которые в сущности являются только истинным выражением его исходной точки и его цели»[793]. Амьенская хартия купирует обсуждение философских и политических проблем, конструктивной программы социализма.

В 1908 г. руководство ВКТ перешло к реформистам. В.В. Дамье объясняет это тем, что Организация не выдержала чрезмерного напряжения сил»[794]. Но, например, синдикалистская Национальная конфедерация труда Испании выдерживала и репрессии, и напряжение стачечной борьбы. Причина перехода к реформизму крылась уже в Амьенской стратегии движения.

Опасение раскола привело к идейной стагнации революционного синдикализма. В Амьене обсуждение идеологии было отложено до победы. Но без понимания цели борьбы было невозможно найти путь к новому обществу. Провозгласив радикальную цель, вожди синдикализма отказались обсуждать ее во имя единства рабочего класса, и сосредоточились на поссибилистских задачах сегодняшнего дня. В погоне за массами они отказались от идеологической работы (чтобы не отпугнуть более консервативную часть рабочих). Ставка на инициативу масс, на их сознание, сменилась организационной механикой, сиюминутной выгодностью участия в профсоюзе, а значит – нарастанием бюрократизации и минимализмом требований.

* * *

Не все анархисты поддержали синдикализм, но это течение в анархистской среде было весьма влиятельным. Анархо-синдикалистский взгляд был изложен в резолюции Амстердамского анархистского конгресса 1907 г., предложенной Ф. Дюнуа и П. Монаттом: «экспроприация и переход орудий и продуктов труда в коллективное пользование могут быть совершены только самими рабочими, синдикат призван

преобразоваться в производительную группу и представляет в современном обществе зародыш будущего общества»[795].

Но ведущий итальянский теоретик анархо-коммунизма Энрике Малатеста сомневался, что синдикаты, порожденные капиталистической эпохой, смогут трансформироваться в анархо-коммунистические ассоциации, устроенные на совершенно новых принципах. Но Малатеста не спешит прорабатывать переходные модели от синдикатов к анархо-коммунистическим ассоциациям будущего. Анархические и коммунистические отношения возникнут путем «разрушения существующих учреждений»[796]. Этот наивный взгляд господствовал в анархистской идеологии того времени, но ведущий теоретик анархизма начала XX века П.А. Кропоткин, о котором речь пойдет ниже, уже начинал пересматривать бесшабашную веру в разрушительный социальный взрыв. Малатеста был моложе и проделал ту же эволюцию позднее.

Табу на идейные споры в синдикализме стало еще одним ударом по анархистской традиции. Марксисты сосредоточились на работе в партиях, которые в свою очередь могли проводить свое влияние в профсоюзах. Анархисты принципиально отрицали возможность создания своих партий. Крупные профсоюзы отказывали анархистам в праве вести свою пропаганду. Оставалось создавать свои профсоюзы, которые в силу своей идеологической окраски и бескомпромиссности, как правило, были малочисленными (хотя в Испании, Швеции, Аргентине и позднее Германии влияние анархистов было преобладающим и в крупных синдикалистских профсоюзах). Но тенденция развития профсоюзного движения неумолимо толкала синдикаты в сторону тред-юнионистской модели, что бы не говорили их лидеры. Остановить эту тенденцию могли только преследования властей, стимулирующие конфронтацию, и последующая революция (как, например, в Испании).

Крупные профсоюзы, которые формально провозглашали революционные цели, в силу необходимости улучшать положение своих членов, сосредоточились на борьбе за сегодняшние права рабочего класса. И эта борьба дала результат. У капитализма вскрылись резервные возможности – по крайней мере в развитых индустриальных странах рабочему классу можно было доплатить. Приближалась эра социального государства, в котором человеку были гарантированы некоторые социальные права. Сначала они поддерживались силовым давлением профсоюза на капитал. С 30-х гг. XX века они будут гарантированы национальным государством. Профсоюзы, таким образом, превратятся в подсистему этого государства. К этому времени ВКТ забудет о планах революционного синдикализма и альтернативного общества. Это было предопределено хартией 1906 г., которая запретила выработку модели общества, стремление к которому было написано на знаменах рабочего движения. Может быть, это к лучшему? Социальное государство оказалось не худшим изобретением человечества. Только в начале XXI в. становится очевидно, что у социального государства есть свои пределы развития, и на новом витке истории оно разрушается под действием глобального рынка. А это значит, что человечеству жизненно необходимо продолжать споры, «замороженные» в начале XX века.

Правая ревизия Бернштейна

Главной проблемой для марксистской ортодоксии стала «ревизия» ее революционного наследия. В отличие от нынешних экс-марксистов, которые пытаются представить и Маркса социал-либералом, правые социал-демократы конца XIX века не скрывали, что производят именно ревизию, пересмотр ортодоксального учения. Ортодоксы марксизма, естественно, должны были принять этот вызов.

В конце XIX – начале XX вв. «ревизия» марксизма разделила социал-демократию на социалистическое и социал-либеральное направления, ведущие в разные стороны. Экономической основой «ревизии» стала временная стабилизация капитализма в конце XIX – начале XX вв. – первая глобализация эпохи империализма. Социальные противоречия в зоне развитых индустриальных стран притупились, а ситуация в Азии, Африке и Латинской Америке оказалась под контролем государств Запада благодаря перевесу военной техники колонизаторов и недостаточной развитости процесса модернизации. В 1874-1904 гг. в мире наступила Великая тишь, прерывавшаяся лишь локальными конфликтами на периферии Западной Европы. Не лучшее время для революционных теорий.

Идеологические корни «ревизии» крылись в заимствовании социал-демократами тактических принципов прудонизма и лассальянства при забвении прудонистского конструктивного идеала (под предлогом отказа от «предрешения» конкретных форм социализма). Соответственно, разумное сочетание революционных и поссибилистских (оппортунистических) методов борьбы за идеал предлагалось заменить только оппортунизмом – использованием благоприятных возможностей для частичного внедрения социальных гарантий, элементов демократии и обобществления. Лозунгом этого течения стала остроумная фраза **Эдуарда Бернштейна (1850-1932)** «Движение – все, конечная цель – ничто». В 1896-1899 гг. работы этого видного социал-демократического теоретика «Проблемы социализма» и «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии» взорвали Второй интернационал.

*** * ***

Бернштейн, в отличие от нынешних правых социал-демократов, не отрицал перспективу преодоления капитализма принципиально новым социалистическим обществом. Просто идеал социализма был ему не очень интересен: «Если под установлением социализма понимать по всем правилам и последовательно коммунистически организованное общество, то мне во всяком случае оно представляется лишь в весьма отдаленном будущем»[797]. Вместо «перманентной революции» Маркса Бернштейн стал предлагать перманентную эволюцию, преобразование общества «путем непрерывной демократизации и социализации общественного организма»[798].

Бернштейн предлагал размыть революционную грань между капитализмом и социализмом, разложить социализм на детали, и начать внедрять отдельные из них в капиталистический механизм: «…нынешнее поколение пожнет немало плодов социализма, если не в его патентованной форме, то на деле. Постоянное расширение сферы общественного воздействия, т.е. расширение круга обязанностей и соответственно прав личности в обществе и обязанностей общества в отношении личности, расширение прав надзора организованного в государство общества над его хозяйственной жизнью, расширение демократического самоуправления в общинах, округах и провинциях и расширение его функций – все это означает для меня продвижение к социализму или, если угодно, поэтапное осуществление социализма»[799].

Как видим, бернштейнианство, синтезируя марксизм и лассальянство, отчасти переоткрывает

прудонизм. Особенно это заметно в области тактики: «Новый строй, принципиально отличающийся от буржуазного, должен быть достигнут путем созидания, а не насилия, путем реформаторской работы по совершенствованию старого строя, прежде всего на пути укрепления и расширения демократии»[800]. Не является ли выступление Бернштейна просто переходом на позиции прудонизма? Важно различать их позиции. Прудон выступает за создание сети организаций, основанных на новых принципах и самостоятельных от существующей Системы. Бернштейн предлагает корректировать саму Систему. Он отождествляет интересы общества и государства. Такое сочетание лассальянского (и отчасти марксистского) государственничества и прудонистской стратегии не могло вести к социализму, но способствовало возникновению социального государства. В этом отношении Бернштейн в большей степени продолжает дело Лассаля, чем Маркса и Прудона, хотя многое заимствует у обоих.

Разница Прудона и Бернштейна прежде всего заключается в том, что Прудон стремился **сжечь** власть и собственность на медленном огне, а Бернштейн намерен их только «поджаривать». Бернштейн берет разумный подход у Прудона и доводит его до абсурда. Прудон шаг за шагом идет к цели, а Бернштейн получает удовольствие от прогулки, даже если это – прогулка по кругу («цель – ничто», следовательно – даже не ориентир для движения).

Прудон – конструктивный социалист, он никогда не выпускает из поля зрения «конечную цель», упрямо конструируя социалистические элементы уже в ткани капиталистического общества. Бернштейн называет социализмом усиление государства (что неприемлемо для Прудона), введение социальных гарантий сверху. Таким образом, бернштейнианство, возникшее на марксистской основе, видит социализм совершенно иначе, чем прудонизм.

Прудоновский социалистический сектор вызревает в недрах капитализма, он не требует захвата трестов и буржуазного государства. Он требует свободы для своего развития и в финале капитализма – революции, свержения господства буржуазно-бюрократических институтов над социалистическим сектором, разрушения системы управленческой централизации. Марксистский идеал сверхцентрализованного нетоварного общества не может возникнуть без диктатуры. Маркс и Энгельс на шкале радикализма остаются левее Прудона, а Бернштейн – правее и с точки зрения радикализма, и с точки зрения общественной модели, в которой Бернштейн идет по пути, указанном Марксом, с признанием лишь отдельных элементов кооперативного социализма и синдикализма. Кооперативы и профсоюзы для Бернштейна – хорошая школа демократии.

Логика вытеснения существующей системы общественными институтами, исповедуемая Бернштейном вослед Прудону, вынуждала его сделать шаг в сторону от этатизма и признать, что даже марксисты сильно преувеличивают «значение созидательной силы революционной власти для социалистической преобразования современного общества»[801].

Власть не способна построить социализм, социализм должен вызреть. Революционная власть может облегчить расчистку пространства для развития социалистических отношений, но если она возьмется их строить, то, как показал опыт XX века, получится только бюрократическое общество.

Ключевой ценностью Бернштейна является уже не социализм, а демократия. Он упоминает ее как нечто само собой разумеющееся: «демократия является в принципе уничтожением классового господства, если и не уничтожением самих классов»[802]. Собственно, если нет господства, то нет уже и господствующих классов. Наступил социализм. Но у Бернштейна демократия – это не социализм («цель»), а реально существующее явление («движение»).

Принципиально важно, **что понимается под демократией**. Если всеобщее избирательное право, централизованное государство, в котором демократию олицетворяет прежде всего полномочный парламент и «всенародно избранный» президент, то ни о каком уничтожении классового господства

говорить не приходится. Напротив, правящая элита получает прекрасную структуру для защиты своих привилегий.

Если понимать демократию как реальность народоправия, то приходится признать, что парламентско-президентская система – это еще одна форма власти социальной элиты, а не остальной части населения («народа»). Чтобы демократия отождествлялась с властью народа, а не профессиональных управленцев и политиков, то необходимо вернуться к идеям демократии федерализма и реального самоуправления.

*** * ***

Бернштейн заставил марксистов вернуться к рассмотрению явлений и принципов, которые Маркс отверг у Прудона. Но решения предложил несколько иные, уводящие социализм в стремящуюся к нулю бесконечность.

Бернштейн уже принципиально смешивает социальную защиту, экономическое регулирование и социализм. Социализм превращается в некоторую субстанцию, растворенную в существующем обществе. В разных вполне капиталистических структурах может быть «больше социализма»: «Обществу достаточно воспользоваться принадлежащим ему правом контроля над экономической жизнью. В хорошем фабричном законе может содержаться больше социализма, чем в национализации целого ряда фабрик.

Я открыто заявляю, что нахожу чрезвычайно мало смысла и интереса в том, что обычно называют «конечной целью социализма». Эта **цель**, чем бы она ни была, для меня – **ничто, движение – это все**»[803].

Такова знаменитая формула отрицания конечной цели. Философски (но не политически) Бернштейн мог опереться на фразу Энгельса, сказанную в 1893 г.: «У нас нет конечной цели. Мы сторонники постоянного непрерывного развития, и мы не намерены диктовать человечеству какие-то окончательные законы»[804]. Аналогичные мысли в философском преломлении можно найти в работе Энгельса «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии», где он говорит об отсутствии возможности завершения истории в совершенном обществе[805].

Из этого сходства академик Т.И. Ойзерман делает вывод: «Можно, следовательно, сказать, что обличаемая Лениным формула Бернштейна в принципе не отличается от высказываний Энгельса, если, конечно, отвлечься от ее парадоксально-философского словесного выражения»[806]. Философ Т.И. Ойзерман мог бы и заметить, Птак страшно, ког выражения"но-филешения общества в соврнечномости строить социализм с помощью якобинских методов. деревне.что у Бернштейна речь идет не о «конечной цели истории», а о «конечной цели социализма». Разница существенная: социалистическое общество – это лишь грядущая стадия на пути истории. Отрицание этой стадии (цели социализма) предвосхищает высказанную уже в 1989 г. идею Ф. Фукуямы о «конце истории», то есть о невозможности создать что-то более «высокое», чем либеральная или социал-либеральная система. То, что отрицал Энгельс, логично вытекает из того, что утверждал Бернштейн и его нынешние эпигоны.

Понятно, когда различие между позициями Энгельса и Бернштейна не замечает бывший марксистско-ленинский философ. Куда печальнее, когда с ним солидаризируется серьезный историк Е.Г. Плимак. Отталкиваясь от позиции Ойзермана, он «развивает наступление» бернштейнианцев против Ленина, обличавшего ревизионистов за крылатую фразу о цели и движении. Е.Г. Плимак возмущен кощунственностью Ленина, посягнувшего на теорию, «которая обобщила тенденции десятилетий», среди которых историк называет «эволюцию к всеобщему избирательному праву, позволяющему без бланкистских революций навязывать буржуазному обществу социальные реформы, отрицание идеи

диктатуры пролетариата…», сокращение рабочего времени. Но пафос восхваления Бернштейна здесь явно превышает заслуги отца ревизионизма.

Всеобщее избирательное право было известно и во времена Первого Интернационала, показало свои плюсы и минусы, свою ограниченность и связанные с ним возможности. Ничего нового об этом инструменте по сравнению с Бланом и Лассалем Бернштейн миру не сообщил. Отрицание диктатуры пролетариата – это не «тенденция», а вопрос принадлежности к марксизму. Можно разделять эту идею и быть марксистом, или не разделять ее и быть кем-то еще – хоть либералом, хоть народником, хоть анархистом.

Для научного социализма важно, насколько точно обобщены Бернштейном тенденции «последних десятилетий» (то есть конца XIX – начала XX веков), актуальные и для современной нам эпохи глобализации. Увы, Е.Г. Плимак вслед за Э. Бернштейном, П. Струве и Т. Ойзерманом (но не Марксом и Энгельсом) обобщает эти тенденции весьма нелогично, увязывая социальные реформы и всеобщее избирательное право. Во-первых, за несколько десятилетий до введения всеобщего избирательного права в Великобритании был принят закон о десятичасовом рабочем дне, на который ссылался Маркс в 1864 г. как на пример осуществления легальным путем принципов политэкономии пролетариата (о чем напомнил Е. Плимак[807]). Маркс при этом, разумеется, не писал, что Британия стала полу-социалистической страной, он просто указал, что закон выгоден пролетариату. Социальное законодательство в России стало вводиться с 1896 г. – безо всякого парламентаризма, но зато после мощных стачек в столице.

Во-вторых, те социальные реформы, которые проводились в Европе до 30-х гг. гг. XX века, не зависят от наличия или отсутствия всеобщего избирательного права. Системное социальное законодательство, позволяющее говорить о качественных преобразованиях в западных обществах, стало осуществляться в условиях Великой депрессии – через несколько десятилетий после формального введения всеобщего избирательного права для мужчин. При этом социальное государство возникло не только в США, но также и в гитлеровской Германии, далекой от демократических идеалов. Это стало результатом кризиса капиталистической системы и давления коммунистического примера.

Что касается уменьшения рабочего дня при капитализме, то здесь все отнюдь не однозначно. Автор первой книги об империализме Д. Гобсон, напротив, критиковал британское общество за царящее в нем недопотребление (предвосхищая концепцию Кейнса). Ограничение рабочего дня сочеталось с большей интенсивностью труда, с тэйлоризмом.

Удар по бернштейнианству нанес уже кризис 1900 года, который показал, что «обобщение тенденций» оказалось не самым удачным. Увы, мир начала XX века оставался конфликтным, кризисным, некоторое улучшение положения работников в Англии сопровождалось ухудшением их положения, скажем, в России (особенно во время кризиса 1900-1903 гг. и последующей депрессии).

* * *

Бернштейн считал, что даже при сохранении капиталистической организации производства возможно «более **справедливое распределение**»[808]. В этом – формула этатизированного индустриального общества, на основе которого может существовать социальное государство. Капитализм в таком обществе как правило сохраняется (исключение составляет модель коммунистических режимов), но произведенный продукт перераспределяется в пользу трудящихся и уязвимых слоев.

Л.Н. Бровко считает, что в идее воздействия распределения на производство (а не наоборот) у Бернштейна «мы видим явные элементы будущей теории Дж. Кейнса об «эффективном спросе»…»[809]

Хотя, конечно, Кейнс не опирался непосредственно на своих предшественников Прудона, Лассаля и Бернштейна, развитие событий в XX в. подтвердило правоту их взгляда на равноправное место распределения в экономике.

Развивая идеи Маркса, Бернштейн переступает грань отделяющую социалиста от либерала, и становится апологетом акционерной собственности. «Собственность есть собственность, движимая или нет. Акция – не только капитал, она – капитал в его самой законной, т.е. возвышенной форме. Она – свободное от грубого соприкосновения с низкой стороной промышленной деятельности свидетельство на участие в прибавочном продукте национального или мирового хозяйства. Она, если угодно, динамичнее капитала»[810]. Бернштейн кардинально расходится здесь с Прудоном, возводя в абсолют причастность к собственности, уже совершенно оторванной в акциях от владения, распоряжения. Товарищи по партии раскритиковали Бернштейна за наивное увлечение акционированием. К. Каутский возражал Бернштейну, что акции – «лучшее средство для улавливания и обирания простодушных людей»[811] и роста паразитизма. Этим Каутский косвенно признал вторичность капитала в отношении к фактору власти управленцев. Капитал у многих, а власть – нет.

* * *

Резкость формулировок Бернштейна вызывала возмущение его товарищей по партии. А. Бебель писал Бернштейну, ссылаясь на Каутского: «Карл был вполне прав, когда сказал в Штутгарте, что если справедливы содержащиеся в твоем заявлении новые взгляды, то мы должны перестать быть социал-демократами»[812]. Если так, то к концу XX века в мире почти не осталось социал-демократов в руководстве «социал-демократических» партий.

Несмотря на первоначальное неприятие бернштейновской «ревизии», в дальнейшем социал-демократия Западной Европы неуклонно сдвигалась в этом направлении. Причину этого нельзя найти только в стабилизации капитализма. Эта тенденция пережила и ряд мировых социальных потрясений. Корень эволюции социал-демократии вправо лежал в теории марксизма – в излишней абстрактности его конструктивного идеала, в «антиутопизме», отказе от разработки конкретной программы социализма. Не случайно, антагонистами бернштейнианства в марксистской среде стали коммунисты, принявшиеся создавать некапиталистический строй, невзирая на отсутствие необходимых предпосылок.

Современный социал-либерал Б.С. Орлов считает: «Более жизненной оказалась стратегия, предложенная Бернштейном – добиваться улучшения положения трудящихся в рамках существующего общественного строя»[813]. Эта стратегия предложена не Бернштейном, и даже не социалистами, а буржуазными филантропами. Бернштейн «открыл» иное – путь капитуляции марксизма перед этой идеей.

К концу XX в. бернштейнианство приобрело множество сторонников не только из числа социал-демократов, но и либералов, и, как мы видели, даже бывшей марксистско-ленинской интеллигенции. Тенденции глобализации дают им для этого немало оснований. Но, боюсь, у них короткая память. Опыт XX века оставляет мало надежд на перманентную эволюцию. Периоды эволюции перемещаются революциями, и глобальный порядок не раз разрушался под ударами порожденных им сил.

Интеграция социал-демократии в социал-либерализм имела немало преимуществ во второй половине XX века. Но неспособность социал-демократии вернуться на левые позиции в условиях кризиса социального государства показывает, что «ревизия» оказалась смертельной прививкой либерализма к социал-демократии.

Споры о наследии Бернштейна вряд ли скоро утихнут. На первый взгляд, принятие бернштейнианства

ведущими социал-демократическими партиями – это свидетельство исторической правоты ревизионизма, и Бернштейн предложил наиболее эффективный путь к социализму. Но здесь кроется интеллектуальный фокус, который легко разоблачается – социализма в Европе по-прежнему нет. Бернштейн предложил путь, который привел не туда, куда было обещано. Это был **один из путей к социальному государству**. К тому же результату – социальному государству – привели и пути, далекие от марксизма, включая либеральные идеи американских республиканцев и фашизм.

* * *

Наиболее резко против Бернштейна выступили левые социал-демократы, склонные искать ответы на неясности марксизма у Маркса времен революций 1848 и 1871 гг.

Формулируя разногласия, **Роза Люксембург (1871-1919)** писала о том, что Бернштейн стремится к переходу части рабочего класса в разряд средних слоев (а это, заметим, прудонизм) и рассчитывает на «внедрение социализма… путем постепенного расширения общественного контроля и поэтапного распространения кооперации, а не путем использования социального и политического кризиса»[814]. А это, с точки зрения ортодоксального марксизма – утопия. Буржуазия не пропустит пролетариат к власти, да и пролетариат не будет настроен революционно, если социальная политика капиталистического режима будет успешной. Р. Люксембург не придерживается принципа «чем хуже – тем лучше», она просто отрицает, что капитализм способен решить социальные проблемы.

Социализм становится необходим, поскольку капитализм не способен решить стоящие перед человечеством проблемы. Если так, то **капитализм ведет к кризису или катастрофе. Переход к социализму ведет через кризис и крах прежней системы, он не может быть эволюционным по определению. Если капитализм допускает успешную эволюцию человечества, социализм просто не нужен.**

Люксембург в работе «Социальная реформа или революция?» утверждала, что социализм не может существовать как распределительная надстройка над существующим способом производства[815]. Противники Бернштейна не додумывали эту мысль до логического конца. Они отождествляли преодоление современной им бедности рабочего класса именно с социализмом. Практика социал-либералов в XX веке показала, что «распределительная надстройка» способна обеспечить рабочему социальные гарантии на уровне, который, как были уверены социал-демократы, включая Каутского, может обеспечить только социализм. Но это не решило более общих проблем социального господства и угнетения человеческих свойств, которые Маркс описывал в категориях «отчуждения». Эти проблемы могут быть решены только по мере преодоления капитализма социализмом, то есть на уровне системообразующих структур общества, по отношению к которым даже частная собственность является следствием. Социализм не может быть управленческой надстройкой над той же индустриальной организацией, которая обеспечивает капитализм. Чтобы преодолеть капитализм, нужно преодолеть и индустриализм.

* * *

Теоретический ревизионизм поставил и конкретный политический вопрос о **степени допустимой интеграции** социал-демократии в современную политическую систему. Марксизм сделал выбор в пользу участия в выборах. Но он не был готов брать на себя ответственность за проведение несоциалистических

мероприятий, что было бы неизбежным в случае участия в исполнительной власти. От этого предостерегал еще Энгельс.

Марксистская социал-демократия претендовала на власть, но на абсолютную власть, которая позволит воплощать в жизнь радикальный марксистский проект. Участие в буржуазном государстве, противостоящем рабочему классу и выражающем интересы его классового врага, считалось недопустимым. Несколько иначе к современному государству относилось лассальянство, которое расценивало государственную бюрократию как возможного союзника против капитала. Стратегия Бернштейна прямо предполагала осуществление социальных реформ сверху. Как же это делать без участия в правительстве? Вопрос, поставленный теоретически, быстро перешел в практическую плоскость.

Решающий шаг в этом направлении сделали социал-демократы – не марксисты – недавно перешедшие к социал-демократам либералы. Они пришли к бернштейновским взглядам не слева (как Бернштейн и позднее Каутский), а справа. Им и карты в руки – 22 июня 1899 г. правый социалист из фракции Жореса А. **Мильеран вступил в буржуазное (либеральное) правительство** П. Вальдека-Руссо. Драматизма ситуации добавляло то, что в тот же кабинет вошел подавитель Парижском Коммуны генерал Галифе. Таким образом один принципиальный вопрос – можно ли социалисту входить в коалиционное правительство, дополнялся и даже заслонялся другим – можно ли входить в правительство вместе с реакционными деятелями. Этическая недопустимость второго оставляла лазейку для допустимости первого при более благоприятных условиях. Мильеран достоин критики за то, что сел рядом с Галифе. Но может быть можно сесть в министерское кресло рядом с будущим Робеспьером?

Жорес, хотя и без восторга поддержал решение Мильерана, гедисты и бланкисты восприняли его как предательство. До 1899 г. Жорес был уверен, что «социализм не может согласиться на частицу власти: надо, чтобы он получил всю власть целиком»[816]. Но это – для проведения социалистических преобразований. А правительство Вальдека-Русо создавалось для спасения республики (в разгаре было дело Дрейфуса, расколовшее Францию по вопросу, далекому от социализма). Могут ли социалисты входить в правительство ради задач, которые не имеют отношения к социализму? Имеют ли они право на нецелевое расходование авторитета социалистического движения? В 1899 г. большинство социалистов отнесутся к инициативе Мильерана отрицательно. В 1914-1917 гг. они в большинстве своем ответят на этот вопрос положительно.

После бурный споров в 1900 г. Конгресс Интернационала принял резолюцию по проекту Каутского: «Вступление отдельного социалиста в буржуазное министерство не может считаться нормальным началом завоевания политической власти и должно быть рассматриваемо как временный и исключительный прием в борьбе с трудными обстоятельствами». И этот опасный опыт приемлем лишь тогда, когда его одобряет большинство партии и министр остается уполномоченным партии[817].

Мильеран тем временем обеспечил принятие нескольких законов, защищающих права рабочих: о снижении рабочего дня до 10-11 часов, о решении трудовых споров. Но подобные меры принимались и в бисмарковской Германии, и даже в царской России. Для этого был вовсе не нужен социалист в правительстве. Он был нужен для другого: либеральное государство нуждалось в прививке социалистического движения, чтобы стать более устойчивым. Опираясь на часть социалистов, оно могло противостоять другой их части. Повернувшись лицом к «рабочему вопросу», либеральное государство стало шаг за шагом лишать социализм той армии, на которую рассчитывал Маркс.

Каутский: марксизм как система

К концу века достройка ортодоксальной марксистской системы взглядов завершалась. Последователи покойного Учителя под общим руководством его друга и соавтора ответили уже почти на все вопросы, поставленные перед социальной наукой. Кроме одного, и пожалуй главного – как будет выглядеть общество, которое сменит капитализм?

Маркс нашел замечательное средство против «утопизма»: настоящий научный социализм изучает тенденции развития общества. Он не строит умозрительных проектов. Тенденции развития капитализма указывают на концентрацию производства и капитала. Модель социализма (коммунизма) является предельной точкой этих процессов. Социал-демократия борется за улучшение условий жизни рабочего класса. Значит, коммунизм решит и эту задачу. Как? Каковы доказательства? Каким образом? Время покажет.

По словам теоретика эсеров В.М. Чернова, «II-ой, довоенный Интернационал был детищем научного социализма, ударившегося в утрированный «объективизм», развивавшего созерцательную энергию, склонность к фаталистическому оптимизму, в ущерб энергии действенно-творческой, в одно и то же время созидательной и революционной»[818]. В результате, программа-минимум социал-демократии «носит по преимуществу выжидательный и оборонительный характер. Ибо пока пролетариат недостаточно силен для захвата власти, надо остерегаться чем бы то ни было осложнить или затормозить капиталистическое развитие общества»[819].

Партия, основанная на отрицании существующего строя, все меньше интересовалась будущим. Ее ведущий идеолог К. Каутский утверждал: «социал-демократия может выставлять позитивные предложения лишь для современного общества, а не для имеющего наступить»[820]. Но это влекло за собой «неудобный» вопрос: «Что за порядки установят социал-демократы, если народ доверит им власть?» Ответы были «обтекаемыми». Как говорил В. Либкнехт: «Дайте нам достигнуть власти, а как ее употребить, мы будем знать тогда»[821]. Такое сокрытие программы, характерное для политиков с имиджем ученых, настораживает: то ли они делают вид, что знают, как решить социально-экономические проблемы, то ли готовят нечто ужасное.

Единственный прецедент, с которым социал-демократы сравнивали будущее общество – это Парижская коммуна. Но в интерпретации Бебеля опыт Коммуны мало что добавлял к конструктивной программе социал-демократии: «все фабрики перейдут в руки общества и будут эксплоатироваться в интересах всех граждан. Место частного хозяйства займет социалистическое, в котором каждый будет работать для всех и все для каждого»[822].

В 1893 г. депутаты рейхстага потребовали от социал-демократов изложить, наконец, что они собираются делать, если придут к власти (тем более, что лидеры эсдеков обещали, что это может произойти в ближайшие годы). Один из оппонентов, ссылаясь на свои впечатлениях от чтения марксистской литературы, обвинял социал-демократов в том, что они просто скрывают свои намерения: «Не нашел я и разъяснения, как именно, в каких конкретно формах вы хотите урегулировать потребление, урегулировать производство. Я только и нашел, что вы хотите их «урегулировать», и более ничего». Оппоненты не дождались объяснения, как будет происходить «урегулирование». Социал-демократические ораторы стали сравнивать установление социализма с воскресением после смерти в христианстве, подтвердив тем, что социализм для них стал из вопроса знания вопросом веры. По словам А. Бебеля, «мы работаем так, как мы работаем, и не переходим к мелкой утопической живописи, чтобы говорить: таким, а не иным должно быть социалистическое общество. Оно само придет»[823]. После революционных

потрясений 1917-1923 гг. В.М. Чернов имел основания прокомментировать этот пассаж: «Опыт и германской социал-демократии, которой после революции попала было в руки власть, и русского большевизма, и советских правительств Баварии и Венгрии, показал, что «само» ничто не приходит, и менее всего – социалистическое общество»[824]. Сама приходит революция, и она ставит перед социалистами вопрос – а не зря ли они работали так, как они работали все это время. Ведь умеренное социальное законодательство буржуазные политики и имперские чиновники могли принять и без марксистов. Чтобы подчеркнуть свое отличие от них, Бебель и Либкнехт выступили за меры планирования экономики: «Согласно учету вероятного расходования разных предметов потребления будет направляться их производство. Посредством обширных статистических исследований, с возможной точностью придется устанавливать, какие потребности и в каком объеме должны быть покрыты». Если эти исследования приведут к публикации рекомендательных планов, то такие меры вполне может осуществлять и буржуазное государство. Если же на основе «вероятных» цифр будут создаваться точные и обязательные к исполнению планы, то как заставить выполнять их каждого потребителя? Иначе множество продуктов будут произведены впустую, так как за время производства потребители могут изменить свои предпочтения. Ответ подразумевался один – диктатура. Но он нее был произнесен с трибуны рейхстага в 1893 г. В качестве пути к плановому хозяйству германские социал-демократы предлагали национализацию предприятий, выражая уверенность, что «государственные предприятия мы можем с легкостью превратить в социалистические»[825], даже не меняя управленческого персонала. Таким образом, не меняя структуры капиталистического производства, положение рабочих и т.д., а просто начав управлять государственно-бюрократическим сектором из правительственных кресел, социал-демократы «получали социализм». «Социализация оказывается равной бюрократизации»[826], – комментирует В.М. Чернов. Большевики были лишь продолжателями этой идеи. **Умеренное и радикальное крылья марксизма отличались не моделью социализма, а только методами ее достижения**.

* * *

Ответы депутатов социал-демократов своей маловразумительностью вскрыли пробел, зиявший на месте конструктивной программы немецкого социализма. Ведущий теоретик германской социал-демократии **Карл Каутский (1854-1938)** решил восполнить его и написал комментарии к Эрфуртской программе партии 1890 г. Книга вышла под названием «Пролетариат и общественный строй». Конструктивная часть этой работы называлась «Государство будущего» (характерно, что не общество будущего – этатизм снова стал преобладать в марксизме). Здесь любой желающий должен был узнать, как будет выглядеть общество, которое возникнет после победы пролетариата во главе с социал-демократами. Это общество Каутский называет социализм или коммунизм, отождествляя два понятия[827].

Глава «Государство будущего» резко контрастирует с предыдущими, где Каутский подробно описывает язвы капитализма и доказывает необратимость процесса концентрации производства. Как только речь идет о социалистической революции, краски становятся донельзя размытыми. Как победит пролетариат? Желательно – ненасильственным путем. Победа эта произойдет в ближайшие десятилетия, но мы не можем сказать, в какие формы выльется тенденция через 10-50 лет[828]. Капитализм вот-вот падет, а мы не знаем, за что бороться.

Какой будет собственность? Общей. Это как? Каутский пускается в логические рассуждения. Мелкое хозяйство предполагает частную собственность…

Ниже это мнение будет им же опровергнуто, так как Каутский, забыв о противоречиях русских марксистов с народниками, признает русскую общину примером коммунистических отношений (до такой

идеализации общины не доходили и классики народничества).

А крупное производство – общественное, значит и собственность на него должна быть общественной. Рабочие станут «господами своих собственных продуктов» и получат избыток, который ныне достается капиталистам. Это, правда, незначительно улучшит положение рабочих (капиталистов ведь мало, а рабочих много – так что «избыток», поделенный на всех, большой прибавки не даст). И продукт не пойдет целиком в доход рабочего – это еще Маркс в «Критике Готской программе» объяснил. Производство нужно развивать, создавать общественные фонды и т.д.[829] Так зачем же эти преобразования нужны рабочему классу?

Капитализм тормозит экономическое развитие, медленно поглощает мелкое производство и не может занять работой всех рабочих[830]. Социализм обеспечивает беспрепятственную концентрацию и позволяет привлекать больше работников и распределять рабочую силу более рационально, в соответствии с планом. В этом точка зрения Каутского полностью предвосхищает сталинское понимание социализма.

В будущем Каутского для работников предприятий мало что меняется. Будет сохранена зарплата. Получается, что работники станут просто наймитами государственного центра, который, по мнению Каутского, представляет всех работников. Но это как раз труднее всего доказать, и Каутский оставляет тезис о рабочем (или общенародном) характере государства будущего без всяких доказательств.

Каутский надеется, что в условиях огосударствления развитие экономики пойдет быстрее, и зарплата станет больше. Каутский уверен, что преимущество огосударствленной экономики заключается в ее эффективности (Каутский и не подозревает, насколько неэффективно бюрократическое управление). Каутский верит в то, что этот государственный «социализм уничтожит все те безобразия и мучительные явления», которыми сопровождается капиталистическое развитие. Каутский не приводит доказательств. Он просто верит в крупное государственное хозяйство. Только в нем он видит возможность дальнейшего увеличения производительности труда и объемов совокупного продукта. А капитализм плохо справляется с управлением крупным производством. Ведь частная собственность соответствует мелкому хозяйству…

Пройдет век, и постулаты Каутского, некритически воспринятые у Маркса, показали свою слабость (хотя и в XIX веке были мыслители, которые отказывались принимать их без доказательства). Мелкое производство сохраняется наряду с крупным в развитых странах, а в эпоху заката индустриального общества наблюдается даже разукрупнение некоторых передовых в техническом отношении производств. И есть основания считать, что этот процесс будет нарастать. Частные собственники продолжают заправлять крупным производством, и производительность труда в частном производстве продолжала расти. Каутский делает рискованную ставку – чтобы доказать «ошибочность нашей цели», достаточно доказать, «что мелкое производство не заменяется крупным»[831]. Тогда в конце XX века ошибочность целей германской социал-демократии можно считать доказанной. Но либеральная мысль напрасно ликует по поводу краха своих социал-демократических конкурентов – она потерпела фундаментальный крах еще раньше – в 30-е гг. XX века, с началом Великой депрессии.

Значит ли это, что социал-демократия потерпела полное теоретическое крушение? Во многом марксисты, включая Каутского, точно уловили тенденции своей эпохи. Они не поняли только одного – эти тенденции не вели тогда к социализму. Они направляли стопы мира к иному обществу, которое возобладало в XX веке в самых разных странах с различным отношением к частной собственности – и в СССР, и в Германии (сначала – нацистской), и в США. Эту систему можно называть **государственно-монополистическим индустриальным обществом, индустриальным этатизмом и социальным государством**. Но она не соответствует критериям социализма как общества без классовой иерархии, в котором господствует общественная собственность на средства производства.

У социал-демократов предпосылка решения задачи отождествлялась с самой задачей, и тем самым задача подменялась. Основная ошибка Каутского и других теоретиков социал-демократии заключалась в том, что они настаивали – выдвинутые ими задачи социальной защиты могут быть обеспечены только при условии ликвидации частной собственности. А частная собственность не имеет к этому вопросу прямого отношения. «При прочих равных» можно утверждать, что для усиления социальной защиты труда необходимо ограничение частной собственности и глобального рынка.

Период глобализма конца XX века показал, что в условиях индустриализма социальное государство неустойчиво и уязвимо – и капиталистическое, и в еще большей степени – «социалистическое», ликвидировавшее легальную частную собственность и заменившее ее государственной.

Каутский, в отличие от Прудона и Маркса, близорук, и его футурология заглядывает лишь пару десятилетий вперед – в первую половину XX века. Под этим углом зрения в работе Каутского все становится на свои места. Когда речь заходит о будущем социализма, теоретик туманен. Когда – о будущем социальном государстве, он становится более убедителен, хотя иногда эта конкретика заставляет поежиться, так это напоминает будущую практику нацизма и большевизма. В точном определении мейнстрима грядущей эпохи была безусловная сила социал-демократии. В этом отношении она обеспечила теоретическим багажом социал-либералов, фашистов и коммунистов.

* * *

Но как же объяснить, что такое социализм? Чтобы представить себе социализм, Каутский снова опасно для марксиста приближается к народничеству: социализм также относится к общине, как капитализм – к ремесленному производству[832]. То есть социализм – это воспроизводство общины в масштабах всего общества. Но в дальнейшем эта аналогия выветривается, и Каутский рисует портрет социализма не с общины, а с государства и фабрики. Этот странный логический зигзаг объясняется просто – Каутский стремится обнаружить модель социализма, и она, как показали уже Прудон, Герцен и Бакунин, может быть найдена в общине. И в то же время Каутский выводит будущее общество из тенденции индустриализма. А она ведет в другую сторону, не к социализму. Социалистическое общество по Каутскому «есть единое, гигантское промышленное предприятие»[833]. Община похожа на социализм, и фабрика – тоже. Но они совсем не похожи друг на друга. Нужно выбирать. В фабрике нет социализма, но есть мировая тенденция. То, что тенденция вела не к социализму, не могло прийти в голову правоверному марксисту XX века. Он выбирает тенденцию превращения всего общества в одну большую фабрику – тенденцию тоталитаризма.

Итак, социализм по Каутскому – это **большая фабрика, а не большая община**, как думают анархо-коммунисты.

Еще дальше Каутский от некоммунистических направлений социализма. Он категорически не согласен с идеей коллективных предприятий, принадлежащих самим работникам. При этом теоретик социал-демократии признает, что такая система «избавляет рабочих от тех бедствий, которые несет с собой капиталистическая эксплуатация»[834]. Так в чем же дело? Наконец, после блужданий вокруг устройства государства-фабрики, удалось найти систему, которая избавляет рабочих от бедствий. Может быть, она-то и нужна рабочему классу? Но Каутскому эта модель не подходит. Федерация коллективных предприятий нежизнеспособна. Тенденция к концентрации через механизм конкуренции разрушит эту систему – одни фабрики будут преуспевать, другие – разоряться. Сразу видно, что Каутский не утруждал себя знакомством с идеями оппонентов Маркса Прудона и Бакунина, которые, как мы видели выше, теоретически решили эту проблему, доказав невозможность концентрации экономической власти в

условиях замены частной и государственной собственности коллективным владением.

Но Каутскому важно другое: частная собственность, которую он считает корнем всех бед современности, тесно связана с товарным производством. Следовательно, необходимо избавиться от него, что «означает замену производства на продажу производством для собственного потребления»[835]. Неужели Каутский стремится в ближайшее время вернуть мир к натуральному хозяйству? Отнюдь. Просто он уверяет рабочих, что если они трудятся на государство, то работают на себя самих. Эта «агитка» потом использовалась в СССР, но с невеликим успехом. Работники не верили, что когда крадут у государства, то крадут именно у себя. Как рабочие большого концерна не верят, что производят для себя, даже если и сами покупают его продукцию.

Но почему рабочие будут лучше трудиться именно на государство-фабрику, а не на обычного фабриканта? Каковы будут стимулы к труду? Да те же самые – привычка и любовь к труду, соревнование.

И позднее, уже после начала государственно-коммунистического эксперимента в СССР, яростный критик большевиков Каутский настаивает: «В социалистическом производстве от лености или халатности отдельных рабочих страдает не капиталист, а их собственные сотоварищи, которым, благодаря такому их поведению, достается меньше продуктов и больше работы»[836]. Товарищи пристыдят лентяя. Но такая система стимулирования может действовать только в небольшом коллективе. В коллективе-нации трудовой вклад размазывается между всеми, и результат труда одного работника практически не заметен в общем «котле». «Отчуждение» и иерархическое господство в «Государстве будущего» сохраняется, так что кроме моральных санкций придется вводить и экономические, а иногда также внеэкономические меры принуждения к труду.

Может быть, работников социализма будет вдохновлять свобода деятельности, как об этом говорят анархисты и в свое время писал молодой Маркс? Каутский жестко отвечает на эти мечтания: «социалистическое производство несовместимо с полной свободой труда, т.е. свободой работника трудиться тогда, где и как он хочет»[837]. Интересно, что Каутский признает: относительная свобода труда возможна в условиях мелкого производства. В крупном производстве от нее придется отказаться. Таким образом, Каутский признает, что марксистская модель ограничивает свободу в сфере труда, в самом «базисе» общества.

Социал-демократия не может «устранить зависимость работника от хозяйственного целого, в котором он образует одно из колес…»[838] Зато теперь это будут равноправные, товарищеские колеса (как говорили в XX веке – «винтики»). Или равно-бесправные?

Эту мысль Каутский повторит и после начала коммунистического эксперимента в СССР. Так что социал-демократическое представление о колесиках и винтиках, в которые должен превратиться человек в индустриальной машине будущего (и уже почти превратился) не отличается от тоталитарного: «На большой фабрике рабочий является лишь маленьким колесиком крупного механизма, или, правильнее, лишь отдельным органом большого организма. Он должен быть подчинен единому общему плану. Это необходимость не уничтожается от того, что фабрика из капиталистической превращается в социалистическую, и единственным изменением, – правда, очень важным, – является на первых порах лишь то, что социализированное предприятие начинает служить иным целям. Его назначением является теперь уже не обогащение отдельного капиталиста, но увеличение достатка всей совокупности трудящихся.

Приспособление к планомерному хозяйству является для каждого рабочего в социалистическом обществе абсолютной необходимостью…»[839]

Все по Ленину и по Сталину. Они твердо следовали классическому марксизму образца начала XX века,

который был сформулирован Каутским, сколько бы он потом не критиковал большевизм.

Но ликвидация свободы на производстве подарит рабочему «высшую свободу». Что это за чудо? Каутский долго подбирается к ответу, интригуя читателя. Да, машина лишает труд всякого духовного содержания (надо понимать – интеллектуального и творческого), делает человека однобоким придатком к машине. И социал-демократия ничего в этом отношении менять не собирается. Но зато она подарит работнику «освобождение от работы», право на отдых. И во время этого отдыха рабочий предастся образованию. Ведь работники так тянутся к знаниям: «наука и искусство остаются для пролетариата обетованной страной, на которую он смотрит издалека, за обладание которой он борется, но в которую он не может вступить»[840]. А капиталистическое общество лишает рабочих права на разносторонние размышления. Вся пирамида рассуждения о свободе венчается идеализированной картинкой «гармонического образования» Афинской школы, где древнегреческие философы предавались «высшей свободе» рассуждений.

Каутский утверждает, что только новое социалистическое общество «откроет пролетариату все источники образования» и предоставит ему досуг[841]. Каутский доживет до 30-х гг., когда этот проект (в условиях краха классической либеральной модели) начнет осуществляться в условиях капитализма.

Просветительский проект социал-демократии, которому Каутский (как и другие марксисты) придавал решающее значение, основывался на шаткой предпосылке – стремлении рабочего к занятиям сдерживается господством буржуазии, а не внутренними, социально-психологическими причинами.

Но тяга рабочих к знаниям в XIX – начале XX вв., могла быть не стремлением к систематическому образованию, требующему умственного напряжения, а к развлечению. На фоне информационного вакуума, в котором пребывал необразованный человек XIX века, рассказы интеллигентов о Дарвине и революции производили сенсацию. Но что станет, если уже со школьной скамьи дети рабочих будут узнавать обо всем этом. Если право на отдых будет обеспечено уже в капиталистическом предприятии – чем заполнится отдых: самообразованием или чтением дешевых детективов и просмотром глупых шоу. Каутский еще не знал, что такое телевизор…

Мы видели, что в своем просветительском проекте социал-демократия следовала за более ранними социалистическими учениями, а те, в свою очередь – за мыслью эпохи Просвещения. Социализм претендовал на роль единственной силы, которая была способна реализовать просветительский проект, но эта задача оказалась по силам уже социальному государству, в том числе и не претендующему на «высокое звание» социализма. Западный капитализм, пусть и под давлением социализма, но предоставил рабочим досуг – ограничение рабочего дня, право на отпуск, доступное образование детям рабочих. И выяснилось, что, получив досуг, пролетариат в массе своей вовсе не собирается тратить его на самообразование и философствование. Как и буржуа, он развлекается по мере имеющихся средств. Не получились из рабочих масс афинские философы. Самообразованием занимаются единицы, стремящиеся вырваться из пролетарского состояния.

Для того, чтобы иметь право на существование, социалистическая идея должна была иметь еще какую-то миссию, превосходящую «высшую свободу» по Каутскому и предоставление рабочим досуга. **Маркс смотрел дальше Каутского, надеясь качественно изменить и структуру общества, и характер производства.** Но эта тема намечена у Маркса неконкретно и выпала из поля зрения Каутского. А **без нее марксистский проект остается тоталитарным** несмотря ни на какие надстройки в виде парламента и философствования «афинской школы».

* * *

Маркс мечтал о всемирной коммунистической системе. Однако уже революция 1848 г. показала, что даже в Европе предпосылки падения капитализма вряд ли смогут вызреть одновременно. Не ждать же передовой германской экономике, когда до социализма дозреет варварская Россия.

Каутский делает из этого естественный вывод: «Из ныне существующих общественных организаций имеется только одна, обладающая необходимыми размерами, чтобы служить рамкой, в которой может развиться социалистическая ассоциация. Это – современное государство»[842]. Итак, социализм будет создаваться в одной стране, точнее – государстве. Это придумали не Сталин и Бухарин, к этому выводу немецкие и французские социал-демократы пришли уже во времена Второго Интернационала.

Таким образом, в марксизме зримо проступает **национал-этатизм**, который будет иметь большое будущее в первой половине XX века, особенно в Германии. Каутский даже тяготеет к автаркии, полагая, что национальное государство сможет обеспечить свои основные нужды, лишь незначительно восполняя дефицит за счет внешней торговли. В ходе Первой мировой войны и после краха глобального рынка 1929 г. эта идея будет обречена на успех, определив тенденцию мирового развития вплоть до 50-х гг.

Каутский не в восторге от современного бюрократического и милитаристского государства, но именно его он считает «единственным основанием» для социалистической ассоциации[843]. Каутский приветствует рост вмешательства государства в экономику и социальную жизнь. Но оговаривается, что необходимо изменение его сущности. Что же это за изменение? Государство служит капиталистам. А должно служить рабочим, его должны возглавить представители рабочего класса. Каутский так формулирует «основную задачу»: «надо стремиться к тому, чтобы трудящиеся классы завоевали политическую власть и, пользуясь ею, превратили государство в обширную хозяйственную ассоциацию, удовлетворяющую собственными силами свои главные потребности»[844].

Этатизм своей модели, который Маркс в конце жизни пытался закамуфлировать, немецкая социал-демократия излагает с предельной откровенностью. Тем сложнее для нее было объяснить в 20-30-е гг., чем ее идеалы отличаются от советской модели.

Когда модель Каутского начнет реализовываться большевиками, результат ужаснет немецкого марксиста. Было очевидно, что большевистский эксперимент сопровождается страданиями рабочих и ростом их угнетения. Каутскому следовало срочно найти принципиальное отличие свой позиции от идей большевиков. Главное отличие – **большевики не признают парламентской демократии**.

Формально большевики провозглашали советскую демократию, которая на деле была заменена диктатурой партии. Каутский надеялся на парламентскую демократию, не замечая, что она давно уже стала демократией для элиты.

Вызов большевизма заставил Каутского углубиться в проблему демократии, которая прежде казалась само собой разумеющейся.

«Демократия и социализм различаются не тем, что первая – средство, а второй – цель; оба они – средство для одной и той же цели… Социализм как средство освобождения пролетариата без демократии немыслим»[845]. Критикуя большевизм, Каутский говорит об освобождении. Но мы помним, что Каутский собирается предоставить рабочим свободу только в часы досуга – как и буржуазные политики.

* * *

Так что же является достаточной основой для социализма? Концентрация производства или развитие

демократии? Каутский считает, что одно предполагает другое. Сталин легко опроверг это заблуждение. Обеспечив концентрацию производства, он создал на основе общества-фабрики тоталитарный режим – высшую степень авторитаризма. Когда Сталину понадобится пойти на сближение с западной социал-демократией в рамках Народного фронта, он в 1936 г. даже заменил систему советов парламентаризмом – разумеется однопартийным. А в странах «народной демократии» Сталин будет готов терпеть даже формальную многопартийность. Уж он-то прекрасно понимал, что парламентская «демократия» безусловно вторична в отношении социальных отношений.

«Демократия», которая является практически единственным отличием модели Каутского от «реального социализма» СССР, никак не вытекает из прочих марксистских постулатов – обобществления, ликвидации частной собственности, концентрации производства. Скорее наоборот – демократия предлагается как предпосылка реального обобществления и противоядие против деспотической трансформации коммунистической стратегии, которая была продемонстрирована большевизмом.

«Зеркало» большевизма заставило Каутского и других лидеров немецкой социал-демократии сделать существенные уступки производственной демократии, допустить, что рабочие могут участвовать в управлении непосредственно, а не только через посредство государства. Опыт опроверг гипотезу о том, что концентрация производства и «социалистическое» огосударствелние автоматически породят демократию, которой рабочие смогут наслаждаться в свободное от работы время. В 20-е гг. Каутский пытается поставить свою модель с головы на ноги, **сделав демократию «базисом», основой обобществления**: «Обобществление должно быть планомерно подготовлено демократическим государством, в котором существует полная возможность демократического контроля и полная свобода политической самодеятельности для всех граждан; но и осуществлено должно быть обобществление на основе господства демократии и внутри предприятия, то есть на основе демократического управления предприятием, при участием рабочих с одной стороны, потребителей – с другой»[846]. Аналогичные подходы на практике в 1919 г. стали применять и австрийские социал-демократы во главе с О. Бауэром.

Теперь Каутский уже не так доверяет государству, как раньше. Он пишет о создании социалистического производства: «чем меньше в это дело будут вмешиваться государственная бюрократия, чем большее участие путем свободной самодеятельности в нем будут принимать как рабочие отдельных производств, так и весь рабочий класс в целом – тем лучше для этого строительства»[847]. Это – очевидный сдвиг в сторону идей освободительного социализма, который до 1917 г. презрительно отвергался немецкими социал-демократами как анархический утопизм.

Но, совершив философский переворот в концепции германской социал-демократии, Каутский уже не может последовательно перестроить всю модель, оставляя в ней множество противоречий. Поощряется самодеятельность, самостоятельность действий рабочих. Что делать, если самодеятельные инициативы работников будут расходиться с государственным планом. Как должен приниматься этот план – наиболее компетентными представителями интеллигенции, большинством рабочих? Как принуждать к выполнению этого плана тех рабочих, которые с ним не согласятся в силу своей самодеятельности? Кто будет менеджером «фабрики-государства», если не государственная бюрократия? Это – не праздные вопросы. С ними неизбежно сталкиваются все теории, которые желают совместить «все хорошее» – самостоятельность личностей и коллективов с одной стороны – и экономический централизм, рациональный план – с другой. На решение этих проблем уйдет весь XX век.

Но главный вопрос, на который теперь следует ясно ответить Каутскому – **что такое демократия**? Местная самодеятельность, самоуправление для него – уже необходимая, но не основная форма демократии. Как централист, Каутский предает основное значение центральной демократии, которая как раз и позволит рабочему классу контролировать бюрократию. Но как? Каутский по-прежнему верит в

парламент. Он считает, что создание парламента изымает законодательную власть у бюрократии. Кому же переходит эта власть? Трудящемуся народу? Каутский не так наивен: «Деятельность центрального, руководящего государственным организмом учреждения может контролироваться только другой центральной организацией, но не неорганизованной, бесформенной массой, какой является народ»[848]. Государственную бюрократию будет контролировать партийная. Причем вполне очевидно, что Каутский выступает за господство в парламенте будущего именно партии рабочего класса, то есть социал-демократии. Таким образом, парламент будет выполнять волю центрального руководства партии «рабочего класса». И здесь Каутский недалеко ушел от советских коммунистов.

* * *

Разбираясь в своем понимании демократии, Каутский столкнулся с проблемой, заложенной в теорию марксизма самим Марксом. Марксисты выступают одновременно и за демократию, и за диктатуру. Выяснилось, что Каутскому мудрено понять Учителя: «К сожалению, Маркс недостаточно выяснил, что он понимал под диктатурой. Буквально это слово означает уничтожение демократии»[849].

Не вполне. Диктатура буквально (во всяком случае в том смысле, как этот термин пришел из Рима) – неограниченная власть, право на произвол. Диктатура – уничтожение не демократии, а законности. Произвол низов – явление вполне понятное, теоретически оно может некоторое время совмещаться с демократией (даже диктаторы в Риме избирались). Но исторический опыт показывает, что произвол быстро обеспечивает преимущество не низам, а выходцам из низов, которые устанавливают вполне авторитарный режим. Так что теоретическая конструкция диктатуры пролетариата Маркса – это невозможное состояние (на что указывал уже Бакунин). На деле речь может идти о диктатуре коммунистов, опирающихся на массовую поддержку рабочих. Вполне очевидно, что это – не демократия, но все же режим, стремящийся следовать настроениям низов постольку, поскольку это не противоречит стратегии компартии.

Поскольку ответить на бакунинскую критику Каутский ничего не может, он вспоминает о ней с откровенным раздражением, называя Бакунина «представителем диктатуры и анархии в рабочем движении»[850]. Это противоестественное определение необходимо, во-первых, чтобы закамуфлировать диктаторские наклонности Маркса, а, во-вторых, чтобы объявить Бакунина предтечей непонятного Ленина, который предстает то диктатором, то «анархистом».

Ленин в своей работе «Государство и революция» подверг Каутского критике слева (о чем – ниже), и даже после уроков революции 1918 г. Каутский не понял упреков русского коллеги. Он не заметил эволюции Маркса к антиэтатизму. Ленин заметил эту эволюцию, но не признал, что Маркс совершил уступку Прудону. Просто, идеи Маркса – это эталон для Ленина. И эталон находится слева от Каутского. Ленин, взгляды которого в 1917 г. вполне ортодоксальны, как мы увидим, найдет свое решение противоречия между политическим федерализмом и экономическим централизмом Маркса.

Столкнувшись с практикой Парижской коммуны, Маркс нашел формы будущего политического режима в федерализме и коммунальном самоуправлении, в отмирании государства и преобразования его в аналог общины. Это понимание проблемы, связанное с поиском форм реальной демократии, чуждо Каутскому. Он, не мудрствуя лукаво, готов перенести в социалистическое завтра не только фабричный базис капитализма, но и его политическую надстройку в виде либеральной парламентской системы. «Промышленный капитализм создает своего собственного могильщика – промышленный пролетариат и современную демократию»[851]. Это дополнение к «Манифесту коммунистической партии» демонстрирует либеральное понимание демократии Каутским. Ведь под демократией он понимает то, что

создает капитализм, то есть парламентско-президентскую республику. «Современная демократия» по Каутскому включает «подчинение бюрократии обществу», парламент, «существующий милостью народа» и другие утопии. «Анти-демократические тенденции»[852] парламентаризма по мнению Каутского не связаны с его сущностью и легко будут устранены после победы пролетариата.

Российская и Германская революции в 1917-1919 гг. так напугали Каутского, что он писал: «Нашей задачей теперь становится оберегать республику, то есть существующее государство, а не опрокидывать его. В этом смысле социал-демократия перестает быть революционной и становится консервативной», так как «она одну из решающих частей этой программы уже осуществила»[853]. Это сказано о Веймарской республике во главе с канцлером-голодом Брюнингом, генералом Гинденбургом, который уже через три года передаст всю власть Гитлеру. Даже такая республика, как кажется Каутскому, обеспечивает прямую дорогу к социализму: «последняя фаза борьбы за социализм наступит тогда, когда **мы завоюем достаточно прочное большинство, чтобы самим образовать крепкое правительство** и наложить на законодательство свою печать»[854]. Это произойдет в 1969 г., после чего консервативная функция социал-демократии в Германии возобладает окончательно – она и не подумает проводить антикапиталистических мероприятий.

* * *

Ссылаясь на Энгельса, Каутский находит еще одно объяснение того, почему рецепты, предложенные самим Каутским в начале XX века дают такие ужасные результаты в России: «При неразвитых отношениях коммунистическое хозяйство может стать основой деспотизма»[855].

Во всем опять виновато мелкое производство – настоящая идея фикс для Каутского: «Мелкое производство всегда порождает только волю к сохранению и приобретению частной собственности на средства производства, но не волю к обобществленной собственности, к социализму.

Эта воля возникает у массы только там, где крупное производство достигло уже очень высокого развития…»[856] Это сказано тогда, когда компартия развернула коллективизацию, войну на уничтожение с мелким хозяйством. Каутский и не заметил, как в этом вопросе стал сталинистом. Впрочем, вскоре и Гитлер «предъявит» Каутскому доказательства того, что основой деспотизма может стать огосударствление вполне развитого высококонцентрированного германского хозяйства. История зримо опровергла попытки искать истоки деспотизма индустриальных обществ в «мелкобуржуазности». У индустриального общества гораздо больше механизмов подавления личности, чем это происходит в стране с преобладанием мелкого хозяйства.

Каутский, обуславливает готовность страны к социализму зрелостью ее пролетариата. Что же это такое? «**Зрелость пролетариата** выражается в его классовом самосознании, достигшем высшей степени своего развития, в понимании великих общественных связей и целей, понимании, в котором научный социализм вносит полную ясность. Это достигается не только теорией, но и практикой, вмешательством пролетариев в политику в интересах целого, а не ради своих особых интересов»[857]. Итак, зрелым может считаться пролетарий, который постиг «ясную» марксистскую теорию и действует в соответствии с ней в интересах «целого». Но вот «ясности» как раз и не хватает – ни в том, как будет организовано будущее общество, за которое идет борьба, ни о тех преимуществах, которые получит работник от перехода к этому обществу, ни о том, что такое конкретно «интересы целого». Более определенно понимание зрелости пролетариата даже у «утописта» П.А. Кропоткина, который видел ее в альтруизме, безвозмездной взаимопомощи людей, готовностью их действовать на благо неведомых им людей. Мы увидим, что модель коммунизма Кропоткина страдает своими системными недостатками, но во всяком случае она

более определенна и менее тоталитарна, чем проект германской социал-демократии начала XX века.

Кропоткин считает, что одним из условий готовности работников к революции является способность к самоуправлению. Эта обычная для народников мысль вроде бы противостоит модели Каутского, где индустриальная машина не оставляет работнику никакой свободы на производстве. Какое может быть самоуправление, автономия в принятии решений, если все действия работника определяются производственным заданием, исходящим от инженера? Но нет, Каутский, словно забыв свое отношение к свободе работника, делает новый шаг навстречу народничеству и возлагает надежды на самоуправление, а также на помощь интеллигенции: «Только там, где пролетариат прошел основательную школу самоуправления в товарищеских, профессиональный, городских учреждениях, где он принимал участие в государственном законодательстве и правительственном контроле, и где, наконец, многочисленная интеллигенция готова отдать свои силы на службу социалистического производства, только там социалистическое производство может тотчас же без нарушения производственного процесса заменить социализм повсюду, где при создавшихся условиях капиталистическое производство стало уже невозможным»[858].

Таким образом, встает вопрос о предпосылках революции и преемственности между капитализмом и социализмом.

Можно ли ускорить процесс вызревания предпосылок? Или просто ждать, пока предпосылки будут вызревать? Но тогда социал-демократии не остается ничего, кроме поссибилизма.

*** * ***

Является ли Каутский просто социал-либералом? Нет, он не бернштейнианец. Да и сохранение «демократии» (или парламентаризма) для него – средство ликвидации частной собственности и создание принципиально нового нерыночного общества. И в этом отношении «ренегат» Каутский не отличается от «ортодокса» Ленина. Каутский писал: «Социалистическое же производство нуждается не столько в национализации торговли, сколько в ее замене организацией товарооборота между коллективами потребителей и потребителей»[859]. Чем не «Очередные задачи советской власти» Ленина?

Каутский допускает отказ социал-демократии от социалистической перспективы только в виде ораторского приема, подчеркивая приоритет цели «освобождения пролетариата»: «Социалистический способ производства мы выставляем потому как цель, что при данных технических и экономических условиях он представляется единственным средством достижения нашей цели. Но если бы нам доказали, что мы ошибаемся, что освобождение пролетариата и всего человечества целесообразней достигнуть только на основе частной собственности на средства производства, как полагал еще Прудон, тогда мы должны были бы выбросить социализм за борт, ни в малейшей степени не предавая нашу конечную цель, мы должны были бы это сделать как раз в интересах нашей цели»[860]. Каутский судил о Прудоне по кривому зеркалу «Нищеты философии» Маркса, и потому перепутал его постулаты с бернштейнианскими. Позднее социал-демократия выбросит за борт социализм, в то время как Прудон как раз не собирался этого делать. Но превращение социал-демократов из социалистов в либералов, произошедшее в середине в середине XX в., не принесло «освобождения пролетариата» – положение рабочих в системе социальной иерархии принципиально не изменилось.

Несмотря на все уроки российской революции, Каутский остался верен формуле: **государство-фабрика + парламентская демократия**. Господствующая тенденция истории первой трети XX века действительно вела к огосударствлению индустриального хозяйства. Перед общественными деятелями и

мыслителями стоял выбор: способствовать этой тенденции или стремиться к ее смягчению. Каутский был одним из ведущих проповедников господствующей тенденции, и благодаря ему немецкая социал-демократия прививала идею государства-фабрики как рабочим, так и немецкому обществу в целом. Социал-демократы не замечали, что парламентская демократия в таком государстве – чуждая либеральная надстройка, ненужное «пятое колесо». Когда создатель германского государства-фабрики Гитлер стряхнул со своих ног прах Веймарской республики, немецкие трудящиеся, воспитанные социал-демократами, отнеслись к этому с неожиданным для левых равнодушием. Но равнодушие это было закономерным, ибо рабочим уже полвека говорили о преимуществах государства-фабрики, а о демократии говорили невнятно и очень похоже на речи буржуазных идеологов.

После Второй мировой войны социал-демократия, в ужасе отшатнувшись от модели государства-фабрики, но не воспиняла и концепции освободительного социализма, к которым относилась с самодовольным презрением. Социал-демократия стала ориентироваться на западные стандарты социального государства, предусматривающие сохранение частной собственности на основные средства производства и другие институты капитализма. В политической области уже со времен Каутского социал-демократы стояли на либеральных позициях. Таким образом, социал-демократия как течение социалистической мысли прекратило существование в большинстве стран Западной Европы уже в середине XX в.

* * *

Интересное развитие идей К. Каутского предложил экономист **Карл Баллод**, который под псевдонимом Атлантикус выпустил в 1898 г. книгу «Государство будущего». В ней он провел конкретные подсчеты, которые, с его точки зрения, доказывали, что в Германии есть все, необходимое для социализма. Таким образом, получалась конкретная модель «социализма в одной стране»[861]. Читая этот прогноз, продиктованный наилучшими намерениями автора, иногда останавливаешься в изумлении – насколько это напоминает СССР (а также, хоть и в меньшей степени – нацистскую Германию. Все-таки Баллод был немцем, и дух германского орднунга не мог не отразиться в его сочинении).

Можно, конечно, возразить, что К. Каутский и другие идеологи Второго интернационала не несут ответственности за вычисления профессора К. Баллода. Но, с другой стороны, только Атлантикус взял на себя бремя конкретного обоснования модели социал-демократии. В 1898 г. он ни в чем не возразил Каутскому. Успехи и неудачи Баллода – это успехи и неудачи проекта германской социал-демократии, да и всего господствующего направления Второго Интернационала. Это – наиболее последовательная и конкретная попытка соединения социал-демократической идеологии того времени с реальностью. Если модель Баллода не годится, то ничего более конкретного в обоснование конструктивной модели социал-демократии все равно сделано не было.

К. Баллод исходит из того, что «совершенно нет необходимости, чтобы весь земной шар одновременно перешел к социализму»[862] Эту мысль мы видели и у Каутского. Из этого следует, что социализм можно строить первоначально в рамках одной страны… и ее колоний. Вывод о единстве метрополии и колоний продиктован экономическими соображениями – где-то необходимо брать сырье, а Баллод предпочитает свести внешний обмен к минимуму, чтобы все экономические процессы были подвержены планированию из единого центра. Конечно, колонии будут называться иначе, это будут своего рода союзные республики, которые постепенно будут подвергаться просвещению и втягиваться в наиболее передовые экономические отношения. Как социал-демократ, Баллод является противником колониального угнетения. Но как экономист он выступает за сохранение сложившихся хозяйственных

связей. Тем более, что при социализме они ведь уже не будут основаны на угнетении. Впрочем, даже если Германия потеряет колонии, проект Баллода не рухнет – в варианте своей работы, написанном в 1919 г., он включает в свои расчеты практически только ресурсы собственно Германии.

Баллод пытался выяснить, каково максимально рациональное использование имеющихся производительных сил и ресурсов, и видел его в «централистической организации» крупного производства, организованного как единый организм народного хозяйства[863]. Баллод фанатично верит в крупное производство, он выясняет, сколько еще крупных предприятий нужно основать, чтобы все производство было сосредоточенно именно в крупных предприятиях – что должно привести к резкому подъему общей производительности труда. В предисловии к своей работе, написанном уже после Первой мировой войны, Баллод пишет: «Теперь дела обстоят так, что собственно мелкое производство в течение войны совершенно сошло на нет. Было бы в высшей степени неразумно опять пробуждать его к жизни»[864]. Но война может вести не только к прогрессу, но и к регрессу. Деградация мелкого хозяйства – повод для оптимизма Баллода. Он знает только крупное производство и ручное производство кустарей[865]. Разница в производительности труда между ними очевидна (хотя с качеством продукции дело обстоит не так просто). Баллод не представляет себе, что мелкое производство может быть технически оснащено не хуже, чем крупное. Это провидели представители освободительной мысли Михайловский и Кропоткин, но конкретные формы автоматизации нефабричного труда станут понятны только в эпоху персональных компьютеров.

Даже в области сельского хозяйства Баллод считает необходимым переходить к крупному производству, не соглашаясь с аргументами экономистов (не только народников), доказывавших большую эффективность мелкого производства в сельском хозяйстве. Но его главный аргумент носит не универсальный, а сугубо германский характер – в стране мало плодородных земель (даже с учетом предложенного Баллодом плана мелиорации). Поэтому Баллод подробно моделирует оптимальную сельскохозяйственную «фабрику», применяющую все современные средства повышения урожайности. Оптимальными он считает хозяйства размером в 40 гектар, применяющие паровые плуги и железнодорожный транспорт для быстрейшей доставки продуктов в хранилища.

В СССР будет проведен эксперимент, который покажет пределы эффективности крупного государственного хозяйства. При росте количественных показателей хозяйства по мере его укрупнения, оно теряет в качестве продукции. Возникают серьезные проблемы в стимулировании труда, сохранении продукции. Эти проблемы могут быть частично решены в кооперативе, где доход человека зависит от успеха предприятия. Но тогда хозяйство все равно должно быть меньше. Во XX веке идея крупного сельскохозяйственного производства получит еще один удар – малогабаритная техника, которая успешно может применяться даже в хозяйстве одной семьи. Баллод уже во время революции в России писал об этом изобретении, считая его неперспективным.

* * *

Социалистическое государство должно взять в свои руки все крупные производства и обеспечить производство основных потребительских благ.

Предвосхищая **модель НЭПа**, Баллод считает возможным сохранить частный сектор, ограничив сферы деятельности частной инициативы домашним хозяйством, частными садами, издательским делом, производством мебели и строительством (здесь Баллод смешивает два разных явления – мелкий частный бизнес и «индивидуальную трудовую деятельность», ведение личного хозяйства). Частное накопление мелких хозяйств будет затруднено, так как банковская система останется в руках государства. При этом

Баллод предпочитает обойтись без насилия и конфискаций в ходе перехода к социализму. От буржуазии нужно откупиться, предоставив ей ренту в обмен на предприятия (здесь чувствуется влияние опыта Бисмарка при объединении Германии).

Работать на государство будут все граждане – вводится 5-6-летняя трудовая повинность. Баллод прямо сравнивает трудовые ресурсы с армией, подразумевая, что организация труда будет полу-военной. Но все таки (на первый взгляд) будут существовать отличия трудовой армии от обыкновенной – германскую социал-демократию затронули веяния идей производственной демократии. На государственных предприятиях вводятся комитеты для наблюдения за производством. Но предназначены они не для управления, а для «повышения интенсивности труда путем повсеместного введения системы Тэйлора». Так что Баллод является сторонником именно милитаризированного, тоталитарного по своей организации хозяйства, и «демократия» у него оборачивается своего рода «стахановским движением» и контролем рабочих друг за другом. «Наиболее действительным в большинстве предприятий оказался бы взаимный контроль рабочих, поскольку в них пробуждено чувство чести, которое как раз у социалистически настроенных рабочих достаточно развито уже и теперь»[866]. Социал-демократы (как умеренные, так и большевики) очевидно смешивали сознательность как солидарность в борьбе против угнетения и сознательность как готовность трудиться на государство изо всех сил. А ведь эти две «сознательности» противостоят друг другу – люди, до перехода к социализму считавшие сознательностью умение отстаивать свои права против администрации, должны вдруг развернуться на 180 градусов только потому, что менеджер сменил окраску, стал из частного государственным.

При всех резких высказываниях Баллода в адрес большевиков, он предлагает практически то же самое, что стали осуществлять именно они. Сначала лидеры большевиков надеялись на сознательность рабочих и рабочий контроль, а затем, убедившись в 1918 г., что рабочие трудятся все хуже – Ленин стал уповать на принуждение и тэйлоризм.

Баллод рассуждает как рачительный капиталист, поклонник потогонной системы. Он утверждает, что надо заставить рабочих трудиться в 2-3 смены (вспомним «ускорение» Горбачева с его «трехсменкой»).

В общем, чтобы заслужить право на досуг и свободу, нужно несколько лет в поте лица своего потрудиться в фабричной казарме.

* * *

Население, отбывшее трудовую повинность, по Баллоду должно размещаться в **городах-садах**, состоящих из семейных вилл. Здесь есть электричество, газовое отопление, трамвайное сообщение. Эта попытка представить себе, как будет происходить стирание различия между городом и деревней, еще не могла быть последовательным из-за неразвитости технических средств. Жизнь на виллах доступна «пенсионерам», а работники должны находиться близ крупных предприятий, на которых отбывают трудовую повинность. Но как раз «пенсионеры» будут составлять большинство общества. Чем их занять? Здесь мы видим тупик, в который попал уже Каутский. XX век продемонстрировал, что досуг, если его нечем занять, становится угрозой для человека. Баллод, как и Каутский, надеется занять «пенсионеров» философией. И еще своим садиком. Таков счастливый удел масс.

«Социалистическое» государство Баллода не лишено и элиты. Со школьной скамьи экзаменационным путем производится отбор талантов в управленческую и научную элиту. Работа управленцев и ученых оплачивается очень высоко. Баллод подробно прописывает номенклатуру должностей, количество чиновников, которые должны оплачиваться очень высоко, высоко и т.д. Но в любом случае зарплаты

чиновников должны в несколько раз превышать доходы простых тружеников. По мере развития общества управленческие функции будут доведены до автоматизма, и количество чиновников значительно упадет.

Но для бюрократии – непочатый край работы. Все нужно согласовать – интересы производителей и потребителей, отраслей и территорий.

Со временем согласование интересов будет производиться самими работниками. Но не сейчас. Слишком много сложнейших экономических проблем возникает при отмене рыночных отношений. Их предстоит решать интеллектуально-бюрократической элите.

Как избежать борьбы предприятий и отраслей «за наиболее выгодные условия работы при наименьшем напряжении сил?» Ответ Баллода на этот ключевой экономический вопрос социализма поражает своей наивностью: «Против этого может помочь только уважение к нравственным принципам и повышение нравственного состояния народа…»[867] Но затем добавляет жесткое обличение синдикализма и категорическое требование – «Благодетельный социализм, который приведет к всеобщему благоденствию, возможен лишь как централистический…»[868] Вот они – истоки теории «государства всеобщего благоденствия». Баллод – безусловный противник автономии коллективов и прочих синдикалистских вольностей: «Кто выступает за синдикализм, за анархистские, независимые друг от друга производственные союзы, тот доказывает, что плохо понял Маркса»[869]. А может быть, Маркс что-то плохо понял? Впрочем, Баллод плохо понял синдикалистов – они выступали не за независимые друг от друга профсоюзы, а за их объединение в ассоциацию.

Баллод категорически отстаивает централизованное распределение основной массы продуктов. Рынок при социализме заменяется распределением со складов. Эта идея давно известна в социалистическом мысли, но Баллод добавляет к ней свой штрих – распределением должны ведать раздаточные пункты, в которых работают домохозяйки. Ведь именно они в первую очередь страдают от недостатка качества продукции. «В социалистическом государстве на первом месте должны стоять интересы потребителей; каждая хозяйка будет заинтересована, чтобы доставка товаров была регулярная и чтобы товары были доброкачественные»[870]. Ну просто «каждая домохозяйка должна управлять экономикой». Только остается неясным, что смогут предпринять домохозяйки, если товары поступят несвоевременно и будут некачественными?

Баллод тщательно увязывает отрасли, считает кирпичи, доски и даже рояли, которые сможет произвести промышленность. Слабая сторона этих вычислений – отсутствие качественных показателей. Эта же проблема болезненно скажется позднее в советском планировании[871].

Баллод пытается ответить на все возможные обвинения буржуазных экономистов в популизме. Предлагая ввести ренту для изобретателей, он тут же находит источник ее финансирования – налог на наследство. Но финансовые расчеты Баллода все равно слишком оптимистичны. Предлагая возвести множество новых предприятий (как не вспомнить советскую первую пятилетку), Баллод считает, что средства на это даст интенсификация производства. Но ведь успехи интенсификации зависят от ввода в строй новых предприятий. Баллод просчитывает, какие предприятия нужно возвести для резкого повышения производительности труда народного хозяйства в целом, пропагандируя электрификацию, создание территориальных производственных комплексов (предвосхищая идею совнархозов), регулярное обновление технического парка. Влияние книги К. Баллода заметно в советском планировании 20-30-х гг.

* * *

Пожалуй, не Каутский, а именно Баллод достиг предела германской социал-демократической мысли,

за которой неизбежно должен следовать поворот – или к коммунистической, или к либеральной, или к антиавторитарной социалистической мысли.

Когда в России разразилась революция, и два крыла социализма вступили в смертельную борьбу, полемика большевиков и социал-демократов приобрела новую актуальность. Ведь большевизм начал «социалистические» преобразования в стране, для этого не предназначенной, не имеющей культурно-экономического потенциала Германии. Тем не менее, при всем обличительном пафосе большевиков и социал-демократов в адрес друг друга, Баллода не только критиковали в Советской России, но и изучали – можно было взять много полезного. Между **Баллодом и большевиками** возникла дискуссия практиков, которые были заинтересованы в скорейшем начале продвижения к социализму.

Труд Баллода был издан в Советской России, и ему была предпослана статья Ю. Мархлевского. Признавая заслуги немецкого профессора в обосновании технической стороны социалистического строительства, Мархлевский останавливается на ошибках экономиста, в которых нашли отражение ошибки правого крыла германской социал-демократии. Пытаясь откупиться от капиталистов, Баллод «не сознает, что господствующий класс не сдастся без боя» (впрочем, весной 1918 г. Ленин надеялся провести именно такую откупную операцию). Баллод не понимает специфику агарного вопроса в России, надеется на создание самодовлеющего социалистического государства[872]. Но в 1921 г. уже становилось ясно, что мировая революция не удалась. Так что скоро идеи «социализма в одной стране» будут востребованы и в СССР.

Не согласен Ю. Мархлевский и с тем, что, отработав несколько лет, люди будут уходить на заслуженный отдых. Ведь труд не должен рассматриваться как тягость и повинность, «люди социалистического общества не пожелают быть лежебоками». Более того: «Если социалистическое общество не сумеет организовать труд так, чтобы он был удовольствием, дело не выйдет»[873]. Как в воду глядел. Но утопия Мархлевского (и Маркса) – это одно, а проект Баллода (и немецкой социал-демократии) – другое «дело». Это – государство-фабрика, и она должна работать независимо от того, любят рабочие трудиться или нет.

Мархлевский протестует против попытки Баллода насадить «мандаринщину» в виде иерархии образованных управленцев над менее образованными рабочими. В конечном итоге все должны получить полный доступ к благам культуры, иерархия должна быть упразднена. Но возможно ли это сразу? Баллод вернется к этой мысли, оценивая первые итоги большевистского эксперимента.

* * *

Козырь Мархлевского и большевизма в целом – **провал попыток провести социалистические эксперименты в Германии** после прихода к власти социал-демократии. Социал-демократы не собирались идти к социализму, а большевики – готовы к этому и, может быть недостаточно умело, но действуют. Интересно, что с этим Баллод согласился…

Посетив в 1920 г. Советскую Россию, он написал незаконченную работу, достаточно благодушно оценивающую первый советский опыт. Эти оценки контрастируют с тем, что писали другие германские социал-демократы после 1918 г. Но Баллод не изменил своих взглядов. Он просто увидел, что большевики начали движение к сверхцентралистической («социалистической») экономике, а германские товарищи, взяв власть, не сделали ни одного шага к социализму. Поэтому Баллод утверждает, что «русский пролетариат… является полновластным хозяином на своей территории», но действует в трудных условиях[874]. Баллод не согласен с социал-демократами, утверждающими, что Россия не готова к

социализму, так как лишь небольшая часть работников сосредоточена в крупных производствах. При условии повышения производительности труда этого вполне достаточно – все равно остальная рабочая сила является излишней и должна отдыхать на пенсии. Важно только организовать массы соответствующим образом и подтянуть их культуру к нужному уровню: «Но если есть смысл в теории о диктатуре пролетариата, то эта диктатура может только быть диктатурою просвещенного идеализма, светлого гения пролетариата над простой демократией непросвещенных, не понимающих пока своей собственной выгоды широких масс»[875]. Баллод понял большевиков лучше их самих. Ленин лишь в последних статьях 1922-1923 гг. пришел к этому же выводу, полемизируя с Н. Сухановым: да, в России не было культурных предпосылок для строительства социализма. Но диктатура должна их создать. Из социалистического ее проект превращается пока в просветительский, из коммунистического – в модернизационный. Но в этом заключается более достижимая, более практическая миссия. Одна беда – нет доказательств, что просветитель более просвещен, чем просвещаемый.

А вот когда задачи просветительского проекта будут обеспечены, когда большинство работников будут думать также, как просветители, то станет возможным переход к демократии. Ведь демократия совместима с централизмом только при условии, если мнение большинства совпадает с мнением центра, принимающего решения, обязательные для всех. Логика последовательного социал-демократа сомкнулась с логикой большевизма. Жажда практических шагов, преодолевающих капитализм, заставила и большевиков, и Баллода отказаться от бесконечного ожидания полного вызревания предпосылок для социализма. **Предпосылки никогда полностью не вызревают сами.**

Глава VII

Ветер с Востока

Народничество: отступление в будущее

Марксизм начертал ясный путь прогресса. Но российские социалисты опять предлагали двигаться в другом направлении. С точки зрения марксизма их проект был регрессом, отступлением. Но недостроенная магистраль ведет в тупик, и отступление с нее – это путь к выходу.

Российские мыслители играли ведущие роли в формировании социалистической идеи – наравне с немцами и французами. В этом отношении Россия не была провинцией, но сама по себе она казалась неблагоприятной почвой для произрастания социалистических идей и уж тем более для их воплощения в жизнь. Самодержавный режим ограничивал возможности для теоретической дискуссии, отставание в развитии индустриализма и капитализма ставило в повестку дня не социализм, а обычную модернизацию. И только община, соединенная Герценом с социалистической идеей, придавала России имидж резервной территории социализма. Но европейские умы не предполагали, что «резерв» двинется в атаку уже в 70-е гг. В 1874 г., когда поражение Интернационала в Западной Европе становилось все очевидней, тысячи молодых народников двинулись по просторам России в свой первый поход «в народ». С этого момента и до конца Российской революции народничество станет весомым фактором европейского социалистического движения.

Народничество, часто воспринимаемое как «крестьянский социализм», как мы видели, было гораздо более сложным учением уже в своих основаниях, разработанных Герценым, Чернышевским и Бакуниным. Тем очевиднее становится не-крестьянский характер народничества в его практическом воплощении. Интеллигенция пытается понять народ и из него вывести основания своей программы. Народ, который в Западной Европе сам выходит на улицы и заставляет интеллектуалов откликаться на этот вызов, здесь, в России, изредка просыпается для разрушительного локального бунта, а в остальное время спит и не желает перемен. Кому же нужны эти перемены? Народу. Ибо положение его бедственно, что видно невооруженным глазом. Почему же сам народ не видит необходимости перемен? Потому что не имеет достаточной культурной подготовки, чтобы осознать эту необходимость. Таким образом, у народников социальный проект соединяется с просветительским.

Впрочем, высказав предложение «идти в народ», сам Бакунин не возлагал на этот поход просветительских надежд. Народ лучше революционеров знает, что ему нужно – за исключением нескольких «затемняющих черт» его сознания – патриархальности, поглощения лица миром и веры в царя, а также изоляции общин друг от друга. Соответственно, революционерам следовало преодолевать своей агитацией этот консерватизм и монархизм, и обеспечивать связь между революционными очагами в деревне[876]. Именно для такой связи, а не для последующего управления послереволюционным обществом (в чем его обвинял Маркс), Бакунин считал возможным создать тайную (то есть подпольную) революционную организацию[877].

Идеи Герцена и Бакунина заложили основы взглядов народников, но в принципе пафос революционного просветительства вытекал даже не из трудов основоположников народничества, а из этики интеллигенции. Как только индустриализм начал «вырабатывать» интеллектуальный слой, его общественно активная часть, которая будет именоваться **интеллигенцией**, стала искать возможности

преобразования общества. Этот универсальный процесс принял в России специфическую форму, наложившись на этическое наследие дворянской революционности и высокие нравственные требования православной культуры.

Говоря об источниках взглядов народнической интеллигенции, современный исследователь Г.С. Кан обращает внимание на «Евангелие, с которым подавляющее большинство радикалов 1870-х гг. знакомилось в возрасте 10-13 лет, т.е. в период, когда формировался их характер и духовный облик»[878]. Евангелие научило юных социалистов борьбе за правду, самоотречению, готовности «положить душу свою за друзей своих». Христианский базис народной психологии учитывался народниками в агитации. «Стремление пророков раннего христианства к социальному равенству… многие семидесятники склонны были принимать за еще неисчерпанный потенциал в борьбе за социальное равенство»[879], – пишет исследователь народничества В.А. Малинин. Российская империя очевидно не соответствовала высоким нравственным требованиям Евангелия, и этот конфликт требовал разрешения – обычно в отрицании как империи, так и обслуживающей ее нужды Церкви. В условиях, когда модернизация уже началась, а официальное мировоззрение опиралось на традиционную религиозную ортодоксию, социализм отчасти играл **роль русской реформации**. Если для одних народников символом их веры был атеизм, то другие считали возможным использовать христианскую традицию в агитации, а третьи сами были последователями христианства и исходили именно из его принципов при формировании своего мировоззрения. «Либо Христово учение, либо Государство должно было пасть»[880], – утверждал В.А. Энгельсон. Софья Бардина на суде утверждала, что она хранила верность христианским взглядам «в том их чистом виде, в каком они проповедовались самим основателем христианства»[881]. Прудонист Н. Соколов прямо выступал с идеями евангельского социализма: «Что такое учение Иисуса Христа, как не кодекс коммунизма? Иисус Христос и его апостолы проповедовали, чтобы мы владели всем сообща… Иисус был не только коммунист, но также и анархист, потому что он не имел и понятия о гражданском управлении. Каждый магистрат казался ему естественным врагом человека»[882].

Критический настрой молодых радикалов получил дополнительное обоснование в «нигилистических» статьях Д.И. Писарева, далекого, впрочем, от разработки конструктивных социалистических идей. «Нигилизм», сыгравший в России интеллектуально-критическую роль, аналогичную той, которую в истории западной социалистической идеи сыграло левое гегельянство, не мог предложить конструктивную альтернативу существующему строю. И здесь идея «общинного социализма», разработанная Герценым и Бакуниным, заняла свое законное место, тем более, что почва для нее была подготовлена вполне легальной полемикой западников и славянофилов, а также пропагандой Чернышевского и других демократов – «шестидесятников».

* * *

Народничество как массовый феномен родилось во время первого **«хождения в народ»** в 1874 г. Значение этого события обычно недооценивается в историографии: «оно, как известно, было полностью безрезультатным, и привело к аресту более 4000 человек, в том числе и почти всех «чайковцев»»[883]. Тезис о полной безрезультатности «хождения» (да еще с припиской «как известно»), крайне поверхностен. «Хождение» стало первым знакомством революционной интеллигенции с социальной реальностью страны, которую она собиралась преобразовывать. Это был первый шаг к преодолению грандиозной дистанции между революционным меньшинством и народом, которая, «как известно», отличала декабристское движение, но уже не была характерна для позднего народничества. «Хождение в народ» стало «разведкой боем». Этот опыт создал генерацию семидесятников, влияние которых на общественное

движение будет сохраняться вплоть до российских революций, ставших зримым доказательством влияния народничества и его идей – в том числе и на крестьянство, которое в 1874 г. еще невнимательно слушало народников, но затем стало относиться к ним серьезней. Именно в результате «хождения в народ» образованная Россия обратила свое внимание на народничество. Его пафос гражданского неповиновения, предвосхитивший этику гандизма, потряс Россию во время процесса 193-х – прямого следствия «хождения в народ». В итоге «преследования народников нанесли страшный удар престижу власти; сами же народники завоевали высочайший моральный авторитет»[884]. Развернув репрессии против пропагандистов, правительство подтвердило вывод Бакунина о том, что революция должна начаться с разрушения власти. Бакунизм в этом отношении способствовал политизации стратегии народников (хотя Бакунина часто обвиняют в антиполитичности). Самодержавие стало «громоотводом» социалистической «молнии», который возвышался над строением социальной системы России. Но иначе и быть не могло – без решения минимальных задач демократизации широкое обсуждение социальных требований было невозможно.

«Хождение в народ» показало, что крестьянство в 70-е гг. не было настроено бунтовать. Это стало очевидным фактом, и последующим историкам оставалось только демонстрировать наивность Бакунина и его последователей, которые рассчитывали на крестьянский бунт[885]. Легко быть мудрым задним числом. Но так ли наивны были эти расчеты? Ведь в 60-е гг. крестьянство бунтовало. Одна из задач «хождения в народ» заключалась как раз в выяснении настроений крестьянства. И некоторые сигналы обнадеживали революционеров. Крестьяне то ностальгически вспоминали о бунтах, то вдруг поддерживали демократические предложения: «Да что царь! Вот в других землях лучше: выберут его на четыре года, а там не понравился – пошел к лешему – и получше тебя найдем»[886]. В отличие от нынешних критиков народничества, охранители того времени хорошо поняли опасность революционной агитации и ее относительную результативность – крестьяне слушали агитаторов с интересом, прямой «отпор» давали им крайне редко. В 1875 г. правительство решило изучить причины, в результате которых «та или иная местность в России оказывается восприимчивою к проповедываемым революционным идеям, какие условия народной жизни содействуют успехам пропагандистов и дают им надежду на колебание в народных массах верности религии и престолу»[887].

И в исторической перспективе планы крестьянской революции выглядят не столь наивными – в начале XX века крестьяне снова стали бунтовать, и далеко не всегда это происходило в результате пропаганды оппозиции. В 70-е гг. революционеры ошиблись относительно сроков вызревания недовольства в деревне, но не по поводу самого факта нарастания кризиса, разразившегося в 1905 г. Тем более, что отдельные волнения происходили и в 70-е гг., что вселяло в революционеров вполне практические надежды. Рассказав народнику И. Деникеру о бунте, один крестьянин сказал, сославшись на мнение стариков села: «Ну что же, раз усмирили, а мы снова подымемся»[888]. С крестьянскими волнениями 1875 г. связано и «Чигиринское дело», где революционеры добились своеобразного успеха. Революционер Я. Стефанович в 1877 г. создал в Чигиринском уезде (где два года назад прошли бунты) «Тайную дружину», которая должна была поднять восстание против помещиков, но «за царя», якобы жаждущего дать землю крестьянам. Крестьяне готовы были поддержать такое движение – в дружину вступила почти тысяча бойцов. Попытка перейти от тактики Бакунина, который категорически настаивал на подрыве веры крестьян в царя, к Нечаеву, от открыто республиканского движения к рискованной тайной интриге, закончилась провалом. Обман был разоблачен, Стефанович и множество крестьянских заговорщиков были арестованы[889]. И это будет не последний провал «нечаевщины», несколько раз воспроизводившейся в сумрачных условиях подполья, куда загоняло оппозицию самодержавие.

Но большинство народников не отступало от своих основных принципов. Потерпев неудачу в «атаке» на деревню, они приступили к длительной осаде – к жизни среди крестьян, пропаганде, созданию

поселений. Интенсивная «осада» будет продолжаться всего несколько лет, но работа народников в деревне растянется на несколько десятилетий, позволит им лучше понять деревню и адаптировать свои идеи к ее стремлениям. Труды воздадутся сторицей – в начале XX века народническая партия эсеров станет самой популярной в деревне, и народничество получит, наконец, основания выступать от имени крестьянства.

* * *

«Хождение в народ» было подготовлено пропагандистскими организациями начала 70-х гг., крупнейшей из которых было **Большое общество пропаганды** («чайковцы» – по имени одного из лидеров Н.В. Чайковского). Как писал участник Большого общества пропаганды Н.А. Чарушин, оно было организовано «по типу, совершенно противоположному нечаевской организации» – без уставов и формальностей, на близости взглядов и «искренней привязанности друг к другу»[890]. Можно согласиться с современным исследователем В.П. Сапоном в том, что «кружок «чайковцев» послужил наглядным прообразом ячейки либертарно-социалистического общества»[891]. Это была реализация идеи о выстраивании прообраза будущего общества в самом общественном движении, за которую ратовали федералисты Интернационала.

Большое общество пропаганды положило в основу своих взглядов «начала самоуправления», большинство ее членов в ходе идеологической дискуссии «вынуждено было признать анархизм»[892]. Более подробное изложение программы движения с согласия товарищей взял на себя П.А. Кропоткин. Он описал взгляды, преобладающие в петербургской группе общества, в работе «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя?» (1873). Этот текст написан под влиянием бакунизма (Кропоткин уже успел принять участие в работе Интернационала, народники были знакомы с «Государственностью и анархией» М. Бакунина), и существенно отличается от будущих радикально-коммунистических работ Кропоткина, который после эмиграции стал выступать уже как оригинальный мыслитель.

В своей записке 1873 г. Кропоткин с одобрения своих товарищей (записка была обсуждена Петербургской группой общества) излагает бакунистскую концепцию, уточненную в ряде положений с учетом собственных практических суждений, которые делают программу более умеренной, сдвигающейся ближе к Герцену и Прудону.

Кропоткин утверждал, что идеалом социалистов является равенство в правах и обязанностях, в том числе и на труд «при наибольшем возможном просторе для развития индивидуальных особенностей, в способностях, безвредных для общества»[893]. После социальной революции земля передается во владение сельским общинам, а предприятия – общинам рабочих. «Мало-помалу» вводится общинная обработка земли. Фабрики начинают работать «на артельном начале» с выборными распределителями работ. Квартиры распределяются городским самоуправлением примерно поровну на основе жребия. При этом Кропоткин подробно разбирает финансовую проблему. «Звонкая монета» переходит в распоряжение самоуправления территории, так как придется что-то покупать за ее пределами.

В отношениях общин между собой желательно, чтобы они объединились в союзы и добровольно обменивались продуктами своего труда. Для этого Кропоткин предлагает ввести тщательный учет производительности труда за час времени (о различии в качестве труда он не задумывается). Но если часть общин не одобрит такой безденежный обмен (а на самом деле – обмен на основе упрощенной «конституированной стоимости», чеков, указывающих количество отработанного времени), то возможны и расчеты между общинами на основе «звонкой монеты»[894]. Как видим, народники на этом этапе разделяли непредрешенчество Бакунина относительно конкретных форм межобщинного обмена, в том

числе рыночного.

Чайковцы, в отличие от Бакунина, не понимали различия коллективизма и коммунизма, и, излагая коллективистскую программу, употребляли как синоним коллективизма слово «коммунизм». На этом основании, конечно, нельзя считать, что они отходят от бакунизма, как полагает В.П. Сапон[895]. Как и Бакунин, чайковцы – коллективисты, и терминологические недоразумения ничего не меняют в содержании их программы.

Вообще, исследователи народничества, критически относящиеся к бакунизму, не оставляют попыток доказать, что народники, разделявшие основы бакунинских социальных взглядов, не были бакунистами. Ведь их взгляды по разным вопросам не соответствовали бакунинским в точности[896]. Но в этом случае вообще не приходилось бы говорить об идейных течениях, включая марксизм. За исключением самых догматических сект.

«Чайковцы» считали, что более подробно обсуждать идеал будущего строя рано – необходимо сосредоточить все усилия на уничтожении препятствий для анархического преобразования общества. Также, как и Лавров, Кропоткин в это время считает, что сразу после революции анархический идеал все равно не удастся осуществить во всей полноте. В целом проект Кропоткина, несмотря на его заведомую неоригинальность (задача проекта – вывести взгляды, приемлемые для большинства революционеров), фиксирует приверженность народников анархизму, чуть более умеренному, чем у Бакунина.

При всем огромном значении воздействия на революционную молодежь работ Бакунина и Лаврова, революционный актив в России не воспринимал эти идеи слепо. Жизнь приводила молодых революционеров к постановке тех же проблем, которые решались в работах лучших эмигрантских мыслителей. В.Н. Черкезов вспоминает о чтении в России первого номера бакунинского «Народного дела»: «Мы нашли, наконец, в печати ясно сформулированными наши мысли, наши заветные стремления»[897]. Так идейные лидеры нередко обретают последователей – не открывая для них истину, а более четко и красиво формулируя то, что уже созрело в сознании будущих сподвижников. **Это дает лидеру авторитет, благодаря которому последователей увлекают уже его новые, неведомые им ранее идеи, вытекающие из логики развития идейного течения, к которому неофиты прежде не были причастны.**

* * *

П. Кропоткин и Н. Чарушин по разным причинам позднее пытались отмежевать «чайковцев» от анархизма вообще. Взгляды Кропоткина впоследствии стали значительно радикальнее, и он уже глядел на своих товарищей того времени как на социал-демократов[898]. Н. Чарушин, который ко времени написания мемуаров не разделял анархистских идей «чайковцев», пытается представить дело так, будто П. Кропоткин, составляя программу общества, излагал преимущественно свои личные анархистские взгляды[899]. Но анархизм очевидно преобладал в среде «семидесятников». Конструктивной программой народников, ходивших «в народ», был «союз производительных общин», как об этом возвестил с трибуны суда по делу 193-х И. Мышкин[900]. Идеалом **«Земли и воли»**, крупнейшей народнической организации, возникшей в результате «хождений в народ» и существовавшей в 1876-1879 гг., были «анархия и коллективизм», но в качестве перехода к ним землевольцы считали необходимым «полное мирское самоуправление», союз общин, из которой каждая определит, какую долю власти она отдает своему правительству[901]. «До конца 70-х годов революционные народники (землевольцы в частности) почти все были анархистами… Анархизм народников был естествен. Он коренился в самой идеологии народничества»[902], – комментирует Н.А. Троицкий.

Землевольцы считали, что социализм органически вытекает из стремлений самого крестьянства. Они требовали ликвидации собственности на землю и передачи ее во владение общинам, полного общинного самоуправления. Как пишет о программе организации землеволец О.В. Аптекман, «ничего оригинального в этой программе не было. Это была, прежде всего, программа Бакунина, только более полно обоснованная историческими данными и фактами современной действительности»[903]. Хотя это мнение и поныне пытаются оспаривать, противники вывода о бакунизме «Земли и воли» не привели каких-то программных (а не тактических) положений «землевольцев», которые расходились с мнением Бакунина. Что касается тактики, то ее можно рассматривать применительно к ситуации, которая менялась со времени публикации «Государственности и анархии»[904]. Несостоятельна и попытка обнаружить различия землевольцев с Бакуниным в его, якобы, стремлении немедленно достичь анархического идеала уже в ходе восстания. Он прямо утверждал: «Я не утверждаю – заметьте – что при такой переделке деревни сверху донизу она сразу создаст совершенную организацию, соответствующую по всем пунктам тому идеалу, о котором мы мечтаем. В одном убежден я: это будет живая организация, и как таковая она станет в тысячу раз выше существующей теперь»[905]. В связи с этим разногласия этого времени между Бакуниным, Лавровым и землевольцами корректнее рассматривать как тактические. В 1873 г. Лавров призывал «поднять народ», а когда попытка не удалась, предложил перейти к более длительной пропаганде. Бакунин в 1875 г. тоже пришел к выводу, что в ближайшее время революции не предвидится.

* * *

Народничество середины 70-х – 80-х гг. не отличалось большой теоретической оригинальностью, опираясь на достижения мысли предыдущего периода. Оно вело тот же поиск синтеза идей, который происходил в это время и на Западе.

Противоречия народников 70-х гг. почти не связаны с темой конструктивной социально-экономической программы социализма. Все они выступают за общинный социализм, но одни вслед за Бакуниным считают необходимыми более радикальные методы борьбы, а другие, подобно прудонистам – призывают к осторожности. **Ключевое различие между народниками заключается в отношении к государству как инструменту преобразований.**

Народников принято распределять по трем направлениям: «бунтарскому» (Бакунин), «пропагандистскому» (Лавров) и «заговорщическому» (Ткачев). Название «пропагандистского» направления дезориентирует – и бакунисты, и ткачевцы тоже занимались пропагандой. Дискуссия шла о тактике достижения целей, не подвергавшихся сомнению.

Ближе всего друг к другу бакунисты и лавристы. Молодых радикалов, зачитывавшихся «Государственностью и анархией» Бакунина, не устраивала умеренность тактики Лаврова и его журнала «Вперед». Лавров убеждал молодых радикалов, что революционер должен идти в народ не учителем, а «скромным учеником», он «не более, как школьник революции»[906]. «Не думает ли редакция «Вперед» открыть приготовительные курсы для революционеров с премией на аттестат революционной зрелости?»[907], – возмущались «чайковцы» и «чистые» бакунисты. А не мешало бы открыть такие курсы.

Отвечая нетерпеливым радикалам, поклонникам Бакунина, Лавров показывал, что как раз в этом вопросе (как и в большинстве других) у него нет разногласий с «великим бунтарем»: ««Образование есть несомненная сила», – пишет М.А. Бакунин и даже повторяет с еще большею энергиею: «**Знание – сила; невежество – причина общественного бессилия**»»[908].

Все три течения выступали за общинный социализм, широкую автономию общин и регионов по

достижении социализма. Но Бакунин требовал этой автономии уже в условиях революции, Лавров сначала также сразу, а позднее, скорректировав свою точку зрения – после завершения гражданской войны, а вот Ткачев – после осуществления социалистических преобразований. Позиция Ткачева, таким образом, имеет принципиальное отличие от взглядов Бакунина и Лаврова.

Остальные различия менее существенны. Несмотря на то, что Бакунин и Ткачев занимали радикальный фланг народничества, остальные народники 70-х гг. также были революционерами. Они спорили между собой, насколько важно готовить предварительную культурную почву для революции, просвещать народ. Революционное просвещение народа по Лаврову ставит перед собой не чисто просветительские, а политические задачи – создать очаги массовой поддержки революционеров в народной среде. В принципе, и сам Бакунин был не против этого, он просто сомневался, что революционеры мудрее народа и могут его «научить» и просветить. Нужно предоставить народу свободу самообразования.

При этом М. Бакунин и П. Ткачев считали необходимым достичь искомого результата как можно скорее, приближая революцию действиями революционеров. Но и Лавров одобрял работу революционеров в России, не считал, что нужно сидеть сложа руки в ожидании революции.

Не является ли деятельность революционеров провокационной? Ведь они стремятся к революции, к потрясениям, а значит, и бедствиям? Это было бы верно, если бы революционеры провоцировали революцию, которой без них не случилось бы. А обычный революционер стремится к скорейшему наступлению революции, которая неизбежно произойдет. Сами социальные противоречия в России и неспособность власти разрешать назревшие проблемы с помощью реформ уже являлись с точки зрения революционеров достаточным основанием для революционного взрыва, и дальнейшее углубление противоречий делало предстоящую революцию еще более кровавой. Поэтому с точки зрения революционера **не следует ждать дальнейшего «вызревания предпосылок», которое на деле является загниванием, умножением страданий**. Исторически революционеры-народники оказались правы, так как, несмотря на поражение революционеров, революция все равно произошла в 1905 г. и позднее. Уничтожая революционеров, империя не избежала революции.

При всей общности взглядов народников по большинству вопросов конструктивной программы, которая и позволяет рассматривать их как единое течение, в его недрах проявились принципиальные разногласия между анархистами и государственниками.

Не все народники разделяли идеи федерализма и организации власти снизу. Ткачев, в отличие от Бакунина, добавлял к «общинному социализму» идею революционного государственного переворота, перенося на русскую почву **бланкизм.** Как бланкист, Ткачев оказался между позициями Бакунина и Маркса. Мы видели, что в области социально-экономической программы реальные бланкисты (в отличие от марксистов) вполне могут принимать социально-экономическую программу прудонизма (а значит и бакунизма). Но в области политической программы различия бланкизма и анархизма более существенны.

Марксисты не всегда придают значение этим различиям между народническими «ересями». Энгельс счел Ткачева бакунистом[909], что повлияло на оценки других марксистов (в частности, Г. Плеханов, понимавший различие двух течений, все же характеризовал взгляды Ткачева как «упрощенный бакунизм»[910]).

Энгельсу простительно было принять Ткачева за бакуниста. Во-первых, его работы не были широко известны, но было очевидно, что он, как и Бакунин – народник, а во-вторых, имел наглость заступиться за Бакунина против клеветы Маркса и Энгельса. Прочитав ответ Ткачева, альтер эго Маркса распалился, и написал против Ткачева две статьи, где по инерции нападал на Бакунина, цитируя якобы написанный им нечаевский катехизис и обвиняя русских бакунистов в том, что они не способны на «настоящее дело,

которое доказало бы, что у них действительно есть организация и что они занимаются еще чем-нибудь другим, кроме попытки образовать кружок в дюжину человек!»[911] Это написано, когда тысячи сторонников анархистских идей пропагандировали «в народе», отправляясь за это в царскую тюрьму.

Справедливости ради, нужно сказать, что Энгельс много лет спустя понял свою ошибку. А. Воден вспоминает о своем общении с Энгельсом в 1893 г.: «приписав Ткачеву по существу бакунистские мысли, Энгельс поспешил написать мне, что, раздобыв первоисточники у Мендельсона, он убедился, что смешал того и другого путаника…»[912] Правда, в этом эпизоде путаником оказался Энгельс.

Сегодня также встречается стремление нивелировать разногласия Бакунина, Лаврова и Ткачева. В.П. Сапон настаивает, что у всех трех теоретиков не только цели, но и «методы и средства изживания «государственного элемента» в обществе… были в значительной степени схожи»[913]. «В значительной степени» – понятие растяжимое. Ведь черты сходства, и даже «в значительной степени», имели идеи таких противников, как Бакунин и Маркс[914].

Подытожим, что уже говорилось о «методах и средствах изживания государственного элемента» у Бакунина и Лаврова. Метод Бакунина – немедленное разрушение государства с заменой его федерацией общин, которая, по Бакунину, уже не является государством. Лавров первоначально не отличается в этом отношении от Бакунина, а начиная с середины 70-х гг. корректирует позицию, признавая необходимость временных государственных структур. Но он не считает, что эти структуры могут быть инструментом создания социалистических отношений. Социализм может возникать только снизу, он – творение низов.

Взгляды Бакунина и Лаврова близки – при всех их тактических разногласиях. Бакунин готов обсуждать «меньшее из зол» на шкале от самодержавия до республиканского федерализма государственников (особенно в 60-е гг.[915], в начале 70-х гг. – меньше). Но это не мешает Бакунину категорически утверждать, что даже самая благоприятная государственность все же не дает освобождения, а лишь «минуты свободы». То, что он считает государством – организация защиты интересов элиты, машина подавления трудящихся масс – не дает свободы даже при самом демократическом фасаде. Но фасад может быть полезен, может быть меньшим из зол.

Со временем Бакунин заостряет свои выводы, считая полутона не столь актуальными в условиях революционного подъема. В этом отношении он не сближается с ткачевизмом (бланкизмом) и даже лавризмом, а удаляется от них в условиях жесткого конфликта с марксистской фракцией Интернационала (представление которой о государстве ближе позиции Ткачева, чем Бакунина).

Позиция Ткачева отличается от мнения Бакунина принципиально, а от мнения Лаврова – существенно. **Ткачев называет себя государственником или якобинцем.** Он считает, что «у народников и государственников цель одна и та же – социальный переворот»[916]. Здесь характерно не указание на сходство (ведь это сходство всех социалистов), а то, что Ткачев встает на сторону государственников в их отношениях с народниками. Ткачев отождествляет народников с анархистами, но он не согласен с ними. Он убеждает их встать на сторону государственников: «для народников, для анархистов скорейшее осуществление революционного государства может быть только выгодно»[917]… Из этого никак не следует, что Ткачев – анархист. Напротив, он здесь призывает народников-анархистов отказаться от своей программы, уверяя, что лучше знает путь к свободе, чем его оппоненты. Таким же образом агитировал своих партнеров-анархистов Ленин, пока не подготовил почву для их разгрома.

Ткачев исходит из того, что «революционное меньшинство уничтожит непосредственных врагов революции и устранит первоначальные препятствия, мешающие практическому осуществлению социально-революционных идеалов»[918]. Ставка на революционное меньшинство как движущую силу уже начавшейся революции, уничтожающую врагов, отличает позицию Ткачева и от взглядов Бакунина и даже Лаврова, у которых революционеры – советники и помощники восставших масс. Лавров видел в

революционной интеллигенции силу, которая может подготовить субъективные предпосылки революции, Бакунин допускал тайное влияние подпольной организации на ход восстания, но никто из них не соглашался с Ткачевым в том, что революционное меньшинство может совершить революцию само по себе, без решающей роли народного восстания.

Против взглядов Бакунина Ткачев написал работу «Анархия мысли», употребляя слово «анархия» в значении «беспорядок», а не «свобода». Ткачев прямо обличал "анархию" и противопоставлял ей государство, в котором видел "единственную силу, которая может своею мощною рукою изменить нынешнее невыгодное положение труда и обуздать своекорыстие капитала"[919]. Хорошо «сходство» со взглядом Бакунина на этот вопрос! Даже Лавров выступил против такого ярко выраженного этатизма Ткачева.

Ткачев ставит условием отмирания государства достижение социального равенства: «самая существенная, самая характерная черта будущего общества и должна выражаться не словом анархия, а словом – равенство… Где братство, там и равенство, где равенство – там и безвластие, там и свобода»[920]. Свобода автоматически вытекает из нового социального устройства, специально заботиться о ней не имеет смысла. В этом взгляды Ткачева ближе к марксизму, чем к бакунизму.

Таким образом, вывод В.П. Сапона о «либертарно-социалистической доминанте» у Ткачева[921] не обоснован. У Ткачева присутствует ярко-выраженная этатистская доминанта. В.П. Сапон отдает Ткачеву пальму первенства реализма среди теоретиков народничества, не приводя, впрочем, доказательств своего вывода[922]. Причина очевидна – взгляды Ткачева ближе всего к марксистско-ленинской модели революции. Он считает, что революционеры не выпустят власть из своих рук, пока не уничтожат своих врагов[923]. Если Лавров и Бакунин понимают опасность такого сценария, то для Ткачева такое развитие событий желательно.

В одном можно согласиться с Плехановым: взгляды Ткачева гораздо проще, чем идейное наследие Бакунина и Лаврова. И в этом была их сила. По мере роста рядов народнического движения, обострения борьбы с самодержавием, усиления ее драматизма идеологическое самообразование отошло на второй план среди других задач революционеров. В драке «идеологический кистень» бланкизма оказался куда сподручней бакунинского «багажа». Практика толкала народников к политизации (это подтверждает и эволюция взглядов Лаврова). В итоге спектр народничества в 70-е гг. сдвигался от участка «Бакунин – Лавров» к участку «Лавров (тоже усиливший государственный элемент своей теории) – Ткачев». Но в силу схематизма своих взглядов Ткачев так и не стал идеологом того крыла народничества, которое отошло от анархизма.

* * *

Народничество осталось исключительно российским феноменом. В 1878-1879 гг. оно сорвалось в террористическую борьбу с режимом (во всяком случае в своей наиболее дееспособной части, объединившейся в партию «Народная воля»). Первые террористические акты, этическая мотивировка которых была понятна общественности, вызвали поддержку со стороны широкой разночинной демократии. Выстрел В. Засулич был встречен общественностью с одобрением, вердикт присяжных о ее невиновности стал явным признаком революционной ситуации и краха старой легитимности. Массовая манифестация, встречавшая Засулич у дверей суда, сделала невозможным ее повторный арест. Это создавало уникальные возможности для наращивания гражданского движения. Но успехи первых терактов сыграли злую шутку с радикалами – они почувствовали свою силу в авторитарном обществе, где заговор был привычнее массовой борьбы. Вместо продолжения кампании по радикализации городских средних

слоев, которая дала такие успехи в 1878 г., революционеры сделали ставку на терроризм. В 1879 г. произошел **раскол «Земли и воли» на террористическую «Народную волю» и «Черный передел»,** сохранивший верность пропагандистской линии.

И хотя терроризм не стал единственным средством борьбы «Народной воли», и в охоту на чиновников был вовлечен ничтожный процент членов организации, но именно несколько терактов, проведенных народовольцами, определил и их место в истории, и судьбу партии. Характерно, что анархистская «Земля и воля», для которой террористические действия были вспомогательными, уничтожила 9 чиновников и провокаторов, а «Народная воля» – 6 и (по ошибке, по ее признанию) 11 солдат. Но среди «целей» «Народной» воли был царь... Охота на царя заставила народовольцев отложить подготовку вооруженного восстания против самодержавия.

Борьба с политическим фигурами переносила центр тяжести революционной программы в область государственной политики. Сохранив обычные для народничества социальные требования, народовольцы выдвинули идею Учредительного собрания для создания федеративной республики. Она вдохновляла революционеров вплоть до 1918 г. Газета «Народная воля» предполагала в 1879 г., что социалисты-революционеры могут получить в Учредительном собрании большинство, так как выражают интересы крестьян. Г. Плеханов позднее назвал эту надежду «фантастическим элементом»[924]. Ему еще предстоит дожить до реального голосования в Учредительное собрание, на котором эсеры действительно станут самой большой фракцией, а сторонники социалистической революции из разных партий получат безусловное большинство. Революция радикализует настроения избирателей, и надежды лидеров «Народной воли» в этом отношении были не так уж фантастичны.

Теперь «Народная воля» считала возможным добиться «общинного социализма» через посредство демократического политического устройства. В грядущем Учредительном собрании народовольцы были намерены бороться для начала за парламентскую республику, мирское самоуправление, выборность всех государственных должностей, передачу земли и предприятий общинам рабочих и крестьян.

Лавров критиковал террористическую тактику и парламентские иллюзии народовольцев. Этот путь наиболее вероятно приведет к поражению, а в случае успеха власть перейдет или к буржуазии, которая более успешно будет действовать на ниве парламентаризма, или к волевым выдвиженцам терроризма, которые далеки от идейной работы и привержены авторитарным методам руководства.

Сосредоточившись на политических проблемах, лидеры «Народной воли» отошли и от анархистской стратегии. А. Желябов, выступая на процессе первомартовцев, назвал анархизм старым обвинением. Однако помимо «парламентских иллюзий» конструктивная программа революционеров претерпела незначительные изменения по сравнению с концепцией Герцена-Лаврова. Просто народовольцы не стали заглядывать так далеко, как стратеги народничества старшего поколения. А вот в области тактики произошел заметный сдвиг от линии Бакунина и Лаврова к Ткачеву, хотя народовольцы в своей программе всегда оставались значительно демократичней Ткачева. А. Желябов и А. Михайлов были ближе по взглядам к Лаврову, а Н. Морозов тяготел к Ткачеву и считал необходимым после революции вводить демократию постепенно. Морозов высказывал скептическое отношение к общине, отходя в этом вопросе от народничества. Л. Тихомиров в общетеоретических вопросах следовал в фарватере народничества, но при этом возлагал большие надежды в проведении преобразований на государство. После 1 марта 1881 г. Тихомиров попытался даже отмежевать «Народную волю» от социалистического течения, но под влиянием «чернопередельцев», с которыми шли переговоры об объединении, согласился на возможность постепенного превращения партии в социал-демократическую[925]. В целом народовольцы не отличались теоретической оригинальностью, а нюансы взглядов каждого из лидеров организации часто зависели от их практического опыта.

Создав реальную угрозу царю, народовольцы вызвали концентрацию репрессивных усилий режима до того, как подготовили достаточные силы, необходимые для его разрушения. Убийство Александра II 1 марта 1881 г. стало пирровой победой и способствовало консервативному сдвигу в политической ситуации. В феврале-марте 1881 г. «Великий Исполком» партии был раскрыт. Но работа «Народной воли», хотя и ослабленная этим поражением, продолжалась.

Уже в 1882 в военную организацию народовольцев было вовлечено около 400 офицеров (не считая членов рабочих дружин), что создавало новую угрозу режиму. Но народовольцам не суждено было повторить попытку декабристов. Заговор был раскрыт новым членом исполкома С. Дегаевым, который, превзойдя самого Нечаева в беспринципности, вступил в альянс с руководителем столичной секретной полиции Г. Судейкиным для осуществления переворота. Судейкин и Дегаев договорились способствовать успехам друг друга. С одной стороны, Дегаев должен был выдавать других лидеров «Народной воли», устраняя конкурентов и усиливая авторитет Судейкина «в верхах», а Судейкин должен был помогать Дегаеву устранять консерваторов в правительстве с помощью содействия терактам. Этот план, как казалось Дегаеву, мог привести к захвату власти их тандемом. Но если Дегаев наивно выполнял свои обязательства, то Судейкин обманывал своего партнера, рассчитывая полностью разгромить «Народную волю». Когда обман вскрылся, Судейкин был убит революционерами, но физический и моральный удар по «Народной воле» привел движение к окончательному разгрому в 1883 г.

В принципе поражение «Народной воли» было предопределено раньше – когда ее главным делом стало не развитие гражданского демократического движения, рожденного еще «хождением в народ», а узкий заговор. Этот метод борьбы настолько отрывался от демократизма целей, что рано или поздно цели должны были быть принесены в жертву авторитарному средству. Сдвиг в сторону Ткачева оказался пагубным. Дегаевщина в той или иной форме была неизбежна. Но еще более трагично эту проблему поставит XX век, когда партия большевиков примется крайне авторитарными средствами строить самый свободный и демократический (в теории) общественный строй – коммунизм. И тогда выяснится: результат преобразований определяется не только целью, но и средствами ее достижения. **Цель не оправдывает средства, а поглощается ими.**

* * *

В конце века народничество могло развивать лишь самые общие свои идеи в подцензурной прессе (чем занимался Н.К. Михайловский) либо продолжать «хождение в народ» в мирных формах, связанных с теорией «малых дел». Она была выдвинута Я.В. Абрамовым, который в 1885 г. провозгласил: хватит рассуждать о невозможности капитализма в России, и пора заняться тем, чтобы «возможно более оградить население от печальных сторон этих порядков»[926]. Таким образом, **легальное народничество** направило острие своей борьбы против капитализма, а не против самодержавия.

Иногда легальное народничество называют либеральным, что некорректно – либерализм приветствует частную собственность и тем несовместим с народничеством. Антикапиталистический пафос легального народничества сочетался со своего рода поссибилизмом: «из этих маленьких дел слагается жизнь миллионов»[927] – утверждал Абрамов.

Эта стратегия помощи крестьянам «по мере возможности» позволяла осуществить третье «Хождение в народ». Представители интеллектуальной элиты могли начать «выплату долга» народу и в мирных формах, работая врачами и учителями. Такое «оседание интеллигенции на земле»[928] должно было также интеллектуализировать село, реализовать просветительский проект – пока без революционного. То, что революционеры надеялись осуществить после революции – обеспечить культурное освобождение

крестьянства, легальные народники готовились сделать уже в рамках существующего строя. Правда, самоотверженные «рыцари культуры» смогли быстро убедиться, что социальные условия Российской империи воспроизводят социальные язвы быстрее, чем их залечивают интеллигентные альтруисты.

Историк В.В. Зверев считает: «Уход в область «культурничества» не учитывал еще одной важной стороны вопроса: ведь вакуум политической жизни неминуемо заполняется, как известно, другими теориями, и не обязательно умеренного, центристского толка»[929]. Но вакуум создавали не легальные народники. Они действовали в тех условиях, в каких могли, развивая народническую субкультуру после разгрома радикального народничества. Не случайно в ходе революции 1905 г. большинство народников вернулись к революционной политике. Работа легальных народников подготовила массовую поддержку эсеров в 1917 г.

Радикальное народничество продолжало развиваться, то и дело возникали и подвергались разгрому кружки, претендовавшие на роль воссоздателей «Народной воли». В начале XX в. этот процесс вылился в создание Партии социалистов-революционеров. Но возможность возродить революционную партию зависела от ситуации в обществе, а соотношение течений освободительного движения обуславливалось другим – противопоставив свою теорию тенденциям капиталистического развития, легальное народничество также вставало поперек дороги индустриального прогресса. Тенденции эпохи были сильным аргументом для их оппонентов – и либералов, и нового для России течения – марксизма.

* * *

Общественная мысль России обратилась к марксизму сначала из общего интереса к различным тенденциям западного социализма. Настоящий народник должен быть знатоком современной социалистической литературы. Но в 80-90-е гг. развернулось наступление марксистов на народничество.

Идеологи «Народной воли» были довольно слабыми авторами в сравнении с генерацией народников 70-х гг., что понятно – «народовольцы» были прежде всего людьми дела. А дело это проиграло.

Поражение «Народной воли» требовало осмысления. Успехи «Черного передела» были не лучше – крестьяне слишком медленно впитывали революционные идеи пропагандистов. Эмигрантский центр «Черного передела» во главе с Г.В. Плехановым отходил от прежних идейных принципов. Крестьянство не подошло на роль движущей силы революции, а община, в которой народники видели потенциальную основу будущего общества, стала разлагаться. Правда, вопрос о необратимости разложения общины был дискуссионным. И даже полный распад общины под давлением капитализма не опровергал бы основную идею общинного социализма о том, что социалистическое общество должно возродить на новой основе общинное начало. Но для Плеханова и его товарищей текущие социально-экономические тенденции оказались решающим аргументом. Методом исключения несложно найти новую почву под ногами – если не народничество, то марксизм.

Плеханов усиленно изучал работы Маркса, которые дали ему альтернативу народническим социально-экономическим представлениям. Возник мимолетных шанс для синтеза марксистских и народнических идей. Маркса и Энгельс, как мы видели, также стали связывать с Россией больше надежд. Они не исключали, что революция в России может дать толчок пролетарской революции на Западе, а победивший пролетариат Запада – помочь общинным крестьянам произвести коммунистический переворот в системе землевладения.

«Чернопередельцы» стимулировали Маркса к разработке этой темы. По инициативе своих товарищей В. Засулич в 1881 г. обратилась к Марксу с вопросом о перспективах развития общины в социалистическом

направлении. Маркс ответил тактично – он считал Засулич народницей (в действительности «чернопередельцы» в 1881 г. уже тяготели к марксизму), и, по справедливой оценке С.В. Тютюкина, «предпочел воздержаться тогда от каких-либо жестких выводов относительно судеб российского капитализма и крестьянской общины»[930]. Маркс признал общину «точкой опоры социального возрождения России» при условии ее свободного развития и защиты от «тлетворных влияний»[931]. Эта формулировка относится ко времени наивысшего успеха народовольцев в борьбе с самодержавием (письмо датировано 8 марта 1881 г.), и здесь Маркс позволяет себе, пусть и в размытой форме, сделать наиболее благоприятное для «общинного социализма» допущение. Но и это письмо не меняло принципиальных позиций «основоположников», что подтвердило их предисловие к русскому изданию «Манифеста коммунистической партии»: «Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития»[932]. Такое допущение определяло место союзных «мелкобуржуазных» течений в общей стратегии мировой революции. Центр – в развитых странах Запада. На периферии – свои особенности, **использование общинных традиций для ускоренной коммунистической модернизации** под руководством пролетариата передовых народов.

Тексты Маркса и Энгельса 70-80-х гг. создавали новое поле для развития марксистской мысли в периферийных странах. Однако пока эти возможности не были востребовали. Ответ Маркса «запоздал» – «чернопередельцы», задававшие вопрос, ответили на него куда категоричнее, чем сам Маркс. Они перешли на позиции ортодоксального марксизма и пришли к выводу, что община обречена, и России предстоит двигаться тем же путем, что и Запад. Только в начале XX века жизнь заставит уже учеников Плеханова вернуться к проблеме особенностей пути к социализму в крестьянской стране.

В 1881-1883 гг. «чернопередельцы» рассматривали возможность войти в «Народную волю» и редакцию ее заграничного органа, «поскольку они предполагали народовольчество постепенно заменить марксизмом»[933]. Но в 1883 г. в условиях провалов народовольцев переговоры об объединении закончились неудачей. После этого ничто уже не связывало группу Плеханова с народничеством. В сентябре 1883 г. была провозглашена первая русская марксистская группа **«Освобождение труда»**. Отныне Плеханов стал относиться к идейному сходству с народниками как к ереси.

* * *

Крестьянство 80-х гг. оказалось в целом равнодушно к революционным идеям. Силы интеллигенции недостаточны для свержения самодержавия. И демократическая, и тем более социалистическая революция требует иных социальных рычагов. Марксизм указывал на эти силы и давал новые надежды. Самодержавие будет неизбежно уничтожено растущей буржуазией, а социализм создан пролетариатом. Но это станет возможным по мере развития капитализма в России, на которое нужно время. Придется подождать – все равно иных шансов на победу социализма нет.

Но Плеханов не предлагает сидеть сложа руки. Интеллигенция не может совершить социалистический переворот своими силами, но она может способствовать росту организованности и «ясности сознания» рабочего класса, и в этом отношении «она должна стать руководительницей рабочего класса в предстоящем освободительном движении, выяснить ему его политические и экономические интересы, равно как и взаимную связь этих интересов, должна подготовить его к самостоятельной роли в общественной жизни России»[934].

Эта мысль о руководстве интеллигенции получит развитие в идее Ленина о внесении

социалистической идеологии в недра рабочего класса через интеллигенцию.

С выходом в 1884 г. работы Г. Плеханова «Наши разногласия» русский марксизм начинает систематическую борьбу с народничеством за кадры революционной интеллигенции. В условиях кризиса общественного движения оно было податливо к новым идеям, указывающим новый выход. Михайловский вспоминал об этом: «после тупой безнадежности 80-х гг. марксизм захватил умы своею верою и надеждою, тем «радостным прогнозом», который он принес с собою; это был дождь после томительной засухи»[935]. Марксисты ринулись в наступление, и демократически настроенная общественность слушала их с интересом. Но вскоре выяснилось, что марксисты тоже предлагают очень разные стратегии развития России.

Анархизм Кропоткина: бакунизм + коммунизм

В последней трети столетия произошла своеобразная «рокировка»: марксизм проникал в Россию, а народники оказывали решающее воздействие на развитие западного анархизма.

Если марксисты использовали затишье социальных бурь для воспитания кадров пропагандистов своего учения, то пропаганда анархизма развивалась стихийно. Бакунину не удалось создать своей школы. Работая с молодежью, он увлекся радикальной формой, что привело к непониманию последователями его программы-минимум. Часть бакунистов, занявшись выработкой программы-минимум в условиях упадка революционного движения, отступила к марксизму, более приспособленному для индустриального общества. Часть стала искать выход в структурах самого рабочего класса и обратилась к синдикалистской идее. Часть осталась верна максимализму, надеясь на революцию, которая немедленно установит анархический строй, основанный на альтруизме и солидарности.

Направление дальнейшего развития анархистской идеологии зависело не только от объективных обстоятельств, но и от фигур ведущих теоретиков, которые возьмутся за разработку теории после Бакунина. Нишу ведущего теоретика анархизма в конце 70-х гг. занял **Петр Алексеевич Кропоткин** (1842-1921).

По уровню своей общей культуры, жизненному опыту и авторитету революционера Кропоткин превосходил других лидеров анархистского движения после смерти Бакунина. «Структура момента» сложилась так, что движение не имело другого идеолога такого же калибра. От идейного выбора Кропоткина зависело направление дальнейшего развития анархистской идеи. Несмотря на то, что Кропоткин прямо не возражал Бакунину, он радикально пересмотрел его конструктивную программу. Как писал ветеран и историк анархистского движения М. Неттлау, в 1880 г. под влиянием Кропоткина произошел идеологический переворот против «коллективистического анархизма, который в течение 13 лет был гордостью анархистов»[936]. **Кропоткин заменил коллективизм коммунизмом.** Наследие Бакунина после этого сохранилось в радикализме, антиэтатизме и антипартийности.

Популярность Кропоткина в анархистских кругах конца XIX в. объясняется не только его личными качествами, но также радикализмом его программы, импонировавшим как анархистской молодежи, так и части рабочих масс, вчерашних крестьян, которые оказались в тяжелейших социальных условиях. Уровень развития капиталистических отношений не позволял обеспечить стабильные условия существования рабочих, капитализм еще не получил прививку «социального государства».

Еще во времена Большого общества пропаганды Кропоткин унаследовал от Бакунина основные конструктивные идеи освободительного социализма и анархизма. Но в дальнейшей разработке этих идей в конце XIX века Кропоткин руководствовался прежде всего своими знаниями в области «естественных» наук, распространяя их выводы на человеческое общество. Лишь в самом конце века он предпринял самостоятельные исследования социально-экономических проблем, что дало весьма продуктивный результат и привело к корректировке его взглядов.

* * *

Кропоткин своей разносторонностью и достижениями в различных областях науки напоминает титана возрождения. Но попытка применить абсолютизированные закономерности разных наук к человеческому обществу сыграли с видным географом злую шутку: обнаружив в живой природе примеры альтруизма и взаимопомощи, Кропоткин принял за аксиому, что человек – по природе своей альтруист. Увы, образ

человека-альтруиста весьма далек от реального многообразия человеческой натуры.

Как и все анархистские теоретики, Кропоткин отрицает начала современного ему общества как в экономической, так и в политической сфере. В этом обществе "все было захвачено в свою пользу небольшой горстью людей в течение той долгой истории, составившейся из грабежей, переселений, войн, невежества и насилий, которую человечество пережило с тех пор, как стало учиться побеждать силы природы"[937]. Сделав такую экологическую заявку на объяснение причин социального господства, Кропоткин не развивает ее, а движется по пути наименьшего сопротивления – уже известной критики государства и товарно-денежных отношений. Господство олигархии, опирающейся на силу государства и капитала, по мнению Кропоткина крайне неэффективно: "они мешают рабочему производить то, что нужно всем, и заставляют производить не то, что нужно другим, а то, что дает наибольший барыш хозяину"[938]. Автор опускает важное обстоятельство: чтобы товар принес "барыш хозяину", он все же должен быть "нужен другим".

Отрицая рыночные отношения в их частнособственническом варианте, Кропоткин выступает против них и в случае коллективной собственности на средства производства. Рыночные отношения не устраивают его в принципе: "С того дня, когда люди начали менять услуги, оказываемые обществу, платя за них деньгами или какой-либо другой формой заработной платы,... – с этого дня вся история капиталистического общества была (при содействии государства) написана заранее"[939].

Кропоткин, как и Маркс, считает, что эксплуататорская система возродится, если рыночные принципы будут сохранены после революции. Называя "коллективистами" государственных социалистов, Кропоткин под видом критики их построений приводит аргументы против экономических методов стимулирования к труду вообще. Таким образом, он косвенно критикует и Бакунина. Кропоткин пишет: ""Каждому – по его делам!"- говорят они. Но человеческое общество не могло бы просуществовать и двух поколений подряд, если бы каждый не давал иногда другим гораздо больше, чем он надеется получить от них в виде денег или рабочих чеков"[940]. Но ни государственные социалисты, ни бакунисты не предлагали распространить принцип оплаты по труду на все жизненные ситуации. Попытка Кропоткина довести идею до абсурда ничего не доказывает.

Зато сам Кропоткин выступает как максималист и требует «осуществить коммунизм» на следующий день после победы революции: "как только революция сломит силу, поддерживающую современный порядок, нашею первою обязанностью будет немедленное осуществление коммунизма"[941].

Кропоткин выступает за немедленную экспроприацию хозяйства у экономической олигархии, за "возврат обществу того, что ему принадлежит по праву"[942]. Все хозяйство переходит в распоряжение всего общества, которое тут же организует производство "уже не ради барышей кому бы то ни было, а для того, чтобы обеспечить жизнь и дальнейшее развитие всего общества"[943]. Так возникает опасная тема «общества», которое действует как целое от имени своих членов. Но общество никогда не едино, тем более – на следующий день после революции. Кто же распоряжается ресурсами общества от его имени? Это – та же проблема, которую поставил Бакунин перед Марксом: кто будет действовать от имени рабочих после установления «диктатуры пролетариата»? Ответ Кропоткина поражает своей бесхитростностью: от имени общества будут действовать все.

Кропоткин отрицает не только собственность, но в теории – и владение: «Пусть все принадлежит всем…»[944] В то же время, несмотря на такие максималистские формулировки, Кропоткин считает, что не нужно лишать людей мелкого владения, включая и домик с приусадебным участком[945]. Но кроме домика и участочка есть огромная и сложная хозяйственная машина. Фабрики и поля нельзя отдать во владение тем, кто на них работает – тогда будут нарушены права «всех» остальных жителей. Кто обеспечит их интересы, кто наладит производство и распределение?

Если Маркс возлагал надежды на умения управленцев и контроль над ними со стороны рабочих, то Кропоткин «решает» проблему еще проще: люди сами все чудно наладят.

Кропоткин надеется, что захват запасов прежнего общества обеспечит населению "право на довольство" и позволит пережить тяжелый период разрушения экономики, вызванный революцией[946]. Уравнительное обеспечение всех продовольствием должно, по мысли Кропоткина, вызвать в недрах трудящихся творческие силы и коллективистские чувства, достаточные для того, чтобы наладить производство на новых, уже коммунистических, началах.

"Пусть только представят народу свободу действия, и через неделю распределение припасов будет происходить с удивительной правильностью. Сомневаться в этом может только тот, кто никогда не видел рабочего народа в действии, кто провел всю жизнь, уткнувшись в бумаги"[947]. Однако эти оптимистические строки сами навеяны скорее книжными образами истории, нежели реальной практикой. Парижская Коммуна, которую Кропоткин приводит в подтверждение своей идеи, дает множество примеров неразберихи и нерациональности в распределении, которые были порождены не только бюрократизмом, но и отсутствием у коммунаров навыков экономической самоорганизации. В конце жизни Кропоткин сможет наблюдать «свободу действия» рабочего народа осенью 1917 – весной 1918 гг., и этот опыт тоже не подтвердит его гипотезу о способности рабочих за неделю «с удивительной правильностью» наладить распределение (не говоря уж о производстве).

Как показывает опыт революционных событий в Испании в 1936-1937 гг., энтузиазм трудящихся при проведении анархистских преобразований действительно позволял творить экономические чудеса, хотя и не столь впечатляющие, как это представлялось Кропоткину. Но энтузиазм оказывался весьма краткосрочным фактором, после которого должны действовать другие мотивы[948].

Как будет происходить это «распределение припасов с удивительной правильностью»? Кропоткин призывает: «пусть каждый берет сколько угодно того, что имеется в изобилии, и получает ограниченное количество всего, что приходится считать и делить!»[949]. Своего рода шведский стол на развалинах старой цивилизации, проедание ее запасов. Надолго ли хватит?

Чтобы «распределять» продукты сколько-нибудь долго, нужно наладить их производство. В условиях разделения труда это требует взаимодействия работников разных предприятий и отраслей, обмен продуктами. Как будет организована эта хозяйственная система?

Кропоткин категорически отрицает централизованное управление "общенародным" хозяйством. Распорядителями анонимного общества должны быть автономные союзы людей, объединившихся совершенно свободно ради выполнения какого-либо дела. Согласование вопросов в таких союзах предусматривается на основе консенсуса, причем органы согласования не вольны принимать самостоятельного решения – они лишь ведут предварительные переговоры. В итоге нужно прийти к согласию по любому поводу между всеми людьми, ведь они – равноправные совладельцы всего общественного хозяйства.

Но что будет, если многочисленные стороны не придут к консенсусу? Бесконечная затяжка переговоров? В условиях постоянно меняющихся экономических реалий это означает раскол "единого экономического пространства" на самостоятельные части, которые должны как-то взаимодействовать друг с другом. Собственность перестает быть общей, абстрактное стремление к равенству превращается в равенство возможностей. Возникает потребность в универсальном экономическом посреднике – деньгах. Иная перспектива теоретически возможна лишь при высочайшем развитии духовной культуры и средств коммуникации, предпосылки которого стали возникать лишь во второй половине XX в. Но и в наше время рано говорить о том, что этот процесс зашел достаточно далеко, чтобы обеспечить быстрое согласование интересов групп с разными интересами. Тем более – согласие большинства людей.

Таким образом, стремление немедленно ввести и коммунизм, и анархию в условиях индустриального общества, современного Кропоткину, порождает множество проблем. Их решение возможно лишь в случае принятия за аксиому ряда очень спорных предположений (например, о пробуждении альтруизма в массе тружеников в условиях тотального разрушения современной им цивилизации; о готовности трудящихся немедленно организовать общество всеобщего достатка простым перераспределением накопленных прежде продуктов; о способности большого количества участников гигантских союзов немедленно договариваться друг с другом по множеству самых разных вопросов и т.д.).

Противоречия, заложенные в анархо-коммунистической модели Кропоткина, сформулированной на материале XIX в., проявятся и в концепциях его последователей в XX в.[950]**Попытка немедленно организовать коммунизм вела к быстрым разочарованиям и отступлению к переходным коллективистским или государственно-коммунистическим моделям.** Радикальный коммунизм Кропоткина не выдержал экспериментальной проверки в XX веке. Впрочем, сам Кропоткин еще раньше отказался от радикальных требований немедленного осуществления коммунизма.

* * *

Конкретизируя свой план, Кропоткин начинает шаг за шагом сдавать позиции радикального анархо-коммунизма.

Основным субъектом общества по Кропоткину первоначально должна стать большая территориальная община (Париж с округой, например) – это уже все-таки не весь мир и даже не целая страна. Все принадлежит не всем, а территориальной коммуне, от имени которой действуют ее органы самоуправления. Мало того – несмотря на уравнительные принципы социальной революции, другие коммуны вовсе не обязаны просто так снабжать Париж продовольствием. Это предполагает взаимовыгодный обмен без единого плана, что de facto ведет к признанию рыночных отношений между территориальными общинами.

Правда Кропоткин надеется на то, что сами коммуны вскоре перейдут к самообеспечению, сформировав индустриально-аграрные территориальные комплексы, которые вскоре покончат с мировым разделением труда. Но поскольку Кропоткин не призывает к примитивизации жизни до уровня средневекового натурального хозяйства, создание таких территориальных комплексов требует экономического рывка, построения в каждой коммуне комплекса производства всех видов продуктов, которые производит мировое хозяйство. Из этого следует, что от революции до создания развитой экономики автаркичных общин предстоит длительный период экономического развития.

Экономическая автаркия – синоним замкнутости, монополизма и дефицита «импортных товаров», которые где-то за рубежом умеют делать лучше, чем у нас. Но и открытость экономики миру немногим лучше – она несет с собой зависимость от глобальных хозяйственных центров, равнодушных к интересам данной территории. Страна, открытая глобальному рынку, занимает узкое место в мировом разделении труда, и ее судьба зависит от минутного состояния экономической конъюнктуры. Призыв Кропоткина к экономическому самообеспечнию – естественная реакция на издержки глобализации и экономическое неравенство народов. Если избавить эту идею от максимализма, она вполне разумна: **территория должна стремиться к экономическому самообеспечнию основными продуктами, не отказываясь от торговли «излишками» и предметами, обеспечивающими улучшение качества жизни.**

Кропоткин не сводит свой коммунизм к сообществу территориальных автаркичных коммун. Постепенно коммуны превратятся в экстерриториальные сообщества: коммуна – «не территориальная

агломерация; это скорее родовое понятие, синоним группировки «равных», не признающих ни границ, ни стен»[951]. Таким образом, это уже не люди, живущие вместе, а субкультура, связанна культурными узами и открытая вовне: «Социальная Коммуна организуется путем свободной группировки, которая разрушит стены и уничтожит границы. Возникнут миллионы коммун, но не территориальных, а готовых протянуть друг другу руки через реки, горные хребты, океаны, и объединить в одну единую и единородную семью «равных» всех индивидуумов, рассеянных по различным концам земного шара»[952].

Пожалуй, только в эпоху Интернета это явление приобретает зримые очертания. В чате все равны, нет границ, стен, территориальных привязок. Модель коммунизма по Кропоткину. Увы, пока только модель, ибо виртуальное равенство не сохраняется там, где начинается раздел ограниченных ресурсов. А ресурсы, необходимые человеку, все еще весьма ограничены.

Доказывая легкость согласования интересов различных коммун после того, как специализация будет сведена к минимуму, Кропоткин приводит примеры преимущественно из рыночной практики.

Ссылаясь на абонементную оплату за газ, воду, пользование библиотекой и др., Кропоткин видит в этих явлениях приближение к коммунизму и доказательство его возможности. Что это – прогрессивная тенденция или присущие любому обществу упрощения оплаты? Ведь к неудовольствию Кропоткина и эти «коммунистические» услуги оплачиваются деньгами, и пользователи и работники не имеют голоса в заведывании делом. Значит, это – в принципе не коммунизм. Но характерно, что Кропоткин ищет примеры будущего общества в современности. Это значит, что переход к пост-капиталистическому обществу – не акт разрыва со всеми элементами современности, а процесс преобразования тех структур, которые уже есть в существующем обществе.

* * *

Итак, люди будут жить в территориальных коммунах и сообществах по интересам, свободно обмениваться продуктами… Но неудобные вопросы остаются. Кто будет организовывать производство в коммуне, принимать решения. Все? Что делать, если «все» не договорятся и в коммуне? Все-таки это – тысячи, а то и миллионы людей. А поводов для социально-экономических разногласий множество. Получают все по потребности или, если образуется дефицит (а как не образоваться) – поровну. Но тогда необходимо, чтобы все и работали поровну, причем с максимальной отдачей. А что делать, если обнаружатся "лентяи", которые откажутся трудиться в анархической коммуне или будут работать «спустя рукава», для вида? Принуждать их к труду нельзя, но кормить их коммуна тоже не обязана. Если лентяи откажутся делать хоть что-нибудь "признанное общественно-полезным", они должны будут покинуть коммуну[953]. Но очевидно, что при отсутствии иных стимулов к труду, кроме моральных, лица, равнодушные к анархической морали (а первоначально это – далеко не отдельные индивидуумы), будут формально исполнять какую-то работу, фактически саботируя ее. Мы уже видели, что такая ситуация гасит стимулы к труду и у самоотверженных работников – трудно отдавать свои силы обществу, когда этим пользуется лентяй, валяющий дурака у тебя на глазах.

Вопрос о «лентяях» показывает, насколько реализация анархо-коммунистической модели непосредственно зависит от этики. По замыслу Кропоткина, анархо-коммунистическое общество будет состоять из альтруистов. Следовательно, необходимо воспитывать альтруистов уже в рамках капиталистического общества. Предпосылкой анархической революции является способность большинства людей разделять анархическую этику еще до наступления анархии.

Кропоткин считает, что противопоставление альтруизма и эгоизма бессмысленно, ибо

альтруистическое поведение к конечном итоге ведет к пользе каждого. Чтобы доказать это, Кропоткин предлагает людям брать пример с муравьев: «Живи заодно с массами, и тогда, что бы с тобой не случилось в жизни, ты будешь чувствовать, что заодно с твоим бьются те именно сердца, которые ты уважаешь, а против тебя бьются те, которые ты презираешь. Когда мы это говорим, чему мы учим, — альтруизму или эгоизму?… Если бы муравьи не находили бы все сильного удовольствия в общей работе на пользу муравейника, муравейник не существовал бы… Никогда, ни в какую эпоху истории, ни даже геологии благо индивида не было и не могло быть противоположно благу общества. Во все времена они оставались тождественны… Вот почему различие между альтруизмом и эгоизмом, на наш взгляд, не имеет смысла»[954]. Если так, то интересы всех индивидуумов тождественны между собой. В конечном итоге — может быть. В реальной жизни по реальным вопросам — нет. Массы людей, которым предлагается жить по закону муравейника, имеют очень разные представления о жизни. Это показал уже эксперимент Оуэна. Очевидно, идеи анархистов и их представления о морали не совпадут с мнением какой-то части «человеко-муравьев». В любом человеческом обществе остаются люди с различными интересами и идеями по тому или иному поводу. А ведь Кропоткин требует уважения к личности, отказывается от права «ломать человеческую природу во имя какого бы то ни было нравственного идеала»[955]. А раз так, революция невозможна, пока большинство людей не готово жить по-анархически: «Во всех социальных вопросах главный фактор – хотят ли того люди?»[956] А люди-то далеко не всегда хотят перемен, тем более – радикальных, непредсказуемых. Значит ли это, что и перемены не нужны? Отсюда – один шаг до поссибилизма.

* * *

Первоначально Кропоткин надеялся на немедленную перестройку сознания современного ему человека в ходе революции, причем именно в том направлении, которое соответствовало анархо-коммунистической теории. Человек предрасположен к альтруизму, государство исказило его психологическую структуру. Исчезновение государства позволит выправить это искажение. Но произойдет ли такое изменение само собой, как в упругом теле, на которое перестала воздействовать внешняя сила. А если психология людей «пластична», и выправления не произойдет без целенаправленных усилий? Или еще более неприятное для Кропоткина предположение: **альтруизм – не изначальное свойство человека, а возможный результат развития культуры.**

Вслед за Прудоном в своей поздней работе «Этика» Кропоткин признает, что для достижения справедливости «необходимо высокое развитие идеалов и чувства солидарности со всеми, а **это достигается только путем долгой индивидуальной и социальной эволюции**»[957].

В конце жизни Кропоткин (как и Бакунин) пришел к выводу о необходимости разработки анархической этики, которая на деле является не выявлением «подлинного» нравственного чувства (здесь Кропоткин, похоже, выдает желаемое за действительное), а моральных принципов анархического авангарда. Отринув этику традиционных религий, авторы социальных доктрин в конечном итоге не могут обойтись без этической основы своих учений. Этические поиски Кропоткина привели все к тому же «золотому правилу нравственности», известному еще до Христа и признаваемому христианством: «Поступай с другими так, как бы ты хотел, чтобы в тех же условиях другие поступали с тобой»[958].

Распространение альтруистической этики, нравственных ценностей свободы и солидарности рассматривается Кропоткиным как предпосылка революции. Д.И. Рублев считает, что в этом Кропоткин «пошел дальше своего великого предшественника» Бакунина[959]. Но Бакунин понимал, что нравственность зависит от общественных отношений, и упования на нравственную проповедь наивны,

пока не меняются социальные структуры. В этом отношении Кропоткин делает шаг назад от научного социализма к морализму утопистов XVIII века. Но может быть научный социализм потерял от своего строго социального прагматизма?

Проблема соотношения этики и социальных (в том числе – экономических) структур может быть решена с позиций взаимного детерминирования. Социальные структуры во многом зависят от нравственной традиции и этических представлений, но и нравственность исторически формируется социальными структурами. Кропоткин прав в том, что этот фактор нельзя игнорировать, но и Бакунин прав в том, что сама по себе нравственная проповедь даст ограниченные результаты – классовое общество легко изолирует чудаковатых альтруистов. Носителями этики будущего должны быть деловые самоотверженные революционеры. Христианская моральная проповедь не сделала массы христиан альтруистами. Но и создание нового общества невозможно без нравственных сдвигов. Эти два процесса не должны отрываться друг от друга. **Отсюда необходимость постепенного формирования новых отношений в тесной связи с распространением альтруистической морали – первоначально в рамках освободительного движения и локальных социалистических (коммунистических) экспериментов.** Бакунин был поборником нравственного воспитания революционеров, Кропоткин как революционер формировался в альтруистичной среде Большого общества пропаганды. **Анархистская среда, революционный авангард должен быть носителем высоких нравственных идеалов – в этом поздний Бакунин и поздний Кропоткин вполне согласны.**

Прежде чем совершится анархическая революция, очаги альтруизма должны возникнуть и укрепиться в обществе. Анархия возникает сначала не как всеобъемлющая структура общества, а как субкультура, образ действия части людей: «Анархия — не утопия на будущие времена, а одухотворяющий принцип для действий во всякое время: сегодня, также как и завтра»[960]. Здесь Кропоткин сближается с анархо-коммунистом Тэккером и идет дальше – принципы организации анархических очагов и субкультур у Кропоткина более конкретны и гуманистичны. Его утопия, которая была наивной применительно к обществу в целом, более адекватна небольшим коммунам и сообществам. В небольшую коммуну объединяются люди определенных убеждений, из нее можно изгнать «лентяя», который «не дорос» до альтруизма. В это новое общество не нужно принимать всех, как после революции. Начав с радикального проекта скорейшего всеобщего разрушения государственности и рыночной экономики, Кропоткин затем перешел к стратегии долгого пути к анархии и коммунизму.

Комментируя Прудона, который в свою очередь сослался на Моисееву фразу "разрушая, мы будем создавать", Кропоткин писал: "Теперь, когда мы знаем из опыта, как трудно бывает "создавать", заранее не обдумавши весьма тщательно на основании изучения общественной жизни, что и как мы хотим создать – приходится отказаться от изречения предполагаемого творца и хозяина природы, и сказать – "создавая, разрушу!""[961] Как не вспомнить Бакунина: «Дух разрушающий есть в то же время дух созидающий».

Кропоткин не оригинален в своих предложениях переходных форм к коммунизму. Он поддерживает синдикализм, предлагая дополнить отраслевую структуру также территориальной самоорганизацией и коммунами-поселениями. Теперь (в 1913 г.) он положительно оценивает и прудонистские идеи коллективного владения и сети производственных и потребительских организаций: «рабочие профессиональные организации, владеющие средствами производства, – вместе с общинами, организовавшими потребление, заступающими государство, – это идея Прудона, которая легла в основу Интернационала»[962].

Среди анархо-коммунистических авторов нового поколения также шел поиск моста между анархическим идеалом и реальными возможностями общества, даже освобожденного от господства олигархии. Анархо-синдикалист М. Раевский в 1915-1916 гг. высказал идею о необходимости «переходного

периода» после революции на пути к анархо-коммунизму[963]. Эта идея, уже выдвинутая Лавровым, получила в анархизме второе рождение.

Таким образом, в начале XX века наивный радикализм анархо-коммунистической теории успешно преодолевался. Однако этого не заметили ни массы молодых анархо-коммунистов того времени, ни даже некоторые современные исследователи. Так, В.П. Сапон считает, что и в 1917-1919 гг. Кропоткин «хранил непоколебимую веру в скорую победу безгосударственного коммунизма»[964]. Якобы только в 1920 г. под давлением неумолимого практического опыта Кропоткин согласился с необходимостью существования федеративного государства. В действительности Кропоткин в начале XX века уже не был так наивен, как кажется марксистам, корректировка взглядов теоретика анархо-коммунизма произошла ранее.

Уже на Государственном совещании в августе 1917 г. Кропоткин выступал за Учредительное собрание и федеративную республику – явно переходное состояние, отличное от анархии[965]. В 1917-1918 гг. Кропоткин был лидером Лиги федералистов (а не анархистов). Такие эволюционные и "государственнические" идеи вызвали недоумение со стороны его радикальных поклонников. Вспоминая о своей реакции на само участие Кропоткина в Государственном совещании, Н. Махно писал: "он из бывшего учителя революционной анархии превратился в сентиментального старца, ищущего спокойствия и сил для последнего применения своих знаний в жизни"[966]. Радикальный анархо-коммунизм, проповедовавшийся Кропоткиным в 80-90-е гг., продолжал господствовать в анархистской среде в первой трети XX века. При этом, как только анархисты приступали к преобразованиям – в ходе Российской революции (Махновское движение) и гражданской войны в Испании (Каталония, Арагон), им приходилось отходить от анархо-коммунистического радикализма к федерализму с элементами рыночного социализма. Таким образом, теоретический поиск Кропоткина шел в том же направлении, в котором затем будет развиваться и практика.

За свою долгую жизнь Кропоткин проделал большой путь от чрезвычайно радикальной концепции революции, которая немедленно порождает анархию и коммунизм, к идее постепенного движения в сторону идеала по мере нравственного взросления человечества, создания анархистских очагов и субкультур уже в недрах капиталистического общества.

Критикуя Кропоткина за наивность, нежизнеспособность анархо-коммунистической модели для уровня развития общества XIX – XX в., мы не можем сбрасывать со счетов этот идеал для нашего будущего, ибо Кропоткин по крайней мере в конце жизни указывал на необходимость длительной подготовки к коммунизму. В этом отношении он не отличался от марксистов, однако, как и всякий анархист, отрицал возможность создания нового строя с помощью диктатуры. Если марксизм предполагает централизм общественно-экономических отношений, то Кропоткин — последовательный федералист. В споре авторитарного и освободительного социализма Кропоткин, несмотря на свой коммунизм — всегда на стороне второго.

Если рассматривать эволюцию Кропоткина от радикализма к умеренности, то мы можем воздать ему должное за принципиальность в начале пути и мудрость в конце. Но умеренный конструктивный анархизм был подробно разработан Прудоном, а радикальный — Бакуниным. При этом коллективистские построения Бакунина для своего времени, да и для индустриальных обществ XX в. выглядят гораздо реалистичнее кропоткинского немедленного коммунизма.

* * *

Таким образом, с учетом «переходного периода», **путь к анархии распадается на ряд этапов:**

вызревание элементов анархических отношений в недрах эксплуататорского общества, социальная революция, которая приводит к возникновению не анархического коммунизма, а системы федерализма, предложенной еще Прудоном, постепенное укрепление анархических и коммунистических начал по мере развития альтруистической морали. Если примерять анархо-коммунистический идеал не к обществу XX века, а к нашему будущему, то отпадают и возражения против этой модели, связанные с особенностями индустриального общества. Кропоткин не разделяет индустриальной гигантомании марксистов. Но он не ограничивается гуманистической критикой индустриализма, как Михайловский. Кропоткин провел исследование экономики наиболее развитой страны того времени — Великобритании и нашел малые формы промышленности перспективными («Поля, фабрики, мастерские», «Мелкая промышленность в Англии»). Теперь Кропоткин с полным основанием заявляет, что при коммунизме «не будет никакой необходимости в большой фабрике»[967]. Это означает, что **дальнейшее развитие гибких маломасштабных технологий позволит облегчить задачи управления техникой, а также возродить общинно-коллективистские отношения с их солидарностью и самоуправлением**.

Несмотря на вторичность его основных социальных идей, Кропоткин внес значительный вклад в развитие концепции наиболее отдаленного (для начала XX в.) идеала, который может последовать за прудоновским федерализмом и бакунинским коллективизмом. Кропоткин подробно остановился на этических предпосылках перехода к анархии и отметил тенденции развития производства, которые могут облегчить такой переход в будущем. Кропоткин часто преувеличивал скорость, с которой мир идет к новому обществу, но для нас, живущих значительно позднее, эти ошибки Кропоткина имеют уже меньшее значение, так как признаков такого продвижения становится все больше.

Марксисты против народников

С расколом Первого Интернационала западноевропейские марксисты избавился от тесного общения с этими излишне радикальными русскими. Но не надолго. К радости Энгельса возникла русская социал-демократия, с ревностью неофитов отстаивавшая ортодоксию марксизма. Эта ортодоксальность подчеркивала в марксизме его наиболее радикальные левые черты. Россия становилась очагом левого марксизма, наиболее полно представленного большевизмом. Но и идейный лидер левого крыла немецкой социал-демократии Роза Люксембург была выходцем из Российской империи. Этот сдвиг левого центра идеологического поиска к востоку не случаен. Там, где индустриальное общество становилось зрелым, где успехи капитализма были очевиднее, а его социальные стабилизаторы – эффективнее, там и интеграция социал-демократии в Систему шла успешнее. На востоке Европы капитализм был слабее, и социалистическое движение сохраняло идейную свежесть времен Первого Интернационала. С востока можно было смотреть на западную стабильность глазами предыдущего революционного поколения, выступая идейной реинкарнацией юного, зрелого, но еще не увядающего Маркса и лидеров революционного народничества.

Русский марксизм, сравнивая состояние капитализма в своей стране и на Западе, не мог удержаться на центристской каутскианской позиции. По законам признаваемого Марксом, Энгельсом и Каутским экономического детерминизма германская социал-демократия медленно сползала вправо по мере успехов капитализма, а русские упрямо указывали на язвы его недоразвитых форм. Русский социалист должен был либо стать революционным ортодоксом по образцу марксизма 40-70-х гг., либо, признавая недоразвитость русского капитализма, считать социализм делом далекого будущего, предвосхищая, а затем одобряя выводы Бернштейна по соображениям «места и времени» – почва еще не готова для социализма, капитализм должен вызреть, необходимо учиться у старших товарищей, которые устами Бернштейна предлагают эволюционные методы работы.

Этот внутренний конфликт молодой российской социал-демократии развивался в условиях постоянного воздействия народнической традиции, с которой социал-демократы оказывались в отношениях конкуренции и взаимовлияния.

Россия, таким образом, превращалась в важную **идейную лабораторию**, недооцененную западной социал-демократией вплоть до 1905 года. Между тем именно в среднеразвитых странах Система еще не была настолько сильна, чтобы эффективно интегрировать социалистическое движение. Отсюда, из России, были понятнее особенности не только специфически российской ситуации (на чем настаивали уже народники), но и новый революционный потенциал Азии.

* * *

В середине 90-х гг. русский марксизм развернул решающее наступление на народничество. В своем труде «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» и других выступлениях Плеханов попытался сокрушить главного народнического теоретика этого времени – Михайловского. Экономический детерминизм должен был развеять субъективизм Михайловского. Но Плеханов в полемической горячности больше спорил с выдуманным им, «поглупевшим» Михайловским. Как пишет биограф Плеханова С.В. Тютюкин, «в сущности говоря, настоящей научной дискуссии с Н.К. Михайловским, например, у Плеханова явно не получилось, причем в ряде случаев он либо не понял, либо явно исказил точку зрения своего оппонента»[968].

Русский марксист выступил с позиций крайнего **фатализма**, обвиняя оппонента в утопизме уже на основании того, что тот решился писать о «желательном обществе»[969]. Михайловский объясняет, что на общественные процессы можно смотреть двояко: объективно, исследуя их течение безоценочно и исключая собственное воздействие на него, и субъективно, вводя критерии оценки процесса и рассматривая возможности воздействия в положительном (с точки зрения субъекта) направлении. Путать эти два подхода, по Михайловскому, это то же, что складывать «аршины с пудами». Плеханов не понимает предупреждения Михайловского, говоря о его знаменитой формуле прогресса: «Она говорит не о том, как шла история, а о том, как она должна была бы идти, чтобы заслужить одобрение г. Михайловского»[970]. Если бы Плеханов перечитал под этим углом зрения работы Маркса о французских революциях, например, он бы обнаружил там немало оценок исторических событий, которые заслуживали одобрение или неодобрение «основоположника». Маркс во всяком случае не был фаталистом, история «заслуживала» от него одобрение и порицание, как и от Михайловского.

Плеханов же с радикальностью неофита изгоняет «утопию» (то есть в данном случае – осмысление посткапиталистической модели общества), и разрешает выдвигать только минималистскую программу преобразований: «обобществление труда, создаваемое новейшей промышленностью, должно привести к национализации средств производства»[971]. Вот он, предел дозволенных мечтаний, куда уж помыслить о социализме. Плеханов в испуге перед народническим «утопизмом» загоняет себя в узкие рамки «буржуазных задач» революции, что предопределяет его будущий меньшевизм.

Маркс и Энгельс глядели куда дальше, и Плеханов вынужден признать этот их «идеализм». Но стратегию своих учителей Плеханов понимает как научно-просветительскую: «У Маркса и Энгельса был идеал, и очень определенный идеал: подчинение необходимости – свободе, слепых экономических сил – силе человеческого разума»[972].

Плеханову приходится защищать марксизм от обвинения в фатализме, и он также делает это в духе будущего меньшевизма. Он соглашается, что существующее общество необходимо преобразовывать, но считает необходимым опираться на тот «элемент действительности», «в котором зреет будущее». Применительно к России по Плеханову это – капитализм. Получается, что социал-демократы должны поддерживать капиталистическую тенденцию. А это бессмысленно, так как буржуазия и сама справится с феодализмом (впрочем, словно опровергая это, Плеханов все же будет выступать за активную борьбу с самодержавием). Остается одно – работать над ростом самосознания пролетариата. Но содержательная часть этой работы без модели будущего общества сводится к тред-юнионизму, который, согласно Марксу, также является ложным путем. Нужно создавать партию пролетариата, но у нее, согласно Плеханову, пока нет возможности выработать программу преобразований России, так как время для этого еще не пришло. Плеханов оказывается в идейном тупике, из которого его выведет только появление новой генерации русских социал-демократов.

* * *

Явление марксизма в России проходило в такой форме, что обмен идеями то и дело перерастал в склоку, да и само наследие Маркса пока не столько углублялось, сколько примитивизировалось для более удобного потребления рабочими и студенческой молодежью (аналогичная **примитивизация,** как мы видели, происходила и на Западе). Михайловский позднее писал о русских марксистах 80-90-х гг.: «Они преклонялись перед единоспасающим идолом «экономического фактора», они издевались над правом нравственного суда над явлениями общественной жизни, они выбрасывали за борт истории многомиллионную массу крестьянства ради его «деревенского идиотизма»; они третировали

интеллигенцию как ничтожную или состоящую «на содержании» величину; они видели прогрессивное явление в кулачестве-ростовщичестве, фатально имеющими превратиться в свою противоположность, и т.д., и т.д. При этом, гордые своим «новым словом», они не находили достаточно сильных слов для изображения глупости, невежества и «реакционных стремлений» своих предшественников»[973]. Идеи Маркса заострялись и упрощались неофитами, заставляя морщиться и тех народников, которые были готовы включить теоретические достижения Маркса в палитру своих взглядов.

Германские социал-демократы предпринимали некоторые усилия к тому, чтобы добиться сближения Группы «Освобождение труда» и группы «старых народовольцев», объединившихся вокруг Лаврова. Немецким марксистам казалось, что при интенсивном диалоге можно быстро объяснить народникам правоту единственно-научного социализма. Но на переговоры о таком сближении Плеханов не явился, и с Н. Русановым, представлявшим народников, в 1892 г. общался Энгельс. Его ждал неприятный сюрприз. Оказывается Русанов – бывший марксист, неплохо знающий литературу «основоположников», и при том – народник. Как может быть, что человек, уже прикосновенный к истине, может променять ее на заведомо более слабые идеи? Ответ Энгельс находит все в том же экономическом детерминизме – в России еще не созрели условия для преобладания марксизма. Но скоро эта проблема решится сама собой: «Для вас политическая экономия все еще абстрактная вещь, потому что до сих пор вы не были достаточно втянуты в водоворот промышленного развития, которое выбьет из вашей головы всякий отвлеченный взгляд на ход экономической жизни… Теперь это положение меняется… Шестерня капитализма уже крепко врезалась местами в русскую экономику… Но вы в большинстве случаев не отказались еще от архаических понятий… Впрочем, повторяю, это не ваша вина, сознание отстает от бытия…»[974] Но вся история социалистической мысли показывает, насколько сознание способно опередить бытие. Полемика марксистов и идеологов освободительного социализма предвосхитила почти все основные проблемы, с которыми человечество столкнулось в XX веке.

* * *

Спор народников и марксистов прежде всего развернулся на поле оценки **степени развития капитализма** в России. Тема вполне легальная. Но выводы из нее выходили за рамки легальности – можно или нет миновать капитализм на пути к социализму.

На этом поле объединенные еще марксисты надеялись нанести поражение народничеству как научной теории, доказать преимущество своей научной теории и получить таким образом право на выработку научной же стратегии перемен в России.

Если развитие России возможно только по капиталистическому пути, то прав марксизм, и предпосылки социализма появятся на свет в результате капиталистического развития. Это – концентрация производства, высокий уровень промышленного развития, многочисленность и сознательность пролетариата. Народники настаивали, что экономика России может развиваться и не разрушая традиционного сельского мира, сохраняя такие предпосылки социализма, как соединение работника и средств производства, общинное самоуправление. Если это так, то и путь России к социализму особенный, капитализм может не только создавать предпосылки социализма, но и разрушать их. Народники при этом не настаивали на вредоносности всех проявлений капитализма и тем более промышленного развития, но призывали ограничивать наиболее разрушительные стороны процесса, прежде всего – пауперизацию крестьянства и разрушение общины.

В этом споре о капитализме было сделано много ценных наблюдений. Народники, предвосхищая кейнсианство, доказывали, что разорение крестьянства сужает рынок и задерживает развитие хозяйства (Н.

Даниельсон), марксисты – что оно способствует этому развитию, пополняя количество свободных рук. Марксисты подробно перечисляли элементы капитализма, проявившиеся в России, стремясь доказать необратимость капиталистического пути.

Кто оказался прав, народники или марксисты? Свой резон есть в обоих линиях рассуждения. Оба правы. Марксисты могли доказать, что капитализм глубоко проник в ткань российского общества, но представить его господствующим укладом можно было только путем разного рода расширительных толкований, когда капиталистическим представлялись любые индустриальные и любые товарные отношения.

В принципе этот спор о степени развития капитализма в России не мог быть завершен победой одной из сторон, так как на любой аргумент можно было привести контраргумент. Это был **спор о том, что стакан наполовину пуст или наполовину полон**[975].

Сколько бы ни было уже элементов капитализма в русской деревне, она еще не была капиталистической. А поскольку подавляющее большинство подданных российской империи жило в деревне, то и Россия капиталистической еще не была. Но капитализм в ней без сомнения наличествовал и развивался. Решить эту проблему было несложно с помощью понятия многоукладности. Но можно ли создавать социализм на основе только одного уклада из многих?

Социал-демократы косвенно признавали правоту народников, выступая за передачу крестьянам помещичьей земли, что должно было задержать пролетаризацию села. Отличие марксистов от народников в этом пункте заключалось в том, что первые полагали: крестьянство все равно будет разорено, и это станет на пользу делу социализма[976]. Но это – в любом случае дело будущего.

Важно было решить: достаточно ли развитие капитализма, чтобы ставить собственно социалистические задачи. Однако такая постановка вопроса имела смысл прежде всего для марксистов, которые воспринимали социализм как высшую степень развития индустриального общества (не употребляя такого термина, а отождествляя происходящий промышленный прогресс с «капитализмом»). Народники видели в социализме не сверх-индустриальную систему, а общество, организованное на основе самоуправления. Наступающий индустриализм (в данном случае капитализм) этому не способствовал (как считали марксисты), а мешал. Поэтому то, что для марксистов было дорогой к социализму, вызреванием предпосылок социализма, для народников XIX века было нарастанием препятствий, усложнением задачи.

Имея в виду это различие позиций двух направлений социалистической мысли, мы можем оставить в стороне богатый фактический материал, вводившийся в теоретическое сражение дискутирующими сторонами. Независимо от этого материала, спор шел о качественных показателях. Индустриализм бурно развивался в России в двух формах – капиталистической и этатистской (казенной). Народник В. Воронцов напоминал, что капиталистическое производство – это только одна из форм промышленного прогресса.

Периферийный, «азиатский» капитализм оказывался куда менее продуктивным, чем западные образцы. Н.С. Русанов, подытоживая народнические исследования экономического развития, утверждал: «капитализм развивается у нас почти исключительно как форма эксплуатации (ростовщической, кулацкой, скупщицкой), а не как форма национального производства…». Крупные промышленные центры существуют лишь в нескольких местах, говоря современным языком – анклавах. Когда крестьянин разоряется, он, вопреки марксистской схеме, обычно направляется не на фабрики, а «бредет куда попало»[977]. Происходит накопление бедствующей, дичающей, деструктивной маргинальной массы. Марксисты пока выражали надежду, что в будущем эта масса будет интегрирована фабрикой, и капитализм станет зрелым и будет развиваться по общим правилам. Промышленное развитие вело к индустриальному обществу (либо капиталистическому, либо – государственно-капиталистическому или чисто этатистскому). Но вело ли оно к социализму? На этот счет русский марксизм не приводил

доказательств, так как считалось само собой разумеющимся, что за нынешним мировым капитализмом может наступить только социализм и ничто другое. Для народников проблема была сложнее. Социализм для них был грядущим обществом, но его возникновение именно из «перезревшего капитализма» народники считали сомнительным. Капитализм виделся некоторым отклонением (может быть и неизбежным) на пути к социализму.

Спор между марксистами и народниками, таким образом, сводился к проблеме: **является ли полноценное развитие капитализма обязательной предпосылкой на пути к социализму**. Мы видели, что применительно к России даже Маркс не был апологетом тотальной капиталистической трансформации. Однако для него (как позднее и для большевиков) было очевидно, что страны менее развитого капитализма не могут самостоятельно создать социалистическое общество. Они могут выступить союзниками западноевропейского пролетариата и с его помощью строить свой социализм – не более. **Будет ли этот социализм иметь принципиальные особенности по сравнению с западноевропейским**? Эта проблема была оставлена будущему.

Практический опыт Российских революций позволил разрешить некоторые из этих теоретических проблем лучше любой статистики. Уровень развития страны оказался достаточен для того, чтобы преодолеть капитализм (если понимать под ним систему, основанную на частной собственности). Этот уровень оказался недостаточным, чтобы создать социализм (если понимать под ним общество без элитарного класса и эксплуатации). Страна продолжила движение по пути индустриализма, индустриальный уклад (потеряв капиталистическую оболочку) стал господствующим. Но социализм так и остался гипотетической перспективой, и если ему суждено стать реальностью, то она будет уже пост-индустриальной. Это делает вновь актуальными размышления народников о таком социализме, который будет вытекает не из промышленного роста, а из его введения в рамки, ограниченные интересами личности и емкостью природной среды, а в дальнейшем – преодоления индустриализма.

*** * ***

В этой полемике на общественную арену вышел **Владимир Ильич Ульянов (Ленин) (1870-1924)**. Теме, будоражившей русское мыслящее общество конца века, посвящена его первая монография «Развитие капитализма в России». Уже на этом этапе заметна двойственность отношения Ленина к капитализму. Как грамотный марксист, Ленин понимал, что без капитализма нельзя достичь социализма. Но как человек, общавшийся с рабочими и интересовавшийся фабричной жизнью, он писал: «Рабочий становится частью громадного машинного аппарата: он должен быть также беспрекословен, порабощен, лишен собственной воли, как и сама машина»[978]. Здесь Ленин, как и в свое время Маркс, вплотную подходит к пониманию того, что угнетенное положение работника на фабрике определяется не характером собственности, а самой индустриальной организацией. Работник будет угнетен, пока действует эта организация, пока он является придатком к машине – даже если она принадлежит государству и (формально) всему обществу, всем рабочим.

Но затем Ленин уже не развивает эту мысль. Его интеллект бьется над задачами текущей политики, над технологией свержения существующего строя, а не организации грядущего. Индустриальный базис капитализма воспринимается как гарантия почти автоматической самоорганизации нового общества, которая произойдет после крушения капитализма. Конструктивные задачи революции застанут Ленина врасплох, что заставит в 1918 г. формировать программу преобразований второпях. Проблема индустриального господства над работником будет заброшена, а Ленин после прихода к власти станет адептом тэйлоризма[979].

* * *

В. Ульянов начал свою полемическую деятельность с брошюры «Кто такие друзья народа и как они воюют против социал-демократов», напечатанной самиздатским способом в 1894 г. Он тоже выбрал в качестве объекта критики Михайловского. Естественный выбор для юного радикала – напасть на ведущего теоретика противоположного лагеря. И пусть ветеран не заметит полемических уколов юноши, но все же честь велика. Также во второй половине XX века юные радикалы будут самоуверенно атаковать забронзовевшие фигуры Ленина и Маркса.

Впрочем, Ленин не оспаривает своей вторичности. Он – апологет Маркса. В схватке идеологий он – передовой боец марксова войска, защитник интересов пролетариата. Против кого? Ульянов обвинял Михайловского в мещанстве, ни мало не смущаясь тем, что прагматизм мещанина куда ближе логике экономического детерминизма, осуждаемой теоретиком народничества, чем этический субъективизм Михайловского. Чтобы как-то оправдать свою характеристику, Ульянов квалифицирует в качестве мещанина (но не крестьянина) мелкого производителя, хозяйствующего при системе товарного хозяйства. Но тогда это – и сам Ульянов.

На противника Ульянов смотрит свысока. Позднее в ссылке Ульянов писал: «народник выбрасывает за борт всякий исторический реализм, сопоставляя всегда действительность капитализма с вымыслом докапиталистических порядков»[980]. Здесь юный марксист явно спутал народничество и славянофильство. И тут же он ссылается на работы народника А. Энгельгардта, описывавшего мелкособственнические черты поведения крестьян. Получается, что народник далеко не всегда занимается «фальшивой идеализацией» (выражение Ульянова) русской деревни. Ульянов признает, что более раннее народничество ближе к его позиции своей революционностью и откровенностью (как тот же Энгельгардт). Так значит дело не в народничестве, а в переживаемой эпохе общественного затишья, когда наиболее заметные теоретики и у народников, и у марксистов – легалисты. Но если легальные марксисты близки к фатализму и предпочитают союз с либерализмом, то легальные народники, хотя и тяготеют к некоторым славянофильским идеям, не отрицают в то же время значения модернизации, готовы взять в будущее ее положительные черты, но в то же время стремятся сохранить те институты общества, которые позволят смягчить издержки модернизации и подготовить почву для социализма. Михайловский не идеализирует общину настолько, чтобы считать ее коммуной. Но он считает деревенское самоуправление полезным и потому защищает.

Работа Ульянова, еще неопытного публициста, весьма беспорядочна. Он прыгает от темы к теме, перемешивает аргументы с руганью, так что из его текста трудно понять, что такого зловредного утверждает этот самый Михайловский. Но замысел Ульянова грандиозен – защитить марксизм от нападок идеологов народничества по всем статьям их критики. В кривом зеркале статьи Ульянова Михайловский предстает еще большим глупцом, чем карикатурный Прудон из книги Маркса «Нищета философии». Но, придя к власти, Ленин распорядился высечь имя Михайловского на обелиске с перечнем крупнейших социалистических мыслителей. Это не случайно – по мере **исследования проблем, поставленных перед Ульяновым Михайловским**, отношение Ленина к ним менялось.

Михайловский утверждает, что с помощью экономического материализма нельзя понять роль национального вопроса. Вместо внятного объяснения, в чем же заключается марксистское объяснение национального вопроса, Ульянов излагает марксистский план решения проблемы: «сплочение класса угнетенных против класса угнетателей» в каждой стране независимо от национальных различий, а также – объединение этих классовых партий в международную организацию[981].

Ульянов напрасно не прислушался к предупреждению Михайловского: «Международное общество рабочих, организованное в целях классовой борьбы, не помешало французским и немецким рабочим в момент национального возбуждения резать и разорять друг друга»[982]. Правота Михайловского стала окончательно ясна во время краха Второго Интернационала в августе 1914 г. Мысль Михайловского стала постановкой задачи, программой исследования национального вопроса Лениным, который накануне и во время Первой мировой войны нашел наконец свое объяснение связи национальных и социально-экономических факторов.

Программой исследований Ленина станет и требование Михайловского «не сшибать лбами трудовые слои общества»[983]. Ленин не откажется от идеи превосходства пролетариата над крестьянством, но будет искать возможности создания рабоче-крестьянского союза.

Программой для исследований Ленина станет и указание Михайловского на то, что концентрация производства сама по себе не устраняет разобщение работников. Опыт XX века подтвердил, что господство индустриализма ведет к атомизации человеческих отношений. Более того, концентрация сама по себе не ведет к выработке психологии классовой солидарности и социального освобождения. Для этого необходимо просветительское воздействие извне, которое Михайловский связывал с обстановкой политических свобод[984]. Ленин в конце жизни также выдвинет просветительские задачи на первый план своей стратегии продвижения к социализму.

Автор наиболее подробной из современных биографий Ленина В.Т. Логинов утверждает: «в противоположность Михайловскому, предлагавшему сначала просвещать, а уж потом бороться, Ульянов считал, что в российских условиях ждать, когда с помощью кружков саморазвития, воскресных школ, специальных книжек и лекций будет достигнут должный (??) уровень сознания и организованности, – бессмысленно»[985]. Характерно, что, отдавая пальму теоретического первенства Ульянову, В.Т. Логинов не приводит ни одной цитаты из Михайловского. Михайловский не определяет, какой уровень сознательности является «должным», он просто видит, что без целенаправленной работы над повышением уровня культуры работников волна классовой борьбы приведет к погромам и резне. Ленин смог убедиться в серьезности этого предупреждения в 1918-1922 гг.

В.Т. Логинов продолжает воспроизводить логику рассуждений Ленина: «А между тем опыт 90-х годов говорил о том, что ничто не оказывает столь мощного организационного и воспитательного воздействия на массу рабочих, как сама борьба, и в частности такая ее форма, как стачка»[986]. Стачка организует рабочих, но стачка, перерастающая в бунт и погром, может облегчить властям задачу разгрома уже создавшейся структуры рабочего движения. Об этом тоже предупреждал Михайловский. Есть и еще одно обстоятельство, которое станет сюрпризом и для Ленина, да и для большинства социал-демократов после 1917 г. – самые организованные рабочие, сплотившиеся в борьбе против старого строя, вовсе не готовы с тем же рвением, с которым они вели борьбу против капиталистического работодателя, работать на нового, «коммунистического».

И уж тем более индустриальная культура не готовит пролетария к управлению обществом. Индустриальное развитие способствовало росту общей культуры населения, который является предпосылкой социалистического развития. Однако накопление культурного потенциала было односторонним – рост технологической культуры очевидным образом опережал общегуманитарное и демократическое культурное развитие. И это было не только специфической российской чертой. Индустриальная система, основанная на специализации, четком выполнении управленческих команд, инструментализации человека, требует технологической грамотности, а не гуманитарной, без которой невозможно компетентное решение социальных проблем.

* * *

В. Ульянов в полемике с народниками преувеличивал степень развития капитализма в России. Продолжением этой линии его рассуждений стала книга «Развитие капитализма в России», которая как раз и была посвящена доказательству значительности успехов капитализма в деревне. Это исследование до сих пор сохраняет научную ценность, хотя и справедливо критиковалось за преувеличение степени развития капитализма в выводах книги. Научная заслуга Ульянова в том, что он перечислил все, что только можно было тогда найти капиталистического в деревне. Но могло ли это перечисление доказать, что капитализм в России «развит»? Как-то развит, но менее развит, чем в Германии (где социал-демократы и в 1919 году не нашли достаточных предпосылок для социализма).

Пошла ли Россия по пути капиталистической модернизации, стал ли этот процесс необратимым? Марксисты утверждают, что стал. Но Ленин идет дальше своих более умеренных коллег. Раз капиталистическое развитие зашло так далеко, то пора ставить новые, социалистические задачи. И здесь Ленин неожиданно оказывается на стороне народников, которые также предлагают ставить социалистические задачи, даже если капитализм и недостаточно развит. Из этого последует **ограниченное сближение Ленина с народничеством**, когда марксистская конструктивная модель социалистического и коммунистического общества будет осуществляться с опорой на российскую социальную почву – не только на пролетариат, но и на крестьянство.

Ленин, как в свое время Маркс, ищет социальную армию для осуществления социального проекта. Сначала это – пролетариат. Но когда в ходе революционных действий выяснится, что эта армия слишком мала и еще недостаточно развита, Ленин предложит социал-демократам вступить в союз с революционной частью крестьянства и мещанства. Соответственно, и власть в понимании Ленина станет не чисто рабочей, а рабоче-крестьянской (ходя в действительности, как показал еще Бакунин, «рабоче-крестьянские» органы власти будут состоять из бывших рабочих и бывших крестьян, а также бывших мещан, дворян, интеллигенции и других слоев разрушающегося социума бывшей Российской империи).

Вся политическая биография Ленина сопровождается колебаниями между использованием народнического «ноу хау» (крестьянская революция в интересах социализма) и марксистским социальным проектом, в интересах которого Ленин пытается использовать и рабочее, и крестьянское движение. Эти колебания стали одной из причин резкого перелома в политике Ленина в 1918 г. от поддержки стихийного движения масс к его подавлению[987].

Ульянов критикует волюнтаризм народников, которые воспринимают себя как субъект, воздействующий на народную среду. Но позднее и он будет рассуждать подобным образом, признает, что революционная теория возникает вне рабочего класса и вносится в него социал-демократией. Более того, как это ни покажется странным для радикального материалиста, Ульянов считает, что в России не хватает идейный предпосылок социалистической революции – рабочий класс еще не усвоил социал-демократических идей: «когда передовые представители» класса рабочих «усвоят идеи научного социализма, идею об исторической роли русского рабочего, когда эти идеи получат широкое распространение, и среди рабочих создадутся прочные организации, преобразующие теперешнюю разрозненную экономическую борьбу в сознательную классовую борьбу, – тогда русский РАБОЧИЙ, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с пролетариатом ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой открытой политической борьбы к ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»[988]. Эта идея **«прямой дороги»** легла в основу ленинской стратегии, которую он будет исповедовать и в 1917 г. В ней заметен сильный идеалистический

элемент – для победы не хватает идейно-организационных, субъективных, а не социально-экономических предпосылок. Обеспечению этих задач и должны посвятить себя социал-демократы. Ведь обеспечение социально-экономических задач расширения капиталистических отношений лежит на классе буржуазии и идеологах капитализма – либералах. Концепция «прямой дороги» сближает Ленина с народниками, которое в свою очередь воспринимали многие идеи марксизма.

Как творческий мыслитель и русский революционер, Ленин подвергался влиянию народничества. Однако при всем этом влиянии он оставался в рамках марксизма, принимая лишь те народнические идеи, которые прямо не противоречили позиции Маркса. Критики Ленина пытаются найти в народничестве истоки его «отклонений» от марксизма, включая не только поиск союза с крестьянством и «мелкобуржуазными партиями», но и… политический централизм[989]. Народничество тут, разумеется, не при чем – федерализм в нем преобладал над централизмом. А вот Маркс как раз не имел ничего против организационного централизма. Народничество тут – явно излишнее звено. Будучи марксистом, не нужно изучать Ткачева, чтобы стать сторонником централизма.

Некоторое сближение позиций большевиков и эсеров по отдельным вопросам не означает, что Ленин, а затем Сталин, коммунисты проводили неонароднический, «эсеровский» курс. И Ленин, и Сталин исходили из марксистского коммунистического идеала, оставались последовательными централистами. Они оставались марксистами. Но, реализуя этот идеал на практике в отдельно взятой стране, не прошедшей этапа индустриальной модернизации, они даже для того, чтобы удержаться у власти, сохранить возможность для проведения антикапиталистической политики, вынуждены были брать на вооружение некоторые народнические идеи, в частности – о своеобразии путей к социализму в разных странах, о союзе с крестьянством. Как мы видели, и Маркс был склонен к известной гибкости в этих вопросах. Но при этом коммунисты отрицали ядро «общинного социализма» – его конструктивную программу.

Однако, как мы видели, марксизм много взял у своих оппонентов, и в этом отношении элементы антиавторитарного социализма могли найти немало точек опоры в официальной марксистско-ленинской идеологии СССР. С этим связано «проступание» элементов народничества в советской культуре, в том числе и вопреки ленинизму. Но существуют и более глубокие причины этого явления. Марксизм (в том числе ленинизм) является социалистическим течением, наиболее адекватным индустриальному обществу, а значит – задачам модернизации, которые стояли перед страной. Народничество было течением социализма, наиболее адекватным традициям страны. **Насколько в советском обществе осуществлялась модернизация – реализовывался марксистский проект; насколько народ при этом заставлял режим учитывать благотворные для социализма традиции страны – воспроизводились элементы народничества**.

* * *

Михайловский внимательно следил и за развитием стран Запада, где капитализм быстрее развился, быстрее обнажил острый конфликт между пролетариатом и буржуазией, но к концу века стал обнаруживать способности к новой интеграции, позднее получившей наименование социального государства. Он положительно относится к этим тенденциям: «свободная мысль и сообразно ее указаниям и под ее контролем происходящее правительственное вмешательство в видах удовлетворения масс – вот, по указаниям европейского опыта, остов, который должен быть облечен «плотью и кровью политической формы»»[990].

Сглаживание социального антагонизма вызывает удовлетворение Михайловского, но не испытывает

он и бернштейновского оптимизма относительно перспектив Запада. Пролетариат, несмотря на противоречия классовых интересов, включился в культурную работу Запада. Однако обнаруживаются тревожные тенденции – распадение общества на люмпен-пролетарские атомы. Проявлением этого Михайловский считает и анархизм, трактуемый им, впрочем, превратно, на основании внешних террористических проявлений и потому почти отождествляемый с ницшеанством[991]. Анархизм здесь является синонимом крайнего индивидуализма, и если понимать Михайловского так, то перед нами – картина атомизации личности, характерная для западных обществ второй половины XX века.

Как противостоять этой тенденции? К чему объективно вела стратегия народников? Они защищали многоукладное общество, которое развивается в сторону демократического социализма. В сложной социальной структуре России народники стремились к сохранению всего, что может содействовать социализации личности, ее защите перед лицом капиталистического молоха. Было ли это стремление утопичным?

В.А. Твардовская и Б.С. Итенберг уверены: «Воплощение заветных требований Михайловского действительно означало бы развитие по пути капитализма, то есть начертанного Марксом пути. Но это был путь капитализма «демократического», наименее болезненный и мучительный для масс путь к цивилизации, при котором муки нового строя смягчались и сокращались»[992]. Сила марксизма заключается еще и в том, что даже те авторы, которые в последние годы перешли к критике марксистского учения, продолжают мыслить в марксовой системе координат. Они отождествляют с капитализмом не только индустриальное общество, рыночные отношения, но и самою цивилизацию. Между тем, после возникновения социального государства капиталистические отношения являются не единственной доминантой социально-экономического развития даже на Западе. Путь, который предлагали народники, предусматривал борьбу за многоукладность, где капитализм будет развиваться в рамках, ограниченных государственными и гражданскими структурами, которые не являются капиталистическими по своему характеру, даже если вовлечены в рыночные отношения. И германские социал-демократы, и народники способствовали продвижению общества к социальному государству. Но ортодоксальные социал-демократы были поборниками индустриальной унификации, а народники стремились сохранить многообразие социальной системы, максимально демократизировать общественные структуры, чтобы облегчить дальнейшее движение социума за горизонт социального государства.

Михайловский не стал социал-либералом, он отрицал, что иерархическая государственная система может действовать на благо всего общества. Это вызывало возмущением марксистов. Михайловский утверждал: «**В обществе, имеющем пирамидальное устройство, всевозможные улучшения, если они направлены не непосредственно ко благу трудящихся классов, а ко благу целого, ведут** исключительно **к усилению верхних слоев пирамиды**». Плеханов, «прицепившись» к неосторожному слову «исключительно», заявил о том, что ему удалось опровергнуть это правило. «Мы торжествовали победу и до сих пор со справедливой гордостью вспоминаем о ней»[993]. Жаль, что Михайловский не заметил этой победы. Впрочем, если заменить слово «исключительно» на «преимущественно», то задача опровержения становится гораздо сложнее, что и следует из дальнейших рассуждений Плеханова. Он воспринимает закон Михайловского как плохо, односторонне изложенное «учение о противоположности интересов буржуазии и пролетариата»[994]. Можно было бы поблагодарить Михайловского, который умудрился в краткой формуле изложить то, что у марксистов составляет целое учение. Но Плеханов не склонен видеть какие-либо теоретические достижения народничества 70-80-х гг. Все уже объяснил Маркс на примере западных рабочих: «Маркс писал когда-то, что немецкий рабочий класс страдает не только от развития капитализма, но и от недостатка его развития»[995]. Но народники писали не о Германии, а о России, где есть свои особенности, которые Плеханов теперь не желает учитывать. Еще в 1882 г. он написал Лаврову: я «не вижу в русской истории никаких существенных отличий от истории Запада»[996].

Впрочем, формула Михайловского не имеет прямого отношения к спору о пролетариате и капитализме. Она сформулирована в более общем виде. Насколько она верна с учетом сделанной нами поправки? Вопрос не праздный. Плеханов вспоминает о демократии. Демократия нужна и буржуазии, и пролетариату. Это значит, что и Плеханов, подобно Каутскому, считает «демократией» либеральное государство. Но как раз здесь Михайловский прав – введение демократии для элиты, каковой является парламентская республика, усиливает позиции социальных верхов в большей степени, чем пролетариата, у которого нет средств на прессу, который не может заставить подчиняться себе даже социал-демократических парламентариев, не говоря об остальных представителях власти. Рабочий класс и другие «низы» получают выгоду от демократических преобразований лишь постольку, поскольку «демократическое» государство занимается улучшением именно их положения. Что касается реальной демократии, то есть народовластия, то она выгодна «низам» пирамиды, но не выгодна «верхам», в том числе буржуазии.

Все это не значит, что Михайловский выступает против либеральных свобод – он и за них боролся. В это время они были нужны не «всему обществу», а преимущественно средним слоям. Но теоретик народничества **предостерегает от иллюзий** по поводу борьбы за интересы «общества», устроенного пирамидально. Даже если государство будет называться «демократическим» «пролетарским» или «рабоче-крестьянским», его пирамидальная организация предопределяет преимущественную выгоду именно «верхов», осуществляющих социальные и «национальные» проекты, задуманные якобы в интересах всего общества.

В конце века именно Михайловский, несмотря на все атаки марксистов, стал лидером оппозиционного общественного движения, и не только социалистического. На этом основании его иногда называют лидером «либерального народничества». Этот термин очевидно некорректен – Михайловский является социалистом, а не либералом. Слово «либеральный» может употребляться также в значении «менее авторитарный» (например – «либеральные коммунисты» 80-х гг. XX в.), но поскольку большинство народников и так не разделяют авторитарных идей, то к ним этот термин не применим ни в каком значении. Михайловский – легальный народник. Слово «легальный» указывает не на его принципы (мы видели, что он сотрудничал и с подпольем), а на ситуацию, в которой развернулась его общественная деятельность.

В 80-90-е гг. легальность общественных течений была вынужденной – власть научилась оперативно подавлять подпольную активность, а революционного подъема в стране не наблюдалось. Но и легальные круги по мере изменения ситуации могли стать штабами революционных армий. Так и произойдет в 1905 г.

Легальные формы полемики накладывали на мысль авторов очевидные ограничения, и лишь по мере развертывания дискуссии становилось ясно, являются эволюционные взгляды делом принципа (как у Струве), или тактическим прикрытием (как в экономических работах Ленина). При этом между легальным народничеством и подпольными народническими революционными кружками существовали связи. Идейный лидер легальных народников Н.К. Михайловский пользовался популярностью среди народнической молодежи как теоретик, легальные народники приходили на полу-подпольные дискуссии, в которых участвовали радикалы как народнического, так и марксистского направлений.

Современный исследователь В. Блохин утверждает, что в конце 80-х – 90-е гг. произошел переход Михайловского «от социализма к демократии»[997]. В это время к Михайловскому и его взглядам стала проявлять симпатии либеральная земская общественность. Но это свидетельствует в большей степени об эволюции земской интеллигенции, чем о каком-то пересмотре взглядов Михайловского. Во всяком случае, не приводится текстуальных подтверждений отказа Михайловского от социалистической позиции. Вполне естественно, что в условиях царской России Михайловский не имел возможности писать о

социалистической перспективе регулярно.

Можно согласиться с В. Блохиным в том, что Михайловский в этот период «по праву становится лидером российской демократии»[998]. Но при чем же здесь «переход от социализма»? Лидером освободительного демократического движения вполне может быть и социалист, а противопоставлять социализм Михайловского (и близких ему направлений народничества) и демократию вообще бессмысленно. Это – демократический социализм, который может выдвигать и собственно социалистические, и общедемократические требования. В обстановке конца 80-х – 90-х гг. Михайловский концентрировался на общедемократических задачах. Основные социалистические идеи были им уже изложены, а политическая ситуация требовала борьбы за гражданские свободы.

Марксистские и пост-марксистские авторы, воспитанные на ленинской доктрине смены этапов общественного движения, принимают без доказательств факт победы марксистов над народниками в полемике 90-х гг. «Михайловский не хотел признать, что ему на смену приходит иная доктрина, идеология, наконец – иные властители дум»[999]. И правильно делал. Они не «приходили на смену», а существовали наряду с народничеством. **Схема, в соответствии с которой народничество в конце XIX века оказалось вытесненным марксизмом, осуществилась лишь в воображении марксистов.** Влияние, которое оказал марксизм на народничество, несомненно, как и влияние народничества на российский марксизм, а через него – на мировую марксистскую мысль (впрочем, еще раньше народник Бакунин также оказал воздействие на формулировки Маркса и Энгельса).

Марксисты отвоевали себе «место под солнцем», но не более. С 90-х гг. марксизм и народничество сосуществуют в общественном движении России, то теряя друг друга из вида, то снова сталкиваясь в сложных коллизиях соперничества, союзов, борьбы на уничтожение. Так будет продолжаться до физического уничтожения носителей оппозиционных идейных течений в 30-е гг. А в начале XX века власти, тревожно следившие за ростом оппозиционных настроений, констатировали, что именно народники сохраняют преобладание над марксизмом и даже над либерализмом.

В 1902 г., опасаясь новой волны беспорядков в связи с запланированными общественностью празднованиями юбилея русской публицистики, Министр внутренних дел В. Плеве вступил в откровенные переговоры с Михайловским. Министр констатировал: «это общественное движение есть плод литературы». Обращаясь к Михайловскому как «генералу революционной армии», Плеве утверждал: «Ваш журнал – главный штаб революции, особенно теперь, когда вы сразили марксизм и остались одни»[1000].

Плеве потребовал от Михайловского на время покинуть столицу. На это Михайловский ответил вежливым отказом: «Обдумав Ваш благожелательный совет, долгом совести своей считаю довести до Вашего сведения, что не могу ему последовать… Только с совестью я советовался, принимая это решение, грозящее мне тяжкими последствиями»[1001]. Над Михайловским сгустились тучи, но в 1904 г. он скончался. Впрочем, Плеве верно оценивал угрозу. Через несколько месяцев он был сражен эсерами, которые были идейными последователями Михайловского, хотя и придерживались более радикальной тактики борьбы с режимом.

На выучке у капитализма

Ровно по тем же причинам, по каким Россия стала «базой» радикального социализма, она была хорошей почвой для бернштейнианства. Ведь здесь капитализм менее развит, чем на Западе. Следовательно, по логике марксизма, предстоит еще более долгий путь к социализму. Если Германия, может быть, уже готова к нему, то нам, лапотным, до него еще идти и идти через капиталистические дали. Эта логика чувствуется уже в работах Плеханова 80-х гг. Ее развивает российский «легальный марксизм», идеолог которого П.Б. Струве даже опередил Бернштейна в формулировании эволюционной стратегии социал-демократии.

Лозунгом дня легального марксизма стала фраза Струве из вышедшей в 1894 г. (до выступления Бернштейна) книги «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России»: «призн**а**ем нашу некультурность и **пойдем на выучку к капитализму**»[1002].

В. Ульянов подверг Струве критике за этот призыв, после чего теоретик легального марксизма сделал разъяснения в левом духе: «это вовсе не означает, для меня по крайней мере, – «будем служить буржуазии», ибо капиталистические отношения подразумевают не одну буржуазию, но и ее антипода»[1003]. Ульянов и Струве, радикальные и легальные марксисты, пока еще оставались союзниками пред лицом народничества.

Несмотря на такую поправку, своими «Критическими заметками» 1894 г. Струве предвосхитил ряд мыслей Бернштейна. С выступлением Бернштейна позиция Струве приобрела новый характер: из реакции на отсталость России и неразвитость капитализма она превратилась в часть мирового течения. Одно дело, когда постепеновство объяснялось неразвитостью капитализма в России. Другое дело, когда оно проповедовалось в Германии, стране развитого капитализма. Там задачи капиталистического развития уже почти полностью решены, и выясняется, что следом за таким развитым капитализмом следует дальнейшая эволюция, а не революционный переворот. Какое разочарование для русских социалистов с их революционной традицией!

Теоретические рассуждения «легальных марксистов» сомкнулись с течением «экономизма» в социал-демократии – требованием сосредоточиться на борьбе за постепенное улучшение социального положения рабочих, отказавшись от революционных политических требований, которые мешают этой тред-юнионистской работе.

Для Ульянова и других радикальных социал-демократов экономизм был нешуточным теоретическим и практическим вызовом. Они рассчитывали, что по мере роста стачечной борьбы рабочий класс будет сплачиваться, осознавать свои классовые задачи, переходить на «свои» марксистские позиции. А практика стачечного движения 1895-1896 гг. выявила не коммунистические, а тред-юнионистские настроения в среде рабочих.

Ленин – сторонник продвижения по пути капитализма в сторону социализма и видит в социальном государстве тормоз на этом пути. Позиция бернштейнианцев и экономистов – прямо обратная: улучшение положения трудящихся (даже незначительное) важнее, чем цель разрушения капитализма.

Это стратегическое разногласие вскрылось с выступлением Бернштейна. Теперь уже нельзя было списывать уступки либерализму на неразвитость России – знамя правого ревизионизма было поднято в стране самого «развитого» рабочего класса – Германии. Значит, угроза эволюции социал-демократии вправо, превращения ее в социал-либерализм, прямо не связана с неразвитостью капитализма и рабочего класса. Умеренность правых социал-демократов и профсоюзных лидеров по мере развития капитализма может не преодолеваться, а усиливаться.

Увлеченный борьбой с народничеством, Ленин не сразу ответил на угрозу. Лишь после образования РСДРП в 1898 г. Ульянов увидел в правом крыле социал-демократии вызов революционным взглядам и, срочно объявив о победе в войне с народниками[1004] (что, конечно, не соответствовало действительности – вскоре возникнет партия эсеров), бросился в новое сражение.

Здесь Ульянов объективно оказался союзником народников. Михайловский сразу вскрыл буржуазный характер учения Струве с его призывом идти на выучку капитализму: часть капиталистов «будет рада взять себе на выучку способных людей», хоть они и мечтают в далеком будущем заменить капитализм каким-то новым строем. «Но ведь улита едет, когда то будет! Когда-то еще она доползет до последнего термина гегелевской триады, да и так ли оно вообще будет, а пока погреть руки можно»[1005]. Писатель К. Белов пишет о Михайловском: «ядовитые стрелы его критики ускорили расслоение, внутреннее брожение и, в конечном итоге, разложение того мещанского «марксизма», который исповедовали русские «ученики»»[1006].

* * *

Манифест РСДРП 1898 г., подготовленный П. Струве, С. Радченко и А. Кремером, исходил из логики союза с либерализмом: «Политическая свобода нужна русскому пролетариату, как чистый воздух нужен для здорового дыхания. Она – основное условие его свободного развития и успешной борьбы за частичные улучшения и конечное освобождение»[1007].

При этом Манифест обличал трусость буржуазии и признавал в связи с этим, что пролетариат на востоке Европы должен выполнить часть задач, которые в других условиях должна была взять на себя буржуазия.

Как позднее признавал сам Струве, манифест не соответствует в полной мере его взглядам. Не мудрено – он работал на заказ более радикального актива.

Интересно представление о Манифесте ведущего французского лениноведа академика Э. Каррер д’Анкосс. Она то утверждает, что в нем «провозглашались идеи «Народной воли», но без привлечения террористических методов» (то есть получается, что первая программа РСДРП была народнической), то обнаруживает, что текст был разработан Струве «по образцу Манифеста коммунистической партии»»[1008] (то есть, это все-таки марксистский документ). Вообще с народничеством у французской ученой большие проблемы (о марксизме и не говорю). Бакунин у нее «убежден, что Россия – наилучшее место для уничтожения всякой организованной общественной жизни»[1009] (то есть получается, что и общин, и рабочих союзов, и коллективов, и федераций, и всего прочего, за что выступал реальный Бакунин), «Народная воля», – это общество, «единственной целью которого был террор»[1010] (а не социализм и народовластие, как в реальности). Становится совсем непонятно, что за специфические идеи «Народной воли» мог привить П. Струве социал-демократам (как утверждала та же Э. Каррер д’Анкосс), если он отказался от ее «единственной» цели – террора. Из той же путаницы вытекает и приписанные Ленину «народнические убеждения», которые не имеют ничего общего ни с народничеством, ни со взглядами Ульянова того периода: «Он всегда был ближе к интеллигенции, чем к рабочим, которых он почти не знал и которых боялся, в тайне опасаясь, что, получив образование, они смогут создать свою элиту, способную конкурировать с той интеллигенцией, к которой он сам принадлежал»[1011].

Страх Ленина перед пролетариатом, его стремление защитить интеллигенцию от конкуренции образованных пролетариев – это воистину открытие мирового масштаба, учитывая ту антипатию, которую Ленин питал к большинству представителей интеллигентского слоя. Разумеется, сам Ленин не был

рабочим, но он рассчитывал на продвижение своей идеологии именно через просвещение (марксистское) рабочего класса. Ленин прилагал немалые усилия для того, чтобы вовлечь как можно больше рабочих в партию, чтобы потеснить в ней интеллигенцию.

Это субъективное стремление не сделало партию полностью рабочей, а после ее прихода к власти она вовлекла в свой состав самые разнообразные маргинальные слои, среди которых выходцев из крестьянства было объективно больше, чем выходцев из рабочего класса и, разумеется, интеллигенции. Но до конца дней своих Ленин продолжал вести борьбу против интеллигенции и «мелко-буржуазной стихии», которая «размывала» рабочий класс. Свою опору Ленин всегда видел именно в нем, а не в вечно рассуждающей интеллигенции или «ежеминутно воспроизводящем капитализм» крестьянстве.

Весь миф о боязни, которую Ленин задолго до прихода к власти якобы испытывал к рабочим, Э. Каррер д'Анкосс выводит из того, что в 1897 г. Ульянов «отверг возможность принимать в партию рабочих»[1012], хотя в действительности речь тогда шла о введении рабочих в руководство Союза борьбы (в деятельности организации рабочие, разумеется, участвовали, и возражать против этого было бы абсурдно, учитывая, что Союз был связан с предприятиями). Спор в Союзе борьбы возник до выхода Ульянова из заключения между К. Тахтаревым и его сторонниками, затем «экономистами», и Б. Горевым, С. Радченко и сторонниками развития политической организации. Введение рабочих в руководство отвергалось политическим крылом по чисто тактическим, конспиративным соображениям. Когда к дискуссии присоединился Ульянов, спор уже сместился в сторону соотношения чисто экономических и политических задач организации, став преддверием полемики с «экономистами»[1013].

Полемика эта развернулась сразу после провозглашения РСДРП.

* * *

Струве считал необходимым союз социал-демократии и либерализма в борьбе за политические права. Позднее это приведет его в лагерь либерализма, а по пути, проторенном легальным марксизмом, пойдет правая часть меньшевиков. Некоторые «экономисты» считали излишней борьбу за «буржуазную» демократию, как и политическую борьбу вообще. Но это не был синдикализм, для которого экономисты были слишком умеренным течением. Экономизм стал российским вариантом тред-юнионизма и поссибилизма, выросшего не из профсоюзной, как на Западе, а из социал-демократической среды.

«Кредо» экономистов было подготовлено в 1899 г. Е. Кусковой как тезисы для дискуссии среди марксистов. Она одобряла идеи Бернштейна, призывала сосредоточиться на укреплении экономических организаций рабочего класса и отбросить идеи крушения капитализма и захвата власти марксистами. Вывод «Кредо», глубоко возмутившего Ульянова, гласил: «Для русского марксиста исход один: участие, т.е. помощь экономической борьбе пролетариата и участие в либерально-оппозиционной деятельности»[1014]. Ульянов подготовил «Протест русских социал-демократов» против «Кредо», где доказывали несовместимость «Кредо» и манифеста РСДРП (что не совсем верно, учитывая вклад П. Струве в его написание). Ульянов настаивал, что осуществление программы «Кредо» «было бы равнозначно политическому самоубийству русской социал-демократии…»[1015] Это логично – отдав монополию на политическую деятельность либералам, социал-демократы превращаются в их департамент по работе с рабочими. С поправками протест был принят группой ссыльных социал-демократов, что положило начало длительной борьбе с экономизмом. Несмотря на победу над ним на II съезде РСДРП, правое крыло социал-демократии всегда тяготело к бернштейнианству, что выразилось и в линии меньшевиков на союз с либералами в революции 1905 года, и в ликвидаторстве, и в коалиции социал-демократов с кадетами во Временном правительстве.

Развернутым ответом «экономистам» стала книга Ленина **«Что делать?».** Фактически своей критикой экономизма Ленин открывал атаку и на ряд догматов преобладающей социал-демократической идеологии того времени. Ленин требовал подчинить борьбу за частные улучшения положения рабочих революционной борьбе за свободу и социализм. Ленин осудил крайний экономический детерминизм, утверждение «экономистов» (встречается оно и у «основоположников») о том, что «политика всегда следует за экономикой»[1016]. Социал-демократическая политика – не следует, а идет впереди. Может быть, Ленин разрывает с марксистской ортодоксией? Нисколько. Строгий экономический детерминизм настолько очевидно противоречит реальности, что сопровождается оговорками, во многом обесценивающими саму идею[1017].

Ленин – ученик Плеханова – экономический детерминист. Необходимо решать задачи в свое время, когда они «вызрели». Но Ленин – самостоятельный исследователь российской реальности, Ленин – темпераментный революционер и Ленин – творческий идеолог – не может принять той скорости процесса, при которой «улита» вызревания предпосылок доползет до порога социализма уже после смерти спорщиков начала XX века. Для правых социал-демократов всегда остаются основания сомневаться, а вызрела ли ситуация окончательно. Для левых марксистов вызревание хотя бы части предпосылок – уже основание, чтобы опереться на них в своем действии. Таков был и Маркс, надеявшийся на пролетарскую революцию во Франции в 1871 г. (когда там еще не преобладал индустриальный уклад).

В начале XX века Ленин выступает как ортодокс марксизма и в то же время высказывает ряд новых для тогдашней социал-демократии идей, соглашается с некоторыми утверждениями народников. Вскоре это повлекло обвинения со стороны меньшевиков в переходе Ленина на позиции народничества, в разрыве с марксизмом. Ленин протестовал, не признавал родства с эсерами, хотя и был готов идти с ними на тактические союзы. Успех Ленина в борьбе за власть в 1917 г. заставляет исследователей рассматривать его отклонения от ортодоксии уже не как «ошибки», а как углубление марксизма, либо как прагматизацию идеологии, когда под видом марксизма проводится какая-то иная система взглядов, оказавшаяся более эффективной с точки зрения борьбы за власть, но направленная на достижение иных целей, нежели марксизм. Сам марксизм предстает в таком случае более утопичным, но очищенным от ответственности за возникновение большевистского режима и результаты коммунистического эксперимента в СССР.

По мнению историка Т. Шанина, «растущее влияние Ленина объясняется также той ловкостью, с которой он научился обращаться к вопросам марксистской легитимации»[1018]. Для Ленина действительно было принципиально важно доказать свою марксистскую ортодоксальность, но это само по себе не значит, что Ленин просто прикрывал марксистской софистикой свои новации. Ленин искренне считал, что новации делаются в рамках марксистской ортодоксии, что он более ортодоксален, чем его противники, что именно он правильно трактует Маркса. И в большинстве случае он был прав в этом отношении.

«Начиная с 1905 г., пропасть между двумя Лениными – популяризатором ортодоксии и оригинальнейшим стратегом – постоянно расширялась…»[1019], – продолжает Т. Шанин. Но что такого «оригинальнейшего» предложил Ленин, что прямо противоречило бы наследию Маркса? Союз с крестьянством? Это – продолжение мысли Маркса и Энгельса о необходимости «второго издания» крестьянской войны. Диктатура рабочего класса и крестьянства – это интерпретация опыта Великой Французской революции и Парижской коммуны. Известно положительное отношение «основоположников» к якобинству для соответствующей стадии развития общества, их союз с бланкизмом против бакунизма и, наконец, идея Маркса о непрерывной революции. Ленин **принимает лишь те народнические идеи**, которые прямо не противоречат наследию Маркса, и которые действительно соответствуют российской реальности, что определяется его представлением о научности марксизма.

Но это – вопросы тактики. Куда важнее **ортодоксальность Ленина в вопросе о цели коммунистического движения**. Ленин понимает социализм совершенно ортодоксально, не отличаясь в этом отношении от господствующего течения в европейской социал-демократии: «Социализм требует уничтожения власти денег, власти капитала, уничтожения всей частной собственности на средства производства, уничтожения товарного хозяйства. Социализм требует, чтобы и земля, и фабрики перешли в руки всех трудящихся, организующих по общему плану крупное (а не разрозненное мелкое) производство»[1020].

Из этого понимания социализма неизбежно вытекает отождествление с капитализмом любой товарности, которое должно быть ликвидировано. Вообще в определении Ленина обращает на себя внимание рефрен «уничтожение», явно преобладающий над «конструктивом». Главное конструктивное требование, вполне по Марксу – работа по единому плану.

* * *

Ленин утверждает, что существует только «буржуазная и социалистическая идеология. Середины тут нет…»[1021] Здесь интересно, что Ленин допускает классификацию по разным принципам. Буржуазная идеология – это идеология, связанная с классом. Антитезой ей в марксистской системе должна быть пролетарская идеология. Но Ленин пишет о социалистической идеологии, антитезой которой должна быть «капиталистическая» или «либеральная» (в зависимости от контекста()еральнаядеологииылок доползет до порога социализма уже после смерти XX века.ает, что ??е идеи, которые прямо не противоречили). Такая замена не случайна. Она позволяет априори отождествить социализм с пролетариатом. Носители социалистической идеологии (разумеется – подлинной, марксистской) выражают интересы пролетариата безотносительно тому, являются ли они сами рабочими.

Но факт остается фактом – идеологи марксизма в большинстве своем рабочими не являются. Все-таки, чтобы вырабатывать идеологию и теорию, нужно иметь соответствующую подготовку, что характерно для интеллигенции.

Доказательство того, что рабочий класс должен поддерживать именно марксистскую политику, осуществляется Лениным «от обратного». Рабочее движение не может поддерживать политику своего классового врага. Не имея собственной политической линии и просто поддерживая либеральную оппозицию, пролетариат будет служить интересам буржуазии, «впадет в буржуазность»[1022]. Рабочий класс вообще склонен к «заражению» буржуазным сознанием. Но и социалистическое сознание – внешнее для пролетариата: «социалистического сознания у рабочих не могло быть. **Оно могло быть привнесено только извне»**[1023]. Своими силами рабочий класс не может его выработать, поскольку не имеет теоретической подготовки. И это – верно.

Ленин справедливо напоминает, что учение социализма выросло не из пролетарского сознания, а как результат эволюции мысли интеллигенции, имущих классов. Из этого следует, что социализм, воспринимаемый как идеология пролетариата, соответствует не тому, к чему стремится пролетариат, а тому, в чем социалистическая интеллигенция видит его «объективные интересы». Так почему же такая идеология должна считаться пролетарской? Потому что в существующем обществе пролетарии бедствуют, и социализм предлагает уничтожить условия этого бедствования. Но в новом обществе перестанут бедствовать представители всех слоев малоимущих.

Суть разногласия Ленина с «экономистами» – «поднимать рабочих до революционеров» или «опускаться непременно самим до «рабочей массы»»[1024]. Следовательно, рабочий не является альфой и

омегой марксизма. Рабочий класс является «могильщиком капитализма» лишь постольку, поскольку он поднялся до осознания марксистских истин. Он – средство осуществления марксистского проекта, который (в соответствии с идеями Маркса) соответствует интересам как рабочего класса, так и подавляющего большинства трудящихся.

Мысль Ленина о проникновении социалистического сознания в рабочий класс извне соответствовала и наблюдениям идеологов других социалистических направлений. Ссылаясь на Бернштейна, Чернов писал: «конструктивный момент привнесен в социалистическое движение творческою мыслью основоположников социалистической теории, деструктивный – стихийным протестом масс против уз эксплуатации»[1025].

Но Ленин отождествляет с социалистическим (социал-демократическим) сознанием не конструктивное стремление к новому обществу, а негативное сознание пролетариями «непримиримой противоположности их интересов всему современному политическому и общественному строю»[1026]. Такая классовая ненависть вполне может возникнуть у пролетариев сама по себе, стихийно. Указав на роль интеллектуалов в формировании сложной социалистической идеологии, сам Ленин понимал ее пока крайне упрощенно. Главное для него – разрушить капиталистический строй, и тогда возникнет единственно возможный социализм. А если нет? А если то, что возникнет, сохранит эксплуатацию и угнетение рабочего класса?

Таким образом, отождествление марксистами (и Лениным в том числе) социалистического и пролетарского сознания априори, основано на логической ошибке. Существует классовое сознание – особенности социальной психологии, вытекающие из социально-классового положения человека. Существует идеологическое сознание – либеральное, социалистическое и др. Связь первого со вторым нужно еще доказывать. Марксистская идеология может соответствовать интересам не только (и даже не столько) пролетариата, сколько управленческой элиты индустриального общества (технократии, бюрократии).

При этом мышление марксиста может быть как конструктивно-теоретическим, ориентированным на моделирование форм будущего, опережающих существующие социальные отношения, так и предельно близким классовым инстинктам, далеким от теоретизирования. Интеллигент-марксист может разделять взгляды и настроения прагматической (тред-юнионистской) и радикальной (например, синдикалистской) части пролетариата, не внося в него фермент теории извне, а переводя настроения массы на язык теории.

Но сближаясь с настроениями пролетарской стихии как практик, Ленин противостоит ей как носитель марксистского проекта. Он не может усомниться в том, что марксистское учение соответствует интересам рабочего класса в принципе. Нужно найти нечто в пролетариате, что препятствует осознанию им своих подлинных интересов. И это – как раз стихийность, которой нет места в плановом нетоварном обществе. Стихийный, не организованный партией пролетариат не может осуществить свою миссию. Раньше считалось, что уже капитализм, сама фабричная система делает пролетариев организованными. Но Ленин считает это совершенно недостаточным. Все зависит от партийной организационно-просветительской работы. Ленин видит в агитации работу, «сближающую и сливающую воедино стихийно-разрушительную силу толпы и сознательно-разрушительную силу организации революционеров»[1027]. Таким образом, именно эта организация, объединяющая не просто рабочих, а «сознательных рабочих», становится представителем пролетариата на общественной арене. Так выстраивается **модель «пролетарской революции»**: организация рабочего класса (марксистская интеллигенция + сознательные рабочие) руководит всем пролетариатом, а от его имени – также революционной частью крестьянства. От партии исходит организованность, которая все глубже проникает в тело стихии.

Несмотря на свою критику стихийности, Ленин в 1917 г. покажет себя мастером управления

стихийными настроениями. И здесь нет противоречия. Пока оппоненты Ленина в социал-демократическом движении критиковали его за боязнь стихийности, Ленин выстраивал организацию, которая будет способна этой стихией управлять. Ленин понимает, что революция – это стихия. Но он считает, что революция может быть успешной только тогда, когда этой стихией управляют и могут воспользоваться не только буржуазные элиты, но и «представители пролетариата».

«Сознательные рабочие» (то есть организованные и прошедшие через марксистское просвещение) становятся социальной силой, на которую рассчитывает Ленин, в то же время неприязненно глядящей на интеллигентских «болтунов». Победе над «экономистами» в РСДРП способствовала позиция не рабочих масс, а рабочего актива, с которым взаимодействовали социал-демократы. Это естественно, так как в социал-демократы шли те рабочие, которые сами уже были полу-интеллигентами. Марксизм был их идеологией постольку, поскольку они «поднимались» над пролетариатом. Но они были связующим слоем, который позволял социал-демократической элите находить общий язык с пролетарскими массами и возглавить их движение, руководствующееся пока лишь задачами социальной защиты или социальной непримиримости.

* * *

В борьбе с «экономистами» объединился широкий круг социал-демократов, получивших по названию своего печатного органа наименование «искровцев». Они были согласны, как казалось, в главном – рабочий класс должен иметь свой политический инструмент, свою партию. Вскоре выяснится, что за согласием в вопросе о партии может стоять совершенно разные стратегии применения «инструмента». Из этого следовало различие в представлении о структуре партии. Конфликт разворачивался по двум основным линиям, намеченным в модели Ленина: **отношений партии («сознательных рабочих») и пролетариата; пролетариата (в лице той же партии) и крестьянства.**

Уже при создании проекта программы партии в 1902 г. вскрылись пока незначительные теоретические противоречия Ленина и Плеханова. Плеханов пишет текст по немецкому шаблону. Ленин редактирует, упирая на отечественные особенности.

Плеханов говорит о господстве капиталистических отношений в современном мире. Ленин возражает: капитализм – это экономический строй, уклад. Значит, нужно учитывать и другие уклады. Средства производства в современном обществе принадлежат не только капиталистам, но и мелким производителям (здесь Ленин вопреки обыкновению не называет их мелкой буржуазией, подчеркивая принципиальное отличие крестьян от капиталистов). Ленин напоминает Плеханову, что пролетариат не составляет большинства населения во многих странах (речь идет, в том числе, о России). Ленин не согласен, что технический прогресс приводит к экспроприации мелких собственников. Этому виной частная собственность, а не прогресс. Ленин стремится умерить пыл Плеханова, который пишет о необходимости «беспощадно раздавить» препятствия, которые встретятся на пути пролетариата к его цели. Даже употребление термина «диктатура пролетариата» вызывает у Ленина сомнение в таком контексте[1028].

Ленин утверждает: «Никому и никогда не будем мы помогать «разрушать общину»». Он предлагает встать на более принципиальную позицию: бороться за демократизм, разрушая все, что ему противоречит. В том числе и в общине – круговую поруку, ограничение свободы крестьян в распоряжении землей. При этом Ленин сочувствует общине как «товарищескому соседскому союзу»[1029]. Здесь мы снова видим сближение с народнической теорией в границах, установленных еще Марксом. И это не значит, что Ленин переходит на позиции народничества. Стремясь обеспечить гегемонию социал-демократии в освободительном движении, Ленин вынужден адаптировать марксизм к многоукладной реальности

среднеразвитых обществ, которую народники понимают лучше и поэтому чаще бывают правы. А это неизбежно требует **восприятия марксизмом части народнического наследия**.

В ходе дискуссии Плеханова и Ленина по программе «танцующие менялись местами», и Плеханов демонстрировал пусть ограниченное, но признание особенностей развития России, необходимости привлечения на сторону пролетариата непролетарских слоев. При этом ленинская оценка революционного потенциала крестьянства была ограничена марксисткой догматикой. Ленин по-прежнему считал, что в борьбе против буржуазии крестьянство «является реакционным классом»[1030]. Ленин определял логику будущей политики союзов: бороться вместе с народниками против крепостнических пережитков, за демократию. Но марксистская партия должна выступать против привилегированного положения крестьян в отношении пролетариата[1031]. В 1918 г. большевики уже будут отстаивать привилегии пролетариата в отношении крестьянства.

После раскола «искровцев», прежде единодушно одобривших «Что делать?», меньшевики и большевики стали искать во взглядах друг друга «мелкобуржуазность». Уязвимой стороной Ленина в этом отношении являлись те пункты, где он, не будучи догматиком, соглашался с народниками. По мнению Мартова (высказанному, впрочем, не сразу, а после начала острого конфликта с Лениным), концепция «Что делать?» «по существу своему больше годилась для санкционирования политики социалистов-революционеров»[1032]. Мысли, аналогичные ленинским, были высказаны в статье Б. Савинкова, которую он прислал в «Искру»[1033]. И что с того – и социал-демократы, и эсеры стремились организовать массы на борьбу с самодержавием. Ленин, когда речь шла о тактике, не боялся обвинений в «народовольчестве» и считал необходимым создавать заговорщическую организацию, что неизбежно в самодержавной стране[1034]. Жестокая борьба с самодержавием, условия подполья предполагают централизм, подчинение членов партии Центральному комитету. Впрочем, после крушения самодержавия Ленин не изменил прежних организационных принципов.

Организационные споры, наложившись на межличностные отношения, вызвали раскол на большевиков и меньшевиков на II съезде РСДРП в 1903 г. Оба течения выступали за централизм и демократию, но большевики делали акцент на первом, а меньшевики – на втором, отождествляя при этом демократию и плюрализм.

Разногласия между большевиками и меньшевиками заключались в степени внутрипартийного централизма и радикализма. Меньшевики видели опасность ленинского централизма в том, что он может привести к перерождению в авторитаризм. Но меньшевики не собираются отказываться от централизма вообще. Мартов тоже выступает за «централизованную организацию»[1035]. Чтобы не возобладал «формально-«бюрократический» принцип» организации, нужно, чтобы центральные органы партии находились под давлением «партийного «общественного мнения»»[1036]. Партия должна состоять из активных людей, которые постоянно давят на аппарат, заставляют его работать в соответствии со своими требованиями. Впрочем, такое давление актива на верхи партии было и у большевиков.

Централизм должен быть демократическим. Но и Ленин выступает за демократический централизм. Так в чем же разногласие? В текущей практике, когда Ленин, подобно фабричному менеджеру пытается избавиться от болтунов, а меньшевики пестуют плюрализм мнений? Но и те, и другие стремятся решить одну и ту же проблему: как создать эффективную политическую организацию (что с их точки зрения предполагало централизм), сохранив в то же время демократию и равноправие членов. Партия должна действовать как единый организм, который в то же время будет состоять из самостоятельных активных клеток. Но чем больше нагрузка на организм, тем меньше возможностей для автономии клеток.

Нюансы организационных идей большевиков и меньшевиков вытекают из более существенных стратегических разногласий. Концепция Ленина возлагает на партию огромную нагрузку форсирования

прогресса. Меньшевики считают невозможным преодолеть капитализм без достаточных предпосылок социализма. Большевики пытаются формировать предпосылки, заменять недостающие паллиативами. Пролетариат не организован? Нужно усилить организованность авангарда и радикализировать массы – чтобы учились скорее. Пролетариат малочислен – мобилизовать революционную энергию крестьянства. Позднее аналогично будет решаться проблема низкого культурного уровня, индустриальной модернизации, которая станет смыслом коммунистической политики после победы в гражданской войне. Прогресс можно форсировать. Для этого нужен организационный инструмент – централизованная партия как прообраз централизованного общества.

Ленин считал, что есть вещи поважнее демократии и свободы споров – тем более для коммуниста. В партии должно быть обеспечено «нечто большее, чем «демократизм», именно: полное товарищеское доверие между революционерами»[1037]. **Партийная организация – это своего рода модель коммунистических отношений, их ячейка. Здесь коммунизм должен стать реальностью прежде, чем победит в обществе в целом.** Отсюда недалеко до идей Мао Цзэдуна и Че Гевары, где партизанское боевое братство становится зачатком коммунистического общества, независимо от того, из кого класса пришли участники этого братства. Его атмосфера способна изменить бывшего представителя любого класса.

Э. Каррер д'Анкосс, путая профессиональный революционеров и интеллигенцию, считает, что Ленин со своей идеей профессиональных революционеров противостоит Плеханову, который не считал нужным создавать отдельную организацию для интеллигенции[1038]. Так ведь и Ленин не собирается создавать для интеллигенции отдельные организации, его профессиональные революционеры – это не интеллигенты, а выходцы из разных слоев, прежде всего – рабочие. Напомним, что при обсуждении организационного строения партии на II съезде РСДРП Плеханов поддержал Ленина, а не Мартова.

Меньшевики, особенно группа Плеханова, и сами приложили руку к выстраиванию централистичной модели социал-демократии, а затем критически разбирали то, что в результате этого вышло. П. Аксельрод видел в системе подчинения ЦК редакции Центрального органа партии, «утопию теократического характера: светское общество отдается во власть маленького духовного органа…»[1039] От этого уставного положения скоро откажутся, но дело было не в нем. Проблема приобретет новую актуальность после гражданской войны, когда Ленин обнаружит, что носителями социалистического проекта в Советской России остается вовсе не пролетариат, а тонкий слой идеологов, надстроенный над массой бюрократии. И борьба в «маленьком духовном органе» Политбюро будет определять судьбу коммунистического проекта. Как ни составляй устав, а носители коммунистической стратегии оставались фактором, который играет самостоятельную роль, сопоставимую с влиянием классов.

Меньшевики и большевики были уверены, что только их фракция является подлинным выразителем интересов именно пролетариата, и это было важнее для них, чем конструктивная модель будущего общества, по поводу которой заметных разногласий не было. Соответственно, противник воспринимался как проводник мелкобуржуазных интересов. Меньшевики при этом отмежевывались от более правого «экономизма». П. Аксельрод видел в «экономизме» «пропаганду политической опеки либеральной интеллигенции над пролетариатом», а в излишнем «увлечении «политикой»» (намек на Ленина) «отдачу рабочих масс под команду революционных элементов буржуазии…»[1040]. Таким образом намечается линия будущей критики левого крыла социал-демократии как мелкобуржуазного революционаризма, якобинства или бланкизма.

* * *

«Ученичество у капитализма», которое проходил русский марксизм, предполагало и уроки по истории буржуазных революций. В начале XX века революционеры России примеряли на себя их одеяния. Не удивительно, что возникшие организационные разногласия меньшевиков и большевиков в более широкой исторической перспективе стали оцениваться через призму опыта прошедших революций, прежде всего – Великой французской.

В 1901 г. Плеханов сравнил левое и правое течения социал-демократии с якобинцами и жирондистами. Таким образом Плеханов был не прочь сравнить себя с якобинцами. Орган «экономистов» «Рабочее дело» возразил против этой аналогии. Якобинцы и жирондисты с точки зрения газеты представляли разные классы, а «экономисты» и «искровцы» представляют один класс – рабочий. Ленин не согласился с «Рабочим делом» сразу в двух отношениях. Во-первых, якобинцы тоже были течением буржуазным. Во-вторых, «экономисты» и «бернштейнианцы», в отличие от истинных марксистов, являются проводниками буржуазной идеологии в рабочем движении[1041].

Такое двойное опровержение лишний раз подтверждает, что разделение на «Гору и Жиронду» не носит классового характера. Значит, аналогия Плеханова верна. После раскола на большевиков и меньшевиков она зажила новой жизнью – пролетарские революционеры с ее помощью стали заимствовать опыт предыдущих, «буржуазных» революций.

Меньшевики бросили Ленину вызов, сочтя его линию уклонением от марксизма к якобинству и, следовательно, от рабочей политики к мелко-буржуазной либо плебейской, маргинальной (ведь якобинцы в силу исторической эпохи, так сказать по определению, не могли быть пролетарскими революционерами). Ленин принимает вызов (тем более, что трудно не заметить сходство его радикального централизма с якобинством и наследовавшим ему бланкизмом). В современную эпоху, на новой стадии развития, революционеры могут тяготеть или к якобинству, или к жирондизму. Это было с мелко-буржуазными революционерами, это происходит и с пролетарскими. Ленин утверждает: «Якобинец, неразрывно связанный с организацией пролетариата, сознавшего свои классовые интересы, это и есть революционный социал-демократ. Жирондист, тоскующий о профессорах, гимназистах, боящийся диктатуры пролетариата, вздыхающий об абсолютной ценности демократических требований, это и есть оппортунист»[1042]. Получается формула: **якобинство + пролетарская организация = революционный марксизм.**

Меньшевики не желали принимать такие правила игры и признавать себя аналогом жирондистов. Зато их устраивали якобинские симпатии Ленина, они увидели в них доказательство его «мелкобуржуазности». А ведь марксисты видели в мелкобуржуазном влиянии объяснение чуть ли не всех уклонений от истины в рабочем и социал-демократическом движении.

П. Аксельрод разъяснял большевикам, что их якобинство не принесет пролетариату никакой пользы. Якобинство вовлекает массы «в движение, конечным результатом которого в самом лучшем, самом идеально благоприятном случае было бы кратковременное господство радикальной демократии, опирающейся на пролетариат… В конце пути, на который она увлекает наше движение, светится, как блестящая точка, якобинский клуб, т.е. организация революционно-демократических элементов буржуазии, ведущая за собою… наиболее активные слои пролетариата»[1043].

Если большевики – якобинцы, значит они пытаются растворить движение пролетариата в общедемократическом движении, надеясь повести последнее к социализму[1044]. Стратегия, близкая эсеровской. Меньшевики были уверены, что «социализм» разношерстных демократических масс не будет настоящим социализмом. Казалось бы, они оказались правы – реального социализма не получилось. Но только ли потому, что капитализм сокрушили не чистопробные когорты пролетариата, а разношерстные плебейские массы?

Характерно, что меньшевики, в свою очередь, также принялись растворять движение пролетариата в

общедемократическом движении (соглашаясь на союз с либералами), но в силу формационного догматизма выступали против направления этого движения к социализму, подчиняя интересы рабочих задачам капиталистической модернизации.

* * *

Параллели с французской революцией подтвердили свою прогностическую силу (пусть и относительную) в отношении революционного процесса России. Французские алгоритмы опирались на общие социальные механизмы революционного перехода к индустриальному обществу. Маргинализация городских слоев в обществе, пропитанном авторитарным сознанием, создавала благоприятную почву для «реинкарнации» на российской почве плебейского революционаризма – якобинизма.

Но социалистическое движение поставило в повестку дня гораздо более сложный круг проблем, чем Великая французская революция, что обусловило и более сложную расстановку позиций в полемике марксистов (не говоря о социалистах в целом).

Вполне очевидно, что якобинцы – не социалисты, и аналогия социал-демократов с ними – неполная. **Политический якобинизм, дополненный социалистической (коммунистической) идеей, развился в бланкизм.** Этот термин более адекватно характеризует радикальное авторитарное коммунистическое движение.

Ленинская идея организации профессиональных революционеров – бланкизм XX века. Если большевизм – вариант бланкизма, то это – уже не марксизм. Такова логика меньшевиков: «Большевики – не марксисты, а бланкисты»[1045]. Меньшевики не учитывали, что марксизм и бланкизм могут оказаться пересекающимися множествами. Можно разделять радикально-коммунистические авторитарные идеи Бланки, одновременно исповедуя основные идеи Маркса. **Большевизм – это марксистский бланкизм**, также как ткачевизм – народнический бланкизм (отсюда путаница в работах тех авторов, которые пытаются выводить взгляды Ленина из Ткачева).

Политический бланкизм Ленина – не основание противопоставлять ленинизм учению Маркса. Маркс, как и Бланки, был централистом. Маркс не выступал против партийного проекта Бланки, многие бланкисты стали марксистами, дополнив свою политическую доктрину социально-экономической концепцией Маркса. Маркс более фундаментален, идеи Бланки, которые развивает Ленин, носят прежде всего прикладной, тактический характер. В марксизме и социал-демократии было много общего с бланкизмом, и реальный исторический бланкизм в итоге растворился в социал-демократии.

Оппоненты большевиков не сразу пришли к выводу о бланкизме большевиков – все-таки Бланки и его последователи были вполне уважаемы в Интернационале. Плеханов в письме к Каутскому в 1904 г. писал, что требования большевиков вырождаются «на практике не в «якобинизм», бланкизм и т.п., а в самую что ни на есть заурядную жалкую карикатуру на бюрократическую автократическую систему нашего министерства внутренних дел»[1046]. Однако попытки характеризовать большевизм как пародию на царские порядки или «бюрократически-бонапартистский режим»[1047], в начале века выглядели как результат раздражения, а не анализа. Все-таки оба Бонапарта не совершали, а завершали революции. Плеханову пришлось пересмотреть свой взгляд и характеризовать большевизм все-таки как бланкизм: «Они, подобно Бланки, чужды сознания того, что масса должна быть самодеятельна. Поэтому они, тоже подобно Бланки, не понимают того, что политическое воспитание массы, – которое может быть куплено лишь ценой ее политической самодеятельности, – составляет главное условие успеха революции и главную задачу революционера»[1048]. Здесь утрирована и позиция Ленина этого периода, и позиция Бланки. Они

не против самодеятельности масс, но только под руководством коммунистической партии или правительства. Но ведь и Плеханов тоже считает, что авангард рабочего класса – партия – должна руководить «самодеятельными» массами. Итог этих «самодеятельных» поисков массы, ее «воспитания» известен заранее – единственно верные марксистские взгляды. В этом между Лениным и Плехановым возникают не стратегические, а тактические, можно сказать – педагогические разногласия. Как воспитывать массу? Если «самодеятельные» методы воспитания дадут плохие результаты, Плеханов готов быть и строгим педагогом. Он разделял представления Ленина о необходимости диктатуры и даже разгона Учредительного собрания, если оно пойдет поперек линии социал-демократов. В 1917 г. выяснится, что «самодеятельность масс», на которую пытался опереться как раз «бланкист» Ленин, далеко не всегда ведет к тем результатам «воспитания», которые были бы желательны и Ленину, и Плеханову. В 1918 г. «самодеятельное» воспитание осени 1917 г. сменилось суровой педагогикой «военного коммунизма».

* * *

Западные социал-демократы, в том числе и левые, поддержали меньшевиков, защищавших плюрализм и демократию (правда, нередко отступавших от них, когда большевики оказывались в меньшинстве). Даже представительница левого крыла германской социал-демократии Р. Люксембург писала о позиции Ленина: «Эта точка зрения… представляет собой систему ни перед чем не останавливающегося централизма, жизненным нервом которого является, с одной стороны, резкое ограничение и отделение организованного авангарда профессиональных активных революционеров от окружающей их неорганизованной, но революционно-активной среды, а с другой стороны, строгая дисциплина и прямое, решающее и категорическое вмешательство Центрального Комитета партии во все проявления жизни последней»[1049].

Люксембург в 1904 г. была решительным критиком большевизма, а в 1918 г. стала матерью-основательницей Коммунистической партии Германии. Кто изменил свою позицию – Ленин или Люксембург, что все же позволило достичь сближения между ними? В момент реальной революции разногласия (которые Люксембург не скрывала и после 1917 г.) казались вторичными по сравнению с общим революционным настроем левого марксизма[1050]. Однако разногласия Люксембург и Ленина носили стратегический характер. В 1904 г. Ленин – сторонник максимально возможного централизма (пусть и демократического), организованности. Его кредо – марксизм и организация революционеров. Люксембург видит в организационной программе Ленина бланкизм и противопоставляет ей не формальный демократизм и не «самодеятельное» воспитание, а самоорганизацию, прямое действие масс, следуя (в отличие от Плеханова) по стопам анархистов и синдикалистов: «Социал-демократическое движение – это первое движение в истории классовых обществ, которое во всех своих проявлениях, при любом ходе событий рассчитано на организацию и самостоятельное прямое действие масс. В этом плане социал-демократия создает совсем иной тип организации, чем прежние социалистические движения, например, якобинско-бланкистского типа»[1051]. Синдикалистское понимание организации ведет к доминированию движения снизу, даже спонтанности над управляющей волей организационного центра.

Это понимание, неприемлемое для Ленина в 1902 г., когда он видит в стихийности источник буржуазного влияния, становится ближе лидеру большевизма в ходе революции 1905 г. Наблюдая самоорганизацию масс и одобрительно воспринимая результат их творчества в виде советов, Ленин увидел в них необходимый баланс между спонтанностью и централизмом. Взаимодействие этих двух начал станет формулой большевизма в 1917-1918 гг. Люксембург до конца своих дней останется сторонницей радикального движения снизу, самоорганизации пролетариата. Из этого вытекает ее

умеренная критика действий большевиков после прихода к власти. Но она верит, что массы распорядятся своей победой в соответствии с марксистской стратегией. Отсюда – терпимость Люксембург к большевизму 1917-1918 гг., который, при всех своих авторитарных «ошибках» высвобождал революционную энергию масс. Когда в полную силу проявилась деспотичная сторона большевистской политики, Люксембург уже не было в живых.

В 1904 г. на ленинское утверждение о благотворном организационном значении фабрики для пролетариата Люксембург ответила, что «такую дисциплину, которую имеет в виду Ленин, навязывают рабочим не только фабрика, но и казарма, а также современный бюрократизм, короче – общий механизм централизованного буржуазного государства»[1052].

Люксембург в работе «Социальная реформа или революция?» утверждала, что социализм не может существовать как распределительная надстройка над существующим способом производства[1053]. Левые марксисты не додумывали эту мысль до логического конца: социализм предполагает отрицание индустриальной системы с ее концентрацией машинного производства. **Нужен новый, не индустриальный способ производства, чтобы возникли социалистические отношения.**

Фабрика основана на управлении человека человеком, а коммунистическая ячейка – на братстве, равноправии и альтруизме. Радикальный (даже в сравнении с Лениным) большевик, а затем – меньшевик Александр Богданов попытался найти новые мотивы альтруизма на уровне психологии: «Дело идет о возрастающей общности основного содержания опыта, а не бесчисленных частных переживаний, о возможности полного взаимного понимания людей, а не об их психическом тождестве; о способности каждого во всякое время овладеть какой угодно частью опыта других людей, а не о фактическом обладании всем этим опытом»[1054]. Такое возможно только при **идеальных коммуникациях**. Но даже если возникнет такое «универсальное общение», построить взаимопонимание будет нелегко из-за психологических различий и инерции эгоизма. Но во всяком случае социальные различия будут устранены: «Работник будущего общества будет настолько же инженер, насколько рабочий: тип синтетический, сливающий в себе раньше разделенные функции»[1055]. Это невозможно представить себе в условиях фабричной системы, во всяком случае до ее полной автоматизации. Координационные функции в новом обществе также **должны быть автоматизированы**, что исключит злоупотребления. Богданов предусматривает «создание центров, выясняющих и осуществляющих волю коллектива, но не управляющих им»[1056]. При этом центральная организация сохраняет только научно-статистическую функцию. «Центральному производственному аппарату остается тогда в этой области учитывать факты, но не предписывать нормы»[1057].

Как марксист, Богданов исходит из возможности идеального по своей рациональности планирования, которому безропотно подчиняются все производители и потребители. Пока не созданы технические и культурные предпосылки таких альтруистических, неиерархических отношений, переход к коммунизму невозможен. Отсюда резкая критика Богдановым «военного коммунизма» 1918-1921 гг., большевистского «забегания вперед». «Разница немалая. Социализм есть прежде всего новый тип сотрудничества – товарищеская организация производства; военный коммунизм есть прежде всего особая форма общественного потребления – авторитарно-регулируемая организация массового паразитизма и истребления. Смешивать не стоит»[1058].

У Богданова и Люксембург предельно сближаются два направления коммунистической мысли – марксистское и анархистское. Люксембург уповает на прямое действие масс, не опосредованное политическим центром. Богданов исходит из марксистских постулатов, но рисует модель безвластного общества, критикуя попытку создать «диктатуру пролетариата», подменяющую движение к настоящему коммунизму, к товарищеской организации производства и жизни. Эта идейная линия сдвига левого

марксизма в сторону анархизма будет иметь плодотворное продолжение в XX веке.

Конструктивный социализм эсеров

К началу XX в. народничество оправилось от поражения первой половины 80-х гг. В 1901-1902 гг. была создана Партия социалистов-революционеров (ПСР), что означало возрождение революционного крыла народничества.

Идеологи эсеров внимательно отнеслись к теоретическим достижениям марксизма и стремились включить их в свой теоретический багаж. Идеолог ПСР **Виктор Михайлович Чернов** (1873-1952) писал об эсерах как о "партии, чтущей наряду с именами Маркса и Энгельса имена Лаврова и Михайловского"[1059]. Чернов выдвигает две ключевые ценности: "Я до сих пор считал этическим обоснованием социализма стремление рассматривать весь исторический процесс в его закономерном ходе с точки зрения интересов человеческой личности, с точки зрения ея всестороннего и гармоничного развития, предполагающего торжество общественной солидарности"[1060] Сочетание свободы личности и социальной солидарности определяло направление общественной эволюции, к которой стремились эсеры. Ни концентрация капитала, ни классовые интересы пролетариата не должны были встать выше этих ценностей. Сближение с марксизмом не значило поглощения. Программа ПСР признавала неизбежность развития капитализма в России и других среднеразвитых странах, но обращала внимание на двойственность этого процесса, особенно в странах, которые мы теперь называем Третьим миром. Капиталистическое развитие нельзя отождествлять с индустриальным прогрессом. Приветствуя «промышленный гений», Чернов считал капитализм лишь его оболочкой, которую можно свести к минимуму[1061]. Более того, «капитализм, как таковой, никаких положительных сторон не имеет»[1062].

Применяя прудоновскую диалектику (унаследованную от Михайловского), Чернов утверждает, что у социально-экономического развития есть и положительные, и сугубо негативные стороны. «Взаимное соотношение между этими положительными и отрицательными сторонами, более благоприятное в высших отраслях индустрии и в странах классического капитализма, становится все менее и менее благоприятным при переходе к различным отраслям промышленности добывающей, в особенности же к земледелию, и к целым странам, хуже поставленным в международной экономической борьбе. Чем благоприятнее это соотношение, тем более развит современный индустриальный пролетариат и тем больше его значение сравнительно с остальной массой трудящегося и эксплуатируемого населения. Чем всестороннее и последовательнее развиваются в обществе начала буржуазной собственности и хозяйства, тем резче оно распадается на класс эксплуатируемых тружеников, получающих все меньшую и меньшую долю созидаемых их трудом благ, и класс эксплуататоров, сосредоточивающих в своих рука владения естественными силами природы, средствами производства и обмена»[1063]. Уже в начале XX века система глобализации вела к глубокому разделению зон капиталистического «процветания» и «загнивания». Стратегия социалистической демократии в этих зонах должна быть различной. Это не сумел осознать меньшевизм, что предопределило стремительное падение его влияние еще в демократических условиях 1917 г. В России нельзя идти к социализму тем же путем, что и в Германии.

Для эсеров как для народников эта проблема оставалась в центре внимания, что подтверждала программа партии: «Развитие капитализма в России характеризуется наименее благоприятным соотношением между творческими, исторически-прогрессивными, и темными, хищнически-разрушительными тенденциями. Все связанные с этим развитием кризисы переживаются Россией в концентрированном виде, в сокращенный период времени, при низком культурном уровне, который обостряется взаимоприспособлением наиболее примитивных форм эксплуатации народного труда и медленно изменяющихся форм патриархального дворянско-чиновничьего царизма»[1064].

Теоретики эсеров признавали, что на Западе буржуазия сыграла определенную положительную роль,

но в России она является реакционной и не способна выполнить «даже ту долю освободительной работы, которую она совершила в других странах Западной Европы»[1065]. Поэтому революционное движение приняло антибуржуазное, социалистическое направление, и лидерство в нем принадлежало «идеалистически настроенной части интеллигенции»[1066].

Эсеры, продолжая традицию 60-70-х гг., решились на откровенный разговор **о роли интеллигенции в социалистическом движении**. Интеллигенты-марксисты видели себя слугами пролетариата и не признавали, что у них есть самостоятельный от пролетариата социальный интерес в качестве интеллигентов. Поскольку марксизм так и не доказал, что именно его проект соответствует интересам пролетариата, он мог быть выражением интересов нового класса, «умственного рабочего», выражаясь словами Я. Махайского. В чем действительные интересы интеллигенции, насколько они совпадают с интересами рабочих? Без постановки этого вопроса интеллигент в рабочем движении был обречен на комплекс неполноценности и недоверие со стороны рабочих, отчасти справедливое. Ведь в социалистическом обществе марксистов работники «сложного труда» должны занять более выгодное положение.

Лидер умеренных народников А. Пешехонов уже в те годы обратил внимание на формирование социального слоя, отличного как от интеллигенции, так и от буржуазии, и в то же время соответствующего как раз антиутопии «умственного рабочего». Вместо концентрации богатства происходит концентрация экономической власти в руках менеджеров, технократов-управленцев. Приобщение к собственности миллионов акционеров не играет большой роли, поскольку капиталом от их имени распоряжаются менеджеры. Народники, таким образом, отличали интеллигенцию от нового господствующего класса, который может сменить буржуазию[1067].

Чернов предлагает сделать положение интеллигенции в социалистическом движении не скрытым, закамуфлированным под представительство интересов пролетариата, а открыто равноправным. Крестьяне, рабочие и интеллигенция – три равноправные составляющие единого фронта трудящихся. Интеллигенция «характеризуется преобладанием в ее труде творческого начала»[1068], которое предполагает индивидуальность и свободу.

Партия социалистов-революционеров отстаивала интересы не только рабочего класса, но прежде всего **крестьянства**, отличаясь в этом от большинства партий Второго Интернационала. Разъясняя свою политику коллегам по Второму Интернационалу, эсеры утверждали: «мы рассматриваем крестьянство как неотъемлемую часть рабочего класса… наполовину собственников, наполовину пролетариев»[1069]. Таким образом, отождествление крестьян с буржуазией (хотя бы и мелкой) не более правомерно, чем с пролетариатом.

Идеолог партии В. Чернов подчеркивает, что переход к социалистическому хозяйству возможен только после освоения трудящимися более простых общественных форм хозяйствования.

Эсеры обращали внимание на недостаточность тех предпосылок социализма, которые капитализм создает автоматически, сам собой. Для социализма необходимо нечто большее: «Капиталистическая концентрация, доводящая до апогея обычный буржуазный отрыв функции управления от функции труда, для современного социализма есть палка о двух концах»[1070]. Облегчая управленческую задачу социализма, она создает опасность бюрократизации, способную вынуть из социализма «самую душу». Важно, насколько подготовлены к самоуправлению сами рабочие, и как их к этому готовить. А это происходит не на фабрике как таковой, а «в лаборатории собственных трудовых культурно-хозяйственных, кооперативных, синдикальных и идейно-политических организаций – в этих оазисах солидарности в пустыне капиталистической борьбы «всех против всех»[1071]».

Следовательно, необходимо еще в рамках капитализма развивать самоуправляемые общественные

формы, постепенно вытесняя капитализм. Этот взгляд продолжает традицию Прудона-Герцена-Михайловского.

При такой социальной умеренности эсеры были крайне радикальны политически – ведь им противостояло крайне консервативное самодержавие. «У истории нужно запрашивать большее, чтобы получить хоть что-нибудь»[1072], – заявил Чернов. Как не вспомнить лозунг западных радикалов 60-х гг. «Будьте реалистами – требуйте невозможного!»

* * *

Вполне естественно, что в центре программы эсеров стоял аграрный вопрос, в наибольшей степени интересовавший как крестьянство, так и оппозиционную часть элиты. Революционеры связывали с преодолением помещичьего землевладения расчистку препятствий на пути прогресса. Для эсеров решение аграрного вопроса во многом определяло возможность быстрого продвижения к социализму. М. Гоц считал задачей теории искать возможности «перейти от зоологических пережитков общинности к высшим формам коллективности», причем капитализм для этой стратегии является препятствием, а не подспорьем[1073].

Аграрную реформу планировалось провести на основе социалистических принципов, используя механизм общинного самоуправления. Программа ПСР формулировала этот план так: «Социализированная земля поступает в распоряжение центральных и местных органов народного самоуправления, начиная от демократически организованных бессословных сельских общин и кончая государством (расслоение и переселение, заведование резервными земельными фондами и т.д.). Пользование социализированной землей должно быть уравнительно-трудовым, т.е. обеспечивать потребительную норму при условии приложения собственного труда единолично или в товариществе при обращении рентных доходов путем обложения на общественные нужды; при переходе пользования землей от одного лица и группы к другим устанавливается вознаграждение за произведенные улучшения в земле. Земля переходит в общественную собственность без всякого выкупа; за пострадавшими от этого имущественного переворота признается лишь право на общественную поддержку на время, необходимое для приспособления к новым хозяйственным условиям»[1074].

В дальнейшем эти положения были конкретизированы эсерами и превратились в 1917 г. в подробнейшие **планы аграрных преобразований**. Было определено, как вычисляется земельная норма в зависимости от региона проживания крестьян, каким образом стимулировать приближение к этим нормам различных по размерам хозяйств. Не углубляясь здесь в детали, обратим внимание на принцип, лежавший в основе эсеровского аграрного плана. Это – замена собственности владением. Земля требует обработки, и, как кормилица человека, она должна каждому дать место. Отсюда – право работника на получение собственной доли земли как места приложения труда, и отсутствие у хозяина права эксплуатировать чужой труд с помощью монопольного права на землю. Эсеры не стремились запрещать сезонные наемные отношения, как позднее большевики, но эсеровская реформа делала устойчивые капиталистические отношения невыгодными. Зачем быть батраком, если можно получить землю для своего хозяйства? Зачем расширять земельный участок, если придется платить за это? Не лучше ли интенсифицировать собственное хозяйство, расположенное на участке оптимального размера?

Чернов был против полного закрепления земли не только за хозяевами, но даже за общинами. Общинная собственность могла привести к раздроблению земли между сельскими обществами, прикреплению к общине крестьян, желавших иметь доступ к земле. Гражданин России на всей ее территории должен был иметь возможность получить свою земельную норму. Аграрную проблему должно

было решить не только общинное землевладение, но и внутренняя колонизация — перераспределение земли в масштабах всей страны. Но распределение земли должно было определять не государство, а нормы права. Поэтому эсеры выступали против национализации земли.

“Социализируя землю, мы именно ставим ее в такое положение, в котором обычные определения частного права к пользованию ею становятся более неприложимы. Мы не делаем землю ни имуществом общины, ни имуществом области, мы не переводим ее и просто в разряд современных “государственных имуществ”. Мы делаем ее ничьей. Именно как ничья она и становится общенародным достоянием”[1075]. В отождествлении понятия государственного имущества и ничейности чувствуется влияние марксистского течения социал-демократии того времени, видевшего «собственность» именно в частной собственности. Передача права верховного распоряжения землей государству создавала для бюрократии возможность злоупотребления при распределении этого ресурса. Чтобы избежать этой угрозы, и требуется тщательное определение в нормах права принципов распределения земли, дабы сам процесс в минимальной степени зависел от чиновника.

Эсеров не смущали возражения по поводу эффективности пользования “ничьей землей”. Во-первых, крестьяне, объединенные в общины и органы местного самоуправления, найдут разные условия землепользования в зависимости от местных условий. А во-вторых, движение технологий к машинной обработке земли должно привести к превращению распределительного обобществления в производственное, в “коллективную обработку земли”[1076]. Чернов полагал, “что в смысле производства социализация земли еще не означает никакого коренного переворота. Производство, пользование землей остается индивидуальным. Социализация земли в деревне может, конечно, явиться прекрасным фундаментом для дальнейшей органической, творческой работы в духе обобществления крестьянского труда, развития кооперативного и общинного хозяйства и т.д.”[1077]

* * *

План решения земельной проблемы в аграрном обществе был также моделью для решения рабочего вопроса в индустриальной системе: работник должен иметь доступ к рабочему месту и к управлению производством.

В то же время Чернов (в отличие от более радикальных эсеров-максималистов, а затем и левых эсеров) считал обобществление промышленности делом крайне сложным и потому более отдаленным, чем социализация земли. На съезде партии в 1906 г. он спорил с Н. Ракитниковым, который считал необходимым одновременно производить социализацию земли и крупных предприятий, и максималистом Г. Ривкиным, предлагавшим передать в коллективную собственность фабрики и заводы. Главной проблемой для Чернова стала сама возможность управления сложным промышленным хозяйством: «кто и на каких началах будет заведовать фабрично-заводским хозяйством»?[1078] Чернову была неизвестна программа федеративной координации самоуправляющихся организаций, разработанная еще П. Прудоном. В течение десятилетий работы над программой «конструктивного социализма» Чернову пришлось переоткрывать возможные механизмы координации работы социализированных предприятий.

Чернов выступает против форсирования социализации промышленности прежде всего потому, что осознает опасность, которая исходит от бюрократии и «государственного социализма»: «Вообще по отношению ко всем мероприятиям, имеющим целью обобществление еще в пределах буржуазного государства тех или иных отраслей народного хозяйства, П.С.-Р. усвоит положительное отношение постольку, поскольку демократизация политического строя и соотношение общественных сил, равно и самый характер соответствующих мероприятий будет давать достаточно гарантий против увеличения

таким путем зависимости рабочего класса от правящей бюрократии. Тем самым П.С.-Р. предостерегает рабочий класс против того «государственного социализма», который является отчасти системой полумер для усыпления рабочего класса, отчасти же своеобразным государственным капитализмом, сосредотачивая различные отрасли производства и торговли в руках правящей бюрократии ради ее фискальных и политических целей»[1079].

Однако Чернов отрицает и рыночный социализм. Стремясь заменить рынок организованным распределением, Чернов ставит задачи, которые мудрено решить без множества чиновников: «Социализируя фабрично-заводское дело, необходимо социализировать и распределение продукта, т.е. заменить обмен, торговлю и конкуренцию организованным доставлением продукта потребителям. Это со своей стороны предполагает систематический учет и расценку по степени возможности потребностей населения, как и его производительных сил; распределение производительных сил между отдельными отраслями народного труда в соответствии с потребностями; установление таким путем гармонического соотношения, равновесия между разными отраслями производства. Нечего и говорить, насколько колоссальна эта задача, какой степени сознательности, сплоченности, единства и организаторских способностей рабочего класса требует ее осуществление»[1080]. Отождествление вытеснения капитализма с вытеснением рыночных отношений вопреки желанию Чернова отодвигает социализм в далекое будущее (что создавало предпосылки для сближения эсеров и меньшевиков в 1917 г.). Здесь Чернов под влиянием марксизма уклоняется от собственно народнической логики, выраженной в программе социализации земли. Ведь наличие рыночных отношений в деревне не мешает социализации, которая должна положить начало развитию в сторону социализма. Сам Чернов считал, что и проблема социализации промышленности вскоре встанет в практическую плоскость, но для этого социал-демократия должна встать на путь «конструктивного социализма», который предложит конкретные, детальные планы регулирования хозяйства нерыночными методами. Чтобы избежать бюрократизации, необходимо опираться на профсоюзы, кооперативы и другие организации трудящихся. Их развитие становится основным условием последующей социализации всего хозяйства.

Между тем практический опыт уже в начале века наводил часть эсеров на мысль, что социализация земли требует вытеснения капитализма из сферы промышленности. На I съезде ПСР делегат Уфимского комитета партии утверждал: на Урале «где рабочий рудников и заводов в то же время и крестьянин, немыслима социализация земли и недр без коммунализации и муниципализации самих заводов. Это значило бы разорвать живую человеческую личность надвое»[1081]. Однако Чернов опасается нарушить в этом случае принцип равноправия при распоряжении собственностью. Муниципализация возможна только для предприятий местного значения. Но у других заводов «гораздо более широкий территориальный рынок»[1082]. По мнению Чернова социализированное предприятие должны контролировать не только его работники, но и потребители. А это – огромный круг людей. Как это можно организовать? Предполагается, что социализация крупных предприятий требует привлечения центральных органов «самоуправления». Но эти органы – уже не самоуправление, а государство, социальные интересы которого выражает не столько само распыленное население, сколько бюрократия. Здесь идея социализации у эсеров, как и у других социал-демократов сближается с национализацией. Характерно, что для крестьян Чернов не выдвигает требования контроля потребителей над работой крестьянского хозяйства. Для продвижения от социализации земли к социализму достаточно дальнейшего вовлечения крестьян в кооперацию. Будучи специалистом в аграрной проблематике, в области промышленности Чернов и большинство эсеров оказались под влиянием марксистского крыла социал-демократии. Отсюда – кричащие **противоречия аграрной и промышленной программ ПСР**.

В вопросе о социализации промышленности Чернов фактически становится на почву коммунистической концепции будущего общества как нетоварного с первых стадий своего развития. У

теоретика эсеров было понимание сложности нетоварного распределения, к которому Кропоткин пришел позднее, а Ленин, вопреки предостережениям оппонентов – только после полного краха политики «военного коммунизма». Но эсеры попали в ловушку, типичную для умеренных социалистов – **осознание сложности проблемы парализует готовность к преобразованиям.** Эсеры, как и большинство социал-демократов, не осознавали вторичность организованного распределения и доставления продуктов в сравнении с необходимостью демократизации самой структуры принятия хозяйственных решений.

Этот «временный» отказ от продвижения к социализму типичен для социал-демократии. Неготовность общества к отказу от рынка и отсутствие у рабочего класса навыков хозяйственного самоуправления (а где бы им взяться в условиях как отсталого, так и классического капитализма) является поводом отказаться от социалистических преобразований «на данном этапе».

Отличие эсеров от правого крыла социал-демократии заключается в том, что ПСР была готова к преобразованиям «здесь и сейчас», но только в аграрном секторе. Ради социализации земли и максимальной политической демократии эсеры были готовы вести бескомпромиссную борьбу с режимом, что придавало их программе революционный потенциал, который все более теряла западноевропейская социал-демократия. «Отсталость» России, необходимость решения общедемократических задач и проблем аграрного общества оправдывали в глазах коллег по Интернационалу радикализм тактики эсеров (вплоть до применения методов терроризма против авторитарного режима). Эти методы не противоречили демократическим принципам эсеров, так как допустимость терроризма четко ограничивалось временем существования автократии. И действительно, в период Временного правительства 1917 г. эсеры категорически отказываются от террористической борьбы.

Однако ради утверждения своих принципов эсеры были готовы создать временную диктатуру: «в случае необходимости партия трудящихся масс, партия революционного социализма не должна будет останавливаться и перед такой временной диктатурой, – временной, ибо ее задачей может быть лишь завершение победы, уничтожение остатков сопротивления, ликвидация гражданской войны для того, чтобы уступить место нормальному правопорядку в новом народно-трудовом государстве»[1083]. В отличие от большевиков и, если взглянуть шире, в отличие от Маркса и его действительных последователей, эсеры (вслед за Лавровым) считали, что революционная диктатура может существовать только в период гражданской войны, а не весь период перехода от классового общества к социализму. Никакой «диктатуры пролетариата» эсеры не допускали. Движение к свободе не может проводиться через ее долгосрочное уничтожение. Движение к социализму исключает усиление иерархического начала в обществе.

В 1917 г. эсеры станут основными соперниками большевиков в борьбе за массы, втянув в орбиту своего влияния меньшевиков. И это также не удивительно – ведь Россия была страной, которая еще не завершила индустриальную модернизацию. Крестьянская партия, вооруженная передовой социалистической теорией, имела значительные преимущества в условиях революции.

Глава VIII

Империализм и революция

Империализм и периферия

Направление эволюции капитализма в конце XIX века вызывало у большинства социал-демократов оптимизм. Концентрация производства и капитала росла, и это, казалось, облегчало грядущий переход к социализму. Пролетариат Западной Европы, прежде всего Германии становился все более зрелым, и предполагалось, что вскоре он под руководством социал-демократии возьмет власть в нескольких наиболее развитых странах и станет управлять миром, направляя по опробованному пути прогресса менее развитые народы (колониальная система создала рабочую модель такого будущего). Крестьянская периферия мира была обречена на индустриальную переделку.

В то же время капитализм как экономическая система становился все стабильнее, в развитых на тот момент капиталистических странах рос уровень жизни – в том числе и рабочих. Выводы, которые были сделаны Бернштейном, хотя и критиковались публично центристами, вытекали из этой тенденции – эволюция капитализма ведет к улучшению положения работников и развитию элементов, которые считались эксклюзивными признаками социализма. Следовательно – достичь целей социал-демократии можно без всякой революции. Укрепление капитализма – это и есть путь к социализму. Как писал В. Чернов, в начале XX века для марксистов «Социалистический переворот представлялся детищем экономического полнокровия»[1084]. Марксистская школа воспевала «положительную «объективную историческую миссию» капитализма, видела в нем великого «собирателя» рабочих в крупных центрах, воспитателя их в трудовой дисциплине», в то время как народники обращали внимание на его деструктивные стороны, на создание и приумножение им «противопоставленной обществу, озлобленной, физически и духовно сиротской и выбитой из колеи стихии «охлоса» – капиталистической резервной армии труда…»[1085] Бакунин и Ленин видели в этой стихии шанс социалистического взрыва. Чернов – угрозу социалистическому конструированию. «Оптимистически настроенные доктринеры старой школы упорно недооценивали удельный вес этого общественного элемента, переоценивая удельный вес устойчивого, уравновешенного, классово-сознательного квалифицированного пролетария»[1086].

Каутский еще в начале века считал, что «пролетарская революция в противоположность буржуазной будет проведена «мирными» средствами экономического, законодательного и морального характера, а не средствами физического насилия»[1087]. То, что для Маркса было исключительным шансом, Каутскому казалось единственно возможной дорогой. Эта уверенность вытекала из экономического детерминизма. Ведь социальное потрясение ведет к падению производства, а социализм должен базироваться на более развитом производстве, чем капитализм. Каутского не смущает, что то же можно сказать и о соотношении феодализма и капитализма, но Великая французская революция привела к длительному падению как производительности труда, так и концентрации производства. Лишь по завершении цикла буржуазных революций в середине XIX в. индустриальное развитие возобновилось с новой силой. Однако Каутский обходит этот исторический опыт, надеясь на мирный переворот. «И когда говорилось о пролетариате как о могильщике и вместе наследнике капитализма, то предполагалось, что у него будет богатое, а не расстроенное в конец наследство, невольно вызывающее «насмешку горькую обманутого сына над промотавшимся отцом»[1088]», – комментирует В. Чернов. Для большинства германских социал-демократов переход от капитализма к социализму не должен привести к сбоям экономической эволюции.

Получается какая-то сугубо верхушечная революция, еле заметный переворот. А ведь речь идет, по Марксу, о наиболее глубинном преобразовании в истории человечества.

Для левых социал-демократов (как и ранее для анархистов) это был тревожный сигнал. Социализм не может возникнуть без революции, так как классовые интересы буржуазии несовместимы с социалистическими целями. Переход к социализму имеет смысл в том случае, когда капитализм вошел в состояние кризиса, когда общество осознало негодность капиталистической системы. Но развитие капитализма пока приводит к его укреплению, к ослаблению предпосылок революции и, следовательно, настоящего социализма. Из этого следует, что прогресс идет «не туда» (вывод, ранее сделанный народниками). Капитализм получает новые ресурсы развития. Этим как нельзя лучше объясняется рост правого ревизионизма – капитализм может подкупать часть рабочего класса («рабочая аристократия») и, следовательно, его вождей. Эти слои чувствуют себя лучше, и накал классовой борьбы снижается. Почему это становится возможным (что исключал тезис Маркса об абсолютном обнищании рабочих)? Ленин связывает причины **победы оппортунизма** над рабочим движением с империализмом, но оставляет это положение в качестве проблемы, а не вывода: «Это основной вопрос современного социализма»[1089]. Он сохраняет актуальность и в начале XXI века. В чем причина непрекращающегося перерождения социалистических и коммунистических движений. В империализме, внешнем для социализма факторе, или внутри социалистической идеологии? В самом марксизме? В самом социализме? В индустриализме? В утопичности учений, направленных на качественное изменение общества?

Ответ правых ревизионистов – рост производительности труда, экономический прогресс стал возможен в рамках капитализма, который тем самым приближается и даже перерастает в социализм. Утопично все, что не соответствует этой тенденции. Но левые социалисты напоминают, что социализм – это нечто большее, чем набор социальных благ. При капитализме социальные блага являются всего лишь рычагом управления обществом – их можно вводить для успокоения рабочих и отбирать, когда этого требуют интересы бизнеса. Введение социальных благ с этой точки зрения – вовсе не путь к социализму, надежды правых социалистов утопичны. Более того, позиция правых – не плод заблуждений. Ревизионизм является надстройкой над социальной политикой «подкупа рабочего класса», которая в свою очередь стала рассматриваться Лениным как часть более широкой системы – империализма.

* * *

Слово «**империализм**» ввел в оборот социал-либерал Д. Гобсон, опубликовав книгу под этим названием («Империализм. Исследование»). Явление, о котором, пишет Гобсон, связано прежде всего с возникновением новых колониальных империй (откуда и название). Но колониальный империализм вытекает из новых черт в развитии капитализма. Гобсон обратил внимание на то, что за фасадом успехов стран Запада нарастают социальные проблемы, сохраняется массовое недопотребление. Это заставляет капитал искать внешние рынки и выбрасывать во внешний мир излишки рабочей силы. Гобсон указывал на неизбежную убыточность колоний, которая в будущем заставит отказаться от них. Предвосхитив выводы Д. Кейнса, Гобсон, видел решение проблемы в стимулировании внутреннего спроса.

Тема новых явлений в развитии капитализма была развита марксистами, ведь экономика – их «конек». Р. Гильфердинг, развивая идеи Маркса и Гобсона в «Финансовом капитале» (1910), а вслед за ним Р. Люксембург в «Накоплении капитала» и В. Ленин в работе «Империализм как высшая стадия капитализма» показали, что сущность империализма (то есть новой стадии развития капитализма) заключается в создании не колониальных, а глобальных экономических империй. Капитализм вошел в новый монополистический этап, для которого характерно возвышение банкократии, экспансия и

милитаризация. Марксистская мысль дозрела до понимания тенденций, на которые еще в 70-е гг. указал М. Бакунин.

Между марксистами разгорелась дискуссия. Р. Люксембург, пытаясь решить логические противоречия марксова «Капитала», пришла к выводу, что нарисованная Марксом модель капитализма – это всего лишь «научная фикция», необходимая для проведения абстрактного научного исследования. Реальный капитализм так развиваться не может, он не в состоянии сам создавать расширенный рынок для себя, а вынужден в силу перепроизводства искать новые рынки. Поддержав, таким образом, выводы Гобсона с помощью марксисткой аргументации, Люксембург делает вывод о том, что по мере распространения по миру капитализм (империализм) подходит к пределам своего роста. Развитие капитализма не может продолжаться само по себе, без периферии. Чем меньше остается периферии, тем острее борьба за ресурсы, тем ближе подходит капитализм к своей гибели. Здесь Люксембург очевидно предвосхищает идею о «пределах роста», которая стала одной из основополагающих для «зеленого» движения последней четверти XX века. О. Бауэр раскритиковал Люксембург с точки зрения марксистской ортодоксии. Капитализм может существовать сам по себе, он падет под ударами внутренних противоречий между трудом и капиталом, а не из-за дефицита ресурсов и внешних рынков[1090]. Люксембург опиралась на непосредственно наблюдаемую реальность, а ортодоксы – на схему «Манифеста коммунистической партии» и «Капитала».

Однако, даже если оставить в стороне чисто экономический спор о формировании рынков, эта полемика имела практический политический характер. Если права Люксембург, то снятие остроты классового конфликта в развитых капиталистических странах – вполне естественный процесс, и революция станет результатом не организации рабочего класса в развитых странах, а, напротив – военного конфликта и сопротивления «окраин» империалистической экспансии. Люксембург сосредоточила свое внимание на первой проблеме, активно выступая против шовинизма и войны, но недооценила аспект национально-освободительных антиимпериалистических движений.

Ленин поддержал часть критики Бауэра и его сторонников в адрес Люксембург. Для ортодокса марксиста «Капитал» не может быть научной фикцией. Но выводы Люксембург были близки поискам самого Ленина, и в своей работе об империализме он стремится совместить оба подхода (уже не пытаясь разрешить марксовы «теоремы Ферма», заложенные в «Капитале»). Империализм – это предельное состояние капитализма, дальше он развиваться не может по внутренним причинам. Но в силу этого системного кризиса он ищет резервы в экстенсивном развитии. Соответственно, падение империализма должно стать результатом внутреннего кризиса, поддержанного толчком, который периферия произведет в отношении развитых капиталистических стран.

* * *

Пределом роста империализма стал раздел мира, после чего глобальное межимпериалистическое столкновение стало вопросом времени. Этот грядущий конфликт империалистических интересов, на который возлагал надежды Бакунин, стал теперь упованием левых социал-демократов. Империализм ведет к одновременному росту прочности конструкций Системы и к накоплению ее противоречий. Итог такому процессу может быть один – взрыв. Но сумеет ли он разрушить систему, и что получится в результате?

Если капитализм устоит, справится с внутренними противоречиями (хотя бы на время), образуется мировой трест, он же – мировое государство. Писатель Д. Лондон выпускает антиутопию «Железная пята». Каутский характеризует эту угрозу с помощью понятия «ультраимпериализм», Гильфердинг рассматривает

как «всеобщий картель», считая, впрочем, что такая предельная точка вряд ли будет достигнута. Бухарин обращает внимание на то, что может произойти сращивание мирового треста с мировым государством, и образуется государственный капитализм – сверхэксплуататор: «отдельные сферы концентрационного и организационного процесса подгоняют одна другую и создают сильнейшую тенденцию к превращению всего национального хозяйства в одно гигантское комбинированное предприятие под началом финансовых королей, монополизирующее национальный рынок и являющееся предпосылкой организованного социалистического хозяйства»[1091]. Марксист не может не считать эти процессы предпосылкой для глобального социализма. Но Бухарин не приводит никаких доказательств этого. В реальности империализм мог вести не только к социализму, но и к капиталистической **глобализации** и государственно-индустриальной системе тотального господства, позднее известной как **тоталитаризм**.

Ленин и Люксембург ожидают, что империализм рухнет раньше, чем дойдет до предела своих возможностей – слишком остры противоречия. Начало Мировой войны воспринималось как доказательство тому. Для левых принципиально важно, чтобы энергия этого взрыва не была поглощена межнациональным кровопусканием и связанной с ним шовинистической консолидацией наций. Спасти мировую систему капитализма в момент военного кризиса может только раскол рабочего класса и социалистического движения по национальным границам. Отсюда тесная связь борьбы за революцию с борьбой против войны.

* * *

Трагедия социал-демократии заключалась в том, что она не смогла стать действенной альтернативой шовинизму. Империалистический мир раскалывался, Интернационал по идее должен был в этой решающей ситуации стать силой, противостоящей безумию войны. Он должен был действовать как целое перед лицом враждующих империалистических блоков.

Но провозгласившие интернациональные лозунги социал-демократы по мере их интеграции в национальные социально-политические системы были настроены все более националистически.

Даже один из обличителей шовинизма Жан Жорес сам выступал против ввоза иностранных рабочих во Францию. Это нарушает права национального рабочего класса. Интересы нации Жорес ставит выше международной классовой солидарности. Он выступает с «идеей отечества, по которой оно организовано вне разделений, вне частных интересов»[1092]. По мнению Жореса, каков бы ни был классовый антагонизм, он не может «покушаться на саму идею отечества, на единство отечества в том виде, как оно установлено»[1093]. Именно так рассуждал Муссолини, когда после Первой мировой войны решил порвать с Социалистической партией и основать фашистское движение, сплачивающее нацию и подавляющее социальные конфликты.

Сам Жорес не пошел по этому пути. Выступая за консолидацию нации на основе социалистической централизации, он отрицал подавление движения трудящихся и натравливание одного народа на другой. В его понимании социалистическим нациям уже нечего будет делить. Поэтому внутриполитический национализм сочетается у Жореса с активным интернационализмом, он возвращается к старой идее Герцена, Фогта и Бакунина о Европейской лиге мира, объединяющей социалистов и демократов. Жорес считает, что именно социализм в период предвоенного кризиса должен стать «объединяющим центром цивилизации» (что в дальнейшем позволит ему стать центром консолидированной цивилизации).

Но национализм и пацифизм продолжают тянуть Жореса в разные стороны, и своими колебаниями он символизирует колебания всего Второго интернационала по вопросу о войне. Жорес – обличитель

шовинизма. Тот же Жорес воспевает систему империалистических блоков: «Мы можем надеяться на устойчивость этого режима мира, поскольку Европа ныне организована в две системы союзов, которые, не сталкиваясь, уравновешивают друг друга и сдерживают содержащиеся в них возможные влечения к скрытому шовинизму или обычно возрождающиеся опасные национальные претензии. Эти две великие системы союзов постепенно развиваются в духе укрепления мира, они сближаются, и начинает появляться первая организация Европы, подготавливающая более широкий союз, европейский союз труда и мира»[1094].

В действительности складывание коалиций было прямой дорогой к мировой войне, и никакого единения между блоками достигнуто быть не могло. Национальная консолидация середины XIX века, вызванная формированием индустриальных отношений с их нуждой в стандартизации культуры хотя бы на национальной уровне, к концу XIX века трансформировалась в глобальную борьбу за то, какая группа наций будет определять мировые стандарты. Индустриализм перерос национальные рамки географически, но он становился все более этатизированным (что соответствовало и тенденции социального государства), причем не только в регулировании социальных отношений, но и в расчистке пространства для хозяйствования. Выход, найденный в разделе мира на колониальные резервации и сферы влияния, оказался недолговечным. Транснациональным корпорациям, связанным с различными национальными государствами, было тесно на своей части мира. Для органического сближения между блоками должно было быть достигнуто сближение коммерческих интересов враждующих корпораций. А это могло быть результатом поглощения одних корпораций другими, что невозможно без смертельной борьбы. Растущие индустриальные национальные организмы готовились к решающей схватке за мировое господство, за право небольшой группы государств определить стандарты нового мирового порядка. Альтернативой этому столкновению могла быть лишь смена социальной системы – как в ее монополистической, так и в ее национал-этатистской составляющей.

* * *

Национал-шовинизм западной социал-демократии, заметный на местном уровне в 90-е гг., камуфлировался на конгрессах Интернационала, где живо обсуждались пути предотвращения войны. Но осуждение войны – это одно, а принятие мер ее предотвращения – другое.

Анархисты и близкий им по взглядам Д. Ньювейнгуйс выдвинули идею всеобщей стачки в случае начала войны. Идея эта вытекала из синдикалистской стратегии революции путем всеобщей стачки, и потому социал-демократы отнеслись к ней отрицательно.

На Цюрихском конгрессе 1893 г. Плеханов остроумно показал, что всеобщая стачка обезоружит прежде всего народы с развитым рабочим движением. Немцы, как более развитый народ, будут разгромлены российским деспотизмом, а этого нельзя допустить. Поскольку французы и немцы считали более культурной каждый свою нацию, Плеханов дал им замечательный аргумент, чтобы в случае войны сплотиться именно вокруг своего правительства.

В качестве компромисса, чтобы резолюции о мире не выглядели совсем голословными, решили всегда голосовать против военных бюджетов. Но логика Плеханова позволяла отказаться и от этой меры.

Беззубость интернационализма Второго интернационала не могла не вызвать протестов в его рядах.

Постепенно ортодоксы Второго интернационала по вопросу о войне оказались правее Жореса, который еще недавно находился на правом фланге по вопросу о вхождении социалистов в правительство. Жорес, который допускал министериализм ради защиты демократии, теперь обличал Каутского и Геда,

считавших возможным союз с правящей элитой ради защиты нации: «неужели министериализм станет допустимым при условии его дополнения национализмом, неужели пролетариат может пожертвовать классовой борьбой ради сотрудничества в обороне той самой родины, которая управляется и особенно эксплуатируется буржуазным классом?»[1095] Посмотревшись в зеркало социал-шовинизма, нарастающего во Втором интернационале, Жорес с омерзением отшатнулся и от своих прежних взглядов, заметно сдвинувшись влево. В 1905 г. он выступил против вхождения социалистов в новое правительство, что привело к отколу мильерановского правого крыла от объединенной социалистической партии, лидерами которой стали Жорес и Гед.

Позиция Жореса в отношении войны также становится более революционной. В случае ее начала Жорес призывает повернуть события «к завоеванию независимости и свободы народов, к освобождению пролетариата»[1096]. Эта позиция стала общей платформой Жореса и Ленина в Интернационале. Такой союз, еще недавно казавшийся немыслимым, как мы увидим, нашел опору и в еще одной совместной позиции – революционном министериализме Ленина.

На Штутгартском конгрессе Интернационала в 1907 г. Ленин, Люксембург и Мартов представили поправку к резолюции Бебеля, которая предлагала использовать ситуацию начала войны, для «крушения господства класса капиталистов»[1097]. Благодаря косвенной поддержке Жореса эта поправка прошла. Таким образом, связь войны и грядущей революции была поставлена в повестку дня. Ленин и Жорес призывают в случае войны повернуть винтовки, полученные трудящимися, против правящих режимов, свергнуть их и образовать революционные правительства. Но это – тактика, приемлемая в условиях революционного кризиса, вызванного войной. Это – картина итога войны. А что делать в начальный момент войны, можно ли предотвратить братоубийство, которое скорее всего вызовет не революцию, а реакцию? На этот вопрос не находят ответа ни Ленин, ни Жорес.

Второй интернационал не поддержал очередное предложение ответить на объявление войны всеобщей стачкой (в 1907 г. оно исходило от Г. Эрве). Других методов действенного протеста против войны предложено не было.

Это предопределило «крах» Второго Интернационала. Он провозглашал необходимость бороться с угрозой войны, да так и не сумел найти против нее сколько-нибудь действенных средств. И хотели ли вожди Интернационала найти эти средства? 31 июля 1914 г., за день до начала войны Жорес был убит, но и он накануне войны не выступил с призывом к всеобщей стачке. Ленин после начала войны выдвинул лозунг превращения империалистической войны в гражданскую, то есть – восстания. Аналогичные лозунги провозгласили только революционные синдикалисты и анархисты. Подавляющее большинство социал-демократов по сути капитулировало перед своими правительствами. 4 августа социал-демократы начали голосовать за военные кредиты, то есть за эскалацию войны. Затем они вошли в правительство – не только правые социал-демократы, но и центристы плоть до Геда. Как писал Чернов, «пролетариат разных стран последовал «по пятам» – каждый за своей буржуазией – во всеобщую кровавую свалку»[1098]. Этот морально-политический крах социал-демократии предопределил дальнейший раскол социалистического движения.

* * *

Война обострила противоречия и социальные бедствия, но революция все еще запаздывала. В одних странах, по мнению Ленина, все ее предпосылки налицо, в других – нет. Поэтому Ленин уверен, что мир стоит накануне социалистической революции, но полагает, что она будет состоять из «долголетних битв, из **нескольких периодов натиска**»[1099] (эта модель куда лучше учитывает опыт буржуазных революций, чем

модель одноактного социалистического переворота, предложенная Каутским). В ходе одного из таких «натисков» «возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране»[1100]. Затем эту фразу написали на своем знамени коммунисты – сторонники построения социализма в одной стране. Но что значит – победа социализма? Вспомним, что слово «социализм» имеет два значения – общественный строй и социально-политическое движение, стремящееся к достижению этого строя. Из контекста видно, что во время первой мировой войны Ленин пишет **о победе социализма как движения**.

Ленин ничего не пишет здесь о построении социализма в одной, тем более – не самой развитой (как Россия) стране. Тема социализма в одной Германии уже освоена германскими социал-демократами, но Ленин не поддерживает ее. Он имеет в виду победу сторонников социализма, социальный переворот: «социальный переворот не может быть объединенным действием пролетариев всех стран»[1101]. От «победы социализма» в одной стране до социализма, как общества, сменившего капитализм – долгий путь «осуществления социализма». Он тоже будет проходит неравномерно, хотя уже явно не силами «одной страны». И здесь приоритет – у развитых стран: «социализм осуществят объединенными действиями пролетарии не всех, а меньшинства стран, дошедших до ступени развития передового капитализма»[1102].

Но как раз в этих развитых странах революционное движение пока все еще слабо. Война оказалась затяжной и привела (пусть на время) к внутреннему укреплению режимов. Парадокс – страны готовы к революции, но социал-демократия интегрирована в Систему. Нужно найти не только объяснение такой интеграции, но и выход из положения. Вглядываясь в процессы эволюции империализма в ходе войны, можно было обнаружить два фактора.

Во-первых, это варваризация, на которую указывает Люксембург, то есть способность «перезревшего» общества откатываться назад и тем отступать от грани революции. Во-вторых, милитаризация общества обернулась милитаризацией «пролетарской армии», которая теперь контролируется путем воспроизведения основных форм господствующей системы в системе формально оппозиционной. Движение пролетариата организовано по образу и подобию империалистической машины.

«Зрелый» рабочий класс не годится для совершения революции – это мучительная проблема для левых социал-демократов. Они чувствуют ее, но боятся заявить о ней прямо. Отсюда трагическая мысль Люксембург о том, что если пролетариат не выполнит свой долг, то мир обрушится в варварство. Германский пролетариат не выполнит «долг». Германия с вышколенным дисциплинированным пролетариатом и передовой промышленностью станет центром мирового варварства в 1933-1945 гг.

Чтобы остановить варваризацию и милитаризацию, необходимо добиться прекращения войны. Эту задачу ставили перед социалистическим движением левые социалисты, собравшиеся в сентябре 1915 г. в Циммервальде. Ленин также активно участвует в антивоенном движении циммервальдийцев, но для него смысл протеста против войны – это борьба не за прекращение кровопролития, а за изменение его характера. Война – не только беда и варваризация, но и шанс нанести удар ослабленному врагу. Необходимо развернуть мобилизованные империализмом вооруженные массы, превратить империалистическую войну в гражданскую, разрушить Систему ее же оружием, которое она вложила в руки обездоленных масс.

По мнению левых социалистов война несет не только варварство, но и прогресс. Происходит усиление государственного капитализма, то есть образование «железной пяты» не на глобальном, а на национальном уровне. Но, как отмечает Ленин, огосударствливание – начальная мера диктатуры пролетариата. Соответственно, эти меры империализма – продвижение в ту же сторону, куда предлагают двигаться марксисты. Из этого в 1917 г. Ленин сделает вывод: «**Государственно-монополистический капитализм** есть полнейшая материальная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька

исторической лестницы, между которой (ступенькой), и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет»[1103].

Страшное для марксизма предзнаменование – «железная пята» государственного капитализма – это «почти» социализм. Нужно срочно найти качественное различие между государственным капитализмом (в котором буржуазия уже не господствует полностью, а подчиняется государству, бюрократии) и диктатурой пролетариата, где сохраняются те же меры государственного господства над хозяйством, но в структуре государства что-то должно быть принципиально иначе, чем у капиталистов. Иначе это будет не диктатура пролетариата, а тот же государственный капитализм. При этом пространство для теоретического поиска левых марксистов оставалось очень узким. Это – марксистская ортодоксия за вычетом того в наследии Маркса, что взято на вооружение социал-демократическим «мейнстримом» во главе с Каутским. Ведь этот путь показал свою тупиковость – вожди западной социал-демократии просто интегрировали рабочее движение в систему государственного капитализма. Ленин начинает собирать материал для работы, которая получит название «Государство и революция». Размышления на эту тему проходили у Ленина в острой дискуссии с Бухариным, который настаивал: изменение характера государства во время социалистической революции окажется настолько решительным, что диктатура пролетариата будет уже не государством. Последним аргументом в этом споре были цитаты Маркса, который в 70-е гг. сдвинулся к антиэтатизму. Ленин в борьбе с правой социал-демократией должен был занять левый фланг марксистского течения. Со времен Парижской коммуны не нужно было придумывать ничего нового: марксистское понимание социально-экономических задач революции совмещалось с политическим федерализмом и бланкистской тактикой. Этот «купаж» станет основой политики большевизма в 1917-начале 1918 гг. Революция 1905 г. предоставит для этого отечественную форму самоорганизации – советы. Замена государства самоорганизацией (коммуной, советами) и должно стать качественным отличием государственного капитализма и социализма, а также «диктатуры пролетариата».

* * *

Мировая война ослабила империалистическую систему в ее ядре. Ленин, с его моделью социализма-фабрики, считал, что для преодоления капитализма осталось сменить надстройку, свалить империалистическое государство.

Но если социально-экономически капитализм, с точки зрения Ленина, вплотную подошел к социализму в развитых странах, то политически он укрепился, воспользовавшись ресурсами **периферии**, чтобы подкупить верхи пролетариата. Раз империализм получает дополнительные жизненные соки с периферии, то и решающий ущерб ему может быть нанесен там же. Сопротивление окраин приближает крушение империализма, а революции на периферии, где социальные бедствия острее (хотя и нет предпосылок для социализма) могут стать толчком для революционизации пролетариата в ядре империалистической системы.

Идея антиимпериалистической борьбы сближает Ленина с народничеством. Восприняв марксистскую модель развития капитализма для стран Запада, теоретики эсеров дополняли стадиальный взгляд на развитие общества цивилизационным, подчеркивая стратегическое различие путей развития разных стран.

Подводя итог теоретическим поискам эсеров начала века, В. Чернов писал: «тот факт, что всякий национальный пролетариат становился непосредственно наследником именно своего национального капитализма, при наличности национальных капитализмов, занимавших на мировом рынке привилегированное положение, делал самих пролетариев чересчур заинтересованными в наследстве, в состав которого входили эти привилегии»[1104].

То, что Ленин воспринимает как подкуп, Чернов характеризует как **глобальную иерархию народов**. Чернов здесь развивает идеи народников 70-90-х гг. «Наличность «обетованных земель капитализма», стран, где капитализм пользуется монопольным положением в мировой борьбе за хозяйственную мощь, предполагает наличность и других стран, стран – данниц»[1105]. В них соотношение благоприятных и разрушительных сторон капитализма гораздо хуже.

То же явление можно проследить и внутри капиталистических стран, прежде всего в неэквивалентности обмена города и деревни. Значит, борьба крестьянства и народов «третьего мира» («мировой деревни», выражаясь более поздним термином Мао Цзэдуна) против империализма – это не консервативное движение, направленное против капитализма, а революционная борьба против империалистического центра, которая дестабилизирует его и облегчает задачи революционного пролетариата (вариант идеи Маркса и Энгельса о необходимости «нового издания крестьянской войны»).

Ленин приходит к близким выводам иным путем (хотя, развивая свои идеи в борьбе с народничеством, он не мог не испытывать влияния со стороны оппонентов). Важнейшим аргументом для него стала революция 1905-1907 гг. Она доказала возможность мощного пролетарского движения в отсталой стране и революционность крестьянства как союзника пролетариата. Вместе с тем революция в России 1905 г. и последовавшая за ней серия революций в Иране, Турции и Китае, охарактеризованная Лениным как «пробуждение Азии», показали, что революционное движение за пределами развитых империалистических стран гораздо активнее. Это понятно – там еще происходят процессы, аналогичные тем, что имели место в истории Европы в первой половине – середине XIX века. Если в Западной Европе национальное возрождение уже выродилось в империалистический шовинизм и национальное господство, то на периферии национальные движения сохраняют освободительный потенциал, особенно – сталкиваясь с империалистическим господством.

Стратегическое размежевание в социал-демократии, таким образом, получает свое логическое продолжение. Правая социал-демократия находит союзника в социал-либерализме и буржуазном модернизме (поддержка буржуазного прогресса, пока он не выработает своих возможностей), а левая – в крестьянстве, бунтующем против капиталистической экспансии, и национально-освободительном движении народов «периферии». **Первый путь ведет к интеграции социалистического движения в социал-либерализме, к снятию цели, а второй – к подмене цели социализма задачами, которые стоят перед обществами «периферии» – индустриальной модернизацией.** Это оттесняло на обочину те социалистические идеи, которые скептически относились к индустриальному прогрессу, и в то же время делало пролетариат не столь важным элементом революции, каким он был в классическом марксизме. Функции пролетариата могут выполнять и носители пролетарского учения, опирающиеся на более широкий и размытый антиимпериалистический социальный фронт, заинтересованный в модернизации.

Двойственность стратегии Ленина смущала и многих левых социал-демократов. Противоречие в левом лагере вскрылось в дискуссии **о праве наций на самоопределение.** Ленин, исходя из необходимости союза с национально-освободительными движениями, признал это право. Это был вариант марксовой уступки политическому федерализму. Не столь важно, какова надстройка, как решаются вопросы национальной культуры и формальных административных границ в единой мировой социалистической системе. Везде, где речь не идет об экономическом единстве и централизме, возможны самые смелые уступки союзнику. Во время войны эти идеи вызвали резкую европоцентристкую критику со стороны Люксембург, настаивавшей, что сигнал к революции может прийти только из Европы, и именно европейские страны являются носителями прогресса, из чего следует реакционность национальных движений. Ленин возражал, настаивая, что антиимпериалистические войны и выступления угнетенных народов прогрессивны, поскольку наносят ущерб империализму.

Позицию Люксембург так или иначе поддержали левые большевики – Бухарин, Пятаков и др. Для них стройность идеи был важнее тактических уступок. Ленин выступал за гибкую политику союзов. Однако, когда большевики возьмут власть в свои руки, выяснится, что тактические противоречия ведут к системным конфликтам, и коммунистам придется снова и снова делать выбор между продвижением к своей модели коммунистического общества и уступкам среде, в которой развивается их «постимпериалистический» проект. Они сами станут центром, которому придется бороться не только с империализмом в союзе с периферией, но и с самой этой периферией в интересах новой красной «империи».

Однако красная «империя» СССР создавалась не для утверждения национального господства, а для всемирного распространения новой социальной модели, где национальное и социальное происхождение человека не должно было влиять на его статус. Этот проект нового единого **пространства социального равноправия** вызывал симпатию широких масс представителей именно тех слоев и регионов, которые стали осознавать свою угнетенность. Этот социально-психологический фактор играл в истории левого движения XX века не меньшую роль, чем принадлежность его участников к тому или иному классу.

Кризис империализма, выразившийся в Мировой войне, воспринимался левыми социал-демократами как предпосылка перехода к новой, более высокой стадии развития общества. Но кризис одной системы – это еще не гарантия наличия предпосылок для другой. Благодаря взрыву Первой мировой войны социал-демократы впервые получили достаточное влияние для того, чтобы прийти к власти. Но это произошло раньше, чем сложились условия, которые считались достаточными для социалистической революции. И это было неизбежно, потому что сильный, полнокровный, стабильный империализм не давал альтернативе шансов, а шансы для нее возникали в момент кризиса и краха существующей системы. Путь из тупика цивилизации был возможен только через частичное отступление, необходимое для выхода с ложного пути. И этот «шаг в сторону» легче всего было сделать в среднеразвитой стране, соединяющей потенциал периферии с динамизмом, потерянным империалистическим Западом. Первой этот революционный динамизм продемонстрировала Россия, которая в 1905 г. прервала тридцатилетнюю Великую тишь, окутавшую Европу в 70-е гг.

Революция 1905 года – пересечение дорог к социализму

До 1905 г. законодатели идеологических мод Второго интернационала – социал-демократы Германии полагали, что социалистическая революция в случае оптимального хода событий будет представлять собой не баррикадные бои, как казалось в середине столетия, и не стачку, как думают наивные анархо-синдикалисты, а будет обеспечена электоральной победой. Пролетарскому государству (то есть прежнему государству, которое после этой победы возглавят социал-демократы) придется защищать свою победу от бунтов социальных осколков прошлого, причем не только буржуазии, но как раз крестьянства. Крестьянство выглядело помехой на пути прогресса, лишним, временным элементом индустриального ядра мировой цивилизации, уходящей натурой.

Пребывая в восхищении перед лицом успехов капиталистической модернизации, немецкий марксизм стал отступать даже от некоторых достижений «основоположников». Каутский настаивал: «В наших рядах долго господствовало мнение, высказанное Марксом в 1871 г. в своей работе о гражданской войне во Франции, что и крестьяне также примут участие в будущей пролетарской революции, как шли они рука об руку с пролетариатом во время буржуазных революций… Но практика повсюду показывает растущий антагонизм между крестьянством и пролетариатом.

В деревне только те элементы имеют общий интерес с городским пролетариатом, которые сами пролетарии, т.е. живут не продажей сельскохозяйственных продуктов, но продажей своей рабочей силы, наемным трудом»[1106].

Революционная роль крестьянства сохраняется на востоке Европы, где возможны еще революционные потрясения старого типа, но Россия может разве что послужить «искрой» для развития решающих событий на Западе, а не учить чему-то западную социал-демократию.

Российская революция смешала правила однолинейного прогресса. Марксисткий путь к социализму через городскую цивилизацию и победу пролетариата **пересекся** с народническим проектом крестьянской общины, поднявшейся на восстание, поддержанное атакой разночинных личностей против самодержавия. В 1905 г. несколько взаимосвязанных сюжетов стали развиваться в разных формационных контекстах, спутав стройную схему социал-демократических корифеев.

С одной стороны, перед Россией стояли антисамодержавные, антиаристократические, демократические задачи, которые воспринимались в марксистской системе координат как антифеодальные. В деревне капитализм был слишком слаб, чтобы можно было говорить о победе сельского пролетариата и переходе к крупному общественному производству. Но зато сохранялась общинная традиция. Крестьянство восстало, и в зареве пожарищ сторонники эволюционного пути видели разрушительный реакционный бунт, а революционеры – подспорье революции. Но если для народников (эсеров) крестьянское движение открывало прямой путь к социализму, то марксисты констатировали чисто буржуазный характер задач крестьянского движения, как и всей революции.

Однако революция никак не укладывалась в рамки буржуазной. В России процесс развития индустриального общества зашел значительно дальше, уже давно происходил промышленный переворот, сопровождавшийся урбанизацией и аграрным перенаселением. Поэтому раз начавшись, революция не могла удержаться в антиаристократических (антифеодальных) рамках. Революция 1905 года, как и революция 1917 года, не могла не стать социальной, застрагивающей сами основы уже не только аграрного, но и индустриального общества. Как бы не переоценивали марксисты степень развития

капитализма в деревне, капиталистическое отношения в городе бурно развивались, здесь уже явственно наметился классовый конфликт индустриального типа.

События 9 января, подорвавшие основы авторитета самодержавия – ключевой скрепы традиционного общества в России, перевели революционный процесс на стадию межформационных задач с одновременной постановкой задач ранней социал-этатистской революции (то есть задач создания социального государства и государственно-монополистического общества, характерного для ведущих стран мира во второй половине XX века). **Одновременное решение двух групп задач** создало серьезные трудности для оценки ситуации, и не только российскими мыслителями и политиками. Революция 1905 года стала серьезным теоретическим вызовом и для западноевропейского марксизма.

На практике продемонстрировав силу рабочего класса в полу-аграрной стране, революция в России потребовала пересмотра теории буржуазной революции, вслед за которой следует длительный период буржуазного развития. Первая русская революция очевидно не укладывалась в прокрустово ложе буржуазности. Р. Люксембург предложила разделить буржуазные задачи революции и ее пролетарские методы, которые западные левые социал-демократы не прочь были заимствовать.

Но и задачи революции очевидно не были чисто буржуазными. И даже ортодокс Карл Каутский пошел в оценке этих событий дальше Розы Люксембург. По его мнению, в России произошла не буржуазная революция в обычном смысле, и не социалистическая революция, а «совершенно особый процесс, происходящий на границах буржуазного и социалистического обществ...» Она служит ликвидации буржуазного (а не феодального) общества и обеспечивает условия для развития социалистического, стимулируя в то же время и развитие «центров капиталистической цивилизации»[1107]. Позднее Каутский будет доказывать, что в России нет достаточных предпосылок для социализма, не решены еще буржуазные задачи. Но в 1905 году он считал, что в России есть возможности для разрушения буржуазного общества в пользу социализма. Оценить такую революцию в привычной ему формационной парадигме он не мог, отсюда и неопределенная формула об особом «процессе», который обеспечивает переход от буржуазного общества к социализму. Тогда по марксистской логике это должна быть социалистическая революция, а она таковой не является. Каутский пока не мог и помыслить, что между современным ему капитализмом и социализмом может быть еще какая-то стадия развития.

* * *

События в городской и деревенской среде развивались по разным алгоритмам. Если в городе ставились уже социал-этатистские задачи «рабочего вопроса» (воспринимавшиеся как социалистические), то в деревне революция взламывала межформационный барьер помещичьего землевладения, решая задачи, воспринимавшиеся марксистами как капиталистические, а народниками – как создание предпосылок для социалистического развития на основе общинной традиции. Такое различие ситуации в городе и в деревне затрудняло выбор модели для оценки ситуации.

Весной 1905 г. Ленин ищет место начавшейся революции в ряду уже известных прецедентов. Ему нужна убедительная модель для прогноза дальнейших событий. Социал-демократы уже примеряли на себя одежды якобинцев и жирондистов, но дойдет ли дело до таких мощных и радикальных событий, или все ограничится уровнем 1848 года. Ленин видит различие между революциями 1789 и 1848 годов в том, дойдет ли дело до провозглашения республики (то есть речь идет о германском варианте событий 1848 г.). Эту простую схему нарушает 1871 г., который Ленин пока оставляет за скобками[1108].

Ленин надеется на более радикальный вариант, чем получилось в 1848 г.: «Запас озлобленности»

выше, чем был в Германии. «У нас перелом круче…»[1109]. Он перечисляет и другие благоприятные для революционеров факторы: низка вероятность серьезной интервенции, выше развитие партий, национальный вопрос, разорение крестьянства – все эти факторы дают даже больший потенциал, чем в 1789 г. (Ленин осторожно записывает их в пользу варианта 1789 г.).

Против аналогии с Великой французской революцией тоже много факторов – уже мало остатков феодализма, война отвлекает народ от социальных задач, правительство сильнее и опытнее, другие страны стабильны, национальные движения раздробляют оппозицию, «буржуазия будет больше бояться пролетарской революции и скорее бросится в объятия реакции»[1110].

Пока Ленина волнует, насколько разрушительной будет революция 1905 года. Он оставляет в стороне различие созидательных задач разных революций. В этом случае 1848 год (уже в его французском варианте) оказался бы более радикальным процессом, чем Великая французская революция.

Великая французская революция подошла к постановке задач «социального государства», но первая попытка их решения была предпринята во Франции в 1848 году. Революция 1848-1849 годов, поставившая на повестку дня «рабочий вопрос», воспринималась значительной частью марксистов как модель для революции 1905 года. Это, в частности, укрепляло их в представлении о консерватизме крестьянства. Но 1848 год, затмивший собой уроки Великой Французской революции, оказался не во всем удачной моделью, так как русская деревня как раз повторяла картины Великой революции.

Три тактики социал-демократии

Первая русская революция в ее начале была охарактеризована социал-демократами как буржуазная. Это значит, что пролетариат в ней победить не может. Что же ему делать? Поддерживать борьбу буржуазии против самодержавия? Или избрать какой-то свой курс? Но буржуазия борется вяло, пролетариат с первых дней вышел на авансцену событий. В то же время он малочислен и плохо организован. Куда социал-демократам звать «свой» класс?

Точка зрения значительной части меньшевиков заключалась в том, чтобы воспользоваться ситуацией для сплочения пролетариата и поддерживать борьбу либералов («буржуазии») за демократические свободы. А. Мартынов писал: «пролетариат будет оказывать революционное давление на волю либеральной и радикальной буржуазии…»[1111] Получается, что социал-демократия оказывается радикальным флангом либерального движения, а пролетариат – тараном своего классового врага буржуазии в ее борьбе за политическое господство. Осознавать это было обидно. Споря с Р. Люксембург, Г. Плеханов писал: «Нам говорят: вы делаете пролетариат орудием буржуазии. Это совсем не верно. Мы делаем буржуазию орудием пролетариата»[1112].

Это сомнительно. «Буржуазия» (под этим понятием подразумевалась и либеральная интеллигенция) имеет больше возможностей для того, чтобы использовать в своих интересах недовольство пролетариев режимом. Пролетариат в случае победы над самодержавием может быть получит в благодарность гражданские свободы. А может быть буржуазный режим и не удостоит его такой благодарности.

В работе «Две тактики социал-демократии в демократической революции» Ленин обличает стратегию меньшевиков на сближение с либеральным движением. Но и Ленин не является крайним радикалом в оценке задач пролетариата.

Если пролетариат не должен служить буржуазии, то он должен служить себе. И что он должен делать в этой ситуации?

Действовать на стороне буржуазии – значит укреплять силы классового врага. Ю. Мартов считает, что в этой революции социал-демократия должна действовать «в интересах классового сплочения пролетариата…»[1113]. В стране революция, а пролетариат должен заниматься тем же, что и в «мирное время» – сплочением своих сил. Что же, не участвовать в общедемократическом движении? Троцкий откровенно отвечает на этот вопрос: необходимо «обособить революционный пролетариат»[1114]. Более того: «Революция выдвигает пролетариат на первое место и передает ему гегемонию»[1115]. «Буржуазия» (включая крестьянство) не в состоянии решить собственные задачи. Из этого вытекает необходимость «перманентной революции» (идея, высказанная еще Марксом). Позднее Троцкий так излагал свое понимание этой идеи: «Мудреное название это выражало ту мысль, что русская революция, перед которой непосредственно стоят буржуазные цели, не сможет, однако, на них остановиться. Революция не сможет разрешить свои ближайшие буржуазные задачи иначе, как поставив у власти пролетариат. А этот последний, взявши в руки власть, не сможет ограничить себя буржуазными рамками революции. Наоборот, именно для обеспечения своей победы пролетарскому авангарду придется на первых же порах своего господства совершить глубочайшие вторжения не только в феодальную, но и в буржуазную собственность. При этом он придет во враждебные столкновения не только со всеми группировками буржуазии, которые поддерживали его на первых порах его революционной борьбы, но и с широкими массами крестьянства, при содействии которых он пришел к власти»[1116]. Если под пролетариатом понимать радикальных марксистов, то можно признать, что Троцкий удачно предсказал динамику революции 1917-1922 гг.

Мартов, пусть и не так откровенно, как Троцкий, тоже утверждает, что пролетариат должен составить «классовую оппозицию всем силам современного общества»[1117].

Но изолированная сила имеет мало шансов добиться своих целей – это азы политики.

Ленин предлагает найти другого союзника вместо буржуазии и либералов. Пока демократический переворот не совершен, у крестьянства «гораздо больше общих интересов с пролетариатом в деле реализации политических форм, чем у «буржуазии» в настоящем и узком значении этого слова»[1118].

Меньшевики были настроены антикрестьянски. Плеханов писал: «если Ленин идеализирует теперь трудового крестьянина, то он грешит тем самым грехом, в котором он облыжно нас обвиняет: идеализацией буржуазии»[1119]. Ортодокс марксизма не видит никакой разницы между крестьянством и буржуазией: «Буржуазия есть буржуазия, подобно тому, как ребенок есть ребенок»[1120]. Можно подумать, что капиталист сам стоит у станка на своей фабрике, как крестьянин за плугом. Но позднее, под влиянием событий 1905 г. и Плеханов признает: «Крестьянство представляет собой резервную армию нашего освободительного движения»[1121].

Таким образом, сформировались **три тактики социал-демократии** в демократической революции: участие в широком буржуазно-демократическом движении на стороне буржуазии, победа которой выгодна пролетариату (Плеханов, Мартынов и др.); самоизоляция рабочего класса ради его сплочения (Мартов, Троцкий); союз рабочего класса и крестьянства против самодержавия и буржуазии (Ленин и большевики).

События 1905 г. подтвердили предположения как о революционном потенциале крестьянства, так и о лидирующей роли пролетариата в революции. Но, как и следовало ожидать, пролетариат сыграл на руку прежде всего либералам, буржуазии.

* * *

Проникновение оппозиционных и революционных взглядов в толщу общества шло неравномерно, и поэтому до октября 1905 г. революционное движение развивалось вспышками. Картина революции в наибольшей степени соответствовало модели, предложенной в прошлом веке Бакуниным. Стихия преобладала над организованностью, но разрозненные потоки постепенно сближались. Главным и наиболее эффективным средством революционной борьбы стала **всеобщая политическая стачка** – метод ненасильственной революции, впервые именно в России примененный в октябре 1905 году с таким размахом и успехом.

Разнородные социально-политические силы, участвовавшие в революции, объединились в единый поток благодаря стачке железнодорожников, начавшейся 8 октября 1905 г. Когда остановились железные дороги, экономика страны была парализована. Демократически настроенная интеллигенция и рабочие вышли на улицы с требованием гражданских свобод, в том числе свободы стачек и профсоюзных организаций, введения конституции. Крестьянство поддержало выступление горожан, одновременно решая собственную проблему – громя дворянские усадьбы. Власть оказалась в критической ситуации. В этих условиях император был вынужден подписать 17 октября 1905 г. манифест, провозглашавший введение гражданских свобод и выборы в законодательное собрание – Государственную думу.

Октябрьская стачка 1905 г. – первая забастовка, которая могла действительно претендовать на название всеобщей – завершилась успехом. Самодержавие согласилось на существенные политические уступки. Но они носили чисто либеральный, «буржуазный» характер.

Пролетариат является тараном, действующим против старого порядка в силу своего уязвимого положения, недовольства. Но «гегемония» пролетариата 1905 г. еще никак не определяла, чем сменится существующий строй. Революция привела к изменению принципов государственного устройства. Россия стала конституционной монархией с легальной многопартийностью и другими структурами гражданского общества. Это решало некоторые межформационные задачи революции, но лишь незначительную часть того, что требовали вышедшие на улицы массы. Так что октябрьская победа воспринималась лишь как первый шаг к конечной победе.

Октябрьская стачка заставила западную социал-демократию отказаться от некоторых догм, выстраданных в борьбе с анархизмом, что способствовало общему сдвигу марксизма к более творческому мышлению в начале XX века.

После споров с синдикалистами и Д. Ньювейнгуйсом социал-демократы относились к всеобщей стачке скептически. На конгрессе в Амстердаме в 1904 г. была принята резолюция, которая характеризовала стачку как нечто совсем крайнее (куда подевалось восстание?): всеобщая стачка «может послужить **крайним средством** для того, чтобы добиться крупных общественных перемен или отразить реакционные покушения на права рабочих»[1122]. Но немецкое рабочее движение отрицало это средство даже как крайнее. Резолюция конгресса германских профсоюзов в мае 1905 г. была безапелляционна: съезд «считает не подлежащим дискуссии вопрос о всеобщей стачке, которую проповедуют анархисты и люди, лишенные всякого опыта экономической борьбы…»[1123] В октябре всеобщая стачка разразилась и победила в России. Только после этого съезд СДПГ признал возможность организации всеобщей политической стачки[1124]. Русская революция подтвердила правоту и Д. Ньювейнгуйса, и анархо-синдикалистов в вопросе о стачке как результативном средстве социально-политической борьбы. Российское революционное движение на практике показало, что оно может не только учиться у Запада, но и учить его.

* * *

Марксисты претендовали на роль представителя интересов пролетариата, а в отношении крестьянства эту нишу заняли эсеры. Сначала Ленин, воспринимающий большевизм как пролетарское движение (хотя им руководят представители интеллигенции), не признавал за эсерами такое же право представлять крестьянство. Но успехи эсеров в деревне заставляют Ленина ставить вопрос: «кто кого использует?» – «интеллигенция, мнящая себя социалистической» – крестьянство, или «буржуазно-собственническое и в то же время трудовое крестьянство» – социалистическую фразеологию интеллигенции «в интересах борьбы против социализма»[1125].

Этот же вопрос уместно было бы поставить об отношениях пролетариата и социал-демократии. «Партия пролетариата» – не синоним пролетариата. Она обладает самостоятельностью от пролетарской массы, что создает для партии некоторую свободу маневра. В частности – в выборе союзника за пределами пролетарского класса.

Отношения идеологических центров оппозиции и массового движения редко подчиняются логике «руководства». Характерно, что ведущие лидеры, выдвинувшиеся в 1905 году (Гапон, Носарь, Шмидт), воспринимались партийными деятелями как «случайные» фигуры. Ведущей формой организации революционных сил были не партии, а союзы (в том числе профсоюзы и крестьянские союзы) и советы.

Трудящиеся, опираясь на свою общинную традицию, практически без подсказки социалистов создали систему своей самоорганизации — **советы**. Идеологи освободительного социализма оказались здесь не

учителями масс, а пророками, удачно предсказавшими, как должна выглядеть политическая система, выстроенная трудящимися снизу.

Таким образом, по своей организационной основе революция 1905-1907 годов является социально-гражданской – структуры социальной самоорганизации и **гражданского общества** вели за собой партии, а не наоборот. Это вызывало ревность социал-демократов, считавших, что они вправе руководить рабочим классом, и даже иногда вело к серьезным конфликтам. Так, ЦК РСДРП в своем письме 27 октября 1905 года осудил Петербургский совет за отказ присоединиться к РСДРП и призвал социал-демократов «доказывать всю бессмысленность подобного политического руководства», «развивая свою собственную программу и тактику»[1126]. Впрочем, этот конфликт удалось сгладить.

Гражданские организации действовали как в рамках либеральной модели (давление общества на власть со стороны), так и в синдикалистской модели – превращение в систему **контр-власти**. В этом отношении характерно одно из высказываний забастовщиков: «Тогда приказано было бастовать, мы и забастовали, а теперь приказано требовать – мы требуем». – «Кто приказал?» – «Правительство». – «Какое правительство?» – «Новое правительство»[1127]. Забастовщики воспринимали советы и стачкомы как власть, правительство. Это явление давало хорошую почву для большевистской стратегии выстраивания новой системы власти как организации трудящихся. Казалось, что на этом пути можно интегрировать стихию и организованность. Ленин поддержал советы как проявление социального творчества рабочих, а затем – как организационную основу будущей диктатуры пролетариата. А Троцкий даже лично включился в рискованную работу альтернативного правительства в Петербурге. Этот эпизод дал ему авторитет, очень пригодившийся в 1917 году.

* * *

В тех случаях, когда партии отрывались от гражданской почвы, их сила ослабевала. Впрочем, это не значит, что самоорганизация масс спасала от экстремизма – кризис был настолько «запущен», что широкие массы были готовы применять насилие, чтобы добиться решения социальных проблем. Так, декабрьское восстание в Москве было не столько спровоцировано революционными партиями, сколько инициировано радикальной частью социального движения.

Большевики доказывали, что пролетариат может быть «гегемоном» в буржуазной революции, делая за буржуазию ее работу. Следует пойти в новую атаку на самодержавие, чтобы поскорее доделать работу буржуазии и приступить к работе на себя. Этот радикальный взгляд соответствовал настроениям части рабочего класса, положение которого оставалось бедственным. Классовая схема подсказывала – если пролетарии требуют выступить, то выступление поддержит класс. Однако пролетариат не был един, он вообще не действовал как целое. Одни рабочие сражались на баррикадах, а другие участвовали в черносотенном движении.

Попытка свержения самодержавия в **декабре 1905 г.** окончилась неудачей. Ленин видел причины этого в плохой подготовке и координации, что как бы подтверждало оправданность его требования организационного централизма революционных сил. Но в октябре 1905 г. волна рабочего и крестьянского движения не управлялась из единого центра, а достигла успеха. Значит, причина поражения в другом. Декабрьское вооруженное восстание не было поддержано страной, да и большинством рабочих. Радикальный «авангард» оторвался от народной толщи.

Плеханов, который еще в начале года призывал к восстанию даже в неблагоприятной ситуации[1128], теперь бросает упрек большевикам: «Ваши активные выступления имеют бунтарский характер»[1129]. Но

такова революция. Она редко подчиняется политическому руководству.

Меньшевики, как и Ленин, надеются добиться управления революцией с помощью подчинения рабочих масс социал-демократической дисциплине. Плеханов писал: «В этих восстаниях наш пролетариат показал себя сильным, смелым и самоотверженным. И все-таки его сила оказалась недостаточной для победы. Это обстоятельство не трудно было предвидеть. А потому не нужно было и браться за оружие. Говорят: пролетариат принудил социал-демократию взяться за него. Но если это так, то восстания были более стихийными, чем сознательными»[1130]. Таким образом, по Плеханову, сознание пролетариата отождествляется с социал-демократией. Давление рабочих на партию воспринимается уже не как демократизм, а как стихийность. Только партия может решать, когда и как действовать, и не дело рабочих масс торопить ее. «Вы скажете мне, может быть, я хочу тормозить движение. Я спорить и прекословить не буду. Почему и не затормозить его? Роль тормоза не всегда заслуживает осуждения»[1131]. В подтверждение своих слов Плеханов как обычно ссылается на классиков – когда они предостерегали парижский пролетариат от несвоевременного восстания в 1870 г. «Правда, при этом Плеханов как будто забыл, что, когда парижские рабочие все же начали восстание, Маркс решительно встал на их сторону…»[1132], – комментирует Плеханова его биограф С.В. Тютюкин.

Несмотря на различие оценки декабрьской ситуации (не стоило браться за оружие – стоило, но более организованно), взгляды Плеханова и Ленина на взаимоотношения партии и пролетариата принципиально близки: партия должна управлять революционной активностью рабочего класса, а не рабочий класс должен распоряжаться партией.

Но если для Плеханова слабая организованность пролетариата (то есть его неуправляемость со стороны социал-демократии) – повод для сдерживания революционных выступлений, то Ленин и здесь не собирается выжидать. Лучшее средство для организации – сама борьба. И если рабочий класс видит свою организацию не в партии, а в более привычном для вчерашнего крестьянина органе самоуправления – Совете – следует поддержать инициативу масс.

В декабре революционный авангард рабочих оторвался от более консервативных масс. Но радикальный опыт воздействует на массы, давая заразительный пример. За первым натиском последует новый, самодержавие падет, и перед массами встанет вопрос о власти, который не удалось решить в декабре 1905 г.

Вопрос о власти

В 1917 г. Ленин опубликует фразу, ставшую затем классической: «**Коренной вопрос всякой революции** есть вопрос о власти в государстве»[1133]. В практическую плоскость этот вопрос встанет перед российскими социалистами в 1905 году.

Размах городской революции и общая дестабилизация империи из-за крестьянских и национальных выступлений давали социалистам новые шансы. Перед марксистами вставал вопрос о том, что делать в случае падения самодержавия. Просто отдать власть либералам, буржуазии, выступая в роли профлидеров, отстаивающих тактические задачи социальной защиты рабочих при сохранении капиталистического строя? Линейная концепция прогресса диктовала такое поведение с неизбежностью. Сначала – укрепить капитализм, решая социал-либеральные задачи. И только потом, через десятилетия – социализм.

Но быстрое развитие индустриального сектора в России, разрастание рабочего класса, еще в значительной степени маргинализированного, но оттого настроенного радикально, длительная традиция развития социалистического движения – все это способствовало постановке левыми социал-демократами вопроса о «перерастании» буржуазной революции в пролетарскую. Итак, ограничиться либеральными задачами, или приступить к решению «пролетарских», социал-этатистских?

Выбор зависел от ответа на вопрос о власти. Проще всего было ответить на этот вопрос эсерам: в случае падения самодержавия необходимо немедленно организовать революционную диктатуру (то есть диктатуру революционеров), которая, разгромив монархистов в гражданской войне, передаст власть всенародно избранному Учредительному собранию.

Для марксистов все было сложнее. С одной стороны, они боролись за свержение самодержавия, с другой стороны верность марксистской картине истории не позволяла им входить в правительство – оно же будет носить не пролетарский, а буржуазный характер. Эта историческая схема была не просто догмой, за ней стояли и прагматические политические интересы – социал-демократы не должны скомпрометировать себя непопулярными в пролетарской среде мерами, которые неизбежно будет проводить правительство в условиях становления капиталистического строя.

В то же время очевидно, что революционная диктатура может стать «обоюдоострым» инструментом. Если она будет находиться под влиянием социал-демократии, то может закрепить завоевания пролетариата, а если в ней возобладают противники социализма, она может пойти по пути подавления пролетарского движения и социал-демократии. Как бы и соблюсти чистоту принципов (не отвечать за непопулярные меры), и продвинуть через новую власть необходимые преобразования? Этот вопрос вновь разделил социал-демократию, породив дискуссию, которая смоделировала реальную ситуацию 1917-1918 гг.

* * *

Историк С.В. Тютюкин считает: «если для большевиков основной целью их политической деятельности был уже в 1905 г. захват хотя бы части (а лучше всей) политической власти, то меньшевики стремились прежде всего организовать и просветить рабочих, поднять их на защиту своих политических и экономических интересов, разбудить их инициативу и общественную активность»[1134]. Но одно другому вовсе не мешает. И большевики стремились организовать рабочих, пробудить их общественную

активность. И меньшевики были готовы прийти к власти, когда для этого созреют предпосылки. И для большевиков, и для меньшевиков взятие власти не было «основной целью», самоцелью, а лишь инструментом в осуществлении марксистского коммунистического проекта. Различие заключалось в сроках. Большевики были готовы форсировать процесс с помощью власти, и, соответственно, брать ее уже в 1905 году. Но не они были наиболее радикальны в этом отношении, а меньшевики Троцкий и Парвус.

В марте 1905 г. Александр Парвус выступил за «правительство рабочей демократии»[1135], бросив вызов стройной стратегии чинного движения к социализму через буржуазную демократию. Парвус выдвинул лозунг: «без царя, а правительство рабочее!» Эту идею поддержал Лев Троцкий. Она вытекала из стратегии самостоятельных действий пролетариата как наиболее организованной революционной силы. Троцкого не смущает, что в своем стремлении захватить власть над Россией социал-демократия будет изолирована от других революционных сил. Каких сил? Троцкий «в упор» их не видит. Он уверен, что кроме социал-демократов «на революционном поле никого нет»[1136]. Троцкий самонадеянно выводит «наше революционное одиночество» из победы над эсерами. Он приписал марксистам не только победу, но и полное уничтожение эсеров (вот охранка-то позавидовала бы). Впрочем, эсеры продолжали в это время здравствовать и развиваться.

Троцкий был не одинок в своей некомпетентности. Мартов с удивлением прочитал заявление ПК ПСР, где говорилось, что «рабочий народ идет и дальше под знаменем партии с.-р.»[1137]. А Мартов думал, что рабочие движутся под знаменами социал-демократии. Вышедшие из подполья партии с удивлением обнаруживали, что они не одиноки на «своем» поле. И некоторое время не верили глазам своим, считая лишь себя реальной силой.

Из ложной посылки о «революционном одиночестве» социал-демократов у Троцкого вытекает целый веер выводов: «где нас нет, там революция лишена организации и руководящих элементов»...; «у нас нет социальной почвы для самостоятельной якобинской демократии…»[1138] Непролетарские силы не могут выдвинуть вождей.

Хорошо, можно быть настолько несведущим, чтобы не заметить эсеров. Но есть и другие лидеры, которых обстановка 1905 г. выдвигала на арену истории. Гапона-то нельзя было не заметить, тем более, что и после 9 января он сохранял влияние в рабочем движении. Троцкий решает проблему так: Гапон, который «явился одной из блестящих внезапностей революции», собирается примкнуть к «одной из социалистических партий». «Выбор Георгия Гапона не труден, ибо этих партий только одна»[1139]. Гапон быстро опроверг Троцкого, сблизившись с эсерами и принявшись ковать блок всех социалистов. Эта инициатива сначала получила поддержку большевиков, эсеров и национальных социалистических партий. Но затея была обречена на неудачу – социал-демократы опасались оказаться под контролем «личности, стоящей над партиями» или того хуже – эсеров. Но Ленин все же зашел на созванную Гапоном конференцию – он искал партнеров из среды «мелкой буржуазии»[1140].

Троцкий уверен, что больше таких «внезапностей», как Гапон, не предвидится. Ленин называет его за это «пустозвоном». Если революция напомнит 1789 год, то она поднимет к «героическим усилиям» и историческому творчеству «гигантские массы», из рядов которых выйдет множество «Гапонов»[1141].

Ленин прав. Будет еще много «внезапностей» – от Хрусталева-Носаря до лейтенанта Шмидта. Каждый раз во главе движения оказывается не лидер какого-нибудь ЦК, а выдвиженец поднявшейся массы. И Октябрьская стачка – творение не партий, а массы, организованной профсоюзами.

Но Троцкий игнорирует эту самоорганизацию, его волнует вакуум верховного руководства революцией. Он настаивает: никаких признаков появления якобинцев нет, и «черновую работу» придется взять на себя[1142]. Если марксисты стремятся к победе революции, то им, как наиболее организованной революционной силе нужно брать власть, чтобы обеспечить «разоружение реакции и вооружение

революции»[1143]

Во Временное правительство войдут те, кто будут руководить массами в момент восстания. Поскольку самодержавие свергнут рабочие массы, то и руководить ими будут социал-демократы. Не отдавать же после этого власть либералам.

Троцкий заключает: «революционное развитие влечет пролетариат, а с ним – р. с. д. раб. партию, к временному политическому господству.

Если она решит отказаться от него, ей необходимо предварительно отказаться от тактики, рассчитанной на:

а) революционное развитие событий,

б) руководящую роль в ней пролетариата,

в) руководящую роль Рос. С.Д. Раб. Партии в пролетариате»[1144].

* * *

Ленин поддержал постановку вопроса о приходе социал-демократов к власти, но подошел к вопросу прагматически: дело ведь не только в том, как захватить власть. Ее нужно еще и удерживать. А прочной может быть только «революционная диктатура, опирающаяся на громадное большинство народа»[1145]. Но пролетариат не обладает этим большинством.

Значит, возможна «революционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства»[1146]. Крестьянство показало свой революционный характер. А раз так, оно может быть союзником пролетариата. Классовая схема трансформируется в политическую. Если меньшевики, исходя из буржуазного характера революции, тяготеют к союзу с либералами, то большевики – исходя из задачи установления рабоче-крестьянской революции – к союзу с эсерами.

Ленин считает, что Временное революционное правительство «может быть только диктатурой, то есть организацией не «порядка», а войны.

Кто идет штурмом на крепость, тот не может отказаться от продолжения войны и после того, как он завладеет крепостью»[1147]. Участие социал-демократов в правительстве преследует две цели: «беспощадная борьба вместе с революционной демократией против всех контрреволюционных попыток» и «отстаивание самостоятельных классовых целей пролетариата»[1148]. Собственная задача пролетариата в этой революции – «создать себе действительно широкую и действительно достойную XX века арену борьбы за социализм»[1149]. Для этого не следует ограничивать себя в средствах.

Пока Ленин считает, что постановка в повестку дня социалистического переворота – непозволительная идея эсеров[1150]. В 1917 г., когда самодержавие падет, Ленин сочтет идею «позволительной».

Выдвинув идею рабоче-крестьянского правительства, Ленин не забывает о ее переходности, и не исключает возможности борьбы пролетариата (то есть социал-демократии) с этим правительством. Давление извне позволит продвигать политику революционного правительства влево, а страну таким образом – к решению пролетарских задач (эта линия будет осуществляться большевиками весной-летом 1917 г.). Созванный большевиками III съезд РСДРП провозгласил: «Независимо от того, возможно ли будет участие социал-демократов во Временном революционном правительстве, следует пропагандировать в самых широких слоях пролетариата идею необходимости постоянного давления на Временное правительство со стороны вооруженного и руководимого социал-демократией пролетариата в целях

охраны, упрочения и расширения завоеваний революции»[1151]. Однако, поскольку мелко-буржуазные политики не смогут долго двигаться в этом направлении сами, модель такой диктатуры, действующей под давлением снизу, неизбежно приведет к власти левых социал-демократов.

* * *

А. Мартынов еще в 1904 г. опубликовал в «Искре» статью «Две диктатуры», где выступил категорически против возможного прихода социал-демократов к власти в ходе грядущей революции. Он цитировал знаменитую фразу Энгельса о вождях радикальной партии в Крестьянской войне в Германии: «Самым худшим из всего, что может предстоять вождю крайней партии, является вынужденная необходимость обладать властью в то время, когда движение еще недостаточно созрело для господства представляемого им класса и для проведения мер, обеспечивающих это господство»[1152].

Ленину трудно спорить с Энгельсом. Но он применяет в этой трудной ситуации «золотой ключик», который его прежде не подводил – «научность» марксизма. «Энгельс видит опасность в смешении вождем мнимосоциалистического и реальнодемократического содержания переворота, а умный Мартынов выводит отсюда опасность того, чтобы пролетариат вместе с крестьянством брал на себя сознательно диктатуру в проведении демократической республики, как последней формы буржуазного господства и как наилучшей формы для классовой борьбы пролетариата с буржуазией»[1153]. Энгельс писал о таких вождях пролетариата, которые не понимают «непролетарского характера переворота». Но большевики же будут его понимать[1154]. Тогда и «движение дозреет» до «применения мер».

Увы, когда большевики придут к власти, они будут говорить о пролетарском характере революции, хотя эта революция будет прокладывать дорогу к власти вовсе не пролетариату. Мартынов окажется прав в половине своего прогноза – когда говорил об отсутствии у вождей рабочего класса понимания реальной ситуации. Но вожди почти никогда не понимают ситуацию также, как объективные исследователи. Вожди не «научны».

Но в другом отношении Мартынов, как и другие меньшевики, ошибался. С их точки зрения захват власти может вести только к одному – к быстрому краху радикальной социал-демократии, ее компрометации и победе реакционных сил. Именно так меньшевики будут оценивать перспективы большевистского радикализма и в 1917 г. Ознакомившись с апрельскими тезисами Ленина, Мартынов писал: «Если мы пойдем по ленинскому пути, мы в близком будущем пойдем не к диктатуре пролетариата, а к диктатуре контрреволюционных слоев буржуазии»[1155]. В роли реакционера тут выступал не Ленин. Просто в силу неправильности, авантюристичности стратегии Ленина он облегчит задачу контрреволюции. Меньшевики остались **в плену однолинейной марксистской картины прогресса**, когда движение возможно только «вперед» и «назад», а не «в бок», к другому варианту движения вперед, не предусмотренному догматом.

Мартов настаивал: до постановки задачи диктатуры пролетариата «мы остаемся принципиально непримиримой оппозицией ко всякому правительству и не отказываемся от «предрассудка», запрещающего нам осквернить уста сочетанием слов: «да здравствует» и «правительство»»[1156]. Просто анархизм какой-то.

И большевики, и меньшевики видят себя в роли радикальной оппозиции. Критиковать всегда проще. Но большевики готовы при благоприятных условиях сделать следующий шаг – войти во власть. Но значит ли это, что они тем самым перейдут на другую сторону баррикад?

Мартынов утверждает: «Мы стремимся остаться в положении революционной оппозиции, чтобы

сохранить практическую возможность критиковать ограниченность мелкой буржуазии, очутившейся у власти. Публицисты «Вперед» стремятся разделить власть с мелкой буржуазией, сохраняя возможность критиковать пролетариат, буде он увлечется иллюзиями»[1157]. Мартов напоминает большевикам, что любое, даже самое демократическое и революционное непролетарское правительство будет действовать против интересов рабочего класса, иначе буржуазное общество просто не сможет функционировать. Оно будет заботиться об интересах банков, защищать собственность, урезать зарплаты. Провозгласив лозунг «Да здравствует Временное правительство!», партия рабочего класса скомпрометирует себя поддержкой таких мер. Получается, социал-демократия боится ответственности, перекладывая на других «грязную работу», непопулярные меры, необходимость которых и она понимает. Мартов признает прогрессивность якобинства, но добавляет: борьба за демократию возможна «не только с помощью якобинских декретов сверху, но при помощи народного давления снизу»[1158]. Чтобы сохранить идейную непорочность, социал-демократы должны участвовать только во втором.

Впрочем, «грязную работу» могут сделать и «неправильные» социал-демократы – большевики. Мартов рассуждает: не получится ли, что история русской мысли может ««вытряхнуть из своего рукава» подлинную революционно-демократическую партию в виде той самой «социал-демократии», которая возьмет в свои руки власть в момент падения самодержавия?»[1159]

Меньшевики считали, что план Ленина ведет к «растворению классовой борьбы пролетариата в бесформенном движении «демократии»»[1160]. Но это же происходит и при осуществлении меньшевистской стратегии давлении пролетариата на власть с улицы. Ведь на улицу выходят представители самых разных слоев.

Мартов считает, что если пролетариат сейчас получит власть «вопреки его стремлениям»[1161], то «весь наш – русских социал-демократов – анализ исторического положения русского пролетариат был неверен…»[1162] Расчеты большевиков и меньшевиков различны. В 1905 г. окажется неверен анализ первых, в 1917 г. – вторых.

В подтверждение меньшевистской позиции Плеханов снова пытается опереться на «неоспоримый» авторитет Энгельса. В письме к Ф. Турати «основоположник» писал: если социалисты войдут в правительство, они вынуждены будут взять «на себя ответственность за все ошибки и за все измены этого правительства по отношению к рабочему классу», парализовав при этом его энергию. Вывод Плеханова не вполне соответствует мысли Энгельса (тем более, высказанной в ситуации, когда в стране не было революции): «Итак, участвовать в революционном правительстве вместе с представителями мелкой буржуазии значит изменять пролетариату»[1163].

Еще недавно левые социал-демократы критиковали опыт Мильерана, вступившего в правительство. С точки зрения критиков Ленина, готовность к участию в буржуазной власти (даже революционной) – это принципиально тоже, что мильеранизм, отступление от пролетарских задач, которые должна решать социал-демократия. Взять власть и решать не пролетарские задачи – значит компрометировать чистоту марксистской идеи.

Мартынов наносит Ленину болезненный укол, обвиняя его в жоресизме (Жорес в 1899 г. был лидером фракции Мильерана): «Пролетариат не может получить ни всей, ни части политической власти в государстве, покуда он не сделает социалистической революции. Это – то неоспоримое положение, которое отделяет нас от оппортунистического жоресизма…»[1164]

Меньшевики откажутся от этого положения в 1917 г. По иронии судьбы, Ленин в это время окажется в непримиримой оппозиции к правительству меньшевиков, эсеров и кадетов.

Мартов вторит Мартынову: «Только, ведь, и Жорес для этих самых целей организовал свой союз

демократии и пролетариата!»[1165] Идея диктатуры пролетариата и крестьянства – это «самый вульгарный жоресизм»[1166].

В этих обвинениях заметна очевидная натяжка. Политика Жореса-Мильерана направлена на союз с существующим обществом, политика Ленина – на его разрушение. Мильеран пошел на союз с палачом Парижской коммуны, а Ленин предлагает создать ее новый вариант. Ведь вопреки догматике меньшевиков, в Парижской коммуне рука об руку действовали пролетарские и «мелкобуржуазные» революционеры.

Ленин с возмущением объясняет, **в чем разница его позиции и мильеранизма**: «Это все равно, что смешать участие Мильерана в министерстве убийцы Галифе с участием Варлена в Коммуне, отстаивавшей и отстоявшей республику»[1167].

Любопытный нюанс «всплывает», когда меньшевики пытаются сравнить большевиков с бакунистами в Испании, которых, как мы помним, сурово раскритиковал Энгельс. Бакунисты вошли в революционные органы власти. Теперь это предлагают сделать большевики. Но Энгельс доказывал, что бакунисты в Испании отошли от «антиполитических» принципов, то есть по сути – менялись в верном направлении. Это дает возможность Ленину найти у классика нужный ему угол зрения: «Энгельсу не нравится только то, что бакунисты были в меньшинстве, а не то, что они там заседали»[1168]. Энгельсу, конечно, вряд ли бы понравилось, если бы бакунисты заседали «в большинстве». Но Ленин пишет о своей партии: принципиально важно оказаться в органах революционной власти в большинстве – существенный момент с точки зрения понимания большевистской стратегии 1917 г.

* * *

Предложив идею революционной коалиции, Ленин должен ответить оппонентам на ряд новых для социал-демократии вопросов. С кем вместе заседать в правительстве, кто будет отстаивать в нем интересы непролетарских слоев, как не обидеть невзначай крестьян, как лучше удовлетворить их интересы, не противоречащие интересам пролетариата, кто будет прежде всего отвечать за меры правительства, объективно направленные против пролетариата? Одним словом: кто на практике будет представлять демократию в революционном правительстве. Ленин отвечает: ««Тип» **социалиста-революционера**»[1169]. Ленин пока тоже не признает прямо, что эсеры – сила, с которой нужно считаться. Но если они вдруг станут более влиятельны, с ними можно будет иметь дело. На III съезде РСДРП (фактически – съезде большевистской фракции) было решено входить с эсерами во «временные боевые соглашения» (в то время как либералов – обличать). Уже в декабре 1905 года большевики попробуют это сотрудничество в боях на Пресне. В 1917 году проблема союза с эсерами встанет перед Лениным уже в полный рост.

Говоря о проекте программы ПСР, Ленин называет ее «значительным шагом вперед»[1170]. Однако это не значит, что Ленин теоретически сближается с эсерами. Он фиксирует общее и различное в идеологии эсдеков и эсеров. Ленин недоволен указанием эсеров на неблагоприятное соотношение положительных и отрицательных сторон капитализма (по Прудону), их оценкой роли интеллигенции, «которая будто бы в состоянии выбирать более или менее благоприятные пути для отечества»[1171]. В 1917 году Ленин на практике займется таким выбором, и от его личного воздействия самым непосредственным образом будут зависеть пути истории отечества. Отмежевываясь от эсеров (меньшевики и так не раз упрекали его в эсеровской ереси), Ленин сурово критикует взгляд ПСР на крестьянство: «Они говорят о трудовом крестьянстве, закрывая глаза на тот доказанный, изученный, подсчитанный, описанный, разжеванный факт, что среди этого трудового крестьянства сейчас уже

безусловно преобладает у нас крестьянская буржуазия… и держит в своих руках уже теперь больше половины производительных сил крестьянства»[1172].

Ленин заранее закладывает программу **борьбы с крестьянством** под предлогом его «буржуазности». Но он уже отделяет крестьян от «крестьянской буржуазии». Это позволит коммунистам получить в будущем значительную свободу маневра в деревне, нанося удары по «крепкому» крестьянину, одновременно представляясь защитниками не только батраков, но крестьянства как класса.

Отношение Ленина к крестьянству как к революционной силе не означает также, что Ленин готов был отступить от марксизма в сторону народничества в вопросе о конструктивной модели социализма. Меньшевики справедливо показывали, что крестьянство чуждо марксистскому проекту. Ленин не возражает – крестьянство решает антифеодальные и разрушительные антикапиталистические задачи, так как сопротивляется пауперизации и капиталистическому закабалению. Оно может быть союзником в разрушении, а не в созидании. Крестьянство воспринималось Лениным как ресурс пролетарской революции, и когда крестьянские движения после 1917 г. выступали против мероприятий «рабоче-крестьянской» власти, Ленин принимал меры к беспощадному подавлению крестьянских выступлений. Вопреки мнению, высказываемому в публицистике[1173], Ленин в 1905 г. существенно не изменил своей программы по крестьянскому вопросу. Он и в конце XIX века выступал за ликвидацию помещичьего землевладения, он и после революции видел опору партии на селе в батраках и бедняках, «вырабатываемых» капитализмом. Национализация, за которую он выступал, может обернуться и арендой земли крестьянами у государства, и госхозами, и колхозами. Это – не эсеровская социализация.

* * *

Реальность революции 1905-1907 гг. вскрыла **теоретическое лидерство эсеров**, которые давно указывали на революционный потенциал крестьянства, уделяли ключевое значение проблеме самоорганизации (которая получила новое подтверждение в появлении советов), считали возможным продвижение к социализму без длительного капиталистического развития и превращения большинства населения в работников крупных предприятий. Точка зрения Парвуса, Троцкого и Ленина о прямом пути к социализму, без предварительного полноценного развития капиталистической стадии, шла вслед за мыслью народников. Эсеры в этот период оказались теоретическими лидерами, так как они не были скованы догматами о пролетарском характере социалистической революции и обязательном вызревании предпосылок социализма на почве крупной капиталистической промышленности. Они видели своей задачей проведение аграрной революции, которая создаст предпосылки не для капитализма, а именно для социализма.

Историк Т. Шанин, заметив, что именно народники сформулировали ряд перспективных идей, затем заимствованных левыми социал-демократами, пытается оспорить идейное лидерство эсеров с помощью рассуждений о слабости их взглядов на власть. Он приписывает им даже «отступление к наивным представлениям «Земли и воли» 1870-х годов о государстве и политической власти»[1174]. Шанин не конкретизирует свою позицию, оставляя ее двусмысленной. Дело в том, что как раз Ленин, восприняв самоорганизацию рабочих в советы в качестве основы будущей системы власти, склонялся в сторону политической концепции народничества 70-х гг. Чернов стоял на почве парламентаризма, а левое крыло эсеров шло тем же путем, что и Ленин, идейные достижения которого в наибольшей степени восхищают Шанина.

И все же Т. Шанин вынужден признать, что и большевики, и кадеты после революции 1905 года «немало заимствовали у народников»[1175]. Впрочем, заимствуя отдельные идеи у народников, ни те ни

другие в конечном итоге не стали народниками.

Но охранитель идейных устоев социал-демократии Плеханов увидел в идеях Ленина как раз переход на эсеровские позиции. Любое отклонение от марксистской «истины в последней инстанции» – это уже мелкобуржуазность, скатывание к ошибкам XIX века, которые когда-то опроверг Плеханов, формируя ортодоксию русского марксизма. Теперь учитель утверждал, что его ученик «реставрирует народовольческую идею захвата власти»[1176]. Плеханов как марксистский детерминист уверен, что «никакое народное творчество не может изменить основного характера переживаемой нами буржуазной революции»[1177]. Да, народное творчество, на которое ссылается Ленин, не может изменить характера революции. Если он строго буржуазен – тогда прав Плеханов. А если у революции – другой характер? Тогда правы эсеры и Ленин. Если революция носит переходный характер, если в ней борются разные тенденции – тогда от народного творчества зависит все, и фаталисты оказываются на обочине истории.

Непрерывная революция

Троцкий считает, что меры революционного правительства будут действовать до Учредительного собрания, которое уже будет решать, отменять их или нет. «Сколько шуму из пустяков!»[1178], – комментирует Мартынов. Скомпрометировав себя непопулярными в среде пролетариата мерами, революционеры просто сдадут власть победителям на выборах, скорее всего – либералам, представителям буржуазии. Но революционеры – и эсеры, и Ленин, надеются, что их меры окажутся популярными, и революционная коалиция победит на выборах в Учредительное собрание. Но не будут же они с помощью Собрания проводить социалистические преобразования? Ведь это же невозможно.

В 1905 г. Мартынов разбирал возможные сценарии развития ленинского Временного революционного правительства. Рано или поздно это правительство перестанет существовать. Либо контрреволюция разгромит революционных авантюристов, либо они устоят и выполнят свои задачи радикальных буржуазных преобразований. **Что же дальше?** После завершения революционной диктатуры предстоит размежевание с союзниками по правительству. Большевики должны будут восстановить связи с теми социал-демократами, которые не пошли в правительство. Ведь теперь пришла пора всем социал-демократам вместе защищать чисто пролетарские задачи. Большевики «нам не говорят, как они восстановят добрую дружбу с пролетариатом, с которым у них накопилось за время мелко-буржуазной диктатуры немало «недоразумений», который они, наверное, не раз судили за «бессознательную провокацию»…[1179] Разумеется, под «пролетариатом» Мартынов имеет в виду ту часть класса, которая не поддержит революционную коалицию. А если большевики не вернутся к пролетариату, они будут обречены на скорое поражение, так как лишатся всякой классовой опоры – и пролетарской, и мелкобуржуазной (контролируемой партнерами большевиков по коалиции). Меньшевики уверены, что капитализм может быть преодолен только пролетариатом. Пока так считают и большевики. И все же они ищут возможности избежать отступления, о котором говорит Мартынов.

* * *

Критикуя радикально настроенных большевиков, меньшевики выглядят нерешительно, что не пристало революционерам. В обстановке революционного подъема они тоже начинают задумываться об условиях прихода к власти в сложившейся ситуации. Мартынов вынужден сочетать антибольшевистский скепсис с бравадой – если бы революционные события выдвинули социал-демократов к власти, «мы бы не стали пятиться назад»[1180]. Но если меньшевики возьмут власть, они не должны тратить сил на решение невозможной задачи формирования условий для строительства социализма в своей стране. У них будет совсем другая задача: «толкнуть на путь революции Запад, как сто лет назад Франция толкнула на путь революции Восток»[1181].

Так что же было Троцкого и Ленина критиковать – они тоже не видят перспектив социалистической революции без ее распространения на Западную Европу.

«Не понимаю только, как можно Мартова и Мартынова помимо их воли вытащить к власти?»[1182], – иронизирует Ленин.

Мартова и Мартынова действительно не удастся втянуть в правительство, но социал-демократическая партия войдет в коалиционный кабинет с кадетами в 1917 г. Оправдание будет найдено как раз в вынужденности прихода к власти – необходимо сплотить все силы для того, чтобы отстоять демократию и завершить войну. Таким образом реализовалась как раз эсеровско-большевистская идея временного

революционного правительства «рабочего класса и крестьянства». Меньшевикам пришлось последовать по пути, который они считали «ненаучным».

Ленин пытается как-то выйти из прокрустова ложа однолинейной схемы прогресса, но тоже пока не знает, каким образом это сделать. Картина, нарисованная Мартыновым, по своему логична, и эта логика ведет к капитуляции либо поражению: «Полная революция есть захват власти пролетариатом и бедным крестьянством. А эти классы, находясь у власти, не могут не добиваться социалистической революции. Ergo (следовательно – А.Ш.), захват власти, будучи сначала шагом в демократическом перевороте, силой вещей, против воли (и сознания иногда) участников, перейдет в социалистический. И тут крах неизбежен. А раз неизбежен крах попыток социалистической революции, то мы (как и Маркс в 1871 г., предвидевший неизбежный крах восстания в Париже) должны советовать пролетариату не восставать, выжидать, организоваться, reculer pour mieux sauter (отступить, чтобы лучше прыгнуть – А.Ш.).

Такова, собственно, мысль Мартынова (и новой «Искры»), если бы он ее додумал»[1183]. Выход только один – Российская Коммуна должна получить поддержку извне. Но для того, чтобы Европа помогла России, революционная Россия должна помочь западным товарищам: «мы сделаем из русской политической революции пролог европейского социалистического переворота»[1184]. Если буржуазия не свергает революционную диктатуру в России, «диктатура зажигает Европу…»[1185]

Идея мировой революции станет новым «философским камнем», который даст надежду на победу в безнадежной ситуации. Если раньше русские социал-демократы готовы были стать филиалом германского социалистического переворота, то теперь, видя хроническое запаздывание коллег в развитых странах, их увязание в оппортунистическом болоте, Ленин и даже некоторые меньшевики считают необходимым помочь западным товарищам. В России нельзя победить, но из России можно развернуть наступление, в которое будут вовлечены более развитые страны.

Но в итоге своих рассуждений и Мартов признает, что буржуазные партии могут «отцвести, не успевши расцвесть», и власть вынужденно перейдет к пролетариату как классу. В этом случае пролетариат должен не укреплять буржуазное общество, а перейти «к прямой борьбе со всем буржуазным обществом». Тогда альтернатива – либо новое повторение Парижской коммуны, «либо начало социалистической революции «на Западе» и ея приход в Россию. И мы обязаны будем стремиться ко второму»[1186]. Мартов, таким образом, вынужден отступить к позиции, Троцкого, отнесенной в перспективу.

Но как это можно организовать жизненно необходимую революцию на Западе из России. Примером? Если пример «отсталой страны» не будет заразителен? Интервенцией? Эта проблема встанет в практическую плоскость в 1917 г.

* * *

Оказавшись перед лицом революции, которая по схеме должна была быть буржуазной, а на практике пошла дальше, левые марксисты обратились к марксовой идее непрерывной революции – все более глубокой радикализации революционного процесса, охватывающего все больше стран.

Плеханов, в других случаях ссылавшийся на «основоположников» как на истину в последней инстанции, на этот раз уверен, что в 1848 г. Маркс ошибался с идеей непрерывной революции, так как он сам признавал, что капитализм еще имел резервы развития и после 1848 г. Значит, в 1848 г. социалистическая революция была преждевременной.

Ленин в этом вопросе оказался ортодоксальней Плеханова, отстаивая правоту Маркса. Время для

атаки на капитализм наступает, когда к этому готов пролетариат, даже если капитализм еще может развиваться. Маркс воспринял Коммуну как шанс на социалистическую революцию. А ведь у капитализма во Франции еще сохранялись резервы роста.

Ленин опирается на эти взгляды Маркса-революционера в борьбе с выжидательной и фаталистичной марксистской «ортодоксией». Нужно помочь решению капиталистических задач «сверху», со стороны революционного правительства. Более того, в случае успеха «начнем переходить к социалистической революции»[1187]. Ссылаясь на Маркса, Ленин провозглашает: «Мы стоим за непрерывную революцию»[1188]. Основание такой надежды – грядущая европейская социалистическая революция.

Левые марксисты не одиноки в своих надеждах. Революция в России началась раньше, и в этом должен быть какой-то смысл. Эсеры-максималисты утверждают: «Россия подает сигнал Западной Европе»[1189]. Эту идею максималистов их противник в движении эсеров В. Чернов выводит из христианской мессианской литературы, из В. Соловьева, который видит корни мирового призвания России в ее бедности и ущемленности. Сомнительно, чтобы революционные радикалы пришли к своим выводам под влиянием Соловьева. Но совпадение взглядов представителей столь разных идейных течений симптоматично. И большевики, и Троцкий, и максималисты, и христианские мыслители откликались на одну реальность – **Россия при всей своей отсталости вырывалась в авангард революционного движения**. Этому, если отвлечься от марксистской схемы, существовало вполне объективное объяснение – Россия была лидером среднеразвитых стран Старого света. Среднеразвитые страны в начале XX века переходили к индустриальному обществу, что было чревато потрясениями и, следовательно, возможностью поиска новых путей в будущее.

Из этого вытекает, что революция в России и в неразвитых странах в целом должна добиться каких-то успехов самостоятельно, до того, как скажет свое слово пролетариат Запада. Значит, нужна не только стратегия разрушения самодержавно-помещичьего строя и расчистки поля для развития капитализма. Нужно сделать что-то, что вдохновит социалистическое движение во всем мире.

Из этого следовало, что в случае успеха революционной диктатуры она вовсе не должна сдавать власть либералам. Социалисты должны заняться своим прямым делом – организацией социализма. Но этот вывод еще противоречил схеме, по которой социализм как общество родится в наиболее развитых индустриальных странах. С победой революции на Западе Россия, выполнив свою миссию, снова должна оказаться периферией Запада – на этот раз социалистического. В 1917-1922 гг. эта стратегия столкнулась с непреодолимым препятствием – марксисты победили в борьбе за власть в России, но не победили на Западе.

* * *

В своей лекции о революции 1905 года, прочитанной в январе 1917 года, Ленин говорит о ее «пролетарском характере в особом значении этого слова» (вслед за Р. Люксембург он ссылается не на задачи революции, а на ее движущие силы и методы). Ленин теперь предпочитает модель Великой французской революции и подчеркивает отличие буржуазной революции от буржуазно-демократической. В последней пролетариат как авангард революции может пойти дальше собственно буржуазных задач. Возможность такого прорыва непосредственно не связана с уровнем развития России, так как «ни в какой стране мира, даже в самых передовых странах, вроде Англии, Соединенных Штатов Америки, Германии мир не видал такого грандиозного стачечного движения, как в России в 1905 г.»[1190]. Это значит, что Россия при определенных условиях может раньше развитых стран ступить на неизведанную землю, лежащую за пределами «буржуазных задач». Что это за земля, каков характер этого общества, будет ли это

«диктатура пролетариата» или что-то другое? Эти вопросы Ленин предпочел разрешать экспериментальным путем. Но он надеется, что после прихода к власти пролетарской партии (в союзе с мелкобуржуазными революционерами) **возврата к капитализму уже не будет**.

Те задачи, которые в 1905 году еще не могли реализоваться, в 1917 году уже стали адекватными ситуации. Опыт 1905 года продвинул сознание оппозиционной общественности и недовольных масс к пониманию самой возможности свержения самодержавия, и на следующем витке социального кризиса в порядок дня встали проблемы, обсуждавшиеся в 1905 г. «забегавшими вперед» радикалами. Готовность к ситуации еще большей радикализации масс стала ключом к политическому успеху в 1917 году. Но это не решало более глубокую проблему, поставленную в старом споре Герцена и Бакунина – когда народ уже готов разрушить старое общество, готов ли он жить в новом?

1917 год. От «золотого века» к «железному».

К 1917 г., на третьем году Мировой войны, почва в России была снова готова для революции, В феврале 1917 г. невинная по замыслу демонстрация, организованная социал-демократами и эсерами (в дальнейшем – левыми), стала детонатором массовых рабочих выступлений. Нарастая как снежный ком, рабочие демонстрации затопили центр Петрограда. Гарнизон перешел на сторону революции, сразу же продвинув дело восстания дальше высших достижений 1905-1906 гг. Раскол правящих элит довершил дело – самодержавие пало[1191]. Самые смелые ожидания либералов оправдались, но для социалистов эта ситуация стала внезапным возвращением к спорам 1905 года, которые на этот раз перешли в практическую плоскость. «Буржуазная» революция свершилась, власть перешла к либералам, но социальный кризис продолжал углубляться, а массы самоорганизовались и требовали преобразований, которые могли бы быстро улучшить их жизнь.

С началом революции 1917 г. вышедшие на улицы рабочие быстро вспомнили опыт 1905 г. и стали создавать советы. Их естественным образом возглавили умеренные социалисты, за которыми шло большинство революционной интеллигенции и политически образованных рабочих – кадровый резерв новых структур общественной самоорганизации. Лидеры Петроградского совета, который некоторое время был представителем формирующегося советского движения всей страны, не претендовали на общероссийскую власть. Было очевидно, что страна ждет прихода к власти известных, «раскрученных» либералов из числа депутатов.

В первые мартовские дни обсуждение «**вопроса о власти**» в Совете выявило три точки зрения. Депутаты Н. Чхеидзе и М. Скобелев доказывали, что брать власть нельзя, потому что тогда придется брать на себя ответственность за неизбежные буржуазные меры, включая и продолжение войны. К. Гвоздев и правые меньшевики считали, что войти в правительство можно, чтобы отстаивать точку зрения трудящихся. Большевики, межрайонец К. Юренев и левый эсер В. Александрович предлагали свергнуть временное правительство и создать из партий, входящих в Совет, временное революционное правительство. Это предложение было отвергнуто исполкомом 13 голосами против 8. 2 марта на заседании Совета только 19 человек против 400 поддержали радикалов против большинства Исполкома. Предложение Гвоздева тоже не прошло. До мая.

Лидеры Совета понимали, что управлять страной они не смогут, да и вся страна, не связанная с Петросоветом организационно, не станет подчиняться решениям неизвестных пока России людей, лидирующих в этом революционном органе. Революционерам необходимо было еще приобрести достаточную известность и опыт легальной работы, чтобы их авторитет превысил влияние думских лидеров. Поэтому Совет, воспринимавшийся в столице как власть, исходил из того, что правительство будет формироваться думским большинством. Но Совет претендовал на роль верховного контрольного органа. Лидеры Совета считали: "Стихию можем сдержать или мы, или никто. Реальная сила, стало быть, или у нас, или ни у кого"[1192]. Это утверждение было не далеко от истины. Советы стали основной структурой демократии в России. Массы, выдвинувшие своих представителей в Петросовет, требовали революционных преобразований. Социалисты в принципе были согласны, что революцию следует продвигать в сторону максимально возможного демократического варианта капиталистического общества. Но уровень развития страны и обстановка Мировой войны накладывали ограничения на это продвижение.

2 марта думские лидеры согласовали декларацию правительства с представителями Совета. Было решено, что правительство провозгласит в своей декларации амнистию по политическим и религиозным делам, широкие гражданские свободы (в том числе и для военнослужащих), отмену сословных, национальных и религиозных ограничений, замену полиции народной милицией с выборным

начальством, подчиненным органам местного самоуправления. Кроме того, правительство провозглашало начало немедленной подготовки к выборам в Учредительное собрание, а также в органы местного самоуправления на основе всеобщего, равного и тайного голосования, не разоружение и не вывод из Петрограда частей гарнизона, распространение на солдат гражданских прав при сохранении строгой дисциплины на службе[1193]. Плодом компромисса стала и внешнеполитическая декларация нового правительства, признавшая самоопределение народов и отказ от захвата чужих территорий.

В этих решениях не было ничего социалистического. Но для либералов, вошедших в правительство, этот демократический курс был вынужденным, принятым под давлением снизу. Либеральное правительство противостояло демократии советов, но советы приняли решение все же поддерживать правительство, избежав противостояния властей, пока и поскольку правительство соблюдает договоренности.

В итоге образовалось не двоевластие (как принято называть этот период), а сложное разделение властей с широкой автономией каждого уровня. Пока правительство действовало в рамках соглашения с Петросоветом, и советы, и другие органы низовой самоорганизации относились к нему лояльно. Но уже апрельский кризис власти показал, что либеральное правительство расценило соглашения как временный компромисс. Реальное «двоевластие» возникло только осенью, когда Петросовет перешел под контроль большевиков и других лево-социалистических течений, отказавшихся от компромисса с Временным правительством.

* * *

Весной 1917 г. советы выросли во всероссийскую сеть самоорганизации. Советы, как правило, формировались по **принципу делегирования** — нижестоящие организации посылали своих делегатов в вышестоящий совет и могли отозвать или переизбрать их. Этот принцип применялся стихийно, без единых норм представительства и четко прописанной процедуры.

Меньшевик Борис Богданов, обобщая первый опыт советского строительства, уже в марте подготовил правила формирования советов и нормы представительства, которые были приняты Всероссийским совещанием советов рабочих и солдатских депутатов 29 марта – 3 апреля. Заложенный в ней федералистский принцип делегирования сохранился и в дальнейшем.

Первоначальное хаотическое состояние создавало возможности для манипуляции мнением радикальных, но неопытных депутатов, но демократическая процедура постепенно отлаживалась, а члены советов учились политике. До конца 1917 г. (когда большевики стали препятствовать перевыборам советов, а затем перешли к репрессиям против неугодных депутатов) мнение избирателей отражалось адекватно. В современной литературе высказывается мнение о том, что многоступенчатое делегирование менее демократично, чем прямые выборы[1194]. Эта позиция исходит из идеализации парламентских форм государственной организации, которые на деле передают власть не населению, а партийным элитам, фактически независимым от избирателей в промежутках между выборами и почти независимых даже во время выборной кампании. Делегирование при упорядоченном его проведении предоставляет возможности для более реального выражения воли низов, чем соревнование партийных машин, которое мы наблюдаем при массовом голосовании на “прямых” выборах[1195]. Проблема советской демократии заключалась не в авторитарности многоступенчатого делегирования, а в непоследовательном его проведении, недостаточном охвате населения советами.

Федерализм советов стал ответом на нерешенный социал-демократией конца XIX в. вопрос о

демократической организации, способной преодолеть недостатки парламентаризма и бюрократического государства. В то же время, осознавая недостатки только возникающей советской системы, социалисты не решались отдать ей первенство над парламентом, тем более, что выборы в Учредительное собрание должны были стать своего рода революционным плебисцитом по основным вопросам, от которых зависело развитие страны. Для “разового” выявления воли избирателей в условиях революции механизм Учредительного собрания был предпочтителен. За совмещение двух видов демократии выступали и такие коллеги большевиков по коммунистическому движению, как Р. Люксембург[1196], и такие их противники, как В. Чернов[1197], лидер наиболее влиятельной политической силы России 1917 г., партии эсеров.

В то же время умеренные социалисты, лидировавшие в советах до осени 1917 г., осознавали, что органы низового самоуправления не представляют большинства населения. Но, заступаясь за пассивное большинство, пытаясь подвести под государственные решения как можно более широкую социальную базу на выборах в Учредительное собрание, умеренные социалисты рисковали потерять поддержку активного меньшинства населения, от которого в условиях революции зависела судьба власти. В то же время социальные преобразования с опорой на отмобилизованное радикальное меньшинство могли привести к широкомасштабной гражданской войне с теми слоями, интересы которых будут проигнорированы в ходе реформ. Маневрируя между этими Сциллой и Харибдой в течение последующих месяцев, умеренные социалисты вплотную подошли к одной крайности, а большевики – к другой. Но не раз в июне-ноябре 1917 г. возникала ситуация, при которой была возможна и “золотая середина” синтеза самоуправления и общегосударственной демократии.

* * *

Революция 1917 г.[1198] решала не только вопрос о власти, но уже весной стала социальной, меняя принципы организации жизни на всех уровнях вплоть до предприятий. По мнению Д.О. Чуракова “о российской революции можно было бы говорить как о “революции самоуправления”... Но, к сожалению, временами отчетливо намечавшийся союз различных органов самоуправления не стал прочным каркасом будущей государственности”[1199]. Точнее говорить о **«революции самоорганизации»**, так как массовые организации, сотнями возникавшие или выходившие из подполья после революции, редко переходили собственно к самоуправлению. Они пока не брали управление в свои руки, а предпочитали контролировать управленцев и оказывать на них давление. Петроградский совет, имевший наибольшее политическое влияние, весной-летом действовал все же не как орган власти, а как авторитетная общественная организация: он готовил и лоббировал проекты решений правительства и его органов, рассылал «пожарные команды» по урегулированию многочисленных социальных конфликтов, координировал работу профсоюзов и фабзавкомов, воздействовал на массы с помощью воззваний и влиятельных агитаторов[1200]. Пока правительство шло навстречу (или обещало пойти навстречу) предложениям главного органа «демократии», пока городские низы были согласны подчиняться советской дисциплине – эта система сдержек стабилизировала революционный социальный порядок.

Советы крестьянских депутатов опирались на общинные традиции крестьянства, а советы рабочих депутатов – на структуры участия работников в управлении – фабрично-заводские комитеты (ФЗК). ФЗК, в свою очередь, формировались как с помощью прямого голосования, так и принципа делегирования в качестве советов старост, избиравшихся работниками в подразделениях предприятий[1201]. Для текущей работы выделялся президиум и комиссии. Но исполнительные органы только готовили решения, в то время как принимали их как правило пленарные заседания ФЗК. Актив предприятия таким образом находился в условиях постоянной обратной связи с работниками, выслушивая их мнение и разъясняя свои

предложения.

Конфликты, которые не разрешали ФЗК, передавались на рассмотрение райсовета[1202] или других подобных инстанций. Организованные в ФЗК рабочие как правило не претендовали на полное управление предприятиями, а осуществляли рабочий контроль за управлением прежней администрации, а затем и участие в управлении (то есть частичное самоуправление), правила которого в условиях революции не были урегулированы. ФЗК были готовы вмешиваться в разнообразные сферы: продолжительность рабочего дня, минимальная зарплата, форма оплаты труда, организация медицинской помощи, страхование труда, касса взаимопомощи, прием и увольнение, разбор конфликтов, дисциплина труда, отдых работников, охрана завода, продовольственное снабжение[1203]. При всем разнообразии, большинство этих вопросов относятся к компетенции будущего социального государства XX века. **Производственное самоуправление, таким образом, претендовало на нишу либо низового звена такого государства, либо альтернативы ему.** Однако первоначально ФЗК готовы были стать своего рода парламентом предприятия с ограниченными полномочиями. Одни комитеты претендовали только на совещательный голос при администрации, другие – даже на право увольнять руководителей. На предприятиях образовался своеобразный спектр «конституционных устройств» от авторитарной «президентской» до демократической парламентской республики. Но лишь в исключительных случаях ФЗК претендовали на всю полноту власти.

По наблюдению Д. Чуракова, “осознавая себя победителями в революции..., рабочие часто были сговорчивы... Проявления этой первичной “умеренности” рабочих были многоплановы: от приглашения администрации на заседание комитетов для совместного решения проблем производства... до готовности притормозить ввод 8-часового рабочего дня... Но дело в том-то и обстояло, что буржуазия вовсе не была рада подобному положению вещей. Любое вмешательство рабочих организаций, таких, как Советы или примирительные камеры, в ее прерогативы встречало возрастающее сопротивление со стороны торгово-промышленных кругов”[1204].

Более того, низкая компетентность и эгоизм этих кругов вели прямиком к экономической катастрофе. Столкнувшись с требованиями рабочих работать по восемь часов в день (а не по 10-14), несколько повысить зарплату в условиях стремительной инфляции и «вежливого обращения» с подчиненными, предприниматели начали выводить средства предприятий за рубеж. Как можно хозяйствовать в стране, где рабочие требуют таких невероятных прав?!

В результате рабочие были вынуждены создавать ФЗК в качестве «практической, защитной меры»[1205], чтобы ловить предпринимателя за руку. Это давало результаты. Так, 2 июня директор машиностроительного завода Лангезипен объявил о предстоящем закрытии предприятия, так как из-за 8-часового рабочего дня, падения производительности труда, нехватки сырья и топлива в кассе не осталось денег. Центральный совет фабзавкомов организовал расследование, которое вскрыло махинации дирекции. После этого директор «внезапно» нашел 450000 рублей, и предприятие продолжило работу. Аналогичные события (связанные как с махинациями, так и с низкой эффективностью управления администрации) произошли на литейном заводе Бреннера, заводе «Вулкан», снарядном заводе «Новый Парвиайнен» и других столичных предприятиях поменьше. Социально-экономический кризис, вызванный войной, обнажил низкую эффективность и криминальное лицо российского периферийного капитализма, как раз те его дикие и воровские черты, на которые указывали народники. Это лишний раз подтверждало, что избавление от капитализма может пойти на пользу промышленности.

Уже с мая «саботаж» предпринимателей привел в качестве ответной меры к изгнанию администрации с некоторых предприятий (первая волна таких изгнаний наиболее ненавистных начальников произошла сразу после Февральской революции, но с остальными рабочие стремились

установить деловые отношения). До октября зафиксировано 59 случаев смены администрации рабочими. Управление предприятиями переходило или ФЗК, или смешанным органам инженерного персонала и рабочих[1206]. Правительство не имело силы, чтобы подавить эти выступления, и (учитывая факты «саботажа», то есть откровенного разворовывания капитала предприятий его хозяевами) это бессилие власти было спасительным для заводов. Во время Перестройки 80-х гг. трудовые коллективы не были столь же решительны и не смогли противостоять аналогичному процессу. Но и в 1917 г. большинство коллективов до октября не пошло дальше рабочего контроля, опасаясь, что без капиталиста еще нельзя обойтись. А вот капиталисты, оправившись от первого испуга весны 1917 г., стали требовать ликвидации фабзавкомов и по возможности игнорировали их решения. Это ставило вопрос о том, что рабочие должны были либо капитулировать (что во многих случаях означало локаут), либо распрощаться с капиталистами. Как справедливо пишет Д. Мандель, «усиленное наступление промышленников подрывало главную предпосылку движения за рабочий контроль – наличие капиталистической администрации, заинтересованной в дальнейшем ведении дел»[1207].

Насколько органы производственного самоуправления, еще не успевшие приобрести опыт работы, могли управлять предприятиями в тяжелейших условиях нараставшего экономического хаоса? ФЗК не успели в достаточной степени проявить себя как органы экономического управления – после прихода к большевиков к власти они были в январе 1918 г. объединены с профсоюзами. Лишь на отдельных предприятиях ФЗК успели приступить к исполнению управленческих функций. Результат их хозяйственной деятельности не мог проявиться за несколько месяцев, и мы можем оценить основные стремления масс трудящихся, вышедших из-под контроля одной элиты, но еще не попавших под управление другой.

ФЗК стали создавать собственную систему координации распадающихся хозяйственных связей России, параллельную не только государству и монополистическому капиталу, но и советам[1208]. В мае ФЗК стали брать на себя контроль за расходованием топлива, соблюдением технических норм на производстве, регулировали найм, внутренний распорядок на предприятиях, занимались вопросами производственной дисциплины. Затем они переходили к распределению прибыли, поиску рынков сбыта, топлива и сырья, организации прямого обмена между предприятиями (посылка «толкачей», характерная позднее для советской экономики). Анализ протоколов ФЗК Патронного завода в Петрограде за сентябрь – месяц, относительно спокойный в политическом отношении – показывает, что из 15 вопросов, рассматривавшихся ФЗК, 6 были посвящены экономике (реорганизации структуры предприятия, его внешнеэкономическим связям, распоряжению имуществом), 5 – социальным отношениям (правам рабочих, зарплате, быту), 4 – политической борьбе[1209].

Временное правительство в лице его социалистического крыла пыталось отреагировать на вызов фабричной самоорганизации. На государственных предприятиях с наиболее активными ФЗК, в частности на Путиловском, предлагалось создать совместные комиссии ФЗК и администрации для «регулирования всей работы завода». Эта идея предвосхищала реформы, которые будут в 20-е гг. и во второй половине XX века проводиться в Западной Европе. Но в 1917 г. рабочие не согласились на условия Временного правительства, так как им предлагалось получить меньшинство голосов в комиссии. Как говорилось при обсуждении этого вопроса на Центральном совете ФЗК, «предприниматели в настоящее время изыскивают все пути, чтобы рабочие сами себя секли кнутом. Мы без функций действительного контроля в этот орган идти не должны»[1210]. Не предоставив рабочим органам достаточных прав, Временное правительство упустило шанс интегрировать это движение в легальную систему управления. Точно также коалиционное правительство упустило шанс интегрировать советы, рассчитывая, что влияние в них социалистов уже само по себе гарантирует лояльность советов новому курсу. Но по мере углубления кризиса, в условиях **неуступчивости предпринимателей на фабриках и либералов в правительстве,** парализовавших социальные преобразования, волей-неволей и советы, и ФЗК тяготели к решительной позиции

большевиков.

Но и это сближение шло непросто. Ленин критиковал ФЗК за то, что они выполняют при администрации роль «мальчиков на побегушках»[1211]. Но фабзавкомы заботила не прибыль предпринимателя, а судьба предприятий. Если предприниматель плохо выполнял свои функции, рабочие ставили вопрос о его изгнании, если администрация уступала и под контролем начинала работать лучше, в интересах рабочего было сотрудничать с ней в деле спасения завода, одновременно обучаясь делу управления[1212].

Рабочий актив был достаточно прагматичен. Столкнувшись со сложностью задач управления предприятием, большинство членов ФЗК не горели желанием брать в свои руки всю власть. В то же время рабочие были настроены все радикальней и давили на ФЗК, требуя более жесткого контроля над негодной администрацией. Большинство лидеров ФЗК пытались противостоять этому «заражению» рабочих анархо-синдикализмом, но перед лицом «контрреволюционного саботажа» администрации могло противопоставить этим двум тенденциям одно – требование национализации. Если предприятием не может управлять капиталист и старый администратор, а лидеры коллектива не решаются взять управление на себя, остается бить челом новому революционному государству. Когда Временное правительство продемонстрировало неспособность ввести государственное регулирование экономики, фабричный актив стал выступать за власть советов, рассчитывая превратить ФЗК в низовые структуры нового государственного управления и контроля.

* * *

Если город был авангардом демократической “революции самоорганизации”, то ее прочным тылом была деревня. За организацию гражданских структур в многомиллионной толще крестьянства взялись эсеры. Но ПСР была не столько демиургом, сколько координатором этого процесса.

Первоначально в деревнях на базе общины возникали как советы, так и крестьянские союзы. Партия эсеров, в это время пользовавшаяся доверием большинства политически активного крестьянства, первоначально также поддерживала и советскую инициативу, и крестьянские союзы. Но объединение крестьянских организаций в советы, основанное на коллективном членстве, шло быстрее. В региональных центрах делегаты сельских сходов, кооперативных и других аграрных организаций с мест создавали региональные советы, и ПСР склонилось к поддержке этой формы самоорганизации масс деревни[1213].

Главный вопрос, обсуждавшийся крестьянскими советами – предстоящий переход всей земли крестьянам. Немедленный захват земли мог вызвать конфликты в среде самих крестьян. Во избежание социальных столкновений следовало ясно определить принципы земельного передела и подтвердить права новых собственников авторитетом не Временного правительства, а Учредительного собрания. Эта схема казалась весьма убедительной, но требовала длительной подготовки, тщательного учета населения и земли. Троцкий бросил Чернову упрек: «Мы надеялись иметь министра аграрной революции, а получили министра аграрной статистики»[1214]. План социализации не учитывал фактор времени — нетерпения крестьянских масс и стремительно ухудшавшейся социально-экономической ситуации.

Перспектива Учредительного собрания заслонила от части лидеров революционной демократии возможность проведения временных мер, смягчающих социальную напряженность. Программу этих мер продиктовало эсерам само крестьянство, делегаты которого собрались 4 мая на I **Съезд советов крестьянских депутатов** — самый представительный форум 1917 года. Поддержав эсеровскую программу аграрной реформы, делегаты крестьянства проголосовали за передачу помещичьих земель в

распоряжение земельных комитетов, избранных на местах. Именно эти комитеты должны были определять порядок пользования землей. Крестьяне требовали запрета земельных сделок вплоть до принятия закона о переделе[1215].

* * *

Из-за войны и революционных событий усиливался экономический кризис, ухудшавший и без того тяжелое положение трудящихся. Это порождало массовое отчаяние, стремление к быстрым и решительным мерам, качественно изменяющим общество — социальный радикализм. Силой, которая взяла на себя лидерство радикально настроенных солдатских и рабочих масс, стали большевики.

Особое значение для судеб революции имело **возвращение** в страну вождя большевиков В. **Ленина**. Троцкий позднее писал: «Остается спросить, и это немаловажный вопрос, хотя поставить его легче, чем на него ответить: как пошло бы развитие революции, если бы Ленин не доехал до России в апреле 1917 года»[1216]. Действительно, Ленин своим политическим искусством и волей значительно усилил радикальную составляющую революции. Без него большевики и меньшевики могли объединиться в социал-демократическую партию, что ослабило бы ударную силу большевизма. Ниша лидерства в среде наиболее радикальных масс перешла бы к анархистам (эта угроза слева преследовала большевиков весь 1917 год), и организованность этой силы была бы значительно меньше. В то же время без Ленина были бы выше шансы на консолидацию сторонников социальных реформ в спектре от Каменева до Чернова. Без Ленина лидером революции был бы Чернов, но вполне возможно, что коалиция умеренных социалистов, поправев после подавления анархистских бунтов, не удержалась бы под ударами контрреволюции. У Чернова, Каменева, Троцкого, левых эсеров не было такой воли в борьбе за власть, как у Ленина. Ленин доказал свою способность проводить намеченную стратегию, его оппоненты проиграли. Проиграли бы они более слабым противникам, чем Ленин (таким как Корнилов, Милюков, Керенский)? Или, столкнувшись с трудностями в проведении реформ, сами стали бы прибегать к более авторитарной, репрессивной политике? Ведь участвовали же Каменев и Троцкий в проведении политики «военного коммунизма», и даже эсеровское правительство Комуча в условиях гражданской войны в 1918 г. прибегло к репрессиям. Но именно возможность избежать гражданской войны и составляла суть многопартийной социалистической альтернативы ленинской политике.

Сразу же по прибытии в Россию Ленин стал решительно менять соотношение политических сил. Вопреки сопротивлению более умеренных лидеров большевизма (Л. Каменев, И. Сталин) Ленин настоял на новом курсе — курсе на социалистическую революцию. Эта стратегия, изложенная В. Лениным в нескольких речах и **“Апрельских тезисах”**, выглядела сверхрадикальной, так как предполагала ликвидацию в ближайшее время самих основ существующего общества.

Ленин считает, что, свергнув самодержавие, российская революция «дошла вплотную до революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства», то есть до задач, которые он ставил в 1905 году. Революция «зашла дальше обычной буржуазно-демократической революции, но не дошла еще до «чистой» диктатуры пролетариата и крестьянства»[1217]. Ленин таким образом готов ставить задачу коалиционной власти. Это значит, что и он мог стать частью широкой коалиции, но не социалистов и либералов, а только социалистов и примыкающих к ним демократов.

В «Апрельских тезисах» Ленин проповедует «необходимость перехода всей государственной власти к Советам рабочих депутатов, чтобы массы опытом избавились от своих ошибок»[1218]. Совет – это «шаг к социализму», он может созвать Учредительное собрание и полностью реорганизовать общество так, что в нем не останется назначаемого чиновничества (только выборное), полиции и казарменной армии. Ленин

призывает рабочих: «Пробуй, ошибайся, учись, управляй»[1219].

Идея передачи всей власти советам воспринималась большинством умеренных социалистов как абсурд – ведь в Совете митинговали неизвестные люди из народа. Но советы быстро учились работе. Журналист В. Розанов, позднее известный консервативными взглядами, признавал, что в Совете «ораторы определенно лучше, нежели как были в Г. Думе», «речи вообще не для красноречия и даже не для впечатления, а именно – деловые, решительные, требовательные или – разъясняющие вопрос»[1220].

Ленин тем временем ставит задачи, выработанные еще в 1905 г.: «Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, – ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства»[1221]. Характерно, что Ленин видит причину перехода власти к буржуазии не в объективных социально-экономических условиях, а в субъективном факторе несознательности и неорганизованности пролетариата. Был бы рабочий класс сознательнее – взял бы власть сразу. Это (в отличие от экономической и культурной отсталости) партия большевиков может поправить, и тогда пролетариат и беднейшее крестьянство возьмут власть, создав «Республику Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху»[1222].

Апрельские тезисы с точки зрения нынешнего левого почвенника С. Кара-Мурзы – это программа «продолжения некапиталистического пути развития в форме социализма». Он утверждает, что апрельские тезисы Ленина – это «завершение большого пути Ленина», когда он перестает быть «ортодоксальным марксистом и европоцентристом»[1223]. Написать такое мог только человек, ничего не читавший из написанного Лениным в 1917-1922 гг. о мировой революции. В самих апрельских тезисах нет ничего, что опровергало бы европоцентристскую картину движения к социализму с опорой на развитые страны. Ленин считал, что развитие России было как раз капиталистическим, и именно поэтому можно ставить пост-капиталистические (а не просто некапиталистические) задачи. Ленин, повторим, не стал народником. Но он стремился действовать здесь и сейчас, чтобы с помощью потенциала периферии изменить соотношение сил в ядре системы империализма.

Ленин отходил от марксизма только с точки зрения ортодоксии теоретиков Второго интернационала. Концепция Ленина была охарактеризована газетой “Единство” (редактор Г. Плеханов) как “бредовая”[1224], игнорирующая условия места и времени. Плеханов утверждал: «устранение капиталистического способа производства никак не может стать у нас очередным историческим вопросом. Этому можно радоваться; этим можно огорчаться. Но кто не утопист, тот обязан руководствоваться этим в своей практической деятельности»[1225]. Плеханов был подержан большинством социал-демократических идеологов. Многие из них доживут до того времени, когда большевики сумеют практически извести в своей стране частную собственность и капиталистический рынок. Обстоятельства «места и времени» посмеялись над схемой поступательного изживания капитализма. Впрочем, позднее история посмеялась и над ленинизмом.

Социал-демократическая “Рабочая газета” писала в передовице о стремлении сторонников Ленина осуществить захват власти пролетариатом: “они будут восстанавливать против революции отсталое большинство населения страны, они будут прокладывать этим верную дорогу реакции”[1226]. Лидеры социал-демократов и эсеров продолжали оценивать большевизм в рамках одномерной логики революционного процесса. Здесь было место только прогрессивной революционной перспективе (демократия, затем постепенное вызревание социализма), неустойчивому настоящему, которое принадлежит “буржуазии” и выражающему ее интересы либерализму, и реакции (откат к военно-аристократической диктатуре). Устойчивое движение к новому обеспечивалось союзом либерализма и умеренного социализма. Радикальные, утопичные действия большевиков не могли увенчаться успехом в

силу их “ненаучности”. Они могли лишь привести к реакционному срыву, к усилению позиций консервативных сил. То, что большевизм может создать новую устойчивую антикапиталистическую систему, считалось невозможным.

Зато ленинская стратегия встретила понимание Троцкого и других левых социал-демократов-межрайонцев. То, к чему призывал Ленин, соответствовало идее непрерывной революции. Несмотря на сохранение значительного влияния правого крыла большевиков (Л. Каменев, Г. Зиновьев, Н. Рыков и др.), которое ориентировалось на союз с другими социалистическим партиями, на VII конференции большевиков победила линия Ленина. «Перерастание» революции в новую, социал-этатистскую фазу, получило в лице большевизма свой локомотив.

Социалисты у власти

В ситуации весны 1917 г. лидеры масс могли лишь корректировать их движение, но не определять его направление. Между тем настроение столичных низов становились все более нетерпеливыми. В апреле произошли столкновения между сторонниками и противниками политики либерального правительства[1227]. Стало ясно, что если в правительство будут входить лидеры только одного узкого сектора общества – либерального, то это может быстро привести к гражданской войне. Правительство должно было опираться на более широкие слои – в том числе и на те, что были объединены советами.

5 мая правительство было реорганизовано – в него вошли социалисты, лидировавшие в Петроградском совете – В. Чернов, М. Скобелев, И. Церетели, А. Пешехонов. Два министерства возглавил А. Керенский. В. Чернов заявил об ответственности социалистических министров перед советами и даже назвал съезд крестьянских советов "нашим социалистическим Учредительным собранием"[1228]. Таким образом, была выдвинута идея правительства, ответственного перед советами (но не перед пролетариатом, как предлагал Ленин). Но она пока не получила развития.

Считалось, что представители социалистических партий и так **представляют во власти «демократию»**. Но массы на улицах могли признать министров своими, лишь если те начнут действовать в интересах трудящихся классов.

Перед меньшевиками встала сложная задача – как совместить их участие в правительстве с прежними теоретическими догматами, воздвигнутыми в ходе революции 1905 г. Входить в правительство вместе с буржуазией и даже с крестьянством – многократно осужденный мильеранизм. Но еще страшнее – брать власть от самим. В большинстве своем меньшевики продолжали считать, что захватить власть у буржуазии, воспользовавшись "минутным" соотношением сил — значит вызвать катастрофу, срыв продвижения к социализму. Рабочее правительство будет легко разгромлено, и восторжествует реакция.

Выступая накануне майской конференции РСДРП и вхождения социалистов в правительство, П. Аксельрод утверждал: "Вредно требовать низложения буржуазного правительства, так как пролетариат при данных условиях не может справиться с задачей управления страной... Тактика, повелительно диктуемая пролетариату условиями момента, должна основываться на поддержке Временного правительства и одновременном широком участии представителей пролетариата во всех отраслях общественной и государственной деятельности... Эта работа может носить оппозиционный характер, но, повторяю это и особо подчеркиваю, лишь в пределах, определяемых буржуазным характером революции"[1229].

Наиболее влиятельные меньшевики отрицали союз с крестьянством против буржуазии. Они воспринимали крестьянство как мелкую буржуазию, объективно враждебную "пролетарскому" социализму и тяготеющую к собственно буржуазии – гегемону нынешней революции. Об этом недвусмысленно говорил Ю. Мартов, не связанный союзническими обязательствами с крестьянской партией эсеров. Но и он признавал, что именно эта сила станет лидировать в буржуазной революции после того, как революционный потенциал цензовых элементов окажется исчерпанным[1230].

Несмотря на все эти соображения, меньшевики вошли в правительство вместе с кадетами и эсерами. Вхождение в правительство «национального единства» уже опробовали авторитетные западноевропейские коллеги – особенно во время войны. Инициативу в вопросе о вхождении в правительство проявила группа грузинских меньшевиков. Они не были связаны теоретическими построениями, характерными для Мартова и Плеханова, зато в родной Грузии влияние меньшевиков было настолько велико, что они готовились там взять всю полноту власти.

Во власть пошли не теоретики, а прагматики меньшевизма. Одним из них был М. Скобелев. Министерство труда во главе с ним активно противостояли деятельности фабрично-заводских комитетов. Скобелев считал, что при разрешении трудовых конфликтов последнее слово должно принадлежать «власти, представительнице целого»[1231]. Такой разрыв с марксизмом в условиях 1917 г. поставил социал-демократов в крайне уязвимую позицию. В условиях острых социальных конфликтов любое решение министерства Скобелева вызывало критику справа и слева, падение авторитета как правительства, так и меньшевизма.

Ни в Грузии, ни в России социал-демократы не собирались строить социализм. Но актуальные экономические взгляды меньшевиков исходили из преобладающего среди социал-демократов этатизма.

* * *

Задачи социального государства и государственного регулирования оказались той переходной задачей, решением которой социалисты могли заняться, не претендуя на то, что они создают социализм.

Эти задачи соответствовали и мерам государственного регулирования, которые осуществлялись во время Первой мировой войны в ряде стран. Министр-меньшевик И. Церетели провозглашал: «Если государственная власть в единении с демократией не примет решительных мер к организации производства, кризис неизбежен»[1232]. Министр-эсер Чернов утверждал, что Министерство продовольствия разрастется в Министерство снабжения. После вхождения социалистов в правительство казалось, что реформы начнутся вот-вот.

К середине мая экономический отдел исполкома Петросовета, который возглавил ведущий экономист меньшевиков В. Громан, подготовил предложения по реформированию экономики. 16 мая они были одобрены Исполкомом Петросовета, то есть лидерами умеренных социалистов. Резолюция требовала «непреклонной решительности в деле сознательного государственного вмешательства в народнохозяйственные и социальные отношения». Иначе – катастрофа. Меньшевики отождествляли регулирование экономики с этатизмом (не даром в 20-е гг. Громан станет одним из авторов большевистского плана Первой пятилетки). Руководство хозяйством должно быть сосредоточено в руках Комитета снабжения, поглотившего все ведомства, ныне отвечающие за снабжение армии и населения. Этот бюрократический монстр станет руководить хозяйством. Будет введена государственная монополия не только на хлеб, но и на другие продукты широкого потребления (мясо, соль, кожа), добыча угля и нефти, производство металла, сахара и бумаги перейдет в руки государственных трестов. Цены будут зафиксированы, банки поставлены под контроль государства, трудовые ресурсы будут распределяться Министерством труда[1233]. Авторам этого проекта казалось, что сосредоточение всей власти в руках такого бюрократического супер-ведомства покончит с ведомственностью и хаосом распределения. Опыт развития советской экономики показывает, что эти надежды были наивны. Но проект Петросовета имел принципиальное отличие от практики СССР – **государственное управление предполагалось воздвигнуть на демократическом базисе**. В центре и на местах планировалось создать Экономические советы из представителей общественных организаций, которые будут обсуждать и вырабатывать планы, реализуемые структурами управления и регулирования хозяйства. Экономический совет станет «экономическим мозгом» страны[1234]. Неизвестно, насколько такие экономические «парламенты» могли бы поставить под контроль хозяйственную бюрократию. В XX веке попытки демократического регулирования экономики давали разные результаты. Но опыт XX века свидетельствует также и о том, что в условиях распада капиталистического рынка (а в России 1917 г. происходило именно это) без решительного государственного регулирования не обойтись. Несмотря на все издержки бюрократической

экономики, просто бездействие и надежды на рыночную стихию – более разрушительны.

По мнению В. Громана, высказанному на заседании рабочей секции I съезда советов, “настала последняя минута, когда государство должно, наконец, поставить и немедленно приступить к осуществлению грандиозной задачи организации народного хозяйства. От анархического производства необходимо перейти к организованному производству по заданиям государства, с тем, чтобы была использована максимальная производительность национального труда”[1235]. В условиях быстрой социальной самоорганизации этот бюрократический идеал дополнялся поддержкой “органов революционного самоуправления народа”.

Предложения Петросовета от 16 мая были проигнорированы правительством. Министры-социалисты не стали настаивать, и этим фактически обесценили свое вхождение в правительство с точки зрения интересов социалистического движения. Умеренные социалисты углубляли и расширяли свои предложения и на I съезде советов, и на Государственном совещании, а правительство продолжало стоять на страже частной собственности, что погружало страну в экономический хаос.

Идея государственного регулирования экономики потонула в обсуждениях и согласованиях. Когда Скобелев на заседании Петросовета призвал реквизировать сверхприбыли, обложив буржуазию прогрессивным налогом, анархист Солнцев при одобрительном смехе зала возразил: «Скобелев заговорил языком ленинцев. Он требует реквизиций, но все это делается под влиянием момента и дальше фраз не идет. Вы хотите реквизировать прибыли буржуазии, и вам здесь аплодируют, но вас в правительстве 5 из 16, и я хотел бы присутствовать на голосовании не здесь, а там, в Министерстве»[1236]. Решительные предложения социалистов были несовместимы с форматом коалиции. Министры-социалисты понимали, что бездействие означает катастрофу – и бездействовали. Катастрофа явилась осенью – что же винить в этом одних большевиков.

* * *

Эсеры не были скованы марксистской социологической схемой и стремились начать движение к социализму здесь и сейчас. Но только для лидеров партии путь этот представлялся длительным, и в России начать его следовало с аграрной реформы. Именно на ней и сосредоточились эсеры в рамках разделения труда с меньшевиками.

Но полностью отстраниться от городских проблем было невозможно. П. Фирсов, выступавший на III съезде ПСР с докладом о рабочем движении, говорил: «неизбежен в дальнейшем такой процесс, когда нынешние совещания и комитеты будут преобразованы в органы снабжения населения предметами первой необходимости, а заводские комитеты станут неразрывной частью органов снабжения»[1237]. Этот подход диктовал и поддержку советов в качестве центров экономической власти: «Самым ходом вещей» советы «стали высшим органом управления хозяйственной жизнью»[1238]. Здесь желаемое выдается за действительное – большинство предприятий находилось в частной или казенной собственности, советы и фабзавкомы могли воздействовать на управление, но еще не взяли его в свои руки.

Но как раз эсеры и меньшевики препятствовали переходу предприятий в руки коллективов и советов, хотя в рядах ПСР довольно рано проявилось стремление к такой перспективе. Эсеры, как и меньшевики, не настаивали на мерах государственного регулирования, за которые высказывались их вожди. Левое крыло эсеров все более настойчиво требовало действий, товарищи по партии отвечали: не сейчас, позднее.

Медлительность дрейфа ПСР влево привела к выделению в ее составе группы лидеров (М. Спиридонова, В. Карелин, М. Натансон, А. Колегаев и др.) и организаций (Петроградская, Казанская и др.),

которые считали невозможным затягивать выполнение основных требований эсеровской программы. Близость стратегических взглядов левой и центристской фракций эсеров до времени предотвращала раскол ПСР.

Что останавливало большинство ЦК эсеров на пути преобразований? Ведь они не были скованы меньшевистскими догмами.

Лидеры революционно-демократических партий всю жизнь боролись за социальные преобразования. Эсеры считали, что момент их прихода к власти будет стартовой точкой радикальной аграрной реформы с последующим движением к социализму. И вот теперь, оказавшись у власти, они воздерживались от проведения преобразований до созыва Учредительного собрания. Этот парадокс, во многом предопределивший поражение эсеров и меньшевиков, определялся обстоятельствами «места и времени»: “Если войну необходимо продолжать, то для этого необходимо было единение всех “живых сил страны”, как тогда говорили, а такой “живой силой” считалась тогда и буржуазия, — воспроизводил логику лидеров Партии эсеров член ее ЦК Н. Быховский. — Отсюда необходимость хотя бы временного соглашения с буржуазией, во имя интересов войны, защиты отечества... Для продолжения войны необходимы были займы союзников, а при полном устранении от власти “цензовых элементов” союзники не доверили бы нам своих средств. Далее, интересы внешней войны требовали недопущения гражданской войны внутри страны, а немедленный захват земли мог вызвать такую войну, ослабить фронт и боеспособность армии, командный состав которой состоял в огромной части своей из представителей буржуазного класса”[1239].

Война, которая создала предпосылки для столь радикальной политической революции, теперь тормозила социальную революцию. Но затягивание преобразований и ухудшение положения населения грозили сделать продолжение революции куда более разрушительным, чем ее начальная стадия.

Война была оправданием вскрывавшейся неспособности социал-демократии хотя бы приступить к осуществлению своего проекта, когда восставший народ представил такую возможность. Но война – лишь один, и при том не самый существенный фактор торможения преобразований. Ведь если в 1917 г. это торможение происходило в «отсталой» и воюющей России, то в 1918-1919 гг. – в передовой и завершившей войну Германии. В. Чернов писал об этом: «когда мировая война, вдруг обострила все процессы, пришпорила исторических ход развития, превратила медленный, органический ход развития в скачкообразный и сделала роды истории болезненными, а иногда и преждевременными, тотчас же сказалась эта незаконченность, неподготовленность социализма. Она разом выразилась в двух противоположных слабостях: с одной стороны – в растерянности перед сложностью и трудностью выдвинутых жизнью социализаторских задач, растерянности, связанной с кунктаторством, с бессильным нервирующим взволнованные массы топтаньем на одном месте, – а с другой стороны, в головоломном безоглядном социально-экспериментаторстком авантюризме, как-будто забывающем, что все эти опыты производятся не над лабораторными кроликами и морскими свинками, а над живыми людьми, над целыми странами и народами. И в самом ходе этих опытов наблюдался какой-то нервический зигзаг-курс: было очевидно, что экспериментаторы сами не знали, что им делать с отдельными эмбрионами нового общества, созревшими в лоне старого»[1240]. Эта антитеза наводит на мысль, что **экспериментаторство коммунистов** было не их злой волей. Оно **вытекало из нерешительности социалистов и сопутствующего углубления кризиса**. Так что упрек Чернова относится и к его собственной партии, и к нему самому.

Обстановка войны, тактика коалиции, догматы «рамок буржуазной революции», в большей степени характерные для меньшевиков, но влиявшие на эсеров, демократический идеал принятия основных реформ Учредительным собранием, избранным всем народом с безупречной правильностью и потому обладающим беспрекословным авторитетом, – все эти мотивы оставляли социалистам крайне узкие

возможности для преобразований в 1917 г. Но **неготовность конструктивной программы социализма** лежала в основе этой «робости».

Казалось, время работает на социалистов. Вскоре кончится война. Через несколько месяцев будет созвано Учредительное собрание, которое позволит определить направление преобразований, соответствующее настроениям большинства граждан. И тогда нынешние препятствия станут основой необратимости социальных реформ. Даже война создает предпосылки для социализма – в этом Чернов согласен с Лениным. На третьем съезде ПСР он задавал риторический вопрос о судьбе государственного регулирования по окончании войны: «разве те организующие элементы, которые введены в жизнь? Разве они должны исчезнуть?»[1241]. Чернов уверен, что «война есть рубеж, война есть перелом, с которого развитие начал коллективизации во всех странах пойдет и должно будет пойти ускоренным темпом»[1242]. Однако просто сохранение военной системы регулирования недостаточно: «… созданное войной обобществление должно остаться на началах демократизации» и социального права[1243].

Социалисты-революционеры на съезде крестьянских советов выступали за введение твердых цен на товары массового потребления, включая хлеб[1244]. Ради преодоления социального кризиса крестьянство и его лидеры были готовы идти на эти временные меры, в том числе уступки бедствующему рабочему классу. Но, в отличие от большевиков, социалисты не считали эти ограничительные меры переходом к социализму.

Чернов видел необходимость проведения социальных преобразований как можно скорее, но был уверен, что их может провести только широкий фронт «демократии» – эсеры, меньшевики, демократические партии и организации, которые не преследуют социалистических целей, но готовы (в отличие от кадетов и октябристов) поддерживать радикальную демократизацию.

Однако такое возрождение политической конфигурации Парижской коммуны было в условиях 1917 года маловероятно. Партии эсеров и меньшевиков имели в своем составе правые крылья, которые тяготели к союзу с кадетами и выступали категорически против революционных преобразований, а искомые Черновым демократы были маловлиятельны – справа от эсеров начиналась «сфера влияния» кадетов, взгляд которых на демократию принципиально отличался от социалистического – они настаивали на ликвидации советов и связанных с ними низовой самоорганизации. Убеждая союзников справа в необходимости активизировать реформы, Чернов и другие эсеры-центристы просто теряли время.

Попытки министра земледелия, лидера партии эсеров В.Чернова провести хотя бы скромные земельные преобразования в духе требований съезда крестьянских советов встретили сильное сопротивление в правительстве и администрации. Чернов планировал приостановку "земельных сделок, посредством которых у народной власти может утечь между пальцев тот земельный фонд, за счет которого может быть увеличено трудовое землепользование, и переход частной земли на учет земельных комитетов, призванных на местах участвовать в создании нового земельного режима"[1245]. 29 июня Чернов внес в правительство соответствующий проект закона. Категорически против законопроекта выступили кадеты и премьер-министр В. Львов. Только после июльского кризиса, 9 июля закон все же был принят с поправкой — земельные сделки разрешались, но требовали согласия губернского земельного комитета с утверждением министра земледелия[1246]. С такими оговорками закон фактически блокировал земельные махинации. 12 июля Временное правительство разъяснило, что совершенные после 1 марта сделки не будут учитываться при проведении реформ, одобренных Учредительным собранием. Но это был предел вторжения в отношения собственности, на которое пошло коалиционное правительство в аграрной сфере.

А в условиях социально-экономического кризиса и роста радикальных настроений время работало против умеренных социалистов. В ряде регионов крестьяне стали захватывать помещичьи земли,

происходили столкновения с войсками Временного правительства, что компрометировало эсеров в глазах крестьян.

Либерально-социалистическая коалиция становилась несовместимой с реформами и вела февральский режим к катастрофе.

* * *

“Вошедшие во власть” социалисты получили мощный инструмент, способный хотя бы на время создать всероссийскую систему народного представительства, которой правительство было лишено после фактического роспуска Государственной Думы. Это были съезды советов. 2-4 мая проходил съезд советов крестьянских депутатов, на который приехало 1353 депутата (1167 с подтвержденными полномочиями). Более половины депутатов были избраны от армии, то есть от крестьян в шинелях. 4 июня работал Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором присутствовали 1080 депутатов от 336 советов и 23 воинских единиц. Большинство депутатов представляли сотни и тысячи рабочих, крестьян и солдат[1247]. Несмотря на то, что оба съезда не представляли всего населения, они опирались на большинство активных граждан России. То же самое можно сказать и о любом парламенте. Это естественно наводило на мысль о возможности превращения Съезда во временный революционный парламент, который мог выполнять функции законодательного и контрольного органа вплоть до созыва Учредительного собрания. Такая модель власти позволила бы начать социальные реформы, которые ожидали массы, восстановить обратную связь между властью и широкими слоями населения. Пока такая связь поддерживалась только через партийные механизмы. Таким образом, в систему власти удалось бы интегрировать более широкие слои населения, в том числе и радикальные массы, которые шли за анархистами и большевиками. Эсеры и меньшевики, господствовавшие на съездах советов и в представительных органах, созданных ими (Исполком Совета крестьянских депутатов и Всероссийский центральный исполнительный комитет), снова не воспользовались возможностью создать массовую опору революционной власти. К уже перечисленным выше стратегическим причинам этого в условиях коалиции добавились новые мотивы.

Вступив на путь тесного сотрудничества с кадетами, социалисты стремились максимально использовать открывшиеся возможности. Умеренные социалисты преувеличивали влияние цензовых элементов в стране. Социалисты видели в разрыве с буржуазией опасность экономического саботажа, утечки капиталов. Но она происходила несмотря на присутствие цензовиков в кабинете. Опасались и отсутствия поддержки справа в борьбе против большевизма. Это обстоятельство также заставляло часть лидеров социалистических партий противостоять идее правительства без либералов. Возражая В. Чернову, разочаровавшемуся в союзе с кадетами, член ЦК Партии эсеров А. Гоц говорил: "Слева большевики травят десять "министров-капиталистов", требуют, чтобы мы от них "очистились", то есть остались без союзников и скатились им прямо в пасть"[1248].

Выступая на I съезде советов рабочих и солдатских депутатов, В. Чернов назвал идею создания власти на основе системы советов «цензом навыворот»[1249], поскольку в советах состоят не все трудовое население страны. Из этого могло следовать два вывода: либо нужно стремиться распространить советскую систему на всех трудящихся, включая в нее существующие структуры их самоорганизации; либо создавать какую-то более широкую систему, где советы будут только одним из элементов. Чернов и большинство социалистов пошли по второму пути.

Позднее Чернов высказывал такие сомнения: «Советы имеют свою сильную и слабую сторону. Сильная их сторона заключается в политическом руководстве, в мобилизации революционных сил для

действий… Деловая же сторона Советов на местах слаба»[1250]. Нужно объединять советы, органы самоуправления, кооперативы и т.д. В этом «и т.д.» была опасная неясность. Убедившись в недопустимости союза с кадетами, Чернов все же хотел бы, чтобы правительство не было чисто социалистическим, ибо тогда пришлось бы приступать к социалистическим преобразованиям. Иначе народ спросит: где же ваш социализм? Радикальные преобразования расколют массы на сторонников и противников социалистических мер. А ведь в стране шла предвыборная кампания, и самой популярной партии важно было не отпугнуть избирателей.

Таким образом перед страной встала дилемма – **сохранение либерально-социалистической коалиции до Учредительного собрания или создание однородного (без кадетов) правительства «демократии» из всех советских партий, ответственного перед Съездом советов или его органами.**

Первый путь был связан прежде всего с именем Керенского. Он первым из лидеров социалистических партий вошел в правительство, а после июльского кризиса возглавил коалиционный кабинет. Он настойчиво отстаивал коалицию с либералами и ставил перед революцией прежде всего политико-правовые, а не социальные задачи. Второй путь отстаивался группой политиков от лидера эсеров Чернова до лидера правых большевиков Каменева. В этой альтернативе были свои различия. Чернов выступал за создание правительства с явным преобладанием социалистов, которое проводит решительные демократические преобразования (в том числе – социальные), принимает меры к скорейшему заключению мира и опирается на «предпарламент», в котором представлены советы, массовые социальные организации (профсоюзы, кооператоры) и новые, избранные всем населением земства. Левый фланг, представленный левыми эсерами, меньшевиками-межрайонцами и правыми большевиками, выступал за однородное социалистическое правительство (вообще без демократов-несоциалистов), ответственное перед съездом советов.

Идея однородного социалистического правительства была прямо высказана левым крылом ПСР 4 июня на заседании эсеровской фракции I съезда советов. Но когда левые предложили обсудить возможность «взять власть в руки социалистов»[1251], им ответили, что демократия для этого еще слаба, правительство не сможет вывести страну из кризиса, и трудящиеся будут недовольны эсерами. Партийное единство сковывало сторонников левой коалиции в ПСР, и оно же блокировало усилия правых большевиков, поскольку их товарищи по партии скептически относились к идее союза с «соглашателями».

Современный автор И.Х. Урилов считает, что проводниками тоталитарной перспективы в России 1917 г. были Ленин и Корнилов, а демократическое развитие могло идти двумя путями, которые он связывает с именами Керенского и Мартова[1252]. Это все же преувеличивает роль Мартова в событиях 1917 г. Демократизм Мартова не был последователен, иногда он выступал с весьма авторитарными заявлениями: «Нет других средств для спасения революции, как диктатура революции»[1253], – утверждал он после победы над Корниловым. Только в июле Мартов стал признавать возможность «переступить через либеральную буржуазию в целом» при создании власти[1254]. В этом отношении он шел вслед за левыми эсерами. Одновременно и Чернов, вступивший в острый конфликт с кадетами, пришел к выводу, что правительство должно создаваться без них. При всем уважении к Мартову, его влияние в этот период было значительно меньшим, чем у Чернова, Каменева и других лидеров, выступавших против Керенского слева, но не разделявших конфронтационной позиции Ленина.

Сторонники левого правительства, принадлежавшие к разным флангам, не сумели согласовать свои планы (здесь сыграл огромную роль субъективный фактор – нерешительность одних политиков, маловлиятельность других, взаимное, часто чисто личное недоверие и неприязнь друг к другу у третьих). Чернов не пошел на сближение с левыми эсерами и вообще в решающие моменты проявлял колебания, Мартов стремился к сохранению своего влияния в партии меньшевиков, а межрайонцы видели, что их

взгляды ближе большевикам, Каменев и Зиновьев, временами добиваясь преобладания в большевистском ЦК, не могли противостоять волевому напору Ленина и радикальным настроениям петроградского актива. В итоге лево-социалистическая альтернатива оказалась «растащена» между фракциями разных партий. Связующая нить левого лагеря лопнула, и его края стремительно стали сползать к авторитаризму и вооруженной конфронтации.

При прочих равных условиях политика Ленина вела в сторону тоталитарного режима – это диктовалось его приверженностью марксовой модели коммунистического общества с ее экономическим плановым централизмом. Но это – при прочих равных, если власть будет концентрироваться только в руках последовательных радикальных марксистов. Между тем в начале июле и начале сентября 1917 г. Ленин еще мог быть вовлечен в лево-социалистическое правительство, что неизбежно повлияло бы на позицию партии большевиков. Ответственность правящей партии делает ее несколько правее, умереннее. И оба раза умеренные социалисты отказались от шанса договориться.

Государство и революция

Важнейшим программным требованием большевиков была власть советов. Превращение советов в источник власти сделало бы большевиков одной из правящих партий, которая могла бы добиваться радикальной политики без оглядки на кадетов. Большевики справедливо рассчитывали, что переход к радикальной политике быстро выведет их на первые роли в социалистическом правительстве.

Однако приверженность советам вытекала в это время не только из конкретных интересов партии в борьбе за власть. Несколько позднее, уже когда существующие советы, как казалось, оказались непригодными в качестве трамплина на пути к власти, В. Ленин изложил свое социально-политическое кредо в работе "Государство и революция". Эта концепция основана на идее власти советов. В 1917 г. принцип советов был для Ленина дороже политической конъюнктуры – он был готов отстаивать его даже тогда, когда большинство в советах не принадлежало его партии.

Отталкиваясь от текстов К. Маркса и Ф. Энгельса, Ленин формулирует свой государственный идеал так: "демократия, проведенная с такой наибольшей полнотой и последовательностью, с какой это вообще мыслимо, превращается из буржуазной демократии в пролетарскую, из государства (= особая сила для подавления определенного класса) в нечто такое, что уже не есть собственно государство"[1255].

Такая прямая демократия означала бы передачу власти непосредственно органам самоуправления рабочих и крестьян, полную ликвидацию бюрократической надстройки: "Полная выборность, сменяемость в любое время всех без изъятия должностных лиц, сведение их жалования к обычной заработной плате рабочего", эти простые и "само собою понятные" демократические мероприятия, объединяя вполне интересы рабочих и большинства крестьян, служат в то же время мостиком, ведущим от капитализма к социализму"[1256]. Ленин считает, что это будет уже "не государство чиновников, а государство вооруженных рабочих"[1257]. Это почти анархизм. Но только почти: «Маркс сходится с Прудоном в том, что оба они стоят «за разбитие» государственной машины. Этого сходства марксизма с анархизмом (и с Прудоном, и с Бакуниным), ни оппортунисты, ни каутскианцы не хотят видеть, ибо они отошли от марксизма в этом пункте». Но при этом Маркс не федералист, а централист[1258]. Характерно, что когда Бухарин указал на производственный централизм как основное различие марксизма от анархизма, Ленин счел эту мысль «неверной, неполной»[1259]. Централизм должен быть полным, но не государственным, а добровольным объединением, «слиянием» коммун[1260].

* * *

Проблема государства тесно связана с **проблемой свободы**. В трактовке этого вопроса Ленин радикален, как Бакунин: «Пока есть государство – нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства»[1261]. По мнению Т.И. Ойзермана, Ленин противопоставил это положение своей собственной прежней позиции 1915 года, когда он «вслед за Энгельсом», утверждал: «Политической формой общества, в которой побеждает пролетариат, свергая буржуазию, будет демократическая республика…»[1262]. По Ойзерману получается, что здесь Ленин мало что непоследователен, но еще и расходится с «классиком». Однако в чем же здесь расхождение? Т.И. Ойзерману это и самому не очень понятно, потому что он называет первое высказывание Ленина «парадоксальным», а дальнейшее пояснение «мало что разъясняющим». Плохо разъяснил Ленин свою мысль академику. Видимо, надеялся на его многолетнюю марксистко-ленинскую подготовку. Ленин пишет: «обычно понятия «свобода» и «демократия» считаются тождественными и употребляются часто одно вместо другого… На деле демократия исключает

свободу»[1263]. Собственно, мысль Ленина здесь изложена с исчерпывающей ясностью. Демократия по Ленину здесь – власть большинства. Государство (даже демократическое) не предусматривает полную свободу, потому что оно основано на принуждении меньшинства большинством. Свобода при демократии ограничивается. Понятие свободы у Ленина здесь соответствует понятию Бакунина – свобода может быть только полной, урезанная свобода – это не свобода, а несвобода. Не будем, однако, торопиться именовать Ленина бакунистом. Этот подход вслед за Бакуниным разделял и учитель Ленина Энгельс. В 1875 г. он писал: «… пока пролетариат еще нуждается в государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников, а когда становится возможным говорить о свободе, тогда государство как таковое перестает существовать»[1264].

Как видим, Ленин в «Государстве и революции» почти цитирует Энгельса. Попытка Т.И. Ойзермана отделить учителей от ученика опять не удалась. Но что же по существу – есть ли свобода при демократии?

Максимализм в отношении свободы (она или есть, или ее нет) можно подвергнуть терминологической критике: даже в авторитарных режимах существует некоторая сфера свободы для личности, хотя меньшая, чем при плюралистических режимах. То есть свобода в разной степени существует при любом режиме, включая сталинский и современный американский. Но представление о свободе Бакунина-Энгельса-Ленина широко распространено и берет свой исток в либерализме. Д. Милль, которого Т.И. Ойзерман обильно цитирует в качестве критерия истины и классика либерализма, определяет наличие или отсутствие свободы в том или ином обществе.

Если либерал утверждает, что в СССР, например, свободы не было, он использует тот же подход, что и Ленин, утверждающий, что в демократической республике свободы еще нет. А если мы признаем наличие некоторой сферы свободы в некоторых современных странах, то приходится признать это наличие (в меньшей степени) даже в диктаторских режимах. Хотя свобода в полном значении этого слова возможна лишь в таком обществе, где угнетающей силы государства уже не будет. Чтобы избежать двойных стандартов, наличие свободы следует признавать либо везде (но в разной степени), либо пока нигде, поскольку ни один из существующих режимов не обходится без ее существенных ограничений.

* * *

Не только обличители ленинизма, но и авторы, относящиеся к нему с симпатией, иногда закрывают глаза на качественные различия большевизма и анархизма. Кажется, таким образом можно задним числом навести разрушенные мосты в левой среде. Так, В.П. Сапон пишет: в западной историографии «обоснованно фиксируется концептуальное родство многих антиэтатистких положений большевизма и идейного анархизма, доставшихся им в наследство от народнического антиавторитарного социализма»[1265]. Антиэтатисткие положения «Государства и революции» унаследованы не от народничества, а от Маркса непосредственно, что тщательно отфиксировано самим Лениным с цитатами в руках. Однако антиэтатизм у Ленина, как у марксиста, вторичен в сравнении с централизмом. На практике же управленческий централизм всегда воспроизводит этатизм.

Ленин предлагает помогать массам брать в свои руки жизнь на местах. В.П. Сапон видит сходство с мнением Бакунина, который протестует против делания революции «путем декретов»[1266]. И что, Ленин не делал революцию путем декретов? Да Ленин начал свое правление с декретов, и регулярно засыпал ими Россию.

Начав борьбу «за власть советов», Ленин уже в 1918 г. сосредоточит всю полноту власти в едином правительственном центре, превратив советы в исполнительный аппарат. Такая диктатура государственной

верхушки казалась временным явлением, но еще в 1917 г. Ленин четко разъяснил, когда по его мнению государство, контролирующее все стороны жизни общества, должно «отмереть»: «Государство сможет отмереть полностью тогда, когда общество осуществит правило: «каждый по способностям, каждому по потребностям»…[1267] Правда, этот коммунистический принцип по мнению Ленина достижим в обозримой перспективе (но если нет – придется подождать и со свободой, и с «отмиранием» авторитарности).

Сам Ленин считает, что поскольку в структуры советского государства будут вовлечены миллионы простых людей, то оно будет донельзя демократическим. Но на долю масс в его системе выпадает всего лишь контроль за правильным выполнением решений планирующего центра. Контроль организованных в советы масс над управленцами представляется Ленину чрезвычайно простым: «Капиталистическая культура создала крупное производство, фабрики, железные дороги, почту, телефоны и прочее, а на этой базе громадное большинство функций старой "государственной власти" так упростилось и может быть сведено к таким простейшим операциям регистрации, записи, проверки, что эти функции станут вполне доступны всем грамотным людям, что эти функции вполне можно будет выполнять за обычную "заработную плату рабочего", что можно (и должно) отнять у этих функций всякую тень чего-либо привилегированного, "начальственного"»[1268].

Ленин считал, что именно индустриальное общество способно упростить процесс управления (хотя на практике наблюдалось обратное). По существу, надежды, которые едва становятся осуществимыми на современном уровне коммуникаций начала XXI века, Ленин возлагал на технологический уровень индустриальной эпохи. Однако именно эта эпоха с ее высочайшей специализацией, создавала наихудшие предпосылки для контроля снизу за процессом управления и в то же время оптимальные условия для отрыва реальной власти от местных, низовых интересов. Это проявляется и в ленинской теории. Ленин вовсе не отказывается от максимального расширения полномочий самого государства, то есть централизованной структуры управления. Он выступает за всеобщее огосударствление экономики, за "строжайший контроль со стороны общества и со стороны государства за мерой труда и мерой потребления"[1269]. Всевидящее око, тотальный контроль. Поскольку все будут вовлечены в этот контроль, то сама функция управления уже не будет делом профессии. Все будут надзирать за правильностью выполнения указаний центра. Сильный управляющий центр должен опираться на "аппарат", состоящий не из чиновничества, а из выборных работающих органов «вроде советов»[1270].

Такое политическое преобразование по мысли Ленина полностью преобразит социально-экономические отношения. Собственно, в самом «базисе» все уже готово для социализма: «социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»[1271].

Программу “сегодняшнего дня” Ленин формулирует так: "экпроприация капиталистов, превращение всех граждан в работников и служащих одного "синдиката", именно: всего государства, и полное подчинение всей работы всего этого синдиката государству действительно демократическому, государству Советов Рабочих и Солдатских Депутатов"[1272].

Таким образом, в 1917 г. Ленин стремился к созданию нового государственного образования, в котором вся экономическая структура (включая потребление) будет подчинена управляющему центру, опирающемуся на систему демократических органов, контролирующих управленцев и правильность исполнения стратегических решений правящего центра. Достижение индустриального общества должны были обеспечить быстрое согласование интересов внутри этой системы. Когда эта надежда не оправдается, и интересы трудящихся придут в противоречие с намерениями "центра", большевики установят авторитарную диктатуру, подавляющую выступления масс трудящихся, в том числе рабочих.

Анархические одежды спадут с тела радикального марксизма. Нужды управления, которые на практике оказались гораздо сложнее, чем это казалось Ленину первоначально, заставят сохранить и старый (по структуре) бюрократический аппарат. А всеобщее огосударствление экономики приведет даже к его значительному расширению.

Комментируя марксово определение диктатуры пролетариата как государства, представляющего собой «организованный в господствующий класс пролетариат», Ленин пишет: «по Марксу, пролетариату нужно лишь отмирающее государство, т.е. устроенное так, чтобы оно немедленно начало отмирать и не могло не отмирать»[1273]. В этом отношении Ленин потерпел поражение. Созданное им государство не могло не усиливаться, оно не собиралось отмирать и не имело в своем устройстве ничего, что могло бы его заставить отмирать. Но это не значит, что сама задача была нереалистичной. Ведь она ставилась и другими теоретиками социализма, которые предлагали более конкретные механизмы отмирания, встроенные в структуру государства. Просто Ленин отрицал последовательный федерализм, и потому поставленные в «Государстве и революции» задачи не могли быть реализованы силами большевиков. Для успеха левого проекта его большевистская трактовка должна была быть скорректирована другими левыми движениями – потенциальными союзниками большевизма на начальном этапе социалистических преобразований. Ведь только в союзе с другими левыми силами большевики действительно могли получить устойчивую поддержку большинства рабочих. А это по Ленину и по Марксу – обязательное условие существования диктатуры пролетариата.

Характеризуя процесс перехода к новому обществу, Ленин писал: "при переходе от капитализма к коммунизму подавление еще необходимо, но уже подавление меньшинства эксплуататоров большинством эксплуатируемых. Особый аппарат, особая машина для подавления, "государство" еще необходимо, но это уже переходное государство, это уже не государство в собственном смысле, ибо подавление меньшинства эксплуататоров большинством вчерашних наемных рабов – дело настолько сравнительно легкое, простое и естественное, что оно будет стоить гораздо меньше крови, чем подавление восстаний рабов, крепостных, наемных рабочих, что оно обойдется человечеству гораздо дешевле"[1274].

Характерно, что Ленин опубликовал свою работу тогда, когда в России уже шла одна из самых кровопролитных гражданских войн в истории страны. Почему Ленин не видел такого очевидного противоречия? Отвечая на этот вопрос, следует помнить, что Ленин мыслил в категориях мировой революции – всемирного столкновения "пролетариата" и "буржуазии", на фоне которого массовое кровопролитие в России оставалось всего лишь эпизодом. Именно запаздыванием мировой революции, которая должна была подкрепить недостаточные культурные и технологические ресурсы России, объяснялось как отступление от выполнения обещаний большевиков (вплоть до полного отказа от них), так и ожесточенность гражданской войны "из-за вмешательства империалистов". Идея мировой революции была универсальным решением всех теоретических проблем, возникавших в связи с невыполнимостью большевистской программы. Мировая революция должна была сделать невозможное возможным. А пока необходимо было стимулировать мировую революцию созданием в России принципиально нового революционного образования – Республики Советов. Ленин считал: «Задача пролетариата России – довести до конца буржуазно-демократическую революцию в России, дабы разжечь социалистическую революцию в Европе»[1275].

Июльский «мятеж»

Неустойчивость власти в условиях острого социального кризиса приводила к тому, что каждый политический сбой немедленно оборачивался мощными социально-политическими движениями и серьезными столкновениями. Социальный кризис нарастал по сценарию 1848 г. во Франции. Социальные вопросы были поставлены, но социалисты бездействовали, как Люксембургская комиссия, что вело к социальному взрыву.

Большевики не были монополистами на левом фланге политического сектора, где нарастала радикальная политически активная масса. Здесь конкуренцию большевикам составляли анархисты. Терминология анархо-коммунистического лидера Н. Солнцева (И. Блейхмана) вполне соответствовала большевистской (за исключением слова “анархия”, вместо которого последователи Маркса употребляли термины “коммунизм” и “социализм”): “разрушение капиталистического строя со всеми его устоями, орудиями угнетения и эксплуатации есть единственное средство, которое принесет мир всем народам”, необходим захват “всех орудий производства... в общее пользование” и свержение “общественного паразитизма”[1276]. Впрочем, если бы мысли об обобществлении были изложены более спокойным тоном, под ними подписались бы и умеренные социалисты. В условиях конкуренции с анархистами за влияние на возбужденные массы, большевики должны были выступать с радикальными инициативами.

На 10 июня они планировали вооруженную демонстрацию, чтобы надавить на Съезд советов и правительство. Как пишет Б.Д. Гальперина, «она должна была показать лидерам съезда и Петроградского совета, что их большинство призрачно и опирается на незрелую в политическом отношении провинцию, петроградские же рабочие уже поддерживают большевиков»[1277]. Демонстрация должна была быть направлена прежде всего против «министров капиталистов» (то есть кадетов и представителей буржуазии). Лидеры умеренных социалистов опасались, что демонстрация подвергнется нападению правых организаций (Союза георгиевских кавалеров, казаков и др.). Эти опасения не были лишены оснований – такие нападения действительно произошли во время демонстрации 3-4 июля. В накаленной обстановке провокация правых могла привести к восстанию левых. Держа в голове эту опасную перспективу, лидеры Съезда советов запретили демонстрацию 10 июня и предложили большевикам принять участие в объединенной демонстрации всех левых сил 18 июня.

Уступая требованию «соглашателей», большевики теряли лицо. Но проводя демонстрацию, перерастающую в вооруженное столкновение, они рисковали оказаться в глазах рабочих виновниками кровопролития, безрассудными авантюристами. Сила большевиков заключалась помимо прочего в организационной инфраструктуре, и рисковать ей Ленин был готов только при решающей схватке за власть, время которой по его мнению еще не пришло. Более того, если большевики спровоцируют серьезные столкновения, на них наверняка попытаются свалить неизбежную неудачу предстоящего наступления. А вот после провала наступления, в котором большевики мало сомневались, их влияние наверняка вырастет. Так что наращивание конфронтации в июне было невыгодно большевикам.

В последний момент ЦК большевиков отменил демонстрацию. Это вызвало разочарование наиболее радикальных противников Временного правительства слева. Петроградский комитет и «военка» (военная организация большевиков) были разочарованы поведением ЦК. Некоторые рядовые большевики в гневе рвали партбилеты[1278]. В столице росло влияние анархистов.

Однако объединенная демонстрация всех советских сил 18 июня показала явное преобладание большевистских лозунгов. У Ленина и его товарищей были основания считать, что время работает на большевиков.

* * *

Ситуация обострилась после начала наступления на фронте. Оно было не популярно – даже Чернов считал его лишь меньшим из двух зол[1279]. Чем бы закончилось это кровопролитие, было очевидно, что решающей победы не будет, а вот поражение более чем вероятно. По окончании сражения оппозиция получила бы новые шансы для атаки на Керенского, репутация которого как военного министра была напрямую связана с этим сражением.

Но события развивались не так, как планировал Ленин. Большую роль в этом сыграли анархисты. В июне возросло их влияние в войсках Петроградского гарнизона и в рабочем Выборгском районе. Конфликт правительства с анархистами сыграл летом 1917 г. роль катализатора социального брожения. 5 июня анархисты попытались захватить типографию правой газеты “Русская воля”. Попытка была ликвидирована без жертв, но в ответ министр юстиции попытался выселить анархистов из их резиденции на даче Дурново, что вызвало забастовки на 28 заводах. Влияние анархистов среди рабочих Выборгской стороны было велико, дача была центром культурно-просветительской работы (правительственные чины пытались представить ее чем-то вроде притона, что совершенно не соответствовало действительности)[1280]. Рабочие получили в этом вопросе поддержку ВЦИК[1281]. Конфликт растянулся на весь июнь и превратил анархистов в детонатор антиправительственных волнений. Радикальная агитация и акции анархистов могли превратить их в лидеров значительной части тех рабочих и солдат, которые прежде шли за большевиками.

Умеренные социалисты также использовали факто анархизма для критики большевиков. На заседании рабочей секции Петросовета представитель эсеров Гамбаров говорил о большевиках: «разница между ними и анархистами та, что анархисты смелее в своих суждениях»[1282]. Если раньше большевиков критиковали за их радикализм, то теперь подорвать их авторитет среди радикальных масс можно было напоминанием о более радикальной силе.

18 июня анархисты снова испортили большевикам праздник, показав, что они радикальнее и решительнее. После общей демонстрации анархисты увлекли за собой часть колонны и освободили несколько заключенных, которых считали политическими. 19 июня власти все-таки захватили дом Дурново, при чем один анархист погиб. Конфликт оказался в центре внимания политических сил и разбирался на исполкоме Петросовета. Таким образом, анархисты оказались страдальцами за дело народное, а большевики после 10 июня выглядели оппортунистами.

Анархисты были популярны в 1-ом пулеметном полку. Несколько подразделений полка были отправлены на фронт, что нарушало мартовские договоренности совета и правительства. Полк был наиболее радикальной военной частью, за влияние на него с анархистами боролась большевистская «военка». Пулеметчики считали себя гарантами революции в столице и не желали отправляться на фронт, тем более, что левые социалисты объяснили им: война ведется за интересы, чуждые трудящимся.

Пулеметчики уже с 1 июля были готовы выступить против Временного правительства. Эсеро-меньшевистский полковой комитет еле сдерживал их. 2 июля ЦК РСДРП(б) категорически приказал «военке» сдерживать выступление пулеметчиков. Приказ этот «военка» выполняла без энтузиазма.

3 июля 1917 г. стало известно, что и правительство накануне распалось из-за выхода кадетов из кабинета в знак протеста против предоставления Временным правительством широкой автономии Украине. Правительство было парализовано, войска наэлектризованы. Для большевистского ЦК это обострение ситуации было внезапным. Ленин вообще был загородом.

На митинге 3 июля, где выступил Солнцев, солдаты поддержали лозунг “Вся власть советам!” Солнцев выступал за переизбрание советов[1283]. По призыву анархистов солдаты двинулись на демонстрацию с оружием. А. Невский вспоминал, что члены «военки» поняли: «сдержать солдат от выступления мы не сможем»[1284]. Так что вопрос состоял только в том, кто будет лидером возбужденной солдатской массы. Перед солдатами-пулеметчиками, входившими в большевистскую «военку», встал выбор – или отдать полк анархистам, или присоединиться к выступлению вопреки линии ЦК. Они выбрали второе. Делегаты полка были направлены в другие части гарнизона и на фабрики. Вскоре на улицы вышла грандиозная вооруженная демонстрация, противники правительства заняли Финляндский вокзал. Колонны двинулись к Таврическому дворцу.

ЦК большевиков принялся сдерживать выступление, которое счел авантюрой анархистов. Ленина не было в городе, так что от имени ЦК руководили Каменев и Зиновьев, придерживавшиеся умеренной линии на компромисс с социалистами и руководством советов. Однако рабочие массы были взбудоражены ситуацией, и рабочая секция Петросовета проголосовала за большевистское требование передачи всей власти советам. Более того, особенно активно за это выступали даже не большевики, а левые меньшевики и все тот же Солнцев[1285].

В ночь на 4 июля наличные члены ЦК, ПК большевиков и «военки» вырабатывали приемлемый компромисс. Нужно было как-то возглавить разбушевавшиеся массы, и в то же время избежать открытого восстания, к которому никто не был готов.

Ленин, прибывший в Петроград утром 4 июля, опасался радикальных действий без достаточной подготовки. Однако после того, как выступление началось, большевики не могли не возглавить его. По справедливому замечанию А. Рабиновича, "лидерам петроградских большевиков было чрезвычайно трудно оставить без руководства демонстрантов и недавно завоеванных членов партии. В конце концов, уличные шествия возникли в результате большевистской пропаганды и были реальным свидетельством усилившейся "большевизации" масс"[1286]. Отказавшись от лидерства в выступлении, большевики потеряли бы репутацию последовательных противников «буржуазии» и соглашательства, связанную с этим поддержку широких слоев населения и войск, радикализированных военной и социальной ситуацией. Тем более, что большевикам уже "дышали в затылок" анархисты, фактически возглавившие выступление в его первые часы. В итоге Петербургский комитет РСДРП(б), а затем и большинство ЦК решили возглавить демонстрацию, чтобы превратить ее "в мирное, организованное выявление воли всего рабочего, солдатского и крестьянского Петрограда"[1287]. Ни о каком восстании речь не шла.

Раскольников вспоминает, как Ленин уклонялся от публичного выступления 4 июля: «Разыскав Владимира Ильича, мы от имени кронштадтцев стали упрашивать его выйти на балкон и произнести хоть несколько слов. Ильич сперва отнекивался, ссылаясь на нездоровье, но потом, когда наши просьбы были веско подкреплены требованием масс на улице, он уступил и согласился»[1288]. Сказав несколько слов о бдительности и поддержав лозунг «Вся власть советам!», вождь удалился с балкона. Когда Ленин на самом деле собирался брать власть, он вел себя иначе. А в этой двойственной ситуации 4 июля было важно не растерять накопленного партией потенциала и, в случае удачи, достичь выгодного компромисса с социалистами, давить на них и не спугнуть их.

Большевики, разумеется, стремились к власти, чего не скрывали. Но в этот период они требовали передать власть советам, в которых сами не имели большинства. Ленин надеялись, что в случае, если советам придется проводить радикальные преобразования, реальное влияние в них быстро перейдет к левым крыльям социалистических партий, то есть к союзу большевиков, левых эсеров (тогда еще не выделившихся из ПСР и пытавшихся перетянуть на свою сторону ее лидера В. Чернова) и левых меньшевиков (в том числе Мартова, Троцкого и Луначарского). В условиях, когда большевики не имели в

советах большинства, требование «Вся власть советам!» не давало им единоличной власти и лишь означало замену только что распавшейся коалиции социалистов и кадетов коалицией тех же социалистов и большевиков. Никакого военного переворота, только сдвиг власти.

* * *

Политолог В. Никонов, попробовавший себя на ниве исторической науки, утверждает: «Большевистские лидеры… никогда официально не признают, что готовили на 3-4 июля захват власти, представляя происшедшее как стихийную демонстрацию, которую они якобы старались направить в мирное русло. Убежден, они пытались взять власть»[1289]. Убеждение политолога основано на известном рассказе одного из руководителей военной организации большевиков В. Невского о том, что он не искренне агитировал солдат против выступления, так как на самом деле был его сторонником[1290]. Если бы В. Никонов ознакомился с более широким кругом источников и научной литературой по этому вопросу, он бы знал, что воспоминания Невского подтверждают только то, о чем давно известно: между военкой и ЦК большевиков существовали разногласия. Сдерживая выступление и придавая ему мирный характер, большевистским лидерам во главе с Лениным приходилось преодолевать и радикальные настроения части своего актива, в том числе – «военки»[1291]. Понятно, что когда Невскому пришлось подчиниться решению ЦК, он выполнял его без энтузиазма.

В. Никонову неведомо, что «Невский и Подвойский отличались независимостью духа (советские источники трактуют это как нежелание подчиняться линии Центрального комитета)»[1292], так что судить о намерениях большевистского ЦК и Ленина по мемуарам Невского о его собственных настроениях – это простительно разве что политологу.

Глубокий исследователь событий 1917 г. А. Рабинович пишет: «в то время в Петрограде существовали три в большой степени самостоятельные организации РСДРП(б) – Центральный комитет, Всероссийская военная организация и Петербургский комитет. Каждая из них имела свои собственные интересы и сферы деятельности»[1293]. Военная организация («военка») и Петроградский комитет, находясь под постоянным давлением возбужденных солдат и рабочих и в то же время обладая меньшим политическим опытом, чем высшие руководители партии, были настроены более радикально, чем ЦК.

Есть еще несколько свидетельств обсуждения большевиками возможности взять власть, но все они подтверждают, что Ленин не планировал этого делать в июле. В разгар событий Ленин стал колебаться, гипотетически обсуждая с Троцким и Зиновьевым, «а не попробовать ли нам сейчас?», но в итоге сам опровергал себя: «нет, сейчас брать власть нельзя; сейчас не выйдет, потому что фронтовики еще не наши; сейчас обманутый Либерданами фронтовик придет и перережет питерских рабочих»[1294].

Суханов пересказывает рассказ Луначарского о том, что 4 июля Ленин, Троцкий и Луначарский планировали захватить власть и вместе создать правительство. Луначарский категорически отрицал достоверность этого рассказа. В версии Суханова, на которой и сам он не настаивал категорически, лежат противоречия, на которые указывает сам Суханов, считая их противоречиями в рассказе Луначарского. Наиболее вероятно, что в рассказе Суханова отразились представления Луначарского о возможной конфигурации власти тогда, когда она будет захвачена левыми социал-демократами (Луначарский еще не был большевиком). Но – в перспективе, а не 4 июля. Также Луначарский признавал, что рассказывал Суханову о беседе с Троцким, когда тот сказал 4 июля, что в случае перехода власти к большевикам и левым социалистам «массы, конечно, поддержали бы нас»[1295]. Но Троцкий – не Ленин, и пока – даже не член большевистского ЦК.

Таким образом, нет доказательств, что большевистское руководство и в частности Ленин планировали 4 июля захватить власть сами, или даже пришли к такому решению под давлением событий. Решение о захвате власти они примут только осенью. Поскольку в итоге, в ноябре, партия большевиков все-таки совершила вооруженный захват власти, ее участникам не было никакого смысла скрывать свои намерения предыдущих месяцев. Тем не менее, они в один голос утверждают, что в июле брать власть в руки именно своей партии не собирались.

* * *

Для объективной оценки требований большевиков нужно учитывать, что их противники в этот момент тоже обсуждали возможность передачи власти социалистическому правительству, опирающемуся на советы.

Уход кадетов из правительства и массовое негодование против них создавало для социалистов (меньшевиков и эсеров) идеальную возможность для взятия всей полноты власти и активизации реформ. ВЦИК обсуждал возможность взять власть, но лидеры советского большинства отказались делать это в условиях грубого давления вооруженной силы большевиков и анархистов[1296]. В этом случае правительство стало бы ответственным не перед советами, а перед своевольным столичным гарнизоном, “преторианской гвардией” революции.

В постановлении совместного заседания ЦК и фракции ПСР утром 5 июля говорилось: «о перемене в составе министров в данный момент, под влиянием пулеметов, не может быть и речи»[1297]. Но при этом и лидеры эсеров не отрицали возможности создания советского правительства. Но тогда логично, чтобы это правительство было создано Съездом советов, а не толпой возбужденных солдат, матросов и рабочих: «Окончательное решение вопроса о составе правительства будет принято на Всероссийском съезде Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов»[1298]. Предполагалось, что такой объединенный съезд соберется в ближайшее время. Съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов будет созван через полгода – уже большевиками.

Меньшевик И. Церетели предложил провести в ближайшее время II съезд советов в Москве, то есть вне давления радикальных воинских частей и рабочих. Резолюция ВЦИК в ночь на 5 июля не исключала возможности создания советского правительства[1299].

Под давлением левых (но уже не улицы, так как демонстрация к моменту голосования закончилась) была принята резолюция, сформулированная по компромиссному проекту эсера А. Гоца. В соответствии с ней власть может перейти к советам, но только по решению широкого собрания исполкомов с представителями с мест. Оно планировалось через две недели[1300]. Но так и не было проведено. В начале июля социалисты колебались, и вот-вот могли пойти на компромисс с большевиками на основе социалистической многопартийности. Но затем ситуация радикально изменилась.

В ходе дальнейших событий шанс начать масштабные социальные преобразования, который эта ситуация предоставляла умеренным социалистам, был упущен. Они не перехватили лозунг «Вся власть советам!» тогда, когда обладали большинством в советах, не втянули большевиков и анархистов в систему власти (что позволило бы связать их ответственностью). Вместо этого в социалистических партиях возобладала линия Керенского выступление и его сторонников – они принялись репрессивными методами отстаивать прежнюю систему коалиции с кадетами, которая уже завела демократов в тупик.

Ситуацию обострили вооруженные столкновения 3-4 июля, произошедшие между сторонниками и противниками демонстрантов (в большинстве случаев именно революционные колонны подвергались

обстрелу со стороны казачьих и офицерских формирований). Даже жандармский генерал А. Спиридович, настроенный к большевикам резко враждебно, признает, что 3 июля «публика напала на автомобили, в которых находились солдаты и рабочие с пулеметами»[1301]. Воспользовавшись этими столкновениями, власти объявили, что большевики подняли мятеж. Это ощущение усиливалось и отдельными актами применения силы против "соглашателей" (например, арест демонстрантами министра В. Чернова, тут же освобожденного по настоянию Л. Троцкого). В этих условиях Чернов, склонявшийся к идее левого правительства, не стал настаивать на ней. Площадь перед ВЦИК была заполнена вооруженными людьми. Время от времени демонстранты проникали в зал заседаний, произносили речи, в которых требовали взять власть, арестовать министров-капиталистов, выйти для объяснений к возбужденной толпе. Но к вечеру 4 июля ситуация изменилась — в центр города подошли части, верные социал-демократам и эсерам.

Против «мятежа» правящая группа считала возможным бороться любыми средствами. 4 июля министром юстиции П. Переверзевым стали распространяться материалы о том, что Ленин является немецким шпионом. Даже по мнению меньшевиков распространенные в июле материалы были крайне неубедительными[1302]. Но мало кто вникал в юридические детали в разгоряченной политической обстановке.

Воздействие этой агитации на колеблющуюся часть войск, а также полный тупик, в котором оказались радикалы из-за отказа советских лидеров взять всю власть от имени советов, привели к прекращению волнений уже 5 июля. Ленину и некоторым другим лидерам большевиков пришлось уйти в подполье. Он на время отказывается от лозунга «Вся власть Советам!», поскольку «данные советы» не способны эту власть взять. Но именно после июльского поражения Ленин пишет работу «Государство и революция», проникнутую идеей организации общества на основе обновленных советов.

В июле был упущен шанс добиться сближения между сторонниками советской демократии. В конечном итоге это предопределило готовность большевиков захватить власть самим и начать радикальный коммунистический эксперимент от имени советов.

Последний шанс компромисса

Победители получили возможность установить диктатуру. Однако социалисты не пошла на это. Они опасались усиления консервативных сил, способных свергнуть авторитарное революционное правительство, не обладающих массовой поддержкой слева. После разгрома левых экстремистов лидеры революционной демократии видели главную угрозу справа. Группа Керенского стремилась сохранить политическую опору справа и настояла на восстановлении коалиции с кадетами, на этот раз под руководством самого А. Керенского, возглавившего правительство.

В то же время переход доминирующих позиций в правительстве к социал-либералам позволил несколько активизировать реформы. Помимо упоминавшегося земельного закона были приняты решения о примирительных камерах на производстве, о восьмичасовом рабочем дне (де-факто он соблюдался на большинстве предприятий с весны). Разрабатывались меры по регулированию безработицы, по реформе страхования. В то же время министр труда Скобелев пытался ограничить права фабрично-заводских комитетов, считая их общественными организациями, а не полномочными органами производственного самоуправления. В любом случае социальная политика временного правительства была явно недостаточной, чтобы затормозить нарастание социального кризиса.

Июльское поражение деморализовало большевиков и их союзников (анархистов, левых эсеров, социал-демократов-межрайонцев и интернационалистов). Умеренным социалистам без труда удалось провести через объединенное заседание ВЦИК и ИКСКД резолюцию о поддержке Временного правительства. Левая оппозиция на этот раз воздержалась[1303]. Но именно июльское поражение, которое рассматривалось крайне левыми как преддверие реакции, сплотило большевиков и левых социал-демократов, предопределило действия социал-демократов-интернационалистов и левых эсеров в поддержку “гонимых” большевиков. В дальнейшем левые крылья социалистического движения усиливались и все теснее смыкались с большевизмом. “Межрайонцы” вскоре вступили в партию большевиков, заняв там важные позиции. Это способствовало изменению соотношения сил в Петросовете, который возглавил бывший «межрайонец» Троцкий. Левое крыло эсеров стало доминировать в Петроградском комитете ПСР, а начавшая выходить 3 августа газета комитета “Знамя труда” стала трибуной левого течения в ПСР. Ключевой идеей левых эсеров стало создание правительства эсеров, меньшевиков и большевиков, ответственного перед советами. 11 августа левые эсеры предложили Совету партии признать, что «решение основных вопросов русской революции возможно лишь при осуществлении однородной власти…, ответственной перед Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и демократизированными органами местного самоуправления»[1304]. Упоминая другие органы самоуправления, помимо советов, левые эсеры перебрасывали мостик к позиции Чернова в надежде перетянуть влево большинство ПСР.

Левым эсерам казалось, что ключевые разногласия в социалистическом лагере касаются не сути преобразований, а их темпов и размаха. Поэтому аргументы умеренных социалистов о необходимости союза с либералами казались неубедительными, а союз с большевиками — необходимым и естественным.

* * *

Пока большевизм оправлялся от июльского поражения, ось политической борьбы сместилась вправо. Это беспокоило социалистов. По их инициативе 24 июля Петросовет принял резолюцию, в которая требовала от правительства недопущения «того, чтобы борьба власти с анархическими эксцессами

вырождалась в борьбу с целыми политическими течениями»[1305].

Политическое противостояние между умеренными социалистами, представлявшими блок массовых общественных организаций, и военной верхушкой, за которой стояли либеральные и коммерческие круги, определяло ход Государственного совещания – форума политических и общественных сил страны. Генерал Л. Корнилов и его сторонники требовали установления по сути авторитарного режима – запрещения забастовок, митингов, вмешательства рабочих в хозяйственные решения, милитаризации транспорта и других отраслей, связанных с войной.

Выступая 14 августа на совещании, председатель президиума ВЦИК Н. Чхеидзе изложил развернутую программу демократических сил, согласованную с руководящими органами советов, кооперативного движения, профсоюзов, органов городского самоуправления и других демократических организаций. По существу это была программа выхода из кризиса, сформированная наиболее массовой частью гражданского общества России. Тесная связь между гражданским обществом и властью провозглашалась единственной возможностью предотвратить катастрофу: “всякая попытка разрушить общественные организации, подорвать их значение, вырыть пропасть между ними и властью... есть не только измена делу революции – это есть прямое предательство родины, которая погибнет в тот самый день, когда на страже ее не будут стоять сознательные, дисциплинированные, самодеятельные и организованные массы трудящегося народа”[1306]. Эти слова были направлены против милитаристов, но их суть относилась также и к большевизму.

Чхеидзе озвучил развернутую программу преобразований. Подтвердив необходимость твердых цен и монополии на хлеб, Чхеидзе увязал их со снабжением сельского населения промышленными товарами и с распространением твердых цен на них. Это, в свою очередь, предполагало регулирование зарплат, подключение к распространению товаров аппарата кооперации (без ликвидации частной торговли), государственное синдицирование промышленности, вмешательство государства в управление предприятиями с целью их модернизации, борьбу с “нерадением” рабочих, развертывание сети социальных организаций (бирж труда, примирительных камер), регулирование отношений труда и капитала с возможностью введения трудовой повинности, повышение налогов и принудительное размещение займов[1307].

Большинство этих мер позднее было осуществлено большевиками. Последствия для страны оказались катастрофическими. Можем ли мы утверждать, что предложенная советской демократией программа вела к таким же последствиям? Такой фатализм сомнителен, поскольку помимо сходства есть и явные отличия. На большинстве мер большевиков, сложившихся затем в систему «военного коммунизма», лежал отпечаток политики классовой конфронтации, гражданской войны и массовых репрессий. Программа, изложенная Чхеидзе, принципиально отличается установкой на социальный компромисс за счет относительно узких слоев. В условиях острого кризиса этатистские меры были неизбежны. Но, как показал опыт XX века, этатизация могла идти самыми разными путями – от «шведского» до «сталинского». Умеренные социалисты рассчитывали на вовлечение в систему регулирования разветвленной сети самоуправляющихся общественных организаций и на общенациональное признание основных реформ большинством населения по итогам выборов в Учредительное собрание.

Умеренные социалисты выступали против форсированной замены рыночных отношений распределительными, что станет одной из разрушительных черт социально-экономической политики большевизма. Программа Чхеидзе поддерживала эсеровскую аграрную программу, широкое участие демократических организаций в экономическом регулировании, ограничивающее его бюрократический характер, свободу профсоюзной деятельности, всеобщие выборы представителей центральной власти на местах и органов территориальной власти (самоуправления)[1308]. Эта сторона программы давала

возможность “перевернуть” иерархию управления, демократизировав его насколько возможно, продолжая продвижение к экономической демократии и самоуправлению.

Коалиционный характер власти также ограничивал возможности авторитаризации. Все это принципиально отличало программу, изложенную Чхеидзе, от последующей практики большевиков.

* * *

Интеграция лево-центристских сил перед лицом правой угрозы позволила провести объединительный съезд РСДРП, в котором приняли участие практически все течения меньшевиков, кроме тех, что ушли к большевикам. Этот съезд, по справедливому определению В. Миллера, стал “пиком успехов меньшевизма”, после которого начался быстрый распад партии. И дело даже не в выходе из РСДРП ряда левых течений, а в массовом отходе от политической жизни рядовых членов и электората. Рабочие и интеллигенция, которые пошли за социал-демократами, “увидели в программе, предложенной меньшевиками, возможность постепенного движения к более справедливому строю не через борьбу с буржуазией, а с помощью взаимоприемлемых соглашений с ней. Но к лету стало все более выясняться, что коалиционная политика для масс бесплодна, что по мере развития революции партии буржуазии все чаще вступают в прямое противостояние с партиями даже умеренного социализма, а, значит, дело шло к острым социальным конфликтам. В этих условиях значительная часть обманутых в своих ожиданиях людей уходила не только из партии, но и из активной политической жизни вообще. Политический абсентизм нарастал”[1309]. Усиление апатии в политическом центре сопровождалось активизацией на флангах. Нарастал не столько абсентизм, сколько поляризация.

Хранителем политического центра стала ПСР, менее скованная догматическими социальными схемами и опирающаяся на стремление крестьянства получить землю. Эсеры, потеряв часть влияния в городах, сумели сохранить и нарастить членскую базу и электорат на селе. Но опасность подстерегала ее с другой стороны — левое крыло грозило расколом. Его лидеры считали неприемлемой не только коалицию с “буржуазией”, но и любые отступления от социалистической программы ПСР: “наша программа не должна изменяться и не может приспособляться к условиям места и времени, наоборот, до нее должна быть поднята всякая действительность”[1310], – писала в программной статье “О задачах революции” М. Спиридонова. Спиридонова также бросает вызов «месту и времени» как Ленин. Но в 1917 г. «место и время» быстро менялись. Народнический идеализм левых отрывался от крестьянского прагматизма, и в условиях радикализации городских слоев руководству ПСР все труднее было удерживать под своим влиянием разношерстный актив партии.

* * *

Катализатором усиления левого радикализма стало корниловское выступление. Но оно как раз создало условие для достижения компромисса между левыми силами.

26 августа начался открытый конфликт между Л. Корниловым и А. Керенским. Корнилов отказался выполнить указание Керенского о сложении полномочий командующего. Верные Корнилову части двинулись на Петроград. «Партия порядка», группировавшаяся вокруг Корнилова, надеялась разогнать советы и левые партии, а по мере возможности – и правительство. Выступление военных привело к немедленной самомобилизации левой части общества. Советы, профсоюзы, войсковые комитеты, социалистические партии и движения (в том числе большевики и анархисты) немедленно подняли десятки

тысяч солдат, матросов и рабочих на борьбу с Корниловым. Правительство и советский Комитет народной борьбы с контрреволюцией действовали слаженно, объединив агитационный потенциал всего левого спектра, включая большевиков (на сотрудничестве с социалистами в этих условиях настояли лидеры правого крыла РСДРП(б), прежде всего Л. Каменев). Войска, двигавшиеся на столицу, были окружены "целым роем агитаторов"[1311], которые разъясняли солдатам "контрреволюционность" их действий. Солдаты не сочувствовали намерениям Корнилова «закрутить гайки» дисциплины и развернуть на фронте новые сражения. Так что левая агитация имела успех, и корниловское выступление провалилось.

Фактическое одобрение выступления Корнилова кадетами стало последней каплей для социалистов. 27 августа лидеры эсеров и меньшевиков заявили о недопустимости коалиции с кадетами. 31 августа это решение подтвердили ЦК двух партий. Узнав об этом, Керенский был вынужден на время прекратить переговоры о создании новой коалиции и сформировать техническое правительство из пяти членов – Директорию.

Лозунгом дня стало сплочение всех левых сил, включая большевиков. Церетели говорил на заседании Петросовета: «как ни были велики наши разногласия, Корнилов был встречен сплошной стеной демократии… Принципы единения должны быть сохранены»[1312]. Для этого необходимо создать «единый революционный фронт». Этот призыв был услышан большевиками, но тогда выяснилось, что дальше призывов лидеры умеренных социалистов идти не готовы…

По мнению Г.И. Злоказова, “после корниловщины первоначальные усилия ВЦИК по созданию широкопредставительного революционно-демократического правительства, а также режима парламентской демократической республики имели большие шансы на успех, ибо зиждились на народной поддержке, и не только со стороны советов, но и других массовых демократических организаций”[1313]. Стремительно приближались выборы в Учредительное собрание, которые могли бы разрядить напряженную социальную обстановку. В то же время острейший экономический кризис и продолжающаяся война приводили к накоплению социальных элементов, готовых поддержать экстремистские призывы и действия. Очень многое зависело в этих условиях от позиции политических лидеров.

Правительство снова распалось, ЦК эсеров заявил о невозможности сохранения коалиции с кадетами, замешанными в заговоре. 2 сентября ВЦИК и ИК СКД высказались против участия в правительстве “контрреволюционных” буржуазных (цензовых) элементов. По мнению Чернова, поддержанного ЦК ПСР, важна была готовность представленных в правительстве сил работать “на общей платформе”[1314], что исключало участие в нем кадетов. Платформа демократических сил была уже озвучена Чхеидзе.

Под давлением левых эсеров 31 августа фракция ПСР в Петросовете приняла резолюцию с требованием создать власть из представителей ЦИКов советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов без кадетов. Одновременно фракция поддержала предложение центристов ПСР о временном революционном парламенте на платформе Чхеидзе[1315]. В это время идеи левых и центристов в ПСР были вполне совместимы, то есть партия была предельно близка к правому крылу большевиков и левому крылу меньшевиков. Чернов заострял свои выступления против буржуазии: «надо отделять интересы промышленников от интересов промышленности»[1316]. Золотые слова. Только понимание этого пришло поздно.

Отсюда оставался только один шаг до «однородного социалистического» или «однородного демократического» правительства, где будут доминировать левые социалисты.

* * *

События корниловского мятежа вновь нарушили равновесие в системе власти и привели к существенным изменениям в ее структуре. Поскольку наиболее радикальной из крупных организаций, участвовавших в борьбе против Корнилова, были большевики, корниловское выступление свело на нет ослабление их позиций после июльского поражения. Более того, дальнейшее ухудшение экономической ситуации и неубедительность антибольшевистской агитации привели к значительному росту влияния большевиков в крупных индустриальных центрах.

Уже 31 августа начался процесс, который затем был расценен Лениным как «большевизация советов». Петросовет принял предложенную большевиками резолюцию «О власти». Она была составлена в умеренных тонах, характерных для правых большевиков, и рассчитана на компромисс с радикализировавшимися эсерами и меньшевиками. Резолюция требовала отстранения от власти цензовых элементов (а не только кадетов) и создания ее на новой основе. «Нетерпимы далее ни исключительные полномочия Временного правительства, ни его безответственность. Единственный выход – в создании из представителей революционного пролетариата и крестьянства власти», которая провозгласит демократическую республику, отменит частную собственность на землю и передаст ее в распоряжение крестьянских комитетов, введет в общегосударственном масштабе рабочий контроль, национализирует важнейшие отрасли, введет налоги на сверхдоходы, отменит тайные договоры и др.[1317] Практически все эти требования уже высказывались лидерами меньшевиков и эсеров. Такие предложения большевиков были явным шагом к компромиссу с социалистами.

Это не была инициатива только Каменева и его сторонников. В первых числах сентября Ленин выступил с серией статей, открывавшихся работой с откровенным названием «О компромиссах». Ленин писал: «Союз большевиков с эсерами и меньшевиками против кадетов, против буржуазии… испытан только по одному фронту, только в течение пяти дней, 26-31 августа, во время корниловщины, и такой союз дал за это время полнейшую, с невиданной еще ни в одной революции легкостью достигнутую победу над контрреволюцией, он дал такое сокрушающее подавление буржуазной, помещичьей и капиталистической, союзно-империалистической и кадетской контрреволюции, что гражданская война с этой стороны развалилась в прах, превратилась в ничто в самом начале, распалась до какого бы то ни было «боя»…

Если есть абсолютно бесспорный, абсолютно доказанный фактами урок революции, то только тот, что исключительно союз большевиков с эсерами и меньшевиками, исключительно немедленный переход всей власти к Советам сделал бы гражданскую войну в России невозможной»[1318]. Таким образом будет «возможно и вероятно» мирное развитие революции.

Но умеренные социалисты оттолкнули протянутую руку. 8-10 сентября «Рабочая газета» и «Дело народа» выступили с критикой ленинской инициативы.

Уже при обсуждении большевистской резолюции лидеры социалистов стали демонстративно искажать ее содержание, подчеркивая свои разногласия с большевиками. Так, Церетели, опровергая ее, стал доказывать, что нельзя передавать власть одному пролетариату, хотя большевики выступили за власть рабочего класса и крестьянства. Представитель эсеров Болдырев стал спорить с аграрным пунктом резолюции, который практически повторял предложения Чернова. Это выглядело как ревность[1319].

Такая реакция свидетельствовала, что умеренные социалисты не готовы к созданию реального левого фронта. Победа большевиков в Петросовете была еще неустойчивой – в голосовании приняло участие меньше половины депутатов, так как большинство членов солдатской секции отсутствовало – ведь еще сохранялась угроза наступления корниловцев.

И тогда эсеровско-меньшевистский президиум Петросовета вместо поиска компромисса попытался перейти в контрнаступление. Он подал в отставку, чтобы заставить депутатов отказаться от поддержки

большевиков. В ответ Троцкий и Каменев выдвинули проект создания президиума не большинством совета, как раньше, а из представителей всех фракций. Таким образом они получили поддержку малых фракций и моделировали будущую советскую коалицию. Но меньшевики и эсеры не оценили и этой уступки.

Троцкий и Каменев стремились к сдвижке власти в Петросовете, но лидеры меньшевиков и эсеров, поставив на карту свои посты в президиумы, спровоцировали серьезный сдвиг.

9 сентября, когда в Петросовете собрался убедительный кворум – 1000 депутатов, большевики одержали решительную победу. Их резолюцию поддержали 519 депутатов. 25 сентября Петросовет возглавил Троцкий.

Большевизация Петросовета не облегчила дело компромисса – умеренные социалисты, потерпев поражение, не желали дальше отступать. Теперь большевики согласились бы только на роль равноправных партнеров, а на это «вожди демократии» не рассчитывали. Эсеры и меньшевики лишний раз убедились, что их позиции советах ослабевают, что на советы опасно опираться правительству. Но, разумеется, не это тактическое поражение определило позицию социалистов.

* * *

Казалось, настал идеальный момент для создания однородного правительства социалистов (с большевиками или без), опирающегося на советы и другие общественные организации. Но мог ли его возглавить Керенский, приверженец социал-либеральной коалиции, к тому же связанный с левыми кадетами личными узами[1320]? Керенский создал Директорию, составленную из его команды, а не представителей партий. Проводить социальные преобразования Керенский не собирался, его популярность стремительно падала, утягивая за собой и «рейтинги» социалистических партий. Даже в руководстве ПСР стали приходить к выводу, что стране нужен другой премьер.

Но опираться на большевизирующиеся советы – опасно. Умеренные социалисты все еще искали “революционных” либералов, которые могли бы соответствовать догме о представительстве класса буржуазии во власти, служить противовесом левому крылу «демократии» и в то же время не мешать проведению назревших и перезревших преобразований. Но в реальной России не было влиятельной партии «демократии», которая не была бы при этом не-социалистической. Как иронизировал Троцкий, «где эта буржуазия, с которой они хотят коалироваться? Буржуазия, газет не имеющая, политической партии не образующая, в думах и земствах не сидящая?»[1321]

Чернов продолжал настаивать: «Социалисты должны сказать, что нужна коалиция не только с социалистами, но просто с демократами, с которыми нам по пути до известного предела»[1322]. Если социалисты возьмут власть одни, без буржуазии, как предлагают большевики и левые эсеры, то им скажут: «Где же ваш социализм?»[1323]. Получалось, что партнеры нужны социалистам для того, чтобы сваливать на «общедемократов» недостатки новой политики, и подождать с началом социалистических преобразований. Этот фактор мог стать не столь важным по завершении предвыборной кампании.

Но еще важнее и долгосрочнее был фактор личных связей эсеровских лидеров. Ведь если создавать однородное демократическое правительство (а на это были согласны и правые большевики), то придется расстаться не только с Керенским, но и вступить в конфликт с правым крылом эсеров. Пройдя огонь, воду и медные трубы, ветераны партии меняли взгляды в разных направлениях, но прошлое в большей степени связывало Чернова с правым крылом ПСР, ориентировавшимся на Керенского, чем с левым, искавшим компромисса с грубыми и агрессивными большевиками. Чернов считает невозможным «отсечь»

«бабушку» и Авксентьева (а значит, и мартовского эсера Керенского, которого сам же публично критиковал). «Я не намерен ломом разрушить то здание, которое мы – кучка людей – строили по камням»[1324].

Такие же соображения довлели и над правыми большевиками – они не могли пойти на раскол с Лениным ради того, чтобы договориться с Черновым и Мартовым. Чтобы компромисс левых получился, к нему должны были одновременно стремиться и Чернов, и Гоц, и Церетли, и Дан, и Ленин. Ленин прозондировал готовность социалистов к компромиссу, и убедился, что ее нет. Это подтверждала и конфронтационная позиция социалистов в Петросовете 9 сентября. Уже 12 сентября Ленин отказывается от своих предложений и приходит к выводу: «большевики должны взять власть», при чем с помощью восстания. Других средств преодоления кризиса нет.

Но Ленин находился далеко от Петрограда, в Финляндии. А реально руководившие партией Каменев и Троцкий попытались еще раз надавить на социалистов в ходе Демократического совещания.

* * *

Неустойчивость власти заставляла победителей Корнилова искать возможности создания широкого органа, который мог обеспечить более широкую опору власти, играть роль парламента на время до Учредительного собрания. Надежды возлагались на созванное 14-22 сентября советами, партиями, профсоюзами, земствами, кооперативными и другими общественными организациями Демократическое совещание и избранный им Совет республики ("Предпарламент"). Совещание должно создать авторитетный «временный революционный парламент» (формулировка эсеров), который сформирует новое правительство, и перед которым оно будет ответственно.

Но «Демократическое совещание» было сконструировано так, чтобы большевики и другие радикалы были уравновешены не-социалистами. По справедливому замечанию В. Чернова, "цензовики получили в нем представительство намного большее, чем то, какое им было потом дано выборами на основе всеобщего избирательного права"[1325]. Однако это был результат той конструкции Демократического совещания, за которую выступал Чернов. Искусственный подбор участников обеспечивал центристам перевес над радикалами. Но левые центристы здесь переиграли сами себя, отдав преимущество правым центристам. А это похоронило сам замысел широкого левого фронта.

Правые большевики еще надеялись, что социалисты не пойдут в Каноссу к кадетам. При обсуждении позиции Петросовета на совещании, Каменев делал реверансы в сторону Чернова, разоблачившего накануне политику правительства Керенского. Но под влиянием ситуации в партии большевиков Каменев радикализовал требования по сравнению с резолюцией 31 августа: «Если мы хотим спасти Россию, мы должны сказать, что власть должна находиться в наших собственных руках – Советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Не буржуазия и не единоличные правители»[1326].

На Демократическом совещании Каменев от имени большевиков поддержал идею создания однородного демократического правительства. Эта идея была с теми или иными оговорками поддержана большинством делегатов. Мало кто хотел возрождения коалиции с партией кадетов, которая мало того что тормозила любые шаги влево, но и прямо сотрудничала с Корниловым. Более левое правительство, опирающееся на широкие демократические круги, вплоть до большевиков, имело все шансы дожить до Учредительного собрания. Но даже социалисты-центристы не желали союза как с кадетами, так и с большевиками.

В то же время даже без большевиков они могли создать жизнеспособную конструкцию временной

власти, если бы Демократическое совещание действительно создало полновластный центристский Предпарламент, опирающийся на правую часть советов и левую часть земств. Страна ждала перемен, и это было важнее, чем включение в правительство большевиков и провозглашение власти советов. Большевики не смогли бы свергнуть правительство, которое решительно перешло к выполнению программы «однородной власти». Им волей неволей пришлось бы ждать нового кризиса уже этой новой политики. Судьбу революции определяло то, станет ли новая власть проводить социальные преобразования или нет, будет она идти на встречу требованиям «низов», которые выдвигались через демократические структуры, или сохранит повисшую в воздухе бездеятельную коалицию. Представители социалистических партий уверенно обещали, что новое правительство начнет выполнение программы 14 августа, и в нем не будет кадетов. Собственно, в этом заключался последний шанс демократии.

Но сторонники линии Керенского смогли обвести товарищей по социалистическим партиям вокруг пальца. После длительных переговоров за кулисами совещания Церетели огласил резолюцию, в которой говорилось, что представительному органу поручается «содействовать созданию власти», а не сформировать ее. Более того, этот пункт допускал привлечение в правительство «цензовых элементов» (то есть правых партий) и пополнение «Предпарламента» их представителями[1327]. Это была очевидная сдвижка в сторону Государственного совещания и докорниловской коалиции.

Наступил момент истины. Чтобы отстоять свои принципы, большинство членов ЦК ПСР и РСДРП должно было отказаться от этой комбинации, а затем – от поддержки новой коалиции Керенского. Это вело бы к расколу социалистических партий. Ни Чернов, ни Мартов не решились на это. Большинство делегатов Демократического совещания проглотили пилюлю. Большевики и левые эсеры протестовали, но их возражения были отклонены. Стремясь сохранить партию в преддверии выборов, центристы капитулировали перед правым крылом социалистов.

22 сентября Керенский собрал на совещание по созданию новой коалиции тех, кого счел нужным – представителей предпарламента, московских общественных деятелей и… ЦК кадетов. К 26 сентября они и согласовали правительство. Демонстративно сорвав планы создания более левого правительства, Керенский сохранил свою власть, но почти совершенно лишил правительство опоры. Считалось, что оно по инерции дотянет до выборов в Учредительное собрание.

Замысленный как расширенный Совет, Предпарламент в итоге оказался безвластным и превратился в приложение к социал-либеральной коалиции. Он не обладал собственной способностью мобилизовать массы в поддержку Временного правительства. Кадеты вошли в Предпарламент и составляли там вместе с другими либералами заведомое меньшинство. Но оно имело возможность блокировать существенные инициативы (которые для правительств были вовсе не обязательными). Да и сам факт присутствия “контрреволюционной” партии компрометировал этот Предпарламент в глазах радикальных масс. Идея однородной демократии и предпарламента была дискредитирована, а демонстративный выход большевиков из предпарламента лишь укрепил их авторитет.

Правительство потеряло опору в активной части общества как раз в тот момент, когда его лидеры считали свое положение наиболее устойчивым. Керенский разгромил левых и правых, обвел вокруг пальца наивных политических говорунов. Еще два месяца, и он торжественно откроет Учредительное собрание, проведя корабль демократии сквозь бури и грозы…

В реальности Керенский не пользовался поддержкой ни в армии, ни в обществе, ни в партиях, которые входили в правительство, ни в массовых организациях, представленных на Демократическом совещании. Он воспринимался как временная переходная фигура, которая нужна до выборов. Лидеры предвыборной гонки не хотели мараться, заступаясь за такое правительство, чтобы не терять предвыборные очки. Вот-вот пройдут выборы, и тогда новая законная власть проведет те социальные

преобразования, которые сочтет нужным. Она-то, в отличие от нынешнего самоназначенного правительства, будет демократической, опирающейся на волю народа. Но как раз в это время большевики решили заменить одно самоназначенное правительство другим, даже более демократическим, опирающимся на Съезд советов. Этот переворот стал переломным моментом истории страны в XX веке.

Начало

Сложившаяся в сентябре ситуация рассматривалась в партии большевиков по-разному. Умеренная часть руководства РСДРП(б) добилась фактического восстановления лозунга "Вся власть советам!" В то же время воплощение в жизнь этого лозунга до II съезда Советов было уже невозможным.

Как только появились первые признаки того, что социалисты все же не пойдут на создание однородного правительства, Ленин снова резко повернул политический руль и взял курс на вооруженный захват власти. Следовало торопиться. Нужно было до выборов в Учредительное собрание продемонстрировать стране, кто способен на практике предпринять решительные меры по борьбе с кризисом. Это может обеспечить большевикам поддержку широких масс, прежде всего рабочих, победу и на всеобщих выборах, и в советах, которые станут основой новой системы власти.

Идее многопартийной советской власти Ленин противопоставил план установления авторитарной диктатуры, опирающейся на те советы, которые поддержат военный переворот. Диктатура радикального крыла большевиков, опирающаяся на «свои» советы и воинские части должна запустить необратимый процесс «пролетарской революции».

Идея немедленного восстания, на которой Ленин настаивал начиная с 14 сентября, первоначально не получила поддержки партийного руководства. Н. Бухарин вспоминал о первой реакции на ленинские письма с призывом к восстанию: "Мы все ахнули, никто не знал, что делать. Все недоумевали первое время"[1328]. ЦК постановило не оглашать ленинские письма. Но информация о его позиции постепенно распространялась в партии. Радикальные партийные массы были готовы к немедленному выступлению, даже если это грозило большевикам поражением. В обстановке 1917 г. политическое искусство требовалось не для того, чтобы применить насилие, а для того, чтобы его избежать.

Итоги Демократического совещания означали крах политической линии Каменева. Троцкий оперативно переориентировался на подготовку восстания с порой на Петросовет, который он как раз возглавил. 7 октября при открытии Предпарламента большевики демонстративно покинули его.

Под давлением снизу 10 октября ЦК поддержал курс на вооруженное восстание. Однако часть ЦК РСДРП(б) продолжала сопротивляться этому курсу – неудача вооруженного восстания на этот раз могла привести к полному разгрому партии. Наиболее последовательно эту позицию отстаивали Л. Каменев и Г. Зиновьев: "мы глубочайшим образом убеждены, что объявлять сейчас вооруженное восстание – значит ставить на карту не только судьбу нашей партии, но и судьбу русской и международной революции... Дело идет о решительном бое, и поражение в этом бою было бы поражением революции... Партия пролетариата будет расти... И только одним способом может она прервать свои успехи – именно тем, что она в нынешних обстоятельствах возьмет на себя инициативу выступления и тем самым поставит пролетариат под удары всей сплотившейся контрреволюции, поддержанной мелкобуржуазной демократией. Против этой губительной политики мы подымем голос предостережения"[1329]. Правые большевики считали, что изоляция радикальной части пролетариата от большинства трудящихся приведет к перерождению и физическому поражению партии. Вооруженное восстание большевиков независимо от его удачи вело к срыву перспективы многопартийного советского правительства, за которую выступали не только правые большевики, но и левые социалисты.

Но руководство социалистов само не шло на создание левой советской коалиции. Вместо новой Парижской коммуны получалась новая «луиблановщина». В этих условиях отказ от захвата власти в 1917 г. "обрекал" партию большевиков на роль левой оппозиции в парламентском государстве, которое сохраняет свое «буржуазное» качество. Поэтому линия Каменева и Зиновьева в условиях октября 1917 г. откладывала

дальнейшее продвижение к социализму на неопределенный срок, до следующей революции.

В брошюре "Удержат ли большевики государственную власть" Ленин доказывал, что власть надо брать безбоязненно, потому что "наша революция непобедима, если она не будет бояться сама себя, если она вручит всю полноту власти пролетариату, ибо за ним стоят еще неизмеримо большие, более развитые, более организованные всемирные силы пролетариата, временно придавленные войной, но не уничтоженные, а, напротив, умноженные ею"[1330]. Надежда на мировую революцию должна компенсировать любые сомнения, любой дефицит поддержки внутри страны.

В ходе напряженной внутрипартийной борьбы радикальное течение возобладало, но и умеренные большевики сохранили влияние. В этих условиях центральной фигурой в руководстве ЦК оказывается недавний меньшевик Л. Троцкий, политический вес которого вырос еще и потому, что этот ветеран советского движения занял пост председателя Петросовета. Троцкий поддерживал идею скорейшего захвата власти, но настаивал, что этот акт должен быть совершен от имени Съезда советов и потому приурочен к нему. Таким образом позиция Троцкого оказалась между линиями Ленина (захват власти военными силами радикальных большевиков) и правых большевиков (а также левых эсеров). В итоге линия Троцкого возобладала – большевики взяли курс на "мирное" и в какой-то степени даже "конституционное" восстание с опорой на Съезд советов. Съезд был удобным политическим прикрытием переворота, так как лозунг "Вся власть советам" к этому времени вновь приобрел большую популярность. В то же время переход власти не просто к большевикам, а к новому радикальному советскому большинству придавало событиям характер низового движения в масштабах страны, которое сопровождается верхушечным переворотом. В конце 1917 г. – начале 1918 г. лидерам большевиков приходилось делить власть с более широким в идейном отношении движением, поддерживавшим советы на местах. Но оно же обеспечило советской власти победу в скоротечной гражданской войне осенью 1917 г.

* * *

Большевики стремились представить захват власти как ответ на угрозу реакции, и поведение Керенского как нельзя лучше способствовало этому. Он продолжал считать, что обладает военным перевесом над большевиками. 24 октября правительство объявило о закрытии большевистской прессы и приступило к стягиванию войск. По мнению А. Рабиновича, "восстание в том виде, в котором его представлял себе Ленин, стало возможным только после того, как правительство предприняло прямое наступление на левые силы... Массы в Петрограде, которые в той или иной степени поддерживали большевиков, выступавших за свержение временного правительства, делали это не потому, что как-то симпатизировали идее прихода к власти одних большевиков, а потому, что верили: над революцией и съездом нависла угроза"[1331]. Почему А. Керенский допустил столь сейчас очевидную ошибку, атаковав большевиков как раз в тот момент, когда это больше всего соответствовало их планам и когда у Временного правительства фактически не было реальных сил? Керенский объясняет это тем, что он был дезинформирован офицерами штаба Петроградского округа, добивавшихся таким образом падения правительства с тем, чтобы потом разгромить большевиков и установить авторитарный режим[1332]. Но и действия Керенского в этих условиях носили авторитарный характер. В условиях подъема революции и замораживания преобразований это вело к изоляции Керенского от поддержки слева, в то время как корниловская история лишила его и поддержки справа. Большевистский переворот протекал в условиях относительного равнодушия тех сил, которые спустя год будут вести с большевиками войну не на жизнь на смерть. А осенью 1917 г. «расчетливые» политики были уверены, что большевистская авантюра не может продлиться долго. Правительство Ленина или она падет под ударами контрреволюционеров, или уступит

власть Учредительному собранию.

25 октября большевики перешли в контрнаступление при поддержке левых эсеров и анархистов. Большая часть Петроградского гарнизона сохраняла нейтралитет. Никто не хотел умирать.

Одновременно с переворотом проходила работа II съезда советов. На его открытие прибыло не менее 739 делегатов, из которых большевиков было только 338. Эта конфигурация давала явные преимущества правым большевикам и левым эсерам, которые оказывались в центре политического спектра съезда.

Но представители меньшевиков и эсеров покинули съезд в знак протеста против начавшегося переворота. С ними ушла не половина, а лишь менее трети делегатов, так как левые эсеры и меньшевики-интернационалисты остались. С учетом вновь прибывших делегатов на съезде осталось 625 депутатов, представлявших 402 совета. Теперь съезд представлял около половины советов страны.

После ухода правого крыла на съезде были представлены два течения — радикальное (часть большевиков и анархистов) и компромиссное (умеренные большевики, левые эсеры, меньшевики-интернационалисты, лидеры профсоюза железнодорожников Викжель). Если Ленин и его сторонники считали необходимым взять власть силами своей партии, то значительная часть делегатов, поддерживая идею власти советов в принципе, видела в однопартийной радикальной власти угрозу раскола трудящихся классов, гражданской войны и реакции. Для них Октябрьский переворот был средством создания ответственного перед советами многопартийного социалистического правительства. Левые эсеры считали эту задачу вполне выполнимой: “Не большевики повинны в том, что они остались одинокими. Другая часть демократии не обнаружила готовности к объединению. Наша задача — быть посредниками между теми социалистическими элементами, которые покинули съезд советов, и между большевиками. Программа, намеченная новой властью в общем и целом могла бы объединить вокруг себя всю революционную демократию. Живое доказательство этого — последний день перед переворотом, когда на заседании Предпарламента были приняты декреты о мире и о земле”[1333], — заявил на съезде один из лидеров левых эсеров В. Карелин. Действительно, ко времени Октябрьского переворота лидеры эсеров и меньшевиков не имели принципиальных возражений против первых декретов II съезда. Но, в отличие от своих левых коллег, центристы в ПСР и РСДРП считали, что реальные результаты революционного процесса определяются не столько программными заявлениями, сколько соотношением сил. Умеренные социалисты также, как и в июле, не собирались уступать вооруженному давлению. Признание правомерности Октябрьского переворота означало бы для них перспективу превратиться в младших партнеров большевиков, придаток режима, опирающегося на радикальное меньшинство и тыловые гарнизоны.

По мнению американского историка, "восстание, происшедшее 24-25 октября, имело важнейшее историческое значение, поскольку, побудив большинство меньшевиков и эсеров покинуть II съезд советов, помешало созданию на съезде социалистического коалиционного правительства, в котором умеренные социалисты могли бы занять сильные позиции. Благодаря этому оно проложило путь к созданию Советского правительства под полным контролем и руководством большевиков"[1334]. Спровоцировав вооруженным выступлением уход умеренных социалистов, большевики не просто обеспечили себе разовый перевес на съезде, а сумели отождествить власть своей партии (первоначально – с младшими, ведомыми союзниками) с властью советов. **Советская власть стала псевдонимом коммунистического режима.**

* * *

Таким образом, и в июле, и в спорах большевиков в сентябре-ноябре, и на II съезде обсуждались две модели революции. Либо проведение социальных преобразований с опорой на большинство трудящихся (как организованное в советы, так и нет). Это было возможно в случае компромисса между эсерами, меньшевиками и большевиками на платформе немедленного начала аграрной реформы (с последующим утверждением ее принципов авторитетом Учредительного собрания), государственного регулирования с одновременным расширением участия работников в управлении производством. Либо – проведение аналогичных преобразований силами радикального меньшинства «демократии», опирающегося на недостроенную советскую систему и кадры активистов, лучше приспособленные к социально-политической конфронтации, чем к организации производства и обмена. Коалиционная конфигурация «однородного социалистического правительства» советов могла стать основой для целостного синтеза социалистической традиции и «разделения обязанностей» между направлениями. Но такому развитию опыта Парижской коммуны не суждено было сбыться.

Большевики представляли собой узкий социально-политический спектр, но популярная идея советской власти помогала им **опираться на широкое низовое радикальное движение**, не управляемое из партийных центров. Однако его влияние на верхи режима ослабевало с каждым месяцем. Система согласования социальных интересов была разрушена, конфликты стремительно нарастали, страна скатывалась к широкомасштабной гражданской войне, которая сама по себе грозила разрушить и без того слабые предпосылки социализации.

Сторонники компромисса в ноябре еще пытались в ходе начатых по инициативе «Викжеля» переговоров предотвратить гражданскую войну и возродить идею однородного социалистического правительства. Но радикально-авторитарное ядро партии большевиков уже сделало решающий шаг к гегемонии, и не собиралось уступать господствующие позиции. Умеренные социалисты также не были готовы ни к компромиссу, ни к решительному столкновению с большевиками, справедливо опасаясь широкомасштабной гражданской войны и рассчитывая, что выборы в Учредительное собрание кардинально изменят ситуацию. Была упущена возможность интеграции широких массовых движений в единую плюралистическую систему, основанную на согласовании интересов.

В таких условиях началась наиболее решительная и долгосрочная попытка преодолеть капитализм. Этот прорыв осуществили представители узкого спектра марксизма, что ограничило как теоретический багаж преобразований, так и организационные возможности преобразователей. Тем не менее, достижения других направлений социалистической мысли «остались в игре», их сторонники продолжали вести за собой значительную часть участников революции. В то же время социал-демократия, народничество и анархизм оказывали воздействие на большевизм, который был вынужден заимствовать часть положений конкурентов, сталкиваясь с вызовами практики. Отныне, начиная с ноября 1917 г., практика стала определяющим фактором в споре социалистических течений. «Золотой век» теории сменился «железным веком» экспериментов.

Заключение

Итоги «золотого века» теории: размышления в конце «железного века» экспериментов

Пути мысли

История мысли не похожа на прямую линию. Оптимальная ситуация, когда ученик развивает и углубляет идеи учителя, встречается редко. Мыслители то и дело переоткрывают достижения предшественников, о которых не слышали (и нередко не хотели слышать) или которые прежде не понимали. Эпигоны примитивизируют взгляды учителей, адаптируя их к нуждам пропаганды и конъюнктуре политической борьбы.

Но давление социального развития снова и снова ставит перед обществом, особенно перед его угнетенными слоями вопросы, без решения которых дальнейшее развитие или невозможно, или непродуктивно. Мыслители должны сформулировать ответы на эти вопросы, которые в размытой форме вынашивает общество. Творчество мыслителей более результативно, если не приходится тратить силы на движение по кругу, если под рукой – сокровищница уже найденный решений.

Некоторые идеи теоретиков социализма безнадежно устарели, но большинство – вполне актуально, ибо вызвано к жизни отрицанием капитализма и бюрократической государственности, которые и ныне определяют основы нашей жизни. Социализм в современном значении слова возник с началом перехода от традиционного общества (в частности феодализма) к индустриальному (в частности – капитализму). Он противопоставил свой гуманистический и демократический идеал и ретроградному консерватизму, и абсолютистской авторитарности, и капиталистической несправедливости. Отрицая все общественные уклады, основанные на социальном господстве, угнетении и эксплуатации, социализм претендует на место пост-капиталистического общества. В отличие от национализма и либерализма социализм предлагает человечеству нечто новое. В этом его утопизм, но в том же и его перспективность.

Социализм рисует очертания нового мира и беспощадно критикует существующую реальность. Когда осмыслены преимущества нового общества, нелегко ждать. Возникает желание действовать с максимальной радикальностью. Это значит, что еще недостаточно осмыслены трудности перехода к обществу будущего. Но главная трудность заключается в том, что социализм не может быть достигнут только эволюционно, только черепашьим шагом. Отсюда – сложные и бурные тактические споры и расколы. Но не разделение между радикалами и умеренными поссибилистами является наиболее существенным. Гораздо принципиальнее противоречие конструктивных программ социалистических учений. Потому что они предлагают человечеству разное будущее.

То конфликтуя, то смешиваясь, два основных направления социализма – централистическое (авторитарное**,** иерархическое) и федеративное (антиавторитарное, освободительное, общинное) – противостоят не только капитализму, но и друг другу. Они развиваются с XVII вв., со времен Т. Кампанеллы и Д. Уинстенли. Но своей зрелости они достигли в XIX веке, во времена Блана и Прудона, Маркса и Бакунина. Это – «золотой век» социалистической теории, когда бурное развитие капитализма выдвинуло в повестку дня уже пост-капиталистическую практику, когда были поставлены все основные проблемы индустриальной фазы развития человечества.

Идеологи социализма видели два пути преодоления разделения общества на трудящихся и эксплуататоров. Можно сделать всех пролетариев наемными рабочими на службе «общества», научно управляемого руководством или плановым центром. А можно наоборот – стремиться к тому, чтобы сделать всех хозяевами, соединить в одном лице работника и предпринимателя, сделать пролетария распорядителем его средств производства, и тогда путь в будущее лежит через децентрализацию общественной жизни, вытеснение управления самоуправлением.

Первые века своей истории социалистическая мысль была далека от практики. Социализм унаследовал от Просвещения рационально-научную аргументацию, превратившись в социальную науку, своего рода социальную инженерию. С 30-х гг. XIX в. социализм стал идейно-политическим течением, которое уже беспрерывно присутствует в общественной жизни. Теперь оно представлено не только отдельными теоретиками, но и движениями, переходящими от слов к делу.

Еще на излете Великой французской революции коммунистическая группа Г. Бабефа положила начало заговорщической традиции подготовки социалистического переворота, в 30-е гг. получившей известность под именованием «бланкизма». Р. Оуэн и последователи Ш. Фурье принялись экспериментировать на себе, создавая поселения, основанные на социалистических принципах.

Опыт Французской революции позволил продвинуть вперед теорию обоих направлений социализма, способствовал востребованности новых идей. Если У. Годвин, сформулировавший ряд постулатов будущей анархистской теории еще не создал своей школы, то через четыре года после его смерти П-Ж. Прудон самостоятельно приходит к близким выводам, и его выступление приводит к формированию политического течения, положившего начало непрерывной истории анархистского движения. А. Сен-Симон и его ученики смогли сформировать агитационную организацию и идейно-научную школу иерархического социализма, продолжавшую традиции Кампанеллы в индустриальную эпоху и предвосхитившую ряд идей марксизма. Но школа распалась уже на втором поколении, в 30-е гг. Зато следующее десятилетие положило начало теоретической и политической деятельности К. Маркса и Ф. Энгельса, которая вызвала к жизни наиболее обширное течение социализма. Родившись как централистичное и авторитарное, генетически связанное с гегелевской философией и сен-симонизмом, марксистское течение в борьбе и взаимовлиянии с анархизмом частично эволюционировало в сторону федерализма, сохранив однако в своей основе социально-экономический централизм. В дальнейшем учение Маркса стало корнем многочисленных движений, школ и направлений, которые развивали как авторитарные, так и освободительные черты доктрины основоположников.

В 20-30-е гг. Р. Оуэн и его сторонники провели не только коммунитарные, но также синдикалистские и кооперативные эксперименты. Последние развивали также и фурьеристы, кооперация стала важным фактором мировой торговли и производства, “школой самоуправления”. Последователи Оуэна вместе с трэд-юнионистами обратились к проблеме политической организации угнетенного класса индустриального общества – пролетариата. Эта идея была подхвачена Прудоном, Марксом и Лассалем. Идеи Оуэна, Блана и Лассаля заложили основы социального государства XX века.

Рабочее движение Великобритании и Франции соединило социалистический идеал с рабочим вопросом, который капитализм не мог решить самостоятельно. Германская философия предоставила социальным мыслителям логический инструментарий, необходимый для анализа общества. Социальные и теоретические предпосылки «золотого века» социалистического учения были готовы.

Конкретную программу преобразования общества социализм обрел после выхода работы Л. Блана «Организация труда» и П-Ж. Прудона «Что такое собственность». В 1848 г. К. Маркс и Ф. Энгельс добавили в копилку социалистических идей программу первоочередных мер коммунистической партии.

Уже к революции 1848 г. социалистические течения стали выстраиваться в собственную идейную

систему координат, которая применима и в наше время.

Одни социалисты выступают за полную централизацию и подчинение всех сторон жизни руководящему центру, другие – за передачу власти и собственности самоуправляющимся группам, общинам, составляющим общество. Одни полагают необходимым обобществить все имущество, другие считают полный коммунизм излишним. Синтетические концепции, удаленные от краев этой оси координат, стали формировать Л. Блан, сторонник автономии коллективов при сильном государственном регулирующем центре (близкие идеи затем развивал Ф. Лассаль). Различие концепций стало главной причиной конфликтов государственника-центриста Л. Блана, анархиста П-Ж. Прудона и коммуниста К. Маркса. Позиции социалистов резко различались и по степени тактического радикализма (например, критика К. Марксом и марксистами Ф. Лассаля). В актуальной политике, в острой тактической борьбе фундаментальные противоречия авторитарного и общинного социализмов часто оттесняются на второй план конфликтами между более и менее умеренными представителями обоих течений.

Связав социалистическую программу с текущими социальными процессами, теоретики середины XIX в. осознали необходимость определенных социально-экономических и культурных предпосылок социализма. Уже эксперимент Оуэна показал, что практически невозможен немедленный качественный скачек в будущее от существующего общества с его культурным уровнем, социально-экономической структурой, авторитарными и собственническими психологическими стереотипами. Следовательно, необходим переходный период к социализму и коммунизму. Он имеет собственную логику, инерцию, противоречия.

Чтобы предложить реалистичную стратегию перехода от существующего положения к оптимальной общественной модели, из гуманистической идеологии социализм должен был превратиться в социальную и футурологическую теорию. А для этого нужно было более тщательно проанализировать современность и найти в ней почву для социалистического будущего, которое должно было быть представлено не только как модель, но и как тенденция. Эту задачу выполнили П.-Ж. Прудон и К. Маркс.

Широта идейного пространства:

Прудон и Маркс

Прудон и Маркс сформулировали основы двух течений социализма настолько полно, что целый век дальнейшего идейного развития был посвящен преимущественно конкретизации деталей, приложению теории к практике. Это не умаляет значения других теоретиков и практиков, как величие Циолковского не умаляет величия Королева или Гагарина. Фундаментальность работ Прудона и Маркса (при всех недостатках) позволяет принять их за точку отсчета, определяя через них положение остальных социалистов в теоретическом спектре, избегая подробного рассмотрения повторяющихся идей и концентрируясь на новизне, углубляющей учение социализма по сравнению с фундаментальным уровнем.

Оба теоретика относятся к существующему обществу с откровенной неприязнью. Но при этом Прудон ищет сочетания эволюционных и революционных путей к новому обществу, а Маркс – сторонник революционного разрыва с прошлым. Прудон – реформист, готовый участвовать в революции, Маркс – радикал и революционер, но к концу жизни и он предпочитает «мирные пути» и реформы, если возможно избежать крови.

По Марксу эволюционную работу для социалистов проделает капитализм. Марксисты должны сосредоточиться на идейном и организационного воспитании рабочего класса, способного совершить революцию. Прудон считает необходимым уже в недрах существующего общества создавать структуру будущего. Когда она станет достаточно сильной и работоспособной, то разрушит оболочку капитализма, сохранив по мере возможности его достижения.

* * *

Прудон подверг уничтожающей критике «священное» право собственности, нанеся удар по видимым основаниям капиталистической системы. При этом Прудон не ограничился критикой только частной собственности (что делалось и до него, и на чем концентрируется Маркс), а критиковал собственность как таковую. Собственность (и частная, и государственная) – это ничем не оправданная монополия и привилегия.

Отрицая собственность и отстаивая владение, Прудон требует распространить демократию на социально-экономическую сферу, а через нее – достичь действительного народовластия. Маркс тоже демократ, но он не противопоставляет демократию и диктатуру. Капитализм будет разрушен диктатурой пролетариата, то есть организацией рабочего класса, не ограниченной законами и правами меньшинства. Прудон – категорический противник авторитарных принципов как в политической (государство и тем более диктатура), так и в социально-экономической (собственность) сферах.

Прудон концентрирует свое внимание на отношениях власти, господства, а Маркс – производства и распределения. Прудон стремится вытеснить власть и собственность структурами самоуправления и их федерацией, а Маркс – частную собственность и рыночную стихию – «общественной» собственностью и производством по единому плану.

Прудон определяет свой идеал как анархию (безвластие, максимально возможная свобода, ликвидация бюрократического государства). Анархия – не хаос, а другая форма организации. Она выстраивается не из центра, а снизу, от периферии к центру. Политическим выражением такой системы

является федерализм, система делегированных советов, формируемых из представителей нижестоящих организаций как союз союзов.

Демократическое общественное устройство основано на широкой автономии нижестоящих общественных структур от вышестоящих, на сети договорного права, избрании чиновников гражданами. Этот порядок основан на согласовании разнообразных интересов. Общество сохраняет многообразие, но ни одна из его групп не получает возможности для господства.

Маркс стремится к коммунизму (общности, целостности, преодолению социальных разделений). Марксистский проект предполагает возникновение единого хозяйственно-информационного организма («универсального общения»), который как единое целое подчинен каждому. Хозяйство здесь видится единым автоматизированным блоком, который обслуживает нужды каждого. В XIX-XX вв. эта философская абстракция могла воплотиться только в индустриально-бюрократическую диктатуру, действующую от имени всех. В середине XX в., по мере успехов информатизации, предпосылки осуществления мечты об «универсальном общении» стали более заметны. Современные информационные технологии теоретически позволяют подчинить «универсальное общение» каждому. И управление хозяйством через универсальное информационное поле – тоже вполне представимая перспектива. Но не реальность. Потому что информационные потоки принадлежат не каждому, а контролирующей информационное пространство монополистической элите. Проблема снова переходит из технической сферы в социальную.

* * *

Вся последующая история социализма может рассматриваться как противостояние и взаимовлияние последователей Маркса и Прудона (к ним в значительной степени относятся и народники). При этом сторонники модели социализма, близкой Прудону, могли быть радикальнее Маркса (анархисты начиная с Бакунина), а марксисты приходить к умеренности, превышающей прудоновскую (Бернштейн и его последователи в социал-демократии). Оба отступления от «чистой» модели чревато поражениями. Радикальные анархисты не учитывали, что состояние максимальной свободы может быть достигнуто только постепенно, по мере культурной эволюции. Эволюционное достижение идеала Маркса также сомнительно. Уже по мере продвижения к идеалу коммунистический уклад будет разлагаться под влиянием противостоящих социальных интересов, еще не растворившихся в социальной однородности. Целостность общества будет нарушаться, эгоисты станут паразитировать на труде альтруистов. Неудача Оуэна повторится в масштабах всего мира. Отсюда надежда Маркса на очищающий социальный взрыв, в ходе которого все организуется по единому социальному плану.

И тем не менее, только в отклонениях от чистой модели крылась возможность для синтеза идей двух основных направлений социализма.

Приближение к сути:

отчуждение, специализация, угнетение, господство и давление

Критерий любого социалистического общества (социализма) — отсутствие эксплуатации, угнетения одними социальными слоями (элитой, эксплуататорскими классами) других (трудящихся, эксплуатируемых классов). Преодоление классового разделения, социально закрепленного неравенства – ключевое требование к обществу, которое претендует на название социализма. Основные социалистические течения увязывали преодоление классового деления также с преодолением государства как организованного насилия.

Протест человека против капитализма и этатизма обусловлен бунтом животной плоти против индустриальной организации. Минимальные требования социалистического движения как раз и связаны с освобождением человека от физических мучений. Но собственно человеческие свойства остаются угнетенными, даже если работник накормлен, одет, имеет время на отдых в семейном гнездышке, если труд нормирован так, чтобы быть утомительным в меру. Его человеческая сущность продолжает подвергаться угнетению со стороны животной сущности. В этом – наиболее глубинный источник человеческого несчастья.

«Родовая сущность» Человека, его отличительная черта, системообразующая сфера заключена в животную «оболочку», но отличается от нее. Развитая способность моделировать и творить новое, создавать новые формы природы и собственной организации отличает человека от других существ. Развитая способность к творчеству является следствием такого свойства Человека, как способность фиксировать абстрактную информацию на материальном носителе. Она позволяет осуществлять не индивидуальное, а коллективное, опосредованное культурой моделирование и реализацию нового. Содержание позитивной свободы, источник человеческого счастья – собственно человеческая деятельность – это социальное, интеллектуальное, художественное и духовное творчество, осуществляемое в поле культуры. Речь идет именно о творчестве, о создании нового, а не о воспроизводстве старого знания. Но на начальном этапе истории культуры (закончился ли он?) творчество требует сложного обеспечения другими видами деятельности. За возможность духовного и творческого развития человечеству приходится платить специализацией.

Специализация, которая до времени является неизбежным спутником культурно-технологического развития, предполагает выделение организующей элиты, которая как правило превращается в замкнутую касту. Ее существование обусловлено социальной необходимостью согласования специализированных функций в обществе. Не обеспечив выполнение задач, которые взяла на себя господствующая каста, нельзя ликвидировать и ее социальную нишу. Она будет воспроизводиться в том или ином виде. Выбор не велик: либо сохранение господствующей элиты, либо какой-то иной путь согласования, либо – преодоление специализации.

Ниша касты достигает максимальных пределов в индустриальном обществе, успехи которого напрямую связаны со специализацией.

Опираясь на свою объективную, культурно-обусловленную необходимость, каста ведет борьбу за расширение своего социального господства. Чем более консолидирована, авторитарна и монополистична

каста, чем более раздроблено и угнетено общество, чем выше уровень эксплуатации труда в нем – тем выше уровень социального господства.

Социализм выступает за непрекращающееся «демократическое давление», которое в итоге позволит добиться снижения уровня господства до культурно-обусловленного минимума, когда любой желающий может принимать компетентное участие в решении вопросов, его касающихся. Элита при этом исчезает далеко не сразу, но в ней преодолеваются черты кастовости.

Сближение социального и технологического уровней господства составляет задачу социальной борьбы работников, преодоление кастовости элиты – их политическую демократическую задачу. Решение этих задач наряду с культурным развитием создает предпосылки для полного преодоления элитаризма.

* * *

Само давление среды, в которой развивается общество и человек, порождает необходимость организации для концентрации усилий общества в противостоянии силам природы и «варварам».

С появлением социальной иерархии (вследствие специализации, разделения управленческого и физического труда) господство становится основой эксплуатации – перераспределения ресурсов в пользу социальной элиты. Корень эксплуатации не в том, что элита берет себе «больше, чем положено» (как полагали противники капитализма, надеявшиеся решить проблему с помощью возвращения работнику «прибавочной стоимости» и других добавочных выплат), а в самой возможности определять сверху пропорции распределения (поэтому эксплуатация сохранялась и в СССР). Элита не «присваивает» продукт, а господствует, по своей воле (а не по воле работника) направляя его потоки, в результате чего сам продукт попадает вообще третьим лицам (потребителям), которые и осуществляют его итоговое присвоение.

Оборотной стороной господства является угнетение (как социальных слоев, так и свойств человека). Господство, искусственное давление социальной организации на личность, ведет к угнетению человеческих свойств большинства людей. Угнетение (и, соответственно, часть явлений, которые Маркс приписывает действию «отчуждения») существует до «разделения труда и капитала», поскольку вообще поведение человека и направление его деятельности определяется внешними (в частности – природными) силами. Социальное господство и разделение появляются с возникновением социальной иерархии, власти.

Соответственно, преодоление господства и угнетения возможно во-первых, по мере развития возможностей продуктивного взаимодействия со средой (что является задачей технологической и экологической культуры); и во-вторых, по мере роста демократической культуры, снижения иерархичности общества и в итоге – более равномерного распределения давления среды между людьми. Это – уже задача социализма. Он стремится обеспечить социальные условия для высвобождения энергии человека от навязанного средой давления.

Разделение на управляющих и управляемых, творцов и исполнителей – необходимое условие развития человеческой культуры эпохи традиционного и индустриального общества. Индустриализм в силу своих фундаментальных особенностей препятствует полноте демократии как на уровне политического поля, так и в производственном микромире, но создает предпосылки для самого процесса их развития, в дальнейшем подрывающего основы самого индустриализма. Человек становится более грамотным, он привлекается к обсуждению общественно-значимых проблем, информация становится более доступной. Вовлечение масс в политическую жизнь, включение их в «демократические» ритуалы выборов, вступает в противоречие с производственной ролью работника как инструмента. «Демократия» инструментов – парадокс индустриального общества. Этот парадокс разрешается либо путем тоталитарной консолидации

масс, либо – манипуляции их сознанием, либо – расширения сферы реального народовластия по мере преодоления самого индустриального общества с его базовой специализацией классовых функций.

Преодоление господства невозможно без снижения уровня специализации, а этот процесс должен быть обеспечен такими предпосылками, как вытеснение крупных машинных производств более гибкими и компактными, падение роли буржуазии и пролетариата в пользу средних слоев «информационных ремесленников», «умственного рабочего» – нового класса, сочетающего в себе функции творчества, труда и руководства, который условно можно именовать «информалиат». В среде информалиата личность получает возможность самостоятельно выбирать свое место в социальной среде, сочетая направления деятельности по своему усмотрению.

Полностью снять давление невозможно, так как его источник кроется в психологических недрах человека, в противоречии его животной и творческой, собственно человеческой ипостасей, отягощенном дисциплинирующим давлением общества. Давление вызывает не только внешние факторы, но и деятельность самого человека. Но он должен иметь возможность выбирать, как реагировать на давление. Адаптироваться, подобно животному, искать новые условия жизни, впечатления, круг общения, или бросить вызов давлению, пытаясь преобразовать среду. Смена этих состояний покоя, впечатлений, борьбы и творчества создает палитру человеческого счастья.

Но современное общество создает системные препятствия на пути человека к его счастью.

Давление в иерархическом обществе распределяется неравномерно. Отсюда стремление к равноправию, к более равномерному распределению давления, к социальной свободе и социальной защите, возможности менять социальные ниши – более давящие и деятельностные и более стабильные, защищенные от давления. Важно, способен ли человек самостоятельно регулировать давление. Если нет – он угнетен и несчастен. Отсюда – стремление человека к свободе и самоорганизации.

Социализм – это общество, в котором человек впервые может развиваться прежде всего собственно как человек, а не как животное или инструмент. Любой человек должен получить возможность для свободного интеллектуального развития и творчества, в том числе – социального творчества – ненасильственного создания людьми новых форм организации собственной жизни в соответствии со своими предпочтениями. Социальное творчество отличается от индивидуального тем, что направлено на общественные отношения и не может осуществляться без согласования интересов всех вовлеченных в этот процесс людей. В этом отношении социальное творчество является противоположным полюсом господства и угнетения, а также способом их преодоления.

Полис и поле

Человек не может существовать как Человек вне пространства Культуры, но он должен освободиться от господства, то есть от данной организации Культуры. Это значит, что он должен освободить от господства само поле глобальной культуры, к которому подключен. Эта грандиозная задача не может быть выполнена немедленно, но она жизненно необходима Человечеству. Без этого происходит затухание творческого духа в среде животных инстинктов, и Человек перестает быть таковым.

Из этого же следует, что человеческая личность может быть превращена в инструмент культуры. Это значит, что человеческое начало, его субъектность, снова подавлено, погашено. Поле культуры – условие развития человеческого начала, но оно же – и угроза ему.

Поле культуры – и необходимое пространство позитивной свободы, и угроза для нее. Социализм видит защиту для человека не только в индивидуальной свободе, а прежде всего в сообществе, самоуправлении. Опираясь на защиту полиса, личность может активно действовать в поле, преобразуя его и освобождая от отношений господства в ходе социального творчества – кардинальной предпосылки для других форм творчества, не являющегося привилегией социальной элиты.

Несмотря на то, что преодоление господства также требует культурных и, в частности, технологических предпосылок, организационная возможность значительного снижения господства одних слоев над другими существует уже в индустриальном обществе. Эта возможность называется «самоуправление», «демократия», «защита прав».

Непосредственное участие большинства людей в принятии решений, то есть демократия объективно легче развивается в микросреде, небольшом пространстве («полисе»), нежели в поле целой страны, нескольких стран, и тем более – в глобальном поле. Количество информации, которую человек может освоить, ограничено, а условием демократии является осведомленность гражданина о решениях, которые он обсуждает. Угнетение первоначально может быть преодолено только в микросреде. Полис становится моделью и в то же время основой, исходным пунктом новых отношений.

Полис (община, самоуправляющийся коллектив, сообщество) – это плацдарм для наступления личности в социально-культурном поле. Полис защищает, но он же и ограничивает. Если в полисе возможна демократия как самоуправление, то встает вопрос о защите его от внешнего поля, которое нельзя контролировать также, как микросреду.

Чтобы рядовой человек мог быть компетентным участником жизни поля, оно должно быть реорганизовано на понятных ему принципах: либо упрощено так, чтобы каждая часть поля была подобна другой, либо усложнено настолько, что каждая часть поля была своеобразна, но в силу этого – автономна, и большинство решений, ее касающихся, принималось только ее гражданами. Первый вариант отдает поле во власть «всех вместе», а не кого-то в отдельности. Но это значит, что никто не сможет воздействовать на него в соответствии со своей волей, и общество будет развиваться под действием законов собственного устройства. Во втором случае воздействия будут многообразны, но локальны, и полисы будут преобладать над полем и защищены от него.

Маркс предпочитает первый путь, Прудон – второй, и история социалистической мысли второй половины XIX в. – это поиски синтеза двух направлений.

Исходной ценностью социалистических учений является личность, которой общество обеспечивает возможности для всестороннего развития, социальную поддержку и защиту. На культурно-технологическом уровне, достигнутом к нашему времени, личность, как и раньше, не может реализоваться

самостоятельно, вне поддержки общества. Минимальные сообщества людей – коллективы и общины – являются первичным уровнем социалистической социальной модели. Именно на этом уровне возможно с помощью самоуправления преодолеть разрыв между социальными стратами, между управляемыми и управляющими, творцами и исполнителями.

Самоуправление — преодоление разрыва между управляемым и управляющим, остается единственным не опровергнутым пока на практике путем к преодолению господства. Противоречивый опыт самоуправления в XX в. показывает, что индустриальные принципы организации жизни и, в частности, производства действовали против автономии личности и коллектива, связанной с самоуправлением. Несмотря на эту тенденцию, самоуправление было естественным требованием социальных и гражданских движений, так как позволяло снизить уровень господства властной и технократической элиты над производителями материальных и духовных ценностей. Многим участникам и лидерам социальных движений представлялось, что самоуправление может заменить авторитарные структуры и в этом случае вовсе преодолеть современное общество, основанное на господстве и эксплуатации. Однако культурный разрыв между элитой и остальным населением, организационно-техническая структура индустриального общества, консолидация правящих элит против самоуправленческих движений — все это позволяло подавлять или интегрировать локальные достижения сторонников самоуправления. При этом правящие элиты могли вводить элементы производственной и локальной демократии в структуру управления. В то же время некоторые локальные самоуправленческие инициативы сумели так урегулировать свои отношения с окружающим миром, чтобы сохранить свою альтернативность ему без видимой конфронтации.

Сегодня, в условиях кризиса индустриальной цивилизации, самоуправление по-прежнему остается еще неиспользованным ресурсом человечества. Основой для качественного изменения общества могут стать и альтернативные проекты настоящего, и будущие массовые социальные движения под флагом самоуправления.

Самоуправление может развиваться как в производственных коллективах (кооперативах), так и на территории, в том числе в альтернативных общинах, сознательно развивающихся на принципах, альтернативных как капитализму, так и обычной деревне.

Альтернативная община не исправляет человеческие недостатки в автоматическом порядке, а усиливает черты характера людей. При всем благородстве замысла, любое неблагородство участника такого общества больно ранит окружающих. Общинная жизнь предполагает крайне плотное и интенсивное общение энергичных, не настроенных на компромисс и подчинение личностей. От участников процесса зависит не меньше, чем от системы, индивидуальные порывы не могут быть сглажены инерцией социальных масс, а быстро вызывают реакцию окружающих, придавая развитию общины драматизм, динамизм и неустойчивость. История общин знает и деспотов, и революционеров. Однако общины действовали как открытые сообщества, из которых можно было в любой момент «эмигрировать». Тем более, что недостатки альтернативной общины – умеренная плата за решение гораздо более серьезных проблем современного мира – господства, угнетения, атомизации, социальной незащищенности.

Коллективизм первоначально дает значительный экономический эффект. Это – результат не столько коммунистического альтруизма, сколько возвращения работнику «чувства хозяина». Капитализм, часто-собственническая организация, главным основанием которого считается рыночное стимулирование производства, материальная заинтересованность – не дает этой заинтересованности работнику. Только преодоление капитализма при сохранении товарообмена могло и может дать ему такой стимул. Но отсутствие у работников управленческого и тем более самоуправленческого опыта приводит коллектив к кризису, который преодолевается тремя путями. Во-первых, путем самообразования работников. Во-

вторых, в результате социально-политической радикализации, которая уже мало помогает налаживанию производства, но зато может изменить ситуацию в обществе в целом. В-третьих, в силу отсутствия соответствующих знаний и навыков рабочим приходилось нанимать специалиста-управленца, который правил ими по-капиталистически. Эта модель государственного «социализма» в миниатюре была ближе к социалистическому идеалу, чем «общенародное государство». Управленец коллективного предприятия все же может быть фактически (а не только формально) подконтролен коллективу.

Именно самоуправляющиеся предприятия смогли ближе всего «подтянуть» социальный порог господства к культурно-технологическому порогу. Тем не менее, существование этого порога не позволяло индустриальным рабочим полностью совместить функции производителя и творца, работника и хозяина своего труда.

Давление социальной и, в частности, экономической среды – смертельная угроза даже для самых успешных самоуправляющихся проектов. Они могут выжить лишь как система. Социалистический полис нуждается в социалистическом поле, новой системе координации, альтернативной существующему рынку и государству.

Решение проблем, возникающих в полисах, стремящихся к самоуправлению, социалистическая мысль искала либо в стабилизирующем воздействии регулирующего центра (Блан, Лассаль, Маркс), либо в установлении правил обмена, стабилизирующих и демонополизирующих рынок — по Прудону.

* * *

Капитализм тесно связан с рыночными отношениями, и социализм видел свою задачу в преодолении недостатков существующей рыночной системы (хотя и с разной степенью неприязни к рынку как таковому). Рынок очевидно несет в себе ряд фундаментальных разрушительных черт. Но XX век убедительно доказал, что попытка устранить рынок или минимизировать его сферу действия на этапе индустриального общества приводит к дефициту и коррупционному просачиванию рыночных отношений в бюрократическую надстройку, призванную их заменить. Государственно-бюрократическая система не менее разрушительна, чем рынок.

Преодоление безличного рынка целесообразно лишь по мере преодоления массового производства. А это требует сложных предпосылок: установления прямого контакта производителя и потребителя; снижения уровня специализации. Рынок можно разрушить (но только вместе с производством), можно регулировать (но как правило это делается в интересах элит). Однако рынок размывает ограничения постольку, поскольку он нужен простому потребителю. В будущем нас ждет соперничество рыночных (с разной степенью глобальности и диверсификации) и нерыночных отношений, причем последние вполне могут начать вытеснять рыночные по мере развития альтруистической культуры, роста эффективности социальной организации и технологий.

В условиях разделения труда продукт – это компромисс между производителем и потребителем. Оба должны чем-то поступиться. Вопрос в том, как организуется этот компромисс – ко благу обоих, или в интересах кого-то третьего?

Ликвидация рынка и денег, которые Маркс принял за квинтэссенцию отчуждения, делу не поможет. Рынок ориентирован на массовое потребление, которое требует стандартизация. Волю производителю диктуют не столько обладатели денежных мешков, сколько массовые вкусы. Средний потребитель, мещанские вкусы и большинства производителей (кто бы не принимал решение), и большинства потребителей подминают под себя вкусы меньшинств. Пока существует серийное производство, выгоднее

производить продукцию для середнячка – и на рынок, и по плану. Рынок и план – это порождение той стадии общественного развития, когда уже есть массовое производство, но еще нет непосредственного общения производителей и потребителей через развитую систему коммуникаций, когда эксклюзивность, индивидуализация производства доступны лишь элите. Альтернативой плану и рынку является согласование.

* * *

Модель Прудона является согласовательной. Территориальные, производственные и иные самоуправляемые группы согласуют свои интересы с помощью договорного права, федеративных советов, куда направляют своих делегатов, а также взаимодействуют путем свободного обмена продуктами, услугами и информацией.

Прудон враждебен не только частной собственности, но и власти государственного или иного экономического центра, так как он порождает монополию. Владение растворяет монополию, делает ее невозможной, так как экономическая власть не закрепляется принуждением.

Прудон выступает за рыночную систему, в которой проигравшие затем возвращаются в игру или не проигрывают до конца, за рынок, в котором ассоциация владельцев противостоит монополизации.

Ни Прудон, ни Бакунин не опасаются, что «богатые» коллективы подчинят себе «бедных». В социалистическом обществе любой новый работник предприятия получает все права самоуправления. Расширяя производство и привлекая новую рабочую силу с неудачливых предприятий, «богатый» коллектив не сможет обзавестись наемными работниками, а только – новыми товарищами. Ведь государство уже не гарантирует особых прав старых работников, их собственность на предприятие.

Прудон выступает за рынок, основанный не на прибыли, а на гарантиях. Он должен регулироваться договорным правом и статистикой, которая, по мысли прудонистов, должна помочь избежать перепроизводства и дефицита. Свобода рынка не означает его хаотичности – рынок может быть организован кооперацией, устраняя спекуляцию.

Прудон считает, что производственное самоуправление необходимо обеспечить реформой денежного обращения — иначе монополизированная и неравновесная рыночная среда погубит свободных тружеников. Предложенное им «конституирование стоимости» заключается в регулировании цен в соответствии с трудовыми издержками на производство продукции. Банк Прудона должен был стать центром системы регулирования рынка. Государство, которое возьмет на себя эту функцию в XX веке – худший из регуляторов в силу своей бюрократичности. Идея антиавторитарного социализма, включая анархизм – добровольное (индикативное, выражаясь современным языком) планирование. Его правила – статистический учет заказов и производственных возможностей, ссуды под залог и поручительство, но без процентов, страхование, кооперативный рынок, развитие структур взаимопомощи. Такой рынок должен обеспечить плавное изменение конъюнктуры, равновесие интересов и возможностей работников.

Равенство свободных работников по мысли Прудона не ликвидирует противоречий между ними, но конфликты теряют свою разрушительность.

Свободное соревнование (без монополии, закрепленной собственности и бюрократического лоббирования) необходимо по Прудону еще и потому, что он выступает против специальной элиты, которая будет решать, в какой пропорции будут распределяться вознаграждения за различные виды труда. Все богатство должно распределяться между всеми занятыми в той степени, в какой они затратили на его создание свое время и силы.

При равновесном рынке, который моделирует Прудон, различие в доходах на разных предприятиях должно быть невелико – иначе работники просто уйдут с неуспешных предприятий. Поэтому на преуспевающих предприятиях прибавки к средневзвешенной зарплате по Прудону не должны значительно превышать доходы менее удачливых коллег и могут играть лишь полезную роль стимула к более успешной работе. Но для предприятий, продукция которых пользуется успехом у потребителей, базовые показатели доходов работников всех профессий должны быть одинаковы.

Насколько в обществе разнятся доходы людей разных профессий, но одинаковой квалификации в своей профессии, настолько социальная система экономически несправедлива. Социализм требует не привилегии для управленцев и более образованных людей, а вовлечения большинства населения в творческую деятельность и вытеснение грубого монотонного труда автоматизацией.

Прудон выступает не только за создание параллельного общества, но и за преобразование существующих социальных структур, без чего альтернативный сектор будет просто смят государством и капиталом.

Маркс опасается распадения целого общественного поля, но стремится сделать само поле безопасным для человека, уничтожив в обществе саму почву для отчуждения и обмана. Эту почву он видит в частностях: в деньгах, рынке, частной собственности.

Прудон не боится многообразия, предлагая лишь обеспечить каждому элементу социума (предприятию, территории, субкультуре) одинаковую устойчивость к ударам внешнего мира (нации, государства, рынка).

Государство и федерализм

Самоуправление (общественное, производственное и территориальное) – один полюс социальной организации. Если этот полюс преобладает, человек участвует в принятии решений, он может искать свою дорогу в обществе, перед ним открыт путь развития. Другой полюс — государственность. Решения принимает не сам человек, за него думает элита. В этом случае человек превращается в инструмент, в пассивный полуавтомат. Он лишается саморазвития и подчиняется искусственным, механическим законам управления. Между этими полюсами идет постоянное противоборство, которое и создает все известные формы общественной организации. Расширение возможностей управления в индустриальную эпоху поставило мир перед перспективой полного поглощения общества государством, ликвидации самоуправления в принципе — то, что позднее назовут тоталитаризмом. Идея централизованного управления всеми экономическими процессами, отстаиваемая Марксом, вполне могла привести к такой перспективе.

Но взгляды Маркса и его последователей, оттачивавшиеся в спорах с оппонентами по социалистическому движению, в итоге оказались шире тоталитарной перспективы. Социальный антиэлитаризм, органически присущий подавляющему большинству социалистов, открывал возможность для сближения двух движений в ключевом вопросе о государстве.

* * *

В до-социалистических обществах координация в масштабах страны обеспечивается с помощью выделения господствующей элиты.

Социальное господство – это первая форма специализации, закрепленной принудительно, властно. Это явление лежит в основе развития социальной иерархии, порождающей многообразные формы угнетения (в том числе «отчуждения»). Социальная иерархия поддерживается силой государства – суверенной организации властной элиты.

* * *

Ликвидация господствующей элиты в результате революции, за которую выступали Маркс и Бакунин – не решение проблемы. Если остается ниша для элиты, она воспроизводится. Если ликвидируется старая система координации, на ее месте должна возникнуть новая, и она тоже может оказаться авторитарной и, следовательно – элитарной и даже кастовой.

Социалистический федерализм от Прудона до синдикалистов XX века ищет модель такой социально-политической организации, которая исключает консолидацию правящей элиты против остального населения.

Небольшие общины не могут сразу объединиться в федерацию страны — в стране слишком много таких общин. Поэтому федерализм (в частности анархический социализм) выступает за союз союзов или федерацию федераций. Низовые объединения граждан объединяются в региональные союзы, которые в свою очередь объединяются в более широкие федерации регионов. Союз регионов, составляющих страну, уполномочен заниматься только теми вопросами, которые ему поручили нижестоящие субъекты. Совет каждого уровня состоит из делегатов нижестоящих уровней. Делегаты реально зависят от тех, кого

представляют (что нельзя сказать о депутатах, избираемых массой неорганизованных граждан). Избиратели не могут отозвать депутата, а община или региональный совет — могут. Делегирование, таким образом, представляет собой реальную демократию, которая передает в центр волю самоуправляющихся общин, а не наоборот.

Система власти выстраивается снизу, а не путем назначения сверху. Делегирование имеет важные преимущества перед парламентаризмом: избирающие хорошо знают избираемых, могут легко отозвать их в случае необходимости, сформулировать императивный мандат и проконтролировать его исполнение. В результате “низы” получают реальные рычаги определения политики “верхов”, что и составляет сущность демократии.

Марксисты признали благотворность делегирования сначала после Парижской коммуны, а затем в ходе Российский революций, когда идея делегирования воплотилась в советах. Но для ортодоксальных марксистов делегированная демократия позволительна тогда, когда за политическим фасадом сохраняется хозяйственный управленческий центр.

Прудон предлагает разные принципы построения федераций — и территориальный (от самоуправления соседей, общины до федерации регионов), и производственный (от самоуправляющегося предприятия до палаты организованных по отраслям трудящихся, которая координирует производство и социальное обеспечение). Такая матричная структура более устойчива: возможные конфликты между отраслями будут сглаживаться территориальной координацией, и наоборот.

В основе этой системы, в «узлах» ее основания лежат естественно сформировавшиеся группы: семья, местная община, коллектив работников. Их связи переплетаются не по какому-то плану, а спонтанно, как корни травы. Это корневое пространство объединяет на основе единых принципов и политическую, и экономическую стороны общества.

Каждый работник — он же и со-хозяин, участник производственной демократии. Это исключает восстановление эксплуатации внутри ассоциации — новые работники, даже пришедшие с непроцветающих предприятий, все равно обладают равными правами. Рынок регулируется не государством и правом собственности, а типовым договорным правом, которое фиксирует стоимость, основанную на производственных издержках. Накопление капитала закрепляется в экономическом господстве, потому что другие ассоциации не платят больше принятого. Национальный банк дает ссуды ассоциациям на беспроцентной основе, что облегчает инновации. Ассоциации и территориальные общины объединяются в отраслевые союзы и федерации, органы которых формируются по принципу союза союзов, делегирования. В качестве арбитра возможен парламент. Мир покрывают корневые связи, которые постепенно вытесняют товарно-денежные отношения (даже конституированные) альтруистической взаимопомощью.

В этой демократической системе, основанной на принципах, предложенных Прудоном, сохраняются лишь такие государственные институты, в которые заложен механизм их самоликвидации о мере того, как общество осваивает координацию существующих в нем интересов помимо центра.

*** * ***

Маркс и Энгельс выступают за отмирание государства, но у них этот процесс – результат ликвидации классового разделения. Государство («пролетарское») должно сначала взять в свои руки контроль за развитием всех процессов социально-экономической жизни (а в марксисткой системе все в конечном итоге определяется экономикой), провести преобразования, полностью централизовать общество, после чего,

как прогнозируется — государство исчезнет само собой. Предпринимать усилия для преодоления государства не приходится. Анархисты доказывают, что этот прогноз не оправдается, потому что классы не могут отмереть, пока есть государство. Это не просто “организованные силы общества”, а организация господствующего эксплуататорского класса. И если рабочий класс создаст новое государство, то это будет в действительности не государство трудящихся, а организация нового деспотического класса.

Маркс противопоставляет существующей государственности «диктатуру пролетариата» – не государство как таковое, а организацию рабочего класса. Это – обоюдоострая идея. Если весь класс, в лице каждого своего члена (или хотя бы любого желающего) каким-то образом (не разъясненным Марксом) сможет вырабатывать решения диктатуры, то мы имеем дело с демократией. Если же решения вырабатываются в некотором центре (пусть и выбранном пролетариями), а сами рабочие являются проводниками этих решений (как в обычном государстве – чиновники), то перед нами – тоталитарная модель, где государством поглощено все общество.

Читая Маркса, Бакунин с поразительной точностью предсказал ряд важнейших, системообразующих черт того строя, который будет создан коммунистическими партиями в XX веке. Сколько бы после этого не писали о том, что Ленин и Сталин нарушали указания Маркса, и потому учитель не несет ответственность за учеников, бакунинская критика показывает — строители тоталитарной системы взяли у Маркса именно то, о чем предупреждал «Великий бунтарь».

Поскольку марксисты считали, что государственное руководство будет избираться демократически, Бакунин обращается к критике общегосударственных выборов как таковых, нанося урон не только марксистским, но и либеральным иллюзиям.

Бакунин вскрывает коренное противоречие марксистского проекта – между целью и средствами. Принципиальное разногласие марксизма (и тяготеющих к нему направлений государственного социализма) и освободительного социализма (в том числе и анархизма, а также тяготеющих к нему течений народничества) – это отношение к возможности усиления авторитаризма на пути к свободе. Первые готовы к установлению диктатуры, управляющей социально-экономическими процессами. Вторые оставляют за революционным авангардом только задачи борьбы с эксплуататорским режимом и его остатками, а также – просветительские задачи. Остальное должно перейти к общинам и их союзам, то есть к последовательной демократии. Что бы не провозглашали анархисты, их модель вела не к немедленному устранению государства, а к постепенному (более или менее быстрому) снижению степени авторитаризма. Что бы не провозглашали марксисты, их модель вела к росту степени авторитарности.

Анархизм настаивает, что государство не может быть инструментом социальных преобразований, они должны осуществляться самими трудящимися в ходе их самоорганизации. Более умеренные направления освободительного (федеративного) социализма допускают вспомогательное использование государственных институтов, сопровождая это принципиальными оговорками.

Несмотря на полемику анархистов и более умеренных социалистов-федералистов, практики анархистского движения все же создавали государственные структуры, которые сочетали элементы федерализма, делегированной демократии и военной диктатуры, действующей в условиях гражданской войны. Таким образом, они следовали рекомендациям народника Лаврова.

Несмотря на сдвиг марксизма к антиэтатизму после Коммуны, в марксистском проекте роль государства и его преобразований значительно важнее, чем для освободительного социализма, так как марксизм стремится к конечной цели в виде целостной социальной системы централизованного общества. Освободительный социализм для создания социалистических отношений не нуждается в предварительном захвате государственной власти. Но, как и во времена заката феодализма, растущий социалистический сектор рано или поздно будет нуждаться в смене правовой и политической системы, что ведет все же к

социально-политической, а не социальной революции.

Интернационал:

поле конфликта и синтеза.

Идейной лабораторией, где должен был произойти синтез различных социалистических учений, и в то же время инкубатором классового сознания европейского рабочего класса стал Интернационал. Осознав себя частью единого целого с общими интересами, пролетариат становился фактором мирового развития, сопоставимым по силе, а затем и превосходящим королевские дома, транснациональные корпорации и литературные течения.

Без подобных Интернационалу структур идея может жить в умах единиц, пусть и связанных интересным высоконаучным диалогом, или в недрах замкнутых сект, или тиражироваться с немыслимыми искажениями и использоваться кем ни попадя. Но чтобы идея сознательно стала трансформироваться в социальные перемены, ей нужна организация социального творчества, сочетающая поле идейного синтеза, вовлечение в свою работу широких социальных групп, а также моделирование будущего общества в своих собственных структурах.

Эта триединая задача не может не вызвать острых споров между участниками организации. Если их нет, то нет и серьезности постановки задач. Интернационал был для его участников делом жизни, и споры в нем шли соответствующие.

Основной осью противоречий стал конфликт Маркса и Бакунина, где противоречие двух полюсов социалистической идеи было доведено до крайних пределов. Далее был возможен либо раскол, либо синтез. А произошло и то, и другое.

Успех социалистического движения зависит от привлечения в его ряды как представителей рабочего класса, так и социалистической интеллигенции, то есть мыслителей, выступающих за коренное изменение общественного строя, устранение эксплуатации и угнетения рабочих. Социальные тенденции пересекаются с «путями мысли». Социальные процессы (в том числе рабочие выступления) ставят проблему, а теория, идеология более или менее успешно решает ее. Это оставляет значительное поле для борьбы идеологий за симпатии социальных слоев.

Интернационал должен был быть достаточно широк в идейном отношении, в нем должны были «поместиться» все важнейшие социалистические течения Западной Европы того времени – прудонисты, марксисты, лассальянцы, бланкисты и др. Диалог и по возможности – синтез идейных течений избавляет теорию от догматизма, от узости, которая не сможет вместить задачи практики. В этом отношении Интернационал стал моделью Парижской коммуны, когда попытка вырваться из капиталистической и этатистской системы проводилась в сотрудничестве представителей различных социалистических и демократических течений.

Давление антиавторитарного социализма смягчало авторитаризм учения Маркса. Включившись в поле Интернационала с его широким спектром идей, Маркс стал вбирать их в свою концепцию – пусть как «переходные» и вспомогательные. Социализм стал превращаться в целостное течение, в котором марксистский централизм и прудоновский федерализм стали превращаться из полюсов противостояния в поле синтеза.

Парадоксальным образом, начав после Коммуны решительное нападение на Бакунина, Маркс под влиянием ее опыта сделал ряд важных уступок федерализму и антиэтатизму, то есть сблизил свой конструктивный идеал с прудоновско-бакунинским. Этот сдвиг имел долгосрочные последствия. Теперь и

многие последователи Маркса проникались федерализмом. Но и после Парижской коммуны Маркс остался централистом в социально-экономическом базисе своей концепции, который доминировал над политической надстройкой. Это порождает противоречие между федерализмом и централизмом в программе марксизма, которое в XX веке способствовало распадению этого течения на множество направлений от почти анархических до тоталитарных.

Коммуна, таким образом, своим авторитетом давала шанс ослабить фракционную борьбу в Интернационале. Но личные противоречия вождей, стремление Маркса усилить «управляемость» Интернационала и произошедшая в этот момент значительная радикализация тактических взглядов Бакунина (который не стал замечать и эволюции взглядов Маркса) все же привели к расколу Первого Интернационала.

В этих условиях Бакунин предпринял глубокий критический анализ программных идей Маркса. В этой полемике последующая критика марксизма была предвосхищена во всех основных чертах, были провидены трагедии и достижения коммунистической практики XX века. Важно, что таким критиком коммунизма оказался сторонник социалистических, а не правых идей. Это показывает как минимум, что неудачи коммунизма не наносят ущерба авторитету социализма, они лишь открывают перед ним новые пути.

Опыт XX века подтвердил, что, на основе марксистского экономического централизма можно провести форсированную индустриализацию, построить социальное государство, мировую сверхдержаву, но не социализм в изначальном значении слова. Прогноз Бакунина стал приговором теории «государственного социализма», который обернулся сверхмонополистическим аналогом капитализма.

Принципиальной полемике Маркс и Энгельс предпочли «технологию власти». Обвинения Маркса были искусственно заострены, его фракция действовала как прообраз Коминтерна, обвиняя попутно и Бакунина в создании тайной иезуитской организации в Интернационале. Но идея подпольной организации революционеров Бакунина заключалась не в этом. Революционная организация не может опираться на государственное насилие. Бакунин уверен, что для ее влияния достаточно одной самоотверженности и скоординированности действий. Если эта «сетевая структура» потеряет альтруистичность, ее влияние падет само собой, она не сможет создать властвующую касту.

Взаимные обвинения в авторитарности и апелляция фракций Интернационала к демократическим ценностям являются проявлением не только технологии власти, но и более глубокой тенденции.

В силу практических задач и свойств людей в обоих течениях социализма проявляются и демократические, и авторитарные черты. Но в разной степени – само различие течений не сводится к этим двум тенденциям. Различие обусловлено моделью социализма, за которое идет борьба. Цель движения воздействует на его организационные формы.

Анархисты предсказали, что авторитарная централистическая организация может породить исключительно авторитарное общество, а действительный социализм может вырасти только из движения, которое организовано на принципиально новых, началах федерализма, равноправия и свободы.

Одновременно рабочее и социалистическое движение превращалось в особую субкультуру со своей инфраструктурой. Общественный заказ на нее был велик – ведь общественное самоуправление занялось просвещением, вспомоществованием, защитой социальных прав – тем самым прудоновским мютюэлизмом, которого так не хватало человеку труда. В XX веке эти функции взяло на себя государство, и субкультура стала постепенно распадаться. Но этот опыт показал – новая социалистическая субкультура должна уже здесь и сейчас хотя бы отчасти давать человеку то, что ему не хватает в современном мире.

Процесс организации рабочего класса, преломившись в двух моделях социализма, вылился в две

стратегии – создание «пролетарских» (социал-демократических) партий либо синдикализм — теория и практика самоорганизации рабочего класса в самоуправляемые профсоюзы, стремящиеся взять на себя управление экономикой.

В дальнейшем два течения Интернационала настаивали на своем, превращая синдикализм и партийность в непримиримые позиции. Бакунисты «перегибали палку» в одну сторону, в пылу полемики отрицая оправданность политической борьбы, и занимаясь ей на практике (например, в Испании). Для них политическая борьба была синонимом парламентской. Противники Бакунина «перегнули палку» в другую сторону, сосредоточившись именно на борьбе за парламентские кресла. По сути на конгрессе в Гааге возобладал даже не марксизм, а лассальянство.

“Исключением Бакунина из Интернационала” марксистская фракция спровоцировала раскол МТР. В отличие от Ленина и Сталина Маркс установил авторитарный режим не в стране, а в общественной организации, из которой можно было просто уйти. И ушли почти все, кто создавал ее, кто строил первый союз рабочих организаций и социалистов мира.

Но убедительность критики Бакунина еще не доказывает жизнеспособности его собственной модели социализма. Теоретическая заслуга Бакунина заключается в том, что он, как никто последовательно, соединил конструктивную программу Прудона с идеей радикальной социальной революции. Бакунин — певец свободы личности. Он же – сторонник стихии, спонтанного самоопределения народа. Но ведь в системе Бакунина отсутствуют структуры, которые могли бы гарантировать права личности против права сильного и силы коллектива. Это противоречие станет серьезной проблемой для радикального анархизма, который забывал конструктивное наследие Прудона, уделявшего большое значение праву.

Бакунин не отрицает самой функции власти, но выступает против ее закрепления за какой-либо социальной группой. «Низам» обеспечено господство над «верхами», в обществе нет жесткого закрепления статуса за управленцем. Бакунин выступает не против передачи полномочий отдельным лицам, а за возможность их оперативной смены, постоянного растворения их кастового интереса в текучести и сменяемости власти.

Такой подход подразумевает, что все население обладает достаточным культурным уровнем для осуществления функций власти. Главная проблема модели Прудона-Бакунина заключается в технологическом уровне индустриальной эпохи. Индустриальная организация производства, требующая узкой специализации, не дает рабочим достаточного времени на самообразование, чтобы приобрести уровень компетентности, достаточный для реального и эффективного самоуправления.

Бакунин выступал за передачу средств производства коллективам работников. Система внутреннего управления предприятиями, которая могла бы отчасти смягчить проблему компетентности работников коллектива (четкое разделение компетенции управленцев, выборные механизмы) не была продумана Бакуниным. Ему вообще претили «механизмы», он надеялся на спонтанную инициативу масс. Но стихия — поле для манипуляций, она позволяет за фасадом размытых демократических форм выстроить авторитарную систему управления.

Индивидуальная свобода, коллективизм и федерализм увязаны у Бакунина (как и у Прудона) в одно целое. Федерализм, политическая анархия – гарантия свободы и самоуправления, также как государственность – гарантия собственности и связанного с ней рабства. Бюрократическое государство превращает и общину в инструмент деспотизма.

В то же время сторонники федерализма в его радикальной анархистской форме не дают убедительного ответа, каким образом защитить личность от коллектива, как обеспечить в разношерстной конфедерации автономных общин защиту социальных, экологических, гражданских стандартов и

внешнеполитической безопасности. Для этого, как утверждали многие теоретики левого социализма от Лаврова до Люксембург, федерализм должен дополняться переходными государственными структурами с ограниченными полномочиями.

Сторонник этой идеи де Пап до конца 70-х гг. пытался поддерживать в Интернационале идейный синтез конструктивного анархизма и демократического государственного социализма. Идея государственного сектора, обеспечивающего равный доступ коллективов к производственной инфраструктуре, позволяла развести разные течения социализма «по секторам». Сторонники государственного регулирования могли надеяться на эксперимент в ключевых отраслях, а федералисты – в остальном хозяйстве. Эти идеи продолжали идейную традицию Блана и Люксембургской комиссии. В XX в. подобного рода эксперименты приводили к возникновению своеобразных вариантов социального государства, опирающегося на производственное самоуправление.

* * *

Поражение Маркса в Интернационале не предотвратило последующих успехов марксистов. Дело было не только в тактических перипетиях, но прежде всего в наступавшей эпохе, которая позднее получит наименование империализма. Сначала Бакунин, а затем и марксистские теоретики определили черты этой новой фазы, последовавшей за «свободным» капитализмом: концентрация капитала и образование монополий, сращивание финансового капитала с промышленным при господстве первого, глобальная экспансия корпораций и империй, милитаризация экономики и государств.

В связи с ростом производительности труда и расширением ресурсной базы капитализма в ходе колониальной экспансии «пирог» доходов населения стал больше. Соответственно, увеличилась и доля, достававшаяся рабочим, особенно квалифицированным. Этому способствовали и успехи науки, и борьба социалистов за минималистские меры социальной защиты. При этом возможности для социального творчества простого человека в индустриальном обществе заметно снизились. Все это давало явные преимущества социал-демократии с ее дисциплиной, политическим реформизмом и марксистской научностью.

После смерти Бакунина у конструктивного анархизма и федерализма не оказалось сильных теоретиков, которые могли бы убедительно откликнуться на мировые перемены. В отличие от Бакунина сила Маркса была в научной школе. Ни одна другая научная школа не имела такой связи с социальным движением, с общественной практикой. Ни одно социальное движение, социалистическое течение не имело в этот момент такой научной школы. Она стала главным козырем марксистов в борьбе за кадры. Марксизм впервые оправдал свое самоназвание «научный социализм», над которым издевался Бакунин. Марксизм стал социализмом, ядром которого была научная школа, и благодаря этому на некоторое время его теория действительно приблизилась к достижимому на тот момент уровню научной истины. Марксистская социал-демократия стала эмпиричной, сосредоточеной на актуальной реальности и потому более далекой от идеалов, от утопии посткапиталистического общества.

Такой эмпиризм – оборотная сторона культа спонтанности в анархизме. Спонтанное движения рабочего класса ведет не только к уклонениям от цели, но и к остановке движения в тред-юнионизме, который вполне вписывается в капиталистическую систему. Без целеполагания, которое дает теория, социалистическое движение обречено на остановку и разложение.

Оставшись без программы альтернативного общества, социал-демократия пошла по пути врастания в этатизированную капиталистическую систему. Эта дорога на сегодняшний день привела к растворению

социал-демократии в социал-либерализме, то есть либеральной идеологии, признающей необходимость существования наряду с капиталистическими отношениями также социального государства и связанной с ним системы социальных гарантий.

Маркс несет некоторую ответственность за социал-либеральное перерождение своей школы в нынешнюю глобальную эпоху. Расчет Маркса делается на глобальную, связанную единым коммуникационным полем и регулируемую из единого центра цивилизацию. Нынешний глобализм представляется части эпигонов марксизма новым шансом на осуществление марксистского проекта. Остается только экспроприировать штабы транснациональных корпораций и заменить их единым плановым центром, действующим в интересах «всех и каждого». Между тем формирование глобальных центров власти, происходящее на грани XX и XXI веков, является путем не к социализму, а к другой глобальной системе – к манипулятивному авторитаризму (а возможно – и тоталитаризму).

* * *

В конце XIX века марксизм занял нишу на правом фланге социалистического движения, постепенно поглощая и этатистские (прежде всего лассальянство и бланкизм), и поссибилистские (прежде всего социал-либерализм и прудонизм) течения. Субъективные успехи школы удачно «вписались» в тенденцию к складыванию государственно-монополистического индустриального (индустриально-этократического) общества, которая возобладает в XX веке.

В авангарде сдвига социал-демократии вправо выступил Э. Бернштейн (в России некоторые его выводы предвосхитил П. Струве). Бернштейн в большей степени продолжает дело Лассаля, чем Маркса и Прудона, хотя многое заимствует у обоих. Разница Прудона и Бернштейна прежде всего заключается в том, что Прудон стремился сжечь власть и собственность на медленном огне, а Бернштейн намерен их только «поджаривать». Несмотря на протесты лидеров марксизма против ревизии Бернштейна, их собственное развитие шло в том же направлении.

Марксистская схема в большей степени, чем анархистская, соответствовала тенденциям эпохи, доводя их почти до логического конца. Оставалось сделать только шаг, признать, что речь идет не о социализме, а о технократии, о максимальной концентрации ресурсов (включая человеческие) в руках управленческой элиты, планирующей развитие общества и управляющей выполнением этих планов. Но Маркс считал, что действует в интересах рабочего класса. Смешав в единой системе социалистические ценности и индустриально-технократический проект, Маркс привил социальной политике режимов XX века ряд социалистических идей, которые должны были быть достоянием протестной, а не правящей среды. Если бы не прививка марксизма, ничто не мешало бы господству в умах технократической элиты XX в. нацистских и полу-нацистских идей, наиболее полно выражающих элитаризм индустриальной олигархии. Благодаря идейному синтезу, осуществленному марксизмом, индустриальные государства стали более устойчивыми, элитарная социальная наука и производные от нее официальная мысль и массовое сознание — в гораздо большей степени пропитанными социалистическими ценностями, чем в случае последовательной реализации технократического проекта олигархической элитой и одновременного столь же последовательного отстаивания принципов бесклассового общества социалистами.

От синтеза различных социалистических течений в конце XIX в наибольшей степени выиграл марксизм. В его поступательной концепции движения в будущее все могло найти свое место как некоторая стадия на пути к цели. В различных социал-демократических партиях пришлись ко двору и идеи кооперативного социализма, и муниципальный социализм Малона, и элементы синдикализма.

Итогом теоретического синтеза, предпринятого марксистскими лидерами Второго интернационала, стала формула государство-фабрика **+** парламентская демократия + эволюционная стратегия продвижения к социализму. Унаследовав тактические идеи Прудона и Лассаля, социалистические и экономические взгляды Маркса, социал-демократия в то же время откатилась к социальной программе якобинцев и государственных социалистов 1848 года.

Идейное развитие социал-демократии эпохи Второго Интернационала трудно признать удачным – произошла явная примитивизация и отступление от самоуправленческих, действительно демократических и освободительных достижений «Золотого века теории». Но это был естественный финал столетия, своего рода «серебряный век», когда высокие гуманистические цели были частично размыты под давлением определившейся экономической и политической тенденции. Индустриальное общество вновь поставило перед социализмом жесткий выбор – или утопизм, или оппортунизм, и в среде теоретиков социализма нашлось немного тех, кто мог дать достойный ответ на этот вызов. Приток масс в социалистическое движение потребовал простых ответов, и синтез социалистических моделей пошел в этом направлении. Либо оппортунизм и этатизм, либо свобода и коммунистический радикализм. Немецкая и французская социал-демократии, лидировавшие во Втором Интернационале, утвердили отрицание «утопизма», обсуждения структуры социалистического общества. Это парадоксальным образом предопределило утопизм марксистской идеологии конца XIX – начала XX вв., когда без доказательств принимались утверждения о том, что ликвидация частной собственности и рынка, концентрация производства и огосударствление приведут к «освобождению» пролетариата, качественному улучшению его уровня жизни, расширению свобод и превращению масс рабочих в философов и ученых.

При этом наиболее авторитетные идеологи социал-демократии видели в качестве орудия этого преобразования национальное государство с либеральной парламентской системой. Такой синтез поссибилизма и национал-этатизма не мог не вызвать отпора со стороны приверженцев радикальной традиции марксизма, хранителей его революционной ортодоксии.

*** * ***

Успех марксизма давал социализму возможность пережить тяжелые времена ценой «замораживания» освободительной, антиавторитарной составляющей. Она была сохранена «мелкобуржуазными» (то есть не согласными с «пролетарием» Марксом) течениями, но вытеснена в протестную среду и небольшие кружки интеллектуалов. В XX в. она нередко вырывалась из резервации, чтобы снова отступать под ударами правящих режимов всех разновидностей, готовых действовать совместно против этой «третьей силы». Индустриальная эпоха — вредный климат для свободного социализма. Но в XXI веке размывание основ индустриального общества, поиск альтернативы устаревающим формам социальной организации приводит к возвращению идей антиавторитарного социализма в сферу актуальных идей. Пока это происходит «через заднее крыльцо» марксистских заимствований у анархизма, либо благодаря открытиям футурологов, нередко повторяющих где-то слышанные идеи теоретиков XIX в., но не признающих родства. Не умаляя ценности современных поисков, нельзя забывать и о первоисточнике, о размышлениях людей, которые, еще не заразившись предрассудками XX в., сумели предложить решение некоторых проблем постиндустриальной эпохи с вольнолюбивых позиций.

Ниша чисто антисистемного сопротивления, в которой оказался освободительный социализм и анархизм, первоначально ослабила их. Но затем она придала им новый импульс развития. Ведь даже марксисты, сохранившие радикальные антиавторитарные принципы Маркса, с отвращением отшатывались

от оппортунизма социал-демократии и шли на сближение с анархизмом. Анархизм и близкий ему революционный синдикализм стали прибежищем тех масс, которые не могли или не желали интегрироваться в Систему. Социал-демократия выражала интересы тех, кто хотел быть частью рационально управляемой социальной системы, в которую шаг за шагом превращался и капитализм.

Чтобы сохранить свою идентичность, анархистам приходилось оставаться наиболее радикальными в нерадикальную эпоху, упрямо игнорировать нереволюционность большинства. Перед ними оставалось два пути. Первый: превращаться в бунтарскую субкультуру штирнерианского толка. Второй – возглавить маргинальную часть рабочего класса, продолжая настаивать на отрицании партийной борьбы и выдвигая крайне радикальный идеал коммунизма в качестве близкой цели.

Как показал XX век, попытка немедленно организовать коммунизм ведет к быстрым разочарованиям и отступлению на переходные коллективистские или государственно-коммунистические позиции. Однако либертарный социализм нашел реалистический ответ на тенденции индустриального общества – начался подъем синдикалистского движения. Но крупные профсоюзы, которые формально провозглашали революционные цели, в силу необходимости улучшать положение своих членов, сосредоточились на борьбе за сегодняшние права рабочего класса. И эта борьба дала результат. У капитализма вскрылись резервные возможности – по крайней мере в развитых индустриальных странах рабочему классу можно было доплатить. Приближалась эра социального государства, в котором человеку были гарантированы некоторые социальные права. Сначала они поддерживались силовым давлением профсоюзов, а когда гарантии возьмет на себя государство, профсоюзы превратятся в его подсистему. Таким образом, массовые движения обоих направлений социализма пришли в начале XX в. к близким результатам.

И все же везде оппортунистическое «грехопадение» встречало сопротивление принципиального радикального коммунистического меньшинства. Однако когда радикалы прорывались к власти, их социальное творчество на практике оказывалось далеким от коммунистического идеала. Но лучше что-то, чем ничего.

Коммуна и социальное государство

Парижская коммуна стала первым опытом правления социалистов, когда им удалось приступить к проведению революционных социальных преобразований. Парижская коммуна предложила формулу новой власти, к которой социалистическое движение апеллировало как к идеалу, правда, понимая под этим разные стороны политики коммунаров – от решительных мер бланкистов до программных деклараций прудонистского характера. Это естественное следствие неоднородности Коммуны, представлявшей собой широкую коалицию демократов с преобладанием социалистов. Эта формула приобрела новую актуальность во время Российской революции 1917 г. (как проект однородного социалистического или однородного демократического правительства), а во время революции в Испании в 1936-1939 гг. воплотилась в Народном фронте.

Лидеры Интернационала провозгласили Коммуну рабочим выступлением, хотя среди избирателей Коммуны и ее депутатов пролетарии не составляли большинства. Историческая Коммуна, а не светлый образ ее, была творением не только рабочего класса, но и средних слоев.

Дело социально-экономических реформ в Коммуне оказалось в руках умеренных анархистов — последователей Прудона. Конструктивные преобразования Коммуны ни на шаг не отошли от антиавторитарного социализма Прудона – коллективизма и федерализма, в сторону государственного централизма и коммунизма, связанного с национализацией.

Бланкисты поддержали не только социальную, но и политическую программу прудонизма, считая возможным отступать от нее только временно, под влиянием критических обстоятельств.

Коммуна выдвинула модель нового политического устройства как федерации свободных коммун.

Несмотря на сохранение бюрократической организации власти и неизбежные в условиях гражданской войны ограничения демократии и тенденции к авторитаризму, Парижской коммуной была практически начата реализация модели демократического, освободительного социализма, которую можно кратко описать формулой: производственное и территориальное самоуправление + локальная демократия и федерализм + социальное государство.

Социалисты разных направлений стали претендовать на наследство Коммуны. Но все признавали – Коммуна стала примером сотрудничества социалистов разных направлений. Возможность и продуктивность такого сотрудничества – один из важнейших уроков Коммуны. Опыт XX века – от Российской революции до Народного фронта в Испании – показал, что неизбежная в таком союзе фракционная борьба может вырождаться в настоящую войну на уничтожение, если один из союзников изначально стремится к монополии на власть.

Признаки усиления борьбы за монополию на власть в социалистическом движении проявились как раз в год Коммуны в Интернационале. Дальнейшее развитие событий подтвердило тенденцию, которая в Коммуне лишь наметилась – установление диктатуры в освободительном социалистическом движении ведет не к консолидации сил, а к расколу.

* * *

Вполне естественно, что короткий опыт Парижской коммуны оказался наиболее продуктивным в области программы-минимум социалистов – в сознании социального государства. Эти минималистские задачи еще не были отделены опытом истории от собственно социалистических задач. Постепенно задачи

социального государства стали вытеснять социалистические задачи в программе социал-демократии Второго интернационала. Во многом марксисты, включая Каутского, точно уловили тенденции своей эпохи. Но они не поняли, что эти тенденции вели тогда не к социализму, а к государственно-монополистическому индустриальному обществу (индустриальному этатизму) и органически связанному с ним социальному государству. Эта система не соответствует критериям социализма как общества без классовой иерархии, в котором господствует общественная (а не государственная) собственность на средства производства.

Социальное государство – система государственных мер и структур, которые защищают социальные права работников и уязвимых слоев населения, а также снижают уровень социального расслоения общества с помощью правовых гарантий и путем перераспределения средств через государственные и общественные структуры. Это – способ осуществления части социалистической программы, который по своему механизму является не социалистическим, а бюрократическим. При отождествлении социализма и социального государства (что встречается у социал-демократов) предпосылка решения задачи отождествляется с самой задачей, и тем самым задача подменяется. Изначальная задача социализма – преодоление социального разделения на эксплуататоров и эксплуатируемых, господствующую элиту и управляемые трудящиеся массы. Преодолев разделение труда и управления, социализм был призван решить гуманитарную задачу восстановления целостности человеческой личности, очеловечивания человека, превращения его в собственно человека из полу-инструмента и тяглового или дикого полу-животного.

Решение главной, сущностной задачи социализма – преодоления классового разделения – должно было по идее социалистов повлечь преодоление основных негативных сторон капитализма – нерационального расходования ресурсов, устойчивой, социально закрепленной нищеты, государственного авторитаризма и др. То, что решение этих проблем социализм должен был обеспечить автоматически, еще не значило, что хотя бы частично этого не мог сделать и капитализм или возникающее на его основе другое классовое общество (XX век показал, что им может быть бюрократический вариант индустриальной организации, индустриально-этократическое общество). Но это также не означает, что «рациональное» общество без безработицы, со страхованием и государственным планированием – уже социализм.

Социальное государство обеспечивает работнику гуманные условия труда, досуга и поддержки в старости, помощь социально-слабым слоям. Эти требования социалистического движения под давлением слева стала осуществлять буржуазно-бюрократическая правящая элита. Причем в той степени, в которой это не угрожало существованию основ капитализма. Социальное государство предполагает социальную защиту, но вовсе не обязательно – социальную и экономическую демократию.

Промежуточное положение социального государства между капитализмом и социализмом предопределяет такие его черты, как неустойчивость (в капиталистическом обществе время от времени побеждают опирающиеся на крупный капитал либеральные силы, которые демонтируют институты социального государства) и бюрократические издержки (значительная часть отчуждаемых у общества ресурсов уходит на поддержание функционирования бюрократического аппарата). Но в любом случае недостатки социального государства, которые отчетливо проявились в XX в., не должны заслонять от нас его важнейшую заслугу – оно на практике открыло эпоху преодоления нищеты трудящихся классов. Как бы ни было несовершенно социальное государство, как бы ни было непоследовательно смягчение им недостатков капитализма, без него – страдания миллионов людей были бы сильнее, а предпосылки посткапиталистического (социалистического) общества – слабее.

* * *

Успехи социал-демократии, выросшей из марксистского корня, были связаны с воплощением в жизнь идей не столько самого Маркса (здесь важнейшим ноу-хау оставалась только опора на рабочий класс — массовую и сплоченную социальную базу), сколько Блана, Оуэна и его учеников, прежде всего чартистов и кооператоров. Государственный реформизм предоставлял рычаг социальных преобразований, а успехи профсоюзного движения и кооперации давали возможность вернуться к прудоновской стратегии вызревания социалистического общества в недрах капитализма. Практика сблизила два реформистских течения с разными идеалами. Прививка прудонизма марксизму позволила уже в недрах капитализма начать движение за превращение рабочего класса в средний класс. Но эта прививка не превратила марксизм в прудонизм. Если в прудонизме эволюционная стратегия, бескровная революция и децентрализованная модель общества будущего были органически увязаны, то в марксизме отступление от идеи мировой революции и радикального перехода к диктатуре пролетариата разрушало всю концепцию, выводило ее за рамки социализма и превращало марксизм в социал-либерализм. Социал-демократия стала реализовывать свои задачи с помощью усиления государственного регулирования и разрастания бюрократии.

Бюрократический капитализм позволил «протолкнуть» капитализм через полосу кризисного развития в середине XX в., но он оставался лишь временной и вовсе не качественной альтернативой обычному капитализму. Выбор между господством предпринимателя и чиновника остается выбором между двух зол, и в новых условиях глобализации конца XX века бюрократическое регулирование показало свою слабость, «социальное государство» стало вытесняться системой неолиберализма. Принципиальной альтернативой капиталистическому и манипулятивному глобализму может быть только социализм.

Ветер с Востока:

прогресс, традиция и освободительное движение

Маркс противопоставляет «утопизму» настоящий научный социализм, который изучает тенденции развития общества и не строит умозрительных проектов. Тенденции развития капитализма указывают на концентрацию производства и капитала. Модель социализма (коммунизма) является предельной точкой этих процессов.

Два критерия зрелого коммунизма по Марксу – преодоление разделения труда и распределение по потребностям. Это сближает Маркса с народничеством и анархизмом, но, в отличие от русских теоретиков, он выводит преодоление разделения труда не из конкретных социально-экономических тенденций и явлений, а из философской конструкции, в соответствии с которой необходимо развивать прямо противоположную тенденцию индустриальной специализации, которая, дойдя до предела, отрицает самое себя. В этом проявляется важное свойство марксизма, который, провозглашая безгосударственный и неиерархический идеал, предлагает двигаться в противоположном направлении.

Это связано с противоречивостью марксистского понимания прогресса как наблюдаемой эмпирически эволюции капиталистических отношений, которая с фатальностью ведет именно к желательному результату – коммунизму.

Но как раз коммунистическая перспектива эмпирически не доказывается.

Расхождения желательного будущего и фатальной перспективы неизбежны (иначе не нужна была бы и сама деятельность марксистов), и два прогресса входят в противоречие.

Это противоречие понимания прогресса, особенно заметное у марксистов, устраняется у народников, прежде всего – Михайловским.

Народническое представление о прогрессе исходит не из текущего отрезка развития общества (переход к индустриальным отношениям), а из самой цели социализма и гуманизма. Такое понимание прогресса субъективно и телеологично: прогресс – это не то, что происходит (происходить могут и реакционные явления), а то, что оценивается как приближение к цели человечества.

Наблюдаемые экономические процессы не всегда прогрессивны, развитие общества сложнее, чем простое движение из пункта «А» в пункт «Б». Чтобы найти путь к желаемому будущему, иногда следует бросить вызов современной тенденции. Ее следует учитывать, ее бессмысленно атаковать в лоб, но ее можно развернуть систематическим воздействием.

Социализм отличается не тем, что он индустриален (это может быть и не так), а соединением работника и условий его деятельности, преодолением условий угнетения. Значит, социалист должен способствовать этой консолидации человека и условий его деятельности.

Субъективный критерий прогресса, предложенный Михайловским, вовсе не обязательно противоречит магистральному развитию человечества. Иначе выдвижение такого критерия имело бы мало смысла. За ним стоит гениальное предположение: видимое направление развития общества может измениться весьма существенно. Первые признаки этого грядущего изменения были обнаружены уже Кропоткиным.

Но народничество делает и более смелое предположение: если в существующем обществе, в традиции страны есть много общего с гуманистическим идеалом, то не стоит приносить это общее в жертву

происходящему прогрессу. Следует опираться на гуманистическую, социально-ориентированную составляющую развития общества, чтобы развернуть эволюцию в направлении идеала. Такая постановка вопроса ничуть не утопичней марксизма. Марксизм рассчитывает, что капиталистический прогресс в итоге обернется своей противоположностью, и следует приложить усилие к такому его развороту в итоге «вызревания» предпосылок социалистической революции. Народники, опираясь на другую часть реальности, на общинную традицию, считают оптимальным прямой путь от существующего к желаемому, без упований на то, что капитализм сделает работу за социалистическое движение. Социалистические элементы не разовьются сами собой, к этому необходимо прикладывать усилия, причем в борьбе с капитализмом, а не в содружестве с ним.

Следующий уровень понимания, который станет доступен уже в XX веке: нужен новый, не индустриальный способ производства, чтобы возникли социалистические отношения.

* * *

Идея общинного социализма, предложенная Герценом и положившая начало народничеству, соединила социалистический проект с традицией не-западных стран. Но при этом народничество придало новый импульс развитию освободительного социализма (в том числе анархизма) и на Западе. Традиционализм, роднивший народничество с консерватизмом, требовал органического движения в будущее с опорой на отношения, сложившиеся веками в данной стране.

Община для народников – не идеал социального устройства, а лишь удобная стартовая точка, опора для развития общества к социализму. Герцен и Бакунин извлекают из крестьянской среды общий принцип, который приложим к любому работнику, не только сельскому. Работник имеет право на средства своей деятельности, и если он работает коллективно, то и право это коллективное. Таково решение проблемы, поставленной Прудоном – никто не имеет собственности, понимаемой как суверенитет над вещами, с помощью которых работают другие люди. При таком подходе никто не может разориться окончательно, если он продолжает трудиться. Потерпев неудачу в одном деле и занявшись другим, включившись в другое сообщество, работник все равно сохраняет владение, право на распоряжение как средствами производства, так и продуктом своего труда, возможность участвовать в управлении производственным процессом. Работник остается равноправным участником общего дела. В этом – суть антиавторитарного социализма – прудонизма, народничества и близких им течений.

Община – это живая организация помощи слабым, ограничивающая своеволие сильных. Община позволяет людям самостоятельно перераспределять ресурсы в зависимости от изменения ситуации, учитывать интересы новых поколений независимо от материального положения родителей. В середине XX в. мальтузианская проблема (нехватка земли из-за роста населения) потеряла остроту. Население переместилось в города. Но в начале XXI века Мальтус снова актуален. Исчерпание ресурсов снова в повестке дня. А значит, актуален и социалистический принцип, по которому каждый человек имеет право на место за столом.

Народники признают, что община еще далека от социалистического идеала, ее нужно освободить от невежества, пресса налогов, от деспотизма самодержавия и помещиков. Общину необходимо было во что бы то ни стало соединить с сознательной свободой культурно развитой личности.

От существующей общины до социализма – большой путь.

Общинная традиция и после перехода крестьянских масс в города воспроизвелась в советской культуре. Как только люди пытаются решить свои проблемы сами, своим коллективом, не доверяя это дело

чиновнику и работодателю, по сути они восстанавливают общину. А восстанавливая общину, они должны понимать, с чем столкнутся.

Община требует от человека гражданской активности – в противном случае он становится инструментом коллектива также, как раньше был инструментом управленца. Община – это шаг вперед в развитии свойств человека по сравнению с фабричной или офисной казармой, община дает дополнительную защиту от вторжения большого мира (в том числе государственных и капиталистических структур. Но она тоже накладывает на личность давление общественной микросреды, иногда весьма тяжкое. Община – это не только права, но и обязательства. Правда те обязательства, в установлении которых имеет возможность принять участие сам человек.

* * *

Народничество противостоит марксизму, но эти течения оказали значительное влияние друг на друга. Маркс в итоге противостояния стал оценивать народнический проект как возможный путь к социализму для страны, в которой капитализм еще не развит (но допустимый лишь в союзе с пролетариатом Запада). Бакунин принимал основные социально-экономические идеи Маркса. Народники относились к достижениям Маркса с позиций синтеза социалистических идей. Марксизм принимался ими не во всей совокупности доктрины (часть которой вполне могла оказаться ошибочной). Каждая идея анализировалась самостоятельно применительно к российским условиям, и либо принималась, либо отвергалась.

Под влиянием народнической критики марксизм стал более внимательно относиться к психологическим, этно-национальным и иным факторам социального развития.

Маркс оказался мудрее своих учеников, и согласился с Михайловском в том, что нельзя превращать предложенный в «Капитале» «исторический очерк возникновения капитализма в Западной Европе в историко-философскую теорию о всеобщем пути, по которому роковым образом обречены идти все народы».

Признавая возможность собственного пути России в будущее, народники поставили проблему многовариантности прогресса. С самого начала эта гипотеза рассматривалась ими не в волюнтаристском ключе (как хотим, так и едем), а в связи социального и этно-культурного факторов. Даже проходя одинаковые стадии развития, народы делают это по-разному, тяготея к одним состояниям и отторгая или болезненно переживая другие.

Размышления на тему разных путей прогресса привели Маркса и Энгельса к более широкой концепции взаимодействия революций в развитых капиталистических странах и обществах, только вступивших на путь капиталистической модернизации. Этому способствовал и подъем революционного движения в России. Революция может начаться не на Западе, а, как и предсказывал Бакунин, именно «на Востоке, бывшем до сих пор нетронутой цитаделью и резервной армией революции». Здесь Маркс соглашается не только с народническим ожиданием революции в России, но и прогнозирует более широкое явление, которое позднее получит от Ленина наименование «Пробуждение Азии». Русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, и тогда «русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития». Эта формула стала полем компромисса, который устроил бы и Бакунина. Она соответствовала взглядам эсеров и после некоторых колебаний, была принята Лениным. Однако колебания российских последователей Маркса были не случайны. Общинный социализм расходился с марксизмом не столько в отношении к капиталистическому прогрессу (в конце концов оба течения относятся к нему в той или иной степени

критически), сколько в конструктивной программе. Если она вытекает из аграрной реальности, она тяготеет к федерализму, если из индустриальной – к централизму, составлявшему ядро марксизма. Пока индустриальные тенденции доминировали в мире, аграрный сектор казался большинству социальных мыслителей отмирающей натурой.

Маркс и Энгельс полагают, что коммунизм приведет к «упразднению города и деревни». Впоследствии марксисты стали интерпретировать эту идею как поглощение деревни городом, что не одно и то же. Процесс сближения города и деревни по условиям жизни действительно можно наблюдать в некоторых развитых индустриальных странах. Он не зависит от формы собственности и владения, он может происходить при капитализме не хуже, чем под руководством “пролетарского” государства. Здесь ключевым является не противоречие капитализма и социализма, а индустриализма и других фаз развития цивилизации. Пока господствует индустриальная организация, город поглощает деревню, превращает ее в пригород. Между тем с середины 60-х гг. XX века в развитых странах Запада начался процесс деурбанизации. Люди среднего достатка предпочитают жить не в мегаполисах, а в оснащенных современными “удобствами” коттеджах. И здесь приближение к выдвинутым Марксом целям идет безо всякой диктатуры пролетариата.

Модель общества, разрабатывавшаяся народниками на основе аграрной, не-индустриальной реальности, вновь становится актуальной.

* * *

Россия не смогла уклониться от пути капитализма и от экспроприации крестьянства. Значит ли это, что народники целиком ошибались в споре с марксистами? Экспроприация крестьянства была проведена не буржуазным режимом. Получается, что дело – не в капитализме, а в индустриализме. Спор велся о том, насколько можно сгладить издержки индустриальной модернизации.

Народники выступали за то, чтобы индустриальный сектор не разрушил то в традиционном обществе, что продолжает служить людям, чтобы преимущества от технологического прогресса получала не узкая каста собственников, а все население.

Они вели борьбу за сохранение многоукладного общества, которое развивается в сторону демократического социализма, где капитализм будет развиваться в рамках, ограниченных государственными и гражданскими структурами, которые не являются капиталистическими по своему характеру, даже если вовлечены в рыночные отношения. В сложной социальной структуре России народники стремились к сохранению всего, что может содействовать социализации личности, ее защите перед лицом капиталистического молоха.

И германские социал-демократы, и народники способствовали продвижению общества к социальному государству. Но ортодоксальные социал-демократы были поборниками индустриальной унификации, а народники стремились сохранить многообразие социальной системы, максимально демократизировать общественные структуры, чтобы облегчить дальнейшее движение, превышающее горизонт социального государства.

Путь России, а затем и большинства азиатских стран в индустриальное будущее оказался совсем не таким, как на Западе. Марксисты были правы в том, что нельзя миновать фазу индустриального общества, которую они связывали с капитализмом. Народники оказались правы в том, что можно миновать общество, в котором преобладают капиталистические отношения. Развитое индустриальное общество в нашей стране сложилось в рамках совсем другой модели, синтезировавшей традиции авторитарной

культуры и общинного коллективизма, марксистскую идеологию, вобравшую многие народнические идеи, и мессианский вызов, присущий России задолго до споров социалистов. В Восточной Европе и «Третьем мире» задачи индустриальной модернизации решал не столько капитализм, сколько этатизм и коллективизм.

Каждое общество проходит универсальные фазы развития (впрочем, отличающиеся от указанных Марксом и Энгельсом), но оно движется своим путем, в соответствии со своим этно-национальным «кодом», своей традицией, которую народники учитывали гораздо внимательнее, чем марксисты. Дальнейшее развитие капитализма, возникновение империализма в начале XX века поставит эту проблематику в фокус внимания марксистской мысли. Лучше поздно, чем никогда.

*** * ***

Направление эволюции капитализма в конце XIX века вызывало у большинства социал-демократов оптимизм. Концентрация производства и капитала росла, и это, казалось, облегчало грядущий переход к социализму. В то же время капитализм как экономическая система становился все стабильнее, в развитых на тот момент капиталистических странах рос уровень жизни – в том числе и рабочих. Выводы, которые были сделаны Бернштейном, хотя и критиковались публично центристами, вытекали из этой тенденции – эволюция капитализма ведет к улучшению положения работников и развитию элементов, которые считались эксклюзивными признаками социализма. Следовательно – достичь целей социал-демократии можно без всякой революции. Укрепление капитализма – это и есть путь к социализму. Социалистический переворот представлялся детищем экономического полнокровия. Здесь утопия социал-демократии (социализм, коммунизм) смыкается с ее же антиутопией (сверхимпериализм). Социально-экономически это две почти идентичные конструкции различаются только тем, кто стоит на вершине – руководство трестов или представители рабочего класса (социал-демократы). Но если бы у социал-демократов что-то не сработало, получалось, что империализм мог вести не только к социализму, но и к капиталистической глобализации, и к государственно-индустриальной системе тотального господства, позднее известной как тоталитаризм. Фатальная неизбежность победы оказалась под сомнением, и выяснилось, что история предполагает субъективный выбор между совсем непохожими дорогами в будущее.

Поступательное развитие капитализма в Западной Европе означало одновременное расширение ареала капитализма и индустриализма, при котором периферия обслуживала нужды ядра. При этом ядро получает больше преференций, а периферия – больше издержек капиталистического развития. По наблюдению Чернова образуется глобальная иерархия народов, в которой одни как целое могут эксплуатировать другие.

Люксембург, предвосхищая идею «пределов роста», полагала, что развитие капитализма не может продолжаться само по себе, без периферии. Чем меньше остается периферии, не вовлеченной в капиталистические отношения, тем острее борьба за ресурсы, тем ближе подходит капитализм к своей гибели.

Если права Люксембург, то снятие остроты классового конфликта в развитых капиталистических странах – вполне естественный процесс, и антикапиталистическая революция является результатом не организации рабочего класса в развитых странах, а, напротив – военного конфликта и сопротивления «окраин» империалистической экспансии.

Ленин пытается совместить достижения Люксембург и ее ортодоксальных критиков. Империализм – это предельное состояние капитализма, дальше он развиваться не может по внутренним причинам. Но в

силу этого системного кризиса он ищет резервы в экстенсивном развитии. Соответственно, падение империализма должно стать результатом внутреннего кризиса, поддержанного толчком, который периферия произведет в отношении развитых капиталистических стран.

* * *

Национальная консолидация середины XIX века, вызванная формированием индустриальных отношений с их нуждой в стандартизации культуры хотя бы на национальной уровне, к концу XIX века трансформировалась в глобальную борьбу за то, какая группа наций будет определять мировые стандарты. Индустриализм перерос национальные рамки географически, но он становился все более этатизированным (что соответствовало и тенденции социального государства), причем не только в регулировании социальных отношений, но и в расчистке пространства для хозяйствования.

Пределом роста империализма стал раздел мира, после чего глобальное межимпериалистическое столкновение стало вопросом времени. Этот грядущий конфликт империалистических интересов, на которое возлагал надежды Бакунин, стал теперь упованием левых социал-демократов. Империализм ведет к одновременному росту прочности конструкций Системы и к накоплению ее противоречий. Итог такому процессу может быть один – взрыв.

Для левых принципиально важно, чтобы энергия этого взрыва не была поглощена длительным межнациональным кровопусканием и связанной с ним шовинистической консолидацией наций. Отсюда тесная связь борьбы за революцию с борьбой против шовинизма.

Интернациональные лозунги повторяли и правые социал-демократы, для которых война означала срыв поступательного движения к победе. Но по мере их интеграции в национальные социально-политические системы они были настроены все более националистически. Социал-демократические партии были лишь частью социальной системы, основанной на национал-этатизме. И система влекла их к войне, несмотря на вялые потуги противостоять этой тенденции.

Поражение интернационализма предопределило «крах» Второго Интернационала. Потеряв авторитет, Интернационал уже не мог удерживать вместе социал-демократов не только разных национальностей, но, что существеннее – разных идейных направлений.

Если в Западной Европе национальное возрождение уже выродилось в империалистический шовинизм и национальное господство, то на периферии национальные движения по Ленину сохраняют освободительный потенциал, особенно – сталкиваясь с империалистическим господством.

Стратегическое размежевание в социал-демократии, таким образом, получает свое логическое продолжение. Правая социал-демократия находит союзника в социал-либерализме и буржуазном модернизме (поддержка буржуазного прогресса, пока он не выработает своих возможностей), а левая – в крестьянстве, бунтующем против капиталистической экспансии, и национально-освободительном движении народов «периферии». Первый путь ведет к угасанию социалистического движения в социал-либерализме, к снятию цели, а второй – к подмене цели социализма задачей, которая стоит перед обществами «периферии» – индустриальной модернизацей. Это оттесняло на обочину те социалистические идеи, которые скептически относились к индустриальному прогрессу, и в то же время делало пролетариат не столь важным элементом революции, как в классическом марксизме. Функции пролетариата может выполнять и носители пролетарского учения, опирающиеся на более широкий и размытый антиимпериалистический социальный фронт, заинтересованный в модернизации. Модернизация – задача национальная, что позволило большевикам после завершения «натиска» 1917-

1922 гг. сменить приоритеты, заняться строительством «социализма» (на деле – индустриальной этократии, социального государства) в одной стране.

Революция и революционеры

Социализм по определению – это общество, качественно отличное от капитализма. Следовательно, переход от одного состояния к другому при всей его возможной плавности не может обойтись без качественных переходов, революций. Радикальные мыслители (Маркс, Бакунин и др.) отождествляют переход к социализму с революционным потрясением. Комплексный подход к этой проблеме, представленный в народничестве и прудонизме, рассматривает переход от капитализма к социализму как эволюцию, на которой должны происходить революционные прорывы. Попытка свести весь переход к эволюции (Бернштейн) вылилась в концепцию бесконечного приближения к социализму, а на деле – замедляющегося (вплоть до полной остановки) движения от капитализма к социальному государству. Если капитализм допускает успешную эволюцию человечества, социализм просто не нужен.

Но если мы сомневаемся в способности капитализма и индустриализма к вечному эволюционированию, то революции оказываются весьма вероятными спутниками будущего.

Революция – это социально-политическая конфронтация по поводу смены системообразующих принципов организации общества, преодолевающая существующую легитимность и открывающая возможности для социального творчества. Это творчество, самоорганизация, перемены в самой ткани социума оценивается Бакуниным как сущность революции, которую он называет «социальной». Маркс, а затем и Ленин, напоминают о важности «вопроса о власти» для проведения революционных преобразований и закрепления результатов народного движения.

Революция – не синоним насилия. Это – социально-политический переворот, ломающий старую политико-правовую оболочку, меняющий принципы социальной организации. Он может осуществляться разными методами. Революция теоретически может быть совершена без кровопролития, «мирными средствами» (чисто прудоновская позиция).

Но в XIX столетии политические течения еще не имели прививки от насилия, которую дал опыт XX века. Проблема насилия была скорее вопросом тактики, чем принципа. Стремление рационально преобразовать страну или мир требовало военной победы, а готовность экспериментировать на себе давала возможность не прибегать к насилию (если не вставал вопрос о самозащите эксперимента). Физическое воздействие на противника гармонировало с принятыми тогда методами действия элиты (от иезуитов до либеральных революционеров), и с настроениями отчаявшихся и необразованных масс. Будущее виделось как романтическая борьба на баррикадах, движение революционных колон, дым сражений, а затем результат — свободное общество свободных людей. И лишь часть социалистических мыслителей, прежде всего французских, переживших или воспринявших от родителей ужас Великой французской революции, стали понимать, что в дыму сражений выковывается не свобода, а диктатура.

* * *

Человеческая натура является и фундаментальной предпосылкой, и фундаментальным препятствием движения к социализму. Человек как таковой несет в себе и биологическое, и идеальное (креативное, духовное) начала. В социалистической мысли выделились два фундаментальных подхода к выработке стратегии движения к социализму в зависимости от взгляда на человека. Либо общество продвигается к идеальному, альтруистическому началу, подавляя стихию биологического (эгоистического, мещанского, непросвещенного) начала. После первого импульса идеалистического энтузиазма наступает неизбежный откат. Творческая энергия человека самомобилизуется на сопротивление принуждению, на адаптацию

коммунистического проекта к потребностям реальных людей. Соотношение идеальных и «приземленных» качеств консервируется, так как творческие способности подчинены нуждам сопротивления человека идеальному проекту.

Другой путь – попытка выделить в самой стихии идеальные начала, и пестовать их, стимулируя самоорганизацию стихии, устраняя внешние препятствия для их развития, одновременно создавая условия для удовлетворения биологических потребностей. Уязвимая сторона этого пути – угасание проекта в случае неудачи самоорганизации, опережающего развития биологических потребностей над творческими.

В силу этого качественное преобразование общества невозможно чисто эволюционным путем. Без революционных импульсов эволюция угасает, но сам по себе революционный импульс может и не способствовать продвижению общества к идеалу. Это зависит от соотношения «духа разрушающего» и «духа созидающего».

Бакунин и Маркс полагают, что работники уже готовы творить новую социальную реальность, а Прудон, Герцен и Лавров настаивают на необходимости подготовки социально-культурных предпосылок для революции. Это разногласие ставит перед социалистической мыслью важную проблему связи революции и просвещения.

Бакунин видит в революции самой по себе предпосылку для стремительного культурного развития народа. Он считает, что разрушение государственности и ликвидация правящей имущественной элиты (кстати, отметим, тесно связанной с элитой культурной) даст преимущество “духовной стороне жизни”. Но эта мысль не доказана “Великим бунтарем”. Радикальный скачек к будущему обществу может привести к возвращению во времена варварства. На это Бакунину указывали коллеги по народническому движению Герцен и Лавров.

Революция откроет путь к просвещению трудящихся, росту их культурного уровня, или культурный уровень является необходимой предпосылкой для революции, без которого она не сможет обеспечить переход к новому обществу? Важно учитывать, что предпосылки революции отличаются от предпосылок нового общества и как правило возникают раньше. И речь должна идти не только о социально-экономических, но и о культурно-нравственных предпосылках.

Социальные структуры во многом зависят от нравственной традиции и этических представлений, но и нравственность исторически формируется социальными структурами. Кропоткин прав в том, что этот фактор нельзя игнорировать, но и с Бакуниным трудно не согласиться в том, что сама по себе нравственная проповедь даст ограниченные результаты – классовое общество легко изолирует чудаковатых альтруистов. Из этой взаимосвязи социального и нравственного факторов следует, что необходимо постепенное формирование новых отношений в тесной связи с распространением альтруистической морали – первоначально в рамках освободительного движения и локальных социалистических (коммунистических) экспериментов.

С учетом культурно-нравственной инерции, путь к «утопии» распадается на ряд этапов: вызревание элементов новых отношений в недрах эксплуататорского общества, социальная революция, которая приводит к возникновению «переходного» общества, например, федеративного социализма, постепенное укрепление анархических и коммунистических начал по мере развития альтруистической морали.

* * *

Важная проблема социалистического движения: различие интересов работников города и деревни. Перед революционерами встала альтернатива – встать на одну из сторон (например – пролетариата) или

искать пути преодоления самого противоречия. Марксизм видел свою армию в пролетариате. Прудон и народники стали искать пути классового союза и синтеза. В крестьянской стране народники сделали ставку на крестьянство, но не отрицали и важную роль городских слоев в революции.

В XX веке идея рабоче-крестьянского союза была взята на вооружение марксизмом-ленинизмом. Крестьянство оставалось в этой связке страдательным членом. Маркс и Энгельс также пришли к выводу, что пролетарская революция в Западной Европе не увенчается успехом без «второго издания» крестьянской войны на Востоке Европы. Но и в этом случае не могло идти речи о равноправии крестьянского и рабочего движений. «Пролетарские» революционеры должны были воспользоваться крестьянским бунтом. Но и у народников революционный импульс исходит не от крестьян.

Социальный рычаг, который Маркс нашел в пролетариате, Лавров обнаружил в слое критически мыслящих людей. Но пролетариат более многочислен и сплочен. Поэтому радикальной интеллигенции необходимо опереться на массы народа, которые являются «заказчиком» социалистического проекта. В России второй половины XIX века народничество обречено было ориентироваться на крестьянство не только из-за того, что искало в общине модель будущего, но и в силу демократизма. Раз народ – крестьянство, то на крестьянство и следует опираться прежде всего, а уже во вторую очередь – на рабочих. В XX в. коммунисты в странах Азии были готовы отодвинуть в сторону «пролетарский характер» революции и формировать свои армии и партийные аппараты из крестьян. В конечном итоге технологически марксистский коммунизм и народничество пришли к общей схеме: лидерство интеллектуалов, разночинная организация, опора на активные массы трудящихся – рабочих (по возможности) и крестьян.

* * *

Главная предпосылка пролетарской революции по Марксу 40-х гг. – это не столько развитость капитализма, сколько наличие боеспособного пролетариата — армии революции и строительного материала нового общества.

Маркс надеется, что пролетарии используют свою энергию отрицания капитализма для разрушения этого строя, что автоматически приведет к возникновения нового строя – коммунизма. Но значит ли это, что рабочие сами по себе испытывают стремление именно к коммунизму. Позднее Ленин отметит, что стихийное рабочее движение не вырабатывает социалистической стратегии, идеология социализма привносится в рабочий класс извне, со стороны интеллигенции. Из этого следует, что соответствие социалистической стратегии интересам пролетариата – это теоретическая модель, а не результат эмпирических исследований.

В XIX веке собственно пролетарское сознание было значительно ближе к тред-юнионизму и анархизму, чем к марксизму. Но тред-юнионизм еще не выработал своей идеологии (позднее ее роль станет играть социал-либерализм, выработанный политическими движениями), и радикальное рабочие движение тяготело к анархизму. Рабочий еще не оторвался от крестьянских и ремесленных корней, и его идеологи стремились вернуть пролетариев к распоряжению средствами производства на новом техническом уровне. После того, как рабочие окончательно свыклись со своим положением инструмента высоко специализированного производственного организма, изменилось и их сознание. Тред-юнионизм соединился с этатистской социал-демократической стратегией, когда задачи социальной защиты стали возлагаться на «свое» государство. В фордистскую эпоху эта тенденция стала преобладающей.

Предлагая себя в качестве выразителя интересов пролетариата, марксизм на деле собирается идти дальше, чем нужно самому пролетариату как классу. Пролетариат, таким образом, оказывается

попутчиком марксизма, его союзником до возникновения социального государства. Марксистская идеология может соответствовать интересам не только (и даже не столько) пролетариата, сколько управленческой элиты индустриального общества (технократии, бюрократии).

Ленин предлагает устранить противоречие марксистской идеологии и изначального пролетарского сознания, коммунистического проекта и социальной стихии с помощью модели «пролетарской революции»: организация рабочего класса (марксистская интеллигенция + сознательные рабочие) руководит всем пролетариатом, а от его имени – также революционной частью крестьянства. От партии исходит организованность, которая все глубже проникает в тело стихии. Эта модель, явившаяся марксистским развитием идей бланкизма, обеспечила большевизму возможность эффективного взаимодействия с социальной стихией (что было ахиллесовой пятой большинства оппонентов большевизма).

* * *

Раскол социал-демократического движения и выделение коммунистического марксистско-ленинского движения в результате потрясений, связанных с Первой мировой войной, вылились в реализацию двух стратегий: либо воспользоваться мировым кризисом и вызванными им революциями для начала строительства альтернативного капитализму общества, не имея всей полноты предпосылок социализма; либо превращение социал-демократии в элемент капиталистического общества, который борется за улучшение положения рабочего класса и в то же время стоит на страже существующей социально-политической системы перед лицом кризиса. Стратегия ожидания расчистила препятствия к интеграции социал-демократии в существующую индустриально-капиталистическую систему с соответствующей коррекцией этой системы в интересах рабочего класса.

Радикальный марксизм в России в 1917 г. получил преимущества за счет своего союза с низовым социальным движением, с низовой самоорганизацией, на которую возлагал надежды еще Бакунин. Но модель общества, которой руководствовался большевизм, была отторгнута крестьянским большинством населения, а в значительной степени и рабочими. В ходе Революции и Гражданской войны 1917-1922 гг. модель государства-фабрики навязывалась массам силой, крайне авторитарными средствами. И хотя коммунизм в теории – самый свободный и демократический общественный строй, его реализация авторитарными средствами выявила доминирование централистичного властного идеала над демократическими задачами марксизма. Это подтвердило, что результат преобразований определяется не только провозглашенной целью, но и средствами ее достижения. Цель не оправдывает средства, а поглощается ими.

Реализуя марксистский идеал в стране, не прошедшей этапа индустриальной модернизации, коммунисты вынужденно брали на вооружение некоторые народнические идеи, в частности – о своеобразии путей к социализму в разных странах, о союзе с крестьянством, о «прямой дороге» к социализму в условиях неразвитого капитализма. Но при этом коммунисты отрицали ядро «общинного социализма» – его конструктивную программу. Однако марксизм много взял у своих оппонентов, и в этом отношении элементы антиавторитарного социализма могли найти немало точек опоры в официальной марксистско-ленинской идеологии СССР, а также в культурных традициях страны. С этим связано «проступание» народничества в советской культуре вопреки ленинизму.

Марксизм (в том числе ленинизм) является социалистическим течением, наиболее адекватной индустриальному обществу, а значит – задачам модернизации, которые стояли перед страной. Народничество было течением социализма, наиболее адекватным традициям страны. Насколько в

советском обществе осуществлялась модернизация – реализовывался марксистский проект; насколько народ при этом заставлял режим учитывать традиции страны – воспроизводились элементы народничества. В результате синтеза социалистических традиций, модернизационного напряжения и автономного социального и индивидуального творчества возникла советская культура, основанная на социалистических ценностях. Достижения этой культуры следует отличать от тоталитарного стержня коммунистического режима. По мере эрозии этого стержня в 60-80-е гг. советская культура только процветала.

* * *

Маркс и Ленин полагают, что революция будет состоять из нескольких периодов натиска». Ленин считает, что в ходе одного из таких «натисков» возможна победа социалистического движения первоначально в немногих или даже в одной капиталистической стране. Но построение социализма как общества станет итогом этих натисков и делом наиболее развитых стран.

Мировая война ослабила империалистическую систему в ее ядре и создала окончательные предпосылки для нового строя. Ленин, с его моделью социализма-фабрики, считал, что для преодоления капитализма осталось сменить надстройку, свалить империалистическое государство, и заменить его пролетариатом, организованным в коммуну с помощью советов.

Однако в 1917-1919 гг. революционная волна первоначально выдвигала на первый план умеренных социалистов, планы которых в большей степени соответствовали стремлению масс к социальному государству и решению аграрного вопроса. Шанс на приход к власти коммунистов давали только дальнейшее углубление социально-экономического кризиса, неспособность умеренных социалистов хотя бы начать назревшие социальные преобразования.

Именно такая ситуация сложилась в России, где реформистские планы социалистов были блокированы либералами и правыми крыльями социалистических партий. Во второй половине года левыми социалистами и большевиками обсуждались две модели революции. Либо – проведение социальных преобразований с опорой на большинство трудящихся (как организованное в советы, так и нет). Это было возможно в случае компромисса между всеми социалистическими партиями и большевиками на платформе немедленного начала аграрной реформы (с последующим утверждением ее принципов авторитетом Учредительного собрания), государственного регулирования с одновременным расширением прав производственного самоуправления и участия работников в управлении производством. Либо – проведение аналогичных преобразований силами радикального меньшинства «демократии», опирающегося на недостроенную советскую систему и кадры активистов, лучше приспособленные к социально-политической конфронтации, чем к организации производства и обмена. Коалиционная конфигурация «однородного социалистического правительства» советов могла предотвратить широкомасштабную гражданскую войну и обеспечить основу для целостного синтеза социалистической традиции и «разделения обязанностей» между направлениями. Но такому развитию опыта Парижской коммуны не суждено было сбыться.

Прорыв к пост-капиталистическому обществу начали представители узкого спектра марксизма, что ограничило как теоретический багаж преобразований, так и организационные возможности преобразователей. Экспериментаторство коммунистов во многом вытекало из нерешительности социалистов и сопутствующего углубления кризиса.

Опыт Российских революций позволил практически разрешить проблемы, по поводу которых ломали

теоретические копья российские социалисты – и марксисты, и народники. Уровень развития страны оказался достаточен для того, чтобы преодолеть капитализм уже в первой трети XX века (если понимать под ним систему, основанную на частной собственности). Этот уровень оказался недостаточным, чтобы создать социализм (если понимать под ним общество без элитарного класса и эксплуатации). Страна продолжила движение по пути индустриализма, индустриальный уклад (потеряв капиталистическую оболочку) стал господствующим. Но социализм так и остался гипотетической перспективой, и если ему суждено стать реальностью, то она будет уже пост-индустриальной. Это делает вновь актуальными размышления народников о таком социализме, который будет вытекать не из усиления индустриальной технологии, а из ее ослабления, введения в рамки, ограниченные интересами личности, а в дальнейшем – из преодоления индустриализма.

Социализм XXI века

Человечество встречает XXI век в условиях господства либеральной идеологии, которая лежит в основе правил «мирового порядка» и «политкорректных» взглядов правящих элит ведущих государств мира. Это позволяет апологетам либерализма даже надеяться на «конец истории» – некий символ вечности и безальтернативности существующего порядка. Но победив, либерализм не создал обещанного им общества равных прав, демократии и свободы. Мир по-прежнему основан на несвободе, господстве меньшинства, экономической нестабильности. Более того, мир неудержимо меняется под действием пост-индустриальных тенденций. Новый век требует идейной альтернативы либерализму, капитализму, глобальной «политкорректности». Без конструктивной альтернативы существующему обществу сбой глобального миропорядка может привести к откату общества во времена этнократии, ожесточенной борьбы национал-государственных машин за ресурсы, к трайбализму и контрмодерну. Развитие человечества не может быть устойчивым, если оно опирается на узкий спектр идей между либеральным глобализмом и этнократическим национализмом. Для того, чтобы общество могло сделать следующий шаг в будущее (а не назад в древность), ему необходима модель пост-капиталистического общества, и здесь никак не обойтись без наследия социалистической мысли.

Индустриальные формы господства подрываются современными культурно-технологическими тенденциями. Индустриальное общество прошло пик своего развития. Предсказанный Михайловским процесс диверсификации, снижения специализации, развития многофункциональности человека происходит все заметнее.

Идеологическая доктрина правящей в странах запада элиты утверждает, что произошел качественный сдвиг от индустриального к постиндустриальному обществу. Не происходит, а произошел. Подмена возможности совершившимся фактом нужна именно для того, чтобы обосновать ненужность социальных перемен, достаточность только технологических и культурных сдвигов. Либеральные марксисты вносят свой посильный вклад в доказательство этого тезиса. Но сами доказательства противоречат очевидным фактам: информационные технологии и культурное творчество пока развиваются под контролем управленческой элиты — государственных и предпринимательских структур. К тому же чтобы преувеличить роль пост-индустриального сектора, к нему относят службу сервиса, которая в реальности организована преимущественно либо на индустриальных (фаст-фуд, например), либо на до-индустриальных ремесленных принципах.

Рост объемов информационного обмена, количества людей, занятых в работе с информацией – недостаточно, чтобы говорить уже о принципиально новом обществе. Ведь рост числа бюрократов, перебирающих бумаги – не признак роста «информационного сектора». Распространение информационных технологий само по себе не излечивает многочисленных социальных нарывов на теле цивилизации, не означает качественную перемену в развитии общества.

Пост-индустриальные отношения лишь тогда могут считаться таковыми, если они качественно отличаются от индустриальных и до-индустриальных. Если новое общество – не вариант индустриального, то будут преодолены важнейшие черты прежней формации: специализация будет вытесняться многофункциональностью, воспроизводство по шаблонам – креативностью, вертикальные формальные отношения управления – сетевыми горизонтальными неформальными связями, прямое подавление и принуждение – манипуляцией с одной стороны и самоуправлением – с другой. Важная и наиболее заметная черта новых отношений – преобладание моделирования реальности над производством типовой продукции. Поэтому содержательно грядущую формацию можно характеризовать как моделирующую. Но в ней, как и в индустриальной формации, будут развиваться различные тенденции – и господство, и

свободное социальное творчество, и угнетение, и солидарность. Одна тенденция – манипулятивный авторитаризм (элитаризм), другая – социализм.

Эволюция технологии – необходимое, но недостаточное условие для перехода к принципиально новому обществу. Технический детерминизм недостаточен для объяснения нынешних социальных перемен. Если бы компьютер изобрели в начале XX века, он был бы использован не для создания коммуникационных сетей, а для гигантских плановых центров государства. Развитие технологии в свою очередь обусловлено более широким полем культуры, запросом на креативность. Этим запросом продиктованы ослабление диктата управленца, усиление свободы творчества автономного производителя, смена принципов субординации – назначенчество и верховенство собственника будут уступать место критерию знаний и творческих навыков. Это облегчает горизонтальные контакты не только внутри производственной группы, но и вне ее, в корневых гибких связях небольших автономных групп.

Промышленные корпорации стремятся (и не безуспешно) подчинить себе автономные креативные ядра. Но опыт показывает, что производство информации требует более гибких форм управления, большей автономии производителя-творца, чем это принято в жестко управляемой индустриальной организации. Информационный продукт производят люди, которые лучше разбираются в своем деле, чем их начальник. Отсюда – необходимость в манипуляции сознанием, когда управляемый не замечает своей зависимости. Работники моделирующего сектора могут развиваться свободно от управленческого диктата, но это — только потенция. Ведь для этого креативный слой должен быть свободен и от самого элитаризма, даже от собственных привилегий, дабы иметь открытый характер, свободно пополняться, «втягивать» в свой состав творческие элементы других слоев, тем формируя многообразный социум самостоятельных самоуправляемых социальных организмов, состоящих из работников-владельцев.

Разнонаправленные процессы – укрепление структур глобального информационно-экономического управления (а значит – и глобальной информационно-финансовой элиты) и складывание системы горизонтальных информационно-неформальных (информальных) связей – ведут к возникновению противостоящих секторов моделирующей формации (что не исключает формирования также смешанных и синтетических секторов). Возможно, именно социализм станет одним из полюсов общества, преобладающего в истории XXI века.

Социалистический сектор первоначально будет существовать параллельно с другими. Он нуждается в надежной защите от разрушения, от агрессии более примитивных социальных форм – капитализма, государства, мафиозных кланов и др. Поэтому социализм заинтересован в развитии и укреплении различных форм народовластия (самоуправления и федерализма) и правового, организованного общества, а также в защите социальных, экологических, гражданских стандартов и внешнеполитической безопасности.

Таким образом, социализм XXI века – это не устройство государства, а сектор общества. Его формула: самоуправление + равноправные связи + творческий характер деятельности работников + федеративная демократия.

Картина будущего будет зависеть от того, какая из двух основных тенденций возобладает – информационный манипулятивный тоталитаризм или корневые креативные информальные структуры. Как и в XX столетии, где модель социально-государственного индустриального общества осуществилась в различных формах (советской, фашистской, рузвельтовской, шведской), в XXI веке будут существовать разные варианты новой общественной системы.

В современном мире наблюдается серьезный перекос в скорости вызревания предпосылок новой формации «сверху» и «снизу». Если система нового управления в современном мире почти достроена, то «противовес» в виде новой структуры общества, далек от завершения. В случае межформационной

революции с центром на Западе может возникнуть тоталитарная модель новой формации, где управление преобладает над саморегулированием (нечто подобное произошло в ряде стран в XX веке, когда неизбежный переход к индустриальному социальному государству привел к появлению тоталитарных режимов).

Виртуальная культура допускает возможность одновременного сосуществования на одной территории субкультур с разными мировоззрениями и собственными системами управления. Вероятно даже сосуществование на одной территории разных государственно-политических систем, которые вовлекают пользователей различных теле- и интернет-каналов. Некоторые мировые субкультуры могут начать играть роли, сопоставимые с ролью отдельных государств. Социалистический сектор также может распасться на несколько самостоятельных конкурирующих субкультур. Найдут ли они возможность для согласования своей деятельности, сближения идей и стратегий?

От этого зависит, насколько успешным будет продолжение истории социализма в XXI веке, насколько гуманным, демократичным, свободным, солидарным и творческим будет будущее человечества, наше будущее.

Примечания

1

Осипов Ю.М. Постсоциалистический социализм. // Современная Россия и социализм. Опыт непредвзятой дискуссии. М., 2000. С. 6.

2

Там же, С. 7-8. Утверждение Ю.М. Осипова о невозможности никакого иного социализма, кроме «квази», никак не обосновывается. Оно является аксиоматическим рудиментом марксистско-ленинской монополии на социалистическое учение в СССР. Другой недоказанной аксиомой, но уже либеральной, является содержащееся здесь же утверждение, что социализм не соответствует человеческой природе. Хотя, по признанию того же автора, природе этой соответствуют такие ценности социализма, как коллективизм, социальная взаимопомощь и т. п.

3

Галкин А.А. Левые вчера и сегодня. //Левые в Европе XX века: люди и идеи. М., 2001. С.10.

4

Vincent K.S. Pierre-Joseph Proudhon and the Rise of French Republican Socialism. New York, Oxford, 1984. P.76. Как мы увидим, термин значительно моложе явления, но появился он вовремя — как раз тогда, когда социализм превратился в постоянный фактор общественной жизни.

5

Под «социализмом»принято понимать и идейное течение, и общественный строй, за которое оно выступает. Эти два значения различаются контекстом.

6

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.7. С. 303.

7

За пределами нашего исследования остается «национал-социализм» и другие фашистские течения, прикрывавшие модной в начале века социалистической риторикой изначальный разрыв со всеми ценностями социализма. Национал-социализм был крайне элитарен по своей идеологии, и уже в силу стремления закрепить классовое разделение не относится к социализму как таковому.

8

Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации. // Образ будущего в русской социально-экономической мысли конца XIX – начала XX века. Избранные произведения. М., 1994. С. 190.

9

Мангейм К. Идеология и утопия. // Утопия и утопическое мышление. М., 1991. С. 151.

10

Шафаревич И.Р. Сочинения. М., 1994. Т.1. С. 174-209.

11

Герцен А.И. Собрание сочинений. М., 1954-1966. Т.12. С.168.

12

Энгельсон В.А. Что такое государство? // «Полярная звезда» за 1955 год. М., 1966. С.35.

13

См. Мэнюэль Ф.Э., Мэнюэль Ф.П. Утопическое мышление в западном мире. // Утопия и утопическое мышление. С.21-49.

14

Мор Т. Утопия. // Утопический социализм. М., 1982. С.53-76.

15

Б.Р. Тэккер. Государственный социализм и анархизм. // Анархизм. М., 1999. С. 28-29, 43-44.

16

Кампанелла Т. Город солнца. // Утопический социализм. С. 86.

17

Там же. С. 97.

18

Там же. С. 91.

19

Лафарг П. Томас Кампанелла. М., Л., 1926. С.67.

20

Уинстэнли Д. Избранные памфлеты. М., – Л., 1950. С.206-208.

21

Холореншоу Г. Левеллеры и английская революция М., 1947. С. 49-50.

22

Уинстэнли Д. Ук. соч. С. 221.

23

Там же. С. 210.

24

Павлова Т. Народная утопия в Англии XVII в. М., 1998. С. 105.

25

Там же. С.114.

26

Эльцбахер П. Сущность анархизма. М., 2001. С.41.

27

Цит.по: Чудинов А.В. Был ли Годвин «отцом анархизма». // Анархия и власть. М., 1992. С.36.

28

Эльцбахер П. Сущность анархизма. М., 2001. С.43.

29

Там же. С.44.

30

Там же. С.38.

31

Там же. С.13.

32

Цит.по: Чудинов А.В. Был ли Годвин «отцом анархизма». // Анархия и власть. М., 1992. С.38.

33

Там же. С.36.

34

Там же. С.37.

35

Там же. С.39.

36

Чудинов А.В. Указ. соч. С.39.

37

Кожокин Е.М. История бедного капитализма. Франция XVIII – первой половины XIX века. М., 2005. С.144.

38

Цит. по: Кожокин Е.М. Указ. Соч. С.144.

39

Цит. по: Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. М., 1983. Т.6. С.57.

40

Цит. по: Ревуненков В.Г. История французской революции. М., 2003. С.358-359.

41

Там же. С.360.

42

Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства. Т.2. М., 1963. С.136.

43

Там же. Т.1. С.321.

44

Там же. С.74-75.

45

Справочная книга социалиста Гуго и Штегмана. СПб., 1906. С.81.

46

Blanqui A. Critique sociale. P., 1885. V. I. P.206, 208.

47

Цит. по: Керженцев П.М. История Парижской коммуны 1871 г. М., 1940. С.17.

48

Blanqui A. Critique sociale. P.109.

49

Вышеславцев Б.П. Кризис индустриальной культуры. Марксизм, неосоциализм, неолиберализм. New York, 1982. С. 276-277. Справедливости ради отметим, что Вышеславцев, в целом точно охарактеризовавший идею Сен-Симона, несколько исказил его взгляды. Под промышленностью Сен-Симон понимал любой производящий труд, в том числе и труд крестьянина (правда, он тоже будет реорганизован “научно”). Под промышленниками — работников. Но указанная Вышеславцевым тенденция все же верна, так как, решая вопрос о власти (например, составлении бюджета), Сен-Симон уже говорит о “наиболее важных промышленниках” (Собрание сочинений Анри де-Сен-Симона. М.,-Пг., 1923. С.253, 255).

50

Вышеславцев Б.П. Указ. соч. С. 277.

51

Там же. С. 278.

52

См. Сен-Симон А. де. О теории общественной организации. // Утопический социализм. С.228.

53

Богданов А.А. Вопросы социализма. М., 1990. С.289.

54

Волгин В.П. Социальное учение раннего сен-симонизма. // Изложение учения Сен-Симона. М.-Л., 1947. С.16.

55

Изложение учения Сен-Симона. С.81.

56

Там же.

57

Там же. С.245.

58

Там же. С.250.

59

Там же. С.276.

60

Там же. С.269.

61

Утопический социализм. С.223-228.

62

Фурье Ш. Теория четырех движений и всеобщих судеб. // Утопический социализм. С. 256.

63

Жид Ш. Пророчества Фурье. // Творцы кооперации. М., 1991. С.31.

64

Утопический социализм. С. 261-294.

65

Жид Ш. Ук. соч. С.37.

66

Туган-Барановский М.И. Ук. соч. С.191.

67

Там же. С. 192.

68

См. Шубин А.В. От «застоя» к реформам. СССР в 1977-1985. М., 2001; Шубин А.В. Парадоксы Перестройки. Неиспользованный шанс СССР. М., 2005.

69

Туган-Барановский М. И. Указ. соч. С.192.

70

См., например, Бузгалин А.В. Ренессанс социализма (к теории социализма постиндустриальной эпохи). // Современная Россия и социализм.

71

Суханов Н.Н. Записки о революции. Т. 2. М., 1991. С.16.

72

См. Подмарков В.Г. Роберт Оуэн. М., 1976. С.18.

73

Оуэн Р. Книга о новом нравственном мире. // Утопический социализм. С.330.

74

Туган-Барановский М.В. Указ. соч. С. 199.

75

Оуэн Р. Избранные сочинения. Т.2. С.63.

76

Галкин В.В. Наука или утопия? Опыт исследования социалистических учений последователей Р. Оуэна в Англии 20-40-х гг. XIX в. М., 1981. С. 110.

77

Там же. С. 123.

78

Подмарков В.Г. Указ. соч. С. 36.

79

Там же. С. 92.

80

Цит. по: Туган-Барановский М.И. К лучшему будущему. М., 1996. С.99.

81

Подмарков В.Г. Указ. соч. С.93.

82

Фурье Ш. Новый хозяйственный и социетарный мир, или открытие способа привлекательного и природосообразного труда, распределенного в сериях по страсти. // Утопический социализм. М., 1982. С.267.

83

Туган-Барановский М.И. Указ. соч. С. 199.

84

Оуэн Р. Книга о новом нравственном мире. С.331.

85

См. Туган-Барановский М.И. К лучшему будущему. С.100-101.

86

Подмарков В.Г. Указ. соч. С.95.

87

Цит. по Андерсон К.М. Оуэнисты в Британии. Утопический социализм и общественные движения в Англии, 1810-1830-е гг. М., 1989. С.68.

88

Там же. С. 69.

89

См. Там же. С. 159.

90

Там же. С. 65.

91

Там же.

92

Подробнее см. Галкин В.В. Указ. соч. С.145-147; Андерсон К.М. Указ. соч. С.60-64.

93

Справочная книга социалиста Гуго и Штегмана. СПб., 1906. С.546.

94

Там же. С.547.

95

Oved Y. Two Hundred Years of American Communes. New Brunswick, 1988.

96

Гордеева И.А. «Забытые люди» История российского коммунитарного движения. М., 2003. С.21.

97

Цит. по Гордеева И.А. Указ. соч. С.55

98

Подробнее историю коммунитарного движения в России см. Гордеева И.А. Указ. соч.

99

См. например: Производственный федерализм П.А. Кропоткина и попытки его осуществления на Тверской земле (к истории создания и деятельности Бежецкой трудовой земледельческой коммуны). // Петр Алексеевич Кропоткин и проблемы моделирования историко-культурного развития цивилизации. СПб., 2005. С.207-215.

100

Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910-1930-е гг. М., 1990. С.112.

101

Утопический социализм. С. 326.

102

Оуэн Р. Книга о новом нравственном мире. // Утопический социализм. С.333.

103

Галкин В.В. Указ. соч. С. 121.

104

Туган-Барановский М.И. Указ. соч. С.198.

105

Ерофеев Н.А. Чартистское движение. М., 1961. С.109.

106

Цит. по: Кожокин Е.М. Указ. соч. С.306.

107

Кожокин Е.М. Указ. соч. С.306.

108

Несколько раньше Блана подобные взгляды высказывал христианский социалист Ф.Ж. Бюше. Карбонарий, работавший в контакте с рабочим движением, он затем примкнул к сен-симонистам. Бюше разделял идею самоуправляющегося производства Оуэна и Фурье, но считал, что эти принципы должны быть распространены на существующее индустриальное производство. Предприятия должны направлять часть прибыли на общие нужды «синдикальной организации» коллективного сектора (Vincent K.S. Pierre-Joseph Proudhon and the Rise of French Republican Socialism. NY., Oxford, 1984. P. 136-138.). Буше распространил на французскую почву синдикализм Оуэна и во многом предвосхитил идеи Блана. В 1834 г. его сторонники организовали кооператив. Бюше и его сторонники стали развивать идеи христианского социализма, но дальнейшая эволюция его личных взглядов шла в консервативном направлении. Бюше в 1848 г. даже стал председателем Учредительного собрания, но проводил умеренно-либеральную политику.

109

Цит. по: Ревякин А.В. Социализм и либерализм во Франции в середине XIX века. М., 1999. С.270-271.

110

Там же. С. 274.

111

Творцы кооперации. С.52.

112

Луи Блан. Об ассоциациях. // Там же, С.53.

113

Туган-Барановский М.И. Прудон. // Прудон П.Ж. Что такое собственность? М., 1998. С.324.

114

Прудон П.Ж. Что такое собственность? С. 110.

115

Прудон П.Ж. Указ. соч. С. 196.

116

Там же. С. 77.

117

Proudhon P-J. Systeme des Contradictions economiques ou Philosophie de la Misere. / Marx K. Misere de la Philosophie. Paris, 1983. (Далее: Proudhon P-J. Systeme des Contradictions economiques…). T. 1. P.61.

118

Прудон П.Ж. Указ. соч. С. 75.

119

Там же. С. 200.

120

Там же. С.75.

121

Vincent K. Op. cit. P.156.

122

Op. cit. P.144-145.

123

Guerin D. Proudhon: oui et non. 1978. P. 187. Герен «ловит» Прудона и на других противоречиях, но столь же нелогично (P.188-189). Прудон стремится передать «фабрики рабочим», и в то же время «передать власть» федерациям производителей. Но, как мы увидим, эти федерации строятся снизу, на основе принципов, которые подчиняют органы координации самоуправлению. Это — не противоречие, а система регулирования снизу. По этой же причине нельзя признать противоречивыми одновременное стремление Прудона к политической анархии и федерации, ибо анархия — это не хаос, а отсутствие организованного принуждения сверху, из центра (обо всем этом — ниже).

124

Прудон П.Ж. Указ. соч. С.200.

125

Там же. С.93.

126

Прудон П.Ж. Предостережение собственникам, или письмо г-ну Виктору Консидерану, редактору газеты «Фаланга», о защите собственности. // Анархия и власть. М., 1992. С.123.

127

Развивая этот терминологический компромисс, Прудон в книге «Новая теория собственности» предложил различать собственность-кражу (то есть, частную и государственную собственность) и собственность-свободу, собственность-справедливость (то есть то, что он называл владением). Иногда в этом видят отход Прудона от его критики собственности, но напрасно. Вся критика собственности как кражи остается при нем. Прудон просто не желает вступать с союзниками в лишние терминологические споры, если есть шанс договориться с ними о программе преобразований. В случае с бланкистами это удалось – прудонисты повели их за собой во время Парижской коммуны в деле социально-экономических реформ.

128

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.2. С.38.

129

Маркс К. О Прудоне (письмо И.Б. Швейцеру) // Прудон П.Ж. Что такое собственность? С. 319.

130

Proudhon P-J. Systeme des Contradictions economiques… T.1. P.IX.

131

Op. cit. T.3. P.326-327.

132

Op. cit. P.327.

133

Маркс К. О Прудоне (письмо И.Б. Швейцеру). С. 319.

134

Анархия и власть. С.116.

135

Тэккер Б. Указ. соч. С. 30.

136

Туган-Барановский М.И. Указ. соч. С. 332.

137

Proudhon P-J. Systeme des Contradictions economiques…T. 1. P. 209.

138

Op. cit. P. 211-212.

139

Proudhon P-J. Systeme des Contradictions economiques…T.1. P.XV.

140

Op. cit. P. XIII.

141

Луи П. История социализма во Франции. М., 1906. С. 171.

142

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.4. С. 78.

143

Там же. С. 133.

144

Proudhon P-J. Systeme des Contradictions economiques…T. 3. P. 253.

145

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.4. С. 133.

146

Proudhon P-J. Systeme des Contradictions economiques…T. 3. P. 253.

147

Ibid.

148

Op. cit. P. 254.

149

Op. cit. P. 260.

150

Цит. по: Эльцбахер П. Ук. соч. С.82.

151

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.2. С. 39.

152

Gurvitch G. Proudhon et Marx. // L'Actualite de Proudhon. Bruxelles, 1965. P. 92.

153

Proudhon P-J. Systeme des Contradictions economiques… T. 3. P. 160.

154

Op. cit. P. 161.

155

Вышеславцев Б.П. Кризис индустриальной культуры. Марксизм, неосоциализм, неолиберализм. New York, 1982. С.348-349.

156

Там же. С. 173.

157

Прудон П.Ж. Указ. соч. С. 194.

158

Луи П. Указ. соч. С.170-171.

159

Proudhon P-J. Systeme des Contradictions economiques…T. 1. P.209-210.

160

Лапин Н.И. Молодой Маркс. М., 1986. С. 185.

161

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. С. 380.

162

Там же. С. 379.

163

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т.42. С.102.

164

Там же. Т.1. С.380.

165

Рябов П.В. Проблема личности в философии классического анархизма. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. М., 1996. С.11.

166

Цит. по: Эльцбахер П. Указ. соч. С.89.

167

Там же. Т.42. С.113.

168

Там же. С.102.

169

Там же. С.135-136.

170

Там же. С.82.

171

Там же. Т.3, С. 32.

172

Там же. С. 70.

173

Гринив В.В. Философия небытия Карла Маркса. Критика философских, социологических и политологических доктрин. Киев, 1992. С. 159

174

Вильчек В. Прощание с Марксом. М., 1993. С. 107.

175

Там же. С. 108-109.

176

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. 2. С.203.

177

Там же. С.205.

178

На этом зиждется и концепция «Капитала», где источником новой стоимости объявлен только живой труд, независимо от производительности машин. При этом Маркс не различает творческий и воспроизводящий труд, который на практике выполняет ту же функцию, что и машина – реализация полученной извне модели.

179

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. 2. С.214.

180

Кургинян С.Е. Дискуссия с автором. 3.11.2000.

181

Там же.

182

Вильчек В. Указ. соч. С. 114.

183

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. С. 153.

184

Вышеславцев Б.П. Указ. соч. С. 43-44.

185

Вильчек В. Ук. соч. С. 91.

186

Там же.

187

Там же, С. 92.

188

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т.46. Ч. 2. С.109.

189

Там же. С. 222.

190

Там же. С. 111.

191

См. Там же. С. 212-218.

192

Там же. Т.42. С.102.

193

То, что Маркс перестал употреблять слово «Entfremdung», то есть «отчуждение» в смысле социального отношения, явилось серьезной проблемой для ортодоксальных марксистов. Получалось, что Маркс серьезно пересмотрел свои взгляды, перейдя от гуманизма (противостояния «отчуждению») к индустриальному коммунизму, который сам основан на «отчуждении». Марксистская ортодоксия, разумеется, отрицает такую возможность, утверждая, что Маркс усовершенствовал свой терминологический ряд: «Речь идет о снятии у Маркса отчуждения, и с этой точки зрения можно говорить не об «измене» зрелого Маркса Марксу 1844 года, а о дальнейшем, творчески преобразующем процессе разработки понятия «отчуждение», в результате которого само это понятие оказывается полностью преодоленным» (Горозия В.Е. Проблема отчуждения человека в учении Карла Маркса. // Человек. Государство. Глобализация. Выпуск 3. СПб., Тбилиси, 2005). Беда в том, что «преодолев» термин, Маркс не

нашел на его место ничего лучше. В.Е. Горозия выдвигает смелую мысль о том, что Маркс просто стал отождествлять «отчуждение» и «труд», но грузинскому марксисту не удается обнаружить доказательств этого в текстах самого Маркса.

Крупнейший знаток логики «Капитала» Э.В. Ильенков утверждал, что «категория «отчуждения» – в ее четко дифференцированной форме – как «Entäusserung», «Entfremdung», «Veräusserung» и т.д. – входит в арсенал понятий, выражающих теоретические позиции зрелого, «позднего» Маркса – Маркса как автора «Капитала», и эти позиции без нее поняты правильно быть не могут». Но приведенные им цитаты из «Капитала» не содержат слова «Entfremdung» в смысле общественного отношения между работником и внешними силами (Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. С.145-147).

194

Ильенков Э.В. Указ. соч. С.141-146.

195

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т.42. С.88.

196

Там же. С.90-91.

197

Здесь и далее термин «каста» употребляется как краткое обозначение правящих социальных групп (господствующих классов, правящих элит) – бюрократических и частно-собственнических. Это понимание отлично от индийских каст.

198

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т.42. С.106.

199

Там же. С.103.

200

Там же. Т. 23. С.120. Характерно, что в этой фразе из «Капитала» Маркс уже не употребляет слова «Entfremdung», как бы подчеркивая, что речь идет не о ситуации на микроуровне, первичного «овнешнения» деятельности человека. В «Капитале» истоки эксплуатации Маркс описывает с помощью модели «прибавочной стоимости», и «Entfremdung» может нарушить стройность этой концепции.

201

Исаев А. Экономическая демократия в современной России. Проблемы становления и развития. М.,

2000. С. 37, 41.

202

Межуев В.М. Был ли Маркс утопистом. // Карл Маркс и современная философия. Сборник материалов научной конференции к 180-летию со дня рождения К. Маркса. М., 1999. С.84-85.

203

Там же, С.84.

204

Там же.

205

Там же, С.83.

206

Ойзерман Т.И. Марксизм и утопизм. М., 2003. С.465; Максимов С.В. Коррупция, закон, ответственность. М., 2000. С.25.

207

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т.42. С. 102.

208

Там же. С. 96.

209

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т.4. С.446.

210

Там же. С.446-447.

211

Там же. Т.18. С.90.

212

Цит. по: Бакунин М.А. Философия, социология, политика. М., 1989. С.203.

213

Гримм Э.Д. Революция 1848 года во Франции. Ч.2. СПб., Б.д. С.151.

214

Цит по: Гримм Э.Д. Указ. соч. С.7.

215

Там же. С.151.

216

Там же. С.153.

217

Там же. С.212.

218

Vincent K.S. Pierre-Joseph Proudhon and the Rise of French Republican Socialism. NY., Oxford, 1984. P.184.

219

Герцен А.И. Собрание сочинений. М., 1954-1966. Т.6. С.123-124.

220

Блан Л. История революции 1848 г. СПб., 1907 г. С.599.

221

Там же. С.609.

222

Там же. С.611.

223

Там же. С.601.

224

Там же. С.616.

225

Там же. С.605.

226

Там же. С.618-619.

227

Там же. С.638-639.

228

Vincent K. Op. cit. P.157.

229

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т.13. С.7.

230

Vincent K. Op. cit. P.186.

231

Ouvres Completes de P.-J. Proudhon. V. 2. Paris, 1924. P. 156.

232

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т.7. С. 261.

233

Там же. Т. 1. С. 427.

234

Там же. С. 513.

235

Там же. Т. 2. С. 63.

236

Там же. Т. 1. С. 426.

237

Vincent K. Op. cit. P.163.

238

Ouvres Completes de P.-J. Proudhon. V.8. P.191.

239

Op. cit. P. 406.

240

Op. cit. P. 404.

241

Op. cit. P. 349-355.

242

Ouvres Completes de P.-J. Proudhon. V.14. P.354.

243

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т.3. С.201.

244

Там же. С.59.

245

Прудон П.Ж. Указ. соч. С. 40.

246

Там же. С. 213.

247

Прудон П.Ж. Указ. соч. С. 92

248

Там же. С. 222.

249

Туган-Барановский М.И. Указ. соч. С. 331.

250

Proudhon P-J. Systeme des Contradictions economiques…T. 3. P. 232.

251

Цит. по Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. С. 152.

252

Леонтьев К.Н. Над могилой Пазухина. // Антихрист. Антология. М., 1995. С. 95.

253

Vincent K. Op. cit. P.211.

254

Proudhon P-J. Systeme des Contradictions economiques… T. 2. P. 134-135.

255

Op. cit. P. 191.

256

Op. cit. P. 180.

257

Цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.4. С. 166.

258

Там же. С. 166-167.

259

Proudhon P-J. Systeme des Contradictions economiques… T. 1. P. 214.

260

Ouvres Completes de P.-J. Proudhon. V. 8. P.195-196.

261

Прудон П.Ж. Ук. соч. С. 198.

262

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.4. С.91.

263

Прудон П.Ж. Ук. соч. С. 39.

264

Там же. С. 90-91.

265

Там же. С. 91.

266

Там же, С. 63.

267

Там же, С. 197.

268

Op. cit. P. 58.

269

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.4. С.87.

270

Там же.

271

Герен Д. «Анархизм». // Антология современного анархизма и левого радикализма. М., 2003. С.74.

272

Proudhon P.-J. De la capacite politique… P.124-125.

273

Ouvres Completes de P.-J. Proudhon. V. 8. P.125

274

Vincent K. Op. cit. P.148.

275

Guerin D. Op. cit. P. 170.

276

Ouvres Completes de P.-J. Proudhon. V. 8. P.193

277

Guerin D. Op. cit. P. 176.

278

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.4. С.184-185.

279

Proudhon P-J. Systeme des Contradictions economiques… P. 230-232.

280

Op. cit. T. 3 P. 154.

281

Op. cit. T. 1. P.232.

282

Op. cit. T. 3. P.160.

283

Guerin D. Op. cit. P.177.

284

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. С. 102.

285

Прудон П.Ж. Предостережение собственникам… С.125.

286

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. С. 101.

287

Там же. С. 97.

288

Туган-Барановский М.И. Ук. соч. С. 333.

289

Еще в 1843 г. Прудон предполагал государственное регулирование экономики, но к 1846 г. отказывается от этой идеи. В 1843-1846 гг. его подход к преобразованию общества проделал эволюцию от «организации общества» (что предполагает особую роль организующего центра и, продолжая традицию

Сен-Симона, предвосхищает марксистский взгляд на социализм) к «равновесию», то есть созданию условий, которые будут автоматически, без принуждения поддерживать социальное равноправие работников. Термин «организация труда» остался в его работах со смыслом «самоорганизация».

290

Цит. по: Эльцбахер П. Ук. соч. С.78.

291

Proudhon P-J. Systeme des Contradictions economiques…T. 3. P. 9.

292

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.18. С.57.

293

Там же. Т. 41. С. 330.

294

Там же. Т. 42. С. 224-225.

295

Там же. Т. 2. С. 532-548.

296

Там же. Т. 3. С. 68.

297

Прудон П.Ж. Указ. соч. С. 190.

298

Там же. С. 194-195.

299

Цит. по: Эльцбахер П. Указ. соч. С.67.

300

Vincent K.S. Op. cit. P.74.

301

Цит. по: Эльцбахер П. Указ. соч. С.65.

302

Прудон П.Ж. Указ. соч. С. 194.

303

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 4. С. 111.

304

Там же.

305

Там же. С. 112.

306

Там же. С. 133.

307

Proudhon P-J. Systeme des Contradictions economiques…T. 1. P. 254.

308

Прудон П.Ж. Указ. соч. С. 197.

309

Цит. по: Эльцбахер П. Указ. соч. С.169.

310

Вышеславцев Б.П. Указ. соч. С. 349.

311

Там же. С. 201.

312

Там же. С. 195.

313

Там же.

314

Ouvres Completes de P.-J. Proudhon. V. 8. P.404.

315

Proudhon P-J. Systeme des Contradictions economiques…T.3. P. 327.

316

Цит. по В.Тэ. Пьер Жозеф Прудон – о государстве. // Анархия. М., 1999. С. 175.

317

Ouvres Completes de P.-J. Proudhon. V. 2. P.342.

318

Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX вв.: Энциклопедия. М., 1996. С.32.

319

Vincent K. Op. cit. P.225.

320

Эльцбахер П. Указ. соч. С.65.

321

Сапон В.П. «Философия пробудившегося человека». Либертаризм в леворадикальной идеологии (1840-е – 1917 гг.). Нижний Новгород, 2005. С.3.

322

Там же. С.6.

323

Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: История и современность. Алматы, 1994. С.309.

324

Сапон В.П. указ. соч. С.3.

325

Брайович С. М. Марксизм о диалектике общественного самоуправления. // Карл Маркс и современная философия. С.248.

326

Там же. С. 249.

327

Ouvres Completes de P.-J. Proudhon. V. 14. P.545-546.

328

Proudhon P.-J. De la capacite politique… P.198.

329

Цит. по: Эльцбахер П. Указ. соч. С.66.

330

Op. cit. P.342.

331

Подробнее см. См. Шубин А.В. Развитие советской представительной системы и принцип делегирования (к истории вопроса) // Политические институты и обновление общества. М., 1989. С. 73-80.

332

Ouvres Completes de P.-J. Proudhon. V. 2. P.318

333

Тэ В. Указ. соч. С. 183-184.

334

Там же. С. 201.

335

Туган-Барановский М.И. Указ. соч. С. 329.

336

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 28. С. 487.

337

Герцен А.И. Собрание сочинений. М., 1954-1966. Т.6. С.54.

338

Утопический социализм. С.397.

339

М.А. Бакунин уже накануне революции 1848 г. выступал с идеями федерализма и общинной демократии, но его быстрое и длительное исчезновение после ареста в 1849 г. с общественной арены выдвинуло Герцена на роль основателя народничества.

340

Герцен А.И. Собр. соч. Т.18. С.315.

341

Там же. Т.10. С.200.

342

Цит. по: Антонов В.Ф. А.И. Герцен. Общественный идеал анархиста. М., 2000. С.56.

343

Утопический социализм. С.403.

344

Герцен А.И. Собр. соч. Т.19. С.193.

345

Там же. С.186.

346

Утопический социализм. С.400.

347

Герцен А.И. Собр. соч. Т.6. С.199.

348

Там же. С.201, 202.

349

Там же. Т.12. С.52, 53.

350

«Колокол». Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Женева. 1868-1869. М., 1978. С.27.

351

Антонов В.Ф. Указ. соч. С. 73-74.

352

Там же. С.74-75.

353

Там же. С.75.

354

Антонов В.Ф. Н.В. Чернышевский. Общественный идеал анархиста. М., 2000. С.191.

355

Пирумова Н.М. Социальная доктрина М.А. Бакунина. М., 1990. С.201.

356

Там же. С.189.

357

Герцен А.И. Собр. соч. Т.12. С.260.

358

Михайловский Н.К. ПСС. СПб., 1911-1914. Т. 10. Стб. 797.

359

Там же. Т. 4. Стб. 405.

360

Утопический социализм в России. М., 1985. С.479.

361

Пирумова Н.М. Указ. соч. С.190.

362

Герцен А.И. Собр. соч. Т.5. С.363-364.

363

Там же. Т.12. С.223.

364

Антонов В.Ф. А.И. Герцен… С.94-95.

365

Там же. С.107-108.

366

Бакунин М. Избр. соч. Пг., М., 1919-1926. Т.3. С.79.

367

Там же. С.90.

368

Герцен А.И. Собр. соч. Т.20. С.88.

369

Антонов В.Ф. А.И. Герцен… С.86.

370

Там же. С.87.

371

Герцен А.И. Собр. соч. Т.25. С.257.

372

Там же. Т.18. С.381.

373

Антонов В.Ф. Указ. соч. С.90.

374

Там же. С.90.

375

Антонов В.Ф. Н.В. Чернышевский... С.194.

376

Пирумова Н.М. Указ. соч. С.64.

377

Там же. С.62.

378

Чернышевский Н.В. ПСС. М., 1939-1953. Т.5. С.653.

379

Там же.

380

Антонов В.Ф. Н.В. Чернышевский... С.183.

381

Там же. С.170.

382

Чернышевский Н.В. ПСС. Т.9. С.710, 712.

383

Герцен А.И. Собр. соч. Т.14. С.182, 183.

384

Антонов В.Ф. Н.В. Чернышевский... С.192.

385

Чернышевский Н.В. ПСС. Т.10. С.92.

386

Плимак Е. Политика переходной эпохи. Опыт Ленина. М., 2004. С.18.

387

Утопический социализм. С.398.

388

Пирумова Н.М. Указ. соч. С.202.

389

Утопический социализм. С.401.

390

Герцен А.И. Собр. соч. Т.12. С.431.

391

К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия. М., 1967. С.166.

392

Сравнивая это письмо Бакунина с более поздними, В.А. Твардовская и Б.С. Итенберг обвиняют Бакунина в лицемерии, словно не замечая, что между дружеским письмом Бакунина Марксу и критическими письмами Бакунина Герцену о Марксе прошел почти год, связанный с серьезным конфликтом из-за Альянса (В.А. Твардовская и В.С. Итенберг. Русские и Карл Маркс: выбор или судьба. М., 1999. С.70). Но и в письме к Герцену Бакунин не отходит от своей старой позиции, признавая за Марксом «огромные заслуги по делу социализма». В чем же лицемерие?

393

Например, Философская энциклопедия. М., 1967. Т.4. С.412.

394

Пирумова Н.М. Указ. соч. С.124.

395

Там же. С.135.

396

Там же. С.145.

397

«Прометей». Т.7. М., 1969. С.240.

398

Бакунин М.А. Избр. соч. Т. 2. С. 166.

399

Бакунин М.А. Бог и государство. М., 1906. С. 20.

400

Бакунин М.А. Философия, социология, политика. М., 1989. С.503-504.

401

Бакунин М.А. Избр. соч. Т. 2. С. 169.

402

Даже такие серьезные историки, как В.А. Твардовская и Б.С. Итенберг, примитивизируют взгляды М. Бакунина, утверждая, что он отрицал «всякую власть в какой бы то ни было форме» (В.А. Твардовская и В.С. Итенберг. Указ. соч. С.67). Такой вывод можно сделать только на основании вырванных из контекста цитат о недостатках «власти как таковой», когда речь у Бакунина идет о правительстве или о вручении власти одному лицу (Там же. С.72-73).

403

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т18. С.615.

404

Стеклов Ю. Михаил Александрович Бакунин. Его жизнь и деятельность. М., Л., 1927. Т.2. С.406-407.

405

Бакунин М. Избр. соч. Т.3. С.97.

406

Там же. Т. 2. С.197.

407

Штырбул А.А. Безгосударственные общества в эпоху государственности. Омск, 2006. С.280.

408

Стеклов Ю. Указ. соч. Т.4. С.40.

409

Бакунин М.А. Философия, социология, политика. С.317-321.

410

Там же. С.19.

411

Там же.

412

Там же. С.19-20.

413

Там же. С.20.

414

Сапон В.П. «Философия пробудившегося человека». Либертаризм в леворадикальной идеологии (1840-е – 1917 гг.). Нижний Новгород, 2005. С.118.

415

Там же.

416

Там же. С.119.

417

Там же. С.115.

418

Там же.

419

«Колокол». Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. С.105.

420

Цит. по: Стеклов Ю. Указ. соч. Т.2. С.405-406.

421

Пирумова Н.М. Указ. соч. С.124.

422

Там же. С.288.

423

Упоминания анархо-коммунизма Бакунина Н.М. Пирумовой были своеобразно использованы «анархо-маргиналом» П.А. Раушем для критики научного метода исследования анархистской мысли. По его мнению «историческая наука является областью искусства идеологической борьбы» (Рауш П.А. Идеи Кропоткина в восприятии анархистов современной России. // Петр Алексеевич Кропоткин и проблемы моделирования историко-культурного развития цивилизации. СПб., 2005. С.139). Для доказательства этой мысли П.А. Рауш применяет методы идеологической борьбы, которые почему-то приписывает науке. Для начала он утверждает, что Бакунин в работах Н.М. Пирумовой – отрицающий собственность анархо-коммунист. Пирумова, однако, упоминала, что Бакунин выступает за коллективную собственность (Пирумова Н.М. Указ. соч. С.221). «Слегка» исказив точку зрения Н.М. Пирумовой, П.А. Рауш обращается к моей точке зрения, которую пересказывает подробно, но совершенно неверно – дабы облегчить себе задачу ее опровержения. Не приводя никаких цитат, он утверждает, что «Бакунин Шубина – сторонник синдикально-групповой частной собственности» (С.139). Разумеется, П.А. Рауш не может привести соответствующую цитату из работ Шубина, ибо ничего такого я не утверждал. Зато делает вывод о том, что раз два ученых могут расходиться во мнении на взгляды Бакунина – то и научное исследование не имеет преимуществ по сравнению с идеологическими рассуждениями. Следовательно, идеологи, подобные Раушу, могут утверждать что угодно, не утруждая себя доказательствами. В действительности наука не предполагает единомыслия, но она требует аргументации, ссылок на источники и доказательства. В этом – качественное различие между научным методом исследования и идеологическими манипуляциями, продемонстрированными П.А. Раушем.

Рауш уверен, что Шубин не прав, когда указывает на различия во взглядах Бакунина и Кропоткина: «в значительной мере именно им было введено в широкое употребление противопоставление Бакунина Кропоткину» (С.138). Это лестное для моего научного самолюбия утверждение, к сожалению, основано только на незнании П. Раушем литературы вопроса. Уже М. Неттлау писал об идеологическом перевороте, совершенном в 1880 г. Кропоткиным в анархистском движении против «коллективистического анархизма, который в течении 13 лет был гордостью анархистов» (Неттлау М. Очерки по истории анархических идей. Tucson, 1991. С.103). До конца 1870-х гг. Кропоткин поддерживал коллективизм, то есть был бакунистом, и Рауш напрасно цитирует в доказательство своей идеи текст Кропоткина раннего периода.

Сам Кропоткин в частных письмах так отзывался о работах Бакунина: «его писания для нас ужасно общи, неопределенны» («Каторга и ссылка». 1926 г. №24. С.18.). Так что учения двух теоретиков анархизма расходятся далеко не только по мнению А. Шубина.

Тем не менее, участие далеких от науки анархистов в научных конференциях благотворно сказывается на их представлениях. Даже П. Рауш все же признал, что Шубин «отчасти» прав (С.140), а из дальнейшего изложения видно, что прав полностью. Взгляды Бакунина и Кропоткина имеют и общие, и различные черты, причем общее виднее активистам, не очень разбирающимся в теоретических проблемах – таким как Н.И. Махно и ссылающийся на него П.А. Рауш. Разумеется, и Бакунин, и Кропоткин, и Прудон, и Махно были анархистами. Также можно вспомнить, что и Маркс, и Кропоткин, и Махно, и Мао Цзэдун были коммунистами. Возможны разные линии сравнения.

424

Цит. по: Максимов Г. Беседы с Бакуниным о революции. Чикаго, 1934. С. 42.

425

Бакунин М.А. Избр. соч. Т. 5. С. 201.

426

Guerin D. Op. cit. P. 186-187.

427

Бакунин М.А. Философия, социология, политика. С.224.

428

Там же. С.42. В этом издании последнее слово переведено с французского как «животное состояние».

429

Там же. С.298.

430

Цит. по: Эльцбахер П. Указ. соч. С.107.

431

Бакунин М.А. Философия, социология, политика. М., 1989. С.41.

432

Бакунин М.А. Избр. соч. Т. 4. С.285.

433

Пирумова Н.М. Указ. соч. С.215.

434

Там же. С.287.

435

Бакунин М.А. Философия, социология, политика. С.548.

436

Там же. С.226.

437

Там же. С.437.

438

Там же. С.217.

439

Пирумова Н.М. Указ. соч. С. 145.

440

Бакунин М.А. Философия, социология, политика. С.106.

441

Бакунин М.А. Собр. соч. и писем. М., 1934. Т.3. С.222.

442

Бакунин М.А. Философия, социология, политика. С.27.

443

Герцен А.И. Собр. соч. Т.12. С.187.

444

Бакунин М.А. Соч. Т. 4. С.177.

445

Цит. по: Эльцбахер П. Ук. соч. С.111.

446

Бакунин М. Избр. соч. Т. 4. С.48.

447

Бакунин М.А. Философия, социология, политика. С.24.

448

Герцен А.И. Собр. соч. Т.30. С.109.

449

Там же. Т.19. С.190.

450

Там же. Т.20. С.575.

451

Там же. Т.30. С.249.

452

Бакунин М.А. Избр. соч. Т.5. С.200.

453

Пирумова Н.М. Указ. соч. С.214.

454

Герцен А.И. Собр. соч. Т.20. Кн.2. С.590.

455

Там же. С.579.

456

Пирумова Н.М. Александр Герцен. Революционер, мыслитель, человек. М., 1989. С.216.

457

Лавров П.Л. Избранные сочинения на социально-политические темы. М., 1934-1935. Т.4. С.313.

458

Там же. Т.2. С.28.

459

Там же. Т.4. С.314.

460

Сапон В.П. Указ. соч. С.95.

461

Лавров П.Л. Избранные сочинения на социально-политические темы. Т.4. С.316.

462

Лавров П.Л. Государственный элемент в будущем обществе. // Утопический социализм в России. М., 1985. С.430-431.

463

Там же. С.431.

464

Лавров П.Л. Избранные сочинения на социально-политические темы. Т.2. С.28.

465

Там же. Т.3. С.361.

466

Там же. Т.4. С.317.

467

Там же. Т.3. С.360.

468

Там же. Т.4. С.319.

469

Сапон В.П. Указ. соч. С.124.

470

Лавров П.Л. Указ. соч. Т.2. С.30.

471

Лавров П.Л. Философия и социология. Избранные произведения. Т.2. М., 1965. С.54.

472

Лавров П.Л. Избранные сочинения на социально-политические темы. Т.2. С.31-32.

473

Там же. С.68.

474

Там же. С.79.

475

Кан Г.С. «Народная воля». Идеология и лидеры. М., 1997. С.39.

476

Среди теоретических источников взглядов Н. Михайловского называют Прудона, которого Михайловский ценил более Маркса (см., например, Макаров В.П. Формирование общественно-политических взглядов Н.К. Михайловского. Саратов, 1972). Мы уже видели, насколько близки взгляды прудонистов и народников. В.А. Твардовская и Б.С. Итенберг, напротив, пытаются подчеркнуть различие во взглядах Прудона и Михайловского: «От Прудона его отдаляла не столько идея социального примирения буржуа и пролетариев, сколько ставка французского социалиста на монархию» (Твардовская В.А., Итенберг Б.С. Указ. соч. С.201). Совершенно непонятно, зачем нужно приписывать Прудону намерение примирить

буржуа и пролетариев. Он стремился ликвидировать оба социальных состояния. «Ставка на монархию» социалиста, осужденного к тюремному заключению за оскорбление Наполеона – также сильное преувеличение (в 50-е гг. недолгое время Прудон пытался добиться от властей проведения социальных реформ, после чего снова стал резко критиковать Наполеона и имперскую администрацию). Но и Михайловский считал возможным поддержку власти (в России – монархической), если ее действия полезны народу (во время голода, например). Так что именно в этих пунктах Михайловский не расходится с реальным (а не мифологизированным) Прудоном. Вполне очевидно, что все последователи Прудона в дальнейшем расходились с ним в тех или иных взглядах – на то и развитие идей, чтобы они менялись. Но воздействие Прудона на народничество, как мы видели, было велико, и Михайловский не был единственным его проводником. В.А. Твардовская и Б.С. Итенберг продолжают: «Но именно у Прудона он нашел то, чего не обнаружил в марксовой теории – идею личности, не мирившейся ни с необузданным экономическим эгоизмом, ни с фаланстеризацией» (Там же). Спору нет, эта мысль роднит Прудона и народников, в том числе – Михайловского. Хотя вряд ли Михайловский нашел эту мысль «именно у Прудона», поскольку эта идея свободной личности, общая для народников и прудонистов, была уже широко распространена в оппозиционной среде России со времен пропаганды Герцена, Чернышевского, Бакунина и Лаврова.

477

Михайловский Н.К. ПСС. Т.1. Стб.148-150.

478

Плеханов. Соч. Т.7. С.103

479

Цит. по: Последния сочинения Н.К. Михайловского. СПб., 1905. Т.1. С.446.

480

Как и марксисты, Михайловский считает, что на его стороне общие закономерности, при чем характеризующие жизнь не только человека, но и всего живого: «всякое целое слепо, стихийно, в силу «имманентных» законов своего бытия «стремится» подчинить себе свои части, обратить их в служебное состояние для вящей полноты своего существования. В возникающей отсюда борьбе за индивидуальность, направленной на два фронта – вверх и вниз – шансы победы растут, так сказать, лавинообразно: чем больше удалось данному целому подчинить свои части, тем более гарантировано оно от подчинения высшему целому, часть которого оно само составляет» (Последния сочинения Н.К. Михайловского. Т.1. С.482). Несмотря на стремление Михайловского подвести под свои взгляды столь универсальную базу, речь идет прежде всего о человеке. Личность должна быть разносторонне развитой, и тогда она сможет быть самостоятельной. И наоборот – человеческим стремления соответствует такое общество, которое обеспечивает ему высокую автономию и разносторонность.

481

Последния сочинения Н.К. Михайловского. Т.1. С.446-450.

482

Михайловский Н.К. ПСС. Т.2. Стб.527.

483

Последния сочинения Н.К. Михайловского. Т.1. С.427-428.

484

Там же. С.431.

485

Блохин В. На переломе. 1881-1904. Н.К. Михайловский в идейно-политической борьбе в 80-90-е годы XIX века. Исторические этюды. М., 2004. С.135.

486

Михайловский Н.К. ПСС. Т.1. Стб.439.

487

Блохин В. Указ. соч. С.133.

488

Михайловский Н.К. ПСС. Т.1. Стб.440

489

Там же. Стб.464.

490

Колосов Е. Народовольческая журналистика. М., 1930. С.65.

491

Блохин В. На переломе. 1881-1904. Н.К. Михайловский в идейно-политической борьбе в 80-90-е годы XIX века. Исторические этюды. М., 2004. С.27.

492

Михайловский Н.К. ПСС. Т.10. Стб.65.

493

Авторы издания «Наше Отечество» (М., 1991. Т.1. С.178) считают, что Михайловский «в революцию не верил и боялся ее». Однако с этой точки зрения остается неразъясненным сотрудничество Михайловского с откровенно революционной «Народной волей». Этот факт позволил Э.С. Виленской считать Михайловского революционером, который в силу обстоятельств действовал преимущественно легальными методами (см. Виленская Э.С. Н.К. Михайловский и его идейная роль в народническом движении 70-80-х гг. XIX в. М., 1979. С.129).

494

Цит. по: Итенберг Б.С. П.Л. Лавров в русском революционном движении. М., 1988. С.116.

495

Там же.

496

Михайловский Н.К. ПСС. Т.1. С.V.

497

Там же. Стб.901.

498

Последния сочинения Н.К. Михайловского. Т.1. С.471.

499

Михайловский Н.К. ПСС. Т.1. Стб. 719.

500

Там же. Стб.390.

501

Там же. Т.10. Стб.9-10.

502

Последния сочинения Н.К. Михайловского. Т.1. С.441.

503

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т19. С.120.

504

Твардовская В.А., Итенберг Б.С. Указ. соч. С.189.

505

Там же. С.190.

506

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.34. С.230.

507

Там же. Т.19. С.305.

508

Справочная книга социалиста Гуго и Штегмана. С.277.

509

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.16. С.9.

510

Там же.

511

Бебель А. Из моей жизни. Л., 1925. С.66-68. По словам Бисмарка, Лассаль даже шутил, что еще не решил, «должна ли Германская империя управляться династией Гогенцоллернов или династией Лассаля» (в последнем случае Лассаль, конечно, имел в виду республику с ним во главе).

512

Сочинения Фердинанда Лассаля. Т.1. СПб. С.17.

513

Там же. Т.2. С.74.

514

Там же. С.83.

515

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.16. С.8-10.

516

См. Бебель А. Из моей жизни. Л., 1925. С.181-186.

517

Справочная книга социалиста Гуго и Штегмана. С.662.

518

Калганов А.И. Коллективная собственность и коллективное предпринимательство. М., 1993. С.25.

519

Там же. С.8.

520

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.26. Ч.3. С.522-523.

521

Там же. С.581.

522

Там же. Т.25. Ч.1. С.427.

523

Там же. С.484.

524

Там же. С.483.

525

Калганов А.И. Указ. соч. С.22-23.

526

Там же. С.23.

527

Цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.18. С.12.

528

Справочная книга социалиста Гуго и Штегмана. С.281.

529

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.16. С.200.

530

Подробнее см. Шубин А. Гармония истории. М., 1992. С.126-141.

531

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.8. С.606.

532

Там же. С.213.

533

Цит. по: Герен Д. Указ. соч. С.71.

534

Справочная книга социалиста Гуго и Штегмана. С.293.

535

Там же. С.276.

536

Лурье Ф.М. «Созидатель разрушения». СПб., 1994. С. 101.

537

Троицкий Н.А. Крестоносцы социализма. Саратов, 2002. С.107. В. Демин считает, что «Катехизис» написан «не без влияния Бакунина» (С.291), косвенно возлагая на него ответственность за этот документ. Но что значит «не без влияния»? Нечаев общался с Бакуниным и значит испытывал на себе его влияние. А Бакунин испытывал влияние Прудона, Маркса, Герцена и др. Значит ли это, что Нечаев писал «не без влияния» всех этих теоретиков? Попытка отнести «Катехизис» к бакунизму – рудимент марксистской антибакунинской кампании 1872 г.

538

Прекратив сотрудничество с Нечаевым, Бакунин простил его за ложь и подмоченную репутацию, рассчитывая, что со временем Нечаев осознает свои ошибки, проникнется нравственностью, принятой в кругу революционеров того времени, и в то же время сохранит прежнюю самоотверженность и деловую энергию, которой так не хватает другим участникам освободительного движения. Проявив в начале нечаевской истории неожиданную наивность, в ее завершении Бакунин оказался мудрее своих критиков. Кто из политиков, проживших долго, не менялся?

539

Бакунин М.А. Философия, социология, политика. С.548-549.

540

Демин В. Бакунин. М., 2006. С.261.

541

Стеклов Ю. Указ. соч. Т.4. С.39-40.

542

Там же. С.45.

543

Демин В. Указ. соч. С.263.

544

Стеклов Ю. Указ. соч. Т.4. С.44.

545

Демин В. Указ. соч. С.265.

546

Бакунин М.А. Философия, социология, политика. С.483.

547

Там же. С.483-484.

548

Там же. С.484.

549

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.18. С.341.

550

Там же. С.615.

551

Там же. С.341.

552

Там же. С.615-616.

553

Там же. С.616.

554

Бакунин М.А. Избр. соч. Т.1. С.190

555

Исаев А. Оценка М.А. Бакуниным теории и программы «государственного социализма». // Община № 50. 1997. С.11.

556

Твардовская В.А., Итенберг Б.С. Указ. соч. С.86.

557

Бакунин М.А. Философия, социология, политика. С.485-486.

558

Сапон В.П. Указ. соч. С.115.

559

Исаев А. Указ. соч. С.11.

560

Бакунин М.А. Избр. соч. Т.3. С.23.

561

Исаев А. Указ. соч. С.11-12; Бакунин М.А. Избр. соч. Т.3. С.23.

562

Бакунин М.А. Философия, социология, политика. С.483.

563

Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч. Т.18. С.617.

564

Исаев А. Указ. соч. С.12.

565

Бакунин М.А. Философия, социология, политика. С.482.

566

Там же. С.314. Маркс не разделял идеи народного государства, и эта фраза может быть отнесена полностью только к Лассалю. Но в общем контексте она направлена против марксистов не менее, чем против лассальянцев. Тем более, что Бакунин ясно выступает и против идей «нового рабочего, народного

государства» (то есть против и Маркса, и Лассаля).

567

Бакунин М.А. Философия, социология, политика. С.483.

568

Бакунин М.А. Избр. соч. Т.4. С.176.

569

Герцен А.И. Собр. соч. Т.12. С.185.

570

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.6. С.183.

571

Там же. С.186.

572

Там же. С.178.

573

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.8. С.84.

574

Там же. Т.6. С.180.

575

Там же. С.305.

576

Там же. Т.11. С.202-203.

577

Там же. Т.13. С.281.

578

«Община». 1990. № 43. С.5.

579

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.18. С.618.

580

Ямамото К. Политическая философия Бакунина. М., 2001. С.121.

581

Бакунин М.А. Философия, социология, политика. С.389.

582

Ямамото К. Указ. соч. С.88. Оценки К. Ямамото интересны, как своеобразное подтверждение некоторых выводов Бакунина о связи национальных культур и перспектив освободительных движений. Бакунин не писал о японцах, как о немцах, но К. Ямомото иллюстрирует сходство японской и германской политических культур (согласимся, это сходство не должно удивлять), просто не понимая логику «великого бунтаря». Японец постулирует (разумеется, без всяких доказательств, ибо это – аксиома для добропорядочного японца и немца): жизнеспособно то, где есть дисциплина и командование, так как «в процессе постройки всегда присутствует организация, которая нуждается в дисциплине и командовании». Анархизм бесперспективен и ошибочен, так как «анархистам не удается создать убедительные теории дисциплины и командования» (С.71). К. Ямамото даже не заметил, что анархизм и не пытался создавать теорию «командования», ибо оно неприемлемо в силу анархического понимания дисциплины как сознательного выполнения взятых на себя обязательств.

К японцам, лояльным традиционному для своей страны взгляду на власть и порядок, вполне можно отнести многие высказывания Бакунина о немцах как о «государственном народе».

583

Там же. С.91.

584

Бакунин М. Избр. соч. Т.3. С.70.

585

Бакунин М.А. Философия, социология, политика. С.299.

586

Там же. С.264.

587

Там же. С.265.

588

Там же. С.268.

589

Там же. С.393.

590

Там же. С.298.

591

Там же. С.337-338.

592

Там же. С.388.

593

Там же. С.323.

594

Протоколы заседаний Парижской Коммуны 1871 года. М., 1960. Т.1. С.109.

595

Керженцев П.М. История Парижской Коммуны 1871 г. М., 1941. С.263.

596

Там же.

597

Цит. по: Молчанов Н. Шарль Делеклюз. Эжен Варлен. Герои Парижской Коммуны. М., 1971. С.238.

598

Керженцев П.М. Указ. соч. С.31.

599

Протоколы заседаний Парижской Коммуны 1871 года. Т.1. С.407.

600

Там же. С.35.

601

Там же. С.45.

602

Там же. С.190-191.

603

Вейль Ж. История социального движения во Франции. М., 1906. С.145.

604

Чернов В.М. Конструктивный социализм. М., 1997. С.155.

605

Протоколы заседаний Парижской Коммуны 1871 года. Т.1. С.199.

606

Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч. Т.17. С.346.

607

Протоколы заседаний Парижской Коммуны 1871 года. Т.1. С.360.

608

Там же. С.408.

609

Там же. Т.1. С.406.

610

Керженцев П.М. Ук. соч. С.258.

611

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.17. С.558.

612

Протоколы заседаний Парижской Коммуны 1871 года. Т.1. С.164.

613

Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч. Т.33. С.189.

614

Там же. С.18. С.261-262.

615

П. Луи. История социализма во Франции. СПб., 1906. С.245.

616

См. например: Парижская Коммуна 1871 года. М., 1981. С.129.

617

Парижская Коммуна 1871 г. М., 1961. Т.1. С.393.

618

Керженцев П.М. Указ. соч. С.262-263.

619

Протоколы заседаний Парижской Коммуны 1871 года. Т.1. С.30.

620

Там же. С.59.

621

Парижская Коммуна 1871 г. М., 1961. Т.1. С.334.

622

Протоколы заседаний Парижской Коммуны 1871 года. Т.1. С.72-73.

623

Там же. Т.1. С.73.

624

Там же. С.115.

625

Там же. С.220.

626

Там же. Т.1. С.23.

627

Молчанов Н. Шарль Делеклюз. Эжен Варлен. Герои Парижской Коммуны. М., 1971. С.248.

628

Парижская Коммуна 1871 г. М., 1961. Т.1. С.481.

629

Ленин В.И. ПСС. Т.26. С.22.

630

Парижская Коммуна 1871 г. М., 1961. Т.1. С.485.

631

Молчанов Н. Шарль Делеклюз. Эжен Варлен. Герои Парижской Коммуны. М., 1971. С.261.

632

Протоколы заседаний Парижской Коммуны 1871 года. Т.1. С.403-404.

633

Подробнее см. Шубин А.В. Анархистский социальный эксперимент. (Украина и Испания в 1917-1939 гг.). М., 1998.

634

Вопрос о виновности Клюзере в поражениях Коммуны приобрел новую «актуальность», когда генерал поддержал Бакунина в конфликте с Марксом, и возникла возможность возложить ответственность за гибель Коммуны на «бакуниста».

635

Парижская Коммуна 1871 г. М., 1961. Т.1. С.461.

636

Там же.

637

Там же. С.227.

638

Там же. С.239.

639

Там же. Т.2. С.27.

640

Парижская Коммуна 1871 г. М., 1961. Т.1. С.498.

641

Там же. С.437.

642

Там же. С.449.

643

Там же. С.497.

644

Там же. С.498.

645

Там же. С.507.

646

Там же. С.505.

647

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.18. С.341-342.

648

Там же. Т.17. С.567.

649

Там же. С.559.

650

Там же. С.343.

651

Там же. С.343.

652

Там же. С.345.

653

Ленин В.И. ПСС. Т.33. С.53.

654

Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч. Т.19. С.5-6.

655

Там же.

656

Там же. Т.19. С.27.

657

Лондонская конференция Первого Интернационала, 17-23 сентября 1871 г.: Протоколы и документы. М., 1988. С.228.

658

Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч. Т.18. С.30.

659

Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч. Т.33. С.249.

660

Цит. по: Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч. Т.18. С.26, 29.

661

Подробное, хотя и лишенное объективности, изложение этой истории, см: Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч. Т.18; Стеклов Ю.М. Указ. соч., Неттлау М. Указ. соч., Меринг Ф. Карл Маркс. История его жизни. М., 1957; Твардовская В.А., Итенберг Б.С. Указ. соч.

662

Твардовская В.А., Итенберг Б.С. Указ. соч. С.70-77.

663

Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч. Т.33. С.58.

664

Цит. по: Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч. Т.18. С.382.

665

Там же.

666

Там же. С.39.

667

Лавров П.Л. Избранные сочинения на социально-политические темы. Т.2. С.265.

668

Лавров П.Л. Избранные сочинения на социально-политические темы. Т.2. С.255.

669

Цит. по: Лавров П.Л. Указ. соч. С.280.

670

Цит. по: Лавров П.Л. Указ. соч. С.289.

671

См. Энгельс Ф. Бакунисты за работой. // Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч. Т.18.

672

Peirats J. La CNT en la revolucion espanola. Toulouse, 1952-1953. P.72.

673

Штырбул А.А. Безгосударственные общества в эпоху государственности. С.293.

674

Первым историком этих событий стал Ф. Энгельс, который использовал испанский сюжет для критики бакунизма. Интересно, что все варианты поведения анархистов – совершенно разные – находят у него крайние критические оценки. Из-за анархистов Барселона «не оказалась на своем посту», то есть не приняла участие в восстании, которое сам же Энгельс характеризует как «скоропалительное, без всякого повода начавшееся» (Т.18. С.467-469.). Энгельс осуждает и тех анархистов, которые поддержали восстание. Как ни поступи – все ему плохо.

675

Стеклов Ю.М. Указ. соч. С.400-401.

676

Бакунин М.А. Философия, социология, политика. С.302.

677

Стеклов Ю.М. Указ. соч. С.402-403.

678

Там же. С.400.

679

См., например, Бем-Баверк О. Критика теории Маркса. М., 2002.

680

Андерсон П. Размышления о западном марксизме. На путях исторического материализма. М., 1991. С.16.

681

Чернов В.М. Конструктивный социализм. М., 1997. С.4.

682

Цит: Лавров П.Л. Избранные сочинения на социально-политические темы. Т.2. С.359.

683

Там же. С.360-361.

684

Там же. С.360.

685

Там же. С.361-365.

686

Там же. С.366.

687

Там же. С.366.

688

Там же. С.321-322.

689

Справочная книга социалиста Гуго и Штегмана. С.310.

690

Там же. С.311.

691

Там же. С.319-320.

692

Там же. С.328.

693

Цит. по: Свалов А.Н. Второй Интернационал (1889-1914): «общий дом» социалистов». СПб., 1997. С.7.

694

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.33. С.516.

695

Бебель А. Указ. соч. С.302.

696

Сборник документов по истории рабочего и социалистического движения стран Европы и США. М., 1985. С.14.

697

Там же. С.15.

698

Бебель А. Указ. соч. С.321.

699

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.19. С.30.

700

Там же. С.18-19.

701

Ойзерман Т.И. Марксизм и утопизм. М., 2003. С.512.

702

Там же.

703

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.19. С.13-30.

704

Там же. Т.34. С.234.

705

Там же. С.317.

706

Бебель А. Указ. соч. С.393.

707

Там же. С.405.

708

Чернов В.М. Указ. соч. С.4.

709

Там же. С.4-5.

710

Там же. С.5.

711

Меринг Ф. История германской социал-демократии. М., 1922. Т.4. С.387-388.

712

Ойзерман Т.И. Марксизм и утопизм. М., 2003. С.462.

713

Там же. С.553.

714

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.39. С.184.

715

Ойзерман Т.И. Указ. соч. С.400.

716

Там же. С.379.

717

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.8. С.361-362.

718

Там же. Т.19. С.246.

719

Там же. Т.18. С.154.

720

Там же. Т.1. С.448.

721

Там же. Т.34. С.383.

722

Там же. Т.37. С.275.

723

Там же. Т.22. С.237.

724

Там же. Т.23. С.34.

725

Ойзерман Т.И. Указ. соч. С.341.

726

Там же. С.431.

727

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.19. С.29.

728

Ойзерман Т.И. Указ. соч. С.365.

729

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.25. Ч.1. С.480.

730

Ойзерман Т.И. Указ. соч. С.342.

731

Там же. С.343.

732

Там же. С.344.

733

Межуев В.М. Указ. соч. С. 72.

734

Там же. С. 87-88.

735

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.25. Ч.1. С.480-481.

736

Там же. Т.20. С.673.

737

Там же. С.290.

738

Там же. С.291.

739

Цит. по: Ойзерман Т.И. Указ. соч. С.490.

740

Справочная книга социалиста Гуго и Штегмана. С.878.

741

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.35. С.305

742

Сборник документов по истории рабочего и социалистического движения в Европе и США. С.72.

743

Там же. С.76.

744

Там же.

745

Там же.

746

Там же.

747

Луи П. Указ. соч. С.359.

748

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.35. С.28.

749

Там же. Т.35. С.28.

750

Виллар К. Социалистическое движение во Франции 1893-1905 (Гедисты). М., 1969. С.40.

751

Молчанов Н. Жан Жорес. М., 1986. С.108.

752

Жорес Ж. Аграрный социализм. Социализм и крестьянство. Одесса, 1905. С.7-8.

753

Дамье В. Анархо-синдикализм в XX веке. М., 2000. С.3.

754

Боровой А. Общественные идеалы современного человечества. Либерализм, социализм, анархизм. М., 1906. С.29.

755

Там же. С.68-69.

756

Там же. С.80.

757

Там же. С. 45.

758

Цит. по: Рублев Д.И. Идеи Михаила Бакунина и генезис идей синдикализма в России в начале XX в. // Михаил Александрович Бакунин. Личность и творчество. (К 190-летию со дня рождения). Выпуск III. М., 2005. С.157-158.

759

См. Шубин А. Анархия – мать порядка. Нестор Махно как зеркало Российской революции. М., 2005. С.376-378.

760

Таккер В. Вместо книги. Написано человеком, слишком занятым, чтобы писать книгу. М., 1908. С.19.

761

Там же. С.19.

762

Там же.

763

Там же. С.82.

764

Там же. С.143.

765

Там же. С.187.

766

Там же. С.72.

767

Там же. С.78, 79, 103.

768

Там же. С.482.

769

Холичер А. Равашоль и парижские анархисты. // Рублев Д.И. Идеи Михаила Бакунина и генезис идей синдикализма в России в начале XX в. // Михаил Александрович Бакунин. Личность и творчество. (К 190-летию со дня рождения). Выпуск III. С.192.

770

Там же. С.36.

771

Дамье В.В. Забытый интернационал. Международное анархо-синдикалистское движение между двумя мировыми войнами. М., 2006. Т.1. С.27.

772

Де Леон Д. Избранные произведения. М., Л., 1932. С.193.

773

Дамье В.В. Указ. соч. С.41.

774

Там же.

775

Плеханов Г.В. Сочинения. Т.16. М., Л., 1928. С.10.

776

Там же. С.81.

777

Там же. С.194.

778

Там же. С.11.

779

Там же. С.172.

780

Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. Т.1. С.102.

781

Там же. С.320.

782

Цит. по: Плеханов Г.В. Сочинения. Т.16. С.194.

783

Плеханов Г.В. Сочинения. Т.16. С.114.

784

Там же. С.17.

785

Там же. С.113.

786

Там же.

787

Цит. по: Дамье В.В. С.39.

788

Там же. С.37.

789

Сборник документов по истории рабочего и социалистического движения в Европе и США. С.112.

790

Там же. С.113.

791

Там же.

792

Рублев Д.И. Указ. соч. С.144.

793

Там же.

794

Дамье В.В. Указ. соч. С.32.

795

Анархисты. Документы и материалы 1883-1935 гг. Т.1. М., 1998. С.446.

796

Цит. по: Рублев Д.И. Влияние опыта революционно-синдикалистского движения Франции на формирование идей анархо-синдикализма в Российской эмиграции начала XX в. // Взаимодействие культур в историческом контексте. М., 2005. С.160.

797

Бернштейн Э. Борьба социал-демократии и социальная революция. // Сборник документов по истории рабочего и социалистического движения в Европе и США. С.36.

798

Цит. по: Свалов А.Н. Второй Интернационал (1889-1914): «общий дом» социалистов». С.6.

799

Бернштейн Э. Борьба социал-демократии и социальная революция. С.37.

800

Бернштейн Э. Исторический материализм. СПб., 1901. С.325.

801

Бернштейн Э. Проблемы социализма и задачи социал-демократии. М., 1901. С.69.

802

Бернштейн Э. Исторический материализм. С.225.

803

Бернштейн Э. Борьба социал-демократии и социальная революция. С.37.

804

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.22. С.563.

805

Там же. Т.21. С.275.

806

Ойзерман Т.И. Указ. соч. С.449.

807

Но при этом ни в этой фразе (под которой подписался бы и Ленин), ни в других фразах Маркса о грядущих переменах в обществе не говорится ничего о способности буржуазии провести качественное преобразование общества без революции.

808

Цит. по Бровко Л.Н. Дискуссия в СДПГ об общественном переустройстве в конце XIX – начале XX века. Левые в Европе XX века. Люди и идеи. М., 2001. С.54.

809

Бровко Л.Н. Указ. соч. С.79.

810

Бернштейн Э. Социальные проблемы. М., 1901. С.96.

811

Цит. по: Бровко Л.Н. Указ. соч. С.67.

812

Сборник документов по истории рабочего и социалистического движения в Европе и США. С.39.

813

Каутский К. Диктатура пролетариата. От демократии к государственному рабству. Большевизм в тупике. М., 2002. С.15.

814

Сборник документов по истории рабочего и социалистического движения в Европе и США. С.40.

815

См. Бровко Л.Н. Указ. соч. С.71.

816

Молчанов Н. указ. соч. С.216.

817

«Искра». За два года. СПб., 1906. Ч.2. С.54

818

Чернов В.М. Указ. соч. С.48.

819

Там же. С.51.

820

Цит. по: Чернов В.М. Указ. соч. С.63.

821

Справочная книга социалиста Гуго и Штегмана. С.326.

822

Бебель А. Указ. соч. С.328.

823

Цит. по: Чернов В.М. Указ. соч. С.57.

824

Чернов В.М. Указ. соч. 57

825

Цит. по: Чернов В.М. Указ. соч. С.60.

826

Чернов В.М. Указ. соч. С.61.

827

Каутский К. пролетариат и общественный строй. Одесса, 1905. С.86.

828

Там же. С.106.

829

Там же. С.84-85, 110, 115-116, 119-120.

830

Там же. С.119.

831

Там же. С.97.

832

Там же. С.87-88.

833

Там же. С.115.

834

Там же. С.85.

835

Там же. С.86.

836

Каутский К. Диктатура пролетариата. От демократии к государственному рабству. Большевизм в тупике. М., 2002. С.200.

837

Каутский К. Пролетариат и общественный строй. С.121.

838

Там же. С.123.

839

Каутский К. Диктатура пролетариата. От демократии к государственному рабству. Большевизм в тупике. С.191-192.

840

Каутский К. Пролетариат и общественный строй. С.125-127.

841

Там же. С.127.

842

Там же. С.89.

843

Там же. С.91.

844

Там же. С.97.

845

Каутский К. Диктатура пролетариата. От демократии к государственному рабству. Большевизм в тупике. С.39.

846

Там же. С.245-246.

847

Там же. С.190.

848

Там же. С.48.

849

Там же. С.55.

850

Там же. С.150.

851

Там же. С.118.

852

Там же. С.119.

853

Там же. С.299.

854

Там же. С.300.

855

Там же. С.39.

856

Там же. С.42.

857

Там же. С.50.

858

Там же. С.78.

859

Там же. С.304.

860

Там же. С.33.

861

К. Баллод не является пионером в этой области. Еще в 1879 г. Г. фон Фольмар написал работу «Изолированное социалистическое государство. Социально-экономическое исследование». Но работа Баллода стала не только более фундаментальным сочинением, но и более приближенным по времени и проблематике к попытке построения социализма в одной стране, предпринятой в СССР.

862

Баллод К. Государство будущего. М., 1921. С.157.

863

Там же. С.3, 6.

864

Там же. С.9.

865

Там же. С.162.

866

Там же. С.19.

867

Там же. С.100.

868

Там же. С.157.

869

Там же. С.158.

870

Там же. С.150.

871

См. Шубин А.В. От «застоя» к реформам. СССР в 1977-1985 гг. М., 2001. С.109, 120-121.

872

Баллод К. Указ. соч. С.II-IV.

873

Там же. С.VII-IX.

874

Там же. С.160.

875

Там же. С.161.

876

См. Бакунин М.А. Философия, социология, политика. С.512-518.

877

Там же. С.548-549.

878

Кан Г.С. «Народная воля». Идеология и лидеры. М., 1997. С.36.

879

Малинин В.А. Философия революционного народничества. М., 1972. С.41.

880

Энгельсон В.А. Что такое государство? // «Полярная звезда» за 1855 год. М., 1966. С.27.

881

Революционное народничество 70-х гг. XIX в. М., 1964. С.355.

882

Цит. по: Кузнецов Ф. Публицисты 1860-х гг. Круг «Русского слова». М., 1981. С.280-281.

883

Кан Г.С. Указ. соч. С.35.

884

Плимак Е.Г., Пантин И.К. Драма российских реформ и революций (сравнительно-политический анализ). М., 2000. С.213.

885

См. например, Кан Г.С. Указ. соч. С.60.

886

Цит. по: Базанов В.Г. Русские революционные демократы и народознание. М., 1974. С.428.

887

Там же. С.539

888

Там же. С.428.

889

Справедливости ради нужно вспомнить, что многие крестьяне-заговорщики, узнав об обмане, простили Стефановича. Цели движения были для них важнее монархических иллюзий (Брешко-Брешковская Е. Скрытые корни русской революции. М., 2006. С.171). Прием «самозванчества» поддержал В.А. Осинский и некоторые другие землевольцы.

890

Чарушин Н.А. О далеком прошлом. М., 1973. С.108.

891

Сапон В.П. Указ. соч. С.159.

892

Пирумова Н.М. Указ. соч. С.257.

893

Утопический социализм в России. М., 1985. С.487.

894

Там же. С.487-491.

895

Сапон В.П. Указ. соч. С.161.

896

См. Сапон В.П. Указ. соч. С.188.

897

Цит. по: Рудницкая Е.Л. Русская революционная мысль. Демократическая печать. 1864-1873. М., 1984. С.144.

898

Кропоткин П.А. Записки революционера. М., 1990. С.321.

899

Чарушин Н.А. Указ. соч. С.205-206.

900

Троицкий Н.А. Крестоносцы социализма. Саратов, 2002. С.162.

901

Там же. С.192-193.

902

Там же. С.234.

903

Аптекман О.В. Общество «Земля и воля» 70-х гг. // Революционеры 1870-х гг. М., 1986. С.322.

904

Пытаясь доказать антибакунизм «Земли и воли», Г.С. Кан даже приписывает «землевольцам» отрицательное отношение к политической свободе (Указ. соч. С.56), но без каких-то конкретных цитат.

905

Бакунин М.А. Указ. соч. С.225.

906

Лавров П.Л. Избранные сочинения на социально-политические темы. Т.2. С.104.

907

Аптекман О.В. Общество «Земля и воля» по личным воспоминаниям. Пг., 1924. С.125.

908

Лавров П.Л. Указ. соч. С.71.

909

См. Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч. Т.18. С.523-536.

910

Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. Т.1. М., 1956. С.164.

911

Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч. Т.18. С.535.

912

Воспоминания о Марксе и Энгельсе. М., 1956. С.343.

913

Сапон В.П. Указ. соч. С.90.

914

В.П. Сапон считает, что доктрины Бакунина, Лаврова и Ткачева имели «намного больше признаков идейного сходства, чем различия». Считать количество «признаков» сходства и различия – дело неблагодарное. Ведь все идеи имеют нечто общее, и нечто различное. В качестве сходства идей трех идеологов народничества В.П. Сапон называет отрицательное отношение к монархии, буржуазной республике, а также «антиэтатизм» (Сапон В.П. Указ. соч. С.112). Но этот набор роднит почти все социалистические и коммунистические концепции XIX века. Если разглядывать социалистические учения в таком далеком приближении, то вовсе не удастся обнаружить в них различия и понять принципиальную сторону конфликтов Маркса и Бакунина, марксистов и народников, Ленина и анархистов, эсеров, меньшевиков. Такая близорукость вряд ли позволит понять многообразие социалистических идей.

915

Не случайно В.П. Сапон ищет черты «сближения» Бакунина с государственничеством Ткачева в работах «великого бунтаря» 1864-1867 гг., то есть до радикализации взглядов Бакунина 1870-1873 гг. Этот метод сравнения игнорирует эволюцию взглядов Бакунина, которая шла в прямо обратном направлении, чем то, которое ждет В.П. Сапон. Только в последние годы жизни, в связи с изменением ситуации в мире, Бакунин возвращается к более умеренным, но не более этатистским позициям.

916

Ткачев П.Н. Избранные сочинения на социально-политические темы. М., 1933. Т.3. С.289.

917

Там же. С.293.

918

Там же. С.265.

919

Ткачев П.Н. Избранные сочинения на социально-политические темы.. М., 1932. Т.2. С.19)

920

Там же. Т.3. С.223.

921

Сапон В.П. Указ. соч. С.146.

922

Там же. С.135.

923

Ткачев П.Н. Указ. соч. С.372.

924

Плеханов Г.В. Избранные философские сочинения. Т.1. С.97.

925

См. Бережанский А.С. Плеханов: от народничества – к марксизму. М., 2006. С.194, 196, 210.

926

Цит. по: Зверев В.В. Эволюция народничества: «теория малых дел». // «Отечественная история». № 4 1997. С.87.

927

Цит. по: Зверев В.В. Указ. соч. С.88.

928

Там же.

929

Зверев В.В. Указ. соч. С.93.

930

Тютюкин С.В. Г.В. Плеханов: судьба русского марксиста. М., 1997. С.70.

931

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.19. С.251.

932

Там же. С.305.

933

Бережанский А.С. Указ. соч. С.214.

934

Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. Т.1. С.108.

935

Последния сочинения Н.К. Михайловского. С.479.

936

Неттлау М. Очерки по истории анархических идей. Tucson, 1991. С.103.

937

Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. М., 1990. С. 28.

938

Там же. С. 28.

939

Там же. С. 181.

940

Там же. С. 185.

941

Там же. С. 51.

942

Там же. С. 40.

943

Там же. С. 45.

944

Там же.

945

Там же. С.101. Путаница по поводу отношения Кропоткина к частной собственности, о которой мы писали выше в связи со взглядами некоторых нынешних анархистов, встречается и у профессиональных исследователей анархизма. Так В.П. Сапон утверждает: Кропоткин «вовсе не ратует за отмену частной собственности» (Сапон В.П. Указ. соч. С.211). Вот тебе бабушка и Юрьев день. Уж думали, хоть Кропоткин предлагает освободить трудящихся от частной собственности. Ан нет. Впрочем, через несколько страниц В.П. Сапон одумался и признал, что Кропоткин все же выступал за отмену частной собственности (Там же. С.225). Эта путаница вызвана тем, что В.П. Сапон не различает частную и личную собственность. Кропоткин безусловно выступал против первой, но считал возможным сохранить вторую, включая и «домик» с приусадебным участком.

946

Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. С. 45, 75.

947

Там же. С. 79.

948

Подробнее см. Шубин А.В. Анархистский социальный эксперимент. Украина и Испания в 1917-1939 гг. М., 1998. С.183-189.

949

Кропоткин П.А. Указ. соч. С. 80.

950

Подробнее см. Шубин А.В. Указ. соч. С.91-139.

951

Кропоткин П.А. Речи бунтовщика. М., 1917. С.66.

952

Там же. С.53.

953

Там же. С. 165.

954

Кропоткин П.А. Этика. М., 1991. С.314-315.

955

Там же. С.307.

956

Цит. по: Пирумова Н.М. Указ. соч. С.291.

957

Там же. С.215.

958

Кропоткин П.А. Этика. С.295.

959

Рублев Д.И. Идеи Михаила Бакунина и генезис идей синдикализма в России в начале XX в. С.151.

960

Цит. по: Маркин В.А. Неизвестный Кропоткин. С.233.

961

Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. С.187.

962

Письмо П.А. Кропоткина к Н.А. Рубакину. // «Пробуждение». №15. 1931. С.50.

963

См. Рублев Д.И. Российские анархо-синдикалисты начала XX в. о формах организации рабочего класса. // Общественная мысль, движения и партии в России XIX – начала XXI вв. (конференция пятая). Часть I. Брянск 2002. О дальнейшем развитии идей «переходного периода» к анархии см. Шубин А.В. Указ. соч.

964

Сапон В.П. Указ. соч. С.230.

965

Государственное совещание. М.,-Л., 1930. С.231-232.

966

Махно Н.И. Под ударами контрреволюции. Париж, 1936. С. 131.

967

Кропоткин П.А. Земледелие, промышленность и ремесла. М., 1904. С.160.

968

Тютюкин С.В. Указ. соч. С.142.

969

Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. Т.1. С.563.

970

Там же.

971

Там же. С.703.

972

Там же.

973

Последния сочинения Н.К. Михайловского. С.472.

974

Воспоминания о Марксе и Энгельсе. С.336. Эта встреча закончилась для Энгельса конфузом. Он стал доказывать, что народники плохо знают экономические условия России и предложил Русанову поучиться у Сергеевского – русского исследователя, публикующего в немецкой прессе компетентные статьи об экономике России. Но выяснилось, что Сергеевский – это псевдоним Русанова.

975

Спор о степени развития капитализма в России продолжился и в советское время. Об этом см. например: Плимак Е. Политика переходной эпохи. Опыт Ленина. М., 2004. С.29-30.

976

Плеханов. Соч. Т.3. С.415.

977

Блохин В. Указ. соч. С.191.

978

Ленин В.И. ПСС. Т.2. С.94.

979

Там же. Т.36. С.189-190.

980

Там же. Т.2. С.532.

981

Там же. Т.1. С.154.

982

Михайловский Н.К. ПСС. Т.7. Стб. 742

983

Там же. Т.8. Стб. 664.

984

Там же. Т.10. Стб. 62.

985

Логинов В. Владимир Ленин. Выбор пути. Биография. М., 2005. С.262.

986

Там же.

987

См. Шубин А.В. Анархия – мать порядка. М., 2005. С.84-88, 105-108.

988

Ленин В.И. ПСС. Т.1. С.306. Близкие идеи высказывал еще Плеханов в 1882 г., но не так категорично. Ссылаясь на «Манифест коммунистической партии», он утверждал, что успех рабочего класса «зависит от объединения этого класса и ясного сознания им своих экономических интересов» (Литературное наследие Г.В. Плеханова. М., 1940. Сб.8. Ч.1. С.24).

989

Э. Каррер де'Анкосс снова пытается отделить Ленина от марксизма, выводя большевистский централистический партийный проект из чтения В. Ульяновым сочинений П. Ткачева (С.64). И снова без доказательств.

990

Михайловский Н.К. ПСС. Т.4. Стб.1000.

991

Там же. Т.8. Стб. 906.

992

Твардовская В.А., Итенберг Б.С. Указ. соч. С.197.

993

Плеханов Г.В. Сочинения. Т.15. С.117-118.

994

Там же. С.117.

995

Там же. С.118.

996

Литературное наследие Г.В. Плеханова. М., 1940. Сб.8. Ч.1. С.211.

997

Блохин В. Указ. соч. С.144, 162.

998

Там же. С.162.

999

Там же. С.202.

1000

Там же. С.206.

1001

Там же. С.207.

1002

Цит. по: Ленин В.И. ПСС. Т.1. С.527.

1003

Цит. по: Логинов В. Владимир Ленин. Выбор пути. Биография. М., 2005. С.186.

1004

И сейчас в постсоветской публицистике миф о победе марксизма в идеологических спорах начала века не просто воспроизводится, но доводится до абсурда: «В начале века марксизм в России стал больше, чем теорией или даже учением: он стал формой общественного сознания в культурном слое» (Кара-Мурза С. Советская цивилизация. Кн. 1. М., 2002. С.10). Таким образом, в представлении С. Кара-Мурзы из «культурного слоя» исключается вся немарксистская мысль от либералов до народников. Интерес к марксизму был широким, но господство марксизма «в культурном слое» было достигнуто только после красного террора и «философских пароходов».

1005

Михайловский Н.К. ПСС. Т.7. Стб.922.

1006

Белов К. Зубы. Этюд о В. Ульянове и Михайловском. М., 1998. С.30.

1007

Первый съезд РСДРП, март 1898. Документы и материалы. М., 1958. С.80.

1008

Каррер д’Анкосс Э. Ленин. М., 2002. С.52.

1009

Там же. С.38.

1010

Там же. С.39.

1011

Там же. С.50.

1012

Там же.

1013

Подробнее см. Логинов В. Указ. соч. С.232-233, 269-272.

1014

Цит. по: Ленин В.И. ПСС. Т.4. С.168.

1015

Ленин В.И. ПСС. Т.4. С.173.

1016

Там же. Т.6. С.42.

1017

Так, Плеханов писал, что следствие может оказывать обратное воздействие на причину (Плеханов Г.В. Сочинения. Т.16. С.178). Это во многом обесценивает новизну марксистского исторического материализма. Ведь замерить силу воздействия экономики, политики и культуры друг на друга невозможно, и если марксист признает, что в некоторых конкретных условиях политика может детерминировать экономику, то он не может доказать, что именно экономика является первопричиной всех исторических явлений.

1018

Шанин Т. Революция как момент истины. 1905-1907 – 1917-1922. М., 1997. С.441.

1019

Там же. С.467.

1020

Ленин В.И. ПСС. Т.12. С.81.

1021

Там же. Т.6. С39.

1022

Там же. Т.4. С.373.

1023

Там же. Т.6. С.30.

1024

Там же. С.131.

1025

Чернов В.М. Указ. соч. С.368.

1026

Ленин В.И. ПСС. Т.6. С.30.

1027

Там же. Т.6. С.175.

1028

Там же. С.195-196, 200.

1029

Там же. С.345.

1030

Там же. С.310.

1031

Там же. С.327-331.

1032

Мартов Ю.О. Избранное. М., 2000. С.66.

1033

Там же. С.67.

1034

Ленин В.И. ПСС. Т.6. С.136.

1035

«Искра». За два года. Т.2. С.117.

1036

Там же. С.119.

1037

Ленин В.И. ПСС. Т.6. С.141.

1038

Каррер д’Анкосс Э. Указ. соч. С.63.

1039

«Искра». За два года. Т.2. С.133.

1040

Там же. С.127.

1041

Ленин В.И. ПСС. Т.6. С.11.

1042

Там же. Т.8. С.370.

1043

«Искра». За два года. Т.2. С.135.

1044

Мартов Ю.О. Указ. соч. С.81

1045

Плеханов Г.В. Сочинения. Т.15. С.154.

1046

«Искра». За два года. Т.2. С.149.

1047

Там же. С.150.

1048

Плеханов Г.В. Сочинения. Т.15. С.152.

1049

Цит. по: Каутский К. Диктатура пролетариата. От демократии к государственному рабству. Большевизм в тупике. С.152-153.

1050

Забавно, что Каррер д'Анкосс выводит дальнейшие конфликты Ленина и Люксембург из злопамятности Ленина, не забывшего обиду 1904 г. (С.73). Такому примитивному объяснению помогает стереотип «восточной дикости», отработанный биографами Сталина, чуть ли не все действия которого в 20-30-е гг. объясняются злопамятностью. Ленин под пером французского академика тоже превращается в коварного злопамятного дикаря. Одно непонятно – почему Ленин то и дело сближается с Люксембург, когда их идеи оказываются близкими, и в итоге Люксембург становится организатором компартии Германии, получавшей помощь большевиков.

1051

Цит. по: Фляйшер Г. Между Марксом и Лениным. Роза Люксембург и русская революция. // Германия и русская революция. 1917-1924. М., 2004. С.131.

1052

Там же. С.132.

1053

См. Бровко Л.Н. Указ. соч. С.71.

1054

Богданов А.А. Вопросы социализма. М., 1990. С.43.

1055

Там же. С.300

1056

Там же. С.302.

1057

Там же. С.303.

1058

Там же. С.342.

1059

Чернов В.М. К обоснованию партийной программы. Пг., 1918. С.6.

1060

Там же. С.10.

1061

Чернов В.М. К вопросу о «положительных» и «отрицательных» сторонах капитализма. // Образ будущего в русской социально-экономической мысли конца XIX – начала XX века. Избранные произведения. М.,1994. С.37.

1062

Там же. С.40.

1063

Чернов В.М. К обоснованию партийной программы. С.273-274.

1064

Там же. С.275.

1065

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т.1. М., 1996. С.115.

1066

Там же. С.115.

1067

Пешехонов А.В. Народный социализм или пролетарский? // Образ будущего в русской социально-экономической мысли конца XIX – начала XX века. Избранные произведения. С.102-103.

1068

Чернов В.М. Указ. соч. С.25.

1069

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т.1. М., 1996. С.131.

1070

Чернов В.М. Указ. соч. С.21.

1071

Там же. С.21.

1072

Чернов В.М. К вопросу о «положительных» и «отрицательных» сторонах капитализма. С.37.

1073

Гоц М.Р. Система правды и наши общественные отношения. // Образ будущего в русской социально-экономической мысли конца XIX – начала XX века. Избранные произведения. С.22.

1074

Партия социалистов-революционеров. С.277-278.

1075

Чернов В.М. Указ. соч. С.48.

1076

Чернов В.М. Указ. соч. С.50; См. также Лавров В.М. “Крестьянский парламент” России. (Всероссийские

съезды советов крестьянских депутатов в 1917-1918 годах). М., 1996. С.73.

1077

Чернов В.М. Указ. соч. С.29.

1078

Партия социалистов-революционеров. С.321.

1079

Там же. С.278.

1080

Там же. С.321.

1081

Там же. С.293.

1082

Там же. С.323.

1083

Там же. С.327.

1084

Чернов В.М. Указ. соч. С.18.

1085

Там же. С.19.

1086

Там же.

1087

Каутский К. Диктатура пролетариата. От демократии к государственному рабству. Большевизм в тупике. С.53.

1088

Чернов В.М. Указ. соч. С.18

1089

Ленин В.И. ПСС. Т.9. С.163.

1090

Подробнее см. Люксембург Р. Накопление капитала. М., 1934.

1091

Бухарин Н.И. Проблемы теории и практики социализма. М., 1989. С.53.

1092

Жорес Ж. Аграрный социализм. Социализм и крестьянство. Одесса, 1905. С.24.

1093

Там же. С.25.

1094

Цит. по: Молчанов Н. Жан Жорес. М., 1986. С.282.

1095

Там же. С.302.

1096

Там же. С.316.

1097

История Второго Интернационала. М., 1966. Т.2. С.211.

1098

Чернов В.М. Указ. соч. С.112.

1099

Ленин В.И. ПСС. Т.27. С.57.

1100

Там же. Т.26. С.354.

1101

Там же. Т.30. С.110-111.

1102

Там же. С.111.

1103

Там же. Т.34. С.193.

1104

Чернов В.М. Указ. соч. С.112.

1105

Там же. С.113.

1106

Каутский К. Диктатура пролетариата. От демократии к государственному рабству. Большевизм в тупике. С.89.

1107

Каутский К. Движущие силы и перспективы русской революции. М., 1926. С. 29.

1108

Ленин В.И. ПСС. Т.9. С.380.

1109

Там же. С.381.

1110

Там же.

1111

Там же. Т.10. С.10-11.

1112

Плеханов Г.В. Сочинения. Т.15. С.349.

1113

«Искра». За два года. Т.2. С.179.

1114

Цит. по: Ленин В.И. ПСС. Т.10. С.17

1115

«Искра». За два года. Т.2. С.176.

1116

Троцкий Л.Д. 1905 год. С.4-5.

1117

«Искра». За два года. Т.2. С.184.

1118

Ленин В.И. ПСС. Т.10. С.9.

1119

Плеханов Г.В. Сочинения. Т.15. С.121.

1120

Там же.

1121

Там же. С.13.

1122

«Искра». За два года. Т.2. С.82.

1123

Сборник документов по истории рабочего и социалистического движения в Европе и США. С.45-46.

1124

Первая революция в России. Взгляд через столетие. М., 2005. С. 576-578.

1125

Там же. Т.9. С.193.

1126

Васильев-Южин М.И. Московский совет рабочих депутатов в 1905 году и подготовка им вооруженного восстания. По личным воспоминаниям и документам. М., 1925. С. 16-17.

1127

Первая революция в России. Взгляд через столетие. С. 205-206.

1128

Плеханов Г.В. Сочинения. Т.13. С.191.

1129

Там же. Т.15. С.115.

1130

Там же. С.12.

1131

Там же.

1132

Тютюкин С.В. Г.В. Плеханов. Судьба русского марксиста. С.225.

1133

Ленин В.И. ПСС. Т.31. С.145.

1134

Тютюкин С.В. Меньшевизм: страницы истории. М., 2002. С.7.

1135

Цит. по: Ленин В.И. ПСС. Т.10. С.18.

1136

«Искра». За два года. Т.2. С.172.

1137

Там же. С.178.

1138

Там же. С.173.

1139

Там же.

1140

Подробнее см. Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и русская революция. М., 1996. С.46-47.

1141

Ленин В.И. ПСС. Т.10. С.19.

1142

«Искра». За два года. Т.2. С.173.

1143

Там же. С.174.

1144

Там же. С.176.

1145

Ленин В.И. ПСС. Т.10. С.18.

1146

Там же. С.20.

1147

Там же. С.129.

1148

Там же. С.125.

1149

Там же. С.19.

1150

Там же. С.23.

1151

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч.1. М., 1954. С.78.

1152

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.7. С.422-423.

1153

Ленин В.И. ПСС. Т.10. С.7.

1154

Там же.

1155

Политические деятели России. 1917. М., 1993. С.208.

1156

«Искра». За два года. Т.2. С.183.

1157

Там же. С.234.

1158

Там же. С.183.

1159

Там же. С.190.

1160

Там же.

1161

Там же. С.188.

1162

Там же. С.189.

1163

Там же. С.199.

1164

Ленин В.И. ПСС. Т.10. С.8.

1165

«Искра». За два года. Т.2. С.188.

1166

Там же. С.189.

1167

Ленин В.И. ПСС. Т.10. С.8.

1168

Там же. С.137.

1169

Там же. С.361.

1170

Там же. Т.9. С.191.

1171

Там же. С.192.

1172

Там же. С.193.

1173

См. например, Кара-Мурза С. Указ. соч. С.11.

1174

Шанин Т. Указ. соч. С.356.

1175

Там же. С.355.

1176

Четвертый (объединительный) съезд РСДРП. Протоколы. М., 1959. С.241.

1177

Там же. С.242.

1178

«Искра». За два года. Т.2. С.236

1179

Там же. С.235.

1180

Там же. С.237.

1181

Там же.

1182

Ленин В.И. ПСС. Т.10. С.137.

1183

Там же. Т.9. С.382.

1184

Там же. Т.10. С.31.

1185

Там же. С.360.

1186

«Искра». За два года. Т.2. С.187.

1187

Ленин В.И. ПСС. Т.11. С.222.

1188

Там же.

1189

Цит. по: Чернов В.М. Указ. соч. С.135.

1190

Ленин В.И. ПСС. Т.30. С. 306-328.

1191

Подробнее см. Шубин А.В. Мифы Февральской революции. // Февральская революция 1917 г. и масоны. М., 2007.

1192

Суханов Н.Н. Записки о революции. М., 1991. Т.1. С.151.

1193

Февральская революция. 1917. Сборник документов и материалов. М., 1996. С.91, 141.

1194

См. Лавров В.М. “Крестьянский парламент” России. (Всероссийские съезды советов крестьянских депутатов в 1917-1918 годах). М., 1996. С.69.

1195

См. Шубин А.В. Развитие советской представительной системы и принцип делегирования (к истории вопроса) // Политические институты и обновление общества. М., 1989. С.73-80.

1196

См. Люксембург Р. О социализме и русской революции. М., 1991. С.322-324.

1197

Учредительное собрание. Стенографический отчет. М., 1991. С.81.

1198

Говоря о революции 1917 г., мы имеем в виду революционный процесс, который начался в этом году, но продолжался и позднее. Хронологические рамки революции спорны, наиболее убедительной представляется датировка Великой российской революции 1917-1922 гг.

1199

Чураков Д.О. Русская революция и рабочее самоуправление. М., 1998. С.75-77.

1200

См. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Документы и материалы. М., 1993-2003.

1201

Иткин М.Л. Рабочий контроль накануне Великого Октября. М, 1984. С.19; Степанов З.В. Фабзавкомы Петрограда в 1917 г. Л., 1985. С.10-11.

1202

Октябрьская революция и фабзавкомы. Ч.2. М., 1927. С.95.

1203

Революционное движение в России после свержения самодержавия. М., 1957. С.491.

1204

Чураков Д.О. Указ. соч. С.37-38.

1205

Мандель Д. Рабочий контроль на заводах Петрограда, или почему на самом деле в 1917 году было две революции и можно ли из этого опыта извлечь уроки для сегодняшнего дня. М., 1994. С.16.

1206

Иткин М.Л. Указ. соч. С.69, 71, 85.

1207

Мандель Д. Указ. соч. С.33.

1208

Гапоненко Л.С. Рабочий класс в России в 1917 г. М., 1970. С.294-297; Степанов З.В. Указ. соч. С.23, 37; Иткин М.Л. Указ. соч. С.100.

1209

Фабзавкомы Петрограда. Протоколы. М., 1982. С.252-258.

1210

Цит. по: Мандель Д. Указ. соч. С.35.

1211

Октябрьская революция и фабзавкомы. Ч.1. С.91.

1212

Там же. С.100, 126.

1213

Там же. С.14-21.

1214

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Т.3. С.67.

1215

Лавров В.М. Указ. соч. С.111-112.

1216

Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990. С.332.

1217

Ленин В.И. ПСС. Т.31. С.154-155.

1218

Там же. С.107-108.

1219

Там же. С.109.

1220

Цит. по: Архипов И.Л. Российская политическая элита в феврале 1917 г. Психология надежды и отчаяния. СПб., 2000. С.216.

1221

Ленин В.И. ПСС. Т.31. С.114.

1222

Там же. С.115.

1223

Кара-Мурза С. Указ. соч. С.53.

1224

“Единство”, 5 апреля 1917 г. Информационное сообщение.

1225

Плеханов Г.В. Год на Родине. Париж, 1929. С.214-215.

1226

Опасность с левого фланга. // “Рабочая газета”, 6 апреля 1917 г.

1227

Подробнее см. Шубин А.В. Мифы Февральской революции.

1228

Лавров В.М. Указ. соч. С.44.

1229

Меньшевики в 1917 г. Т.1. М., 1994. С.253.

1230

Там же. Т.2. М., 1995. С.343-348.

1231

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Т.3. С.58.

1232

Там же. С.57.

1233

Там же. С.89-92.

1234

Там же. С.93.

1235

Цит. по Злоказов Г.И. Меньшевистско-эсеровский ВЦИК Советов в 1917 г. М., 1997. С.174.

1236

Там же. С.71.

1237

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. М., 2000. Т.3. Ч.1. С.405.

1238

Там же. С.407.

1239

Быховский Н.Я. Всероссийский Совет крестьянских депутатов в 1917 г. М., 1929. С.47-48.

1240

Чернов В.М. К обоснованию партийной программы. Пг., 1918. С.16-17.

1241

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т.3. Ч.1. С.317.

1242

Там же. С.318.

1243

Там же. С.329.

1244

Лавров В.М. Указ. соч. С.52-53.

1245

Чернов В.М. Перед бурей. М.,1993. С. 321.

1246

Лавров В.М. Указ. соч. С.118.

1247

Там же. С.28-32; Злоказов Г.И. Указ. соч. С.15-16.

1248

Чернов В.М. Указ. соч. С.326.

1249

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т.3. Ч.1. С.642.

1250

Там же. С.755.

1251

Там же. С.647.

1252

Урилов И.Х. Мартов. Политик и историк. М., 1997. С.271.

1253

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 г. Т.4. С.253.

1254

Политические деятели России. 1917. С.206.

1255

Ленин В.И. ПСС. Т.33. С.42.

1256

Там же. С.44.

1257

Там же. С.97.

1258

Там же. С.53.

1259

Там же. С.333.

1260

Там же. С.53.

1261

Там же. С.95.

1262

Там же. Т.26. С.355.

1263

Там же. Т.33. С.95.

1264

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.34. С.104.

1265

Сапон В.П. Указ. соч. С.255.

1266

Там же. С.267-268.

1267

Ленин В.И. ПСС. Т.33. С.96.

1268

Там же. С.44.

1269

Там же. С.97.

1270

Там же. С.91.

1271

Там же. Т.34. С.192.

1272

Там же. Т.33. С.97.

1273

Там же. С.24.

1274

Там же. С.90.

1275

Там же. Т.27. С.49.

1276

Цит. по: Злоказов Г.И. Указ. соч. С.310.

1277

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Т.3. С.8.

1278

Рабинович А. Кровавые дни. М., 1992. С .87.

1279

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Т.3. С.342.

1280

См. Суханов Н.Н. Указ. соч. Т.2. С.281.

1281

Злоказов Г.И. Указ. соч. С.42-43.

1282

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Т.3. С.40.

1283

Подробнее см. Рабинович А. Указ. соч. С 159-160; Злоказов Г.И. Указ. соч. С.51, 54.

1284

Невский В.И. Народные массы в Октябрьской революции. // «Работник просвещения». 1922. №8. С.21.

1285

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Т.4. С.18, 22.

1286

Рабинович А. Указ. соч. С.175.

1287

Церетели И.Г. Кризис власти. М., 1992. С. 152.

1288

Раскольников Ф.Ф. Кронштадт и Питер в 1917 году. М., 1990. С.133.

1289

Никонов В. Молотов. Молодость. М., 2005. С.279.

1290

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Л., 1956. С.143.

1291

Рабинович А. Указ. соч. С.153-155, 164, 169-177.

1292

Там же. С.59.

1293

Там же. С.13.

1294

Зиновьев Г. Ленин-Ульянов. Пг., 1917. С.56.

1295

Суханов Н.Н. Указ. соч. С.366-367.

1296

См. Злоказов Г.И. Указ. соч. С.72-76.

1297

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т.3. Ч.1. С.674-675.

1298

Там же. С.675.

1299

Злоказов Г.И. Указ. соч. С.86.

1300

Там же. С.216.

1301

Спиридович А. Большевизм: от зарождения до прихода к власти. М., 2005. С.334.

1302

Церетели И.Г. Указ. соч. С. 201-203.

1303

Злоказов Г.И. Указ. соч. С.116.

1304

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т.3. Ч.1. С.722.

1305

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Т.4. С.78.

1306

Меньшевики в 1917 г. Т.2. С.290.

1307

Там же. С.291-293.

1308

Там же. С.291-295.

1309

Там же. Т.1. С.65.

1310

Цит. по: Политические деятели России. 1917 г. Биографический словарь. С.301.

1311

Рабинович А. Большевики приходят к власти. М.1989., С.172.

1312

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Т.4. С.248.

1313

Злоказов Г.И. Указ. соч. С.297.

1314

Там же. С.245.

1315

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т.3. Ч.1. С.748

1316

Там же. С.749.

1317

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Т.4. С.246.

1318

Ленин В.И. ПСС. Т.34. С.221-222.

1319

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Т.4. С.256, 265-266.

1320

См. Шубин А.В. Мифы Февральской революции.

1321

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Т.4. С.343.

1322

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т.3. Ч.1. С.761.

1323

Там же. С.749.

1324

Там же. С.757.

1325

Чернов В.М. Указ. соч. С.335-336.

1326

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Т.4. С.335. Резолюция большевиков была сформулирована более абстрактно, предлагая передать власть не именно советам, а организациям рабочих, солдат и крестьян. Это оставляло открытой дверь для проекта эсеров и меньшевиков дополнить базу правительства другими организациями трудящихся (С.352).

1327

Руднева С.Е. Демократическое совещание. Сентябрь 1917 г. История форума. М., 2000. С.206.

1328

“Пролетарская революция". 1922, N 10, С.319.

1329

Протоколы ЦК РСДРП(б). Август 1917 г. – февраль 1918 г. М., 1958. С.87-92.

1330

Ленин В.И. ПСС. Т.34. С.330.

1331

Рабинович А. Указ. соч. С.334.

1332

Керенский А. Гатчина. М., 1990. С.6.

1333

Второй Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов (25-26 октября 1917 г.). Сборник документов и материалов. М., 1997. С.62.

1334

Рабинович А. Указ. соч. С.333-334.